

Историко-
биографический
сборник
Жизнь
знаменитых
людей

Издательство
ИЛ ВЛКСМ
Москва
1971



**Биографии. Статьи.
Портреты**

С. Сытин.	Таким был Симбирск	6
В. Шалагинов.	Когда Ленин уехал из Самары	44
В. Степанов,	Адрес — Россия	47
З. Тихонова.	Владимир Ильич Ленин	60
М. Лядов.	За скупую строкой...	62
А. Володин.	По следам старых фотографий	66
М. Еремин.		
А. Володин,	Карл Маркс и Петр Лавров	76
Б. Итенберг.	Мировой дух верхом на коне	104
А. Гулыга.	Человек, переживший смерть	117
Л. Палиевская.	Дело Мигурских	130
Леонид Большаков.		

**Поиски. Находки.
Гипотезы**

С. В. Житомирская.	К истории писем Н. Н. Пушкиной	148
Ю. Коротков.	Господин, который был в субботу в Фулеме	166



- Б. Бялокозович.** Кто был автором литографии «Белорусский раб», изданной А. Мицкевичем и описанной А. И. Герценом? 189
Евг. Петряев. Библиотека М. Л. Михайлова 192
И. Дубинский-Мухадзе. Ищу в Германии... 196
С. Л. Сытин. Существуют ли неизвестные фотографии И. Н. Ульянова? 205

Письма. Документы

- Е. Старостин.** К. Либкнехт и памфлет П. А. Кропоткина 210

**Дневники.
Воспоминания**

- Н. А. Романов.** История одного искания 212

Историко-
биографический
альманах
серии
„Жизнь
замечательных
людей“

Издательство
ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
Москва
1971

Литературное
наследство

Н. К. Рерих.	Листы дневника	233
Джек Лондон.	Эти кости встанут снова	253

Забытые страницы

Александр Бенуа.	Мои встречи с И. С. Тургеневым	258
------------------	--	-----

Повести. Рассказы

Зоя Воскресенская.	В ссылку	263
--------------------	--------------------	-----

Исторические
очерки

С. Семанов.	1896 год	268
-------------	--------------------	-----

Редакционная

коллегия:

- М. П. Алексеев
 И. Л. Андроников
 Д. С. Данин
 Б. И. Жутовский
 П. Л. Капица
 Б. М. Кедров
 Д. М. Кукин
 Ф. Н. Петров
 С. Н. Семанов (редактор)
 А. А. Сидоров
 Н. М. Симонов
 С. Д. Сказкин
 С. С. Смирнов
 В. С. Хелемендик

- Ф. Арский. Взлеты и падения Алкивиада 273
 А. Штекли. Гипатия, дочь Теона 296

Библиографический
листок

- В. Твардовская. Русские друзья Маркса и Энгельса 310
 А. Иванов. На пути к революции 314
 Н. Яковлев. Заговорившие портреты 316
 В. Белобородов. Начало поиска 318
 А. Альтшуллер. Книга о трагической актрисе 320
 Л. Каменщик. «Опытный дошкольник» 322

Новые материалы

- Л. Жуковский. Интернационал социалистической литературы 324

Составитель Ю. Н. Коротков
 Художник Б. И. Жутовский
 Художественные редакторы:
 А. И. Степанова, А. Б. Романова
 Технический редактор Л. И. Курлыкова

Смесь

И. Ениколопов.	Дауд-паша и Россия	327
М. Тугушева.	Джон и Ада Голсуорси	329
Ф. Зинько.	«Просвещеннейший капитан»	334
В. Новиков.	Разоблачение провокатора	340
Н. А. Троицкий.	Департамент полиции и мать Софьи Перовской	342
Г. Ф. Коган.	«В гостях у Достоевского»	344
М. И. Андреевская.	Два портрета Языкова	347
А. И. Башкиров.	История одной медали	349
Н. М. Раскин,		
Г. А. Стратановский.	Рисунки из рукописей И. Кеплера	353
Л. И. ван Россум.	Неизвестное письмо графа С. Г. Строганова А. И. Герцену	358
М. С. Альтман.	Пестрые заметки	360
Ираклий Андроников.	Корней Иванович Чуковский	366

С. Сытин
(Ульяновск)

Таким был Симбирск

Еще сравнительно недавно многое во внешнем облике Ульяновска напоминало Симбирск конца прошлого века. А сейчас это прошлое подобно островкам, которые исчезают под натиском дружного весеннего половодья. Но чем быстрее растет, чем современнее становится новый Ульяновск, тем интереснее для нас облик старого Симбирска, по улицам которого ходил когда-то Володя Ульянов.

Облик Симбирска XVII и XVIII веков знаком нам по двум рисункам. О городе первой половины XIX века оставили несколько любопытных, хотя и мимолетных зарисовок побывавшие здесь Пушкин и Жуковский. Шестидесятые годы прошло-

**Симбирск в середине XVIII века.
Вид с юго-востока, со стороны
Волги.**
Гравюра М. И. Махаева (1716—
1770). Гос. библиотека имени
В. И. Ленина.



го века, канун, приезда И. Н. Ульянова с семьей, представлены тоже скромно — двумя-тремя десятками фотографий. Столько же чудом сохранившихся фотографий и рисунков Симбирска 70—80-х годов, и лишь с конца XIX века изобразительный фонд города стал регулярно пополняться и фотографиями, и рисунками, и открытками.

Давайте совершим путешествие по городу Симбирску, располагая этими хотя и не очень обширными, но весьма любопытными свидетельствами художников и фотографов прошлого.

В Ульяновском краеведческом музее в экспозиции, посвященной дореволюционному Симбирску, посетитель обязательно обратит внимание на старую гравюру. На высоком волжском берегу вытянулись цепочкой церкви и монастыри, окруженные домишками простолюдинов. Справа, на том месте, где сейчас филармония и пло-

щадь Ленина, — стены с башнями. Это Симбирский кремль в последние годы его существования.

В отделе редкой книги Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина в особом сейфе — величайшая ценность! — хранится альбом гравюр русского художника XVIII века М. И. Махаева (1716—1770 гг.). Махаев и есть автор первой гравюры-панорамы Симбирска.

Эта панорама была хорошо известна местным любителям старины. Автор книги о Симбирске, изданной в конце прошлого века к 250-летию города, П. Л. Мартынов, воспроизвел гравюру Махаева, но с досадной неточностью в подписи, утверждавшей, что художником запечатлен го-

Симбирский кремль.
Снесен в последней четверти XVIII века.
Фрагмент гравюры М. И. Махаева.



родской вид с северо-запада, со стороны Свяги.

Ошибка Мартынова не раз ставила исследователей в тупик. Ведь вид города со стороны Свяги не имел ничего общего с изображением Махаева. Выходило так, что художник слишком вольно распорядился открывшейся его глазам панорамой города...

В действительности же невнимательно были прочитаны и французская и русская надписи на гравюре. Там ясно говорится, что город изображается «по направлению на северо-запад», то есть с юго-востока, из района нынешнего речного порта. В таком случае все основные ориентиры старого Симбирска на своих «законных» местах!

Редкие фотографии 60-х годов XIX века доказывают, что Махаев рисовал очень точно. Его гравюра поэтому своего рода графический документ, который дает правильное, достоверное изображение Симбирска XVIII века.

Художник позволил себе только одну, вполне оправданную, вольность — примечательные здания города, которые должны были скрываться за волжским косогором, он «подтянул» к бровке.

Столетие спустя в Поволжье было не обычайно жаркое, засушливое лето. 13 августа 1864 года в Симбирске вспыхнул пожар. Водопровода в городе не было, возить воду в бочках из Свяги было бесполезно. Огненная стихия бушевала в городе до 21 августа и оставила после себя огромный пустырь с обгоревшими остовами немногих каменных зданий. Уцелели улицы, прилегавшие к Свяге, и Подгорье. Убытки от пожара исчислялись от трех до пяти миллионов рублей.

В фондах Ульяновского краеведческого музея хранится фотография центральной части Большой Саратовской улицы после этого пожара. Фотография может быть датирована концом 1864 года или — самое позднее — 1865 годом. Обгоревшие остовы зданий вокруг Троицкой церкви, раз-

валины, фигура рабочего на переднем плане. Фотолетопись Симбирска-Ульяновска надо начинать с этой уникальной фотографии.

Как-то ребята-студенты рассказали мне, что знают человека, у которого хранится альбом с фотографиями Симбирска столетней давности. Не сразу, но удалось-таки получить этот альбом для пересъемки. Кроме Симбирска, там были почтенного возраста фотографии Витебска и Вятки. По некоторым подписям удалось устано-

Симбирск после пожара 1864 года.
1865—1866 гг. Неизвестный фотограф. Ульяновский краеведческий музей.

Вид Симбирска со стороны Свяги.

Справа — нижняя часть
Московской улицы.
1867 г. Фото А. Муренко.
Частная коллекция.







вить, что принадлежал альбом крупному симбирскому чиновнику Ренненкампу, а фотографии Симбирска выполнены в 1867 году неким А. Муренко. Несколько позже в отделе редкой книги Библиотеки имени В. И. Ленина мне удалось отыскать альбом фотографий Симбирска, выпущенный для продажи самим Муренко. На крышке-папке оттиснуты название альбома, фамилия фотографа, год издания и авторские подписи к десяти фотографиям, вложенным в эту папку-альбом.

Кто был А. Муренко, уточнить пока не удалось. Видимо, он прожил в Симбирске недолго. Портретов его работы пока не найдено. Но то, что это был выдающийся для своего времени фотограф, большой мастер — бесспорно.

Летний день. Крестьянские возы с сеном

приближаются к Симбирску. Вокруг носится жеребенок — на фотографии он получился тенью с четырьмя парами ножек. Обоз спускается с высокого берега, и из-за плетней уже поблескивает Свяяга. Слева вырисовывается полосатый верстовой столб — граница города. А дальше — дальше залитый лучами послеполуденного солнца Симбирск. Видны соборы и церкви, их силуэты оживляют, украшают панораму города (стр. 8—9).

Вот поднимается от Свяяги Московская улица. За Богоявленской церковью силуэт пожарной каланчи. Значит, одна из крыш напротив — крыша дома Молчановой, который в 1878 году был куплен и записан на имя Марии Александровны Ульяновой. Чуть выше отчетливо видны два дома, в которых Ульяновы жили по году



Карамзинская площадь.
Разбивка сивера вокруг памятника
историку Н. М. Карамзину.
1867 г. Фото А. Муренко.
Частная коллекция.

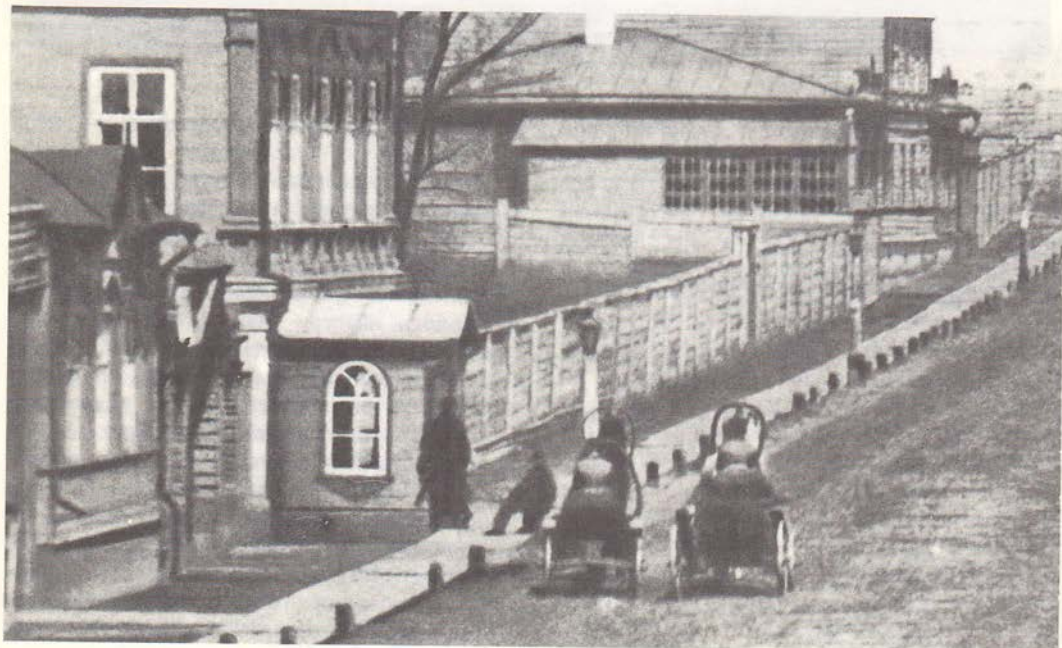
Большая Саратовская улица.
Вид от здания театра по
направлению к «дому Гончарова».
1867 г. Фото А. Муренко. УКМ.

в 1875—1877 годах. За домами — сады и огороды.

Левее Московской улицы виден овраг речки Симбирки, а на другом его берегу — Большая Конная улица, которая вел на Ярмарочную площадь.

Облаков на фотографии нет. Фотография той эпохи, быстро утверждаясь на земле, была бессильна, когда речь шла о небе. Но Муренко обрезал снимок в форме изящного вытянутого овала, и потому смотрится фотография превосходно.

Эту фотографию можно было бы назвать «Дорога Ильи Николаевича». На ней мы видим старый Симбирск таким, каким видел его И. Н. Ульянов, возвращаясь после своих бесчисленных и утомительных поездок по губернии. Таким видел Симбирск и маленький Володя, возвращаясь с отцом





Старый театр.

Деревянное здание театра было построено на Б. Саратовской улице к сезону 1846 года и сгорело летом 1879 года.

Вторая половина 60-х годов XIX века. Неизвестный фотограф.

С репродукции Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске.

Б. Саратовская улица. Фрагмент.

1867 г. Фото А. Муренко. УКМ.

Уездное училище.

Второе здание справа. При уездном училище находились в 1869—

1872 годах педагогические курсы, которыми руководил И. Н. Ульянов. 1867 г. Фото А. Муренко. УКМ.

летом 1875 года из Назарьевки — имения В. Н. Назарьева, писателя, добровольного помощника И. Н. Ульянова в его заботах о народном образовании.

А вот другая картина. Перед нами Карамзинская площадь (стр. 10). Мы видим ее почти такой, какой видели ее гимназисты (в том числе и Саша Ульянов) из окон гимназии. На переднем плане — лужа. Группа рабочих, а возможно арестантов, разбивает сквер вокруг памятника Карамзину. Слева, у временной ограды будущего сквера, стоят дрожки с кучером на козлах. Кого он ждет? Быть может, кого-либо из гимназического начальства. Не исключено, что извозчик только что привез самого фотографа. Ведь аппарат и необходимые принадлежности весили тогда пуда два.

Направо от памятника другая живописная группа — несколько мастеровых в фартуках и женщины в черном — возможно, монашеники из расположенного рядом женского монастыря. Видна Никольская церковь, построенная в конце XVIII века.

Превосходна и фотография Большой улицы (она же — Большая Саратовская). Снимок сделан с крыши старого симбир-



Дом на Б. Саратовской улице, в котором родился писатель И. А. Гончаров. 1890 г. Фото Степанова. Частная коллекция.

ского театра (стр. 11). Это было двухэтажное деревянное здание, расположенное поперек улицы, напротив нынешней гостиницы «Волга». Заезжие москвичи и петербуржцы отзывались о труппах, которые играли в театре, с похвалой. Новый каменный театр был построен в Симбирске только в 1879 году. Надо полагать, что в 70-х годах в старом городском театре не раз бывали и Ульяновы.

От театра посредине улицы шел бульвар — две полоски кустарника с аллеей и скамейками. Слева — несколько характерных для старого Симбирска деревянных домов. У крыльца одного из них — экипажи, очевидно извозчики. А вдали по той же левой стороне виднеется белоснежный Вознесенский собор, который незадолго до того, как был сделан снимок, восстановили после пожара 1864 года.

Направо дома. В их числе и двухэтажное каменное здание уездного училища,



Строительство дамбы через овраг реки Симбирки. 1867 г. Фото А. Муренко. Частная коллекция.

которое мы не найдем ни на одной другой фотографии. В нем размещались в 1869—1872 годах педагогические курсы — детище И. Н. Ульянова. Здесь он бывал, пожалуй, чаще, чем где бы то ни было. Впоследствии, когда Илья Николаевич был назначен директором народных училищ, здесь находилась его канцелярия.

За колокольной Троицкой церкви (интересный образец архитектуры конца XVIII — начала XIX веков) выглядывает угол еще одного двухэтажного здания. Это дом, где родился и долгое время жил И. А. Гончаров, «дом Гончарова». Он не сохранился, в конце XIX века на его месте было выстроено новое здание, на котором в связи со столетием со дня рождения писателя была установлена мемориальная доска.

Сюжеты фотографий Муренко очень разнообразны. Перед нами стройка в Симбирске в 1867 году (стр. 15). Овраг



Артель грузчиков на пристани.
1900—1904 гг. Неизвестный фотограф. УКМ.

Покровский мужской монастырь.
На кладбище в монастырской ограде, у ее южной стены, был похоронен в 1886 году И. Н. Ульянов.
900-е годы. Открытна.



Московская улица.
Вид со стороны Анненковского переуллка. Слева видны дома Костеркиной и флигель Анаксагорова, в которых Ульяновы жили в 1875—1877 годах.
1900—1904 гг. Неизвестный фотограф. УКМ.

Биржа извозчиков.
Находилась на перекрестке Б. Саратовской и Дворцовой улиц, у гостиного двора.
80-е годы XIX века. Неизвестный фотограф. УКМ.



Зачем



1911



Тихвинский спуск к Волге и Тихвинская церковь (построена в 1749 г.) на фоне весеннего разлива Волги. 1867 г. Фото А. Муренко. УКМ.

речки Симбирки. Рабочие забивают деревянные сваи. Одни — просто кувалдами. Другие — с помощью примитивной «бабы». Видно, что одна группа рабочих — мастера, постоянно занятые строительными работами у того или иного подрядчика. На них фартуки, многие с окладистыми бородами. Но гораздо больше рабочих-сезонников, крестьян из близлежащих и дальних деревень. Одни из них волокут тяжеленную сваю, другие орудуют топорами. Кое-кто из рабочих смотрит с любопытством — фотограф в те времена, конечно, большая диковинка. Но у рабочего на переднем плане, согнувшегося с тяжелой кувалдой, явно «дерзкое» выражение лица, как сказал бы полицейский чин того времени. Рядом с рабочими — всякое мелкое начальство.

На склонах оврага несколько примечательных фигур и групп. Вот сидит на стуле барыня, а за стулом — хорошо одетый мужчина. А вот и еще одна дама. Видимо,



даже такая стройка была немалым событием в жизни старого Симбирска. А может быть, зевак привлек фотограф?

Эта фотография — первая по времени, на которой мы видим рабочий люд Симбирска. Собственно говоря, она не только первая, но и единственная в своем роде для дореволюционного Симбирска.

Примечательна фотография Дворцовой улицы от Ярмарочной площади в сторону Карамзинского сквера. Вокруг Ярмарочной площади была расположена большая часть постоянных дворов, гостиниц, питейных и прочих заведений Симбирска (стр. 18).

На переднем плане — одно из таких питейных заведений с солидной бочкой перед дверьми. В 1867 году в Симбирске один кабак приходился на 35 душ мужского пола, а в Симбирской губернии — на 209 жителей. В то же самое время один номер газеты выписывался на 1000 жителей, а один журнал — на 1700 жителей.

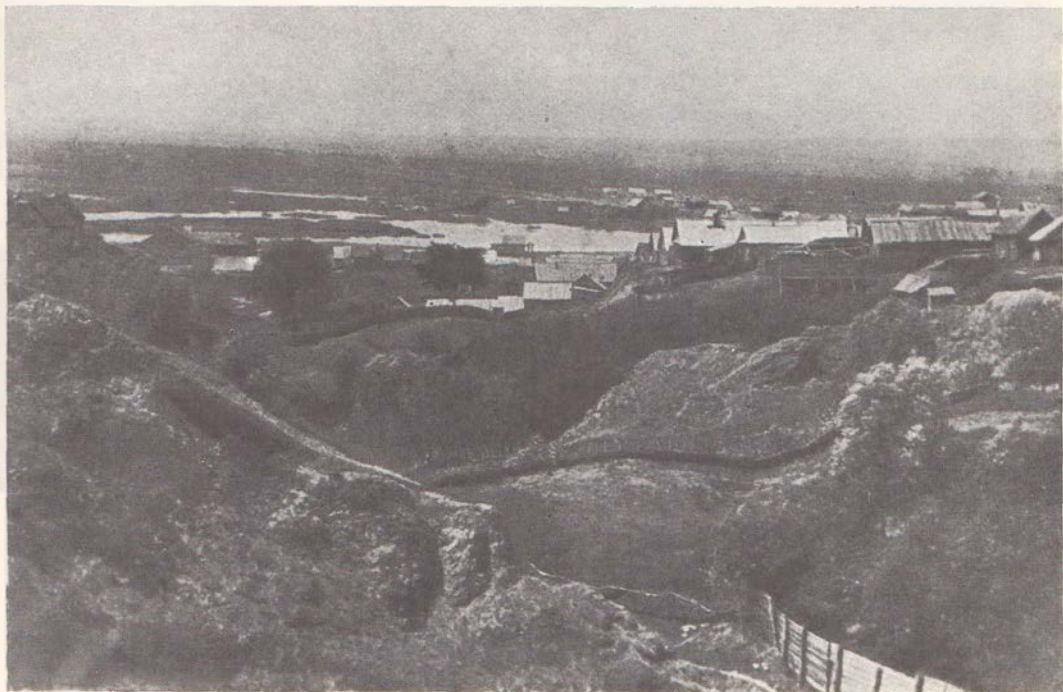
Добавим, что один врач приходился в Симбирске на 2000 жителей, а в губернии — на 60 000 жителей!

Чуть дальше с угла дома смотрит вывеска «Гостиница купца Пожарского». На балконе над вывеской стоит заспанный постоялец. Ниже маленькая вывеска: «Продажа чаю, сахара и кофе».

На заднем плане — участок Дворцовой улицы от Большой Саратовской до памятника Карамзину. Идет большая стройка — улица все еще восстанавливается после пожара 1864 года. А губернаторский дом за памятником Карамзину еще и не начали восстанавливать.

Хороши и другие фотографии Муренко — Тихвинский спуск на фоне разлившейся весной Волги (стр. 19), молебствие на Соборной площади, работы по благоустройству Смоленского спуска и другие...

В фондах Ульяновского краеведческого



**Засвияжье со стороны оврага
Симбирки.**
1868 г. Незвестный фотограф. УКМ.

музея мне не раз попадались небольшие старинные фотографии, наклеенные на кусочки тонкого белого картона. На полях у каждой синий штамп — «Усольская библиотека».

Богатейшими помещиками Симбирской губернии были графы Орловы-Давыдовы. Одной земли у них было свыше 30 тысяч десятин. В их усадьбе в Усолье, где приходилось бывать по делам и Илье Николаевичу Ульянову, была большая библиотека, возникшая еще в XVIII веке. Для нее и были заказаны фотографии Симбирска. Одна из них датирована маем 1868 года. Видимо, и вся серия была выполнена тогда же.

«Усольские» фотографии относятся, таким образом, к моменту приезда в Симбирск семьи Ульяновых. Кроме того, это самая большая и разнообразная из дошедших до нас серий фотографий Симбирска 60—80-х годов прошлого века.



Мужская гимназия.
Вторая половина 60-х годов XIX века.
Неизвестный фотограф.
С репродукции Дома-музея
В. И. Ленина в Ульяновске.

Гостиные ряды.
Построены на Б. Саратовской
улице в 1832 году. Восстановлены
после пожара 1864 года.
Вторая половина 60-х годов XIX ве-
ка. Неизвестный фотограф. УКМ.

Естественно, что на первом месте среди достопримечательностей Симбирска для Орловых-Давыдовых и людей их круга стояли церкви. Кроме Вознесенского собора, фотографии из Усольской библиотеки сохранили для нас внешний вид Троицкой и Ильинской церквей, Петропавловской церкви — на спуске к Волге в окружении садов, Тихвинской церкви. Поэтична фотография Смоленской церкви на фоне Волги и Заволжья.

Примечательны общие виды города. Один из этих снимков сделан с севера, с Ярмарочной площади. На другом — южная часть города, снятая из центра, с колокольни Вознесенского собора (стр. 20). На этой фотографии видна верхняя часть Покровской улицы, а позади, в отдалении — Александровская губернская больница. Сразу за ней начинается так называемый южный выгон.

Но особенно интересен вид на Засви-

яжье (стр. 21). На переднем плане — овраг речки Симбирки, перегороженный заборами, с садами и небольшими рощами на склонах. Налево, за пределами кадра, остается Московская улица, тот ее участок, где позднее поселились Ульяновы. Направо видна часть Большой Конной улицы. А в центре, в глубине кадра — живописно разлившаяся перед мельничной плотиной Свяяга с многочисленными островами — прибежищем симбирских рыбаков и охотников. За Свяягой уходит вдаль и теряется в дымке полоска Московского тракта. Таким видели Засвияжье Ульяновы. А сейчас на этом месте встал индустриальный центр современного Ульяновска, который один во много раз превосходит весь старый Симбирск.

Несколько фотографий из «усольской» серии запечатлели крайне интересное для нас место — Карамзинскую площадь. Фотограф находился где-то в центре этой



площади, поворачиваясь с аппаратом вокруг оси. На переднем плане — памятник историку Карамзину, который и сейчас украшает Ульяновск. Но нынешнего сквера нет и в помине — видны тоненькие прутики только что высаженных деревьев. Нет еще и ограды вокруг будущего сквера — высаженные деревья кое-как огорожены жердями на козлах. Предосторожность оправданная — почти все жители города держали тогда коров, коз, не говоря уже о лошадях. Ежедневно на рассвете пастухи собирали свои стада — северное, южное и сваяжское. Даже в 80-х годах городская дума частенько обсуждала вопросы о местах выпаса, о таксе за пастьбу, а полиция штрафовала хозяев всякого рода живности, безнадзорно бродившей по улицам города.

Площадь еще не замощена. По краям, вдоль зданий видны тротуары-мостики из толстых досок, огражденные деревянными

тумбами. «...При подобной весне, — писал «Симбирские губернские ведомости» в 1865 году, — нам долго придется ждать высыхания наших топких улиц — ужаса пешеходов... Мы не знаем даже, каким образом совершать путешествие; если пойдешь... пешком, то хотя и не утонешь, но калоши уже наверное оставишь в грязи; если же поедешь на извозчике, то приедешь хотя и в калошах, но зато весь забрызганный грязью с головы до ног».

Самое интересное для нас здание на Карамзинской площади — губернская гимназия (стр. 22). Эти слова можно без труда прочесть на фронтоне здания. У гимназии еще нет красного кирпичного пристроя — он был возведен лишь к 1883 году. Нет и деревьев перед зданием — деревья на улицах Симбирска было разрешено сажать лишь в середине 90-х годов XIX века. Поэтому даже самые старые тополя, украшающие ныне улицы

Ульяновска, не были современниками Володи Ульянова.

Гимназия занимала южную сторону площади. Западная сторона была занята сложным комплексом Спасского женского монастыря. Он был обнесен высокой каменной оградой. Главный вход находился в непосредственной близости от гимназии. А уже за этой трехметровой стеной, напоминающей крепостную, виднеются здания двух монастырских церквей.

Северная сторона площади была занята еще одним примечательным для нас зданием. На его фронтоне надпись — «Дом городского общества». В нем размещались городская дума и управа, а часть здания использовалась для экстренных нужд того или иного учебного заведения, которое оказывалось не в состоянии разместить учащихся в собственном здании.

Среди «усольских» фотографий есть и снимок Дворянского собрания, в котором размещалась на правах бедной родственницы единственная тогда в Симбирске об-

Чугунолитейный завод Андреева.
1868 г. Неизвестный фотограф. УКМ.

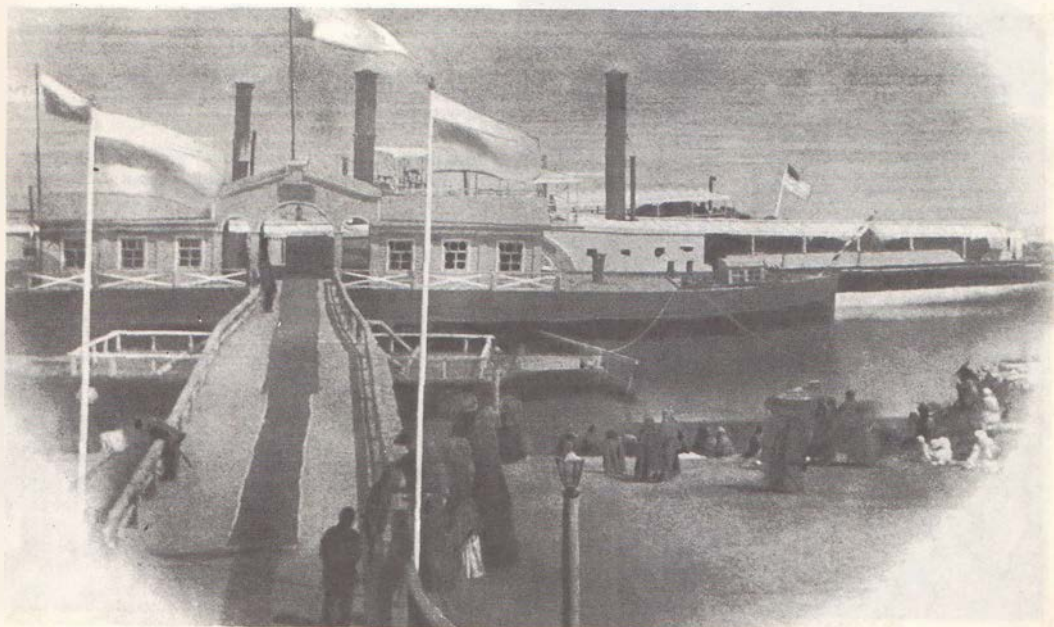


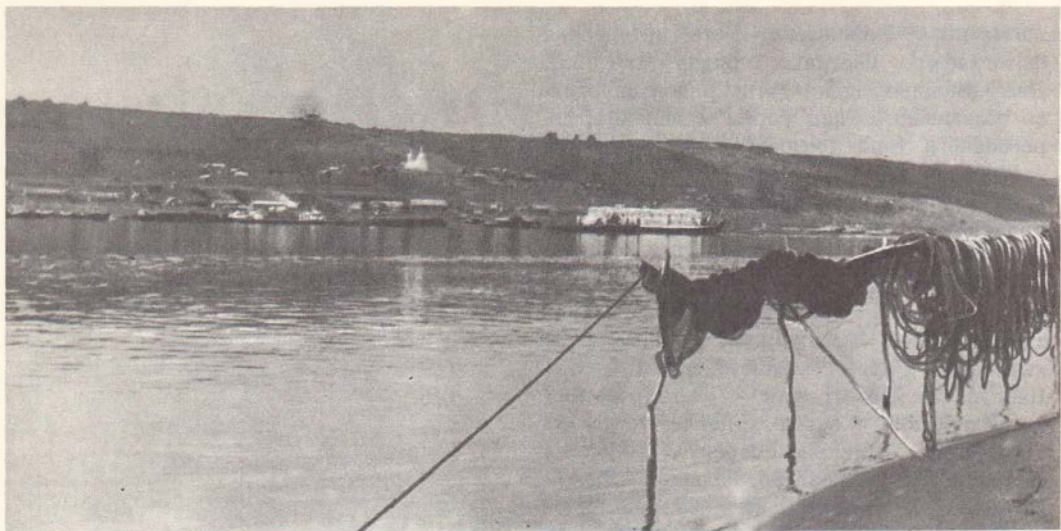
щественная библиотека. Есть интересная фотография Гостиных рядов (стр. 23). Два каменных здания этих рядов сиротливо возвышаются над морем маленьких, деревенского типа домиков, которыми была застроена большая часть Симбирска. На один дом в городе приходилось в середине прошлого века 6—8 жителей, в то время как в Москве, в Петербурге — от 20 до 40 жителей.

Особое значение имеет фотография единственного в то время в Симбирске «крушного» промышленного предприятия. Надпись на фотографии — «Андреевский металлический завод после пожара 1864 года». Длинный сарай с подобием фабричной трубы налево, большая изба — направо. В центре же, за каменной оградой — затейливое двухэтажное каменное здание, где размещалась контора (стр. 24).

«...Завод приводится в действие 10-сильной паровой машиной; вещи, выделяемые на нем, — преимущественно различ-

Симбирск. Пристань.
1868 г. Неизвестный фотограф. УКМ.





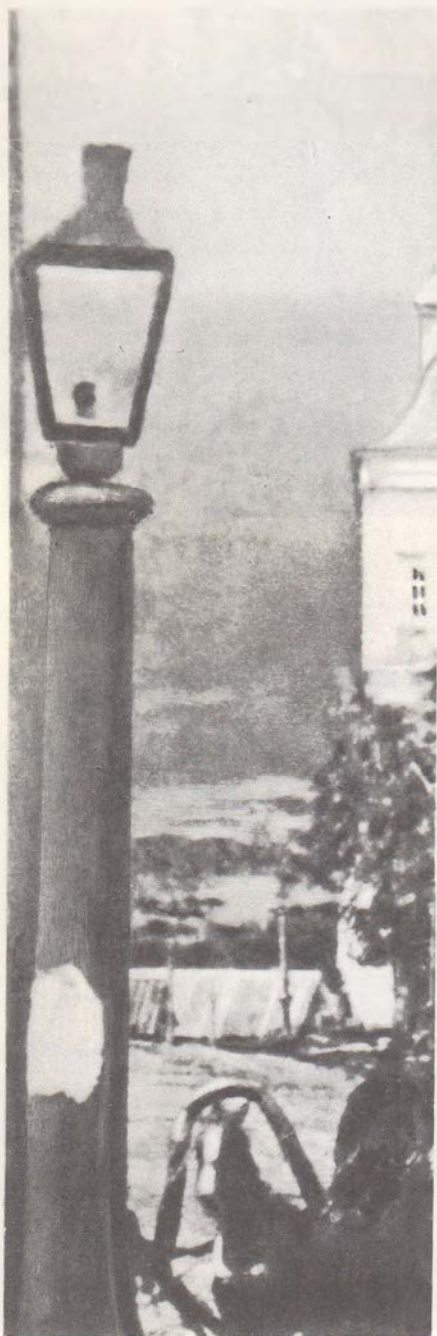
Вид с одного из волжских островов.
80-е годы XIX века. Неизвестный фотограф. УКМ.

Дом Орлова.
В этом доме в 1905—1906 годах находилась штаб-квартира Симбирской группы РСДРП. 1906 г. Фото П. Орлова. УКМ.

Плотина и мельница на Свияге.
80-е годы XIX века. Неизвестный фотограф. Частная коллекция.

Уездная земская управа.
В этом здании была провозглашена Советская власть в Симбирске. 1900—1904 гг. Неизвестный фотограф. УКМ.





Старый фонарь.
70—80-е годы XIX века.
Неизвестный фотограф. УКМ.

Московская улица. Парад
пожарников.
Начало 80-х г. XIX века.
Неизвестный фотограф. УКМ.



ные приборы к молотилкам, вейлкам, паровым машинам и проч.». Рабочих на заводе было около полусотни. В 1865 году «Симбирские губернские ведомости» сообщали: 19 марта в два часа полуночи на чугунолитейном заводе г. Андреева лопнул паровой котел; паром обварило семь человек мастеровых, которым хотя и оказано было медицинское пособие, но они все померли в скором времени».

Фотографии из Усолья показывают нам и старую симбирскую пристань (стр. 25). Дебаркадер, к которому причалил пароход. Живописную группу встречающих. Фонарь-одиночку. Снимок сделан в мае 1868 года. Вряд ли что-либо здесь изменилось (исключая ковры по случаю встречи какой-то августейшей особы) до сентября 1869 года, когда на пристань по этим же мосткам сошел с семьей инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов.

Еще одна находка в фондах краеведче-

ского музея — альбом купца Аннаева. Здесь фотографии самого интересного для нас десятилетия — с середины 70-х до середины 80-х годов.

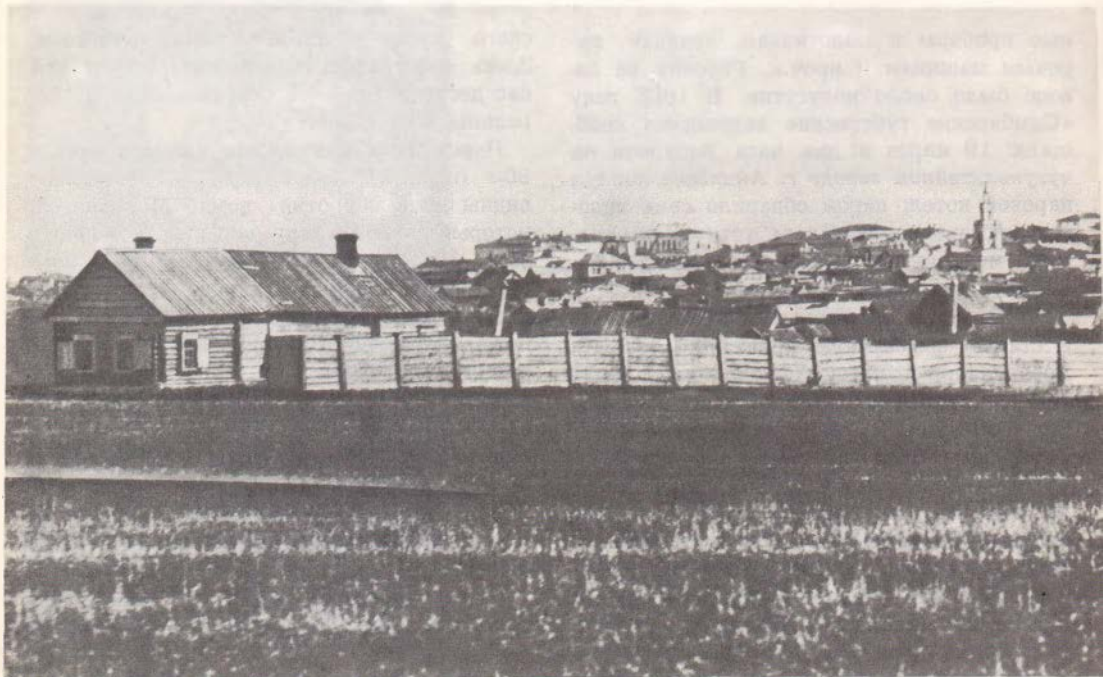
Перед нами Московская улица в начале 80-х годов XIX века (стр. 29). Отчетливо видны дома напротив дома Молчановой, который в 1878 году перешел к Ульяновым. На переднем плане — парад симбирских пожарников перед только что построенным при 1-й полицейской части пожарным депо. За этим необычным зрелищем наблюдает от ворот депо толпа сменяющихся женщин. Группа молодежи смотрит на происходящее с небольшого балкончика над полицейской частью. У дверей части вытянулись городовые. Вдали видны Богоявленская церковь на спуске к Свяге и безлюдное тогда Засвяжье. А небо пересекают... провода. Слева виден столб с изоляторами. Откуда? Ведь электростанция появилась в Симбирске только в 1911 году. Эти провода —

телеграфные. Телеграф соединил Симбирск с Москвой и Петроградом еще в конце 60-х годов.

Слева виден старинный фонарь. В Симбирске в начале 70-х годов было около 400 таких фонарей. Раньше лампы в этих фонарях заправляли особой спиртово-скипидарной смесью. С начала 70-х годов в дело пошла новинка — керосин. Такой же фонарь стоял против дома Ульяновых.

Другая уникальная фотография этого периода — панорама Симбирска с севера фотографа Бина (стр. 30—31, 32—33). Панорама выглядит на первый взгляд очень невыразительно. Огромное поле, заросшее бурьяном, занимает нижнюю половину кадра. Пустое небо в пятнах от выцветания — верхнюю. И только посредине тянется узенькая, шириной в карандаш, полоска — Симбирск 80-х годов, снятый с севера, вероятно с одной из ветряных мельниц.

Симбирск с севера. Панорама.
1883—1887 гг. Фото Бина. УКМ.



Увеличенная до четырех метров панорама преобразуется и производит большое впечатление. Передний план — северная окраина города, изба, дощатый забор. Далее местность понижается к оврагу Симбирки, и вся эта часть города как бы проваливается, а на горизонте — высокий волжский берег, улицы и здания, расположенные над Волгой.

Слева видна большая часть Стрелецкой улицы. При десятикратном увеличении отчетливо видны дом Прибыловской (со двора) и флигель во дворе этого дома, в котором родился В. И. Ленин. Радостная находка — первое фотографическое изображение этих зданий, дошедшее до нас!

Сейчас этот флигель бережно восстановлен во внутреннем дворе Мемориального центра в Ульяновске.

Внимательный анализ панорамы поможет уточнить, когда она была снята. Отчетливо видно белое здание мужской гимна-



зии с темным кирпичным пристроем. Пристрой был закончен лишь в 1883 году. Следовательно, фотография не могла быть сделана раньше этого времени. Но на снимке нет дома уездной земской управы (ныне Дом офицеров), он был построен в 1889 году. Итак, снимок сделан между 1883 и 1889 годами.

Перед нами проходят слева направо дом Языковых, где останавливался когда-то Пушкин, гимназия, театр, здание кадетского корпуса, «дом Гончарова» и, наконец, Мариинская гимназия, в которой учились Анна и Ольга Ульяновы. А за ними — силуэты церквей и соборов, силуэт водонапорной башни. Все это в лучах яркого после-полуденного солнца.

И чувствуешь волнение. Ведь это Симбирск в те годы, когда Володя Ульянов учился в старших классах гимназии, когда восприятие окружающего было у него наиболее острым. Это тот Симбирск, образ



которого остался у него в памяти на всю жизнь. Ведь больше в родной город попасть Владимиру Ильичу не довелось...

То же чувство и перед фотографией, на которой со вкусом запечатлен женский монастырь, расположенный рядом с гимназией (стр. 34). Снимок сделан с колокольни Никольской церкви. И на переднем плане оказались не монастырские церкви, а памятник Карамзину и сквер вокруг него. Деревья, которые на фотографиях 60-х годов выглядели тоненькими хлыстиками, теперь пышно разрослись. А вокруг памятника видны скамейки, на которых частенько сиживали гимназисты.

Среди фотографий 80-х годов бросается в глаза и здание Дворянского собрания с той стороны, где помещалась Карамзинская общественная библиотека (стр. 35). У входа в библиотеку фигурки нескольких ребят. В эту дверь в единственную в Симбирске 70—80-х годов библиотеку



не раз заходил и гимназист Владимир Ульянов.

Особый интерес представили три однотипные фотографии, снятые в самом конце 90-х годов. Это панорамы Симбирска с запада и юга. Жизнь у них была явно нелегкой. Отпечатанные на тонкой аристократической бумаге с негативов 13 × 18 сантиметров, они, видимо, когда-то уже использовались для выставок. Канцелярским клеем к середине оборотной стороны каждой фотографии были приклеены петельки из сапожных шнурков. Края обломаны, крошатся. На тех местах, где на обороте был намазан клей, изображение выцвело.

Среди фотографий 90-х годов интересен снимок губернаторского дома в момент, когда с балкона оглашался какой-то манифест. В правом верхнем углу видна Стрелецкая улица с юга (стр. 36).

В 1917 году в губернаторском доме обо-

Карамзинский сквер и женский монастырь.
80-е годы XIX века. Неизвестный фотограф. УКМ.





Карамзинская библиотека.
80-е годы XIX века. Неизвестный
фотограф. УКМ.





Иллюстрация. Здание в городе. Вид с высоты. На переднем плане видны люди, идущие по дорожке.

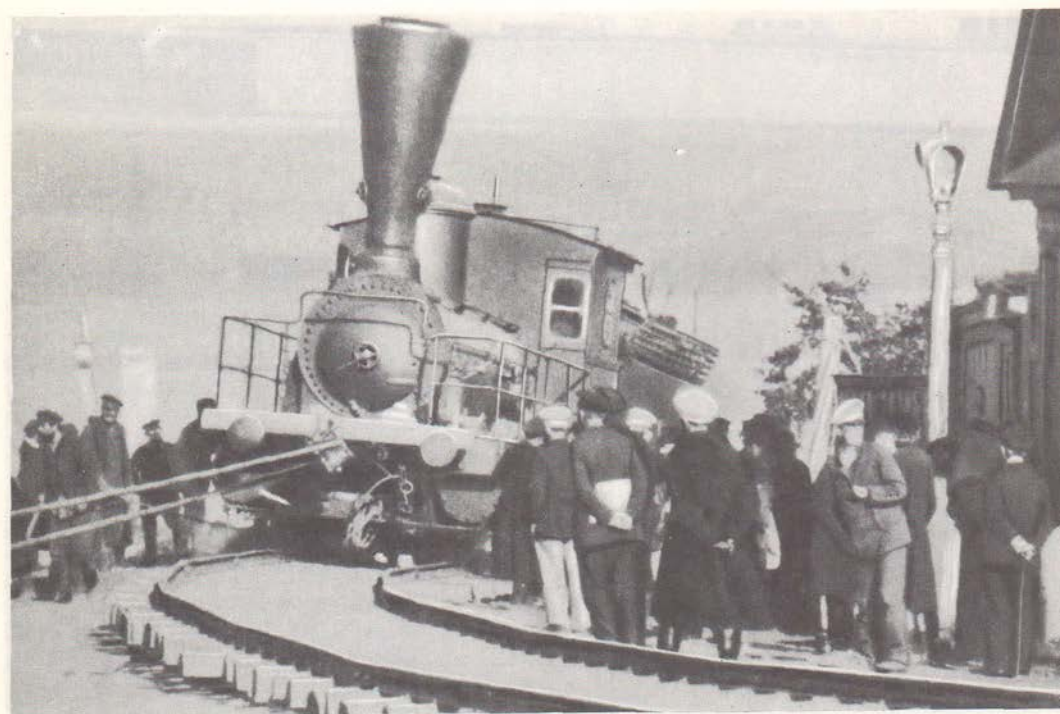


Иллюстрация. Паровоз на выставке. Люди рассматривают локомотив.

Дом губернатора и Стрелецкая улица.

В 1917 году здание было занято Симбирским Советом и стало называться Домом свободы. 90-е годы XIX века. УКМ.

Первый паровоз в Симбирске. Подъем паровоза с пристани на высокий волжский берег. Паровоз предназначался для линии Симбирск — Инза.

1898 г. Гос. библиотека имени В. И. Ленина.

Стрелецкая улица.

Вид с севера со стороны

Б. Саратовской улицы.

1900 г. Открытка с фото

С. Н. Никитина. Музей 1-й средней школы имени В. И. Ленина в Ульяновске.

сновался Симбирский Совет и дом стал называться Домом свободы.

В 1898 году симбиряне встречали первый паровоз... приплывший по Волге. Постройка железной дороги Симбирск — Инза началась в 1897 году. К 1898 году железнодорожная колея протянулась на несколько десятков верст от Симбирска, но еще не дошла до Инзы. Вот почему паровоз доставили водой из Нижнего Новгорода, а потом долго и трудно поднимали по волжскому косогору при большом стечении народа (стр. 36).

Можно смело предположить, что с 1900 по 1916 год было выпущено свыше 400 открыток с видами Симбирска. Открытки эти издавались прежде всего хозяевами книжных магазинов Симбирска.

И наибольшее количество «видов» выпустил симбирский магазин «Семья и школа». Чаще всего на открытках соборы и церкви, немногие памятники города (Ка-





Завьяловский спуск к Волге. Место прогулок и игр детей Ульяновых в период, когда они жили на Стрелецкой улице (1869—1875 гг.). 900-е годы. Открытка.

рамзину, а позже Столыпину), административные здания, учебные заведения, один или два вида на Волгу... Среди них — единственное изображение Стрелецкой улицы с севера, со стороны В. Саратовской, которое дошло до нас (стр. 37).

Слева богато украшенный резьбой одноэтажный дом, построенный после пожара 1864 года иконописцем Кулаковым. Он находился напротив дома Федоровой-Жарковой, в котором Ульяновы жили в 1871—1875 годах. Далее видны дома поздней постройки. Они принадлежали врачу И. С. Покровскому, знавшему семью Ульяновых. Внимательно взглядевшись, можно различить и дом на углу Сенной улицы, принадлежавший Каврайским. Из этой семьи вышел один из симбирских художников.

Правая сторона улицы видна под более острым углом и начинается на открытке с одноэтажного каменного дома, построенного еще в 1865 году помещиком Виноградовым. Вплотную к нему примыкает ка-



Городская управа.

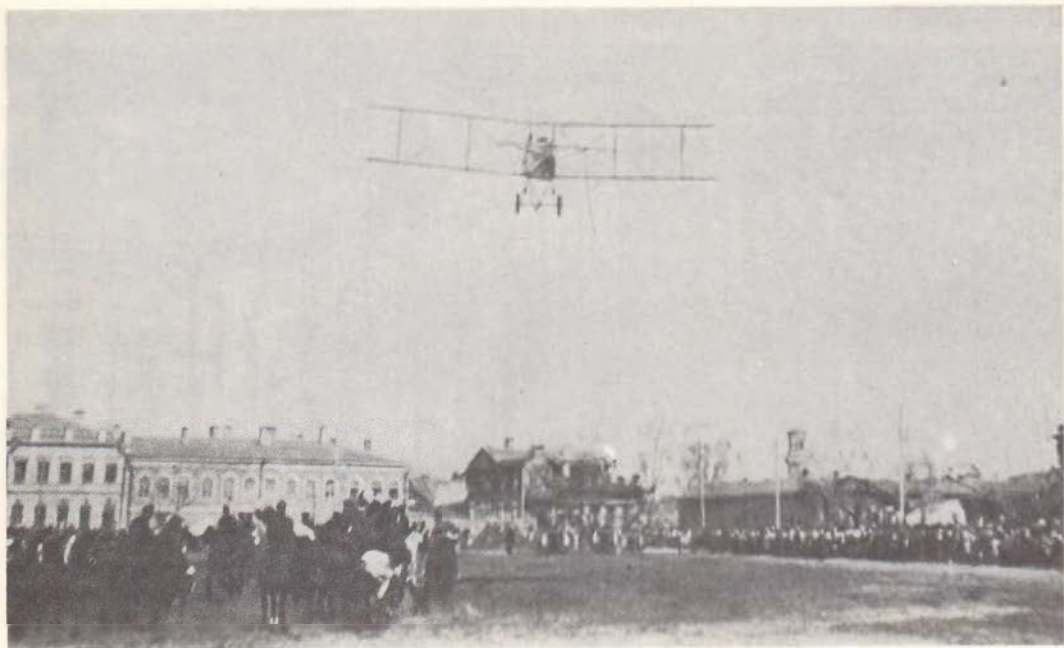
В этом здании размещались до 1883 года младшие классы мужской гимназии. Здесь занимался в 1-м классе Володя Ульянов. 80-е годы XIX века. Неизвестный фотограф. УКМ.

менное двухэтажное здание — дом Прибыловской, о котором мы уже говорили. В этом доме Ульяновы жили в 1870—1871 годах. За этим домом вдоль по улице шел сад.

В конце улицы вырисовывается силуэт Никольской церкви, а еще дальше — соборы на площади.

Открытка эта не раз переиздавалась. Кроме основного варианта, удалось найти еще два — на зеленом фоне и раскрашенную. Но напечатаны они с одной и той же фотографии. Эта фотография, сделанная симбирским фотографом С. Н. Никитиным в 1900 году, была недавно подарена музею 1-й средней школы имени В. И. Ленина в Ульяновске.

Интересную по содержанию и оформлению серию издал симбирский книжный магазин «Сотрудник». В этой серии 15 черно-белых и цветных открыток под номерами. Наряду с традиционными сюжетами — памятник Карамзину и т. п. — мы находим в этой серии интересный вид Дворцо-



**Первый самолет над Симбирском.
Один из первых полетов над
Ярмарочной площадью
Симбирска.
1912—1913 гг. Фото Н. Кушманского
и А. Менделя. Частная коллекция.**



Пожар моста через Волгу
в июле 1914 года.
1914 г. Неизвестный фотограф.
Частная коллекция.

вой улицы у базара. Другая редкая открытка — «Вид со Старого Венца» (стр. 38). Здесь сфотографирован участок волжского косогора, находившийся ближе всего к домам, которые Ульяновы в разное время занимали по Стрелецкой улице. Как раз над этим участком косогора воздвигнуто сейчас здание Мемориального центра.

Использовать открытки для показа Симбирска 70—80-х годов стоит только в тех случаях, когда они восполняют пробелы в фотографиях 60—80-х годов (да и то с оговорками). Другое дело — Симбирск эпохи трех русских революций. Для этого периода видовые открытки Симбирска — важнейший источник.

Накануне революции 1905 года в Симбирске возникла местная группа РСДРП. Ее возглавили Василий Орлов и Валентин Рябиков. Штаб-квартирой стал дом отца Орлова в нынешнем Зеленом переулке. Совсем недавно найдена фотография этого дома 1906 года, ее сделал младший брат Василия Орлова. Учитывая, что позже дом



1 мая 1919 г. в Симбирске.
1919 г. Неизвестный фотограф.
УКМ.

перестраивался, эта фотография представляет существенный интерес, особенно в связи с предстоящей реставрацией этого дома и превращением его в музей (стр. 26).

В 1898 году симбиряне встречали первый паровоз, а накануне мировой войны над Симбирском поднимаются первые аэропланы. Железнодорожный мост через Волгу (крупнейший тогда в Европе) связал Симбирск с Заволжьем. Строительство моста началось в 1913 году, но было завершено только в 1916 году. Задержал строительство пожар в июле 1914 года. Загорелись огромные деревянные клетки, на которых собирались металлические фермы (стр. 41). Большие серии снимков катстрофического оползня 1915 года и строительства моста завершают историю дореволюционной симбирской фотографии.

Установление Советской власти в Симбирске, годы гражданской войны и интервенции — новая важная глава в фотолетописи Симбирска-Ульяновска.



Дом Ульяновых на Московской улице.
Демонстрация в ознаменование дня Парижской коммуны 18 марта 1923 года перед домом Ульяновых, превращенным в историко-революционный музей.
1923 г. Фото Лентовского. УКМ.

Мы снова на Большой Саратовской улице напротив Гостиных рядов. Правда, с 1912 года улица носит имя Гончарова. Здания — те же. А вот люди, эпоха — явно другие. Революционный Симбирск празднует 1 Мая 1919 года. Всадники в буденовках. Четкий строй бойцов. «Долой мировую буржуазию! Смерть Колчаку! Да здравствует Коммунистический Интернационал!» Толпы симбирян на тротуарах.

1923 год. Отмечается день Парижской коммуны 18 марта. Рабочие Симбирска проходят мимо дома, который привлекает все большее и большее внимание симбирян и всех советских людей, дома Ульяновых на Московской улице — улице Ленина. Дом только что превращен в историко-революционный музей. Это первая дошедшая до нас фотография нынешнего Дома-музея В. И. Ленина, которой завершается фотолетопись Симбирска и начинается фотолетопись Ульяновска. Фотография эта предназначалась в подарок В. И. Ленину.

В. Шалагинов

Когда Ленин уехал из Самары

Перед нами конduit тайной слежки самарского полицмейстера. Назван этот конduit «Книгой на записку лиц, состоящих под негласным надзором», и вид его довольно непрезентабелен¹.

Через весь журнальный разворот — регистрационная запись с именем Владимира Ильича. Вчитываемся в концовку:

«Ульянов выбыл из г. Самары в Москву, о чем донесено г. Самар[скому] губернатору и сообщено начальн[ику] Самар[ского] жанд[армского] упр[авления] и Московскому обер-полицейстеру 27 августа 1893 г. за № 208»².

Перо канцеляриста пометило лишь дату исполнения: 27 августа 1893 года в недрах полицейского управления родились три исходящих бумаги, из которых следовало, что бывший студент Владимир Ульянов, брат казненного революционера, создавший в Самаре кружок марксистов-единомышленников, выбыл в Москву.

Но вот когда это случилось?

Тайная служба осведомления этого не знала. В своих донесениях они либо вовсе не называли дня отъезда Ленина из Самары, либо называли разные числа. Да ведь и Москва-то была ошибкой. Не в Москву, а через Москву в Питер направлялся молодой революционер.

Удалось ли установить эту вежу в наше время?

В приложениях к 1-му тому 3-го издания ленинских сочинений стоит вполне определенное число — 17 августа³. В последующих же изданиях такого вполне определенного числа мы не находим. Объясняется это, по-видимому, тем, что до-

несение шефа самарских жандармов департаменту полиции, помеченное, как и бумага полицмейстера, 27 августа 1893 года и содержавшее прямое указание на семнадцатое число⁴, оказалось позднее если не совершенно ошибочным, то, во всяком случае, сомнительным. Семнадцатое число оспаривается, скажем точнее, отменяется удостоверением от 18 августа 1893 года, выданным Владимиру Ильичу по его просьбе в подтверждение того, что он состоял помощником присяжного поверенного при Самарском окружном суде и дважды получал свидетельства на ведение чужих судебных дел⁵. Конечно же, невозможно оставить самарский берег семнадцатого (Ульяновы уезжали на пароходе)⁶, а восемнадцатого получить в Самаре удостоверение.

Но вот действительно ли удостоверение было получено в Самаре? А что, если канцеляристы направили его прямой эстафетой в Петербург на имя М. Ф. Волькенштейна, будущего патрона Владимира Ильича по столичной адвокатуре?

Тогда прав начальник жандармерии, и Ленин на самом деле уехал семнадцатого.

Готовя для «Сибирских огней» новую часть рассказа о Ленине-юристе⁷, я как-то наткнулся в архиве на другую книгу:

«Входящий журнал по столу председателя Самарского окружного суда на 1893 год»⁸.

В ней любопытны две записи.

Четвертая, под рубрикой «Содержание бумаг»: «Помощника присяжного поверенного Владимира Ильича Ульянова (прошение. — В. III.) о выдаче ему удостоверения о том, что он состоит по сие время в

¹ Госархив Куйбышевской области, фонд 465, опись 1, обложка 384 ед. хр.

² Там же, л. 93 об. и 94.

³ В. И. Ленин, Собр. соч., изд. 3, т. I, стр. 528.

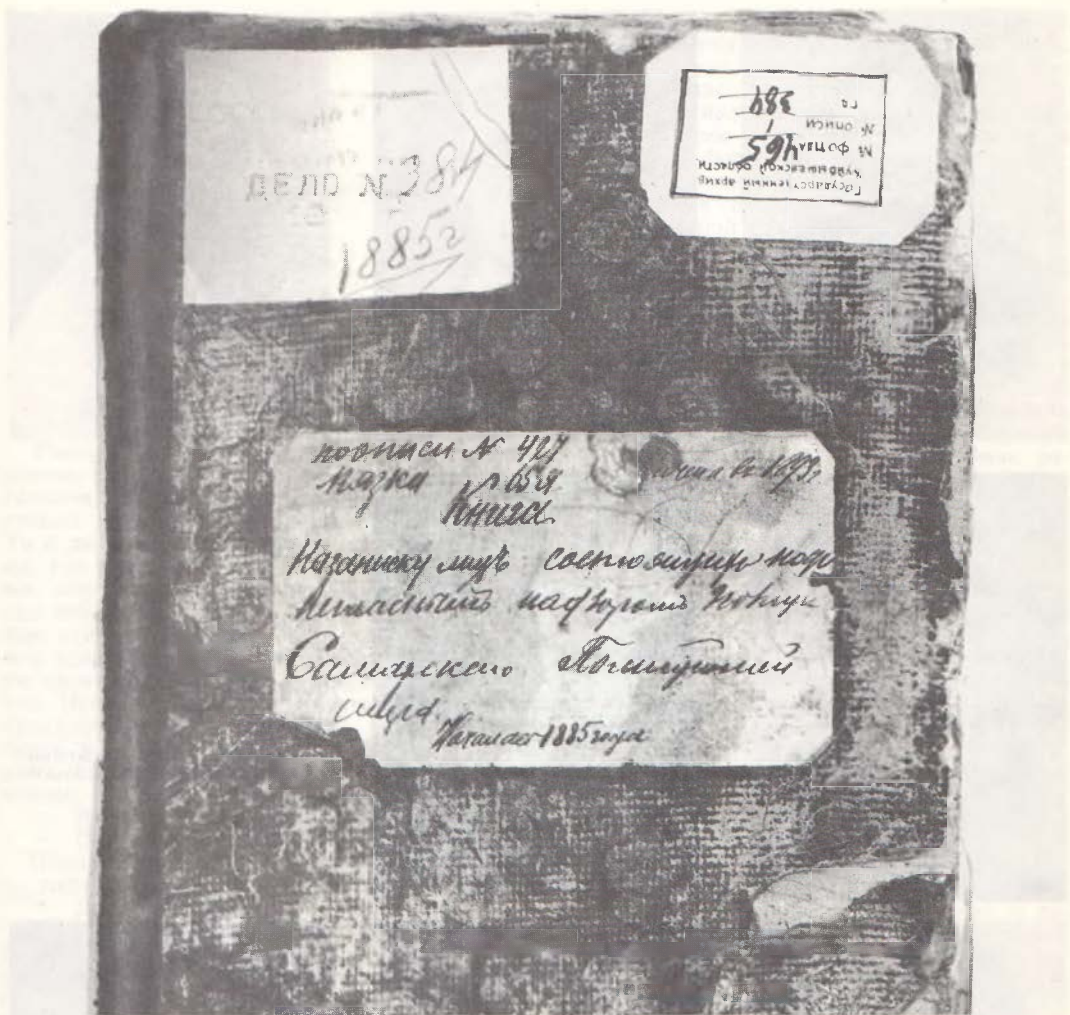
⁴ «Красный архив», 1934, т. I(62), стр. 74.

⁵ В. И. Ленин и Самара, Куйбышев, 1966, стр. 274 (прошение В. И. Ленина о выдаче удостоверения) В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. I, стр. 562.

⁶ Д. И. Ульянов, Воспоминания о Владимире Ильиче. М., 1966, стр. 44.

⁷ Третий очерк. Два первых помещены в журнале «Сибирские огни», № 4 за 1965 г. и № 1 за 1967 г.

⁸ Госархив Куйбышевской области, фонд 8, опись 1, ед. хр. 1132, обложка.



оном звании». И шестая: «Выдано 18 августа за № 1844»⁹.

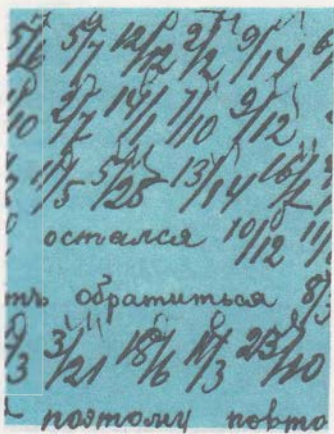
Судя по характеру записей в обнаруженной книге удостоверение № 1844 было вручено непосредственно в руки подателя прошения (при выдаче подобных документов по доверенности делали в книге стереотипную оговорку).

Следовательно, 18 августа 1893 года Ленин еще был в Самаре. Называя другое число, шеф губернской жандармерии продемонстрировал свою неосведомленность.

А вот день отъезда Ленина в Петербург?¹⁰

⁹ Там же, л. 72 об. и 73.

¹⁰ Подготовители первого тома биографической хроники В. И. Ленина, располагая теми же документами, что и автор заметки, то есть опубликованными в сборнике «Ленин и Самара» (Куйбышев, 1966), документами № 272, 274 и 276 из фонда семьи Ульяновых, сочли возможным принять как наиболее достоверную дату выезда Ленина из Самары в 1893 году — 20 августа (см. «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника», т. 1, 1970, стр. 77). — Ред.



Е. Д. Стасова,

А. В. Яровицкий,

С. А. Скирмунт.

В. П. Арцыбушев. Фрагмент
 (полностью страница этого
 письма на стр. 13).

С. Н. Афанасьева,

С. Я. Елпатьевский,

Г. М. Кржижановский.



В. Степанов, З. Тихонова

Адрес — Россия

Ранним осенним утром 1903 года надзиратель самарской тюрьмы Чубарев зычным голосом требовал от стражников незамедлительно доставить ему пожарную лестницу. То и дело он поглядывал на тюремную стену, где между третьим и четвертым этажами, зацепившись за водосточную трубу, висел небольшой сверток бумаги. Через грязные стекла забранных в решетку окон камер едва виднелись напряженные лица «политиков», следивших за поднятой суматохой. Наконец стражники вместе с солдатами приставили к стене лестницу, но когда Чубарев уже занес ногу на первую перекладину, захлопали форточки и раздались крики:

— Не смей трогать, жандармская морда!
— Ошпарим кипятком!

Поколебавшись, Чубарев снова взялся за лестницу, но его остановили голоса:

— Давай кипяток!!!

Трое суток раскачивался на ветру таинственный сверток, и лишь на четвертые, глубокой ночью, из окна специально освобожденной камеры надзирателям удалось отделить его от водосточной трубы.

На следующее утро начальник тюрьмы распекал своих подчиненных. Прوماх был налицо, так как в свертке находилась «Искра», а приложенная к ней записка свидетельствовала о том, что газета давно уже путешествует по камерам. Печатными буквами, чтобы не узнали автора, в записке было написано: «Дается на строго определенный срок — три часа на человека». И хотя сверток оказался в руках тюремной администрации, «почталонов» выявить не удалось. Нераскрытым оказался и путь, которым ленинская «Искра» попала за тюремные стены...

Чем дальше развивается советская историческая наука, тем глубже, конкретнее и, мы бы сказали, человечнее становится для нас понимание значения «Искры» в идейном и организационном объединении партии. Известное историческое понятие, в обобщенной форме не раз сформулированное В. И. Лениным, раскрывается в судьбах десятков и сотен людей, в их с виду незаметной повседневной будничной работе.

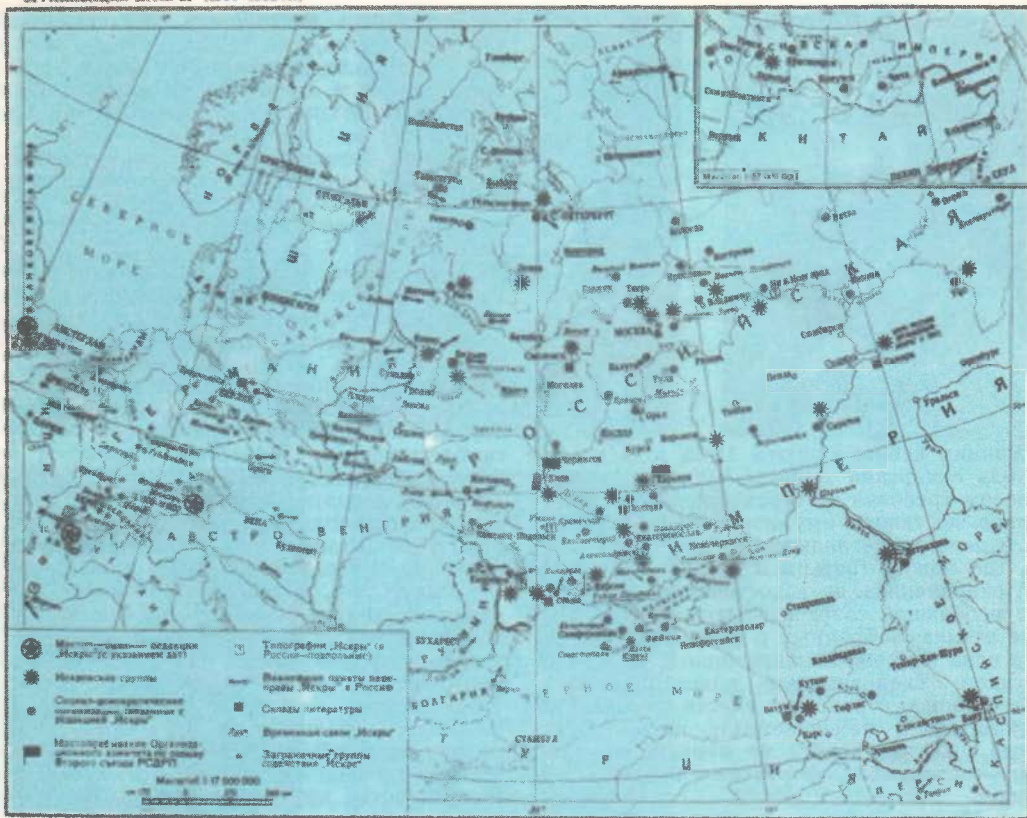
В. И. Ленин на опыте предшественников учил социал-демократов использовать в нелегальной деятельности самые широкие слои населения. Великая историческая заслуга народовольцев, указывал он, состояла в том, «что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием»¹. Массовое стихийное рабочее движение потребовало от социал-демократов создать несравненно лучшую организацию революционеров, чем была у землевольцев. Стала нужна строгая специализация членов партии и групп: одни печатают литературу, другие доставляют ее из-за границы, третьи развозят по России, четвертые разносят в городах по предприятиям и в рабочих кварталах. «Такая специализация требует, мы знаем это, — писал В. И. Ленин, — гораздо большей выдержки, гораздо больше умения сосредоточиться на скромной, невидной, черной работе, гораздо больше истинного героизма, чем обыкновенная кружковая работа»².

Это идеальное построение партии нашло свое практическое воплощение в Русской организации «Искры», которая для победы над гигантским механизмом самодержавного государства противопоставила ему и героизм нелегальных работников, и стройный аппарат, опирающийся в своей деятельности на самые широкие, оппозиционно настроенные слои населения.

Важнейшим делом, вокруг которого складывалась русская организация «Искры», была доставка «Искры» в Россию.

Под руководством В. И. Ленина была создана «русская социалистическая почта». Ее деятельность охватывала всю европейскую часть России — от Архангельска до Батуми. Обычно «Искру» из Берлина посылали небольшими посылками в закордонные склады в Стокгольме, Варде, Кенигсберге, Вене, Праге, Марселе, Тавризе и Львове, откуда различными способами доставляли в Россию. Газету и другую искровскую литературу переправляли через Норвегию и Египет, Швецию и Пер-

ОРГАНИЗАЦИЯ «ИСКРЫ» (1900—1903 гг.)



сию, Францию и Австро-Венгрию, Пруссию, Румынию и Болгарию. С помощью социал-демократов этих стран были организованы «транспортные пути» — так назывались маршруты, по которым «Искра» шла в Россию. Для спешных посылок редакция использовала императорскую почту, пересылая «Искру» в конвертах, а издания — в переплетках книг и альбомов.

Каждый агент «Искры» должен был подыскивать надежные адреса, по которым проживали лица, сочувствовавшие социал-демократии, но в то же время, безусловно, «благонадежные». Адреса сообщались редакции, а та, в свою очередь, пересылала их в Берлинскую группу содействия «Искре», которая организовала отсылку литературы.

Перед отправкой конверту с «Искрой» нужно было придать вид обычного письма. Для этого подготовленные к отправке но-

Организация «Искры». 1900—1903 гг.

мера смачивали водой и клали под пресс. После просушки получалась тонкая пластинка бумаги, и конверт уже не мог привлечь внимания своей толщиной. Чтобы скрыть отсылку большого количества писем, конверты, как правило, опускали в почтовые ящики в течение двух-трех дней в разных районах Берлина и даже в других немецких городах.

В конверте можно было послать только один номер газеты, а редакции нередко требовалось срочно отправить целую посылку. В таком случае применялась особая техника: из номеров «Искры», «Зари», брошюр, издаваемых заграничной лигой русской революционной социал-демократии, изготовля-

лся картон, а из него делали переплеты альбомов, каталогов, шляпные коробки, пастарту картин и т. д., которые посылались по адресам, предназначенным специально для переплетов. Получить такую посылку, отмечал Г. М. Кржижановский, было особенно приятно.

...В середине июня 1902 года в квартире Кржижановских в Самаре собрались их ближайшие друзья. Пока Зинаида Павловна накрывала на стол к чаю, Глеб Максимилианович и недавно вернувшийся из ссылки Константин Бауэр, стоя у окна, оживленно спорили.

Когда появился пыхтящий самовар и все расселись по местам, Глеб Максимилианович взял в руки альбом и оборвал роскошный, тисненый золотом переплет. Самовар подвинули на край стола и под струю горячей воды, льющуюся в лохань, поднесли оторванный переплет. На глазах у всех он стал расходиться тонкими листами. Зинаида Павловна губкой снимала с них остатки клея и передавала Арцыбашеву. Он бегло просматривал каждую страницу и затем клал ее на просушку. Вскоре появился и титульный лист: **Н. Ленин. Что делать? Наиболее важные вопросы нашего движения. Штутгарт. 1902.** В этот же переплет был заделан и № 21 «Искры» с проектом программы РСДРП. Через какой-нибудь час тонкие листы брошюры и газеты просохли, их отсортировали, и за столом воцарилось молчание — самарские искровцы читали ленинскую работу...

Точно так же переплеты «потрошили» в Москве и Томске, Петербурге и Киеве и многих других городах России.

После устройства в России нелегальных искровских типографий в переплетах пересылали матрицы для перепечатки отдельных номеров газеты.

К сожалению, трудно подсчитать все адреса, по которым «Искра» проникала в Россию, так как переписка редакцией сохранилась далеко не полностью, но и то, что дошло до нас, показывает, что газету получали более чем в 50 городах и населенных пунктах России. Она попадала даже в такие отдаленные города, как Оханск Пермской губернии, Шостка Черниговской губернии, в местечко Свислочь Гродненской губернии, на железнодорожные станции Окуловка, Обь и другие.

В сохранившейся переписке упоминается 11 адресов учителей, 9 — инженеров, 6 — железнодорожных служащих. В Тверской губернии «Искру» получал крестьянин Егоров. Но особенно много адресов медиков.

Их 72. Это врачи, сестры милосердия, акушерки. Так, например, ленинская «Искра» регулярно посылалась в больницу на Балаханских нефтяных промыслах, в земские больницы Торжка и Кореиза, врачам Петербурга, Москвы, Харькова, Николаева и других городов. В одну только Ялту в 1902 году номера «Искры» с корреспонденцией о праздновании в городе Первого мая Берлинская группа послала по 13 адресам. Среди тех, кто получил этот номер, был лечащий врач Л. Н. Толстого и А. П. Чехова Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854—1932). Он вошел в революционное движение еще в конце 70-х годов как народник. В 1880 году по делу Веры Фигнер был сослан в Уфимскую, а затем в Енисейскую губернию. В 1897 году в связи с тяжелым заболеванием С. Я. Елпатьевского разрешили поселиться в Ялте. Здесь, по свидетельству жандармов, вокруг него «группировались противоправительственные элементы местного общества».

С. Я. Елпатьевский в годы Советской власти стал одним из зачинателей курортного дела в Крыму.

Адреса медицинских работников использовались искровцами не только для посылки газеты, но и для конспиративной переписки и явок, так как к ним, не вызывая подозрений, легко мог зайти любой посвященный в суть дела член организации, получить пришедшее из-за границы письмо или очередной транспорт «Искры». Старейший член партии Елена Дмитриевна Стасова вспоминала, как хозяйка явочной квартиры в Петербурге врач К. А. Крестников частенько шутивно уговаривал подпольщиков, чтобы они рекламировали его великолепный курс лечения, после которого клиенты уходят изрядно пополневшими («клиенты» толстели прямо на глазах за счет спрятанной под одеждой нелегальной литературы)³.

В 1902—1903 годах в Петербурге действовал адрес явки: «Мариинская больница, хирургическое отделение, врач Б. Д. Стасов»⁴. Борис Дмитриевич Стасов (1878—1961) — младший брат Елены Дмитриевны, попал на заметку охраны еще во время обучения в Военно-медицинской академии. Он принимал участие в студенческом движении, содействовал получению и распространению нелегальных изданий. Когда же питерским искровцам потребовалась надежная явка, он по просьбе Елены Дмитриевны предложил две квартиры: одну — в интэрнате Мариинской больницы, где он жил, и вторую — в хирургическом отделении.

по месту работы. Решили остановиться на втором адресе, как более надежном. Эта явка служила для встреч с замечательным искровским деятелем, любимцем питерских рабочих Иваном Ивановичем Радченко.

В годы Советской власти Б. Д. Стасов работал в Ленинграде, участвовал в Великой Отечественной войне.

Фамилия Стасовых была хорошо известна всем прогрессивным людям России. Дмитрий Васильевич Стасов — отец Елены и Бориса, еще в 60-е годы участвовал в разработке пореформенного судебного уложения и был первым председателем Совета присяжных поверенных в России. В качестве защитника он неоднократно выступал на крупных политических процессах. Когда же в 90-е годы в общественном движении стала играть заметную роль социал-демократия, он, по словам Елены Дмитриевны, изъявил желание почитать Маркса, чтобы не бродить «как-то оцупью»⁵. Под статью своему мужу была и Поликсена Степановна, передавая женщина своего времени, поборница женского образования.

Адрес петербургской квартиры Стасовых (Фушштатская ул., д. 20) фигурирует в редакционной переписке ленинской «Искры». Именно сюда Н. К. Крупская присылала красочные открытки с видами городов и различных достопримечательностей, которые старшие Стасовы неизменно передавали Елене Дмитриевне. Каждая такая открытка была извещением о посылке в Стокгольм очередного транспорта искровской литературы, к приемке которого следовало приготовить все необходимое⁶.

...Однажды Надежда Константиновна Крупская разрезала бандероль, полученную из Петербурга, и в ее руках оказался ежемесячный журнал «Новое Дело». Быстро перелистав его, она стала осторожно нагревать над лампой 20-ую страницу. Под воздействием тепла медленно проступали коричневые буквы «химического» письма И. И. Радченко, начинавшегося словами: «Отвечаю Вам на Ваше длинное письмо...» Внизу следующей страницы что-то особенно заинтересовало Надежду Константиновну. Слова здесь прерывались строками простых дробей. Взяв с полки томик сочинений Н. А. Некрасова, она открыла его на стихотворении «Похороны». Поглядывая то на страницу тома, то на «химическое» письмо, Надежда Константиновна на клочке бумаги стала писать отдельные буквы, постепенно складывавшиеся в слова и фразы: «Посылайте «Искру» (мех), «Зарю» (нановальня) Публичная библиотека, разумеется

вначале добавьте еще паскудное⁷ слово (как следует быть, официально), тайному советнику Владимиру Васильевичу Стасову⁸, все честь чистую и титул не забудьте»⁹. С этого времени еще один представитель семьи Стасовых стал получать «Искру».

В. И. Ленин в замечательной работе «Что делать?» ставил задачей партии еще больше расширять сотрудничество с самыми широкими демократическими и оппозиционными кругами российского общества. Он писал: «Мы должны взять на себя задачу организовать такую всестороннюю политическую борьбу под руководством нашей партии, чтобы посильную помощь этой борьбе и этой партии могли оказывать и действительно стали оказывать все и всякие оппозиционные слои»¹⁰. И действительно, лучшие представители прогрессивной русской интеллигенции сообразно своим политическим взглядам и по мере сил оказывали ту или иную помощь социал-демократическим организациям и редакции «Искры».

Один из старейших и наиболее заслуженных деятелей книжного дела в России, главный редактор прогрессивного издательства «Посредник», Иван Иванович Горбунов-Посадов (1864—1940) на свой московский адрес (Трубечной переулок, дом Осиповых) регулярно получал «Искру» и другую нелегальную литературу.

С марта 1902 года «Искра» в конвертах высылалась и на адрес Московского книгоиздательства и книжного магазина «Труд». Их владелец Сергей Апполонович Скимунт (1863—1932) был известной фигурой в радикальных кругах Москвы. Через него редакция «Искры» пересылала письма Московскому комитету РСДРП, с которым Сергей Апполонович был тесно связан и по делу которого 8 мая 1902 года был арестован и привлечен к дознанию.

После Октябрьской революции И. И. Горбунов-Посадов и С. А. Скимунт работали в советских учреждениях.

Документы редакции «Искры» сохранили для нас имена некоторых писателей, адреса которых служили для присылки «Искры». Ленинская газета высылалась в Москву Леониду Андрееву (1871—1919), жившему в доме Эппельман по Большой Грузинской улице, и бывшей однокласснице Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой — писательнице и поборнице эмансипации женщин Анастасии Александровне Вербицкой (1871—1928) в дом Ритих по Гранатному переулку.

Среди писателей были и такие, которые непосредственно участвовали в работе социал-демократических организаций. Так, близкий друг А. М. Горького поэт и прозаик Алексей Васильевич Яровицкий (А. Корнев) (1876—1903), будучи членом первого Нижегородского комитета РСДРП, являлся автором многих листовок и прокламаций комитета. С 1900 года Алексей Васильевич вошел в состав местной социал-демократической организации и вскоре стал одним из наиболее активных ее членов. С апреля 1902 года на адрес редакции «Нижегородского листка» ему высылались «Искра». Накануне 1 мая 1902 года во время так называемых «предупредительных арестов» был схвачен жандармами и А. В. Яровицкий. «Принимая во внимание прошлую деятельность Алексея Яровицкого, — говорилось в донесении губернского жандармского управления, — вызвавшую подчинение его гласному надзору, и установление сношений его и посещений обвиняемого Алексея Пешкова, желательно удаление его из Нижнего Новгорода»¹¹. Это желание царских слуг не было осуществлено — 22 ноября 1903 года А. В. Яровицкий умер от тифа, дожив только до 27 лет. Рабочий класс России потерял одного из первых пролетарских писателей, высоко ценимого А. М. Горьким. А. В. Яровицкий стал прототипом одного из героев горьковской эпопеи «Жизнь Клима Самгина», большевика Корнева.

«Лучшие представители наших образованных классов, — писал В. И. Ленин, — доказали и запечатлели кровью тысяч замученных правительством революционеров свою способность и готовность отрясать от своих ног прах буржуазного общества и идти в ряды социалистов»¹².

Об участии великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького в революционном движении известно многое. В нелегальной переписке «Искры» имя его связано с деятельностью Московской и Нижегородской социал-демократических организаций. В октябре 1902 года, находясь в Москве, Алексей Максимович установил непосредственные связи с комитетом РСДРП и агентом «Искры» В. В. Кожевниковой. 21(8) октября в доме № 4 по Страстному бульвару состоялась их встреча: Горький «произвел на всех нас чудесное впечатление, — писала В. В. Кожевникова в редакцию «Искры». — Мне было крайне отраднo слышать, что все его симптомы лишь на нашей стороне. «Освобождение» он читал один лишь 1-й номер

и больше не желает видеть подобную пакость, социалистам-революционерам тоже не сочувствует, единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным находит лишь «Искру» и нашу организацию — самой крепкой и солидной. Очень хочет познакомиться ближе с нашим направлением, с нашими всеми изданиями и практической нашей работой, и так как его сочувствие лишь на нашей стороне, то он и хочет помочь нам чем может, во-первых, понятно, деньгами... Наши издания и «Искру», понятно, мы будем ему доставлять»¹³.

Писатель Александр Серебров в своей книге «Время и люди» рассказывал, что Алексей Максимович возвратился с этой встречи возбужденный и радостный. «Молодцы! — воскликнул он, останавливаясь и щелкнув в воздухе пальцами. — Молодцы. Крепкий народ... Знают, чего хотят! Многого хотят и, полагаю, добьются... Интересно бы поговорить с самим Лениным...»¹⁴

А. М. Горький оказывал помощь РСДРП не случайно. Позднее он писал: «Подлинную революционность я почувствовал именно в большевиках, в статьях Ленина, в речах и работе интеллигентов, которые шли за ним»¹⁵.

Редакция «Искры» и ее агенты в России всячески оберегали Алексея Максимовича от полиции, тактично удерживали его от опрометчивых шагов, которые могли иметь для него серьезные последствия, так это было, например, в 1902 году, когда он изъявил желание взять на себя роль транспортера искровских изданий.

Не исключена возможность, что ленинскую «Искру» читал Л. Н. Толстой, когда в 1902 году жил в Крыму на даче в Гаспри, так как агент «Искры» В. Г. Шкляревич (Александр) сообщил из Кореиза 23 мая 1902 года редакции: «Посылайте «Искру» Толстому. Если даже сам он не снизойдет до нее, то все же она найдет себе применение, ибо будет попадать в руки Александра»¹⁶. Редакция живо заинтересовалась этой возможностью, и 25 июня Н. К. Крупская просила Шкляревича сообщить адрес Толстого¹⁷. К сожалению, более подробных сведений об этом в редакционной переписке не сохранилось...

Весной 1903 года Н. К. Крупская получила из Москвы от агента «Искры» В. И. Гольдмана адрес его школьного товарища Василия Ивановича Качалова. По этому адресу: «Москва, Художественный театр, артисту В. И. Качалову», редакция сообщила в Москву о подготовке II съезда партии,

Российская
Социал-демократическая
Рабочая Партия

ИСКРА

«Из искры возгорится пламя»
Отъѣтъ декабристовъ Пушкину.

ОТЪ РЕДАКЦИИ.

Предпринимая издание политической газеты — «Искра», мы считаемъ необходимымъ сказать въсколько словъ о томъ, къ чему мы стремимся и какъ понимаемъ свои задачи.

Мы переживаемъ крайне важный моментъ въ исторіи русскаго рабочаго движенія и русской социал-демократіи. Последние годы характеризуются поразительно быстрымъ распространениемъ социал-демократическихъ идей среди нашей интеллигенціи, а на встрѣчу этому течению общественной мысли идетъ самостоятельно возникшее движеніе промышленнаго пролетариата, который начинаетъ объединяться и бороться противъ своихъ угнетателей, начинаетъ съ жаждою стремиться къ социализму. Кружки рабочихъ и социал-демократовъ интеллигентовъ появляются повсюду, распространяются шибкие агитационные листки, растетъ спросъ на социал-демократическую литературу, далеко обогнана предложене, и усиленнымъ нравственнымъ преобладаемъ не въ силахъ удержать этого движенія. Виткомъ набиты тюрьмы, переполнены ябта ссылки, чуть не каждый ябждъ слышно о «привалахъ» во всѣхъ концахъ Россіи, о поимкѣ транспортныхъ, о конфискаціи литературы и типографій, но движеніе все растетъ, захватываетъ все болышій районъ, все глубже проникаетъ въ рабочій классъ, все болыше привлекаетъ общественное вниманіе. И все экономическое развитіе Россіи, вся исторія русской общественной мысли и русскаго революціоннаго движенія ругаются за то, что социал-демократическое рабочее движеніе будетъ расти несмотря на всѣ препятствія и въ концѣ концовъ — преодолѣтъ ихъ.

Но, съ другой стороны, главная черта нашего движенія, которая особенно бросается въ глаза въ последнее время, его раздробленность, его, такъ сказать, кустарный характеръ: шибкие кружки возникаютъ и дѣйствуютъ независимо другъ отъ друга и даже (что особенно важно) независимо отъ кружковъ, дѣйствовавшихъ и дѣйствующихъ въ тѣхъ же центрахъ; не устанавливается традиціи, шибтъ преемственности, и шибкая литература шибко отражаетъ раздробленности и отсутствіе связи съ тѣмъ, что уже создано русской социал-демократіей.

Несомнѣнные этой раздробленности съ запросами, вызванными шиломъ и широтой движенія, создаетъ, по нашему мнѣнію, критическій моментъ въ его развитіи. Въ шиломъ движеніи съ неудержимой силой сказывается потребность упорядочиться, выработать опредѣленную философію и организационную форму тѣмъ въ средѣ практически дѣйствующихъ социал-демократовъ необходимость такого перехода къ высшей формѣ движенія создается далеко не шиломъ. Въ дошедшихъ широкихъ кругахъ наблюдается, наоборотъ, шиломъ мысли, усиленное веденіе «критической марксистской» и «бернштейнской», распространене шиломъ такъ называемаго «экономическаго» направленія и въ неразрывной связи съ шиломъ стремленіе задержать движеніе на его шиломъ стадии, стремленіе отодвинуть на второй планъ задачу образованія революціонной партіи, ведущей борьбу по шиломъ всего народа. Что подобнаго рода шиломъ мысли наблюдается

среди русскихъ социал-демократовъ, что узкій практицизмъ, оторванный отъ теоретическаго осмысленія движенія въ его шиломъ, грозитъ свратить движеніе на ложную дорогу, это фактъ; въ шиломъ, не могутъ усвоиться люди, непосредственно знакомые съ положеніемъ дѣла въ болышинствѣ нашихъ организацій. Да есть и литературныя произведенія, подтверждающія это: шиломъ назвать хотя бы «Средо», вызвавшее уже шиломъ законный протестъ, «Отдѣльное приложене къ Рабочей Мысли (сент. 1898)», столь рельефно выраженное теченіе, проникающую въ газету «Рабочая Мысль», или наконецъ — названное петербургской «Группы Самоосвобожденія Рабочаго Класа», составленное въ духѣ того же «экономизма». И совершенно невѣрно утвержденіе «Рабочаго Дѣла», что «Средо» представляетъ собою не болыше какъ шиломъ единичнаго лица, что направленіе «Рабочей Мысли» выражаетъ лишь сумбуриность и безцѣльность ея редакціи, а не особое направленіе въ шиломъ кодѣ русскаго рабочаго движенія.

А рядомъ съ шиломъ въ произведеніяхъ писателей, которыхъ читавшая публика, съ болышимъ или меньшимъ основаніемъ, считала до сихъ поръ видными представителями «экономизма» марксиста, все болыше и болыше обнаруживается поворотъ къ анархизму, сближавшемуся съ буржуазной анархисткой. Результатомъ всего этого и является тотъ разбродъ и та анархія, благодаря которымъ шиломъ-марксистъ или шиломъ-социалистъ Бернштейнъ, перечисляя свои шиломъ, шиломъ печально шиломъ, не встрѣчая возраженій, будто болышинство дѣйствующихъ въ Россіи социал-демократовъ состоитъ шиломъ его последователей.

Мы не хотимъ преувеличивать опасность положенія, шиломъ закрывать на нее глаза было бы неизвѣстно вредно; шиломъ почему мы отъ всей души приницаемъ рѣшеніе «Группы Освобожденія Труда» возобновить ея литературную дѣятельность и начать систематическую шиломъ программу шиломъ извращенія и шиломъ социал-демократизма.

Практический шиломъ изъ всего этого таковъ: мы, русскіе социал-демократы, должны шиломъ и направить шиломъ усилія на образованіе рабочей партіи, борющейся подъ шиломъ якимъ-шиломъ революціонной социал-демократіи. Именно эта задача была шиломъ уже Съездомъ 1898 года, образовавшимъ Российскую Социал-демократическую Рабочую Партію и опубликовавшимъ ея Манифестъ.

Мы признаемъ себя членами этой партіи, шиломъ рѣдѣяемъ основныя идеи «Манифеста» и придаемъ ему важное значение, какъ открытому заявленію ея шиломъ. Потому для насъ, шиломъ членовъ партіи, шиломъ о ближайшей и шиломъ нашей задачѣ ставится такимъ образомъ: какой шиломъ дѣятельности шиломъ мы принять, что бы достигнуть шиломъ болыше прочаго шиломъ партіи?

Обычный шиломъ на этотъ шиломъ состоитъ въ томъ, что необходимо шиломъ выбрать центральное учрежденіе и поручить ему возобновить органъ партіи. Но въ переживаемый нами періодъ разброда такой шиломъ путь едва-ли былъ бы шиломъ.

о положении в отдельных комитетах, о позиции группы «Южный Рабочий» и Бунда и другие очень важные сведения. Качалов оказывал социал-демократам и другим важным услуги. В 1903—1904 годах выдающийся революционер-ленинец Николай Эрнестович Бауман, выполнявший задание Центрального Комитета по созданию Северного бюро ЦК РСДРП, скрываясь от шпионов, неоднократно получал убежище в квартире Качалова.

В 1902 году, после очередного провала членов социал-демократической организации, Московский комитет РСДРП прислал редакции «Искры» новые адреса для переписки, среди которых был адрес ученицы консерватории В. М. Осиповой. К сожалению, этот адрес очень скоро стал известен полиции. Не зная этого, Н. К. Крупская 24 августа 1902 года послала по нему письмо В. И. Ленина Московскому комитету, в котором он горячо благодарил комитет «за выражение сочувствия и солидарности» ему как автору «Что делать?». «Для нелегального писателя, — указывал В. И. Ленин, — это тем ценнее, что ему приходится работать в условиях необычайного отчуждения от читателя»¹⁸. Комитет получил письмо В. И. Ленина, но предвзвительно оно было перлюстрировано. Вскоре адрес отменили в связи с обыском у Осиповой.

В 1902 году на адрес Московской консерватории посылались редакционные письма виолончелисту Могилевскому, который, как и Осипова, был близок к Московскому комитету.

МК РСДРП получал письма редакции «Искры» и по адресу: «Большой театр, балетная группа, Константину Николаевичу Баранову».

Ленинская «Искра» высылалась не только по адресам, полученным от ее сторонников, но и по таким, которые попадали в редакцию или Берлинскую группу содействия «Искре» совершенно случайно. Так, например, заведующий учебной частью расквартированной в Бессарабии Скулянской бригады 5-го округа отдельного корпуса пограничной стражи штабс-ротмистр Т. Харитонов 18 и 22 мая 1902 года получил в местном почтовом отделении два письма, отправленных из Дармштадта. В первом находились 1, 2, 5 и 6-я, а во втором — 3-я и 4-я страницы № 20 «Искры» от 1 мая 1902 года. В конверты была вложена отпечатанная типографским способом записка за подписью: «Общество распространения нелегальной литературы в России». В записке говорилось: «Посылаем

вам эту вещь. Простите, что делаем это без вашего разрешения. Русские условия заставляют нас прибегать ко всевозможным способам распространения нелегальной литературы, поэтому мы пользуемся всякими, даже случайно попавшими к нам адресами».

Штабс-ротмистр немедленно доложил командиру бригады о корреспонденции столь неожиданного содержания. Поскольку он заявил, что «ни с кем из членов преступного общества не знаком, сношений не имел и не желает иметь и причин, почему именно ему были посланы означенные письма, не знает», дело дальнейшего расследования не получило¹⁹.

Надо полагать, что не все случайные адресаты проявляли столь верноподданнические чувства и многие номера «Искры» находили своего читателя в различных слоях общества, приходя к нему и таким способом.

В начальный период деятельности «Искры», когда ее связи не были достаточно широкими, редакция писала агентам непосредственно на их адреса, как, например, в Киев, где активно работала в местной социал-демократической организации Афанасьева Софья Николаевна.

С. Н. Афанасьева (1876—1933) начала свою революционную деятельность в 90-е годы и уже в 1898 году по делу Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса была арестована и выслана под особый надзор полиции в Харьков. В феврале 1901 года Софья Николаевна уехала за границу и вошла в Берлинскую группу содействия «Искре». В августе, захватив с собой транспорт искровских изданий, С. Н. Афанасьева выехала в Киев. Здесь она сразу же включилась в работу пропагандистской группы местного комитета партии. О ее деятельности извещала Берлинскую группу и получала от нее советы и указания по своему домашнему адресу: Большая Житомирская ул., д. 22, квартира 2.

Появление в городе личности, известной Департаменту полиции своей неблагодарностью, не прошло мимо внимания охраны. Вскоре переписка Софьи Николаевны стала перлюстрироваться, а установленная слежка позволила выявить весь круг ее киевских знакомств. Когда в городе в феврале 1902 года начались аресты, Софья Николаевна была взята в числе первых...

Подобные провалы заставили искровцев совершенствовать способы конспиративных связей.

С расширением сферы деятельности организации «Искры» стало обязательным посылать корреспонденцию не прямым путем — непосредственно агенту, а на адрес лица, пользовавшегося его доверием, или на какое-нибудь официальное учреждение, где служил тот или иной человек, согласившийся получать заграничную корреспонденцию.

«Крупнейшим событием для нас были, конечно, «получения» из-за границы, — вспоминал впоследствии Г. М. Кржижановский. — Архи-легальный адрес препровождал нам архи-невинное содержание письма, написанного обычными чернилами. Под спасительным нагревом лампы немедленно выявлялись строки и шифровка, написанные почерком неутомимой Надежды Константиновны, несущие такую боевую зарядку»²⁰.

Письма в Самару для бюро Русской организации «Искры» адресовывались на Юридический отдел Самаро-Златоустовской железной дороги, газета «Искра» — на училище слепых и даже самарскому епископу.

В Петербурге для связи с В. П. Красухой служил адрес А. Д. Рухлова. Работая бухгалтером главной конторы химических заводов купца Жукова, он вел всю его переписку, и потому заграничные письма, получаемые в конторе, не могли вызвать подозрения охраны.

В случаях, когда переписка велась по адресам учреждений, они или подчеркивались особым образом, или в именах и отчествах адресатов делались заранее оговоренные сокращения. По этим признакам лицо, работавшее в учреждении и связанное с искровцами, сразу же определяло настоящих получателей корреспонденции.

Многие из тех, кто сначала оказывал только посильную помощь социал-демократическому движению, впоследствии становились активными членами партии и посвятили революционной работе всю свою жизнь. В марте 1903 года редакции сообщили адрес: Москва, Тверская улица, Пименовский переулок, дом Коровина, который можно было использовать для посылки особо важных писем. Здесь проживала жена фабриканта Инесса Федоровна Арманд, ставшая впоследствии одним из крупнейших деятелей нашей партии и международного рабочего движения.

Другая представительница революционного движения, Лидия Александровна Фотиева, начала свой боевой путь с распространения нелегальной литерату-

ры. Живя в Перми, она получала ленинскую «Искру», знакомила с ее статьями учащуюся молодежь и рабочих. Затем она работала в Киевском, Пермском, Казанском комитетах партии, много раз ее арестовывали, а когда свершилась Октябрьская революция, Лидия Александровна пришла на работу в Совет Народных Комиссаров и с 1918 по 1924 год была личным секретарем Владимира Ильича Ленина.

Сохранившиеся документы показывают, что редакция «Искры» с каждым днем расширяла использование императорской почты. Так, если в 1901 году в Петербург редакция отправила 29 писем, в Москву — 18, а в Харьков — 2, то в 1902 году их число возросло соответственно до 37, 22 и 12. Еще в большем соотношении увеличилось количество ответов российских искровцев и деятелей местных социал-демократических комитетов. Естественно, что также расширился и круг используемых адресов, произошла их специализация: одни служили для получения только заграничной корреспонденции, другие — исключительно внутрисосийской. По приблизительному подсчету, редакция «Искры» в 1902 году для посылки своих писем в Москву использовала 13 адресов, в Баку — 8, Одессу — 7.

Большое количество адресов обеспечивало регулярность переписки, а многоступенчатость при получении писем гарантировала агентов «Искры» и членов местных организаций от возможных провалов. Тайна писем обеспечивалась применением «химического» письма и шифровки его наиболее секретных частей.

Конспиративное письмо по внешнему виду ничем не отличалось от обыкновенного, только, как правило, его писали не на глянцевого бумажке, на которой перо оставляло следы при нанесении «химического» текста. Составление конспиративного письма было трудным делом, требующим известных навыков, большой аккуратности и терпения. Нередко Надежда Константиновна Крупская брала агентов «Искры» за небрежность в переписке. Сама она делала это искусно. Писала «открытый» текст, касающийся житейских дел, обращенный обычно к мнимым родственникам или знакомым. Конспиративный текст письма готовился отдельно, а наиболее важные сведения в нем зашифровывались. Затем оба текста объединялись, то есть конспиративный текст вписывался между строк обычного письма каким-нибудь химическим со-

ставом. Сначала это было молоко или сок лимона, но такие «химические» чернила самопроявлялись, и их заменили различными свинцовыми составами. Высыхая, эти «чернила» не оставляли на бумаге заметных следов, и, чтобы прочесть текст послания, получателю необходимо было нагреть его над лампой, после чего начинали проступать коричневые буквы.

В качестве ключа для шифра, как правило, бралось какое-либо стихотворение или определенная страница прозаического произведения, содержащая все буквы алфавита. Так, Дмитрий Ильич Ульянов пользовался для шифровки стихотворением С. Я. Надсона «Мгновение», Иван Иванович Радченко — «Думой» М. Ю. Лермонтова, Леонид Борисович Красин — «Песнями Катерины» Н. А. Некрасова, а члены Северного союза — отдельными страницами работы В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».

Шифры искровцев были очень просты, но в то же время при правильном употреблении почти не поддавались расшифровке. Достаточно было сохранить тайну названия произведения, служившего ключом, и шифр даже без всяких усложнений ни в коем случае не мог быть прочтен посторонним лицом.

Принцип ключа необычайно прост: строки стихотворения или страницы книги нумеровались сверху вниз, а каждая буква строки — слева направо. В зашифрованном виде каждая буква получала дробное выражение, где числитель обозначал строку, а знаменатель — букву в ней. Употреблять одни и те же дроби для одной буквы было запрещено, что исключало логическую расшифровку. Для усложнения ключа иногда условливались брать намеченный текст не с начала, а с любой, заранее оговоренной строки.

В 1902 году стал широко применяться еще один способ конспиративных сношений, который практически почти полностью лишил Департамент полиции возможности перехватывать редакционную переписку.

6 июня 1902 года Н. К. Крупская писала И. И. Радченко, что письма из России идут хорошо, а многие редакционные письма пропадают и поэтому она хотела бы «ввести в систему посылку еженедельных специальных журналов с печатными текстами»²¹. В. И. Ленин, уделявший много внимания конспиративной переписке, конкретизируя в данном случае сообщение Н. К. Крупской, писал: «Мы хотели бы посылать еженедельный специальный жур-

нал: дайте скорее адрес врача, техника, велосипедиста, артиста и т. п. или т. п.»²². С этого времени химический зашифрованный текст наносился уже не между строк письма, а между строк различных периодических изданий, каталогов и отчетов зарубежных и российских фирм. «Технология» проявления и расшифровки осталась прежней, но обнаружить конспиративное послание стало еще трудней.

Позднее о значении «химической» переписки Н. К. Крупская писала: «Пятнадцатилетний опыт убедил нас, что только правильно поставленная химическая непосредственная переписка гарантирует правильность сношений. И товарищи рабочие в свое время широко пользовались этим способом. Питерский рабочий Бабушкин... ночи просиживал над химическими письмами, несмотря на свои больные глаза, и благодаря этому ему удалось тесно связать «Искру» не только с питерскими и московскими, но и ивано-вознесенскими, орехово-зубовскими и другими рабочими. Писали нам химией екатеринославские, николаевские, одесские, уральские рабочие... Бралось за дело сами, понимая, что это такая же обязанность революционера, как всякая другая»²³.

Письма российских искровцев содержали сведения о всех сторонах их деятельности. Что касается редакционных посланий, то о них очень точно написал И. И. Радченко: «С Владимиром Ильичем я был знаком с 1900 г. в Пскове. При наших встречах он учил меня организационному искусству в применении к революционной работе. После его отъезда за границу, в годы 1900—1902 включительно, я продолжал получать от него указания уже в письменной форме. Он меня, тогдашнего организатора техники «Искры», учил, как контрабандой возить на себе литературу через финляндскую границу, как организовывать кружки рабочих, как проводить генеральную партийную линию того времени в борьбе с экономистами-рабочедельцами. Учил, наконец, как подготовить российские организации профессиональных революционеров социал-демократов ко II партийному съезду»²⁴.

Естественно, что даже простое получение писем такого содержания рассматривалось царскими властями как непосредственное участие в организации, деятельность которой направлена на «ниспровержение существующего порядка».

В феврале — марте 1902 года, когда по многим городам европейской России про-

катила волна арестов деятелей искровских организаций, у В. Н. Крохмаля в Киеве были изъяты незашифрованные адреса и различные конспиративные записки, касающиеся киевских, виленских, одесских, кишиневских, харьковских, петербургских, николаевских и московских связей. Среди адресатов В. Н. Крохмаля был брат агента «Искры» В. П. Ногина — Павел Павлович Ногин (1875—1936).

Московский адрес П. П. Ногина Н. К. Крупская еще в ноябре 1901 года переслала в Одессу К. И. Захаровой, указав, что он служит для явки к Грачу (Н. Э. Бауману). Она писала: «Посылаю его для явки мужчин: Варварка, контора Викулы Морозова (большой красный дом), подняться во второй этаж, вызвать Павла Павловича Ногина. Наедине сказать ему: «Позвольте получить по счету Леопольда». В студенческой форме не приходите»²⁵.

С этой явкой произошел такой случай. В ноябре того же года Г. М. и З. П. Кржижановские, возвращаясь из Мюнхена, где виделись с В. И. Лениным, остановились в Москве, и Зинаида Павловна, забыв, очевидно, указание, что явка только для мужчин, пришла к П. П. Ногину. Естественно, что она не смогла встретиться с Н. Э. Бауманом и уехала, так и не передав ему полученных от В. И. Ленина очень важных сведений о создании искровского центра в России. В связи с этим случаем Н. Э. Бауман возмущенно писал в редакцию: «Адрес X только для мужчин, а между тем туда явилась женщина. Вышла неприятность. Пожалуйста, читайте внимательно мои письма и не забывайте выставленных мною условий. Некоторые неточности в исполнении могут роковым образом отозваться на нашем деле»²⁶. Н. Э. Бауман сменил адрес основной явки, но и адрес П. П. Ногина продолжал действовать в исключительных случаях.

В связи с упоминанием этого адреса в записной книжке В. Н. Крохмаля по распоряжению Департамента полиции Павел Павлович 15 февраля 1902 года был арестован и обвинен в том, что предоставлял свою квартиру для явки Н. Э. Бауману и перевозил из Москвы искровскую литературу в Орехово-Зуево, куда выезжал по делам фабрики В. Морозова.

В годы Советской власти П. П. Ногин вступил в партию, работал в различных учреждениях и торговых представительствах Союза ССР за границей.

Однако были и такие адресаты, которые, хотя и становились известными полиции как получатели «Искры», все же оставались на свободе и продолжали выполнять роль передаточных пунктов. Одним из таких адресатов был инженер-путеец Александр Иванович Резнов, проживавший в Самаре по Саратовской улице в доме 108. Как-то на почте вскрыли адресованное ему письмо и обнаружили в конверте «Искру». Об этом факте тотчас же известили Департамент полиции, откуда в Самарское охранное отделение незамедлительно последовало указание самым тщательным образом провести «разработку» этого адреса. Как ни изощрялись шпики, им не удалось установить ни одной связи А. И. Резнова с неблагонадежными лицами. Его оставили в покое, как человека ни в чем «предосудительном» не замеченного. Здесь-то и просчитались царские слуги. Александр Иванович продолжал получать ленинскую «Искру», и 16 августа 1903 года Мария Ильинична Ульянова просила редакцию усиленно пользоваться его адресом. В 1905 году Александр Иванович участвовал в забастовочном движении железнодорожников, вошел в стачечный комитет и техническую комиссию Самарского Совета рабочих депутатов. В ноябре 1905 года Александра Ивановича арестовали и сослали в Архангельскую губернию, где он вскоре и умер.

Не все адресаты смогли быть стойкими при арестах и на допросах жандармов. Таким оказался В. Курятников. И. И. Радченко жил с ним на одной квартире в Петербурге еще в 1900 году. Тогда же молодые люди подружились. Затем Иван Иванович, сославшись на болезнь матери, уехал на юг страны, где принял деятельное участие в постановке нелегальной искровской типографии в Кишиневе. Лишь в 1902 году он вернулся в Петербург и снова встретился с Курятниковым, работавшим конторщиком в магазине резиновых изделий Бруно Шварца по Малой Морской улице, дом 16. По просьбе Радченко Курятников согласился получать на свой адрес письма из-за границы и передавать их Ивану Ивановичу. Так в записной книжке Н. К. Крупской появился еще один петербургский адрес, но действовал он недолго. В августе 1902 года Курятников был арестован и на допросе в охранном отделении «после некоторых колебаний... написал совершенно откровенное показание в форме заявления... в котором довольно объективно выяснил свою роль в передаче заграничной корреспонденции».

Кроме того, он согласился участвовать в западне, которая едва не захлопнулась за И. И. Радченко, пришедшим к нему за очередным письмом.

...Комнатенка в переулке обшарпанного дома близ Невского. Густой сумрак едва рассеивается висячей лампой-молнией. В круге света, падающего на стол, две пары рук. Одна — с плотно сплетенными пальцами, другая — нервно собирающая невидимые крошки. В полумраке лица. Одно спокойно, и лишь глаза за стеклами очков с любопытством и иронией глядят на собеседника. Другое — дрожащие губы, бегающий взгляд. Искривленный рот выталкивает отрывочные фразы:

— Я сказал, что это другой... Они ищут не вас... А вообще — все пропало!

— Почему? — произнес звучным голосом, услышанным и в соседней комнате, его собеседник.

Недолгое молчание, потом снова торопливый, взхлеб шепот:

— Они все знают! Они здесь, рядом, в соседней комнате!!! Вам не уйти!!!

Стул отлетел в сторону... Несколько шагов до входной двери, мгновенно выхваченный ключ вставлен в замочную скважину с наружной стороны, шаг на лестничную площадку, щелчок и... запертая дверь отделила его от жандармов. Со скучающим видом Иван Иванович вышел из подъезда, и вскоре его невысокая фигура скрылась в полутьме переулка.

31 августа 1902 года в Лондон из Петербурга было отправлено конспиративное письмо, в котором редакция ленинской «Искры» извещалась, что «Касьян (И. И. Радченко. — Ред.) уехал вчера... Его едва не слопали»²⁷.

Переписка редакции с питерскими искровцами не прервалась из-за этого инцидента, так как действовало еще несколько

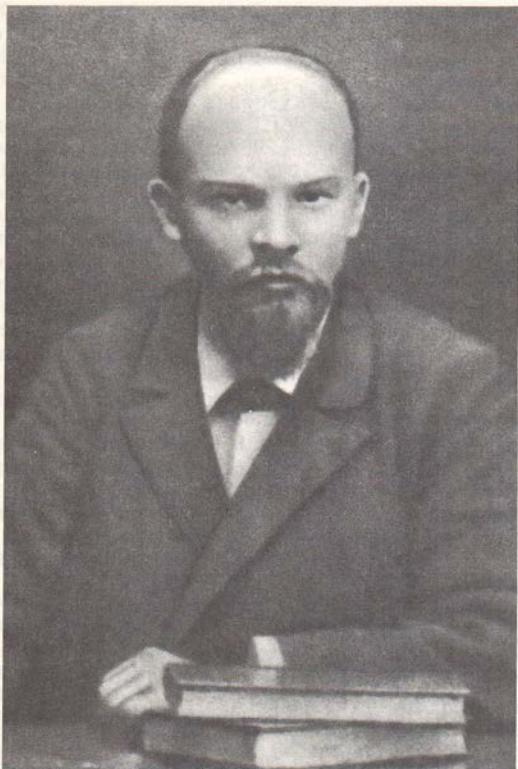
адресов, по которым продолжали идти ленинские письма.

Во многие города России императорская почта несла набатные слова «Искры», письма В. И. Ленина и Н. К. Крупской. Руководствуясь их указаниями, члены русской организации «Искры» проделали огромную организационную работу по сплочению местных социал-демократических комитетов вокруг «Искры», по практической подготовке II съезда РСДРП, на котором фактически была создана революционная марксистская партия в России, партия большевиков.

«Русский рабочий класс, — писал В. И. Ленин, — сумеет и один вести свою экономическую и политическую борьбу, даже если бы он не получал помощи ни от какого другого класса. Но в политической борьбе рабочие не стоят одиноко. Полное бесправие народа и дикий произвол башибузук-чиновников возмущают и всех сколько-нибудь честных образованных людей, которые не могут помириться с травлей всякого свободного слова и свободной мысли, возмущают преследуемых поляков, финляндцев, евреев, русских, сектантов, возмущают мелких купцов, промышленников, крестьян, которым не у кого искать защиты от притеснений чиновников и полиции. Все эти группы населения, взятые отдельно, не способны к упорной политической борьбе, но когда рабочий класс поднимет знамя такой борьбы, — ему отовсюду протянут руку помощи. Русская социал-демократия встанет во главе всех борцов за права народа, всех борцов за демократию, и тогда она станет непобедимой!»²⁸ История «Искры» и большевистской партии блестяще подтвердила жизненность этих принципов строительства и деятельности партии, о которых В. И. Ленин писал еще в 1899 году в своей статье «Наша программа».

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, стр. 135.
- ² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 195.
- ³ Е. Д. Стасова, Страницы жизни и борьбы. М., 1960, стр. 28.
- ⁴ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма (ЦПА ИМЛ), ф. 2, оп. 1, ед. хр. 766, л. 15—15 об.
- ⁵ Е. Д. Стасова, Страницы жизни и борьбы. М., 1960, стр. 14.
- ⁶ ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 920, л. 16 об.
- ⁷ И. И. Радченко имел в виду слово «императорская». В этом отношении агент «Искры» Аркадий и крупнейший общественно-политический деятель России В. В. Стасов (1824—1906) в какой-то степени были солидарны. Первый называл российское самодержавие «паскудным», а второй, как рассказывала Е. Д. Стасова, презирал царский режим, слуг которого величал не иначе как скотами.
- ⁸ Слова, выделенные полужирным, в тексте зашифрованы.
- ⁹ ЦПА ИМЛ, ф. 24, оп. 8 н., ед. хр. 1668, лл. 2 об. — 3.
- ¹⁰ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, стр. 86.
- ¹¹ Л. Фарбер, А. В. Яровицкий. Горький, 1964, стр. 28.
- ¹² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 395.
- ¹³ 1905 год в Москве (Историко - революционный очерк). М., 1955, стр. 27.
- ¹⁴ Там же, стр. 28.
- ¹⁵ М. Горький, Публицистические статьи, 1933, стр. 31.
- ¹⁶ ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 812, лл. 8 об. — 9.
- ¹⁷ Там же, л. 10.
- ¹⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 221.
- ¹⁹ См. «Красный архив», 1940, № 6 (103), стр. 9.
- ²⁰ Г. М. Кржижановский, Подготовка II съезда РСДРП — воспоминания. ЦПА ИМЛ, кн. пост. 2330, стр. 85—87.
- ²¹ ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 782, л. 4 об.
- ²² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 188.
- ²³ С. М. Левидова и С. А. Павлоцкая. Надежда Константиновна Крупская. Л., 1962, стр. 52—54.
- ²⁴ И. И. Радченко, Ленин — вождь на хозяйственном фронте. — В сб. воспоминаний «Ленин на хозяйственном фронте». 1934, стр. 7.
- ²⁵ Центральный Государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР СССР), ф. ДП.00, 1901, д. 825, ч. 1, л. 9.
- ²⁶ ЦПА ИМЛ, ф. 24, оп. 6у, ед. хр. 28182, л. 1.
- ²⁷ ЦПА ИМЛ, ф. 24, оп. 4н, ед. хр. 1426, л. 14.
- ²⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 186.



он беседовал. С ним каждый мог говорить просто, не чувствуя давления «большого человека». Он умел выслушать каждого и совершенно незаметно заставить думать так, как он хотел, чтобы ты думал.

Я помню первый серьезный разговор с ним. Рядовым работником я приехал в первый раз за границу ко II съезду нашей партии в 1903 году. Я привез с собой наказ саратовской организации, от которой я был делегирован. Организация эта стала уже целиком на искровскую позицию, но поручила мне заявить редакции «Искры», чтобы она избегала впредь того резкого полемического тона, которым переполнены ее статьи. Месяца за два до съезда я увидел Ильича. Пред тем я говорил с Мартовым, Засулич и Плехановым по этому вопросу. Им не удалось переубедить меня. Мартов и Засулич, с которыми мне пришлось долго беседовать, говорили много и неубедительно. Плеханов принял меня во всем своем генеральском величии, и у меня пропала всякая охота говорить с ним по душам. Ильич внимательно выслушал меня, затем подробно расспросил о положении организации, о саратовской работе, о настроении рабочих и крестьян, о работе начинавшей тогда складываться в Саратове эсеровской организации. С первых же его слов, с первых вопросов хотелось ему все рассказать. Он так внимательно слушал, так умело ставил вопросы, сначала совершенно не касаясь спорного вопроса о полемическом тоне «Искры». А затем сам начал рассказывать про эмигрантские дела, про отношения в составе редакции «Искры». Когда мы уже кончили беседу, для меня было ясно, что «полемический тон» «Искры» — ее главное орудие, ее главная сила, что, протестуя против него, мы там, на месте, совершенно не понимали настоящей позиции революционного марксизма, выражаемого в «Искре», не понимали всей ее тактики. Этот вывод сделал не Ильич, а сделал я сам после разговора с ним, он именно заставил меня этот вывод сделать. Уходя от него, я уходил с твердым убеждением, что у нашей возрождающейся партии есть вождь, на которого можно вполне положиться, которому можно вполне верить, за которым можно смело идти.

Ильич был замечательно тактичен ко всякому, кого он считал нужным переубедить, но был жесток и беспощаден ко всякому, кого он считал врагом партии, врагом революции, он был беспощаден и к тем товарищам по партии, которые упор-

М. Лядов

Владимир Ильич Ленин

...Кто бы ни говорил с Ильичем, простой рабочий, крестьянин, рядовой или ответственный партийный работник, он каждого заставлял забывать ту колоссальную разницу, которая существует между ним и этим простым смертным, с которым

ствовали в своих заблуждениях, когда эти заблуждения грозили нанести вред делу.

Мне хочется говорить об Ильиче как о человеке, но трудно, совершенно невозможно выделить из Ильича его частную жизнь. Ее у него не было. Он жил весь целиком как общественный человек. Как-то страшно, например, было бы искать каких-то «чисто личных» отношений между Ильичем, и его женой Надеждой Константиновной, и его сестрой Марией Ильиничной. Несомненно, где-то там, в глубине, они существовали. Ильич был очень нежный человек. Но даже для всех тех, кто был близок с Ильичем, Надежда Константиновна никогда не выступала в качестве жены, она всегда всем казалась ближайшей помощницей Владимира Ильича во всех его делах. Кто был наиболее близок Ильичу? Только те, кто именно теперь более всего нужен для партии, для дела. Может быть, того или другого товарища Ильич более любил, чем другого, это возможно, но этого никто не чувствовал. Ильич любил всякого, кто был нужен партии. Назавтра, если соответствующий товарищ окажется окончательно не на месте или окажется вредным, у Ильича исчезали всякие с ним отношения, и он был беспощаден по отношению к нему. Ленин, например, был очень близок с А. А. Богдановым. В период 1904—1907 годов ставил его очень высоко и относился к нему по-человечески хорошо. Но как только тактика Богданова показала Ильичу вредной, он обрушился на него со всей своей последовательностью и непримиримостью, для него Богданов как близкий человек перестал существовать. Ильич, несомненно, любил Плеханова, мне казалось иногда, что он преклоняется пред Плехановым, он долго колебался, когда надо было решить вопрос об окончательном разрыве с Плехановым в 1904 году. Он долго колебался, сможет ли он один, имея Плеханова против себя в лагере меньшевиков, повести большевистскую фракцию. Но как только он решился, как только, тщательно взвесив собравшиеся вокруг него силы, он перешел в атаку, для него Плеханов как близкий человек перестал существовать. Ильич был непреклонен при проведении своего решения. Для всех, не знавших его близко, он казался человеком без сердца, без жалости, лишенным какой бы то ни было сентиментальности. А между тем

я помню Ильича на спектакле Сары Бернар в Женеве: мы сидели рядом в ложе, и я был очень удивлен, увидав вдруг, что Ильич украдкой утирает слезы. Жестокий, без сердца Ильич плакал над «Дамой с камелиями»...

Умом, только очень добрым людям удавалось так быстро завоевывать симпатии детей, заставляя даже детей забывать, что они имеют дело с большим, серьезным человеком. Как часто в Женеве, глядя на него, жалели, что у него нет своих детей, как много он передал бы им своего, ленинского, ведь он так хорошо, так просто говорит с ними...

Простой со всеми, чуткий, бесконечно добрый и в то же время непреклонный, нетерпимый, беспощадный к себе и к людям, раз дело касается партии, революции, — таковым Ильич останется в памяти у всякого, кто его знал. Помню, Ильич выступал на собрании в Женеве вскоре после раскола. Собрание это было в память Коммуны. Рядом со мной стояла и слушала Вера Засулич. Она его ненавидела за раскол, но она слушала как очарованная и говорила: «Это настоящий вождь, он может повести за собой толпу». Я помню его на митинге в доме Паниной в Петербурге в 1906 году. Он был неизвестен широкой массе собравшихся на митинг рабочих. Он выступал под никому не известным именем Карлова. Первыми же словами, сказанными им, он овладел всей аудиторией. Я после его речи говорил со многими рабочими, и все в один голос твердили: «Вот за кем можно и нужно пойти. Он говорил то, что мы думали, но не могли сказать». И это чувствовалось во всем Ильиче. Его сила, его величие именно в том, что он впитал в себя классовый инстинкт рабочего класса, все чаяния, все помыслы всех угнетенных, и он сумел все это превратить в стройное, продуманное до конца революционное учение. Во всей работе, во всем творчестве Ильича прежде всего сквозит не книжная ученость, а это гениальное понимание жизни во всей ее сложной диалектике. Сколько есть ученых марксистов, куда глубже и основательнее его знающих марксизм, но нет ни одного, кто умел так, как он, претворить марксизм в жизнь, т. е. фактически понять революционную сущность марксизма, фактически слить марксистскую теорию с революционной практикой рабочего класса...

А. Володин

За скупою строкой...

В конце восемнадцатого тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина, где напечатан его основной философский труд, в разделе «Даты работы В. И. Ленина над книгой «Материализм и эмпириокритицизм» среди сведений, относящихся к 1909 году, есть такое: «Май, ранее 12(25). Ленин дарит экземпляр книги «Материализм и эмпириокритицизм» В. Ф. Горину (Галкину)»¹. В четвертом издании Сочинений Ленина этих строчек не было.

Что стоит за этой скупой справкой? Кто такой В. Ф. Горин? И почему вдруг Ленин сделал ему такой подарок? *

...Выхода книги Ленина по философии жадно ждали.

Нетерпение было настолько сильным, что без всякого согласования с автором и даже без его ведома в газете «Речь» уже в августе 1908 года, когда Ленин еще вплотную работал над книгой и когда еще совершенно неясно было, в каком издательстве можно будет ее напечатать, появилось такое объявление:

«В Москве выходит книга Н. Ленина «В защиту диалектического материализма». Автор юбличает своих товарищей по фракции большевиков в увлечении эмпириокритицизмом. И что больше всего вызывает сенсацию в с.-д. — овских ** кругах — это то, что книга посвящена Г. В. Плеханову»².

П. С. Юшкевич — один из философских противников Ленина того времени — несколько месяцев спустя (23 окт. (5 ноября) сообщал Владимиру Ильичу из Петербурга: «Здесь все время ходят слухи — и даже в газетах упоминалось об этом, — что Вами написана большая философская работа, где Вы громите «махистов»³.

И вот где-то между 12 и 17 мая (нового стиля) 1909 года в Москве, в издательстве «Звено», под псевдонимом Вл. Ильин «Материализм и эмпириокритицизм» вышел, наконец, в свет⁴.

А в конце мая большевик Владимир Филиппович Горин-Галкин, знакомый с Лениным еще со II съезда РСДРП и впоследствии не раз выступавший в политической борьбе под его руководством, писал из Женевы брату Ефиму:

«...Вышла уже книжка Владимира Ильича (она уже имеется у меня — подарок от автора), и она сразу сбила с панталыку противников (не содержанием, так как никто из них еще ее не читал, а фактом **резкого** выступления уважаемого лица против махистов). Специально в здешнем болоте все махисты совсем приуныли по особому казусу. Книжку от автора я получил через библиотеку***, и там публика прочла надпись: «Дорогому — от благодарного за указания и советы автора». После этого в публике стали говорить, что книга — коллективный труд или что-то в этом роде. Слух дошел, конечно, до махистов. А так как они знают, что я их заклятый враг, то они решили, что я буду способствовать посредством **интриг** возведению гонений на них... Все это передают «перебежчики» из прежних махистов, которые уже народились, хотя покуда в виде двух-трех... Господи, сколько мелочного имеется и в хороших людях!»⁵

Возникновение слухов, о которых писал Горин, объяснялось, конечно, не только содержанием дарственной надписи Владимиру Ильичу, ставшим известным в кругах женеvских эмигрантов.

Дело в том, что уже задолго перед тем Горин зарекомендовал себя противником махистской ревизии диалектического материализма. «Нет ничего марксистского», — такими словами он отозвался в феврале 1908 года по поводу только что выпущенного тогда махистского сборника «Очерки по философии марксизма»⁶. На публичных философских диспутах, устраивавшихся в эти годы в Женеве русскими политическими эмигрантами, Горин выступал как

* Известно, что, кроме него, Ленин преподнес свою философскую работу Р. Люксембург, И. И. Скворцову-Степанову^{1а}.

** Т. е. социал-демократических.

*** В. И. Ленин жил в это время в Париже и переслал, очевидно, книгу Горину через библиотеку русской социал-демократической колонии в Женеве.

защитник философии Маркса и Энгельса от эмпириокритической «критики». Эти его выступления находили поддержку и поощрение со стороны Ленина. Впоследствии в своей автобиографии Горин так характеризовал свою деятельность в Женеве в 1908 году: «Приезд Ильича и (опять) работа с ним. Мое выступление под руководством Ильича против большевиков-махистов...»⁷

В июне 1908 года, рассказывая брату о своем «резком» выступлении на одном из рефератов «против Богданова, Луначарского и Базарова», Горин писал: «Мое выступление против махистов создало мне довольно-таки пакостное положение. Товарищи одного со мною общественного направления от меня отвернулись. Здесь среди сорока человек этих товарищей оказались три материалиста: я, еще один * и Владимир Ильич. Против последнего они, конечно, ничего не могут предпринять, а мне (и другому товарищу) пакостят. Они особенно обозлены, что я выступил вопреки общему постановлению обратного свойства. (Я заявил, что не могу подчиниться в этом деле товарищескому постановлению, так как дело выше узко фракционных интересов.) Против меня (и второго товарища) принимаются решения о бойкоте и в других городах... Единственное утешение — поддержка Владимира Ильича...»

Здесь же Горин сообщал, что Ленин вскоре выступит «в защиту материализма и против махизма с брошюрой, осуждающей вредную прикладную сторону махизма, в чем он вполне компетентен. Тогда мои дела поправятся, так как надеюсь на влияние талантливого и страстного изложения, ему свойственного...». Говоря далее о своем намерении выступить против махистов печатно, Горин писал: «Владимир Ильич предлагает свою моральную поддержку. И у Бельтова **, видимо, склонность поощрить меня печатно (и без задней мысли напакостить противникам ***, а просто потому, что проповедь махизма считает величайшим скандалом). Его поддержка еще больше обозлит против меня наших. Но Владимир Ильич говорит, что я не должен считаться с этим...»⁸

Многочисленные письма Горина, обширные рукописи его неопубликованных сочинений, воспоминания некоторых современников свидетельствуют о его глубоком и постоянном — еще со времен сибирской ссылки (1888—1900) — интересе к философии, его широкой эрудиции в этой области, хорошим знанием и правильном пони-

мании многих вопросов историко-философского процесса.

Очевидно, отдавая должное Горину в этом отношении, Ленин и обратился к нему (по всей вероятности, в начале сентября 1908 года) с просьбой прочитать рукопись уже завершенного в основном «Материализма и эмпириокритицизма»^{8а}.

«...Весь месяц был занят просмотром обширной (выйдет страниц 400 печатных ил octavo) рукописи Владимира Ильича [которая вскорости будет напечатана (об этом в «Речи» в нелепой форме было уже объявлено, без ведома автора)] и составлением к ней критических заметок, которыми он должен будет руководствоваться при окончательной редакции... С марксистской философской литературой он очень хорошо знаком. При хорошем знании трех языков — английского, французского, немецкого, — дающем возможность обставить вещь эрудицией, при блестящем публицистическом таланте и чрезвычайно острым уме, — при всем этом у него есть возможность придать своей книжке самый лучший вид... К сожалению, я не убежден, примет ли он к сведению все мои критические замечания...»⁹

Это сомнение Горина — первого читателя и первого, хотя и благожелательного, критика «Материализма и эмпириокритицизма» — имело большие основания. Как выясняется из его писем последующего периода, Ленин, в сущности, не принял его «критических замечаний» и рекомендаций.

Но он внимательнейшим образом ознакомился с этими «заметками о философии В. Ильича», занявшими около 40 листов почтовой бумаги^{9а}. Еще в ноябре 1908 года Горин сообщал брату, что пока не может прислать ему своего комментария к философскому труду Ленина: «Владимир

* Кто это — установить не удалось. Возможно, что речь идет об И. Ф. Дубровинском, которого Ленин стремился привлечь к философской полемике против махизма и для выступления которого на одном из рефератов А. А. Богданова он в мае 1908 года написал: «Десять вопросов референту».

** Псевдоним Г. В. Плеханова. В бумагах Плеханова, относящихся к 1908—1910 годам, имеется такая запись: «Горин желает бороться с махистами-большевиками. Это трогательно»^{7а}.

*** Т. е. большевикам, ибо некоторые из партийных литераторов, входивших тогда в большевистскую фракцию — А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Вазарев, — выступали с проповедью махистской философии.

Ильич еще мне никак не возвращает моих заметок: говорит, нужны еще»¹⁰. В благодарность за тот труд, который был проделан Гориним при просмотре его рукописи, Ленин, когда «Материализм и эмпириокритицизм» вышел в свет, счел необходимым и естественным презентовать экземпляр книги Горину, сделав на нем соответствующую надпись.

Однако, когда обнаружение этой надписи послужило толчком к тому, что по колонии русских политэмигрантов стали распространяться ложные толки, превратно представляющие характер взаимоотношений Ленина с Гориним, последний — и здесь сказались его принципиальность и большое уважение к Ленину, — в свою очередь, счел необходимым воспрепятствовать этим слухам.

В июне 1909 года, сообщая брату, что «махисты страшно подняли голову и собираются даже открыто отделиться от материалистов», Горин вместе с тем пишет, что он «...вычеркнул из надписи слова «благодарного за советы и указания», находя их компрометирующими философскую репутацию автора, что в высшей степени нежелательно». «О своем поступке, — замечает Горин в сноске к этому месту письма, — я оповестил автора, и он бурно протестовал против этого, находя это «нарушением его авторских прав». Ну, что же делать! Публичное право выше личного права».

Далее Горин еще раз обращается к этой теме: «Части надписи Владимира Ильича, которую я вычеркнул, я действительно не заслужил, так как сколько-нибудь по существу он моих указаний не использовал (хотя он уверяет в обратном). Но дело собственно не в этом, а именно в компрометирующем характере надписи... Это была просто чересчур большая любезность автора, не считавшегося с этой невыгодной стороной дела. Но я в свою очередь не мог не поступить в обратном смысле, так как речь шла собственно не о самом Владимире Ильиче как таковом, а как об авторитетном лице, мнение коего о махизме сыграло бы роль услуги материализму»¹¹

Вскоре и сам Горин выступил с книгой, направленной против махизма, прежде всего против богостроительских идей в творчестве А. В. Луначарского. Опубликованная под псевдонимом «Н. Грабовский» (в память о поэте-революционере П. А. Грабовском, с которым Горин был знаком лично), эта работа была названа им «Долой

материализм! (Критика эмпириокритической критики)» (Екатеринослав, 1910)*.

Книга Горина была не лишена серьезных методологических пороков. В известном смысле оправдались опасения Ленина, который еще до ее опубликования высказывал глубокое сомнение в ее успехе. «...При всей его уверенности в моих знаниях, он не уверен в моем творчестве»¹², — так писал об этом сам Горин. Тем не менее в целом книга «Долой материализм!» представляла собою все же одно из не столь уж многочисленных тогда выступлений с позиции убежденного материализма против философских заблуждений и идеалистических шатаний внутри русской социал-демократии периода столыпинской реакции.

В своей работе Горин дважды ссылался на ленинский «Материализм и эмпириокритицизм», солидаризуясь с ним по ряду важных вопросов. Но дело даже и не в этих ссылках, а в том большом воодушевлении, которое породило у Горина появление философского труда Ленина и без которого вряд ли была написана его работа. Недаром А. А. Богданов, вспоминая несколько лет спустя о Горине как о своем философском противнике, связывал появление его книги с выходом «Материализма и эмпириокритицизма». В рукописи его сборника «Десятилетие отлучения от марксизма» (1914) мы находим слова о том, что его «третьим отлучателем из большевиков»** явился Н. Грабовский, скромный старый марксист, которого всецело соблазнил пример В. Ильича. По образцу книги В. Ильина Грабовский написал свою, «тоже довольно большую...»¹³.

...Вот что стоит за двумя строчками впервые появившимися в научном аппарате Полного собрания сочинений В. И. Ленина¹⁴.

* В 1920 году она вышла вторым изданием в Москве в значительно переработанном виде.

** Первым Богданов считал В. И. Ленина, вторым — Г. А. Алексинского, который выступил с критикой его взглядов в журнале «Современный мир» (1911, № 7).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В. И. Ленин, ПСС, т. 18, стр. 520.

^{1а} Там же, стр. 520—521.

² «Речь», 12(25) августа 1908 г.

³ Ленинский сборник XXV, стр. 298.

⁴ См.: В. И. Ленин, ПСС, т. 18. Даты работы В. И. Ленина над книгой «Материализм и эмпириокритицизм», стр. 520.

⁵ Центральный партийный архив ИМЛ при ЦК КПСС, фонд 292, опись 1, ед. хр. 6, лл. 49—49 об.

Здесь и в дальнейшем сокращенные Гориным слова приводятся полностью.

⁶ ЦПА ИМЛ, фонд 292, опись 1, ед. хр. 5, л. 8 об.

⁷ Там же, ед. хр. 1, л. 67.

^{7а} Архив Дома Плеханова (Ленинград), Р. 26. 5^б, л. 5 (Записи прений на реферате Бажданова об эмпириомонизме).

⁸ ЦПА ИМЛ, фонд 292, опись 1, ед. хр. 6, лл 4—4 об.

^{8а} См.: В. И. Ленин, ПСС, т. 18, стр. 516.

⁹ ЦПА ИМЛ, фонд 292, оп. 1, ед. хр. 6, лл. 16—16 об.

^{9а} См.: Там же, лл. 16 об., 25, 32.

¹⁰ Там же, л. 23 об.

¹¹ Там же, лл. 59, 66, об., 67.

¹² Там же, л. 63 об.

¹³ Там же, фонд 259, опись 1, ед. хр. 25, лл. 160—161.

¹⁴ О Горине см. также: Подвойский Н. И., В. Ф. Горин-Галкин (некролог) — «Известия», 24 июля 1925 г., № 167; Дивильковский А., В. Ф. Горин-Галкин, «Пролетарская революция», 1925, № 9(44); Поляков М., Ключи воспоминаний о В. Ф. Горине-Галкине, «Каторга и ссылка», 1926, № 1, кн. 22; Смолов С., Махизм на русской почве, в сб.: «Из истории философии XIX века. М., 1933, стр. 394—395; Володин А., Из истории борьбы против махизма, «Вопросы философии», 1959, № 6; Кузько В. А., В. Ф. Горин-Галкин, «История СССР», 1969, № 3.

М. Еремин

По следам старых фотографий

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
28 НОЯБРЯ 1921 ГОДА

И сегодня пишутся страницы истории ленинской жизни. Тысячи ученых, исследователей, специалистов-историков, кропотливо изучая архивные материалы, документы и свидетельства очевидцев, бунвально по крохам восстанавливают события каждого дня жизни Владимира Ильича.

Автор сегодняшнего документального рассказа не историк-профессионал. Он старый член партии, генерал-майор в отставке. За десять с лишним лет поисковой работы Михаил Петрович Еремин расшифровал 65 ленинских фото- и кинокадров, проследил судьбы сотен людей, когда-то запечатленных объективом рядом с Ильичем.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС высоко оценил труд М. П. Еремина, наградив его Почетной грамотой за активное участие в подготовке Полного собрания сочинений В. И. Ленина.

В папке, которая помечена датой 28 ноября 1921 года, я храню фотографии и кинокадры этого ленинского дня и несколько документов, проливающих свет на событие, запечатленное объективом в конце ноября двадцать первого года.

В этот день Владимир Ильич пишет письмо А. Д. Цюрупе, в котором излагает план работы заместителей Председателя СНК и СТО;

высказывается (при опросе членов Политбюро ЦК РКП(б) по телефону) за принятие предложений ВЦСПС по вопросу о работе профсоюзам;

принимает корейских коммунистов; ученого теолога Ц. В. Мушкетова;

второй раз принимает П. П. Христенсена в присутствии представителя Наркоминдела Б. И. Рейнштейна и заведующего киноотделом Главполитпросвета Наркомпроса П. И. Воеводина. Во время беседы Ленина снимает кинооператор А. Левицкий.

Нас интересует последнее событие дня 28 ноября, и о нем устами участников и очевидцев и хотелось бы сегодня рассказать.

Меня давно занимали вот эти кадры, сделанные кинооператором Александром Левицким в двадцать первом году в Кремле. Я встречал самые ранние публикации наших сегодняшних снимков и в первом Ленинском сборнике и в «Красном журнале для всех» № 2 за 1924 год. Но по-настоящему заинтересовался подробностями зафиксированного на пленке дня из жизни Владимира Ильича после того, как заново перечитал его выступление на IX Всероссийском съезде Советов 23 декабря 1921 года. Я держу перед собой этот главный документ из моей поисковой папки. Прочтите его:

«Недавно мне пришлось, — говорил Ильич делегатам съезда, — видеть Христенсена, который выступил кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от имени тамошней рабоче-крестьянской партии. Не заблуждайтесь, товарищи, относительно этого названия. Там это чистейшая буржуазная партия, открыто и решительно враждебная всякому социализму, признанная совершенно приличной всеми буржуазными партиями. И вот этот, родом датчанин, а теперь американец, получающий до миллиона голосов (это все-таки кое-что в Соединенных Штатах) на президентских выборах, рассказывал мне, как он попробовал в Дании, среди публики, «одетой, как я», — так сказал он, а он был хорошо одет, по-буржуазному одет, — когда он попробовал сказать, что большевики не преступники, так «меня чуть не убили», сказал он. Ему сказали, что большевики — это чудовища, это узурпаторы, как может прийти в голову говорить в приличном обществе об этих людях?..»

Ленинская характеристика Христенсена, которого вы видите на снимках рядом с Ильичем, была чрезвычайно интересной. Но она поставила передо мной более закономерные вопросы. Какова суть визита Христенсена в Москву? О чем еще говорили Ленин с Христенсеном? Почему, наконец, Левицким была сделана целая серия снимков в день 28 ноября?

В воспоминаниях Левицкого, к которым мы еще вернемся, ответа на свои вопросы я не нашел. Ничего не дало и знакомство с наследием П. И. Воеводина, старейшего члена партии, возглавлявшего тогда Всероссийский фотокиноотдел. Вы видите Пет-



ра Ивановича на снимке. Он стоит сзади Ленина.

Итак, из шести человек, имеющих отношение к нашему событию, остались двое, которые могли бы приоткрыть завесу: Н. К. Крупская и Борис Рейнштейн — на снимке (стр. 68) он — крайний справа. Но Надежда Константиновна никаких свидетельств об этой ленинской встрече не оставила — я добросовестно просмотрел ее работы. Что же касается Бориса Рейнштейна, работника Наркоминдела, друга Джона Рида, я нашел о нем только самые незначительные упоминания.

Вот так заглох обещающий быть интересным поиск. И долгое время папка с датой 28 ноября 1921 года не пополнилась. И только в 1961 году в «Ленинке» я, разыскивая снимки по II конгрессу Коминтерна, нашел наконец то, что уже отчаялся найти. В журнале «Зритель» под заголовком «Русское крестьянство и американские фермеры» были напечатаны короткие, но весьма обстоятельные воспоминания Бориса Рейнштейна!

Прочтите второй документ из моей папки. В нем характеристики Парли Христенсена как политического деятеля. И краткое содержание бесед американца с Ильичем, которые состоялись 27 и 28 ноября 1921 года.

«В августе 20-го года, во время войны с Польшей, когда правительство Ллойд Джорджа, чтобы помочь Польше, собиралось пойти войной против России, а съезд британской рабочей партии выступил в защиту РСФСР... Христенсен послал на имя Адамсона, председателя британской рабочей партии, следующую телеграмму: «Великолепная решимость британских рабочих бороться против всякого вида военного вмешательства против Советской России является наиболее поразительной победой человечности перед милитаризмом. Вы заложили фундамент истинной мировой Лиги труда, показав славный пример силы Труда наложить вето на войну».

В ноябре 21 года Христенсен был в Москве и посетил тов. Ленина. Во время беседы речь шла о сочувствии даже несоциалистических масс американского фермерства к Советской России; о помощи американских фермеров голодающим крестьянам России; о получении от американских фермерских организаций без всяких посредников хлеба для борьбы с голодом и весеннего сева.

Перед концом беседы Христенсен попросил у тов. Ленина как подарок разрешение сняться в группе вместе с ним. Товарищ Ленин согласился, прибавив:

«Этот снимок будет моим подарком Вам,



а Вашим подарком мне будет более обильный сбор среди рядовых американских фермеров на помощь голодающим крестьянам России. Договор — это договор». Христенсен ответил: «Я принимаю предложение».

Вот почему была сделана серия снимков!

А о том, как они делались, — еще в одном документе — воспоминаниях Александра Левицкого:

«Утром морозного дня 28 ноября 1921 года я пришел в фотокиноотдел...

— Звонили из Кремля, — сказал Воеводин, — надо немедленно ехать туда. У Владимира Ильича будет на приеме Христенсен, необходимо их снять...

В небольшом светлом зале вдоль стен стояли под чехлами мягкие кресла. Направо от входа — дверь, через которую был виден стол и возле него простые стулья, — как видно, это была столовая. Дверь налево вела в кабинет Владимира Ильича.

Из столовой, кутаясь в большой платок, вышла Надежда Константиновна.

— Вам, товарищи, придется немного подождать, — здороваясь с нами, проговорила Надежда Константиновна. — Я пройду к Владимиру Ильичу, скажу, что вы пришли...

Раздался звонок, вслед за ним послышалась английская речь. В зал вошел высокого роста, плотного сложения здоровяк с огромным портфелем в руках. С американцем был невысокого роста, средних лет худощавый товарищ, как видно, сотрудник иностранного отдела или переводчик.

...В кабинете у Владимира Ильича было немногим теплее, чем в приемной... За столом в плетеном кресле сидел Владимир Ильич. За креслом вдоль стены — большой книжный шкаф и этажерка с раскрытыми книгами. Христенсен и приехавший с ним товарищ разместились в удобных кожаных креслах.

Владимир Ильич свободно владел английским языком и в разговоре с Христенсеном обходился без переводчика. Слушая внимательно Христенсена, Ленин тут же быстро записывал что-то в блокнот.

Стараясь не мешать беседе, я начал выбирать съёмочную точку. Было это делом чрезвычайно трудным не только вследствие небольшого размера кабинета, но и из-за отсутствия осветительных приборов. И хотя светило солнце, но оно было зимнее, неяркое, в туманной пелене...

Просить Владимира Ильича позировать, не двигаться я не мог, это было для него нехарактерно, а кроме того, моя просьба

прервала бы его беседу с Христенсеном, которая делалась все оживленнее. Но снять на кинолентки было необходимо. Очевидно, эта съемка была нужна Владимиру Ильичу, иначе не звонили бы из Кремля, тем более что Ленин не особенно любил сниматься.

Наконец выбрав наиболее выгодный кадр, в который вошли Владимир Ильич, Христенсен и товарищ, с которым он приехал, я снял общий план. Затем снял крупно Владимира Ильича, который не обращал внимания на стрекотание аппарата, так как был поглощен разговором с Христенсеном. Снял крупно одного Христенсена и средний план Владимира Ильича с Христенсеном. Закончив киносъемку, я стал ждать возможности снять беседующих с выдержкой на фото. Воспользовавшись тем, что Христенсен доставал из портфеля какую-то бумагу, Воеводин попросил у Владимира Ильича разрешения снять их на фото...

— Вы не убирайте аппарата, — попросила Надежда Константиновна, — Владимир Ильич, когда окончит разговор, выйдет вместе с Христенсеном...

Нам не пришлось долго ждать: послышались шаги, я начал снимать, и из подъезда вышли Владимир Ильич и Христенсен. Первым кадром я снял вдвоем, когда они выходили. Вторым, когда Владимир Ильич прощался с Христенсеном... (этот кадр мы и воспроизводим сегодня. — Ред.) К утру я смонтировал кинопозитив и отпечатал несколько фотографий Владимира Ильича с Христенсеном. В тот день все это было отправлено Владимиру Ильичу, в Кремль.

Ну, а Христенсен?

В тот же вечер, уезжая из России, он приступил к выполнению обещания, данного Ленину. Отправил телеграмму представителю фермерского штата Северная Дакота в федеральном сенате сенатору Лэдду. Вот эта телеграмма:

«Голод в России становится более отчаянным с каждым днем. Абсолютно необходима не только пища, но также и семена для весенних посевов. Наши американские фермеры имеют пшеницу. Россия же имеет товары — почему же не завязать непосредственные торговые сношения?.. Поставьте дело так, чтобы представители фермеров и представители российского департамента земледелия и внешней торговли могли бы работать совместно. Отвечайте телеграммой в Берлин». Добавлю, что, как истинный сын янки, Христенсен, стремится

быть практичным и сочетать приятное с полезным, предложил американским фермерам принять в отношении голодающей России лозунг: «Кормите (голодных русских) детей и приобретете (русские) шубы». Так что ленинская характеристика, данная Христенсену в выступлении на IX Всероссийском съезде Советов, была безошибочной.

Вот все, что содержится в моей папке, датированной 28 ноября 1921 года.

СТОКГОЛЬМ, 13 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА

— Вы, конечно, скажете, что ленинская фотография (стр. 71) вам хорошо знакома. И не ошибетесь: здесь действительно запечатлено знакомое всем и чрезвычайно важное для истории революции событие: возвращение Ильича с группой эмигрантов в Россию. Снимок «делан в Стокгольме 13 апреля 1917 года. Известен и автор фотографии Вилке Мальмстрём. Ну, а что еще известно об этом снимке, об этом событии, наконец, о людях, которых видим мы рядом с Лениным? Этот вопрос вовсе не риторический, я задал его себе еще в 1960 году, когда в «Известиях» был опубликован стокгольмский снимок с пометкой «впервые». Я задал его себе, потому что этот кадр при всей его исторической значимости был все-таки «немым», символическим. В сущности, никто сколько-нибудь точно не мог сказать, как провел этот день Ленин в Стокгольме, кто был с ним рядом, почему вообще снимок был сделан и когда — по часам? Наконец, меня невольно интриговало и качество отпечатка: контуры лиц, одежды, зданий были размыты. Люди едва угадывались. Копия с копии? А где оригинал?

Для начала кинулся перепроверить, действительно ли стокгольмский снимок опубликован в «Известиях» впервые... Нашел подобный в журнале «Прожектор» за 1924 год. В путешественнике Музея Ленина он тоже значился еще в сороковом году. Качество дубликатов, заметил, было одинаковым. Значит, одна печатка, с общего негатива копии...

Как это всегда бывает, чем больше вопросов и загадок, тем большее желание приоткрыть завесу. И вот вопрос последний: с чего начать поиск?

Ленинские документы той поры — наивернейший источник. Открываю один из

ленинских сборников. Там есть составленная Ильичем своеобразная смета на проезд группы. И все... Ищу иные источники. Есть и они. Вот, например, бумага с двадцатью девятью подписями членов группы. Эту бумагу, подписку о лояльности едущих через Германию «в plombированном вагоне», составлял Фриц Платтен, голландский социал-демократ, ответственный за переправку ленинской группы.

Может быть, эта бумага и послужит ключом к разгадке снимка?

Внимательно изучаю подписи: Ленин, Ленина (этой фамилией Надежда Константиновна подписывалась едва ли не единственный раз в жизни!). Далее хорошо знакомые имена: Инесса Арманд, Григорий Усиевич... Арманд умерла в 1920 году. Усиевич, один из активнейших руководителей Октябрьского переворота в Москве, погиб в 1919-м на колчаковском фронте... Еще и еще имена — все неизвестные... И опять — Миха Цхакая — умер. Элен Кон... Стоп! Хорошо помню Феликса Кона, старшего деятеля партии, делегата II и III конгрессов Коминтерна. А Элен, может быть, дочь? Елена?

Здесь меня ожидала первая удача. Легко отыскиваю адрес и телефоны Елены. Звоню, страшно волнуясь. Да, она Елена Феликсовна Кон, по мужу Усиевич... Стала женой Григория еще в эмиграции... Нет, оригинала стокгольмского снимка у нее никогда не было... Вряд ли вообще чем-нибудь сумеет помочь. Все-таки сорок три года назад все это было. И в какой спешке!.. Впрочем, если интересно, она видит себя на снимке: молодая особа в жакете с меховым подбоем, в шалочке, закрывающей уши. И под руку с Григорием Усиевичем. Обрадованный открытием, я все-таки решил переспросить: «Может, еще кого помните?..» — «Нет, больше никого!..»

Нить оборвалась, едва обнаружившись. Что ж, не впервой... Нужно искать другие каналы... Сейчас на снимке известны только четверо: Владимир Ильич, Крупская, супруги Усиевичи. А в списке Фрица Платтена двадцать девять подписей...

Пока суд да дело, размножил стокгольмский снимок в двух десятках экземпляров и разослал по адресам людей, знающих старых большевиков, историков...

Многие месяцы ни звонка, ни письма. Уже готовлю очередную версию. Подумываю, а не связаться ли в самом деле со Стокгольмом? И вдруг известие: в Москве у Курского вокзала, по улице Чкалова, живет Гребельская. Кто-то тридцать лет

назад слышал ее рассказ о возвращении Ленина из эмиграции. Вроде бы была очевидцем.

Гребельская... Так и есть, значит, в платтенновском списке! Телефонный справочник под рукой. Звоню. И в тот же вечер я у Фаины Зосимовны Гребельской.

Она рада встрече. За сорок с лишним лет к ней с этим вопросом никто не обращался. Снимок группы есть... из недавней газеты. Раньше никогда его не видела. И в Музее Ленина как-то не обращала внимания. Себя здесь не найдет: не попала, видно, в кадр...

Говорили долго. Она вспоминала годы эмиграции. Пробовала восстановить день 13 апреля... Но как ни пытался выяснить, знает ли она кого-либо на снимке, кроме Ильича и Крупской, разумеется, ответа долго не мог получить. Выручил опять-таки платтенновский список. Мы просмотрели его трижды, и когда уже без всяких надежд я пошел зачитывать фамилии по четвертому кругу, Фаина Зосимовна разволновалась:

«Постойте, постойте... Вы только что прочли фамилию Сквоно. Это, кажется, Абрам Сквоно... О нем я, право, ничего не знаю... А вот Раиса, отчество ее не спутать бы... Да, да, Андреевна. Тоже Сквоно, сестра!.. Она ехала вместе с нами. И через Германию, по моему, проезжала. Не пойму только, почему ее подписи нет на этом документе...».

От Гребельской я получил приблизительный адрес Раисы Сквоно, но встретиться со Сквоно удалось только осенью 1962 года. Она была в отъезде...

Тем временем «сработала» еще одна из размноженных мною стокгольмских фотографий. И к трем очевидцам события 13 апреля 1917 года — Елене Кон, Гребельской и Сквоно — прибавились фамилии здравствующих товарищей Гобермана и Сулиашвили. К сожалению, эти люди не попали тогда в объектив фотоаппарата и никого, кроме Ленина и Крупской, на нашем снимке назвать не смогли... Тогда я окончательно решил попытаться достать оригинал снимка. Четкий отпечаток открыл бы для меня новый простор для поиска. Имея таковой снимок на руках, я смог бы воспользоваться методом сравнительного анализа, который часто выручал меня. Я сличил бы портреты основных участников группы, подобранные по списку Платтена, с людьми, запечатленными на стокгольмском снимке. Здесь, я чувствовал, меня, бесспорно, ожидала удача.



Но существует ли теперь в Стокгольме фирма фотографа Мальмстрёма, того самого Мальмстрёма, который 13 апреля 1917 года сделал знаменательный снимок? Сорок пять лет — все-таки солидный срок... Ну, а даже если существует — сохранились ли негативы?

Поколебавшись, я отправил письмо в Стокгольмскую ратушу.

Две недели спустя из Швеции пришел ответ. Торопясь вскрываю конверт. Читаю... Фирма Мальмстрёма процветала. Адрес ее был прежним: Каммакаргатан, 39, Стокгольм. А владельцем фирмы был старший сын фотографа Викке Мальмстрёма — Эки. Необычайно обрадованный, я в тот же день отправил ему письмо с десятком самых разных вопросов. Только ответил бы...

Ну, а поиск в Москве шел своим чередом. Дождавшись приезда Раисы Сквно, я нашел в ленинских документах упоминание этой фамилии. И брат и сестра (Гребельская не ошиблась) действительно возвращались в Россию в ленинской группе. Я специально хочу подчеркнуть — в ленинской, — потому что в то время политэмигранты самыми разными путями возвращались на родину. По-разному, впрочем, их

и встречали. Одних пускали в страну безо всяких препон. Других мариновали для проверки. Третьим, как, скажем, Плеханову, официальные власти Временного правительства устраивали пышные встречи с почетным караулом, аксельбантами и кортежем автомобилей... Словом, Раиса Сквно ехала в Россию с Лениным. Но почему ее фамилия не значилась в списках Платтена?

Осенью 1962 года я, наконец, встретился с Раисой Андреевной Сквно. И эта встреча принесла много любопытных подробностей и новых открытий.

Судьба Раисы Сквно складывалась довольно обычно для дореволюционных времен. Скрываясь от преследования полиции, она, швея по профессии, не зная языка, эмигрировала за границу и прожила там немало лет... В самом начале беседы мне все не терпелось выяснить, встречалась ли за границей Раиса Андреевна с Лениным, хорошо ли знала его. Вертелся на языке и тот главный для меня вопрос: почему она не значилась в списке Платтена?.. Раиса Андреевна слушала меня внимательно, не перебивала. Потом взяла стокгольмский снимок и показала на женщину небольшого роста, в шляпке, опоясанной светлой лентой. (На нашем снимке она слева от

Ленина.) «Это — я... Если бы снимок был четче, вы заметили бы и другую деталь.. Ботинки — мое несчастье... У меня была ортопедическая обувь, а пошить такую всегда было сложным делом... Я тут на снимке в старых башмаках...»

Брата Раисы Андреевны мы так и не нашли. «Он шел впереди Владимира Ильича и, видимо, из кадра выпал... Дело в том, что группа наша, двигаясь к отелю «Клара Ларссон», где Владимир Ильич остановился, разбилась как бы на две части. Несколько человек (в их числе и брат) шли впереди. Потом Ильич со шведами. И все остальные...»

Среди остальных Раиса Андреевна узнала Крупскую, Елену Кон. И, внимательно присмотревшись, показала мне на человека, который держал в руках трость. «Это Миха Цхакая. У него привычка такая была — голову склонять набок...»

Еще один человек расшифрован!

«А вот этот мальчонка, по-моему, сын «бундовки». Страшно балованный был мальчонка... Владимир Ильич дал ему часы свои поиграть, так он, рассказывали, на ходу выбросил их из окна вагона... Как же фамилия его матери?..»

Выяснилось тогда, почему нет подписи Раисы Андреевны в списках Платтена. Она жила в Стокгольме и только здесь присоединилась к ленинской группе. А список составлялся для проезда из Швейцарии через Германию...

«А может быть, вы узнаете на этом снимке Инессу Арманд?» — спросил я.

«Вряд ли, — сказала Раиса Андреевна. — Во-первых, снимок плох... А во-вторых, многие из нас только по дороге в Россию и познакомились...».

Тогда я понял, почему ни Гоберман, ни Сулиашвили не могли назвать на снимке никого, кроме Ильича и Крупской. Члены группы, за некоторым исключением, очевидно, плохо знали друг друга...

Только в марте 1963 года получил первый пакет от Эки Мальмстрёма. Помню, как, не распечатывая драгоценной бандероли, я помчался в Центральный партийный архив ИМЛа и здесь на людях, стравших от нетерпения, выложил на стол шесть великолепных фотографий. Не читая письма Мальмстрёма-младшего, я принялся отбирать ленинские снимки. Их было два — оригинальных отпечатка! Резких, отлично проработанных, так что видна каждая деталь. Вглядевшись повнимательней в эти снимки, я на минуту оторопел. Они были одинаковы и неодинаковы. На одном из

них видна была та самая группа в пять человек, о которой говорила Раиса Сквонно. На другом в кадр входил только один человек из пятерки. Это и был, потороплюсь сказать, Абрам Андреевич Сквонно...

«Но почему так?» — спрашивали мы себя. Может, это просто два разных снимка? Нет: движение, повороты головы, мимика запечатленных на снимках людей были идентичными... Тогда что же — камера с двумя объективами? Нереально.

Разгадка была в письме Мальмстрёма-младшего. Он сообщил, что снимок сделан фотоаппаратом старого западного формата 10×15 см. Поэтому он отпечатал два снимка с одного негатива, и их нужно смонтировать, чтобы получить полный кадр (этот кадр мы и воспроизводим сегодня. — Ред.).

Вот что писал Мальмстрём-младший:

«Эта фотография была снята 13 апреля 1917 года на улице Вазагатан в нескольких кварталах от центрального вокзала. Группа снята на пути в ресторан, а затем они пошли в отель «Клара Ларссон», где Ленин остановился. Адрес отеля прежний: Биржер ярльзгатан, 29. Теперь вы располагаете копией с полного негатива. Негатив этот хранится у меня. Кроме того, я нашёл другую фотографию Ленина, сделанную моим отцом, очевидно, в тот же день. Как только найду негатив, вышлю и эту фотографию... Мой отец Викки Мальмстрём не был членом Социал-демократической партии Швеции. Но он всегда сочувствовал этому движению и находился в дружбе с лидерами, делал фотоснимки для левых газет... Мой отец путешествовал по всему миру и очень хотел поехать в Советский Союз. Мечта его не сбылась. Он умер. Сколько я его помню, он всегда был с камерой в руках... Его называли первым фотографом Швеции...»

Сообщаю имена людей, которых вы видите на снимке рядом с Лениным. Слева: лорд мэр Линдхаген, справа: Туре Нерман, социал-демократ. Они беседуют с Лениным о событиях в России...»

Итак, успех был налицо. Я пополнил карточку розыска новыми фамилиями и главное — имел на руках оригинал стокгольмского снимка. Долгими вечерами я разглядывал фотографию через лупу, сравнивал людей с имеющимися у меня портретами, ничего нового. Ничего утешительного. Значит, опять, в который раз, нужно было менять направление поиска. «Кто еще из ветеранов партии мог быть в то время в Стокгольме?» — задал себе

я этот вопрос и через несколько дней выяснил: во-первых, Я. Ганецкий. Это он принес Ленину весть о революции в России и потом в числе других был в составе Заграничного бюро ЦК партии. Во-вторых, В. Воровский, тоже член Заграничного бюро. Эти люди наиболее вероятны...

Дочь Ганецкого дарит мне фотографию отца. Из фотоархивов русской делегации на Генуэзской конференции беру портрет Вацлава Воровского... Снова обращаюсь к стоковскому снимку. Внимательно — лицо за лицом — просматриваю его. Ганецкого нет наверняка... А вот этот худощавый человек, беседующий с Крупской? Уж не Воровский ли это? С помощью репродукционной камеры «вытягиваю» лицо Воровского из снимка. Сравниваю с портретом. Никаких сомнений — Вацлав Вацлович Воровский! Для еще большей уверенности показываю снимки специалистам. «Это Воровский!» — заявили они в один голос.

Ну, а Инесса Арманд? Она-то непременно должна была быть в ленинской группе! Но как узнать, кто из женщин, кроме уже известных нам, на стоковском снимке — Арманд?

Решаю: надо искать приметы...

Перечитываю воспоминания семнадцатого года. Воспоминания политэмигрантов. Одно, другое, третье... ничего для меня интересного... А открытие лежало у меня на столе. В свежем номере журнала. И, просматривая его вскользь, я совершенно случайно прочел абзац воспоминаний свидетеля-очевидца отъезда ленинской группы из Швейцарии. Среди прочих подробностей была, представьте себе, и та, которая интересовала меня. Инесса Арманд по случаю успешных переговоров Фрица Платтена с германскими представителями вставила в свою шляпку большое **красное перо**. Немедленно беру снимок. Осматриваю с великой тщательностью головные уборы женщин. Есть! Едва уловимые черточки на шляпе дамы, идущей рядом с Воровским. Инесса Арманд!

Я мог бы и дальше продолжить свой рассказ о расшифровке стоковского снимка. Но, кажется мне, наиболее любопытные подробности поиска уже вам известны. Остается, пожалуй, добавить, что на нашем снимке все люди теперь расшифрованы. И сейчас я занимаюсь изучением их дальнейшей судьбы.

Ну, а о самом главном вы опять-таки знаете. Два дня спустя после того, как был сделан стоковский снимок, 15 апреля 1917 года Ленин прибыл в Петроград.

И здесь перед народом он произнес свою первую после эмиграции речь, которую закончил словами: «Да здравствует социалистическая революция!»

МОСКВА, 15 АПРЕЛЯ 1919 ГОДА

Этот снимок (стр. 75) и событие, запечатленное на нем, хорошо теперь известны. Но мало кто знает историю, начало которой относится к марту 1918 года, а именно к 10 марта, когда молодое Советское правительство переезжало из Петрограда в Москву. Эта история связана с сегодняшним снимком. И, собственно, о ней рассказ.

Но прежде о фотографии, которая сейчас перед вами. Она сделана в Москве, на Таганке, 15 апреля 1919 года. В этот день В. И. Ленин и М. И. Калинин (на фотографии он рядом с Ильичем) приехали на торжество по случаю вручения Красного знамени курсам красных командиров тяжелой артиллерии. После торжеств сфотографировались с курсантами на память. Вот, пожалуй, и все о событии...

Рассматривая однажды ленинские фотографии с одним из ветеранов Советской Армии, я спросил своего собеседника, не известны ли ему какие-нибудь подробности, связанные со снимком 15 апреля.

Выяснилось, известны. Вернее: известна. Единственная. Не так чтоб уж очень значительная, но не лишенная, во всяком случае, интереса. Старый краском сказал, что в свое время ему называли имена многих курсантов и командиров, сфотографировавшихся в тот день с Лениным, но запомнил он только двух — братьев Соловьевых, Юрия и Юлия.

— Понимаете, братья учились на одних и тех же курсах, да и имена схожи: Юрий и Юлий...

Но на снимке Соловьевых указать не удастся...

Может быть, и стерся бы в памяти этот, в сущности, мимолетный разговор, если бы не случай, заставивший обрасти подробностями маленькую деталь.

Не помню уже, по какой надобности я листал XXXIV Ленинский сборник. И прочел там вот этот документ:

«Разрешается Юлию Николаевичу Соловьеву иметь с собой и вывезти из Петрограда принадлежащую ему винтовку за № 52604, помеченную 1915 годом.

Председатель Совета Нар. Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
10 марта 1918 года».

«Юлий Николаевич Соловьев... А не один ли это из братьев Соловьевых, о которых когда-то обмолвился старый краском?» — подумал я.

Предположение, конечно, было заманчивым. Но мало ли Соловьевых Юлиев на свете! Тем более что один был москвичом, другой, судя по ленинскому документу, — питерцем. Хотя...

Я еще раз перечитал ленинскую записку, подчеркнув слова: «...иметь с собой и вывези...», и дату: «10 марта 1918 года». Ведь именно 10 марта поездом 4001 Советское правительство поедет в Москву. Не означает ли слово «вывези», что и Соловьев Юлий Николаевич отправится с правительственным составом в новую столицу? Вполне возможно. Гипотеза получалась довольно стройной, если учесть к тому же, что на московских курсах Соловьев учился в девятнадцатом году. Итак, пусть эта гипотеза станет рабочей.

Вам, наверно, понятны и то волнение, и то нетерпение, и желание как можно скорее добраться до истины, которые овладели мной. Ленин разрешил некоему Соловьеву иметь при себе винтовку. За какие заслуги? Какова здесь предыстория? Что кроется за одним из многочисленных ленинских документов? Наконец, как сложилась судьба Юлия Николаевича и имеет ли он отношение — действительно, а не предположительно — к московскому Соловьеву, а значит, и к снимку 15 апреля?

Разумеется, на все вопросы мог бы ответить сам человек, если жив. Или кто-нибудь из близких...

Значит, искать!

В Московской телефонной книге сотни Соловьевых, есть и Юлии. Позвонил аккуратно всем — ничего утешительного.

А что, если проверить Соловьевых, у которых отчество Юльевич или Юльевна?

Проверил. И на третий день после знакомства с ленинским документом встретился с Еленой Юльевной Соловьевой.

Да, ее отец действительно учился на курсах командиров тяжелой артиллерии. Вместе с братом Юрием. Отец всю жизнь был профессиональным военным. Инженер-полковник. Умер в пятьдесят втором. Умер и дядя.

Сохранились ли какие-нибудь документы? Кое-что есть...

Страшно волнуясь, пока Елена Юльевна достает документы. И не верю своим глазам, когда на стол ложится фотокопия ленинской записки.

Задаю несколько опалело вопрос:

— А винтовка целая?

Елена Юльевна улыбается. Юлий Николаевич сдал винтовку сразу же по приезде в Москву, а вот патронташ оставил на память. Она показывает мне патронташ. Мы рассматриваем старые фотографии. Я слушаю рассказ Елены Юльевны о дне 10 марта 1918 года — так, как она запомнила его со слов отца. Вспоминаю свидетельства очевидцев, и постепенно вырисовывается один из примечательных эпизодов этого дня.

Еще накануне управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич, докладывая о подготовке переезда правительства в Москву, оставил Владимиру Ильичу экземпляр секретного письма, розданного им народным комиссарам и другим лицам, отправляющимся с поездом № 4001. В письме указывалось, что поезд будет подан на Цветочную площадку, неподалеку от Николаевского вокзала, и что отход 4001-го назначен на 10 часов вечера 10 марта.

В четыре часа дня на пост у кабинета Ленина пришла смена: пожилой солдат со значком латышского стрелка и молодой красновардеец из питерских — Юлий Соловьев.

Не успели стихнуть шаги удаляющейся смены караульных, как к дверям кабинета поспешно приблизился комендант Смольного балтийский матрос Мальков.

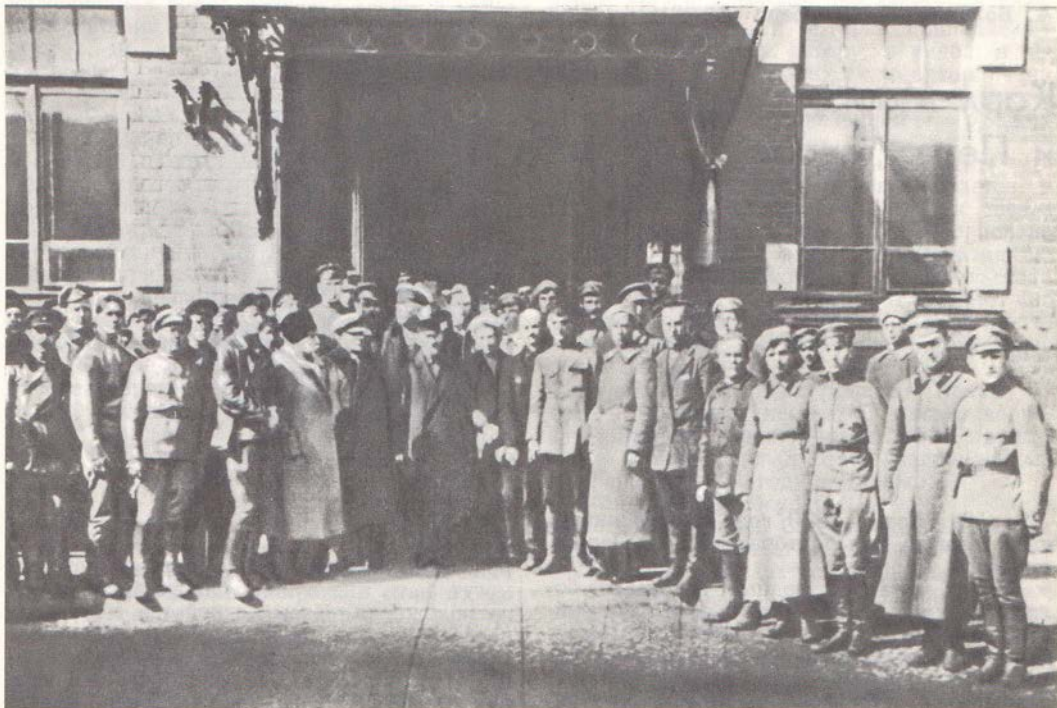
— Ты, Соловьев, — обратился Мальков к младшему, — останешься на посту один. Приказ: больше к товарищу Ленину никого не пропускать без записки управляющего делами Бонч-Бруевича. А Смилгу, — Мальков посмотрел на пожилого солдата, — с поста снимаю. Смилга поедет с поездом Совнаркома. Мы с тобой, Соловьев, останемся. Поедем попозже.

Как можно спокойно отнестись к такому: латышский стрелок едет с поездом Ленина, не отстает от Ленина даже в пути, а другой, тот, кому всего только 17 лет, останется здесь, в Петрограде! Почему именно его, Соловьева Юлия, оставляют? Может быть, и «позже» не возьмут его? Комендант мог сказать об этом в утешение молодому бойцу. Может быть, у остающихся отберут винтовки и распустят по домам?

Часовые Ленина спешат высказать каждый свое. Замолкают, услышав приближающиеся шаги из кабинета.

— Здравствуйте, товарищи! — быстро и негромко произнес Владимир Ильич.

— Здравия желаю, товарищ Ленин! Здравствуйте, Владимир Ильич! — Два приветствия слились в одно.



— Ну что же, товарищи, сегодня отбываем! Последний день в Питере!

— Так точно, товарищ Ленин, — поспешил ответить стрелок. — То есть не совсем так, товарищ Ленин. Вот моего молодого товарища не берут, оставляют здесь.

— А что такое? Почему? Да что с вами, товарищ? — обратился Владимир Ильич к опустившему голову молодому красноармейцу.

Не сразу оправившись от смущения, Юлий Соловьев ответил:

— У меня могут отобрать винтовку и отправить домой, а я завоевал эту винтовку. Я хотел бы с этой винтовкой поехать в Москву, к своим товарищам. У меня и отец переезжает в Москву...

Это же очень важно: «отец переезжает в Москву». Его отец — старый революционер, работает в Высшем Совете Народного Хозяйства, бывает на заседаниях у Владимира Ильича... Он много рассказывал о работе в подполье при царском самодержавии...

Нет, он, Юлий Соловьев, тоже хочет быть там, где его друзья, где его отец.

— А мы сейчас все и решим... Заходите, молодой человек! — и Ленин пригласил его в кабинет.

Через несколько минут Юлий вышел от Ленина. В руке у него бумажка, совсем маленькая бумажка. Бережно сжимая двумя пальцами левой руки, держит он ее на весу — еще не просохла чернила.

— От самого Ленина... Даже номер винтовки написан. Сказал мне: «Вы эту винтовку завоевали, молодой человек? Извольте, назовите номерок ее и что там еще наклейте?» Так и записал: «...принадлежащую ему винтовку за № 52604...» А когда подал записку, говорит: «А номера бумаги у нас не будет — канцелярия уже на вокзале, а какой-нибудь ставить не будем, надеемся, что поверят и без номера».

Вот, в сущности, и вся история первой встречи Юлия Соловьева с Лениным и история ленинской записки. Как и когда произошла встреча вторая, вы уже знаете. Добавлю в заключение, что, когда я уже прощался с Еленой Юльевной, она показала мне на апрельской фотографии 1919 года обоих братьев.

Так закончился еще один поиск.

А. Володин, Б. Игенберг

Карл Маркс и Петр Лавров



П. Л. Лавров.

1 (13) марта 1870 года с фальшивым паспортом на имя доктора Веймара Лавров прибыл в Париж.

Позади остались родные псковские бо- лота, пансион барона Клодта и артиллерий- ское училище, преподавание в академии, блестящий успех публичных лекций о сущ- ности философии в Пассаже, выступления в защиту студентов и статьи, статьи, статьи... В 1866 году случилась «катастро- фа» — Лаврова арестовали и спустя не- сколько месяцев отправили в ссылку в Во- логодскую губернию. Три года подневоль- ной жизни, три года мечтаний о свободе, три года непрерывной работы. Вот уже написаны «Исторические письма». Что дальше?..

В Москве, в Государственном Историче- ском архиве СССР хранится неопублико- ванный автобиографический набросок Ла- врова «Мой побег из ссылки». Здесь рас- сказывается о том, как, убедившись после перевода из Вологды в Кадников, что ему нечего ожидать скорого конца ссылки по милости правительства, Лавров решил- ся готовиться к побегу. «При этом главным лицом, с которым я вел об этом переписку, был мой зять Михаил Федорович Негрескул и его приятель Фродберг, — пишет Ла- вров. — В начале лета 1869 г. мой зять был за границей, виделся с Герценом и в июле, кажется (может быть, в августе), приехал с моим старшим сыном ко мне в Кадников, где мы условились относи- тельно всех дел по имуществу, а он мне сообщил, что Герцен ждет меня в Париже и разом введет меня в сношения с лицами

родственных заграничных партий, которые могут быть мне нужны для установки мое- го положения. План устройства моих дел, пересылки моей библиотеки за границу и моего бегства был установлен настолько во всех подробностях, что уже с первым зим- ним путем 1869 г. я должен был бежать. Но расчеты мои были разрушены [...], мой зять был арестован. Результатом этого было, что до самого 1870 г. ни дела по имуществу не устроились, ни моя библио- тека не была отправлена, ни одного шага не было сделано для устройства моего по- бега [...]. К моему счастью, явился как раз в это время в Петербург беглецом из Став- рополя Г[ерман] Ал[ександрович] Лопатин. С ним стали советоваться, а он...»¹

Рукопись Лаврова на этом обрывается, но то, что произошло в дальнейшем, из- вестно. Смелый, самоотверженнейший чело- век, Герман Лопатин тайно увез Лаврова из ссылки. И не каким-то фантастическим об- разом, а самым что ни на есть прямым путем: Москва, Петербург. И вот, нако- нец, Париж.

ГЛАВА I: 1870—1872

1. «Лопатин уехал в Соединенные Штаты»

Герцен не дождался Лаврова в Париже: 21 января 1870 года он умер. За неделю до смерти в письме Огареву он высказал предположение, что скорее всего новая ре-

волюционная война начнется здесь, в сердце Франции: «Что будет — не знаю, я не пророк, но что история совершает свой акт здесь — и будет ли решение по + или по —, но оно будет здесь, это ясно до очевидности...»²

Предвидение оказалось точным. Париж, в который прибыл Лавров, жил напряженной предгрозовой жизнью. И человек, в котором многие современники видели далекого от политики кабинетного мыслителя, с головой окунулся в эту жизнь революционного Парижа. Осенью 1870 года он пишет своей доброй петербургской приятельнице Е. А. Штакеншнейдер о том, что Париж в настоящее время «стоит внимания». «Был я на Place de la Concorde* и на ступенях законодательного корпуса в новый «великий день», кричал с другими «Vive la République»**, видел, как срывали и сбрасывали орлов империи. Теперь предложил свои услуги республиканскому правительству...»³ Но и новая республика вовсе не обольщает Лаврова. Осенью 1870 года рабочий-переплетчик Варлен, человек, которого называли «душой Интернационала» во Франции, вводит Лаврова в одну из парижских секций Интернационала.

И во все эти летне-осенние месяцы Лавров ведет регулярную переписку с Лопатиным, уехавшим с рекомендательным письмом Лафарга к Марксу. Уже в первом же письме из Лондона Лопатин сообщал своему старшему другу: «Итак, я отправился и сделал визит Марксу, в чем теперь несколько не раскаиваюсь, потому что это знакомство оказалось одним из приятнейших, сделанных мною...»⁴ Далее Лопатин сообщал, что Маркс не только снабдил его новейшей литературой, вручив очередной номер «Народного дела»⁵ и записку о суде французского правительства над «парижскими собратьями», то есть членами Интернационала, но и принял участие в его дальнейшей судьбе: он предложил Лопатину прискочить для него место клерка. Лопатин подробно рассказывает Лаврову о встречах и беседах с Марксом, о своем намерении перевести «Капитал»; они обсуждают нечаевскую историю и другие политические новости, нарастающее обострение отношений между Марксом и Бакуниным⁶. В одном из писем Лопатин отвечает Лаврову: «Пишете Вы, что статья в «Fortnightly Review» подписана F. Marx. А этого зовут Karl Marx, и он всегда сполна вписывает свое имя»^{6а}. И некоторое время спустя, в сентябре 1870 года: «Маркс, сколько мне известно, не писал ни

какой статьи о России. Ту статью, о которой Вы говорите и которая принадлежит не известному автору, я видел; я перелистывал ее: кажется, автор очень основательно знаком со значением и относительным положением русских «партий»⁷.

По этим письмам Лавров мог судить, что жизнь его друга вполне налаживается, и вдруг — в конце года — Лопатин исчез из Лондона. Это не на шутку взволновало Лаврова. Правда, в ноябре Лопатин написал ему, что «некоторые обстоятельства» принуждают его «покинуть Европу», «но писать о таких сюжетах я нахожу не совсем удобным... Я вернусь назад месяцев через 5—6...».

Куда и зачем уехал Лопатин? Почему от него нет никаких вестей? С такими вопросами Лавров решает обратиться к Марксу.

На это последовал ответ, направленный 27 февраля 1871 года в Париж.

«Милостивый государь!

Лопатин уехал в Соединенные Штаты, и я еще не получал от него известий.

Имею честь оставаться преданным Вам
Карл Маркс»⁸.

Маркс осторожничал. Исчезновение Лопатина из Лондона было неожиданностью и для него, но совсем недавно он получил письмо от Петербурга от 15 декабря 1870 года. Объясняя мотивы своего внезапного отъезда, Лопатин писал, что дело, за которое он взялся по поручению из России, его очень привлекает; в ближайшие дни он покинет Петербург и отправится «в глубь страны», где вынужден будет задержаться месяца на 3—4 (185). О цели этого путешествия Марксу оставалось лишь догадываться. Однако и о том, что Лопатин в России, он не сообщил Лаврову: он имел основания предполагать, что за недавно бежавшим из ссылки русским эмигрантом зорко следят агенты царского правительства. Любая неосторожность может наделать больших бед. Прежде всего Лопатину, который так приглянулся Марксу. И на всякий случай Маркс «отправил» его в Соединенные Штаты.

Так состоялся первый обмен письмами между Лавровым и Марксом. Спустя три месяца они встретились.

* Площадь Согласия (франц.).

** Да здравствует республика! (франц.).

2. «Сюда прибыл из Парижа полковник Лавров...»

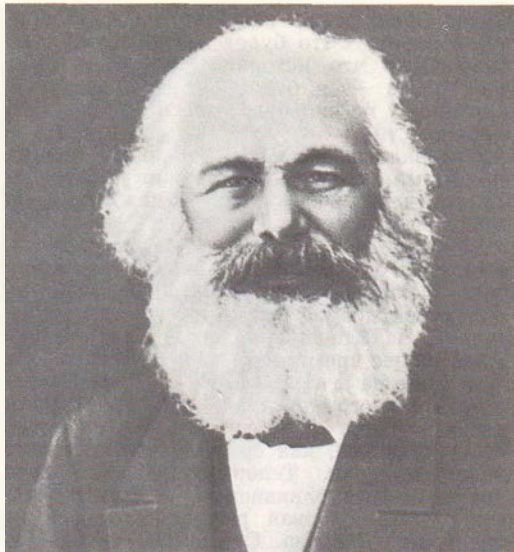
В мае 1871 года Лавров приехал в Лондон. Отсюда — вскоре после прибытия — он пишет Е. А. Штакеншнейдер, что судьба выделяет с ним довольно острые шутки. Думал человек всю жизнь просидеть сиднем на одном месте, а исторические «бури» бросают его из города в город, из страны в страну. «И вот я был уже два раза в Брюсселе, был в Антверпене, вот я в Лондоне, где вовсе и быть не думал»⁹.

«Историческая буря» — французская революция 1871 года. Это по поручению Парижской коммуны Лавров ездил в Бельгию, где, по его собственному позднему свидетельству, «сделал Федеральному бельгийскому совету Интернационала доклад о положении дел в Париже, призывал Совет к содействию Коммуне»¹⁰.

Теперь с той же задачей — попытаться организовать помощь французским инсургентам — Лавров прибыл в Лондон, где находился Генеральный совет Интернационала во главе с Марксом. Естественно предположить, что по прибытии он и отправился прежде всего к нему. Мы не знаем точно, когда и при каких обстоятельствах произошла их встреча. В том же письме от 5 мая 1871 года Лавров сообщает Е. А. Штакеншнейдер: «...Здесь я кое с кем сошелся уже довольно хорошо...» Кто имеется в виду? Возможно, что и Маркс, но об этом можно лишь догадываться.

2 июня А. Ю. Балашевич-Потоцкий — лондонский тайный агент III отделения — сообщает в Петербург: «Сюда прибыл из Парижа полковник Лавров, и сегодня мы обедали с ним в отеле». Далее шпион указывает, что Лавров присутствовал на собрании «членов и агентов Интернационала», что в Англии «будет устроен Центральный Ком[итет] Интернационала» и что Лавров и его товарищи находятся «в ужасном отчаянии» по поводу разгрома Парижской коммуны. 15 июня Балашевич-Потоцкий доносит в III отделение, что Лавров находился среди депутатов «здешних коммунистов к Гладстону и избран делегатом русских коммунистов при Центральном Лондонском Комитете»¹¹.

Что касается делегации к Гладстону, организованной членами Интернационала с целью понудить английское правительство к осуждению кровавого террора, творимого французскими властями, то участие в ней Лаврова можно считать вероятным.



Карл Маркс. 1882 г.

Но совершеннейшей выдумкой являлось сообщение Балашевича-Потоцкого об избрании Лаврова членом Генерального совета.

Очевидно, подлинный характер отношений Лаврова с Марксом и Энгельсом оставался вне поля зрения соглядатая. Надо полагать, что Лавров был весьма осторожен в беседах со своим новым знакомым, занимавшим в Лондоне почетный пост председателя Общества польских эмигрантов. Сам же Петр Лаврович видел главный результат поездки в Лондон летом 1871 года в том, что там он «познакомился с Карлом Марксом и с Фр. Энгельсом»¹².

О чем они беседовали?

Конечно, о Коммуне. Лавров был одним из немногих лиц, от которых Маркс мог почерпнуть достоверные сведения о событиях во Франции. Информацию о том, что там происходило, Марксу приходилось получать главным образом из прессы да из редких писем от коммунаров-интернационалистов. Лавров — свидетель и участник основных событий Коммуны — мог посвящать Маркса во многие неизвестные ему и притом весьма существенные детали.

К тому же Лавров приехал в Лондон, имея уже довольно определенные взгляды на события, происходящие в Париже. И в



Фридрих Энгельс. 1891 г.

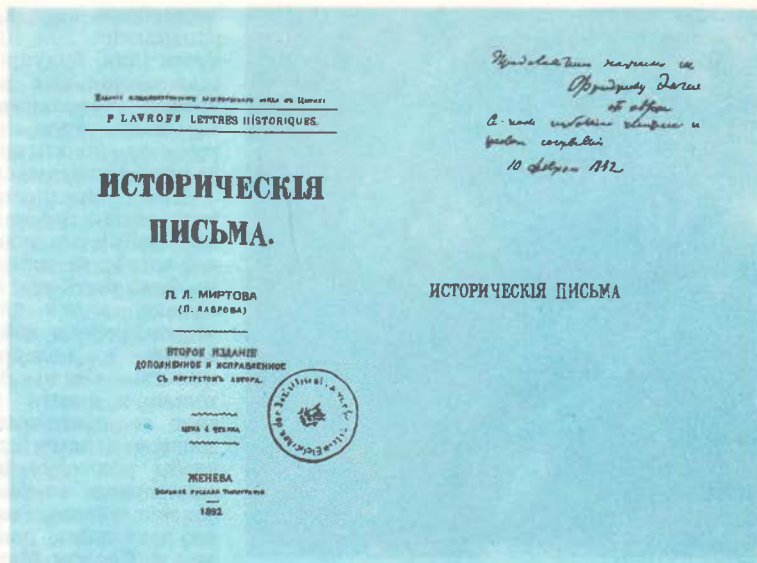
двух корреспонденциях в бельгийском еженедельнике «Интернационал»¹³ и в письмах к Е. А. Штакеншнейдер Лавров развивал мысль о том, что Коммуна — это подлинное детище рабочего класса, что революция 18 марта качественно отличается от всех предшествовавших политических переворотов. «...Простые работники организовали силу, решились ею воспользоваться и беспрепятственно завладели Парижем». «Существующее в Париже правительство честнее и умнее, чем какое бы то ни было перед этим в настоящем веке, но против него громадная оппозиция... Я очень сочувствую этой партии... В первый раз на политической сцене не честолюбцы, не болтуны, а люди труда, люди настоящего народа»¹⁴, — писал Лавров еще в марте 1871 года.

«Борьба Парижа в настоящую минуту — борьба историческая, и он действительно находится теперь в первом ряду человечества, — развивает он те же мысли, находясь уже в Лондоне. — Если бы ему удалось отстоять себя, это бы подвинуло историю значительно вперед, но если он и падет, если реакция восторжествует, идеи, засвидетельствованные несколькими неизвестными людьми, вышедшими из народа,

настоящего народа, и ставшими во главе управления, эти идеи не умрут: они останутся [для] будущих радикалов. Федерация самостоятельных коммун, эта давнишняя утопия нескольких фантазеров, как [их] называли, стала политической теорией и требует практического воплощения. Она должна воплотиться»¹⁵.

Можно предположить, что Марксу интересно было побеседовать (а может быть, и поспорить) с человеком, выработавшим такой взгляд на события 1871 года. Это должно было быть тем более интересно ему, что именно в эти дни он заканчивал свою «Гражданскую войну во Франции», произведение, о котором впоследствии Лавров скажет: «Надо было взглядеться внимательно и внести в это вглядывание лучшую социологическую подготовку относительно действительных мотивов истории, чтобы под случайными симптомами, обусловленными комбинацией событий, открыть более глубоких, часто не осознанных самими деятелями, двигателей событий, и сказать с Карлом Марксом на другой день после падения Коммуны, что «окончательной целью» ее было не «дешевое правительство» и не «истинная республика», тем менее «автономия Парижа», но что «это было, по существу, правление рабочих, результат борьбы класса производителей с классом, присвоившим себе продукт труда» («The Civil War in France», 19)»¹⁶.

Быть может, идеи Маркса уже тогда, летом 1871 года, оказали свое воздействие на представления Лаврова о сущности Парижской коммуны. Во всяком случае, его рассуждения по этому поводу в письмах Е. А. Штакеншнейдер второй половины 1871 и начала 1872 года во многом переключаются с тем, как оценивал революцию 18 марта К. Маркс. Так, например, в письме от 10(22) октября 1871 года Лавров определяет Парижскую коммуну как новый «яркий тип государства, который считали невозможным. Теперь этот тип был временно осуществлен и составил уже своего рода традицию. Возможность управления из работников также доказана». В другом письме, 16 февраля 1872 года, Лавров пишет, что положительным результатом Коммуны «является то, что она показала пример осуществления политической программы рабочих — федерации коммун с возможно полным самоуправлением, где администраторами могут быть и ремесленники...». «Поражение ничего определенно не доказывает, кроме необходимости разглядывать хорошенько, из кого состоит



Автограф И. Л. Лаврова на его книге «Исторические письма».

партия, не поддаваться иллюзиям и организоваться крепче прежде наступления минуты борьбы». И несколько месяцев спустя: «Революция 1871 г. не была социальной революцией, но она была приближением к ней... Это ее неизменная заслуга, и поэтому я считаю ее важною эпохою в истории...»¹⁷

Еще, конечно, были разговоры о Лопатине, о его опаснейшей миссии в России. Мы можем судить об этом, в частности, и по тому, что некоторое время спустя, когда Лавров уже вернулся в Париж, Энгельс в письме к нему выражал тревогу о судьбе Лопатина: «За последнее время от больного путешественника мы не имеем известий...» (205)

Очевидно, не обходили вниманием и Бакунина. Его роль в Интернационале все более и более тревожила Маркса и Энгельса. Именно в это время — летом 1871 года — они прилагают массу усилий к нейтрализации его влияния в местных федерациях и секциях.

Мы не знаем точно, какую позицию занял тогда в данном отношении Лавров. Известно лишь, что в письмах к нему из Лондона Лопатин еще во второй половине 1870 года упрекал Лаврова за примиренчество в отношении Бакунина. В одном из писем, отправленных из Лондона, Лопатин писал, отвечая, очевидно, на призыв Лаврова пососуществовать ликвидации конфликта между Марксом и Бакуниным: «Я со-

вершенно согласен с Вами, что в разных местах следует идти разными путями к достижению одной и той же цели. Согласен также, что подобные личные дразги очень вредят всякой партии, всякому делу. Но за роль примирителя не возьмусь ни за что, так как я убежден в полной бесполезности всякой попытки к примирению там, где дело коренится гораздо глубже, чем в различии взглядов и теоретических убеждений»¹⁸

С другой стороны, Лавров явно не одобрял некоторых акций Бакунина. Очевидно, под влиянием известий о провале лионской попытки Бакунина (1870 г.) и отражая реакцию на эти известия Варлена и других руководителей французской революции, Лавров писал Е. А. Штакеншнейдер: «Торопить в настоящем случае историю невозможно, надо только помогать словом и делом усилению организации и главное — распространению знаний. Главная ошибка наших знаменитостей эмиграции в том, что они торопят, как будто дело шло о политическом перевороте»¹⁹ Кто такие «наши знаменитости эмиграции»? В первую очередь мог иметься в виду, конечно, М. А. Бакунин.

Вполне вероятно, что во время разговора о Бакунине не осталась в стороне и тема, сильно занимавшая как Маркса, так и Лаврова, — нечаявшая авантюра. Ведь еще в 1870 году и тот (в личных беседах) и другой (в переписке) обсуждали ее с Лопати-

*Подарил мне карточку от
Фридриха Энгельса
от отца
в виде небольшого чертёжа и
записки советской*

10 февраля 1882

ным, а как раз летом 1871 года русские газеты начали публиковать материалы суда над нечаевцами.

Очевидно, касались в лондонских разговорах и вопроса о положении дел в Интернационале вообще. Да Лавров и лично мог познакомиться с тем, как работает центральный штаб Международного Товарищества Рабочих. Известно, что 4, 11 и 18 июля он присутствовал на заседаниях Генерального совета, где мог слушать выступления К. Маркса и Ф. Энгельса²⁰.

Очень осторожный в выборе друзей, Маркс, как видно, был, однако, вполне удовлетворен своим новым русским знакомым. Быть может, конечно, не все в Лаврове устраивало Маркса. Особенно иронически отзывался он о его тяжеловатой манере мышления. В письме дочерям Маркс дает Лаврову такую характеристику: «Лавров (не Аноров)²¹ — довольно хороший малый, но без способностей, но он зря потерял время и испортил себе мозги из-за того, что в течение последних 20 лет читал главным образом немецкую литературу (философскую и пр.) этого периода, — самый скверный сорт из всей существующей литературы. По-видимому, он воображал, что раз эта литература немецкая, то она непременно должна быть и «научной»²².

Маркс не совсем прав в характеристике круга чтения Лаврова «последних 20 лет», но несколько сложная манера изложения русского философа подмечена им довольно метко.

Однако, как бы то ни было, с полной определенностью можно утверждать, что уже весьма скоро между Лавровым и Марксом устанавливаются теплые, дружеские отношения. 12 июля 1871 года, например, Маркс приятельски приглашает Лаврова к себе домой: «Дорогой друг! Не будете ли Вы так добры прийти к нам пообедать в ближайшее воскресенье в 5 часов вечера? Вы встретите у нас несколько наших парижских друзей.

С братским приветом К. Маркс» (200). Следы тесного общения Маркса и Энгельса с Лавровым в 1871 году мы находим и в его записной книжке. В ней рукою Маркса записан адрес госпожи Освальд (Освальд — псевдоним Энгельса), а Энгельс записал свой адрес и адрес «Книгоиздательства Уильямс и Норгейт»²³. Уильямс — это один из псевдонимов Маркса.

3. «Уильямс Ваше письмо получил»

В конце июля 1871 года Лавров возвратился в Париж²⁴.

Уже более месяца прошло с того дня, как пала последняя баррикада Коммуны. Лучшие из ее сынов погибли или ушли в эмиграцию, тьеровская реакция творила кровавый суд.

9 августа Энгельс пишет Лаврову, что число его «парижских друзей» в Лондоне, с некоторыми из которых он обедал еще в июле у Маркса, все увеличивается: «Сюда приехало несколько новых людей, о которых Уильямс Вам, вероятно, писал, среди них Вайян, Тейс, Лонге» (205).

В этом же письме Энгельс просит Лаврова устроить ему подписку на «Gazette des Tribunaux». «Нам необходимо иметь наиболее точный текст версальских судебных процессов для наших исторических исследований...» (205). Для этой же цели Энгельсу понадобился и подробный план Парижа, и он просит Лаврова узнать адрес издателя подобных карт. Письмо заканчивается такими словами: «Как видите, дорогой друг, в Париже нельзя проживать безнаказанно; по всей вероятности, у меня будет к Вам больше поручений, чем у Вас ко мне. А пока сообщите мне, что я должен предпринять относительно английских книг, и примите мой сердечный привет» (205—206).

Что касается английских книг, о которых говорит Энгельс, то это сочинения Лекки, Тейлора, Леббока и Мейна, цену на которые просил выяснить Лавров и которые вскоре были отправлены ему в Париж. В свою очередь, и он весьма быстро откликнулся на просьбу Энгельса, подписав его на «Gazette des Tribunaux» и указав ему адрес, где можно было бы получить план Парижа.

Впрочем, переписка Лаврова с Энгельсом 1871—1872 годов интересна прежде всего не этими взаимными просьбами и поручениями. Из нее мы узнаем, что Лавров поддерживал и непосредственную связь с Марксом. «Вчера Вы, вероятно, получили письмо от Уильямса», — пишет Энгельс

Автограф П. Л. Лаврова на его книге «Опыт истории мысли нового времени».

в августе (205). 5 сентября Лавров адресует письмо Марксу через Энгельса (210). Через неделю Энгельс сообщает: «Уильямс Ваше письмо получил» (213). «Можно обратиться к Джонсону...»²⁵ — говорится в письме Энгельса Лаврову от 5 октября 1871 года (217).

К сожалению, ни писем Лаврова Марксу, ни писем Маркса Лаврову за эти годы, видимо, не сохранилось. Предположительно об их содержании мы можем судить на основании переписки Лаврова с Энгельсом и писем Лаврова к члену Генсовета Интернационала Герману Юнгу, находившемуся тогда в Лондоне.

Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся между Марксом и Лавровым, был вопрос о помощи парижским коммунарам, уходившим от бешенства реакции за границу. В Париже Лаврову приходилось выполнять ряд поручений руководителей Интернационала: он доставал паспорта для коммунаров, укрывающихся от преследований, собирал для них денежные средства.

Интересно в этом отношении опубликованное недавно письмо Лаврова к Энгельсу от 29 сентября 1871 года. «Только что, — пишет Лавров, — у меня был один человек, который дней десять не мог меня найти, теперь он предъявил мне карточку своей торговой фирмы на имя Трибер и клочок бумаги с моим адресом, написанным двумя почерками, один из них показался мне очень знакомым, почерком одного из моих друзей. Он сказал мне, что получил это от Серрайе²⁶, и попросил у меня гравюры. Хорошо знакомый и дружеский почерк подействовал на меня так, что я не отказал этому человеку наотрез, но поскольку всякий почерк можно подделать, то прошу Вас поговорить с Джонсоном и написать мне немедленно, достаточно ли до-



ОПЫТЪ ИСТОРИИ МЫСЛИ.

Учители социализма
Карлу Марксу
отъ друзей
въ Лондонѣ — 1871 г.

бропорядочна и надежна эта торговая фирма» (214).

Кто же был автором этой записки, написанной «хорошо знакомым и дружеским почерком»? В письме Юнгу от 2 октября Лавров высказал свое предположение: «Некто пришел ко мне, принес с собой мой адрес, написанный, как кажется, рукою Маркса...»²⁷ Лавров не ошибся. Через несколько дней Энгельс сообщил ему, что адрес действительно «был написан рукою самого Джонсона», а фирма «Трибер» «вполне честна и надежна» (216).

Из писем Лаврова видно, насколько трудно было ему собирать средства в помощь коммунарам. «...Должен Вам сказать, — писал он Энгельсу, — что в данный момент нелегко вести дела в торговых кругах Парижа» (214). Не имея из Лондона никаких рекомендаций к рабочим обществам в Париже и не предпринимая попыток обращения к ним, Лавров действовал среди личных знакомых, круг которых был весьма ограничен. Некоторые средства ему все же удалось собрать и передать в Лондон.

Время от времени из Лондона Лаврову присылали номера газеты «Eastern Post», в которых публиковались отчеты о выступлениях Маркса и Энгельса. В одном из писем Энгельсу — в том самом, где Лавров сообщает, что он «был у Трибера и передал ему товар», русский революционер пишет: «Ваши сообщения о серьезных распрах и воззвании, которое я прочел в «Eastern Post» относительно X (Д)²⁸, меня несколько встревожили» (218).

В письмах Лаврову в Париж Энгельс считал необходимым сообщать о ходе борьбы с Бакуниным в Интернационале. «Если я не смог ответить Вам раньше, — пишет Энгельс Лаврову 29 ноября 1871 года, — то

Учителя социалистов
Карлу Марксу
от автора
в знак дружбы и уваже-
ния.

виноват в этом молодец Бакунин, который причиняет нам бесконечно много хлопот своими интригами. Положение обостряется, и в скором времени в прессе разразится открытая война» (229). В следующем письме, от 19 января 1872 года, Энгельс сообщает: «Дела Интернационала идут хорошо. Интриги Бакунина ни к чему серьезному не приведут. Этот человек забывает, что рабочие массы нельзя вести за собой так, как можно было вести кучку сектантов-доктринеров...» (231)

Определенное место в переписке Лаврова с Марксом занимала также тема о польских эмигрантах, обосновавшихся в Лондоне. Так, в письме Юнгу от 20 августа 1871 года Лавров сообщает, что писал Марксу о «плуте» Розалевском²⁹. 9 ноября 1871 года Лавров просит Энгельса оказать материальную помощь Врублевскому: «Я бы написал Джонсону или его жене, но согласно последнему письму Юнга он сильно болен, и я боюсь потревожить своим письмом его или его семью. Прошу Вас сообщить мне, что у него нового; его болезнь меня глубоко беспокоит, ведь я так давно ничего о нем не знаю» (228).

Лавров интересовался, разумеется, и научной работой Маркса. «Как идет работа у Джонсона? Скоро ли выйдет в свет его второй том?» — спрашивал Лавров у Энгельса о «Капитале» в письме от 26 октября 1871 года (218).

Любопытно, что иногда Маркс являлся посредником в революционных связях с Лавровым. Так, 6 августа 1871 года русский эмигрант В. О. Баранов писал Марксу: «По-русски написанное письмо прошу покорнейше переслать г-ну Лаврову; надеюсь, что, когда я через неделю вернусь в Лондон и буду иметь честь посетить Вас, я найду и письмо от этого высокочтимого человека» (203). Это письмо вместе со своим Маркс сразу направил в Париж Лаврову. 13 августа Лавров сообщил Энгельсу: «Я получил также письмо от Уильямса. Завтра отвечу ему и молодому человеку, письмо которого он мне переслал» (207).

Летом 1872 года Лавров вновь посещает Лондон. Мы не знаем точно причин, по

которым он поехал туда на этот раз. Но известно, что и во время этого посещения английской столицы Лавров встречается с Марксом. А. Ю. Балашевич-Потоцкий, очевидно, как всегда, преувеличивая, доносит в Петербург: Лавров «имеет постоянные совещания с Марксом»³⁰. О том, что Лавров действительно встречался с руководителями Интернационала, можно судить по письму С. А. Подолинского Марксу от 30 марта 1880 года: «Возможно, Вы еще помните, что я имел честь познакомиться с Вами летом 1872 года у г-на Энгельса через посредство г-на Лаврова» (405)...

Все шло, казалось бы, вполне нормально, и вдруг дружески-деловые контакты сменились острой публичной полемикой.

ГЛАВА II: 1872—1874

4 «После Лондона я в прохладных отношениях с Марксом...»

«Должно быть, мне судьба быть всегда одним, — с горечью пишет Лавров Е. А. Штакеншнейдер из Лондона 17(5) июля 1872 года, — в общую ноту я все не попадаю: то полутоном ниже, то тоном выше беру. Что делать: буду петь, как приходится по голосу», — и тут же сообщает: «Вот тому дня четыре приходилось отвечать в Цюрих одному господину, который очень серьезно спрашивал меня о моем положении между двумя партиями Интернационала»³¹.

Некоторое время спустя, защищая деятелей Парижской коммуны — «людей мысли и дела» — от всякого рода обвинений со стороны Е. А. Штакеншнейдер («Одни погибли, как Варлен, другие работают на чердаках, как Франкель, но называть их Магницкими и Аракчеевыми неудобно»), — Лавров напишет такие слова: «Маркс был бы вовсе не на месте в Париже; он не так, чтобы влиять на народ в подобные минуты. Его можно обвинять (и я обвиняю) в другом, но это иное дело»³².

Из последних слов видно, что уже в это время между Марксом и Лавровым имели место какие-то разногласия.

В письме Юнгу от 18 декабря 1872 года, делясь планами по изданию журнала «Вперед!» и сообщая о его программе, Лавров определяет свою особую позицию «в спорах Интернационала»: «Принимая цель Интернационала и его общественный идеал, я оставляю открытым вопрос о большей централизации или децентрализации и допускаю полемику по этому вопросу в самом журнале, решительно устраняя всякие личные нападки с той и другой стороны»³³.

Очевидно, Лавров в целом не одобрял той политики, которую Маркс вел в отношении Бакунина и бакунизма, в особенности на Гаагском конгрессе I Интернационала (сентябрь 1872 г.). Сам Лавров на конгрессе не был, но подробнейшую информацию о его работе он получил от присутствовавшего там своего единомышленника С. Подлинского³⁴. Определенно не одоббив раскола, происшедшего в Интернационале, Лавров склонил свои симпатии к позиции Г. Юнга, точке зрения которого, по собственному признанию Лаврова, он «больше всего симпатизировал в борьбе партий Интернационала»³⁵.

Для характеристики отношения Лаврова к борьбе между Марксом и Бакуниным очень показательны следующие свидетельства Г. А. Лопатина. Касаясь в своих воспоминаниях вопроса о так называемой любавинской истории³⁶, Лопатин писал: «Несмотря на мою тесную дружбу с Марксом, я отказался наотрез дать ему находившиеся у меня в руках документы по этому делу^{*}, сказав ему: «Я не оправдываю вполне Бакунина, но никогда не соглашусь помогать позорить на всю Европу человека, игравшего такую роль в нашем революционном движении». Так же отнесся к этому делу и Лавров, знавший от меня все подробности любавинской истории и не находивший поэтому возможным для себя ни обвинять, ни защищать Бакунина»³⁷.

Не поддерживая борьбы Маркса против бакунизма и Бакунина, Лавров вместе с тем ни в коей мере не сближается с последним. Любопытное свидетельство оставил один из сподвижников Бакунина — М. П. Сажин. Вспоминая о событиях, предшествовавших Гаагскому конгрессу Интернационала, на котором «Маркс готовился дать Бакунину и его сторонникам генеральный бой», Сажин рассказывал, что накануне конгресса он написал Лаврову письмо, в котором просил поддержать в печати сторонников Бакунина. «В ответ на мое письмо, — вспоминал Сажин, — Лавров писал мне, что никакого прямого отношения к предстоящему конгрессу он не имеет, что это дело его мало касается, что он стоит в стороне от Интернационала. В письме он выражал, между прочим, сожаление по поводу неурядиц и междоусобия в Интернационале, но категорически отказался принять какое-либо участие в связи с предстоящим конгрессом, подчеркивая, что это дело не является для него близким»³⁸.

Возможно, что какие-то акценты в воспоминаниях Сажина сдвинуты, но что из



Р. Х. Идельсон.

них следует с полной определенностью, так это то, что Лавров отказался поддержать Бакунина в его полемике с Марксом. Он явно не одобрял многих его действий и идей, хотя и считал его заслуженным революционером и даже еще в конце 1872 года, после Гаагского конгресса, вел с ним переговоры — опять-таки через Сажина — о совместном издании журнала «Вперед!». Правда, переговоры эти закончились неудачно. «Это совсем враждебная партия» — обронит вскоре Лавров, говоря в одном из писем Вырубову о «бакунищах»³⁹.

В 1873 году ясно вырисовалась и обнаружилась своеобразная и притом активная самоизоляция Лаврова от основных борю-

^{*} Это сделал после, перед Гаагским конгрессом Н. Утин. — Примечание Г. Лопатина

щихся политических течений внутри европейского освободительного движения. «Я становлюсь на точку зрения интернационально-рабочего движения, независимо от партий, — заявлял Лавров. — Централисты и анархисты... должны будут самым решительным образом оставить всякие личные нападки и, главное, всякое оскорбление. Буржуазная монополия, буржуазное государство — вот наши единственные враги»⁴⁰.

«Я не еду на Женевский конгресс, так как я в плохих отношениях с руководителями обеих партий. После Лондона я в прохладных отношениях с Марксом, и по особым причинам я еще в худших отношениях с Бакуниным», — пишет Лавров Г. Юнгу 28 августа 1873 года⁴¹.

Стремление занять особую позицию в борьбе течений внутри Интернационала нашло отчетливое выражение в письмах Лаврова Юнгу, где высказывается полное одобрение тому факту, что Юнг, оставаясь противником анархизма и федерализма Бакунина, вместе с тем осуждает принципы организационной политики Маркса.

В первом номере журнала «Вперед!», открывая «Летопись рабочего движения» и характеризуя Интернационал как громадное движение, которое «выходит из самой глубины общественных потребностей современного человечества и готовит самое радикальное изменение всему социальному строю Европы», Лавров вместе с тем высказал свое неодобрение решению Гаагского конгресса, благодаря которым «давно готовившийся «раскол» в Интернационале стал явным: «Борьба за организацию Интернационала по тому или другому типу [а именно так понимал смысл борьбы между Марксом и Бакуниным Лавров] перешла, с одной стороны, в отказ части федераций и секций признать последний конгресс и Генеральный совет, им установленный, с другой — в исключение огулом всей корпоративной и индивидуальной оппозиции из организации Интернационала». Лавров выразил свое особое сожаление по поводу «печальной» и «грубой» формы, которую приняла печатная полемика партий, формы, «которая не гнушается взаимными обвинениями в продажности, в мошенничестве и шпионстве, обвинениями, падающими в обеих партиях на людей, стоящих для всякого наблюдателя, не увлеченного страстью минуты, злобою дня, вне всякой возможности подобных обвинений»⁴².



В. Н. Смирнов.

В октябре 1873 года Лавров прочитал работу Маркса и Энгельса «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих», в которой разоблачался вредная роль М. Бакунина в Интернационале. Он не понял всей глубины происходящей на его глазах политической борьбы в рабочем движении и недооценил вред, который наносила пролетариату деятельность Бакунина в Международном товариществе рабочих. Пытаясь занять в этой принципиальной полемике оппортунистическую позицию, Лавров оценил брошюру Маркса как «чрезвычайно желчный», но «чрезвычайно умно» составленный памфлет. По мнению Лаврова, вражда между Марксом и Бакуниным не изменит характера рабочего движения. «...Оба женевских конгресса в своих результатах так близки друг к другу, как это только возможно, и умы истинных трудящихся

Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Von

Karl Marx.

Dritter Band, erster Theil.

Buch III:
Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion.
Kapitel I bis XXVIII.

Herausgegeben von Friedrich Engels.

Die Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

Hamburg
Verlag von Otto Meissner.
1894.

Handwritten signatures and notes:
F. Engels
Karl Marx
London, 1. Oct. 1871.

Автографы Ф. Энгельса на книге К. Маркса «Капитал».

сближаются, в то время как борьба между вождями достигает своего апогея»⁴³.

Такая позиция отнюдь не способствовала развитию дружеских отношений Лаврова с Марксом и Энгельсом. Когда в ноябре 1873 года в Европу прибыл из России Лопатин и проводил время в дружеских встречах с Лавровым, Энгельс забеспокоился, как бы Лопатин не оказался восприимчивым к «слащавому примиренчеству» Лаврова⁴⁴. На это опасение Маркс ответил: «Если Лопатин переедет в Лондон, мы уже сумеем предохранить его от лавровской лести»⁴⁵. Здесь нашла свое выражение своеобразная борьба за Лопатина, которую, со своей стороны, вел также и Лавров. Один из его ближайших друзей и сотрудников, В. Н. Смирнов, в письме от 27 ноября 1873 года спрашивал жену: «Приехал ли Лопатин из Лондона или еще лежит в объятиях Маркса?..»⁴⁶

5. «Мы квиты...»

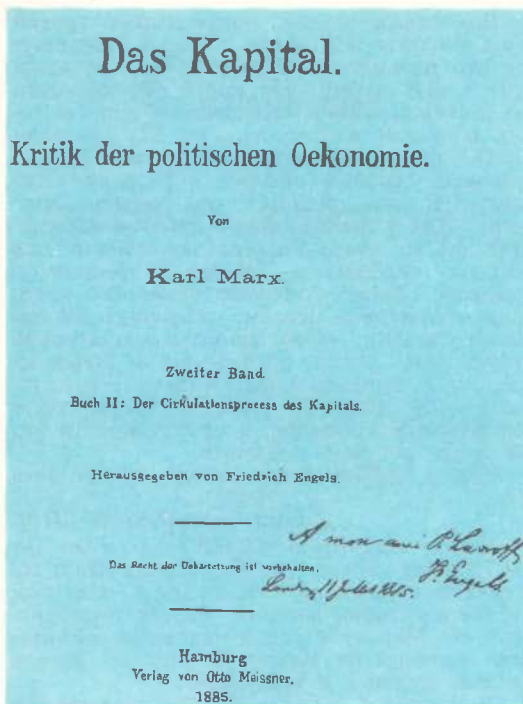
К осени 1874 года отношения между Лавровым и Марксом резко обострились. В конце августа 1874 года русская революционерка Софья Бардина, находившаяся в Женеве, обратилась к В. Н. Смирнову с просьбой: не может ли Лавров «доставить от Маркса» два экземпляра «Капитала» и «Нищету философии». «Сочинения Маркса, о которых Вы пишете, — ответил ей Смирнов, — нет возможности доставить. Петр Лаврович не видится теперь с Марксом. Последний разошелся с Петр[ом] Лавр[овичем] потому, что [он] его и Энгельса поставил во II книге журнала наряду с Бакуниным»⁴⁷.

Приведенное свидетельство вполне точно: Маркс действительно «разошелся» с Лавровым из-за очередного выпуска «Летописи рабочего движения», помещенного во второй книге «Вперед!», вышедшей в 1874 году.

Здесь Лавров, вновь обращаясь к ожесточенной полемике между марксистами и бакунистами, отодвигающей, по его мнению, главные вопросы борьбы против эксплуататоров на второй план, вновь высказал свое ошибочное порицание документу «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих». Характеризуя это издание, Лавров писал, что оно полно «частных фактов, которые не могли быть собраны иначе, как по слухам, и, следовательно, достоверность которых не могла быть неоспоримой для составителей». Далее Лавров утверждал, что подобная форма полемики вызывает радость и злорадство буржуазных газет⁴⁸.

Это не могло остаться без ответа.

В статье, опубликованных 6 и 8 октября 1874 года в газете «Der Volksstaat» и вошедших впоследствии в цикл «Эмигрантская литература», Энгельс резко выступил против компромиссной позиции Лаврова. «По своей философии, — писал Энгельс, — друг Петр является эклектиком, который старается из самых различных систем и теорий выбрать наилучшее: испытайте все и сохраните наилучшее!.. С этой точки зрения вся борьба и все споры революционеров и социалистов между собой должны казаться чистойшей нелепостью, которая может лишь порадовать их врагов. И вполне понятно, что человек, который держится таких взглядов, пытается примирить всех этих взаимно борющихся людей и серьезно убеждает их не достав-



лять больше реакции этого скандального зрелища, а нападать исключительно на общего врага» (45). И далее, отметив ошибочность некоторых утверждений Лаврова, Энгельс указал на его главное, «трагическое противоречие»: проповедуя единство в среде революционеров, он сам в работе «Русской социально-революционной молодежи», направленной против Ткачева, выступил против бакунизма и нечаевщины, против тех революционеров, которые были готовы «эксплуатировать своих друзей и товарищей, лишь бы сделать их орудиями своих планов; они готовы были на словах защищать полнейшую независимость и автономию личностей и кружков, организуя в то же время самую решительную тайную диктатуру, приучая приверженцев к самому овечьему неосмысленному повиновению» (52). «Но как же так случилось, — вопрошает Энгельс, — что друг Петр, развивающий в журнале «Вперед!»

столько истинно христианской терпимости и требующий ее от нас по отношению к разоблаченным нами мошенникам, — мошенникам, которых, как мы увидим, он знает так же хорошо, как и мы, — как же случилось, что по отношению к авторам отчета у него не нашлось ни капли терпимости, чтобы спросить себя, не пришлось ли и им тоже... из двух зол выбрать меньшее? Как это случилось, что ему понадобилось обжечься самому, прежде чем он понял, что может произойти и большее зло, чем немного острой полемики против людей, которые под прикрытием мнимореволюционной деятельности стремились сфальсифицировать и свести на нет все европейское рабочее движение?» Прочитывая строки Лаврова, направленные против нечаевски-заговорщических методов, Энгельс саркастически заметил: «Невероятно, но факт: эти строки, как две капли воды похожие на выдержку из «Заговора против Интернационала», написаны тем же человеком, который несколькими месяцами раньше осудил эту брошюру как преступление против общего дела за нападки, вполне совпадающие с вышеприведенными строками и направленные против тех же самых людей. Теперь мы можем быть удовлетворены» (51—52).

Выступление Энгельса сразу же привлекло внимание русской эмиграции. 15 октября 1874 года Лопатин, которому Энгельс послал свои статьи об «Эмигрантской литературе», писал из Парижа в Лондон Энгельсу: «Что касается меня, то я прочел статьи с большим интересом и должен признать правильность Вашей аргументации. Но по форме они довольно язвительны. Право, Вы очень злы. Я не мог удержаться от смеха, хотя люди, с которыми Вы так строго обошлись, мои друзья» (313).

Энгельс ответил Лопатину, что в его намерения не входило использовать газету для высмеивания Лаврова, что он старался быть сдержанным и даже смягчил текст «насколько, насколько это было возможно», так как после внимательного прочтения работы Лаврова «Русской социально-революционной молодежи» он «действительно больше не мог иметь претензий к нашему другу за его необычайно резкие и действительно не имеющие оправдания выражения, которые он употребил в отношении нас». Далее Энгельс высказывал Лопатину свое отношение к инциденту с Лавровым: «Что ка-

сается меня, мы квиты, и я готов положить ему руку в любой момент, если он отнесется ко всему этому так же легко, как я» (313—314). Эти слова из письма Энгельса Лопатин сообщил Лаврову в письме к нему от 27 октября 1874 года. Так Лавров узнал о благородной позиции Энгельса.

Вскоре личные дружеские взаимоотношения были восстановлены. Последующий период, вплоть до смерти Маркса, был лишен каких-либо моментов, омрачающих эти отношения. Правда, и в эти годы Маркс не останавливался перед тем, чтобы указать на непоследовательность действий и неоправданность некоторых компромиссов Лаврова. Так, летом 1876 года, недовольный тем, что газета «Вперед!» поместила «противно-хвалебную» (выражение Маркса) статью о похоронах Бакунина⁴⁹ и что «Бакунин фигурирует в ней как «гигант революции», Маркс пишет Энгельсу: «Лавров, очевидно, считает хорошим деловым маневром — путем помещения бакунистских корреспонденций привлечь к своей газете и эту партию»⁵⁰.

Однако идейные разногласия между Марксом, Энгельсом, с одной стороны, и Лавровым — с другой, никогда не приводили в дальнейшем не только к разрыву, но даже и к более или менее значительному охлаждению их отношений.

Очень важным и показательным в данной связи представляется тот факт, что в 1886 году Энгельс в письме немецкому социал-демократу Г. Шлютеру высказался определенно против переиздания своих статей из «Volksstaat» 1874 года, в которых он критиковал Лаврова. Энгельс писал: «Статей из «Volksstaat»... лучше не помещать. Статья III была направлена против Лаврова, который с тех пор не давал нам никакого повода снова ворошить старый хлам⁵¹; к тому же она... кроме нескольких удачных мест, не содержит в себе совершенно ничего, что представляло бы теперь интерес или могло бы оказать пропагандистское воздействие»⁵².

ГЛАВА III: 1874—1877

6. «Зайду к Вам, когда погода станет лучше...»

В марте 1874 года Лавров переехал в Лондон; сюда была перенесена типография и редакция «Вперед!». Очевидно, уже к концу года дружеские отношения между ним и Марксом стали налаживаться.

Во всяком случае, когда вышел третий том журнала «Вперед!», Лавров презентует его экземпляр Марксу, и тот не находит в нем ничего, что могло бы помешать их товарищеским отношениям. Более того, в письме к Лаврову от 11 февраля 1875 года, поблагодарив его за подарок, выразив особый интерес к разделу «Что делается на родине» и заявив, что, если бы у него было время, он сделал бы из этого раздела извлечение для газеты «Volksstaat», Маркс сообщает о посылке Лаврову второго немецкого издания «Капитала». Письмо заканчивается такими словами: «Мое здоровье значительно улучшилось после пребывания в Карлсбаде, но я вынужден еще сильно ограничивать свой рабочий день, а кроме того, вернувшись в Лондон, я простудился и это не перестает меня донимать».

Зайду к Вам, когда погода станет лучше.

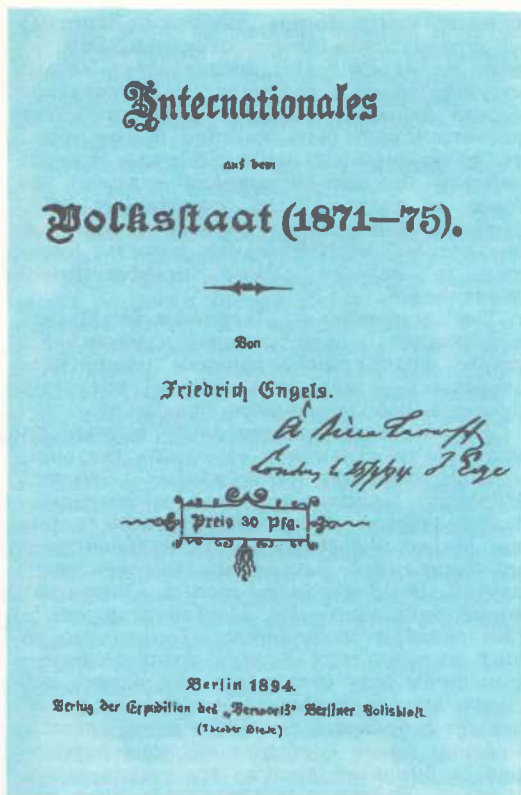
Ваш Карл Маркс» (316).

Через некоторое время, в том же 1875 году, когда из Петербурга был доставлен только что вышедший 1-й том «Опыта истории мысли», Лавров преподносит его Марксу с такой надписью: «Учителю социалистов Карлу Марксу от автора в знак дружбы и уважения».

В период с начала 1875 года по май 1877 года Маркс и Лавров многократно запросто посещали друг друга⁵³, проводя время в беседах о различных естественно-научных и общественных вопросах. Обыденными становятся взаимные приглашения на воскресные обеды⁵⁴, обмен литературой, новостями политической и культурной жизни. Так, 23 апреля 1877 года, в день рождения Шекспира, Маркс пишет Лаврову: «Дорогой друг! Посылаю Вам от имени моей дочери Тусси билет (на два лица) в кресла Лицейского театра. Это на сегодняшний спектакль (понедельник). Ставят «Ричарда III». Было бы хорошо, если бы Вы были там немного позже семи часов» (342).

От Лаврова Маркс получал интересующие его сведения о России. В свою очередь, он помогал русскому эмигранту устанавливать и развивать конспиративные связи с Россией. Так, например, в начале мая 1875 года Маркс обращается с просьбой к немецкому социал-демократу К. А. Шрамму, проживавшему в Берлине, сообщить «надежный адрес» для писем, адресованных Лаврову из России⁵⁵.

Известно, что Маркс не любил тратить время на разговоры с людьми, ему не ин-



Автограф Ф. Энгельса.

тересными, не обладавшими достаточными знаниями. Лавров не принадлежал к таким людям. «Это как раз человек, способный заставить меня болтать целыми часами», — писал Маркс⁵⁶. Широкая образованность и большая эрудиция Лаврова доставляли Марксу, очевидно, приятные впечатления от бесед с ним. Причем это был не только «друг по науке», как М. Ковалевский; их объединяла еще и принадлежность к великой армии социалистов-революционеров. Иногда при встречах им не хватало времени обсудить все животрепещущие вопросы, и тогда обмен мнениями продолжался в переписке. 18 июня 1875 года Маркс писал Лаврову: «Дорогой друг! Когда я был у Вас позавчера, я забыл сообщить Вам важную новость, которая быть может Вам еще не известна.

Физиологу Траубе в Берлине удалось создать искусственные клетки». Рассказав кратко о том, как это было сделано, Маркс тут же поделился своими наблюдениями и по другому вопросу — о сокращении продолжительности периодов, отделяющих один экономический кризис в Европе от другого (316—317).

Только что цитированное письмо Маркса Лаврову заканчивалось приветом «г-же и г-ну Нозэль». Под этим псевдонимом имелись в виду революционные эмигранты из России Р. Х. Идельсон и ее муж В. Н. Смирнов, к которым Маркс и Энгельс имели симпатию и живой интерес⁵⁷. Валериан Николаевич Смирнов и его молодая обаятельная супруга были популярными фигурами в колонии русских эмигрантов. Ближайший друг и помощник Лаврова — Смирнов работал секретарем редакции «Вперед!». Его жена заведовала русской библиотекой, затем переехала в Берн, где училась на медицинском факультете университета. В почти ежедневных письмах к Идельсону Смирнов подробно рассказывал о жизни русских эмигрантов в Лондоне. Из письма Смирнова от 3 ноября 1875 года мы узнаем, что в среду (2 ноября) Лавров был у Маркса; когда жена Маркса, с большим одобрением отзывавшаяся о занятиях Идельсона в университете, заявила, что Р. Идельсон «еще очень молода и нужно, чтобы она сделала себе карьеру», Лавров заметил на это: «Помилуйте, какая же карьера у революционеров»⁵⁸.

6 (или 8) октября 1876 года один из сотрудников Лаврова, работник типографии «Вперед!» М. И. Янцын, писал Смирнову и Идельсону: «Сегодня П[етр] Л[аврович] был у Маркса. Там сообщили ему, что на днях выйдет в продажу в Брюсселе «История Коммуны» Лиссагаре. У Маркса были Леблен и Бонье, которые шли за здоровьем Валериана Николаевича»⁵⁹.

Лавров оповещал Смирнова о содержании корреспонденций, получаемых им от Маркса и Энгельса. Этими новостями Смирнов спешил поделиться с женой. Из его писем мы узнаем о посещении русских эмигрантов Марксом и Энгельсом, о выступлении их на собраниях и митингах⁶⁰.

7. «...Можете использовать это в Вашей газете»

Из переписки В. Смирнова с Р. Идельсоном становятся известными и иные, более существенные для нашей темы факты. Из-



Л. Н. Гартман.

вестно, что 11 декабря 1875 года Маркс послал Лаврову не только второе немецкое издание первого тома «Капитала», но и шесть первых выпусков французского издания. При этом Маркс обратил внимание Лаврова на те изменения, которые содержались во французском издании и особенно в еще не опубликованных его частях — в главах о накоплении (315). Как только последние выпуски этого издания были отпечатаны, Маркс присылает их Лаврову. 13 декабря Лавров, получив эти выпуски, отправляет Марксу «благодарственное письмо» (текст его до нас не дошел). Об этом мы узнаем из письма Смирнова, из которого становится известным также и то, что сразу же было решено сообщить о новом издании труда Маркса в газете «Вперед!». «В следующем 24-м номере будет помещена библиографическая заметка по поводу французского «Капитала», — писал 14 декабря В. Смирнов Р. Идельсон⁶¹.

Действительно, в «Библиографическом известии» 24-го номера газеты говорилось: «Спешим известить читателей, что новое

издание книги Карла Маркса «Капитал» на французском языке окончено. Это далеко не перевод, но представляет весьма значительные дополнения и переделки против второго немецкого издания (1873), так что может быть названо прямо третьим изданием этой книги. Так как русский перевод сделан по первому изданию, которое во втором было значительно изменено, то для русских читателей тем важнее эта библиографическая новость, имеющая, во всяком случае, первостепенное значение»⁶².

Так полученная Лавровым от Маркса информация о существенных изменениях в тексте французского издания «Капитала» оперативно стала достоянием читателей русского революционного подполья.

Это был не единственный случай помещения на страницах «Вперед!» сведений, непосредственно сообщаемых Лаврову Марксом. Пристально следя за социально-экономической политикой русского царизма, Маркс и в этой области делился своими знаниями с Лавровым. Известен такой случай. В 43-м номере газеты «Вперед!» в корреспонденции «Из Петербурга» от 10 (22) октября сообщалось: «Только что дошел до меня слух, будто правительство в нынешнем году отказалось уплачивать субсидию железнодорожным кампаниям, но это держат в большом секрете и даже, говорят, Рейтерн лично сообщает об этом директорам, а бумаг не пишут. Эту мысль приписывают Рейтерну и Милютину, хотя оно, как будто, сомнительно»⁶³.

Как выясняется, этот факт был сообщен Лаврову Марксом. В письме от 23 октября 1876 года лаврист Н. Г. Кулябко-Корецкий писал Смирнову: «Заметка о прекращении вклада субсидий железным дорогам в последнем (43) номере сообщен был [так в тексте] [Петру] Л[авровичу] Марксом, а [Петр] Л[аврович] ему сказал, что и нам то же самое сообщают, и поместил ее в Петербургскую корреспонденцию. Это, конечно, секрет»⁶⁴.

В том же самом письме Кулябко-Корецкий свидетельствовал: «Маркс прислал [Петру] Л[авровичу] письмо, в котором пишет, что будто бы Головачев, Фадеев и Ко задумывают с субсидий от правительства издавать в Англии русскую газету. Черт знает какая ахинея; вероятно, что кто-то что-то переврал. В этом же письме Маркс в нескольких словах делает очень меткую характеристику в удивительно свободных выражениях русск[ой] финансовой политики, потеревшей за последние годы до

120 млн. рубл. на размене звонкой монеты для поддержания курса. Маркс имеет какие-то сношения с людьми, знающими закулисную сторону русской политики. Он мог бы, вероятно, много интересного сообщить нам».

Упомянутое здесь письмо Маркса Лаврову — от 21 октября 1876 г. — известно. В нем Маркс писал, в частности, что М. Ковалевский сообщил ему некоторые сведения о русской государственной политике. «Вы можете использовать это в Вашей газете», — писал Маркс (334).

Лавров тотчас же воспользовался этим разрешением-советом, и в газете «Вперед!» (1876, № 44, 1 ноября/20 окт.) появилась заметка «Из письма к редактору «Вперед!», под которой с полным основанием можно было бы поставить имя К. Маркса, так как она представляет собой перевод большого отрывка из его письма Лаврову. К заглавию Лавров сделал такое примечание: «Лицо, писавшее это и позволившее редакции воспользоваться сведениями здесь собранными, имеет полную возможность получать точные сведения по сообщаемым предметам. Мы помещаем этот отрывок письма в переводе».

А вот как выглядела во «Вперед!» сама корреспонденция Маркса:

«...Мне только что сообщили, что дрянная русская клика, претендующая быть представительницею самых крупных русских литературных сил, намерена издавать в Англии обозрение, чтобы уяснить англичанам истинное значение политико-социального движения в России. Они объявили об этом намерении Роменсону и другим известным в Англии лицам. Главным редактором должен быть, как говорят, Головачев, с другими сотрудниками грязного журнала «Гражданин» и, между прочим, с князем Мещерским⁶⁵.

Русское правительство заявило уже свою несостоятельность, допустив петербургский (государственный) банк объявить, что он не будет более уплачивать свои заграничные векселя золотом (или серебром). Я ожидал этого, — но что переходит всякую меру, это — факт, что это правительство, прежде чем прийти к подобной «неприятной» мере, сделало снова глупость, пытаясь в продолжение двух или трех недель искусственно поддержать курс размена на лондонской бирже. Дело стоило ему около 20 миллионов рублей; это все равно, как бы оно бросило эти деньги в Темзу.

Эта нелепая операция — искусственная поддержка разменного курса средствами

правительства, — принадлежит XVIII веку. Нынче лишь финансовые алхимики в России употребляют подобные приемы. Со времени смерти Николая эти карикатурные манипуляции, повторяясь периодически, стоили России по крайней мере 120 миллионов рублей. Но это в духе правительства, которое серьезно верит еще во всемогущество государства. Другие правительства знают по крайней мере, что «деньги не признают никакого господина»...»

Как видим, Маркс выступал одним из корреспондентов «Вперед!», пользовавшихся полным доверием редакции.

Впрочем, такого рода отношения Лаврова и Маркса носили обоюдный характер: русский революционер, в свою очередь, не раз выступал корреспондентом Маркса. Известен такой характерный факт. 16 марта 1877 года Маркс обратился к Лаврову с просьбой составить «краткую сводку — по-французски — о судебных и полицейских преследованиях, происходивших за последние годы в России». Эти данные потребовались Марксу потому, что представилась возможность использовать их в выступлении одного из членов палаты общин в английском парламенте. «Я думаю, — писал Маркс Лаврову, — что это принесло бы большую пользу Вашим несчастным соотечественникам» (338).

Лавров исполнил просьбу Маркса. Сообщенные им сведения Маркс передал — со своим добавлением-поправкой — члену палаты общин К. О'Клинери, который и использовал их в своих выступлениях в парламенте 3 и 14 мая 1877 года.

Те же факты Лавров положил в основу статьи «Правосудие в России», которая была опубликована лишь благодаря содействию Маркса 14 апреля 1877 года английским еженедельником «Vanity Fair».

В ответ на благодарность Лаврова Маркс в письме от 17 апреля 1877 года заметил ему: «Меня поистине удивило Ваше письмо. Ведь Вы по моей просьбе взяли на себя труд немедленно написать не только эту статью, которая была напечатана, но и рукопись для члена парламента, и Вы еще считаете себя обязанным мне! Наоборот, я Вам обязан» (341—342).

8. «Ну, как же можно сравнивать Дюринга с Марксом?»

В архиве В. Н. Смирнова содержатся материалы, характеризующие позицию Лаврова в период полемики Энгельса против Дюринга.

В середине 1870-х годов социалисты Германии обратились к Энгельсу с просьбой выступить с оценкой воззрений немецкого социалиста, философа-электика Евгения Дюринга. О том, что Энгельс собирается выступить против Дюринга, стало известно Лаврову и его русским друзьям в Лондоне в ноябре 1875 года. Известно им стало также и то, что В. Либкнехт, являвшийся тогда редактором центрального органа германской социал-демократической партии — «Volksstaat», собирается представить Дюрингу возможность ответить на критику Энгельса. Такая позиция Либкнехта вызвала отрицательное отношение в среде русских эмигрантов.

В этой связи заслуживает внимания письмо В. Смирнова Идельсон от 16 ноября 1875 года. В нем, в частности, говорится: «Получил вчера письмо от Дунечки [...]. Пишет, между прочим, что Либкнехт желает очень освободиться из-под крылушка Маркса и Энгельса. Для того, чтобы показать это другим, он устроил следующую штуку. Энгельс пишет для «Volksstaat» разбор политической экономии Дюринга. Либкнехт, чтобы показать, что Volksstaat держится не одними Энгельс[ом] и Маркс[ом], приглашает Дюринга отвечать на критику в Volksstaate. Вот будет сюрприз нашим лондонским Ларикам [?]. Это редакционный секрет [...] рассказывал Дунечке Гейзер [...] корреспондент Volksstaata...

Петр [Лаврович] не одобряет этой политики Либкнехта»⁶⁶.

Отрицательное отношение Лаврова к Дюрингу полностью проявилось в начале 1877 года, когда Энгельс начал публиковать в «Vorwärts» — преемнике «Volksstaat» — свои статьи против Дюринга. 3 марта 1877 года Маркс писал Энгельсу, что Лавров хвалит эти статьи и отмечает, что «к такой мягкости в полемике со стороны Энгельса не привыкли»⁶⁷. В ответном письме Энгельс признал, что «Лавров отчасти прав, говоря, что с этим субъектом до сих пор слишком деликатничали», но Лавров «уже в конце отдела о философии не будет больше жаловаться на мягкость, а в отделе о политической экономии — еще того меньше»⁶⁸.

После выхода первого издания книги «Анти-Дюринг» (летом 1878 г.) Энгельс сразу же послал ее экземпляр Смирнову, проживающему в Лондоне, и просил парижские адреса Лопатина и Лаврова, чтобы и им отправить это издание (348). «Надеюсь, что Вы получили экземпляр моей брошюры против Дюринга, которую я отпра-

вил Вам вчера», — писал Энгельс Лаврову 10 августа 1878 года (348). Днем позже Лавров отвечал ему: «Я только что получил Ваше любезное письмо и Вашу работу о Дюринге, которую я уже давно хотел видеть и половину которой я прочел в «Vorwärts»...» (349—350)

Ясная и резкая позиция Лаврова в отношении Дюринга в момент полемики с ним Энгельса не случайна. Еще в 1873 году в 16-м номере журнала «Знание» за подписью «П. М.» он опубликовал обширную рецензию на 2-е издание работы Дюринга «Критическая история философии от ее начала до настоящего времени». В ней он не только вынес в целом отрицательную оценку творчеству Дюринга, но и уже тогда выступил с прямой защитой Маркса от нападок новоявленного пророка. Представляя Дюринга русскому читателю, перечисляя его сочинения 60—70-х годов, отмечая некоторые их особенности, делающие их любопытными и для исследования и для простого чтения, Лавров вместе с тем точно определяет главные методологические пороки дюрингианства — эклектизм и субъективизм, доведенный до крайности, до абсурда, переходящий в простую брань. «Не только из «Критической истории философии», — пишет Лавров, — но и из всех трудов Дюринга видно, что это — личность болезненно самолюбивая, желающая во что бы то ни стало быть оригинальною, а потому впадающая в оригинальничанье, желчно относящаяся ко всякому авторитету, который как бы оскорбляет Дюринга своим влиянием. Самые резкие отзывы, даже самые непростительные ругательства встречаем у него в отношении к самым почтенным деятелям, если они пользуются уважением большинства ценителей, стоят во главе школы. Напротив, он охотно выдвигает на первое место личностей менее значительных. Поэтому в его «Критической истории политической экономии и социализма» он ругает Джона Стюарта Милля и превозносит Листа; из новейших социалистов ставит выше всех Луи Блана, далеко ниже Лассалья и старается затоптать в грязь Карла Маркса»⁶⁹.

Не менее резко отозвался Лавров о Дюринге и в работе «Государственный элемент в будущем обществе» (1875—1876 гг.). В обширном примечании к 4-й главе этого труда, специально касаясь дюрингианского плана социалистического будущего общества, он указал на его внутреннюю противоречивость и логиче-

скую несостоятельность. План Дюринга, писал Лавров, «нельзя назвать ни глубоко, ни ясно продуманным». В частности, Лавров отметил, что будущий социалистический строй в описании Дюринга «во многом напоминает еще «насильственное государство», ...которое Дюринг предполагает разрушенным...». В 5-й главе «Государственного элемента...» Лавров высказал свое сомнение по поводу убедительности доводов Дюринга насчет мирного перехода к социализму⁷⁰, по существу, согласившись в данном вопросе с Марксом.

И в дальнейшем, уже в 80-е годы, касаясь полемики между Дюрингом и Марксом, Лавров неизменно брал сторону последнего.

В 1882 году в разговоре с Н. Русановым, решившим сопоставить взгляды Маркса и Дюринга, Лавров заявил, что Маркс «должен считаться теперь бесспорным авторитетом для всех искренних социалистов и не только в экономической, но и в социологической области». С досадой обратился Лавров к Русанову: «Ну, как же можно сравнивать Дюринга с Марксом? В Дюринге я вижу умного, даже отчасти оригинального, но совершенно сбитого с толку своим непомерным самомнением и почти болезненного писателя...» Дюринг, по словам Лаврова, исходит в критике того или иного мыслителя из субъективных оценок, подчиняется капризам, предрассудкам и увлечениям. Например, критикуя Аристотеля и Гегеля, Дюринг, в сущности, пытается свести счеты с Марксом. Делается это для того, чтобы доказать, что «нет социализма, извольте ли видеть, кроме «социетарной системы», а Дюринг пророк ее... Я уже не говорю о безобразной, прямо недозволительной для социалиста полемике, которую Дюринг ведет против Маркса на страницах своей «Критической истории политической экономики и социализма», — заявил Лавров. Напомнив Русанову о своей критической статье против Дюринга 1873 года, Лавров заявил: «Теперь я бы лишь выразился еще резче о недостатках Дюринга»⁷¹.

9. «Пролетарии должны соединиться...»

...4 декабря 1875 года в Лондоне готовилось собрание, посвященное 45-летней годовщине польского восстания 1830 года. Ожидалось участие Маркса и Энгельса. Накануне, 3 декабря, Маркс послал Лаврову краткое письмо, в котором сообщал, что



Г. А. Лопатин.

состояние здоровья не позволяет ему присутствовать на собрании. Но если бы он там был, он мог бы только повторить то мнение, которое защищает уже в течение тридцати лет: «Освобождение Польши есть одно из условий освобождения рабочего класса в Европе. Новые заговоры Священного Союза являются новым доказательством этого» (325). Более подробно эти мысли Маркса развил Ф. Энгельс в своем письме к Валерию Врублевскому⁷². Эти письма, пронизанные заботой об интернациональном сплочении трудящихся в борьбе с самодержавными режимами, определили направление собрания в Лондоне, на котором присутствовали польские, русские, чешские, сербские, немецкие и французские революционеры.

Собрание началось с чтения писем Маркса и Энгельса. После этого Врублевский обратился с речью, в которой приветствовал собравшихся не только как друзей Польши, но и как представителей рабочего класса. Он призвал поляков готовиться к выступ-

лению совместно с русскими социалистами: «Польский народ и русский народ должны восстать вместе, как наши отцы говорили: «За нашу и вашу свободу!»⁷³

С речью выступил и Лавров. Он заявил, что только на почве международной солидарности возможно решение вопросов современной жизни. Поминая «добрым словом борцов 1830 г. за польскую национальность», надо помнить, что с начала человечества и до наших дней идет непрерывная «борьба угнетенных против их угнетателей, жертв против их палачей». Однако эта борьба еще не удовлетворила народные массы. «Свобода, которую завоевали народы, беря Бастилию, низвергая троны... была лишь свободой их экономических эксплуататоров. Братство между промышленником и пролетарием, между хищником и его жертвой было невозможно. Кровь народов лилась даром. И вот в 1847 году раздался клич: «Пролетарии всех стран, соединитесь!» — и лишь этот призыв уяснил, в чем сила народов, где их настоящие враги, за какое знамя им следует сражаться. С тех пор этот призыв раздается все громче и громче, армия будущего растет и должна расти. Пролетарии должны соединиться во имя своей потребности жить и развиваться, во имя любви к братьям и ненависти к эксплуататорам, во имя убеждения в правоте своего дела. Немец и славянин, назло старинной поговорке, поляк и русский, ирландец и англичанин, эльзасец и пруссак должны сделаться братьями, потому что они могут добыть желательную будущность лишь общим союзом против общих врагов»⁷⁴.

Эти слова Лаврова — свидетельство того, насколько близок он был в оценке национально-освободительных движений к позиции руководителей европейского пролетариата. И такое совпадение во взглядах не было случайным, единичным фактом⁷⁵.

Летом 1875 года в Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание славян против турецких феодалов, которое привело к русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Освободительное движение на Балканском полуострове, дипломатическая борьба вокруг этих событий находились в центре внимания Маркса и Энгельса. В передовой статье газеты «Вперед!» от 1 октября 1876 года откликнулся на них и Лавров. Лавров писал, что царское правительство, с одной стороны, выставило себя другом славян, а с другой — уверяло турецкого султана в уважении принципа легитимности против мятежных подданных, объявля-

ло себя «врагом всех славянских тенденций к освобождению и самостоятельности».

Говоря о кампании помощи славянам, возглавленной русскими либералами, Лавров отметил, что сближение эксплуатируемого народа с его эксплуататорами является помехой революционной борьбе, что для социалиста «единоверными» могут быть только социалисты. Между тем среди обществности России развернулось широкое движение в поддержку балканских славян. Русский человек, который никогда «не мог ни говорить, ни думать, ни дышать свободно», обрел возможность проявить некоторую самостоятельность. «При рабских привычках нашего общества всякое общественное заявление, не за прещенное правительством, кажется разным мелким властям заявлением, которое для правительства желательно, и эти мелкие власти лезут из кожи, чтобы сделать желательное правительству и тем высказаться перед ним в наилучшем свете». Передовая «Вперед!» заканчивалась словами: «Истинный социалист с грустью смотрит на это опьянение, на эту эпидемию и ждет, чтобы пришел час его дела»⁷⁶.

Эта статья Лаврова была высоко оценена Марксом. Получив 42-й номер «Вперед!», он сразу же пишет Лаврову: «Поздравляю Вас с Вашей передовой статьей в последнем номере «Вперед!» о панславистском лиризме в России. Это не только шедевр, но прежде всего акт большого морального мужества» (333).

А вот как об этом же рассказывал Кудряко-Корецкий в письме Смирнову от 16 октября 1876 года: «Забыл написать Вам раньше. К. Маркс и Врублевский ont fait des compliments* П[етру] Л[аврови]чу за его последнюю статью по восточному вопросу (передовая в 42 №) — очень ее оба хвалили. Он заходил к ним недавно»⁷⁷.

21 октября Маркс прислал Лаврову вырезку из английской газеты «The Pall Mall Gazette», в которой был помещен перевод статьи Лаврова, сообщая при этом: Ковалевский «просил меня дать ему № 42 Вашей газеты, но и «самая красивая девушка Франции может дать только то, что у нее есть». Я уже послал этот номер Утину (в Льеж)» (334).

Из писем Смирнова мы узнаем о некоторых неизвестных ранее фактах, раскрывающих новые стороны отношений Маркса и других руководителей европейского движения к славянскому вопросу.

* Сделали комплимент (франц.).

16 мая 1876 года редакцию «Вперед!» посетили К. Маркс и Луи Пио — видный деятель рабочего и социалистического движения в Дании, редактор газеты «Socialisten». Пио сообщил, что «датские рабочие очень интересуются» революционным движением в России, и просил членов редакции составлять для датской газеты отчеты об этом движении. В. Смирнов согласился давать такую информацию⁷⁸. В это время в Копенгагене готовился съезд датских социалистов, который, по мнению русских эмигрантов в Лондоне, должен был явиться началом образования нового Интернационала⁷⁹. Об их интересе к этому событию свидетельствует письмо В. Смирнова Р. Идельсона от 20 мая 1876 года. «В Дании, — говорится в нем, — будет конгресс датских социалистов, на который приглашены Энгельс и Маркс и, кажется, туда поедут». Далее Смирнов сообщает, что «вероятно, в скором времени произойдет образование Интернационала», которое даст возможность объединить социалистов всех стран. С этим, по его мнению, связан приезд Пио в Лондон. Смирнов приходил к выводу, что это интернациональное движение, «вероятно, начнут датчане под рукою Энгельса и Маркса»⁸⁰.

ГЛАВА IV: 1877—1883

10. «Вот Вам письмо к Марксу...»

Весною 1877 года Лавров переезжает в Париж.

Трудно сказать с полной определенностью, когда и где встречается он в последние годы с Марксом. Такие встречи могли состояться в феврале 1882 года, когда Лавров, высланный из Франции, приехал в Лондон (он пробыл здесь несколько месяцев и затем вновь вернулся в Париж)⁸¹, или во время поездок Маркса через Париж на лечение в 1881 и 1882 годах. И хотя — что касается последнего варианта — имеется несколько писем Маркса, из которых видно, что он не очень стремился к личным беседам с Лавровым, поскольку врачи требовали от него «скрываться» от друзей⁸², все же из некоторых документов следует, что такие встречи имели место⁸³.

Во всяком случае, и в этот период, в конце 70-х — начале 80-х годов, между Марксом и Лавровым существует самый тесный дружеский контакт.

В письмах друг к другу они обмениваются сведениями о близких им лицах, в част-

ности о В. Врублевском⁸⁴, обсуждают обстоятельства подготовки предисловия Маркса и Энгельса к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии»⁸⁵, сообщают друг другу политические, научные и иные новости. Глубоко обеспокоенный состоянием здоровья Маркса, Лавров со ссылкой на сведения, полученные от верных людей, рекомендует ему для лечения в 1882 году поехать в Ментону или Ниццу⁸⁶.

Живя в Париже, Лавров прилагал большие усилия к тому, чтобы всеми возможными средствами помочь своим соотечественникам-революционерам, скрывающимся от преследований царского правительства. И очень часто он обращался за советом и содействием к Марксу.

В декабре 1879 года в Париж из России прибыл народоволец Лев Николаевич Гартман. Царские жандармы разыскивали этого отважного революционера, принимавшего вместе с Софьей Перовской участие в подготовке взрыва императорского поезда под Москвой. Узнав, что Гартман находится в Париже, русское правительство потребовало от французских властей его выдачи. 23 января 1880 года Гартман был арестован. За спасение Гартмана взялся Лавров, который поднял общественную кампанию в защиту Гартмана. В ней приняли участие французские радикалы, социалисты, писатели. Поднял голос протеста и В. Гюго. Правительство Франции вынуждено было отказать России в выдаче Гартмана. 23 февраля префект парижской полиции передал Гартмана Лаврову. Через несколько часов Гартман выехал в Лондон с рекомендательным письмом Лаврова к Марксу. Такие рекомендации к Марксу Лавров давал и другим революционерам. Л. Дейч рассказывал в своих воспоминаниях, что в особо опасное для его жизни в Париже время Лавров обратился к нему с такими словами:

«Вот я достал для Вас деньги; а это — письмо к Марксу и Энгельсу; видите, я все приготовил: уезжайте поскорее в Лондон, поживите там, а когда все здесь успокоится, вы сможете вернуться сюда»⁸⁷.

Маркс высоко ценил мнение Лаврова относительно политической честности того или иного человека и внимательно относился к его рекомендациям.

Вскоре по прибытии в Лондон Гартман направил Марксу такое письмо:

«Глубокоуважаемый г-н Маркс!

Имею честь переслать Вам в этом письме записочку от моего друга г-на П. Лавро-

ва. Я был бы чрезвычайно рад получить разрешение посетить Вас и приветствовать великого учителя социальных наук.

С величайшим уважением

Л. Гартман» (399).

Такое разрешение было получено. Больше того, в честь русского революционера был устроен банкет, на котором Маркс и Энгельс пили с Гартманом на брудершафт⁸⁸. Летом 1880 года Маркс и Энгельс дружественно принимали Гартмана, иногда и сами заходили к нему⁸⁹.

Находясь в Лондоне, Гартман поддерживал связи с русскими революционерами, общался в своих корреспонденциях о встречах с Марксом. Вот одно из его писем к Лаврову: «Был у Маркса. Принял меня очень любезно и говорил, что желал бы видеть меня поскорее. Говорил с ним не много. Тут же была его дочь и потому больше переливали из пустого в порожнее»⁹⁰. На письме нет даты. Можно думать, что это одно из первых лондонских писем Гартмана к Лаврову. А может быть, это сообщение о вообще первом визите Гартмана к Марксу?

«Маркс вернулся из Рам[сгета] в Лондон. Звал меня, но я еще не успел сходить к нему»⁹¹, — пишет Гартман Лаврову 16 сентября 1880 года. 11 октября он сообщает, что ни Маркс, ни Энгельс не знают адреса Зибера, что он еще раз спросит об этом Маркса⁹². Вероятно, адрес Зибера, который в это время находился в Швейцарии, потребовался Лаврову.

С конца 1880 года корреспонденции Гартмана к Лаврову свидетельствуют о той помощи, которую оказывали Марксу его русские друзья в работе над вторым томом «Капитала». В одном из писем Гартман рассказывает: «Маркс высказал некоторое желание, чтобы я помогал ему в области разработки исследования по части эконом[ики] России. Конечно, тут моя роль будет не велика, но полезительна»⁹³. Роль Гартмана в этом деле заключалась, очевидно, в том, что он выполнял поручения Маркса по подбору нужной литературы. В письме, написанном, вероятно, в декабре 1880 года, Гартман пишет Лаврову: «Сейчас получил Ваше открытое письмо и статью для Маркса. Я пришлю обратно статью, что прислали Вы мне для Маркса. Он ошибся, говоря мне, что ему нужны две последние книжки О[течественных] З[аписок]. Ему нужна январская книжка, где [опубликована] статья Задолженность частного землевладения. Он, Маркс, просит Вас прислать ее»⁹⁴.

Лавров выполнил просьбу Маркса, прислав нужный номер «Отечественных записок». Маркс взялся за подробное конспектирование статьи «Задолженность частного землевладения». Это и задержало статью в Лондоне. 2 февраля 1881 года Гартман сообщает Лаврову, что Марксу еще нужна эта статья и что он просил Лаврова обождать⁹⁵.

Летом Гартман выехал в Америку. Осенью он возвратился в Лондон. К этому времени у Маркса находились две книги Лаврова. «Маркса еще до сей поры не видел, — писал Гартман Лаврову 22 октября 1881 года, — и не увижу его скоро; он в постели, когда увижу, возьму у него Кельсиева I том, «Задолженность русского землевладения» — журн[альную] статью и вместе со статьей «Хлебные избытки», — это у меня — пошлю Вам»⁹⁶.

11. «Коммунистический манифест» составил эпоху в истории развития рабочего класса»

Длительное дружественное общение с основоположником научного социализма, беседы и переписка с ним, изучение его трудов не могли не наложить отпечатка на мировоззрение и теоретические представления Лаврова. И об этом влиянии на него со стороны Маркса Лавров неоднократно говорил сам. Так, в своей «Биографии-исповеди» он называет себя в области экономики «учеником Маркса с тех пор, как ознакомился с его теорией»⁹⁷.

Впрочем, знакомство Лаврова с теорией марксизма состоялось несколько ранее его личного знакомства с ее творцом.

В 1864—1866 годах, находясь еще в России, Лавров был фактическим редактором журнала «Заграничный вестник». Его цель он видел в «отражении самых крупных явлений европейской жизни и современной жизни». «Журнал, — писал Лавров в программе, предварающей издание, — должен быть отголоском всего замечательного, честного и дельного в литературе и науке Запада, к какой бы партии и направлению авторы статей ни принадлежали»⁹⁸.

И вот в этом журнале, в 1864 году, в написанной Лавровым вступительной заметке к статье Л. Рюдигера «Национальность» мы встречаемся с рассуждениями, в которых трудно не видеть отраженного света идей «Коммунистического манифеста».

Предисловие Лаврова начиналось так: «В истории борьба постоянна...» И далее: «Экономические вопросы всегда составляли

самую существенную основу исторических столкновений: господин и раб, помещик и крепостной, собственник и пролетарий, капиталист и поденщик, все это были различные формы проявления того же самого экономического дуализма, который возбуждал продолжительную борьбу, ряд административных реформ, ряд политических сделок»⁹⁹.

И хотя сейчас очень трудно сказать определенно, был ли знаком Лавров уже в первой половине 60-х годов с идеями Маркса и Энгельса непосредственно или заимствовал их из вторых рук, думается, что приведенная выше фраза является своеобразным переводом-пересказом известных слов «Манифеста...»: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов»¹⁰⁰.

Через несколько лет Лавров оказался в ссылке в Кадникове. Вероятно, в конце 1868 года, просматривая издававшийся Г. Н. Вырубовым в Париже журнал «Позитивная философия», он обратил внимание на заметку русского позитивиста Е. В. Де-Роберти о первом немецком издании «Капитала» Маркса¹⁰¹. Заметка вызвала протест у Лаврова. В письме Вырубову, написанном в декабре 1868 года или январе 1869 года и обнаруживающем хорошее знание «Капитала», Лавров резко заявлял, что статья Де-Роберти поразила его «отсутствием научного понимания, понимания того, что Карл Маркс является «единственным представителем» социальной науки, доказавшим «невозможность настоящего порядка вещей» и определившим «степень эксплуатации трудящегося класса»¹⁰². По мнению Лаврова, Маркс является научным представителем экономических воззрений рабочих. Вырубов в ответном письме Лаврову — от 21 января (2 февраля) 1869 года — заметил, что рабочие не могут иметь никаких экономических воззрений, ибо в силу своего положения не в состоянии постичь политико-экономической науки. Во втором письме, написанном, вероятно, в феврале 1869 года, Лавров так возразил Вырубову: «Как Вы думаете, трудно будет понять рабочему, если Вы ему скажете: трудитесь вы, положим, 12 часов

в сутки, но для того, чтобы получить то, что вы получаете, потребно 5—6 часов. Следовательно, остальные 6—7 часов вашего труда идет в карман вашего хозяина»¹⁰³.

Это обращение Лаврова к главному труду Маркса, защита его от нападок буржуазно-либеральных критиков были, несомненно, связаны с воздействием на русского мыслителя того подъема, который наблюдался в международном рабочем движении накануне Парижской коммуны.

В письмах Вырубову Лавров определил свое отношение не только к «Капиталу», но и к деятельности различных рабочих обществ, к Интернационалу. В них он говорил о потенциальных возможностях рабочего класса, который начинает «чувствовать свою силу» и «понимать, что его интересы противоположны интересам буржуазии». По мнению Лаврова, «важнее слушать ораторов из рабочих», чем «представителей радикальной буржуазии»¹⁰⁴.

А в 70—80-х годах, когда между Марксом и Лавровым установились тесные контакты, обращение к идеям Маркса в произведениях Лаврова становится обычным явлением. И это касается отнюдь не только экономических сюжетов. В своих работах Лавров высказывал, безусловно, положительную оценку также и политической теории марксизма. Мы найдем у него многочисленнейшие высказывания относительно гигантского значения учения Маркса о диктатуре пролетариата как совершенно естественной и закономерной форме перехода к социализму, о роли политической пролетарской партии как организатора социалистической революции. Лавров мог не понимать до конца всего содержания этого марксистского учения, но фактом остается, что он его всячески одобрял¹⁰⁵.

Приведем один малоизвестный факт. В архиве Лаврова хранится незавершенная статья «Новая политическая партия во Франции», написанная в конце 1870-х годов и предназначавшаяся для русского читателя. В ней Лавров, с самого начала заявляя о важности своей темы: «Дело идет о политической партии рабочих» и утверждая, что рабочий класс становится определяющей силой социального развития, писал, что важной особенностью партии рабочих является ее политическая самостоятельность. Рабочий класс должен выставить такую программу, которая качественно отличается от различных программ буржуазных партий. Новая политическая партия рабочих «заявляет полную не-

примиримость экономических интересов рабочего класса с интересами буржуазии, хотя бы радикальной, и полагает существенным основанием своей политической программы эту сознанную рабочими непримиримость». Противопоставление экономических интересов рабочего класса интересам буржуазии было отмечено еще в 1848 году, когда появилась брошюра, которая «составила эпоху в истории развития рабочего класса». «Это был, — указывает Лавров, — знаменитый «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса. В нем авторы прямо доказывали и развивали необходимость «организации пролетариата в особый класс, следовательно и в особую политическую партию», указывали рабочим на ближайшую цель «завоевания политического господства» и подчеркивали самым резким образом фатальную противоположность интересов буржуазии и рабочих...»¹⁰⁶.

С пропагандой и защитой трудов Маркса Лавровым мы сталкиваемся и в его предисловии к «Письмам без адреса» Н. Г. Чернышевского, напечатанном во 2-м томе «Вперед!» в 1874 году, и в его статье «Теоретики сороковых годов в науке о верованиях», опубликованной в 1882 году в России в журнале «Устои»¹⁰⁷, и в его «Примечаниях» к работе катедер-социалиста Шефле «Сущность социализма», где Лавров, ограждая Маркса от реформистской интерпретации, писал о подлинной сущности его экономического и политического учения¹⁰⁸, и в его работе «Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма», напечатанной в начале 1883 года в «Календаре «Народной воли». «К концу первой половины девятнадцатого столетия, — писал Лавров в последней из указанных работ, — над пролетариатом грянули уже слова «Манифеста Коммунистов»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а июньские дни¹⁰⁹ покончили для всех внимательных наблюдателей с мечтою [о] гармонии между капиталом и трудом. Социализм второй половины девятнадцатого века мог быть только социализмом революционным, организацией рабочего класса в политическую силу, имевшую в виду сломить экономическую и государственную организацию капиталистической буржуазии»¹¹⁰.

В этом свете чрезвычайно важной представляется роль Лаврова в деле русского издания «Манифеста Коммунистической партии» с предисловием Маркса и Энгельса.

Мысль о таком предисловии возникла у Г. В. Плеханова в конце 1881 года или в начале января 1882 года. Об этом он сообщил Лаврову и попросил его обратиться к Марксу с соответствующей просьбой, так как считал, что к его просьбе Маркс «отнесется с гораздо большим вниманием, чем ко всякой другой»¹¹¹. Лавров охотно поддержал идею Плеханова. В январе он из Парижа пишет Марксу письмо, в котором, оповещая о подготовке Плехановым перевода на русский язык «Манифеста Коммунистической партии», обращается с пожеланием: «Не будете ли вы так добры написать несколько строк нового предисловия специально для нашего издания. Читателям было бы крайне интересно узнать, как авторы Манифеста толкуют его в 1882 г., и это придало бы большую ценность нашему переводу в глазах публики. Если Вы и Энгельс согласитесь выполнить нашу просьбу, мы будем Вам очень благодарны» (458).

Письмо было выполнено незамедлительно. 23 января Лавров получил из Лондона письмо Маркса: «Дорогой друг! Прилагаю несколько строк для русского издания «Коммунистического манифеста»; поскольку эти строки предназначены для перевода на русский язык, то стилистические они не так отделаны, как это необходимо было бы для опубликования их на немецком языке, на котором они написаны» (459). Лавров поспешил сделать это предисловие достоянием революционного подполья в России еще до выхода «Манифеста» вторым русским изданием. 5 февраля 1882 года предисловие Маркса и Энгельса было опубликовано в газете «Народная воля».

Маркс, в свою очередь, не оставлял без внимания произведений Лаврова. Особый интерес Маркса вызывали, естественно, те высказывания Лаврова, в которых шла речь о марксизме и его творцах. Известно, например, что в 1875 году, конспектируя статью Лаврова «Введение в историю мысли», напечатанную в «Знании» в 1874 году, Маркс русскими печатными буквами целиком выписал те строки, где говорилось о нем: «...против воли, пришлось ведаться с теорией Маркса во всяком литературном и словесном споре, в брошюрах по социальному вопросу и с университетской кафедрой. Медленно, но верно, истина восторжествовала в эти несколько лет уже до такой степени, что только возникновение так называемой социально-политической партии, или партии катедер-социалистов, находится в явной и непосредственной связи с

исследованиями Маркса о фабричном законодательстве в Англии, но и на всех почти вновь выходящих экономических сочинениях трудно не видеть тех или других следов влияния отдельных положений Маркса. Для примера мы укажем на книгу Дюринга «Kursus der Politischenökonomie», в которой теория капитала представляет бледный снимок с идей Маркса о том же предмете... но все это нисколько не мешает отдельным частям его теории пробивать себе все более и более широкий путь в сознание немецких экономистов» (р. 45, 46) 112—113.

Разумеется, Лавров не стал марксистом, хотя кое-кто из народников (например, П. А. Кропоткин) и бросал ему такое обвинение. Некоторых сторон учения и деятельности Маркса и Энгельса Лавров не понимал и не принимал. Поэтому зачастую он воспроизводил теорию научного социализма не вполне адекватным образом. Не желавший сходить с точки зрения антропологизма в социальной науке, Лавров, даже принимая учение Маркса о классовой борьбе в обществе, пытался дополнить его своей теорией об особой роли, которую играет в истории вообще и в социалистической пропаганде в особенности принцип солидарности, и т. д. и т. п.¹¹⁴

Однако все это ни в коем случае не может зачеркнуть большой заслуги Лаврова в пропаганде имени и идей Маркса в русской литературе, в подготовке революционной молодежи России к восприятию марксистского учения.

12. «Мир потерял гениального человека»

Весть о смерти Маркса дошла до Лаврова 15 марта 1883 года. На похороны из Парижа уехал Лафарг. С ним и отправил Лавров написанное им обращение от имени русских социалистов. 17 марта над могилой Маркса это обращение после речи Энгельса было прочитано на французском языке зятем Маркса Лонге.

«От имени всех русских социалистов, — писал Лавров, — шлю последний прощальный привет самому выдающемуся из всех социалистов нашего времени. Угас один из величайших умов; умер один из энергичнейших борцов против эксплуататоров пролетариата». Далее в письме Лаврова говорилось, что русские социалисты склоняются над могилой человека, который сочувствовал их борьбе, что даже те, кто расхохотался во взглядах с Марксом, вынуждены были склониться перед его всеобъемлющи-

ми знаниями и высокой силой мысли. «Даже самые яростные противники, — заканчивал Лавров, — которых он встретил в рядах революционных социалистов, не могли, однако, не внять великому революционному призыву, который Маркс и Энгельс, друг всей его жизни, бросили тридцать пять лет тому назад: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Смерть Карла Маркса пробудит скорбь у всех, сумевших понять его мысли и оценить его влияние на нашу эпоху. Я позволю себе прибавить, что эта смерть пробудит еще более тяжкую скорбь у тех, кто знал этого человека в его интимной жизни, а особенно у тех, кто любил его как друга»¹¹⁵.

17 марта в письме к Элеоноре Маркс, известившей его о смерти своего отца, Лавров выразил свое горе, свою большую любовь и глубокое сочувствие к семье умершего. «Мало кому, — писал Лавров, — выпадает счастье иметь такую семью, как Ваша, хранить у себя в памяти образ людей, столь достойных любви и уважения, как те люди, которых Вы только что потеряли... Это, конечно, отнюдь не утешение, но, дорогая мадемуазель Элеонора, я не верю в утешения, я считаю нелепой всякую попытку утешить кого-нибудь в большом горе. Только время, безразличное ко всем несчастьям, ко всем страданиям, зарубцовывает помимо нашей воли живую рану, оставляя навсегда рубец...» (480)

О смерти Маркса, силе его учения, рассказал Лавров на страницах «Вестника «Народной воли». Он писал здесь, что немолчаливая болезнь и горькие семейные потери сломали Маркса в его рабочем кабинете. Из всех стран, куда проникли идеи этого великого социалиста, «пришли прощальные приветы великому учителю, который ввел социализм в его научный фазис, доказал его историческую правомерность и в то же время положил начало организационному единству рабочей революционной партии». Лавров оповещал русского читателя об ожидаемом издании второго тома «Капитала», Собрания сочинений Маркса с его подробной биографией, составленной Фридрихом Энгельсом, и указывал, что эти издания составят «крупное явление в социалистической литературе, которому уже очень давно не было подобного»¹¹⁶.

В кратком обзрении Лавров показал рост популярности учения Маркса, расширение его влияния в науке. «Начала научного социализма, — писал Лавров, — разлились за последние годы во всю литера-

туру социологии, во всю публицистику и стали насущным вопросом для тех, которые еще очень недавно проходили мимо их с презрительным невниманием. Долго молчали о книге Маркса профессора и официальные ученые и старались замолчать ее, но это оказалось невозможным. В настоящее время нет учебника, нет сколько-нибудь серьезного экономического труда, где не пришлось бы автору высказывать свое отношение к учению Маркса, и большинству уважающих себя критиков приходится относиться к нему с полным уважением»¹¹⁷.

Громадное уважение Лаврова к памяти Маркса проявилось и в следующем инциденте. В том же самом номере «Вестника «Народной воли», в котором были напечатаны только что цитированные строки Лаврова, была опубликована статья К. Тарасова (Н. Русанова) «Политический и экономический факторы в жизни народов», в которой, в частности, утверждалось, что главная сила Маркса заключается в «чисто экономическом анализе», а не в его «историко-философских взглядах». Лавров дал примечание к этой статье, в котором говорилось: «Не вполне соглашаясь с некоторыми критическими и догматическими мнениями, высказанными уважаемым автором этой статьи, я постараюсь изложить мой взгляд... при первом удобном случае»¹¹⁸.

Продолжение статьи Русанова должно было появиться в следующем номере, но, ознакомившись с ним, Лавров решительно выступил против его опубликования. Об этом он прямо заявил второму редактору журнала, Л. Тихомирову: «Дело идет о всем духе статьи. Г. Тарасов объявляет войну единственным серьезным теорети-

кам социализма, следовательно, пишет статью вредную для дела социализма. Тарасов объявляет войну Энгельсу и его сторонникам, следовательно, ставит партию Народной Воли, органом которой объявил себя «Вестник», во вражду со всей партией социал-демократов. Как редактор органа, я не могу взять на себя ответственность за помещение подобной статьи. Но так как Вы, очевидно, не разделяете моих взглядов, то Вы можете взять на себя [ответственность] поместить ее с примечанием, которое посылаю, к заголовку... я, во всяком случае, оставлю редакцию с этим номером»¹¹⁹.

Благодаря такой твердой позиции Лаврова продолжение статьи Русанова так и не появилось в «Вестнике «Народной воли»; Лавров остался его редактором...

В бумагах Лаврова сохранился черновик неоконченной рукописи «Памяти Карла Маркса»: «17 марта 1883 г. на скромном кладбище, на окраине гигантской метрополии современной всесветной торговли, был опущен в могилу К[арл] М[аркс]... Мир потерял гениального человека...»¹²⁰

В знак долгой искренней дружбы вожда международного пролетариата и одного из выдающихся социалистов России Энгельс вскоре после смерти Маркса решил подарить его русскую библиотеку П. Л. Лаврову. Он писал ему: «Вы, как признанный представитель русской революционной эмиграции и старый друг покойного, конечно, больше, чем кто-либо другой, имете право на собрание книг, составленное благодаря преданности Ваших и наших друзей в России...» (491)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 1762 (П. Л. Лаврова), оп. 1, д. 3, лл. 7—8.

² А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 т., т. 30, стр. 299.

³ «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 114.

⁴ Цит. по журналу «История СССР», 1959, № 6, стр. 156.

⁵ Орган русской секции I Интернационала.

⁶ Отрывки из писем Лопатина Лаврову см. в кн. Ю. М. Рапопорт, Из истории связей русских революционеров с основоположниками научного социализма (К. Маркс и Г. Лопатин). М., 1960, стр. 8—10, 16—18, 22—26, 32—34, 40, 46 и др.

^{6a} Цит. по кн. Ю. М. Рапопорт. Указ. соч., стр. 16.

⁷ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 283, л. 35.

⁸ «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., 1967, стр. 187. Далее все ссылки на это издание даются в тексте статьи.

⁹ «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 124. Письмо от 5 мая 1871 года. Точно неизвестно, по какому стилю обозначает Лавров дату письма.

¹⁰ П. Л. Лавров, Биография-исповедь, в кн. П. Л. Лавров, Философия и социология. Избранные произведения в двух томах. М., 1965, т. 2, стр. 624.

¹¹ Р. М. Кантор, П. Л. Лавров и А. Ю. Балашевич-Потоцкий, в сб. «П. Л. Лавров». Статьи, воспоминания, материалы». 1922, стр. 485, 489.

¹² П. Л. Лавров, Философия и социология, т. 2, стр. 624.

¹³ См.: П. Л. Лавров. Избранные сочинения на социально-политические темы. М., 1934, т. 1, стр. 449—455.

¹⁴ «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 122, 123—124.

¹⁵ Там же, стр. 125.

¹⁶ П. Лавров. Задачи социализма. «Вестник «Народной воли», Женева, 1883, № 1, стр. 4. В скобках Лавров указывает английское название работы Маркса «Гражданская война во Франции», которую он здесь цитирует.

Влияние «Гражданской войны во Франции» особенно заметно сказалось при написании Лавровым книги «Парижская Коммуна». В ней оценка революции в Париже во многом совпадает с оценкой Маркса, приводятся цитаты из его работы. Так, например, Лавров цитирует слова Маркса из «Гражданской войны во Франции»: «Начиная со службы членов Коммуны, вся общественная служба должна была быть оплачена по размеру заработной платы простого рабочего» (П. Л. Лавров, Парижская коммуна 18 марта 1871 г. Л.—М., 1925, стр. 167).

¹⁷ «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 135; № 9, стр. 117—118, 127.

¹⁸ См.: Ю. М. Рапопорт. Указ. соч., стр. 25. См. также большой отрывок из письма Лопатина Лаврову с критикой его «излишней терпимости и благосклонности к Бакунину» в статье: Н. Саморуков. Общественно-политическая деятельность Г. А. Лопатина. «Вопросы истории», 1951, № 3, стр. 37.

¹⁹ «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 118. Письмо от 25 февраля (9 марта) 1871 года.

²⁰ См.: Генеральный совет I Интернационала. 1870—1871. Протоколы. М., 1965, стр. 166, 170, 173.

²¹ Смысл этого замечания остается неясным.

²² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 194. Письмо Маркса дочерям от 13 июня 1871 года. Очевидно, не без влияния со сто-

роны Маркса точно такую же характеристику Лаврову дает в письме В. И. Нохельсону в 1880 году Л. Гартман, живший тогда в Лондоне и бывший очень близок Марксу: «Старик хорош, только много немецких книг читает, и от того тянет от него немецким духом» («Былое», 1923, № 21, стр. 148).

²³ ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 1, д. 3094.

²⁴ Судя по всему, при отъезде именно Маркс и Энгельс снабдили его «очень хорошим паспортом». Но, по собственному не очень ясному признанию Лаврова, он вскоре по прибытии в Париж «просолил» его (См.: «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 133. Письмо Е. А. Штаненштейнер от 10(22) октября 1871 года).

²⁵ Это еще один конспиративный псевдоним Маркса.

²⁶ Член Генсовета Интернационала, участник Парижской коммуны, соратник Маркса.

²⁷ «Летописи марксизма», т. II (XII), М.—Л., 1930, стр. 158.

²⁸ По-видимому, Дилка. Примечание ред. сб. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия».

²⁹ «Летописи марксизма», т. II (XII), стр. 158.

³⁰ См.: Р. Кантор. Указ. соч., стр. 490. Донесение Потцкого от 17 июля 1872 года. О пребывании Лаврова в Лондоне он сообщает и 27 сентября 1872 года (см. там же, стр. 491).

³¹ «Голос минувшего», 1916, № 9, стр. 123.

³² Там же, стр. 128.

³³ «Летописи марксизма», т. II (XII), стр. 160.

³⁴ См.: А. Коротеева. Гаагский конгресс I Интернационала. М., 1963, стр. 133—134, 138.

³⁵ «Летописи марксизма», т. II (XII), стр. 160.

³⁶ В начале 1870 года С. Неचाев предпринял попытку шантажировать Н. Н. Любавина — представителя издательства Полякова за границей — с целью осво-

бодить Бакунина от принятия им на себя обязательства перевести I том «Капитала» Маркса без возврата полученного им аванса — 300 рублей.

³⁷ Г. А. Лопатин. Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография. Подготовил к печати А. А. Шилов. Петроград, 1922, стр. 172.

³⁸ М. П. Сажин (А. Росс), Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925, стр. 51.

³⁹ «Былое», 1925, № 2, стр. 20.

⁴⁰ «Летописи марксизма», т. II (XII), стр. 163. Письмо Г. Юнгу от 21 февраля 1873 года.

⁴¹ Там же, стр. 166. В начале сентября 1873 года в Женеве состоялись параллельные конгрессы «федералистов» и «централистов».

⁴² П. Л. Лавров, Избр. соч., т. 2, стр. 253—255.

⁴³ «Летописи марксизма», т. II (XII), стр. 166. Письмо Юнгу от 30 октября 1873 года.

⁴⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 81.

⁴⁵ Там же, стр. 83.

⁴⁶ ЦГАОР, ф. 1737 (В. Н. Смирнова), оп. 1, д. 94, л. 33 об.

⁴⁷ Там же, л. 33, лл. 17—18. Ответ Смирнова сохранился в черновике.

⁴⁸ П. Л. Лавров, Избр. соч., т. 2, стр. 294—296.

⁴⁹ Эта статья — «Похороны М. А. Бакунина» — была напечатана в № 37 «Вперед!» от 15 июля 1876 года.

⁵⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 34, стр. 19. Любопытна совсем иная реакция на эту же самую статью П. А. Кропоткина, примыкавшего в то время к бакунизму и считавшего Лаврова чуть ли не марксистом. В своих воспоминаниях он рассказывает, что статья «Похороны М. А. Бакунина» во «Вперед!» ему

очень не понравилась (см. сб. «П. Л. Лавров». Пг., 1922, стр. 439).

⁵¹ Заслуживает внимания в этой связи такой случай. В период проживания в середине 70-х годов в Лондоне Лавров и его сотрудники по «Вперед!» продолжали поддерживать отношения с Г. Юнгом и И. Энкариусом, которые являлись в прошлом членами Генерального совета I Интернационала, но в 1872 году выступили против решений Гаагского конгресса и примкнули затем к реформистским лидерам английских тред-юнионов. Как-то этих деятелей заинтересовал вопрос об отношении революционеров России к Марксу и Бакунину. В одном из писем Смирнова жене рассказывается: «Была по дороге у Юнга. Юнг говорит, что на днях придет к Петру Лавровичу с Энкариусом, чтобы потолковать о том, как относятся в России к Марксу и Бакунину. Это для Энкариуса нужно потому, что он пишет сочинение о России (?) и деятельности Интернационала, сочинение, которое не будет особенно freundlich <дружественно> к Марксу. Очевидно, положение П[етра] Лавровича в этом случае будет «тонкое». Конечно, суть ответа П[етра] Лавровича будет заключаться в том, что Маркс в России пользуется уважением весьма достаточным и ничего, кроме хорошего, русские революционеры [...] о нем сказать не могут» (ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 94, л. 128).

⁵² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 36, стр. 487.

⁵³ Например, 8 октября 1875 года Маркс пишет Лаврову: «Дорогой друг! Очень сожалею, что ни меня, ни моей жены не было дома, когда Вы были так любезны, что зашли к нам» (319).

⁵⁴ Сохранились письма Маркса от 24 февраля и 21 апреля 1877 года с приглашениями Лаврова на дружеские обеды (337, 342).

⁵⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 34, стр. 112—113.

⁵⁶ Там же, т. 35, стр. 59.

⁵⁷ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 34, стр. 150, 156, 253.

⁵⁸ ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 94, л. 89.

⁵⁹ Там же, д. 65, л. 21 об. В. Н. Смирнов в это время болел. В письме Лаврову от 7 октября 1876 года Маркс спрашивал: «Как здоровье Смирнова?» (333)

⁶⁰ В письме от 2 февраля 1876 года Смирнов рассказывает жене о полученной им корреспонденции из Сербии. Библиотека одного из городов просит прислать фотографии членов редакции «Вперед!», их друзей и (далее Смирнов цитирует полученное письмо) «ваших единомышленников: К. Маркса и Бакунина (!!!?)», а также старых друзей: Бабефа, Робеспьера, Марата... Три воспитательных и три воспитательных знака, поставленных против имени Бакунина, симптоматичны. Бакунин отвергается Смирновым как «единомышленник», имя же Карла Маркса не вызывает у него с этой точки зрения никаких возражений (ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 96, л. 48). Примерно в это же время Смирнов получил письмо из Сербии от Николаича, который просил прислать газету «Вперед!», передавал привет Лаврову, Марксу, Энгельсу, Врублевскому (там же, д. 31, л. 85).

⁶¹ ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 95, л. 88.

⁶² «Вперед!», 1875, № 24, стб. 768.

⁶³ «Вперед!», 1876, № 43, стб. 632.

⁶⁴ ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 44, лл. 33—35 об.

⁶⁵ К этому месту корреспонденции Маркса Лавров сделал такое примечание: «Лишь нынешнее смешение всех русских литературных партий под влиянием южнославянского опьянения, смешение, сделавшее г. Суворина союзником генерала Фадеева и г. Каткова, позволяет допустить, что г. Головачев, подыравшийся так долго в либеральных литературных кружках, будет теперь действовать в комбинации с князем Мещерским и с другими ихтиозаврами «Гражданина». Ред.»

⁶⁶ ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 94, л. 126. Дунечка —

кличка Дм. Ив. Рихтера (1848—1919), лавриста-эмигранта, позднее известного статистика.

⁶⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 34, стр. 30.

⁶⁸ Там же, стр. 31—32.

⁶⁹ П. Л. Лавров, Философия и социология. Избр. произведения в двух томах. М., 1965, т. 2, стр. 347.

⁷⁰ П. Л. Лавров, Избр. соч., т. 4, стр. 288, 291—292.

⁷¹ Н. С. Русанов, В эмиграции. М., 1929, стр. 79—81. Впрочем, критическое отношение к Дюрингу не мешало Лаврову в работе «Опыт истории мысли нового времени» (т. I, Женева, 1894) упомянуть Дюринга рядом с Энгельсом и некоторыми другими социологами в качестве одного из теоретиков, пытающихся осветить «эволюцию общества, ее нынешние задачи с точки зрения того или иного элемента этой эволюции» (Указ соч., стр. 1423).

⁷² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 34, стр. 140.

⁷³ «Вперед!», 1875, № 24, стр. 758—759.

⁷⁴ Там же, стр. 760.

⁷⁵ 19 января 1876 года Смирнов писал из Лондона в Берн: «Врублевский был вчера, приглашает на собрание в субботу. Будут Маркс, Энгельс, и мы пойдем». Прошло это субботнее собрание, и в очередном письме к жене Смирнов рассказывает о его подробностях: на собрании присутствовал только Энгельс, так как Маркс оказался больным; явились зять Маркса Шарль Лонге, участник Парижской коммуны, французский историк Лиссагаре, представители от поляков, чехов, сербов, англичан и др. (ЦГАОР, ф. 1737, д. 96, лл. 18, 26).

⁷⁶ «Вперед!», 1876, № 42, стб. 589, 591—592, 598.

⁷⁷ ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 44, л. 25.

⁷⁸ Там же, д. 97, л. 34 об.

⁷⁹ См. передовую статью в 45-м номере «Вперед!» от

15 (3) ноября 1876 года «Возрождение Интернационала и его философские противники».

⁸⁰ ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, д. 97, л. 45. Маркс действительно получил приглашение от копенгагенцев, но по состоянию здоровья не мог им воспользоваться (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 34, стр. 13).

⁸¹ Лавров отбыл из Парижа в Лондон 13 февраля 1882 года и вполне мог по прибытии навестить Маркса, который лишь с 21 февраля находился в Алжире (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 35, стр. 261), либо встретиться с ним на квартире у Энгельса (там же, стр. 227—228).

⁸² См. письма Маркса Энгельсу от 22 июня 1882 года (Соч., т. 35, стр. 59), Маркса — Ж. Лонге от 4 июня 1882 года (т. 35, стр. 273), Энгельса Лаврову от 31 июля 1882 года (там же, стр. 288), (470).

⁸³ См., в частности, письмо Маркса Лаврову от 16 августа 1881 года (Соч., т. 35, стр. 173).

⁸⁴ См. письмо Маркса Энгельсу от 24 сентября 1878 года (Соч., т. 34, стр. 71).

⁸⁵ См. письмо Маркса Лаврову от 23 января 1882 года (Соч., т. 35, стр. 213—215).

⁸⁶ См. письмо Маркса Ж. Лонге от 16 марта 1882 года (Соч., т. 35, стр. 243).

⁸⁷ Л. Г. Дейч, Русская революционная эмиграция 70-х годов. П., 1920, стр. 58.

⁸⁸ См.: В. И. Иохельсон, Из переписки с Лавровым, «Вылое», 1923, № 21, стр. 150.

⁸⁹ С. С. Волк, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и «Народная воля». В кн.: «Общественное движение в пореформенной России» М., 1965, стр. 49.

⁹⁰ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 102, л. 81.

⁹¹ Там же, л. 52.

⁹² Там же, л. 76.

⁹³ Там же, л. 131 об.

⁹⁴ Там же, л. 84. Статья «Задолженность частного землевладения» была опубликована в февральском номере «Отечественных записок» за 1880 год.

⁹⁵ Там же, лл. 88—89. Конспект Маркса опубликован: «Архив Маркса и Энгельса», М., 1952, т. XII, стр. 70—85.

⁹⁶ Там же, л. 107. В бумагах Маркса сохранились выписки из книги В. Кельсиева «Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. III. О скопцах». Лондон, 1861 (ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 1, д. 4006, лл. 6—7).

⁹⁷ П. Л. Лавров, Философия и социология, т. 2, стр. 639.

⁹⁸ С. Ф. Либрович, Петр Лаврович Лавров, как редактор «Заграничного вестника». «Вестник литературы», издание т-ва М. О. Вольф, 1913, № 11, стр. 303.

⁹⁹ «Заграничный вестник», 1864, № 6, стр. 413.

¹⁰⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 424.

¹⁰¹ „La Philosophie Positive“, 1868, № 3.

¹⁰² ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 96, лл. 7 об. — 8. Уместно указать, что в 1879 году Лавров на страницах журнала «Дело» вновь подверг критике взгляды Де-Роберти, выраженные в его книге «Политико-экономические этюды» (1869), за принижение и непонимание научного значения учения Маркса. См. «Дело», 1879, № 12, стр. 206. Статья «Единственный русский социолог» — под псевдонимом П. Стоик.

¹⁰³ Там же, л. 16.

¹⁰⁴ Там же, лл. 7, 11 об.

¹⁰⁵ Вопрос об отношении Лаврова к теоретическому наследию Маркса представляет особую тему, заслуживающую специального исследования.

¹⁰⁶ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, д. 84, лл. 37, 57, 32.

¹⁰⁷ См.: «Устой», 1882, № 12, стр. 114—115 (статья опубликована за подписью: П. М.).

¹⁰⁸ См.: Шефле, Сущность социализма. С примечаниями П. Лаврова, 1881; разд. I. Положительная программа социальной революции; разд. II. Основы распределения в социалистическом обществе; разд. VI. Критика теории ценности К. Маркса.

¹⁰⁹ Речь идет о восстании парижского пролетариата в июне 1848 года.

¹¹⁰ «Календарь «Народной воли». Женева, 1883, стр. 94.

¹¹¹ Письма Г. В. Плеханова П. Л. Лаврову. Публикация Л. Дейча. «Дела и дни». П., 1921, кн. 2, стр. 89.

^{112—113} Этот текст Маркса воспроизведен в кн. «Летописи марксизма», 1927, т. IV, стр. 61—62.

¹¹⁴ См. обмен письмами между Энгельсом и Лавровым по поводу статьи последнего «Социализм и борьба за существование» (1875) в кн. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 317—324. См. также: А. Володин, П. Л. Лавров — теоретик. «Вопросы философии», 1966, № 6.

¹¹⁵ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951, стр. 261—262.

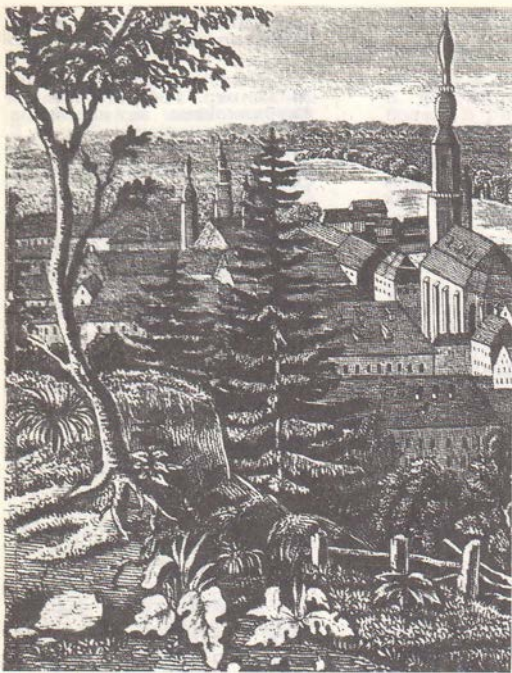
¹¹⁶ П. Лавров, За пределами России. Общее обозрение. Декабрь 1883 года. Женева, «Вестник «Народной воли», 1884, № 2, стр. 4.

¹¹⁷ Там же, стр. 5.

¹¹⁸ Там же, стр. 4.

¹¹⁹ Н. Русанов (Н. Е. Кудрин), Социалисты Запада и России. Спб., 1909, стр. 451.

¹²⁰ ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 3, д. 259.



А. Гульга

Мировой дух верхом на коне

Этюды о Гегеле

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831) — виднейший представитель немецкой классической философии, явившейся одним из теоретических источников марксизма. Заслуга Гегеля, писал Ф. Энгельс, состоит в том, что «...он впервые представил весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в непрерывном движении, изменении и развитии, и пытался раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития»¹. Вместе с тем философия Гегеля полна вопиющих противоречий. Великий диалектик, он пытался уложить действительность в прокрустово ложе умозрительной системы; гениальный критик, он считал свое учение воплощением абсолютной истины. «Алгеброй революции» назвал Герцен гегелевскую философию, и это было справедливо. Но верно было также и то, что

идеалом государственного устройства Гегель считал прусскую монархию. «Гегель доходит здесь почти до раболепства, — писал Маркс. — Видно, как он насильно заражен жалким высокомерием прусского чиновничества»². Эта двойственность Гегеля отражена в предлагаемых вниманию читателя этюдах, посвященных отдельным эпизодам жизни мыслителя и отдельным проблемам его учения.

Наука наук

Диссертация была еще не готова, поэтому соискателю разрешили защищать тезисы, кратко излагавшие суть его философских воззрений. Свои мысли автор сформулировал столь необычно, что некоторые даже усомнились в серьезности его намерений. Что стоило, например, заявление, будто противоречие является критерием истины. Со времени Аристотеля логика утверждает прямо противоположное: если в рассуждении содержится противоречие, значит оно ошибочно. Уж не произойдет ли

¹ Ф. Энгельс, Анти-Дюринг. М., 1957, стр. 23.

² К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 365.

быть интересной, хотя трактовала вопрос специальный, понятный лишь знатокам — орбиты планет и их расстояния от Солнца. Те, кому удалось прочитать черновую рукопись, говорили, что написана она тяжелым слогом, но отличается глубиной мысли и даже украшена отдельными блестящими остроумиями. Передавали, например, остроту о трех яблоках, принесших миру неисчислимые бедствия. Яблоко Евы повлекло за собой грехопадение человечества, яблоко Париса погубило Троию, яблоко Ньютона навело его на мысль о законе тяготения. Философия, остерегайся яблок! Наивно думать, что одна и та же сила заставляет падать яблоки и вращает планеты вокруг Солнца. Для того чтобы объяснить пути планет, одной механики недостаточно, ибо она ничего не смыслит в божестве. В свое время Сократ отвлёк внимание философии от изучения неба и приковал ее внимание к земному, к человеку. Теперь для философии снова наступила пора вознестись к небесам и исследовать законы, управляющие движением светил.

Автор не претендовал на исчерпывающее освещение всех проблем, он решал лишь некоторые из них. Мимоходом он старался дать ответ на вопрос, давно волновавший ученые умы: может ли быть обнаружена новая планета в огромном космическом пространстве между Марсом и Юпитером? В конце рукописи содержалась ссылка на тот ряд чисел, в соответствии с которым, по Платону, демиург сотворил вселенную — 1, 2, 3, 4, 9, 16, 27. Поскольку этот ряд выражает собой порядок природы, то ясно, что между четвертым и пятым местом находится большой промежуток, и в нем нельзя предполагать новой планеты.

Диссертационный диспут, в результате которого доктору философии Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю было предоставлено право читать лекции, состоялся 27 августа 1801 года, в тот день, когда ему исполнился тридцать один год.

За восемь месяцев до этого в обсерватории Палермо астроном Пиацици открыл между Марсом и Юпитером планету, которую он назвал Церерой. В Иене об этом, по-видимому, еще ничего не знали.

Господин и раб

Приват-доцент Гегель как лектор успехом не пользовался. На кафедре он держался, будто сидел дома за письменным столом: то и дело перелистывал свои тет-

ради, отыскивая нужное место, нюхал табак, чихал и покашливал. Говорил негромко, с трудом подыскивая слова, особенно когда речь шла о вещах простых и понятных, которые, казалось, тяготили его своей очевидностью; только прорвавшись через их барьер к тому, что составляло суть проблемы, он обретал уверенность и спокойствие, голос его повышался, взор начинал сверкать. Но и в эти минуты он не заботился ни о гладкости, ни о доступности своего изложения. Его называли «деревянный Гегель». В первый семестр к нему на лекции записалось одиннадцать человек.

Кумиром студенчества был Шеллинг. Рано созревший как ученый, овеянный славой революционера в философии, блестящий оратор, автор толстых книг, которыми зачитывалась широкая публика, он в двадцать три года стал экстраординарным профессором Иенского университета. Набитая до отказа аудитория рукоплескала ему, и он держался как вождь направления.

Гегель радовался успехам друга и однокашника, которого со студенческой скамьи привык считать своим духовным руководителем, несмотря на то, что Шеллинг был моложе его на пять лет. «Молодой господин и старый раб» — так шутили по поводу их отношений. Гегель не обижался. Он восхищался Шеллингом и считал себя его последователем.

Даже когда наместились между ними первые разногласия, Гегель уверял, что выступает не против своего наставника, а против его незадачливых интерпретаторов — романтиков. Речь шла о характере философского знания. Главное орудие познания Шеллинг видел в интуиции, которая, подобно молнии, озаряет небосвод науки. Даром интуиции может обладать лишь подлинный аристократ духа; знание — удел немногих. Любимой поговоркой Шеллинга был стих Горация: «*Odi profanum vulgus et arceo*»¹

Гегель не соглашался с тем, что философия доступна лишь избранному натурам. В теории познания он был демократом. Об этом красноречиво свидетельствовала запись, появившаяся в одной из его тетрадей: «Философия как наука разума предназначена для всех. Не все достигают ее,

¹ «Ненавижу толпу невежд и держусь от нее вдалеке» (латин.).

но это уже другое дело, ведь и не все люди становятся князьями. В том, что одни люди возвышаются над другими, возмущает лишь утверждение, будто эти люди отличаются по своей природе, будто они существа другого рода». В науке у всех равные права, и успеха добивается тот, кто усерднее других прогирает штаны. Лишь начинавший как раб становится здесь подлинным господином.

В записях Гегеля появилась притча о господине и рабе. Если верить Гоббсу, то первоначальное состояние человечества — война всех против всех. Но такое состояние не знает развития, ибо оно не содержит формы, в которой накапливались бы результаты деятельности индивидов. Для этого необходима некая положительная связь между людьми, она возникает в виде господства и подчинения. Тот, кто смел, кто не боится смерти, рискуя жизнью, но не жертвуя достоинством, становится господином. Рабом — человек, готовый трудиться в поте лица, для того чтобы сохранить свою жизнь. Что происходит дальше? Господин повелевает, а раб повинует; господин наслаждается, а раб создает ему вещи для потребления и наслаждения. Раб формирует вещи, но одновременно он формирует и самого себя. Работа есть образование, и благодаря ей сознание раба возвышается над своим первоначально низким уровнем, раб приходит к самопознанию, к постижению того, что он существует не только для господина, но и для себя самого. Господин, наслаждаясь тем, что создает ему раб, попадает в полную зависимость от раба, а раб, формируя вещи, приобретает господство не только над ними, но и над своим господином. В итоге их отношения перевертываются: господин становится рабом раба, а раб — господином господина. Истинной самостоятельного сознания оказывается рабское сознание.

Притча говорила о том, что в процессе развития любое явление, любое действие превращается в свою противоположность. Она наводила на мысль об общественной природе человека и о том, что общество представляет собой органическое целое, каждая часть которого неразрывно связана с другой. Там, где есть рабы, никто не свободен. Господин, противостоящий рабу, тоже раб, пока он не видит в другом самого себя. Свободным он может стать только через освобождение раба. С другой стороны, кто не обладает мужеством riskнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом; если какой-нибудь народ не только воображает,

1804. *Alm. Entw. No. 10. 1. 2. 3.*
Handwritten text in German, including the title 'Die Herrschaft und Unterwerfung' and the beginning of the dialectic.

Автограф Гегеля.

что он желает быть свободным, но действительно обладает энергичной волей к освобождению, то никакое насилие не сможет удержать его в рабстве. Самосознание есть порождение зависимости и труда. Оно не приходит к людям внезапно, как озарение, как выстрел из пушечного ядра. Разум обретает себя после долгих блужданий по лабиринту человеческой психики и мировой истории.

Так возникла мысль о создании «одиссеи разума» — фундаментального труда, посвященного развитию сознания. Гегель назвал его «Феноменология духа» и приступил к работе над ним в 1804 году. К этому времени Шеллинг уже покинул Иену; его пригласили в Вюрцбург, а затем в столицу Баварии Мюнхен, где он был обласкан двором, награжден орденом и избран в академики. Шеллинг быстро шагал по лестнице славы, но это были ее последние ступени. Вскоре началась полоса творческого бесплодия, он ничего не писал и

лишь брюзжал по поводу успехов Гегеля, с которым окончательно разошелся. «Господин» уступил свое место «рабу».

Мировой дух верхом на коне

Работа над «Феноменологией духа» приближалась к концу. На письменном столе перед Гегелем лежала прочитанная корректура первой части книги, отосланной издателю еще в начале года; рядом стопка исписанных листов — последние страницы рукописи, которые он завтра-послезавтра отправит по назначению. Срок, установленный издателем, истекал через пять дней, и радовала мысль, что условия договора не будут нарушены.

Последние сутки Гегель почти не вставал из-за стола. Занятий в университете не было, но думалось и писалось плохо: внезапно вспыхнувшая война вывела всех из состояния равновесия, и как Гегель ни пытался отвлечься от происходивших вокруг событий, они то и дело вторгались в его жизнь и мысли. Неудачи пруссаков его не огорчали, втайне он даже радовался успехам французской армии, но он никак не мог ожидать, что события разовьются так стремительно: в четверг начались военные действия, а сегодня, в понедельник, Наполеон уже занял Иену.

Накануне приходил Кнебель, уговаривал уехать вместе с ним, пугал бесчинствами, которые якобы творят французские передовые части, ругал, как всегда, войну и уверял, что в будущем люди научатся обходиться без кровопролития. Вместо ответа Гегель прочитал ему лист из «Феноменологии», то место, где была ясно показана не только неизбежность, но и благотворность войны. Люди склонны забывать о том, что они лишь частицы великого целого. Их помыслы направлены на достижение сугубо личных целей — приобретение имущества и наслаждения. Для того чтобы не дать людям заостряться в изолированности, чтобы не исчез дух общности, правительства обязаны время от времени потрясать войнами их бытие. Индивидуум, которые отрываются от целого и стремятся лишь к жизни для себя, к личной неприкосновенности, полезно показать их абсолютного господина — смерть.

Старик не дослушал, рассердился и ушел, хлопнув дверью. Перед отъездом, однако, прислал бутылку вина и цыпленка. Станный человек этот Кнебель: когда-то служил под знаменами великого Фридриха,

но явно трусоват, увлекается Эпикуром, переводит Лукреция и сам что-то пишет в этом духе; все время твердит о правах личности, забывая об ее обязанностях, не видит величия эпохи.

Вечером началась пальба. Кто стрелял и откуда, понять было невозможно. Гегель потушил лампу, задернул шторы и лег; когда выстрелы прекратились, уснул. Еще не взошло солнце, он уже снова сидел за столом и писал. Звонкое цоканье копыт по мостовой заставило его подняться: это были французы. Гегелю хотелось распахнуть окно и крикнуть слова приветствия, но благоразумие взяло верх, и он вернулся к столу. По улице уже шла пехота, затем снова кавалерия, двигались пушки, обозы; все быстро, по-деловому устремлялось на восток. Вооруженная нация спешила на работу. Именно такой он и представлял себе армию Наполеона, наследницу революции, призванную освободить Европу от изжившего себя старого порядка.

Было где-то около полудня, когда раздался крик: «Да здравствует император!» Колонна пехотинцев остановилась на тротуаре, пропуская вперед кавалькаду всадников. Гегель быстро подошел к окну, но увидеть смог только круп лошади и серую спину маленького человека в треугольной шляпе. «Вот он, мировой дух», — мелькнуло в голове. Течение мыслей нарушилось, Гегель отложил рукопись и начал письмо к Нитгаммеру: «Я видел императора, эту мировую душу, в то время, когда он проезжал по городу на рекогносцировку. Испытываешь поистине удивительное чувство, созерцая такую личность, которая восседает здесь верхом на коне и отсюда повелевает миром».

Гегель положил перо. Есть ведь naive люди вроде этого чудака Кнебеля, которые видят в истории лишь случайные сочетания событий. По их мнению, стоило Людовику проявить немного больше решимости, такта и сообразительности, Франция и по сей день оставалась бы королевством. Можно, конечно, осуждать революцию, но нельзя не видеть ее неизбежности. Этому в «Феноменологии» посвящен специальный раздел. Все дело в том, что революция была логическим следствием идей Просвещения, веры в естественное равенство людей. Но если хотя бы равенства, то должны уничтожить государство, в этом Гегель не сомневался, власть не может принадлежать всем без изъятия. Французская революция, сохранив политическую

власть, породила противоречие, которое с той же неизбежностью привело ее к краху, с какой она пришла на смену Бурбонам. Террор якобинцев лишь свидетельствовал о начале конца. Из ужаса и крови родилась новая столь же необходимая форма государственного устройства — империя. Здесь сохранены все достижения революции без ее пороков. В лице Наполеона абсолютная власть реализовала себя. А не может ли знание аналогичным путем прийти к абсолюту?

Перо уже снова скользило по бумаге. Гегель забыл о письме и спешил занести на бумагу свои мысли. Знание, подобно истории, проходит необходимые ступени развития — это искусство, религия, наука. Истинная форма науки — система понятий, контуры которой отчетливо видны Гегелю. Он вдруг почувствовал, как под его пером мировой дух познает самого себя. Поход за истиной и здесь завершался победой. Гегель процитировал Шиллера и поставил жирную точку. Книга была написана. Философ посмотрел на часы, стрелки показывали одиннадцать. Дописал письмо Нитгаммеру, убрал стол и лег спать. Вокруг стояла тишина; на площади горели костры, языки пламени молча бросали на стены домов причудливые тени.

На рассвете загрохотали пушки. Началась великая битва, решавшая судьбу Германской империи. Но философ спал и ничего не слышал.

Его разбудили звон разбиваемой посуды, плач, брань и крики. Наспех одевшись, Гегель спустился вниз. В столовой, ползая по полу, хозяйка собирала осколки стекла, а стоявшие вокруг французы пили вино прямо из бутылок: поданные рюмки им показались малы. Заметив на груди одного из французов ленточку Почетного легиона, Гегель подошел к нему и сказал:

— Надеюсь, что доблестный воин, награжденный боевым орденом, будет достойным образом обходиться с мирными жителями.

— А ты кто такой? Откуда ты знаешь французский язык? Уж не шпион ли ты?

— Я ученый, философ, господин капрал.

— Разве философ — ученый? — усомнился француз. — Ученые делают порох и пушки, а философы лишь засоряют мозги. Император любит ученых, а философию он терпеть не может.

— Вы ошибаетесь, мой друг. Его величество — покровитель философии.

— Тебе я не друг, а враг. Ты — воюющий немец, а воюющих немцев мы бьем.

И он толкнул Гегеля в плечо. Философ бросился в свою комнату. Там уже хозяйничали двое. Гегель быстро рассовал по карманам листы «Феноменологии» и черным ходом выбежал во двор. За его спиной раздался выстрел. Он обернулся: пьяный капрал стрелял в петуха, но промахнулся. Капрал выпалил снова и опять мимо, затем раздался беспорядочный залп с тем же результатом: петух вопил, бил крыльями, безуспешно пытаясь перелететь через стену. Наконец кто-то поймал его и свернул шею.

Улицу запрудили солдаты — раненые и отставшие от своих частей. Все слонялись от дома к дому, кричали об одержанной победе, хвастались подвигами и добычей. Где-то неподалеку начался пожар.

Пристанище Гегель нашел в доме Габлера — проректора университета. Здесь остановился какой-то высокий чин, и у ворот стояла стража. Габлер отвел философу маленькую комнатку на верхнем этаже, одну из тех, что снимали студенты. Сидя на постели, Гегель стал приводить в порядок спасенную рукопись.

На следующий день грабеж города прекратился, пожары были потушены, и Гегель отправился восвояси. Дома он застал полное опустошение: украдено было все, что представляло мало-мальскую ценность. На полу валялись пустые ящики письменного стола. Из распоротой перины сыпался пух. Не было ни белья, ни еды, ни даже клочка чистой бумаги.

Гегель вышел на улицу. Возвращаться к Габлеру не хотелось, и он без цели побрел по городу. На одном из перекрестков его окликнули. Это был Кнебель; старику не удалось-таки уйти от французов: в дороге сломалась его карета. Кнебель уже знал о бедственном положении Гегеля и, не слушая возражений, повел его к себе.

— Надеюсь, господин профессор, вы изменили свои взгляды на войну?

— Напротив, мои идеалы...

— На свете нет таких идеалов, — перебил его Кнебель, — ради которых стоило бы топтать достоинство человека, грабить и убивать.

«Жалкий эмпирик, — подумал Гегель. — Что с ним толковать? Ведь он все равно ничего не поймет, а истина уже родилась и помимо спора». Философ посмотрел на рукопись «Феноменологии», зажатую под мышкой, и зашагал быстрее.

Газетная каторга

Ненастным мартовским утром Гегель навсегда покидал Иену. Почтовая карета увозила его в Бамберг, где ему предстояло занять пост редактора ежедневной газеты.

Что заставило философа, лишь два года назад получившего звание экстраординарного профессора, покинуть университетский город и отказаться от академической карьеры, которая всегда владела его помыслами? Главную роль сыграли материальные соображения. Накопленные когда-то деньги были истрачены, имущество разграблено французами, а на те сто талеров ежегодного содержания, которые Гёте выхлопотал ему, существовать было невозможно. Владелец «Бамбергер цайтунг» предлагал половину прибыли, по расчетам это составляло свыше тысячи трехсот флоринов в год.

Деятельность журналиста, возможность влиять на общественное мнение привлекала Гегеля. И чем больше он укреплялся в решении принять сделанное ему через Нитгаммера предложение, тем тверже чувствовал, что политика — его призвание. Настали новые времена, рушится старый порядок, и долг философа — окунуться в практику. Тем более что после начала войны университет в Иене никак не может наладить занятия.

Было еще одно обстоятельство, заставлявшее Гегеля не медлить с отъездом: он стал отцом ребенка, родившегося вне брака. Матерью его сына, окрещенного Людвигом, была Христиана Буркхардт, жена хозяина дома, в котором проживал философ. В маленьком городе любая новость распространяется мгновенно и в течение долгого времени занимает умы обывателей. Гегель не отказывался от сына, но он понимал, что в результате случившегося путь к профессорской должности в Иене для него закрыт. Христиана без скандала отпустила Гегеля, удовлетвовавшись обещанием жениться на ней в том случае, если она овдовеет. Людвиг был ее третьим внебрачным ребенком.

По дороге в Бамберг Гегель обдумывал планы своей новой деятельности. О «Бамбергер цайтунг» он знал только то, что она существует немногим более десяти лет, что основал ее французский эмигрант аббат Глай, который вскоре продал ее нынешнему владельцу Шнайдербангеру, но остался работать в качестве редактора. После прихода французов Глай бросил журналистику, присоединился к войскам

Даву и ныне ищет счастья где-то в Польше. Шнайдербангер, в прошлом придворный кучер, сам дело вести не мог, и газета пришла в упадок.

Гегель знал, как исправить положение. Образцом ежедневной газеты является, конечно, парижский «Монитор». Здесь можно получить не только наиболее подробную информацию, но и богатую пищу для мыслящего ума, сообщения всегда сочетаются с соображениями редакции, комментариями, анализом обстановки. Немецкие газеты — всего лишь педантичные реестры событий. Правда, читатель привык именно к этому, но Гегель постепенно перевоспитает публику, привет ей вкус к размышлению. Терпения и такта у него достанет. Что касается его политической программы, то ее можно выразить двумя словами — кодекс Наполеона.

Все эти соображения он изложил владельцу газеты при первом же серьезном разговоре. Шнайдербангер внимательно выслушал его, затем сказал:

— Господин профессор, я человек необразованный. Из того, что вы сказали, половину я не понял, а другую, наверно, понял превратно. Не мне учить вас. Не мне напоминать вам, что от того, как вы будете ладить с подписчиками и начальством, зависит существование четырех человек — ваше собственное, мое и двух типографских рабочих. Не будут читать газету или запретят ее — всем нам крышка, связаны мы одной веревкой.

— Заботьтесь о пропитании, питье, одежде, — перебил его Гегель, — и царство божье приложится вам. Так, кажется, сказано в священном писании.

Шнайдербангер не заметил издевки, кивнул головой и продолжал:

— Что нужно публике, вы знаете сами, а что нужно начальству, написано здесь.

Издатель вынул из стола новенький кожаный бювар, на котором золотом было вытиснено: «Газеты — важное дело». Гегель улыбнулся: он знал, кому принадлежат эти слова. Тривиальная, бессмысленная фраза, сказанная Наполеоном Жозефу Фуше, приобретала здесь, в глухой немецкой провинции, значение особое, почти символическое; она кричала о том, что новые веяния проникают и сюда. В папке были собраны накопившиеся за много лет правительственные эдикты, указы, инструкции и разъяснения, касающиеся печати. Гегель взял ее к себе и, освободившись от дел по очередному номеру,

приступил к изучению директивных материалов.

Эдикт курфюрста Максимилиана Иосифа: «...Не устанавливая слишком узких рамок для разумной свободы, но во избежание злоупотреблений...» Гегель пробежал глазами вступительную часть. Оказывается, пресса подчинена департаменту иностранных дел. Интересно узнать, почему. Неужели печать — в первую очередь орудие внешней политики? В эдикте перечислялись обязанности журналистов: «...Воздерживаться от непристойной брани и крепких выражений по адресу августейших особ и всех существующих правительств... Факты излагать по возможности просто без каких-либо замечаний и рассуждений». Гегель взял другой документ, сразу нашел самое главное: «Газеты должны содержать только точные и беспристрастные сообщения о фактах, следует полностью исключить любые намеки и колкости». Итак, разрешена только информация. Но и информация, оказывается, бывает разной: «...Журналистам запрещается распространение известий, которые могут нанести ущерб государству...»

Оба документа относились к 1799 году, к тем временам, когда Бонапарт воевал еще в Египте. С тех пор многое переменялось. Должны быть дополнения и разъяснения. Гегель перевернул кипу бумаг. Вот указ от 17 февраля 1806 года: «Поскольку на основании имеющихся данных у нас сложилось неблагоприятное убеждение в том, что наша изданная в 1799 году инструкция о порядке выхода в нашем государстве политических изданий не соблюдается, мы обновляем таковую и приказываем...» Далее шла речь об усилении контроля. Казалось, законы истории и законы о печати шли различными путями. Однако указ появился в прошлом году, до последней войны, перекроившей карту Европы. Теперь Бавария — верная союзница Франции, повсюду в Германии реют трехцветные знамена свободы. Гегель взял в руки последний листок, на нем стояла свежая дата. Это был приказ французского генерала Этьена ле Гран о закрытии «Эрлангер цайтунг» и об аресте ее редактора за «распространение ложных новостей и комментариев, которые могут нарушить покой общества».

Картина понемногу прояснилась. Гегель собрал бумаги и аккуратно сложил их в папку с золотыми словами на обложке, напоминавшими о важности газетного дела.

Утром созрело решение: он будет строго следовать установленному порядку. Ведь он собрался заниматься политикой, а единственная реальная политическая сила в стране — государство, следовательно, нужно не расшатывать, а укреплять, совершенствовать его устои. Пусть баварское государство далеко от идеала, пусть во главе его стоят неразумные люди, рано или поздно разум и здесь проложит себе дорогу. В конце концов не так уж важно, какие конкретные цели ставит перед собой человек, все равно в итоге получается нечто иное, чего не было в его намерениях, но объективно содержалось в его поступках. Информация, только информация, проверенная, точная, объективная, — таково будет содержание его газеты.

Для информации нужны источники, и Гегель разослал своим друзьям и знакомым письма с просьбой о сотрудничестве. Написал он и отставному майору Кнебелю в Йену, объяснил ему, каким образом стал журналистом («у меня всегда была склонность к политике»), пожаловался на необычный характер своего нового положения («газетчик — предмет постоянного любопытства; читатель всегда подозревает, что главное, самое интересное от него утаили») и предложил старому эпикурейцу стать корреспондентом «Вамбергер цайтунг» («Я знаю: писать для газеты — то же самое, что жевать солому по сравнению с чеканкой философских гекзаметров Лукреция, но согласно философии Эпикура нельзя пренебрегать перевариванием пищи, а чтение газеты — лучшее в этом подспорье; поэтому я полагаю, что вы сможете уделить четверть часа в день для сочинения корреспонденций и превратиться из пассивного читателя в активного»).

Кнебель вначале отказался, но в дни эрфуртской встречи Наполеона и Александра прислал все же несколько интересных писем, которые пригодились и для «Вамбергер цайтунг». Правда, Гегель к этому времени уже потерял интерес к газете и думал лишь о том, как бы поскорее с ней разделаться.

Осложнения начались летом 1808 года. В одном из июльских номеров «Вамбергер цайтунг» появилось сообщение о том, что баварские войска расположены в трех лагерях — Платтлинге, Аутсбурге и Нюрнберге. Об этом все знали, об этом уже писали другие газеты, тем не менее из Мюнхена пришло требование назвать имя офицера, который передал редакции све-

дения, содержащие военную тайну. Никакие объяснения не помогали, долго шла переписка. Гегель вынужден был посещать официальные инстанции, писать объяснительные записки, оправдываться и в довершение всего успокаивать Шнайдербангера. Бывший кучер переходил от одной крайности к другой; то он кричал, что газета важное дело, и профессорские оно не по плечу, то взывал к мудрости господина профессора и умолял не губить четырех человек, связавших свое благополучие с судьбой «Бамбергер цайтунг». В конце концов Гегель не выдержал и написал влиятельному Нитгаммеру, что хочет бежать с «газетной каторги», и попросил содействия. Нитгаммер предложил место директора гимназии в Нюрнберге, Гегель немедленно согласился.

Однако переход на новую должность занял несколько месяцев. Тем временем приключилась другая история, сулившая газете еще большие неприятности. В начале ноября Гегеля неожиданно вызвали к королевскому генеральному комиссару барону Штенгелю. Его заставили ждать приема, барон холодно поздоровался и, не предложив сесть, задал вопрос:

— Вы знаете, что сказал о печати его величества император Франции?

— Разумеется. Газеты — важное дело.

— Так почему же вы относитесь к своим обязанностям столь легкомысленно, что королевское правительство вынуждено уже второй раз специально заниматься вашей газетой? Извольте выслушать.

Не показывая текста, Штенгель прочитал депешу из Мюнхена, где выражалось высочайшее неудовольствие по поводу напечатанной в «Бамбергер цайтунг» 26 октября корреспонденции из Эрфурта. Цензору объявлялся выговор. Впредь цензура газеты возлагалась непосредственно на Штенгеля.

— Господин барон, что именно в корреспонденции из Эрфурта вызвало высочайшее неудовольствие?

— Вам лучше знать, господин редактор. Пишите объяснительную записку.

— О чем, господин барон?

— Вам лучше знать, господин редактор.

«Кому бог дает должность, а кому так же и ум», — подумал Гегель, но промолчал: судьба редактора «Эрлангер цайтунг» была свежа в его памяти, а сейчас любой острый конфликт с начальством может легко сорвать переход на педагогическое прище. Штенгель встал — это означало, что нужно уходить.

В редакции Гегель потребовал подшивку газеты, стал искать злополучную корреспонденцию. Начинаясь она с сообщения об аудиенции Гёте и Виланда у Наполеона, в ходе которой «шла речь о научных вопросах, и оба имели возможность убедиться в глубочайших познаниях его величества в самых разнообразных сферах науки». Здесь нет ничего предосудительного. «Гёте и Виланд награждены орденом Почетного легиона». Здесь тоже все в порядке. «Господин коммерсант Гофман получил в награду от его величества короля Баварии золотую табакерку, украшенную жемчугами, а супруга и мадемуазель дочь — по красивому ожерелью каждая». Видимо, это: пресса не должна акцентировать внимания на подарках коронованных особ, тем более когда речь идет о женщинах. А может быть, предосудительным нашли сообщение о слухах, будто Эрфурт останется свободным городом и будет произведена реформа почтового дела? Скорее всего именно это: пресса должна не распространять слухи, а пресекать их.

Гегель принялся за составление странной объяснительной записки. Он ссылался на то, что все напечатанные материалы были заимствованы из других газет, которые проходят двойную — немецкую и французскую — цензуру, отмечал, что вслед за опубликованием слухов газета поместила их опровержение, но главное — признавал ошибки и просил пощады. Он обещал в дальнейшем благодаря неукоснительному исполнению всех поступающих в редакцию приказов устранить любой повод, который мог бы вызвать высочайшее неудовольствие.

Штенгель переслал записку в Мюнхен. Затем генеральный комиссариат направил в правительство официальный запрос о возможностях беспрепятственной перепечатки материалов из центральной прессы. Гегель сам составил этот запрос и убедил Штенгеля в том, что такого рода бумага продемонстрирует интерес бамбергской администрации к существованию проблемы. Самому Гегелю важно было выиграть время: уже состоялось его назначение в Нюрнберг, но разного рода формальности задерживали уход из газеты. Именно поэтому он и ставил правительству каверзные вопросы, на которые не так-то легко было ответить.

Шли дни. Шнайдербангер на этот раз молча ждал развязки, придерживая на всякий случай выплату жалованья типо-

графским рабочим. Ответа из Мюнхена не было. По совету Гегеля Штенгель повторно запрос. Лишняя бумага делу не повредит: ее нужно зарегистрировать, прочесть, осмыслить, а любая оттяжка окончательного решения всегда на пользу ответчику. Впрочем, Гегель больше не нуждался в проволочках: он упаковывал вещи. А когда в начале декабря Шнайдербангер послал в Мюнхен новый запрос, на этот раз непосредственно от редакции, философа в Бамберге уже не было.

Ответ поступил только в январе. Министерство иностранных дел разъясняло, что «Бамбергер цайтунг» имеет право перепечатывать статьи из подцензурных газет, выходящих в главных городах королевства, при условии, что эти сообщения не противоречат сложившейся политической ситуации. Почти одновременно департамент полиции сообщил о запрете «Бамбергер цайтунг».

Кто мыслит абстрактно?

— Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами!

— Что? Мои яйца тухлые! Сама ты тухлая!..

— Это наш рынок, господин профессор. — Иоганн Вирт, ученик выпускного класса гимназии имени Меланхтона, взявшийся указать Гегелю дорогу к магистрату, был явно смущен тем, что новый ректор в его присутствии стал свидетелем базарного скандала. — Свернем налево, мы сократим так путь и уйдем от этой неприятной перебранки.

— Нет, нет. Вы только послушайте, господин Вирт.

— ...Ты еще смеешь говорить такое про мой товар! Да не у тебя ли отца вши заели, не твоя ли бабка померла в богадельне?! Ишь, целую простыню на свой платок извела! Знаем небось, откуда все эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять тебе в нарядах! Порядочные-то женщины больше за домом смотрят, а таким, как ты, самое место в каталажке! Дырки бы на чулках заштопала!

— Виртуозная брань.

— Более того, прекрасный образчик абстрактного мышления.

— Абстрактного?

— Именно. Вчера на уроке, если вы помните, я дал определение абстрактного как отвлеченного, одностороннего. Принято думать, что абстрактность мышления —

удел науки, а толпа мыслит конкретно. Только что мы убедились в обратном. Эта женщина не может допустить в обидчице ничего хорошего. Она-то и мыслит абстрактно — сводит все в ней от шляпки до чулок, с головы до пят, вкуче с папашей и всей остальной родней, исключительно к тому преступлению, что та нашла ее яйца тухлыми. В ее голове все оказывается окрашенным в цвет этих тухлых яиц, тогда как те офицеры, о которых говорила торговка, предпочли бы заметить совсем другое. Впрочем, судя по рваным чулкам, в существовании офицеров можно усомниться.

Рыночная площадь осталась позади, собеседники завернули за угол и вышли на широкую улицу. Навстречу им попала супружеская чета, одетая броско, но дешево; за ними на расстоянии примерно четырех шагов шел слуга, и муж то и дело оборачивался назад, чтобы убедиться в том, что установленная дистанция не нарушается.

— Взять, к примеру, слугу. Нигде ему не живется хуже, как у хозяина низкого звания с малым достатком. И наоборот, тем лучше, чем благороднее его господин. Мецанин и здесь мыслит абстрактно, он важничает перед слугой и относится к нему только как к слуге. Лучше всего живется слуге у француза. Аристократ фамильярен со слугой, француз ему даже добрый приятель. Аристократ знает, что слуге, кроме всего прочего, известны городские новости, знакомы девушки, да и затем его голову посещают неплохие. Обо всем этом он слугу расспрашивает, и слуга может свободно говорить о том, что интересует хозяина. У барина-француза слуга смеет даже рассуждать, смеет иметь и отстаивать свое собственное мнение, и когда хозяину что-нибудь от него нужно, то он не просто отдаст приказание, а сначала втолкует слуге свою мысль.

На площади перед магистратом работали плотники. Гегель спросил Вирта, что они сооружают.

— Эшафот. Завтра здесь должны казнить Биндера. Разве вы не читали об этом в газете?

— С некоторых пор у меня отвращение к газетам. Кто такой Биндер?

— Ужасный человек, убийца.

— Больше вы о нем ничего не можете сказать? Между прочим, ваша характеристика тоже весьма абстрактна. Впрочем, публика, которая завтра придет глазеть на

казнь, будет рассуждать именно таким образом. А если какая-нибудь дама отметит, что он сильный, красивый мужчина, то люди найдут ее мнение предсудительным, безразличным. А священник, привыкший смотреть в корень, даже увидит в этом проявление испорченности высшего света. Между тем знаток человеческой души прежде всего рассмотрел бы ход событий, сформировавших этого преступника, он постарался бы открыть в его воспитании, в его жизни влияние дурных отношений между родителями, быть может, он обнаружил бы, что некогда этот человек за легкую провинность был наказан с чрезмерной суровостью, которая ожесточила его против гражданского порядка и сделала в конце концов преступление единственным возможным для него способом существования.

— Наша публика, случись ей услышать ваши слова, сказала бы, что вы хотите оправдать убийцу.

— Охотно верю. Мне вспоминается, как в дни моей юности некий бургомистр жаловался на сочинителей, которые дошли до того, что пытаются подорвать основы правопорядка и нравственности. Один из них даже защищает самоубийство. Из дальнейших разъяснений выяснилось, что бургомистр имел в виду «Страдания молодого Вертера».

— Господин профессор, вы так интересно говорили об абстрактности примитивного мышления, но вы ничего не сказали о том, как наука, оперирующая абстрактными понятиями, может быть конкретной.

— На этот вопрос в нескольких словах ответить нельзя.

— Можно ли об этом где-нибудь прочитать?

— Пока нигде. Но я начал писать большую книгу...

— Как она будет называться?

— «Наука логики». Дорогой Вирт, наша прогулка окончена. Большое спасибо. До свиданья.

Что есть истина?

«Истина есть великое слово и еще более великий предмет. Если дух и душа человека еще здоровы, то у него при звуках этого слова должна выше подниматься грудь». Гегель отчеркнул это место в рукописи: оно может пригодиться для ответа Дюбо. Полтора месяца назад от гамбургского фабриканта Дюбо он получил

письмо с просьбой изложить свое понимание истины. Философ тогда не ответил, и вот недавно пришло второе письмо, более обширное, с той же просьбой. Дюбо писал, что все свое свободное время он уделяет изучению философии, но, не имея надлежащего образования, в поисках истины предоставлен самому себе; выходя из Франции, он в течение многих лет исповедовал господствующий там скептицизм, знакомство с немецкой философией направило его мысли по другому пути, однако ни Кант, ни Шеллинг не удовлетворили его; сейчас он приступил к изучению гегелевской философии и просит у господина профессора совета и помощи. Медлить далее с ответом было неудобно, и, перелистывая готовые страницы нового варианта «Энциклопедии философских наук», Гегель размышлял над тем, что он напишет в Гамбург.

Что есть истина? Иногда задают этот вопрос, чтобы найти оправдание мелким страстям и пошлым интересам. Как могу я, жалкий червь, познать истину! Грош цена такому смиреннию. Еще хуже, когда оно возводится в высший триумф духа. Первоначально неверие в силы разума сопровождалось печалью и скорбью, но затем нравственное и религиозное легкомыслие, к которому присоединилось поверхностное знание, открыто и спокойно признало бессилие знания и даже возгордилось им. Так называемая критическая философия дала этому неведению возможность придерживаться своей позиции с чистой совестью, ибо она уверяет, будто ей удалось доказать, что мы ничего не можем знать относительно вечного и божественного. Ничего не может быть желаннее для поверхностных умов и характеров, как это учение о незнании, благодаря которому их собственная поверхностность и пустота оказались чем-то превосходным, конечной целью всех интеллектуальных усилий.

Однако не менее опасна и, пожалуй, сегодня чаще встречается противоположная крайность — самонадеянная вера в то, что истина уже достигнута. Люди воображают, что они обладают истиной чуть ли не от рождения. Усвоив набор плоских банальностей, они полагают, что проникли в тайны мировой мудрости. Здесь от познания истины удерживает не скромность, а самоуверенность.

Существует и другая форма важничанья по отношению к истине — пренебре-

жение человека, который во всем изверился и ко всему потерял интерес. Что есть истина? Когда-то в этот вопрос, издательски обращенный к Иисусу Христу, римский проконсул Понтий Пилат вложил свое презрение к знанию и добру. Вопрос Пилата имел тот же смысл, что и слова царя Соломона: все суета.

Познанию истины мешает также робость. Ленивому уму легко приходит мысль о том, что не следует слишком серьезно относиться к философствованию. Такие люди думают, что если выйти за пределы обычного круга представлений, то это не приведет к добру: волны мысли будут бросать тебя из стороны в сторону и все равно выбросят на мель будничных интересов. Чтобы быть рутинным чиновником, не нужно ни большого ума, ни больших знаний. Иное дело — поставить перед собой великую цель и стремиться к ее осуществлению. Хочется верить, что в умах молодого поколения зародилось стремление к чему-то возвышенному, и оно уже не сможет удовлетвориться мякиной чисто внешнего знания. Письма гамбургского фабриканта — факт радостный и обнадеживающий.

Писать об этом ему, конечно, не следует. Надо будет лишь по возможности доступно растолковать интересующее его понятие. Истина — это прежде всего правильное знание, соответствие нашего понятия предмету. Никогда, однако, знание не дается нам сразу, во всей полноте. Истина не отчеканенная монета, которую получают в готовом виде и кладут в карман. Именно так, кажется, сказано в «Феноменологии». Можно будет отослать его к этой работе. Пусть прочтет хотя бы предисловие, где объяснено, что истина — это процесс, движение от незнания к знанию, от неполного к все более полному знанию.

Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Частные науки показывают действительность лишь с какой-то одной стороны, абстрактно, отвлекаясь от ее многообразия, поэтому они не содержат истины. Истина — предмет философии, где знание обретает свою многосторонность, конкретность. Причем это уже не конкретность чувственно воспринимаемого единичного предмета, а иная, логическая конкретность, которая достигается за счет того, что понятия берутся не обособленно друг от друга, а в их взаимных связях и переходах, в системе. Мир представляет собой развивающееся органическое

целое, путь к его познанию лежит через систему категорий, построенную по принципу субординации, соподчинения понятий. Простой механический набор абстрактных понятий не передает всей сложности реальных отношений, их взаимообусловленности и взаимопереходов. Но если эти понятия мы поставим в такую взаимную связь, которая соответствовала бы объективно существующим отношениям, мы достигнем цели. Система категорий дает возможность понять не только мир как целое, но и каждое его наиболее общее отношение, выражаемое той или иной категорией. Категории можно понять только в сопоставлении друг с другом, в определенной системе, каждое звено которой связано с предшествующим и последующим. Подобная система позволяет единым взором охватить и всю действительность и каждое отдельное ее существенное отношение. Представим себе разрезанную на части картину великого художника. Разные ее фрагменты, взятые в отдельности, говорят о мастерстве автора и заставляют подозревать грандиозность целого, но в полной мере все это можно увидеть в том случае, если разрезанные куски будут сложены вместе в определенном порядке. Лишь тогда мы поймем и весь шедевр и каждую его деталь. Истина существует только в форме системы.

Но этого мало. Истина представляет собой не только соответствие понятия предмету, но и предмета своему понятию. Рассматривая предмет, мы должны определить, содержит ли он в себе истину или нет. Подобное глубокое понимание истины встречается отчасти и в обычном словоупотреблении: мы говорим, например, об истинном друге и понимаем под этим человека, поведение которого соответствует понятию дружбы. Неистинное в этом случае означает дурное, не соответствующее самому себе, противоречие между существованием предмета и его понятием. О дурном предмете мы можем иметь правильное представление, но содержание этого представления неистинно внутри себя. Истина предметна, ее нужно не только узнать, но и осуществить.

И еще. Истина прокладывает себе дорогу тогда, когда пришло ее время, не раньше. Ничто великое не совершается без страсти, но никакая страсть, никакой энтузиазм не вызовут к жизни то, что еще не созрело. Вот что, пожалуй, в первую очередь надо знать Дюбо, ведь он человек практических интересов.

Сова Минервы

В трактире без вывески, куда имели обыкновение заходить после занятий студенты и преподаватели Берлинского университета, собралась шумная компания. Профессор Гегель, только что закончивший очередную лекцию по философии права, пригласил тех, кому он симпатизировал, выпить «в честь сегодняшнего дня». Профессор запаздывал, и собравшиеся бурно обсуждали, по какому поводу старик решил раскошелиться. Все терялись в догадках, ибо день был самый обычный, ничем не примечательный, никто не родился в этот день, не умер, не получил повышения по службе, ничего примечательного не случилось ни в Берлинском университете, ни вообще в Прусском королевстве.

Наконец Гегель появился, извинился за то, что заставил себя ждать, и заказал шампанское.

— Господа, сегодня четырнадцатое июля. Тридцать один год назад народ Парижа разрушил Бастилию. Я всегда отмечаю эту дату — начало великой революции. Прошу налить бокалы.

В потолок полетели пробки, брызнула пена, зазвенело стекло. Все выпили. Затем, однако, возникла неловкая пауза, оборот дела для большинства оказался неожиданным: профессор, в течение двух часов вещавший с кафедры о благоденствии прусского чиновничьего государства, поднял тост за революцию. Молчание нарушил Эдуард Ганс, молодой юрист, понимавший лучше других своего учителя. Он стал говорить о том энтузиазме, с которым встретили в Германии известие о революции во Франции, и о разочаровании, вызванном ужасами террора.

— Я не принадлежу к тем людям, — продолжал Ганс, — которые всегда считают, что истина посередине. Если кто-то утверждает, что дважды два — четыре, а другой, что дважды два — пять, то четыре с половиной не будет правильным ответом. Но в данном случае все же был необходим высший синтез, и мы находим его в философии истории профессора Гегеля. Революция не решила важнейших проблем политического и хозяйственного устройства Европы, но она поставила их. Решение будет достигнуто только совокупным развитием всех передовых стран. И если мы сегодня живем в просвещенном мире, то начало ему положили парижские санкюлоты.

Постепенно завязался общий разговор. Кто-то заметил, что Вальтер Скотт в своей биографии Наполеона назвал революцию наказанием божьим, ниспосланным за грехи французскому народу.

Гегель рассмеялся:

— Если грехи Франции были столь велики, что милосердный бог наказал эту страну таким страшным образом, то, значит, революция была необходима и представляла собой не новое преступление, а искупление старых.

— Господин тайный советник Гёте считает, что вина за революцию ложится не на народ, а на правительство, — сказал студент, недавно побывавший в Веймаре. — Революция невозможна, если правительство находится на страже и проводит мудрую политику. Назревшие реформы необходимо осуществлять своевременно, не дожидаясь, пока они будут вырваны силой снизу.

Гегель нахмурился:

— Гёте — поэт, а поэзия всегда снабжает нас поучениями; философия в отличие от нее дает только знание. Поэзия говорит о том, каким должен быть мир, философия показывает, каков он есть.

Гегеля спросили, как он относится к предсказанию Канта о том, что со временем появится новый Ньютон, который сформулирует законы истории с той же точностью, как великий англичанин изложил законы механики. Философ ответил, что он в отличие от Канта не испытывает особого пиетета к физике Ньютона. Современная наука все больше убеждается в ее ошибочности: в частности, Гёте, который не только великий поэт, но и великий натуралист, полностью опроверг нелепую гипотезу о преломлении света. Что касается философии истории, то она всегда будет лишь следовать за событиями.

— В книге, которая скоро увидит свет, я пишу, что философия со своими поучениями всегда приходит слишком поздно. В качестве мысли о мире она появляется только тогда, когда мир уж закончил свое формирование. Если философия начинает живописать серым по серому, это означает, что некоторая форма жизни уже постарела и ничто не в силах омолодить ее. Сова Минервы вылетает только в сумерки.

Разговор постепенно перешел от серьезных проблем к делам житейским, посыпались остроты, и за праздничным столом в трактире без вывески в этот день не было больше сказано ничего достойного внимания.

Как-то в конце июля 1944 года прибежала соседка: «Анечка, говорят, «Красная звезда» написала про какого-то Барутчева, не то Барычева, врача. Может, твой?» Нашли газету со статьей К. Симонова. Это была та самая корреспонденция, из которой мир впервые узнал о фашистских лагерях смерти. Константин Симонов приехал в Майданек в первые дни после освобождения лагеря. По 20 часов в сутки разговаривал с людьми, которых гитлеровцы не успели отправить в газовые камеры и топки крематория, и первым из военных журналистов рассказал обо всем этом. Среди собеседников Симонова был и советский военнопленный врач Сурен Константинович Барутчев, просидевший в лагере одиннадцать месяцев.

Стенографическая запись бесед с ним и по сей день хранится в архиве писателя. Но когда я попросила его рассказать о Барутчеве, Константин Михайлович ответил: «Поезжайте-ка к нему в Кисловодск. Стенограмма стенограммой, она есть и у Барутчева, но разве не лучше увидеть самого человека?».

И вот я в Кисловодске, в семье Барутчевых. Седой высокий человек медленно и как будто с трудом вспоминает о пережитом.

— Все эти годы я старался не думать о Майданеке, потому что чувствовал, что могу сойти с ума, как сходили с ума многие в лагере.

Жена Сурена Константиновича, Анна Самсоновна, достает из старой папки снимок: перед войной они оба сфотографировались вместе с маленькими дочерьми. Эту карточку всю войну хранил Сурен Константинович. В Майданеке она стала для него радостью и мукой.

— Трудно было верить, что когда-нибудь придет прежняя жизнь, что я увижу жену и детей. Помню, вернувшись на Родину, попал в Москве на концерт какого-то танцевального ансамбля. Я почти не слышал и не видел происходившего на сцене, с какой-то почти физической болью ощущал, что я не смертник, что я снова человек, обыкновенный человек среди обыкновенных людей, пришедших отдохнуть.

...Эшелон советских военнопленных, в числе которых был майор медицинской службы С. Барутчев, прибыл сюда в октябре 1943 года.

— С транспортом советских военнопленных — инвалидов, тяжело раненных и больных — я попал в Оршу. Руководивший

эвакуацией штаб-арц сказал мне: «Вы едете в прекрасный лазарет в Люблин». Я, конечно, понятия не имел о Люблине и не мог представить себе даже и сотой доли тех ужасов, какие ждали нас в «прекрасном эрзац-лазарете».

Пленных выгнали из теплушек и колонной повели в какой-то странной городок. Те бойцы и командиры, кто уже хорошо знал, что такое немецкий плен, были изумлены: перед бараками разбиты палисадники с молодыми березками. На каждом поле — клумбы с анютиными глазками, маргаритками, тюльпанами. Дорожки тоже окаймлены цветами. Вдоль всего пути по первому междуполью непрерывной лентой тянулись газоны с зеленой травой. А перед первым бараком возвышался каменный макет старинного замка с башнями, легкими перекидными мостками над рвами, заполненными водой, и даже с фигуркой льва, охраняющего въезд в замок.

Как мы узнали позднее, это сделали по приказу эсэсовцев заключенные, среди которых были скульпторы, художники. Весь дьявольский смысл, о котором никто не мог догадываться, заключался в том, что замок был украшением лагеря и как бы доказательством мягкости его режима. Если бы не двухметровая ограда из колючей проволоки, можно было подумать, что мы попали в дом отдыха!..

Это был Майданек... Иезуитская маскировка лагеря была выполнена отлично. Достаточно сказать, что заключенные-новички долго не подозревали о газовых камерах, не предполагали, что квадратная кирпичная труба, дымившая день и ночь без перерыва, извергала в воздух то, что оставалось от тысяч и тысяч жизней...

На карантин нас разместили в бараке для больных с открытой формой туберкулеза. Немного понадобилось мне, врачу, времени, чтобы понять расчет фашистов. Через три недели вновь заболевших переводили в другие бараки, и они невольно становились разносчиками заразы.

В первые же дни в Майданеке я понял: с того момента, как узнику выдавался номер, он переставал быть для фашистов человеком. Мы не имели права спокойно ходить, все надо было делать быстро, бегом, сохраняя бодрый, веселый вид. Спокойно идущих людей эсэсовцы не выносили.

Распорядок дня был рассчитан, как и все остальное, на изнурение заключенных. В 4 часа — утренняя поверка, так называемый апель, когда все, не исключая и

больных, должны были выходить из барачков на центральную площадь поля. Если число узников не сходилось с канцелярскими данными, проверка повторялась. Иногда она продолжалась больше часа. В 6.45 все должны были получить и выпить из миски пол-литра эрзац-кофе из пережженной брюквы без сахара. После «завтрака» сбор на центральную площадь поля и построение по пять человек в ряд. В 7 часов развозили на работы. Работали и на территории лагеря, и в городе, и пригородах и возвращались в лагерь к 18 часам. Но уставшим людям не давали отдохнуть в бараках. Тут же, на площадях всех полей, начиналось настоящее мучение — вечерний апшель, длившийся нередко часами.

На поверку выносили трупы умерших за день. По канцелярским правилам до завтрашнего утра они считались живыми и должны были тоже принимать участие в сегодняшней поверке. Если кто-нибудь умирал в субботу, он «жил» еще до понедельника. На вечернем апшеле эсэсовцы производили и расправу за какие бы то ни было нарушения режима хотя бы одним из заключенных. В дождь и стужу, снег и зной фашисты заставляли четыре тысячи человек одновременно по команде снимать головные уборы. Каждый фашист считал своим долгом до смерти избить заключенного. Никто из нас не знал, будет ли жив завтра.

Бледнее, Сурен Константинович показывает мне фотографию эсэсовца. Тупое звериное лицо, сжатые толстые губы. Барутчев уже не помнит его фамилии, но помнит, как этот фашист избивал узников на специальном столе. Где он теперь? Настигло ли его возмездие за преступления или он преспокойно здравствует где-нибудь в Южной Америке, ставшей надежным приютом для многих фашистов, или в Западной Германии?

— Из живых в Майданеке, — продолжает рассказ Барутчев, — лучше всего питались собаки. Советским военнопленным не разрешались передачи, посылки. Почти за год моего пребывания в лагере на втором поле от голода погибло 75 процентов плененных.

Основную часть травяного супа — «зеленки», как называли его узники, — составляли листья зимней капусты. Она росла в изобилии на огородах Майданека, удобрявшихся человеческим пеплом. А пепел вывозился из крематория на тачках или

выносился в больших ящиках, по виду таких же, как хлебные носилки.

Три-четыре раза в месяц на второе поле привозили ободранные трупы дохлых лошадей. Сладковатое на вкус мясо закладывали в котел и варили. Это считалось лакомством. Вместо жиров дважды в неделю мы получали по 30 граммов так называемого фетина. Он был приготовлен из каких-то растений, животных отбросов и чуть ли не каменного угля. На этикетках полукилограммовых пачек с чисто немецкой аккуратностью было написано: «Только для варки, жаркого и печенья». В сыром виде фетин имел отвратительный вкус и запах.

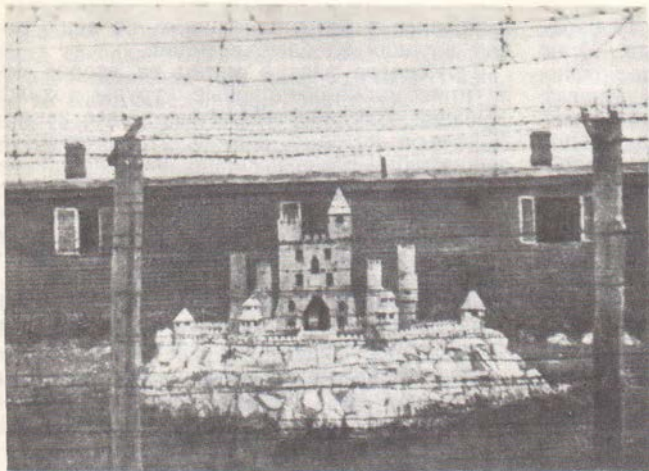
Для перевозки готовой пищи, доставки хлеба, продуктов, вывозки мусора и отбросов служили повозки, телеги, платформы. Но вместо лошадей в них запрягали заключенных. Рассказы об ужасах Майданека, которые я услышал в первые дни, показались мне преувеличенными, но вскоре я понял, что жестоко ошибался.

О зверствах фашистов в Майданеке написано много. Я расскажу лишь о самом страшном дне в моей жизни.

Это было 3 ноября 1943 года. Перед утренней поверкой объявили тревогу. Весь лагерь пришел в движение. Еще до рассвета из города прибыл усиленный конвой. Вооруженные автоматами и пулеметами эсэсовцы стояли вдоль проволоочной ограды в пяти шагах друг от друга. Каждый десятый держал на привязи овчарку. Такой же усиленный конвой стоял по обеим сторонам дороги от въезда в лагерь, вдоль всего первого междуполья, шестого поля и до самого крематория. Мы не могли понять, что происходит. Движение машин, повозок и людей по Хелмскому шоссе от города до лагеря было прекращено. И вдруг мы увидели бесконечную черную ленту,двигающуюся по направлению к лагерю, — безмолвную толпу стариков, женщин и детей. Издали казалось, что они идут медленно. На самом деле люди бежали, подгоняемые окриками и ударами озверевших фашистов. Из окон барака мы с ужасом смотрели на нескончаемое шествие.

С восьми утра на весь лагерь оглушительно ревел репродуктор, передававший фокстроты, марши, чарльстоны. Это было вестником смерти. Как я уже знал теперь, фашисты всегда включали репродуктор и заводили тракторы, чтобы заглушить крики жертв.

Вечером мы выяснили кое-какие подроб-



Макет замка перед первым бараком «лазарета для советских военнопленных».

ности от политзаключенного поляка Тадеуша Будзиня, заведовавшего аптекой второго поля. Воспользовавшись правом свободного хождения по лагерю, он ухитрился пройти в аптеку пятого поля будто бы за срочно потребовавшимися лекарствами. На всех остальных полях, рассказал он, после окончания утренней проверки была дана команда «смирно». Потом в наступившей злобещей тишине вторая: «Евреи, вперед! Строиться в отдельную команду! Остальным стоять на месте!» В голове колонны поставили работавших в канцелярии и на кухне.

«Ну, раз впереди стоят работающие в лагере, значит мы идем в транспорт», — решили заключенные, стараясь отогнать от себя мысль о надвигающейся смерти.

В еврейскую колонну попали отобранные эсэсовцами все неугодные командованию лагеря заключенные других национальностей. В эль-бараке пятого поля узников раздевали догола и через особый тоннель гнали на поле смерти к вырытым за крематорием ямам.

И только на следующий день узнали мы от заключенных пятого поля, наблюдавших за движением вокруг крематория, дальнейшие подробности массового расстрела.

Пригнанных из города (как выяснилось, они были собраны со всей Польши) привели на шестое поле, а оттуда голыми, по 50 — 75 человек — к выкопанным за три дня до этого рвам и ямам. Живых мужчин, женщин и детей заставили ложиться вниз лицом на трупы уже убитых и тела раненых. Пьяные эсэсовцы расстреливали из автоматов верхний ряд и, не потрудившись даже

убедиться, все ли убиты, приказывали укладываться следующим. И так до тех пор, пока ров не заполнялся доверху.

Вот что рассказал нам старший писарь канцелярии лагеря политзаключенный поляк Андрей Станиславский. В тот черный траурный день поздней осени 1943 года было расстреляно восемнадцать тысяч четыреста человек. Большинство пригнали из Люблина, остальных взяли из лагеря. Гитлеровцы называли свою дикую расправу с беззащитными людьми «особым мероприятием». Из 18 тысяч человек только один — словак, работавший поваром на кухне четвертого поля, бросился с ножом на фашиста, ранил его и был убит на месте.

Заполненные трупами ямы эсэсовцы кое-как засыпали землей. Через два дня после своего преступления они начали откапывать трупы и складывать их штабелями перед печами крематория. Но, несмотря на все ухищрения, на самое полное использование печей (фашисты рубили трупы, чтобы можно было заложить сразу несколько, сокращали сроки кремации), крематорий не мог справиться с такой нагрузкой. И тогда на помощь «цивилизованному» сжиганию был призван самый варварский опыт далеких предков. На дно глубоких котлованов эсэсовцы бросали старые автомобильные рамы, железный лом, ненужную рухлядь — все это называлось «колосники». На колосники с хлорной известью кладили слой бревен, затем слой человеческих трупов. И так чередовали, пока рвы не заполнились. А затем все обливали горячей жидкостью и поджигали.



Дорога вдоль пятого участка
Майданека и общий вид
крематория.

Ветер разносил над лагерем клубы черного дыма, смрад и вонь. Заключенные нюхали хлорку — только бы не чувствовать сладковатого запаха сжигаемых человеческих тел. Две недели немцы жгли трупы в крематории и котлованах. Тяжелое впечатление так захлестнуло душу, что ни о чем другом нельзя было думать. Нужно было как-то отвлечься от этих мыслей. Не всем, конечно, это удавалось. Многие значили воля, стойкость и привычка к лишениям, вырабатывающиеся в условиях лагеря.

Помощником становилась для узников песня. Какое созвучие в душе русских военнопленных находили слова «Землянки»: «Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти не легко, а до смерти — четыре шага». Как будто это было написано про каждого из нас.

Русские пленные, запев песню, забывали о действительности, «уходили» в слова и мелодию, и часто после грустных звучали в бараках веселые советские песни и даже марши. Узники будто черпали в них новые силы. В декабре 1943 года парикмахер Василий Чепарский, игравший на мандолине, сумел организовать нечто вроде кружка самодеятельности. Вот уж где поистине сказался русский дух: рядом, всего в нескольких шагах, каждого узника ждала смерть, в желудках всегда было пусто, спины многих не успевали «отойти» от побоев эсэсовцев, и все же мы пели. Помню первое выступление кружка в четвертом бараке под новый, 1944 год. Нам очень хотелось верить в избавление, в победу на-

ших, и концерт тот, видно, давал выход этим чувствам.

Амбулатория, в которой состоялся первый «концерт», была переполнена. Не все тогда прошло гладко, но концерты тем не менее время от времени возобновлялись на лагерной «сцене».

Играли на самодельных гитарах и мандолинах, которые мастерил Иван Вашкин — дядя Ваня, как мы его звали.

Но концерты проходили, а лагерные будни тянулись своей жуткой чередой. Сознание полной безнаказанности за любые жестокости развязывало руки фашистам. Им мало было массовых расстрелов, отравления газом. Они хотели сами видеть мучения и кровь своих жертв. На втором междуполье существовал переносный стол. О нем хорошо знали все заключенные. Это был стол для экзекуций: один конец выше другого на несколько сантиметров, крышка немного вогнута. «Виновный» ложился на один конец стола без штанов. Два других узника под хохот эсэсовцев били его ивовыми прутьями, или кожаными плетками с наконечниками, либо резиновыми дубинками с проложенной внутри проволокой. Минимальное количество ударов — 25. Если жертва вела себя спокойно, количество их увеличивалось, если эсэсовцам казалось, что заключенные недостаточно сильно бьют наказуемого, их самих укладывали на стол.

Нам не раз, к сожалению, приходилось констатировать смертные случаи от этих побоев. Умирили либо вскоре после наказания, либо через несколько дней от острого заражения крови.



Так доставляли пищу и белье, вывозили трупы погибших в лагере.

Фашисты любили «пошутить» с заключенными. Что ж, времени и возможностей для этого у них было предостаточно. На втором междуполье чаще всего повторялась шутка с расстрелом. Она состояла в том, что виновный становился перед сараем — складом грязного белья — и стоял неподвижно. Эсэсовец, подойдя почти вплотную, чуть не касаясь его лба дулом пистолета, неожиданно громко кричал: «Ап!» — и стрелял вверх или в землю. Заключенный инстинктивно закрывал глаза. А в это время другой эсэсовец сильно ударял узника широкой доской по голове. Удар принимался за ранение, и заключенный почти всегда падал без чувств. Если он умирал, то составлялся акт о самоубийстве. Шутка считалась тогда удавшейся, когда несчастный, очнувшись, пытался открыть глаза. Тут начиналось настоящее веселье. Эсэсовец, наклонившись над ним, кричал: «А, здравствуй, ты уже на том свете! Видишь, и здесь с тобою немцы! Немцы — всюду!»

...Сразу после освобождения лагеря я разговаривал с бывшим заключенным Майданека, ставшим подпоручиком польской армии, Юзефом Цыновецем. Он рассказал, что весной 1942 года видел, как в лагерь пригнали партию советских военнопленных в 2400 человек. Немцы называли их «экстрабандитами» за то, что они оказали сопротивление, отбиваясь до последнего патрона. Среди этих военнопленных, находившихся в самых страшных условиях, вспыхнул сыпной тиф. Превозмогая болезнь, боясь быть пристреленными, они все же выходили на работу. Заболевших и не

вставших с места немцы уничтожали чудовищным способом.

Обреченных приволакивали к дощатому барaku первого поля. В барак стояли два небольших мельничных жернова. Один был укреплен на нескольких деревянных подпорках в полметре над землей, другой, верхний, держался на железном тросе, перекинутом через блок под крышей. Пленных укладывали на нижний жернов и давили верхним, опускавшимся с двухметровой высоты...

Конечно, способы уничтожения и издевательств над узниками в Майданеке не представляли чего-то исключительного по сравнению с другими лагерями смерти. Особенность Майданека заключалась в том, что в нем были собраны все методы, применявшиеся во всех концентрационных лагерях.

...В каких бы тяжелых условиях ни находились советские врачи, они оставались врачами. В лагере их было восемь, старшим хирургом — Барутчев.

— Я всегда старался уйти в работу, полностью загрузить свой день, чтобы поменьше думать об ужасах лагерной жизни, — вспоминает Сурен Константинович. — Вот когда я действительно благодарил судьбу, что стал врачом, что могу принести пусть даже небольшую, но все же помощь моим товарищам по несчастью, моим землякам. Мне кажется, стоит рассказать о том, что представлял собою лазарет для советских военнопленных. Организацией его с далеко не полноценным лечением раненых и больных немцы предполагали обмануть людей:



Чемодан с куклами, отобранными у детей, заключенных в Майданеке.

Центральный склад гестапо в Люблине. Август 1944 г.

«Посмотрите, мол, мы не только не уничтожаем и не убиваем советских военнопленных, а, наоборот, лечим больных и инвалидов». Но на самом деле немецкие врачи не интересовались и не занимались лечением. Да это и не входило в их планы. Они переложили работу на советских врачей, в то же время не обеспечивая нас лекарствами. Тем самым они рассчитывали обратить на нас гнев и недовольство за плохое лечение наших же товарищей. Можно было всегда свалить с себя вину и предупредить любые претензии: ведь советских людей лечат советские врачи! К чести узников нужно сказать, что они прекрасно разобрались в хитростях немцев и даже помогали нам, неизвестно каким образом добывая иногда совершенно необходимые медикаменты через польский Красный Крест.

Госпиталю, в котором находились 1250 тяжелораненых и больных, отпускали по 150 таблеток альбурцида, белого и красного стрептоцида. Немцы предусмотрительно снабжали нас оттисками из новейших медицинских учебников о необходимости применения больших доз сульфамидных препаратов — это, конечно, было настоящим издевательством, потому что того количества лекарств, которое давали нам на месяц, могло хватить на лечение только десяти-двенадцати человек. Камфарного масла мы получали на месяц по 20—30 двухграммовых ампул. Зато в изобилии привозили в госпиталь различные патентованные лекарства из частных аптек, например средство для ращения волос, химические средства для предупреждения беременности.



Наши попытки выписать больше медикаментов и перевязочных материалов не приводили ни к чему. Немцы говорили: «Вы забыли, кто вы такие. Вам и этого давать не нужно!»

Характерная для лагеря маскировка истинного положения вещей распространялась и на чисто медицинскую сторону. За красивыми бормашинами, световыми табло и т. д. скрывались настоящие трудности в работе советских врачей.

Но мы ухитрились лечить товарищей-узников, хотя не было у нас настоящих бинтов, почти не было лекарств, инструментов нашим едва бы позавидовал даже врач XV века. Мы спасали не только раненых. В этом было и наше спасение: сознание, что ты кому-то нужен, кому-то можешь помочь, облегчить чьи-то страдания, давало силы жить. За время существования лазарета было сделано 277 серьезных операций.

Фашизм все естественные человеческие представления вывернул наизнанку. Врачи — люди самой гуманной профессии, так привыкли мы считать с детства. Но даже они, люди, добровольно избравшие профессию исцелителей, связав свою судьбу с фашизмом, превращались в палачей.

Старшим врачом Люблинского концлагеря до весны 1944 года был тридцатилетний гауптшарфюрер Бланке. Среди заключенных он пользовался дурной славой. Он требовал составлять ложную медицинскую статистику. Но помимо этого собственноручно отбирал тяжелых и хронических больных для умерщвления либо воздушной эмболией, либо внутривенным введением



Почти по Верещагину...

эвипаннатрия. Этот препарат, известный всему миру как обезболивающее средство, он сумел превратить в яд. Достаточно было умело влить лекарство, чтобы вызвать долгую мучительную смерть от удушья. Этот «экспериментатор» на просьбу отпустить необходимые лекарства советским военнопленным ответил: «Для русских лекарств нет. Они пришли сюда, чтобы умереть».

В лазарете советских военнопленных старшим врачом был некий Отто Гетт, арестованный в 1939 году как активист германской социал-демократической партии. Но практически бывший социал-демократ уже ничем не отличался от врачей-эсэсовцев. Это он помещал вновь прибывших в барак, где находились больные открытой формой туберкулеза. «Нарушителей» лагерного режима он также заключал в этот барак. «Узбеки, таджики — все эти восточные народы, зачем они существуют? — говорил он. — Их надо стереть с лица земли. Славяне — это свиньи. Вообще, кроме немцев, нет людей».

Во главе всего Люблинского лазарета стоял полуграмотный полицейский Эрих Грун. Получив начальное образование, он долгое время служил шуцманом — постоянным городовым. Карьера его началась с 1934 года, когда он вступил в национал-социалистскую партию. К 1943 году пышно расцвел его талант палача — под его руководством были безвинно расстреляны и замучены пятьсот двадцать тысяч человек! У немногословного обершарфюрера после ежедневной выпивки развязывался язык, и многое из своей «славной» биографии он рассказывал Гетту.

Несмотря на постоянную угрозу оказаться в топке крематория, советские врачи не могли оставаться безучастными свидетелями смертности военнопленных от туберкулеза и истощения. Нужно было попросить начальника второго поля улучшить хоть немного питание туберкулезных и других больных. А что, если улыбнется счастье? Отправиться к начальнику поля всем вместе нельзя, а одному, признаюсь, было страшно... Как старший по возрасту, я решил взять эту миссию на себя. Конечно, я знал, что могу навлечь на себя гнев эсэсовцев, но ведь кто-то должен был пойти. Это был конец апреля 1944 года. Я выбрал день, когда Грун, по сведениям работавших в канцелярии политзаключенных поляков, был в особенно хорошем настроении. Грун милостиво согласился поговорить со мной.

— Врачи просят вас разрешить отпустить дополнительную пищу хотя бы только туберкулезным больным. Я говорил с шефом кухни. Возможность такая есть, продуктов много.

Грун посерел.

— Доктор, — произнес он после жуткой паузы, — вы старый врач и совсем не молодой человек, а говорите большие глупости! Пора понять немецкие установки, и чтобы такой разговор больше не повторялся. Лечить и кормить надо только тех больных, которые могут скоро выздороветь и стать полезными нашему государству. Туберкулезные к этой категории не относятся. Благодарите бога за то, что вы — ведущий хирург лазарета. Ступайте на работу!



Эти перчатки носили женщины до того, как попали за колючую проволоку.

Так закончился мой поход...

Грозой не только заключенных, но даже всей охраны лагеря был комендант Майданека оберштурмфюрер Тумман — среднего роста, худощавый, жилистый, с прищуренным правым глазом. Он всегда смотрел на всех исподлобья пронизывающими, жесткими глазами. Тридцатидвухлетний офицер гестапо ходил в черном кожаном пальто, в черных перчатках, в левой руке он держал на длинном ремне дрессированную лютую немецкую овчарку. Никогда не расставался он и со стеклом. Мне удалось узнать биографию Туммана.

В 1933 году он вступил в партию национал-социалистов. Его направили в школу лейтенантов, но вскоре исключили за неуспеваемость и отсутствие способностей. Ловкий молодой человек в день празднования годовщины прихода к власти национал-социалистов публично клянется в том, что посвятит всю свою жизнь Гитлеру и его делу. С этого момента начинается его головокружительная карьера. Вчерашний солдат, пройдя специальную школу для гестаповцев в Ораниенбурге, становится офицером СС. Он быстро поднимается по служебной лестнице, выделяясь исключительной жестокостью даже среди своих друзей-эсэсовцев. Тумман получил звание унтерштурмфюрера — лейтенанта. Ревностная служба не осталась незамеченной. Его награждают золотым значком, дающим право на личное свидание с Гитлером в любое время. Этот значок на груди Туммана заставлял трепетать всех эсэсовцев концентрационного лагеря в Майданеке.

Стоило только Тумману появиться на тер-

ритории, как об этом тотчас узнавали все. Заключенные старались скрыться от коменданта и не попадаться ему на глаза. Тумман буквально жаждал крови. Он сам бил, расстреливал, загонял узников в газовые камеры и будто считал потерянным день, когда никто не бывал «обласкан» его стеклом. В кошмарный день 3 ноября, о котором я уже рассказал, Тумман проявил особую активность, отбирая узников для расстрела.

А вот случай, о котором мне поведали в лагере. В марте 1943 года в лагерь привезли 157 детей. Построили их перед баней, раздели и загнали в газовые камеры, несмотря на душераздирающие крики несчастных малышей. Тогда Тумман приказал войти в камеру и команде заключенных, работавших в лагере, чтобы навести порядок, потому что дети не могли успокоиться. А когда они вошли, Тумман приказал закрыть за ними дверь и отравить их вместе с детьми, чтобы убрать нежелательных для себя свидетелей.

Венец Майданека — крематорий немцы всегда старались, если можно так сказать, замаскировать. Вот как было организовано массовое убийство людей. Вновь прибывшим в лагерь заключенным приказывали раздеться и голых загоняли в мочечный зал бани. Те, кого заранее решили уничтожить, должны были пройти из мочечного зала в следующий, якобы тоже мочечный. За ними плотно закрывали дверь из толстых досок с тремя тяжелыми железными засовами. Через теплое темное помещение, где, по официальной версии, производилась дезинфекция белья, людей про-



Результаты раскопок: мать, расстрелянная вместе с ребенком.

гоняли к бетонным камерам двухметровой высоты с герметически закрывающимися железными дверями. Камеры были приспособлены для массового отравления газами общетоксического действия — синильной кислотой и окисью углерода. Крики и вопли обезумевших людей предусмотрительно заглушали шумом мотора пущенного в ход трактора.

Эсэсовцы, работавшие на крышах газовых камер в специальных противогазах, молотком открывали железные банки с известковыми гранулами, пропитанными синильной кислотой. Это был «циклон», который всыпали в камеру через люки в потолке. Невинные на вид голубоватые пористые камешки — известковые гранулы — насыщали на заводах «Дегеш» во Франкфурте-на-Майне страшным ядом. Теплота в камерах ускоряла испарение синильной кислоты, концентрация которой достигала такой силы, что убивала людей в сорок-пятьдесят секунд.

Маленькая кирпичная пристройка с дочатой дверью, находившаяся между камерами, была своего рода диспетчерской: через толстое стекло, защищенное изнутри стальной решеткой, палач-эсэсовец мог наблюдать за тем, что делается в камере.

Когда узников уничтожали окисью углерода, газ проводили через железные трубы от больших баллонов, стоявших в той же диспетчерской. Отравленных — иногда в тот же день, иногда на следующий — вывозили в прицепах на тракторах в крематорий, где сжигали. В газовых камерах работали только эсэсовцы, поэтому мы ничего не знали о «деятельности» камер до самого

нашего освобождения. Все подробности, о которых я сейчас рассказываю, мне стали известны уже потом, когда вместе с нашими солдатами и дожившими до счастливого дня узниками я ходил и смотрел на то, что окружало нас изо дня в день. Ведь чтобы заключенные не смогли наблюдать какое-то движение вокруг бани, эсэсовцы загоняли нас после вечернего апеля в бараки, из которых нельзя было выйти до утра.

Почти километр отделял газовые камеры от крематория. Было известно, что начальник его — обершарфюрер Мусфельд. После освобождения лагеря в течение трех месяцев каждый день я бывал в крематории и досконально изучил этот шедевр берлинской фирмы Г. Кори, поставленный на службу безумной идее истребления людей «низшей расы». В архивах Майданека я нашел переписку фирмы с лагерем, которая велась постоянно. В письмах сотрудники фирмы, помещавшейся в Берлине на улице Деневица, 35, инструктировали эсэсовцев: не повышать запроецированную температуру печей, чтобы сохранить крематорий на более долгий срок. В письме, например, датированном 1943 годом и адресованном главному управлению и начальнику германской полиции, фирма сообщала об установке двух электрических вытяжных вентиляторов у основания дымовой трубы крематория. Кроме того, предполагалось соорудить еще охладительную систему у вытяжной трубы крематория. Запроецированный срок сжигания трупов должен был сократиться вдвое. За сутки крематорий мог свободно поглотить полторы тысячи трупов. Но строители не были бы немцами,

если бы не предложили дальнейшего усовершенствования. В том же письме фирма сообщала о том, что когда-нибудь нужно будет полностью использовать тепло дымовых газов крематория для специальных установок, которые дали бы «бесплатно и в большом количестве горячую воду для потребностей лагеря»...

Только паническим бегством немцев из Майданека можно объяснить то, что они не уничтожили следы своих преступлений. В крематории мы увидели кучу жестяных банок цилиндрической формы. В них эсэсовцы посылали родственникам некоторых заключенных пепел, который брали из общей кучи. Администрация лагеря сообщала в письме: «Ваш муж (брат или сын), родившийся (тогда-то и там-то), умер в Люблинском концентрационном лагере от паралича сердца (или воспаления легких, тогда-то). Труп его сожжен. После оплаты расходов вам может быть выслан его прах». Такое письмо я видел у одного из членов польского комитета национального освобождения. Понятно, что родственники погибших хотели исполнить последний долг и похоронить хотя бы прах близкого человека. Деньги высылали без промедления.

Количество пепла на территории лагеря было слишком велико, поэтому его сначала закапывали, а потом, с усовершенствованием техники, стали пересылать на удобрение огородов и садов Германии.

Таков был крематорий Майданека. По очень осторожным подсчетам польско-советской чрезвычайной комиссии, созданной для расследования фашистских зверств в Люблине, в крематории Майданека было сожжено 600 тысяч трупов!..

...Апрель 1944 года стал переломным месяцем для Майданека: успешное наступление советских войск на Ковельском направлении в это время создало явную угрозу Люблину. С 3-го по 17-е из Майданека вывезли в разные германские концлагеря шестнадцать с половиной тысяч узников. В лагере оставались только советские военнопленные и около 300 заключенных, составлявших обслугу складов, мастерских, канцелярий. Третье, четвертое и пятое поля опустели. Целями днями в панике фашисты сжигали в печках канцелярии переписку и документы. Разложение, существовавшее уже давно среди эсэсовцев, начало принимать все большие размеры. Начальники складов пьянствовали. И все же жгли и умерщвляли в лагере до последнего дня.

В мае наступили прежние порядки. Почти ежедневно загружали газовые камеры и разгружали автомашины с новыми узниками. В первых числах июля начали готовить к отправке в Германию советских военнопленных. Второго июля всех выстроили по пять человек в ряд на центральной площади второго поля. Алюминиевая бирка на шее должна была висеть поверх воротника. Отбор производил сам Грун. Он обходил неподвижные ряды и по внешнему виду решал вопрос о пригодности заключенных для работы в Германии. Сам проверял номера и личные карточки у тех, кого он признал «годными». За полтора часа таким образом он решил судьбу двух с половиной тысяч человек. Гетт заставил провести вторичную проверку, зная, что никто из военнопленных, конечно, не хочет ехать в Германию. Девятого июля подготовка была закончена — 1250 советских военнопленных отправляли в Маутхаузен.

Следующий транспорт в 400 человек предполагалось отправить 21 июля. Но этого, к счастью, уже не случилось. 22-го числа Грун прибыл с опозданием, зато уехал намного раньше обычного, сказав, что вряд ли вернется. После обеда ушли из лагеря начальники кухни и его заместитель. По всему чувствовалось стремительное приближение Красной Армии. Уже слышались звуки канонады. Движение по Хелмскому шоссе шло только в одном направлении — на Запад. Среди оставшихся в лагере немцев началась настоящая паника. В час дня они подожгли крематорий, пытаясь скрыть следы преступлений. В шесть часов вечера загорелся продуктовый склад.

Было ясно, что лагерное начальство сбегало. Случилось так, что мои товарищи ждали от меня распоряжений. На мои плечи легла огромная ответственность: нужно сделать так, чтобы все остались в живых. Но отступавшие немцы еще могли принести нам много горя. А каждый теперь надеялся на освобождение. «Что, если не доживем до этого дня? Если угонят в Германию?»

Я приказал всем спрятаться в бараках, надеясь, что в панике фашисты решат, будто заключенных уже вывезли. Так оно и случилось. В конце дня к воротам подъехали два грузовика с эсэсовцами. Раздались гудки. Обычно этими сигналами они вызывали заключенных из бараков. Все внутри у меня похолодело. Как я боялся, что кто-нибудь не выдержит и по привычке выбежит к воротам! Но поле оставалось пустым. И эсэсовцы, то ли потому, что сами очень торопились удрать, то ли потому, что не

могли и мысли допустить о «непослушании», уехали.

Вечером 23 июля в Майданеке не осталось ни одного фашиста. На следующий день на шоссе показались советские танки. И мы заплакали. Плакали все. Не было сил, да и не нужно было сдерживаться — кончилось наше рабство.

Измученные, но счастливые узники чувствовали прилив сил, рвались в бой. Не было терпения ждать, когда закончится необходимое оформление, медицинское обследование, когда выдадут обмундирование. Хотелось скорее получить винтовку и направить ее против гитлеровцев.

...В первых числах августа 1944 года приступила к работе польско-советская объединенная чрезвычайная комиссия по расследованию немецких злодеяний в городе Люблине. Каждый из нас старался помочь комиссии. Я уже говорил, как немцы искусно скрывали свои преступления и заметали следы. В те дни и раскрылась техника отравления заключенных синильной кислотой и окисью углерода. Майданек выступил в своей чудовищной неприкрытости. Стало известно, что у него были «филиалы» — в Кремпетском лесу и в самом Люблине.

Кремпетский лес находился в восьми километрах от лагеря. В этом тихом, типичном для Польши лесу три года расстреливали советских и польских военнопленных, мирных граждан оккупированных стран Европы! С мертвых снимали обувь, вещи. Мужчин, женщин, стариков и детей запывали тут же в лесу. Или сжигали на гигантском костре. Большой крест поставили там в то время над братской могилой трехсот тысяч человек.

За высоким деревянным забором на улице Шопена в Люблине стояло большое недостроенное здание Дома католической пропаганды. Здесь помещался центральный склад гестапо. В огромном зрительном зале, там, где должен был находиться партер, мы увидели груды чемоданов, сундуков, саквояжей. Во всех фойе на многоэтажных стеллажах лежали джемпера, женские и детские платья, чулки, носки, перчатки, белье. На первом этаже на специально протянутых веревках висели пояса и галстуки. Где-то рядом хранилась посуда, очки. На широких полках грудями навалены куклы когда-то счастливых детей. Все эти вещи были награблены у людей, которых фашисты обещали переселить на время войны в новые районы, где они смогли бы продолжать заниматься своим делом.

Сколько раз ходил я по территории освобожденного Майданека. Я показывал его «достопримечательности» многим. Но и теперь помню, что самую острую реакцию, почти физическую боль вызывал склад обуви. В деревянном бараке не было никаких перегородок. Почти наполовину в высоту он был набит обувью. Чего только там не было! Туфли модельные и на деревянной подошве, кожаная и брезентовая, изящная и грубая, дорогая и дешевая обувь, валенки, красивые плетенки, теплые домашние тапочки, в каких ходят старики, и тысячи детских ботиночек, мягкие вязаные туфельки грудных... Я помню, какими становились лица у тех, кто попадал на этот склад. Не нужны были никакие слова, объяснения...

Я знаю, как труден этот разговор для Сурена Константиновича Барутчева, и все же задаю ему еще один вопрос:

— Известна ли вам судьба хотя бы некоторых фашистов, работавших в Майданеке?

— Помню, что 21 июля на запад погна-ли четырех капо второго поля — Гетта, Пиляра, Гальчинского и Кулешу. Последнему удалось бежать, а Грун так и не вернулся после обеда 22 июля. Что с ним стало, не знаю. В конце июля недалеко от Люблина в плен попали оберштурмфюрер Тернес — бывший ревизор Майданека — и разные другие фюреры: Фогель, заведовавший вещевым складом, Герштенмеер — бельевым складом, кладовщик Шоллен и бывший старшина первого поля Польман. Расследованием была установлена их виновность и непосредственное участие в уничтожении заключенных лагеря. Второго ноября по приговору специального суда их всенародно повесили в Люблине.

...Пройдут годы, столетия, многое забудется, но никогда человечество не должно прощать позора Майданека.

— Мне сегодня опять не уснуть, как в первые ночи после освобождения, — сказал мне Барутчев при прощании. — Вы заставили меня вернуться в прошлое.

До войны Сурен Константинович жил в Баку, работал главным врачом центральной больницы. В городе хорошо знали акушера-гинеколога — он принимал многих детей. После войны доктор снова сел за книги, написал диссертацию и блестяще защитил ее, продолжал лечить, работал в роддоме. В Кисловодске, куда он переехал много лет назад, опытным умным рукам врача обязаны жизнью многие матери и их дети. И я подумала, что, наверное, ради этого,

ради тысяч новых жизней Барутчев победил в себе бывшего узника, не замкнулся, не ушел в свои переживания. Сейчас Сурен Константинович на пенсии, не все благополучно у него со здоровьем (увы, концлагерь напоминает о себе), но он всегда спокоен и деловит. К нему часто приходят из больницы за советом.

Когда я приехала в Кисловодск, мне пришлось обращаться в адресный стол, чтобы найти Сурена Константиновича: я уви-

дела большую афишу: «Лекцию читает доцент, кандидат медицинских наук С. К. Барутчев».

Я спросила о нем девушку, стоявшую рядом со мной.

— У нас его все знают, — ответила она коротко.

Да, и здесь, в Кисловодске, все знают Сурена Константиновича, как и в Баку четверть века назад.

Кисловодск — Москва



 № 290
Д Ъ Л О
 О скариваности изъ Франца рядового 1-го
 линейнаго егерскаго батальона и др.
 Писемъ Венедикта Меллерова, офи-
 цера Кавалер. Т. Полицейскаго Кавалерійскаго
 Института, въ которыхъ описаны нѣкоторыя
 случаи умышленнаго — о поимкѣ Меллеро-
 ваго и приговорахъ въ Россійскомъ
 Правительствѣ.

**ОПИСАНІЕ ПРИМѢТЪ РЯДОВАГО ЛИНЕЙНАГО ОРЕНБУРСКАГО
 № 1 БАТАЛЬОНА ВИНЦИКТИ МИГУРСКАГО.**
 Въѣтъ 33.
 Росту 2 арш. 6 верш.
 Лицею блѣд.
 Волосамъ темнорусы.
 Глаза голубые.
 Носъ прямой.
 Кровь Русская, знаетъ языкъ: Французскій и Польскій.
 Исповѣданіи Римско-Католическаго.
 Варно: Управляющій Отдѣленіемъ *Мигурскаго*

mille Parisienne haboussée,
 Monsieur le General le General
 j'ai tant et tant plus
 que vous de me faire en commandant
 les soins de mes parents m'empêche
 au depart. —
 Monsieur le General j'ai l'honneur
 d'être votre très humble
 serviant
 Mlle Mignonne
 le 7 Janvier
 1809.



Honor et amour d'un
 commandant de cavalerie
 Mignonne
 Командиръ Кавалерійскаго Отдѣленія

Леонид Большаков

(Оренбург)

Дело Мигурских

Повесть в документах

СЛОВО ВНАЧАЛЕ

(вместо вступления)

1

Героиня этой истории — Альбина Мигурская.

Та, чьими слезами плакал и чьими надеждами жила, та, перед которой преклонялся великий Толстой.

Давно уже иду я по следам его корреспондентов, его героев, его эпохи...

И вот однажды попало мне на глаза в описи, а затем отыскалось на стеллаже спрессованное годами архивное дело «О скрывшемся из Уральска рядовом 1-го линейного Оренбургского батальона из поляков Винцентии Мигурском...»

«Единица хранения» столетней — точнее, почти столетидцатилетней — давности имела точный адрес прописки: Оренбургский архив, фонд 6-й, опись 5-я, номер 11604-й.

О, эти архивы! Сколько неожиданного и самого удивительного подстерегает нас в бесконечных их лабиринтах! Сколько немисслемых, поистине изумительных судеб заключено в бесчисленных старых связках, переживших поколения!

Порой они, эти связки, увлекательнее захватывающих романов. Читаешь — и не остановишься: дальше... дальше...

Оторвешься от пожелтевших листов, от блеклых, едва различимых чернил — и хочется крикнуть: «Сюда... ко мне... здесь такое!.. такое!..»

Но в архивных залах не кричат — не принято. Каждый занят своим. Каждый открывает другое.

2

Я открыл лишь неизвестное, не прочитанное дотоле дело.

Что касается имен и судеб людей, которым все эти документы посвящались, то они были известны со времен давних. Известны и мне и другим.

Прежде всего по рассказу Льва Толстого, Толстому, когда он задумывал и писал свой рассказ «За что?», было уже под восемьдесят. Талант же — могучий талант несравненного художника — оставался по-прежнему молодым, по-прежнему щедрым.

Прежней оставалась и его взыскательность. Над небольшим, в два десятка страниц, рассказом Толстой думал не один месяц. Увлеченный подвигом Альбины Мигурской, он перечитал гору книг о борьбе свободолюбивых поляков. Многие строки, абзацы, главы имеют несчетное количество вариантов. Произведение переделывалось по меньшей мере раз пятнадцать.

И все это время под пером гения рос, поднимался, набирал красок и сил образ светлый и честный, трагический и жизнеутверждающий.

Образ, который можно смело поставить в ряд с Наташей Ростовской, Катюшей Масловой, Анной Карениной.

3

Неблагодарная задача — писать о героях Толстого после Толстого.

И если я за свой труд взялся, то вовсе не для того, чтобы той Альбине — из знаменитого рассказа — противопоставить свою: Альбину двадцатого века.

Пусть, подумал я, о подвиге этой женщины поведаст сама История — ее современница. Пусть раскроется перед всеми подлинное архивное дело и с шершавых, задубелых его страниц к нам шагнет, с нами заговорит еще неизвестная Толстому и вообще никому на свете не ведомая, но уже идущая в свое бессмертие Альбина Мигурская. И не будет в повествовании ничего или почти ничего, кроме подлинных документов эпохи, — ни единой сочиненной строчки, разве только самого необходимого комментария (там, где без этого просто невозможно). И ни «улучшать», ни «заострять» сюжет, достаточно крутой «от природы». Разве что уточнить композицию, убрать повторения да еще для удобства чтения расставить заголовки...

К этому я и приступаю.

...Откроем архивное дело.

Повесть начинается.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
содержащая переписку одного дня
и кое-какие сведения о рядовом Мигурском

1

*Записка первая, посланная 16 ноября
1839 года в корпусное дежурство*

Канцелярия г. Оренбургского военного губернатора покорнейше просит корпусное дежурство доставить в оную сколь можно поспешнее формулярный список рядового, из польских мятежников, линейного Оренбургского батальона № 1 Винцентия Мигурского, для доклада Его превосходительству Василию Алексевичу.

*Листьмо ответное, с пометкой:
«О самонужнейшем», отправленное без
промедления, в тот же день*

Штаб Отдельного Оренбургского корпуса на записку канцелярии, сего числа за № 447 полученную, имеет честь уведомить, что дело о рядовом Винцентии Мигурском находилось у господина начальника штаба, который при докладе записки отозваться изволил, что дело о рядовом Мигурском представлено им Его превосходительству Василию Алексевичу, из которого можно выяснить, за что он отдан в службу и когда именно. Отдельного же формулярного списка на него при деле штаба не имеется.

Ответ на ответ, тоже от 16 ноября

Канцелярия.. снова покорнейше просит о доставлении формулярного списка о рядовом Винцентии Мигурском, присовокупляя, что тех сведений, какие об нем нужны, нет в деле, представленном Его превосходительству Василию Алексевичу, но они заключаются в формуляре.

Еще одна записка с той же датой

Штаб Отдельного Оренбургского корпуса.. имеет честь повторить уведомление, что формулярного списка о рядовом Винцентии Мигурском при делах штаба не имеется, а согласно приказанию господина начальника штаба список истребуется от командующего 22 пехотною дивизиею и по получении тот же час будет представлен..

И наконец, несколько часов спустя

Дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Оренбургского корпуса.. имеет честь препро-

водить при сем полученный от командующего дивизиею формулярный о рядовом Винцентии Мигурском список, прося покорнейше по миновании надобности обратить оный в корпусной штаб..

2

*«Мигурский... Кто он?» Вопросы и ответы
формулярного списка*

Имя, отчество, прозвание, какого вероисповедания?

— Рядовой Винцентий Валенхович Мигурский, римско-католического вероисповедания. Сколько от роду лет?

— 33.

Мерою?

— 2 аршина 6 вершков.

Какие имеет приметы?

— Лицом бел, волосом темно-рус, глаза голубые, нос средний.

Из какого состояния поступил в службу?

— Из дворян Царства Польского.

Время вступления в службу?

— 1836, февраль, 16-го.

Во время службы своей в походах и делах против неприятеля где и когда находился?

— Не бывал.

Российской грамоте читать и писать умеет ли?

— По-польски и французски читать и писать умеет.

В домовых отпусках бывал ли? Когда, на какое время и явился ли в срок?

— Не бывал.

В штрафах по суду или без суда не был ли? За что именно и когда?

— Был сужден за принадлежность к злоумышленным обществам и покушение на жизнь свою, за что по резолюции Его светлости главнокомандующего Действующею армиею отдан в солдаты.

Холост или женат, имеет ли детей, кого именно, каких лет и какого вероисповедания?

— У него жена Альбина Висневская, римско-католического вероисповедания, живет при нем; детей нет.

Состоит в комплекте или сверх комплекта при батальоне, или в отлучке?

— Состоит в комплекте при батальоне налицо.

Какого поведения?

— (Такую черту — если ставят ее посредине — именуют прочерком. «Какого поведения?» Вопрос повис в воздухе. В ответ — осторожное молчание. Прочерк..)

Под формулярным списком подпись: командующий дивизией генерал-майор... — и мудренейший начальственный завиток.

А дата... дата все та же: ноября, 16 дня, 1839 года.

...День этот перепиской был богат!

ГЛАВА ВТОРАЯ, вводящая нас в суть дела

В. А. Перовский — А. Х. Бенкендорфу

Милостивый государь

граф Александр Христофорович!

Задержанный при проследовании г. Радома на возвратном пути в Галицию из Сандомира мятежнический польский эмиссар Винцентий Мигурский, согласно подтверждения господина главнокомандующего Действующею армиею определенный в 1836-м году в 1-й линейный Оренбургский батальон, расположенный в городе Уральске, 9-го сего ноября неизвестно куда скрылся, объяснив в оставленном им на имя исправляющего должность наказного атамана Уральского войска письме, что он решился утопиться; но как сделанные разыскания не подтверждают этого самоубийства, то и рождается подозрение, что он бежал.

В Уральске осталась после него беременная жена, о которой он в том же письме просил полковника Кожевникова отправить ее скорее, чтоб до наступления родов могла приехать домой.

С женою своею Мигурский жил согласно, вел себя вообще хорошо и по учрежденному над ним тайному надзору ни в чем неблагонамеренно не замечен.

Сделав надлежащее распоряжение по отысканию Мигурского в здешней и соседних губерниях на случай, если бы он в самом деле не утопился, а бежал, и до удостоверения в действительности его самоубийства приказав задержать в Уральске жену Мигурского, я имею честь довести об этом до сведения Вашего сиятельства с тем, что не изволите ли Вы, милостивый государь, признать нужным сделать распоряжение по наблюдению и в других местах Империи и Царства Польского, не окажется ли где-либо Мигурский, который, если действительно бежал, то будет стараться всемерно пробраться за границу, где он и прежде находился, будучи самым деятельным членом польских злоумышленных обществ.

Описание примет Мигурского при сем прилагаю.

С отличным почтением и совершенною преданностию...

Граф В. А. Перовский

(Черновик, подшитый к делу вместо оригинала или копии, где-то на полях помечен семнадцатым.

17-м ноября 1839 года...

Автор письма — тот же самый Василий Алексеевич, который не раз упоминался в переписке дня предыдущего. Василий Алексеевич Перовский — властный правитель и... попечитель искусств, борец против инакомыслящих и... добрый знакомый Пушкина.

Адресат — тот самый тоже: главный начальник III отделения, печально известный шеф жандармов, палач героев-декабристов и злой недруг Пушкина.

Но комментарий, пожалуй, достаточно?

Тогда — дальше. Семнадцатое пока не закончилось...)

2

Несколько выписок из рапорта военному министру

О прошлом: «Мигурский этот, как видно из сведений, сообщенных мне покойным генерал-адъютантом Панкратовым, по произведенному в Варшаве особою следственною комиссиею делу оказался одним из самых деятельных членов злоумышленных обществ, собравшихся за границею из польских выходцев. Но сначала на допросах утверждал, что он австрийский подданный Антон Висневский; будучи же принужден сознаться в истине, принял имевшийся при нем яд для сокрытия действий тайных обществ, а когда яд не подействовал, то нанес себе перочинным ножом шесть ран в брюхо и грудь».

О том, что было дальше: «По доставлении Мигурского сюда он был определен в 1-й линейный батальон, расположенный в г. Уральске, куда чрез некоторое время прибыла к нему из Галиции помолвленная с ним во время своего там пребывания невеста, австрийская подданная Альбина Висневская, на которой он и женился. Со времени определения своего Мигурский вел себя хорошо... Сам он и жена его обращались по начальству с просьбами... о смягчении участи, но просьбы их не могли быть удовлетворены».

После исчезновения: «По содержанию самого письма... рождается сомнение, чтобы Мигурский в самом деле лишил себя жизни, тем более что впоследствии не открылось ничего, что бы могло подтвердить

Циркулярно-
Секретно.

МИНИСТЕРСТВО Господину Гражданскому Губернатору.

ВНУТРЕННИХЪ

ДѢЛЪ.

ДЕПАРТАМЕНТЪ

Полиціи

Исполнительной.

Отдѣленіе II.

Столъ 3.

9 Декабря 1839.

№ 388.

Объ отысканіи мятеж-
ника Мигурскаго.

Задержанный въ 1835 г. Польскій мятежникъ Винцентій Мигурскій и опредѣленный въ 1836 году, по конфирмаціи Главнокомандующаго дѣйствующею Арміею, рядовымъ въ Оренбургскій Линейный № 1 баталіонъ, 9 минушаго Ноября скрылся изъ Уральска, оставивъ письмо на имя Исправляющаго должность Наказнаго Атамана Уральскаго Казачьяго Войска, Полковника Кожевникова, въ коемъ, объясняя о намѣреніи своемъ утопиться, просилъ покровительства женѣ своей, отправленіемъ ея къ роднымъ; но Командиръ Оренбургскаго Корпуса, сомнѣваясь, по сдѣланнымъ развѣданіямъ, въ дѣйствительности самоубійства Мигурскаго, распорядился объ отысканіи его въ Оренбургской и сосѣднихъ Губерніяхъ и о задержаніи до времени жены его въ Уральскѣ.

Генералъ-Адъютантъ Графъ Бенкендорфъ, по полученіи о семъ увѣдомленія, проситъ меня, въ исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнія, сдѣлать распоряженіе къ общему по Имперіи наблюденію, не окажется ли гдѣ либо Мигурскій, который, если дѣйствительно бѣжалъ, будетъ стараться пройти за границу, гдѣ онъ и прежде находился въ числѣ дѣятельныхъ членовъ Польскихъ злоумышленныхъ обществъ.

Сообщая Вашему Превосходительству о семъ отношеніи Графа Александра Христофоровича, для зависящаго, согласно оному, по вѣренной Вамъ Губерніи распоряженія и препровождая вмѣстѣ съ тѣмъ описаніе прихвѣтъ Мигурскаго, я прошу Васъ донести мнѣ о послѣдующемъ.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,
Генералъ-Адъютантъ Графъ Строгоновъ.

Върно: Управляющій Отдѣленіемъ 

действительность самоубийства, но, вероятно, бежал с намерением пробраться каким-нибудь путем за границу и там соединиться с женою».

И вот сейчас начальник края:

1) «Счел нужным... учредить над Мигурскую строжайший тайный надзор и не дозволить ей отъезда из Уральска впредь до особого разрешения, полагая, что эта мера, если действительно Мигурский жив, может доставить случай иметь какие-нибудь об нем сведения или и самого его вынудить явиться из привязанности к жене»; 2) «о разыскании его в здешнем крае... сделал надлежащее распоряжение»; 3) «сообщил о том же, с описанием примет Мигурского, начальникам соседних губерний...».

3

«Всем, всем, всем...»

...Прилагая при сем описание примет рядового Мигурского, покорнейше прошу Вас... не оставить распоряжением к наблюдению, не окажется ли он где-либо во вверенной Вам губернии, с тем, что если он будет пойман, то доставить его под надежную стражу в Оренбург...»

(Адреса уведомлений: Астрахань, Саратов, Симбирск, Казань, Пермь, Вятка и т. д.)

Для облегчения поисков:

«...Одежда, в которой он скрылся, состояла из форменной, солдатской, серого сукна, шинели и белой фуражной шапки».

«...Еще приметы Мигурского: косоват, особенно когда смотрит в правую сторону».

Отвечают губернаторы

Из Симбирска: «...об отыскании Винцентия Мигурского предписал я градским и земским полициям и предложил губернскому правлению пропечатать о сем в Губернских ведомостях».

Из Омска: «получено... к исполнению...»

Из Перми: «всем по губернии...»

Из Вятки: «если будет пойман...»

И новое предписание — «циркулярно»

...Генерал-адъютант граф Бенкендорф... просит меня, в исполнение *высочайшего Его императорского величества повеления*, сделать распоряжение к общему по Империи наблюдению, не окажется ли где-либо Мигурский...

...Прошу Вас донести мне о последующем. Управляющий Министерством внутренних дел генерал-адъютант граф Строганов.

Шел декабрь.

Год подходил к концу.

Мигурского искали по всей Российской империи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, и на передний план выступает Альбина Мигурская

1

Ее первое письмо — начальнику штаба корпуса Рокоссовскому

...Господин генерал!

Вот уже почти три года, как я по разрешению господина губернатора приехала из Австрийской Галиции в Россию...

Сейчас, после смерти моего мужа, мне ничего не остается, как вернуться в лоно моей семьи, и поэтому я имею честь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой о выдаче пропуска для меня и моей служанки Парасковии Закжевской.

Окажите мне, господин генерал, эту милость еще и потому, что состояние моего здоровья, требующее ухода со стороны моей семьи, заставляет меня спешить с отъездом.

...Имею честь быть Вашей покорной слугой
Альбина Мигурская.

7 декабря 1839. Уральск.

Вокруг письма Мигурской

Рокоссовский — полковнику
Кожевникову

На доставленное ко мне Вашим высокоблагородием письмо жены служившего в 1-м Оренбургском линейном батальоне рядовым Винцентия Мигурского... прошу Вас, милостивый государь, объявить просительнице, что распоряжение об этом последует немедленно по получении от г. военного министра разрешения...

15 декабря 1839. Оренбург.

Из военного министерства

Государь император по всеподданнейшему докладу... высочайше утвердить соизволил принятые генерал-адъютантом Перовским меры, как в отношении отыскания Мигурского, так и задержания в Уральске жены его, впредь до удостоверения в действительности самоубийства его...

...До удостоверения!..

2

Из Симбирска, Перми, Вятки

...Имею честь уведомить, что бежавшего из 1-го линейного Оренбургского батальона мятежника Мигурского по розыску в Симбирской губернии не оказалось.

Вице-губернатор (подпись).

...Из доставленных ныне сведений видно, что рядового Мигурского ни на жительстве в вверенной мне Пермской губернии, ни проездом чрез оную не оказалось и не было.

Гражданский губернатор (подпись).

...К отысканию... польского эмиссара Винцентия Мигурского были сделаны должные распоряжения, но его, как донесли градские и земские полиции, нигде не оказалось в Вятской губернии.

Вице-губернатор (подпись).

...Не было... не оказалось... нет...
А месяцы шли. Минуло еще три... четыре... пять месяцев.

Мигурский исчез бесследно.

3

Второе письмо Мигурской — губернатору Перовскому

Господин генерал!

Во время отсутствия Вашего превосходительства я имела честь написать господину генералу Рокоссовскому о выдаче пропуска, но он мне в этом отказал.

Около пяти месяцев тщетно ждала я разрешения из Петербурга. Теперь, будучи убежденной, что это в Вашей власти, обращаюсь к Вашему превосходительству и прошу Вас о разрешении на выезд, по крайней мере в Каменец-Подольск. Если хотите, то можете приказать отправить меня туда под стражей, с тем, чтобы решения господина военного министра я ждала там.

Не откажите мне, господин генерал, в этой последней просьбе, я прошу Вас об этом ради Бога.

Иностранка, сирота, покинутая всеми, больная в течение пяти месяцев, я истратила все деньги на лекарства и на жизнь и пребываю без всяких средств к существованию.

Господин генерал, позвольте сказать Вам еще, что, как матери, мне необходимо беречь мою жизнь, и господин доктор Адоратский может быть самым лучшим свидетелем того, что в таком ужасном положении мое здоровье слабеет все больше и больше.

Опасения, что моя дочь, которая родилась

три недели тому назад, может погибнуть в Уральске от весеннего нездорового климата так же, как наша первая, вынуждают меня обратиться и к Вашему отцовскому чувству, которое тоже всем известно.

Молю Вас разрешить мне выезд для избавления от мук, которые, вероятно, еще ждут меня в России.

Не откажите, Ваше превосходительство, объявить мне Вашу волю, и я с глубоким уважением остаюсь Вашей покорной служанкой.

Мигурская.

20 марта 1840. Уральск.

(На письме — отметка канцеляриста: «Получено 29 апреля».)

Где оно находилось месяц с лишним, точнее — 39 дней?

Ответа на такой вопрос нам не получить уже никогда.)

Оренбург соглашается: «Выезд возможен».

39 дней раздумий не прошли зря.

30 апреля из Оренбурга ушло письмо начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса. И не просто письмо — *официальный рапорт*: в Петербург, военному министру:

«...Жена без вести пропавшего рядового Оренбургского линейного 1-го батальона Мигурского, задержанная в Уральске на основании высочайше утвержденного распоряжения г. корпусного командира, ходатайствует о дозволении ей отправиться к родственникам своим в Каменец-Подольскую губернию и об оказании ей денежного пособия на проезд туда из Уральска.

Принимая в соображение, что Мигурская по высочайшему повелению, объявленному мне в предписании Вашего сиятельства от 30 ноября 1839 года за № 861 задержана в Уральске до удостоверения в действительности самоубийства мужа ее, что донные все разыскания о нем не подтвердили предположения о побеге его, что жена Мигурского равномерно может быть задержана под полицейским надзором и в Каменец-Подольской губернии, но где только от нее поведением родственников устранятся нужды и крайне стесненное положение, в котором она ныне находится, живучи в Уральске, и что, наконец, г. корпусной командир со своей стороны к удовлетворению просьбы ее не усматривает препятствий, я имею честь представить об этом на благоуважение Вашего сиятельства и осмеливаюсь покорнейше просить разрешения на дозволение Мигурской отправиться в Каменец-Подольскую губернию и об оказании ей денежного пособия,

по свисхождению к тому, что без последнего она по бедности и слабости здоровья не была бы в состоянии воспользоваться и первым.

Подписал: генерал-майор Рокоссовский.

Подозрения, выходит, исчезли?

Действительно, от 9 ноября до 30 апреля — срок весьма внушительный: без малого полгода...

Но категоричность тут опасна, и в рапорте ее нет. Начальник корпусного штаба докладывает, по сути дела, лишь о том, что предположения о побеге «доньне» не подтвердились.

Доньне!

...И все же поиск пошел на убыль... затих...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, заканчивающаяся долгожданной вестью

1

Альбина Мигурская: письмо третье

Господин генерал!

Месяц тому назад я имела честь писать Вашему превосходительству через господина полковника Кожевникова, испрашивая для себя разрешения уехать, по крайней мере, в Каменец-Подольск, где я могла бы ждать решения из Петербурга.

Не получив никакого ответа, я осмелилась еще раз обратиться к Вашему превосходительству по этому же поводу.

Господин генерал! То, что я предвидела в моем предыдущем письме, к несчастью, случилось: моего ребенка больше нет в живых. Мне ничего теперь не остается, как спокойно умереть на моей родине. Вот потому я и прошу Вас не отказать мне в разрешении уехать. В случае отказа прошу сообщить мне о Вашей воле, чтобы я, будучи очень больной, могла позвать кого-нибудь из моих близких для ухода за мною в течение болезни.

Тысяча извинений, господин генерал, если я Вас утомляю. Мои несчастья и мое печальное положение оправдывают меня перед Вами.

Господин генерал, остаюсь с глубоким уважением Вашей покорной служанкой.

Мигурская.

2 мая 1840. Уральск.

Резолюция: «объявить г-же Мигурской, что о дозволении ей ехать в Каменец-Подольск испрашивается разрешение от господина военного министра».

...Снова ждать? Доколе!?

2

Австрийскому послу графу Фикельмону

Сиятельнейший граф!

...(Граф Шарль-Луи Фикельмон в течение одиннадцати лет занимал пост австрийского посла в России. В доме посла часто бывал Пушкин. Жена Фикельмона, Дарья Федоровна, вошла в биографию великого поэта как одна из близких его знакомых. В 1840 году граф был отозван из Петербурга и выехал из столицы в июле. Таким образом, письмо Мигурской было получено им перед самым отъездом... Впрочем, эта справка не столь уж и обязательна. Прочтем письмо дальше.)

Винцентий Мигурский, уроженец Царства Польского, возвратившись из Франции эмигрантом, обручен был со мною в Австрийской Галиции, откуда отправился он в Царство Польское для свидания со своими родными и там был задержан. Его разжаловали в рядовые с назначением в 1-й батальон, квартирующий в Оренбургской губернии, в городе Уральске.

Верная своему обещанию, я отправилась из собственной моей деревни Паневцы Зеленые, находящейся в Галиции, в Чертковском округе, с паспортом, выданным мне в 1837 году г. Лембергским губернатором Кригом, с намерением соединиться с моим женихом... И в самом деле я обвенчалась с ним в Уральске.

Увы! В весьма скором после брака времени бедственное положение мужа моего сделалось для нас опутительным. Мы употребили все усилия для облегчения нашей горестной участи. Я просила губернатора Перовского об оказании нам защиты — он обещал, и тем кончилось. Впоследствии умоляла я Ее императорское величество исходатайствовать нам позволение возвратиться на родину или по крайней мере избрать место жительства. Мои и мужа моего родные утруждали Его императорское величество по сему же предмету. Но все оказалось тщетным.

Так протекали три года. Бедствие наше достигло высшей степени. Будущее не предвещало нам ничего отрадного, ибо даже приговор был тайно для моего мужа.

Здоровье мое расстраивалось, и, видя это, муж мой долго с собою боролся, пока, наконец, сделался жертвою своих терзаний. 9(21) ноября 1839 года вечером, сказав мне, что пойдет к полковнику, он ушел и уже больше не возвратился. На другой день я нашла его письмо ко мне, в котором он изъяснял, что для моего собственного счастья и для счастья покоившегося под моим серд-

дем младенца он бросился в волны Урала; дальше он писал, что причины, побудившие его посягнуть на жизнь свою, подробно изложил в письме к Уральскому атаману полковнику Кожевникову, покровительству которого меня и препоручил. На следствии оказалось, что муж мой в одиннадцать часов вечера лично подал письмо в атаманскую канцелярию.

В три часа ночи, томясь беспокойствием, я послала за ним в дом батальонного командира, и с тех пор начались разыскания.

Считаю нужным сказать, что Урал в то время покрыт был льдом и в скором времени должна была начаться рыбная ловля, называемая багрением. Местное начальство, боясь перепугать рыбу, вело поиск едва-едва на протяжении двух верст и, не найдя утопленника, заключило, что он убежал.

Представляю на рассмотрение Вашего сиятельства вопрос: согласен ли со здравым смыслом, чтобы человек, решившийся бежать, предварял о том начальство, или чтобы жена его, через два часа после побега, просила о проведении розыска, тогда как, живя в городе на квартире, побег этот легко можно было бы скрывать от начальства несколько дней.

С тех пор минуло шесть месяцев. Несколько оправившись от тяжелого недуга, я много раз просила губернские власти о позволении мне возвратиться на родину. Давно уже я решилась просить защиты у Вашего сиятельства, но все меня удерживали обещаниями — по-видимому напрасными. Начальство, не объявив мне, почему я арестована, не дает мне средств к пропитанию, а между тем задерживает меня и не выдает мне паспорта.

Потеряв мужа и двоих детей, я пахожусь в самом жалком положении, в нужде и без защиты на чужбине. Поэтому обращаюсь к Вашему сиятельству, как защитнику австрийских подданных, пребывающих в России, с покорнейшею просьбою об исходатайствовании паспорта мне и крепостной моей девушке Парасковии Закжевской.

Сиятельнейший граф! Не откажите поспешить высылкою паспорта, ибо он мне крайне нужен, — семейные дела требуют моего присутствия.

Извините, Ваше сиятельство, что при Ваших важных занятиях я осмелилась утруждать Вас моею просьбою.

Имею честь быть и пр.

Альбина Мигурская,
урожденная Висневская.

8/20 мая 1840 года.
Уральск.

3

Через несколько дней — снова губернатору

Ваше превосходительство господин губернатор!

С прискорбием получила я известие, что в просьбе моей, о дозволении мне выехать в Каменец-Подольск, отказано и я должна ожидать разрешения г. военного министра.

Только несколько дней тому назад я узнала, что начальство, не отыскав следов утопления моего мужа, подозревает его в побеге, а я чрез это терплю более шести месяцев разные недостатки. Я не знаю, какое донесение об этом происшествии сделано Вашему превосходительству здешним начальством, но почти целому городу известно, что муж мой в тот день, в 11 часу вечера, отдал в канцелярию здешнего атамана письмо, а я, будучи беспокойна в связи с долгим его невозвращением (от полковника Аничкова, как он мне говорил), первая послала мою служанку в дом г. полковника Аничкова во 2-м часу ночи для отыскания моего мужа, и с этого времени начался розыск о нем с величайшею (как я слышала) осторожностью для того, чтобы не помешать предстоящему багрению для презента.

Представляю на суд Вашему превосходительству, можно ли допустить, чтобы человек, намеревающийся бежать, сам осведомлял начальство о своем побеге, в то время, когда он, живя на наемной квартире и не имея по целым месяцам никакого сношения с казармами, мог бы долго, с моей помощью, скрывать свое отсутствие.

Уведомляя об этом Вас, милостивый государь, наипокорнейше прошу: если донесение Вам сделано не так, как я описала, и это служит препятствием для выдачи мне паспорта на проезд, прикажите произвести следствие еще раз.

После этого несчастного происшествия я имела достаточные средства для проезда домой. Но в продолжение шести месяцев беспрепятственные издержки, по несколько рублей в день на содержание жизни, топливо в продолжение зимы, наем квартиры и тому подобные расходы, совершенно истощили мои запасы. К тому же затрудненное сообщение с родными, требующее нескольких месяцев, и срочное доставление мне денег из моего имения около Нового года лишают меня надежды на скорую помощь из дому и возможность дальнейшего существования на месте. А потому наипокорнейше прошу Ваше превосходительство, если распорядитесь о моем

задержании уже не может быть отменено, не отказать мне в денежном пособии.

Зная доброту и сострадательность Вашу, надеюсь, что несчастная и покинутая чужеземка найдет покровительство в особе Вашей.

С высоким уважением имею честь быть Вашею покорнейшею слугою.

Альбина Мигурская.

16/28 мая 1840 года.

Уральск.

4

В. А. Перовскому — от графа Нессельроде
...Граф Фикельмон ходатайствует о удовлетворении просьбы означенной Мигурской. Вследствие чего покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить меня о распоряжении, какое угодно будет Вам приказывать сделать по домогательству австрийского посла...

5

И вот наконец

Господину командиру Отдельного Оренбургского корпуса

Содержание рапорта начальника штаба вверенного Вашему превосходительству корпуса от 30-го минувшего апреля за № 53-м, по просьбе жены рядового Оренбургского линейного № 1 батальона Мигурского о дозволении ей возвратиться к родственникам, я доводил до высочайшего Государя Императора сведения.

Его величество, усматривая из всеподданнейшего доклада моего, что произведенные разыскания о Мигурском не подтвердили предположения о побеге его, и что Ваше превосходительство не находит препятствия к удовлетворению этой просьбы, всемилостивейше дозволяет отправить Мигурскую в Каменец-Подольск, выдав ей на проезд прогоны и подвергнув ее там полицейскому надзору.

Монаршую волю сию сообщив шефу жандармов и управляющему министерством внутренних дел, честь имею объявить и Вам, милостивый государь, к исполнению.

Военный министр
генерал-адъютант граф Чернышев.

Предписание военного министра помечено 24 мая. Прибыло оно в Оренбург две недели спустя — 8 июня.

Заканчивался седьмой месяц жизни Мигурской после исчезновения ее Винцентия.

Дни невзгоды подоходили к концу.

Теперь она могла оставить Уральск — выехать в места родные.

ГЛАВА ПЯТАЯ, предшествующая событиям наиважнейшим

В места родные...

Однако прежде туда отправилась секретная депеша. Начальник штаба Оренбургского корпуса снесил предупредить Каменец-Подольск:

«Польский мятежнический эмиссар Винцентий Мигурский, определенный в 1836 году по конфирмации г. главнокомандующего Действующею армию рядовым в Оренбургский линейный № 1 батальон, расположенный в г. Уральске, 9 ноября 1839 года скрылся из Уральска, оставив на имя исправляющего должность наказного атамана Уральского казачьего войска полковника Коженикова письмо, в котором, объясняя о намерении своем утопиться, просил покровительства жене своей и отправления ее к родным...»

(Привожу это послание и как итог раздумий-действий властей в течение восьми с лишним месяцев, и как необходимый мост к событиям последующим; тут, надо полагать, повторение просто неизбежно.)

«...Но как сделанные тогда разыскания не подтверждали этого самоубийства, то, на основании высочайше утвержденного распоряжения г. корпусного командира, жена Мигурского Альбина задержана была в Уральске впредь до удостоверения в действительности самоубийства мужа ее, об отыскании коего тогда же по высочайшему повелению сделано было особое распоряжение».

(Сколько за ними, эпически спокойными, совершенно бесстрастными словами мук и горя этой самой «жены Мигурского!»)

«...Так как задержанная в Уральске жена Мигурского неоднократно обращалась с просьбами о дозволении ей отправиться к родственникам своим в Каменец-Подольскую губернию и об оказании ей по бедному состоянию денежного пособия на проезд (сведений же, которые подтверждали бы предположение о побеге Мигурского, доселе не получено), то я представлял об этом на благоусмотрение г. военного министра, который от 24 минувшего мая за № 303 уведомил г. корпусного командира, что по всеподданнейшему докладу Государю Императору представления моего Его величество всемилостивейше дозволил отправить Мигурскую в Каменец-Подольск, выдав ей на проезд прогоны и подвергнув ее там полицейскому надзору».

И наконец, самое главное:

«В исполнение таковой высочайшей воли предписав исправляющему должность наказного атамана Уральского казачьего войска отправить Мигурскую в Каменец-Подольск в сопровождении благонадежного урядника или казака, с выдачею подорожной и прогонов в передний путь на три, а обратно, посланному, на две лошади, я за отсутствием г. корпусного командира имею честь уведомить об этом Ваше превосходительство, покорнейше прося Вас, милостивый государь, по доставлении Мигурской в Каменец-Подольск не оставить зависящим распоряжением о принятии ее под полицейский надзор и возвращении в Уральск посланного с выдачею ему надлежащей квитанции...»

Власти оренбургские передавали эстафету каменец-подольским.

А вот и о самом отъезде — рапорт полковника Кожевникова, наказного атамана:

«...Жена рядового Мигурского отправлена в Каменец-Подольск 13-го числа при уряднике Еремине, которому выдано на прогоны: туда на три, а обратно на две лошади — двести десять рублей семьдесят пять коп. серебром и кормовых уряднику пять руб. семьдесят одна коп. и три седьмых серебром...»

13 июня 1840 года начался путь Альбины Мигурской на запад.

Долгожданный путь из неволи...

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой появляется Мигурский, но никаких подробностей еще нет

Господину командующему Отдельным Оренбургским корпусом

Исправляющего должность наказного атамана Уральского войска полковника Кожевникова

РАПОРТ

Урядник Еремин, который был послан для препровождения жены рядового Мигурского, поймал мужа ее, скрывавшегося у ней в экипаже, под ногами, не доезжая до города Петровска версты три, и представил его тамошнему городничему; оттуда же возвращен в Саратов, а после господином военным губернатором отправлен в Уральск с представляемым при сем к Вашему превосходительству конвертом.

Урядник Еремин отправлен с сим донесением для доставления подробнейших сведений о поимке рядового Мигурского.

Полковник Кожевников.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, открывающая первые подробности

1

Саратовский губернатор — министру внутренних дел

Городничий города Петровска Саратовской губернии препроводил ко мне, под надзором квартального надзирателя, задержанного в г. Петровске по подозрению, одетого в женское платье, неизвестного мужчину, ехавшего на почтовых из Уральска в экипаже жены рядового Мигурского, которая препровождалась Уральского казачьего войска урядником Ереминым...

Задержание неизвестного и снятые допросы: с него, Мигурской, служанки, казака и ямщика — открыли следующее:

Не доезжая трех верст до г. Петровска, казак Еремин, сидя на козлах с ямщиком, услышал разговаривающих в закрытом тарантасе, хотя негромко, но ему казалось, слышит голос мужской; на это казак обратил внимание ямщика и когда сей последний подтвердил, что и ему послышался голос мужской, то казак отстегнул фартук тарантаса и увидел голого мужчину, сидевшего у ног Мигурской под ее платьем, — такому мужчине приказывал казак выйти и спросил: кто он таков? — но мужчина вместо ответа просил казака молчать, обещая дать ему денег до 6 т. рублей и даже более; как казак на это предложение не согласился, то мужчина ухватил было казака за бороду и воротник и намеревался, выскоча из повозки, бежать, но подбегавшие крестьяне помогли казаку усадить неизвестного в тарантас и проводили всех их до г. Петровска; здесь казак представил конвоируемых им арестантов городничему и объявил вышеизъясненное.

По розысканиям городничего, обще с уездным стряпчим, и по снятым допросам: с неизвестного, Мигурской, служанки, казака и ямщика — оказалось следующее:

1. Неизвестный мужчина есть Винцентий Мигурский, рядовой 1 Оренбургского батальона, действительно эмигрант польских мятежников, тот самый, который поименован в циркулярных Вашего сиятельства предписаниях №№ 388 и 470, от 9 и 21 декабря прошлого 1839 года.

2. Мигурский сознался, что 9 ноября прошлого 1839 года действительно оставил он в канцелярии войска Уральского письмо на имя полковника Кожевникова и, будучи терзаем стеснительным положением своим и жены, точно рещался тогда броситься в реку

и утопиться, но, идя к Уралу, пожелал в последний раз видеть жену свою и для того возвратился на квартиру, что в самую эту минуту возродилась мысль бежать с женою, полагая, что его считать будут утопшим; зная, что неминуемо о нем последует розыск, он, скрытно пробравшись в чулан квартиры его, пробыл в нем следующие ночь и день; с наступлением же другой ночи вошел в комнаты и уговорил жену свою к побегу, с тем, чтобы она наперед испросила у начальства дозволения отправиться на родину; что по письмам жены его к гг. Кожевникову, Оренбургскому военному губернатору и Его сиятельству графу Бенкендорфу началась переписка и продолжалась более семи месяцев, и до получения 13 числа сего месяца разрешения он скрывался в комнатах своих так, что кроме жены его и ее служанки никем не был видим; что 14-го сего месяца рано поутру, по уложении всего имущества в тарантас, он, никем не замеченный, забрался под козлы и прикрылся фартуком; потом приведены были почтовые лошади, и он с женою, служанкою и конвоировавшим их казаком отправились в путь, доехали до г. Петровска, где и были задержаны. Мигурский присовокупил, что проехали они более шестисот верст в продолжении четырех суток; никто его не заметил потому, что тарантас всегда был закрыт; под городом же Петровском усмотрел он, что доска от козел начала ломаться; опасаясь вреда, он во время сильного дождя начал советовать о починке козел с женою, в это время урядник услышал голос его, поднял фаргук и открыл его в тарантасе.

3. Показание Мигурского подтвердили жена его и служанка.

Цель побега, по показанию Мигурского, была та, чтобы, отвезя жену свою в Галицию на родину, — самому отправиться в С. Петербург, явиться Его императорскому величеству и открыть важную тайну, содержание коей он здесь никому не объявит.

При Мигурских найдено несколько писем на французском и польском диалектах, которые еще не рассмотрены.

Сверх того, оказалось при них два заклеенных ящика, в которых, по показанию Мигурских, находились тела двух умерших в Уральске младенцев — детей их; по осмотре ящиков тела преданы земле по обряду римско-католической церкви.

По доставлении ко мне вчерашний день Мигурского, я призвал его в особую комнату, где ласковым обхождением хотел ободрить его и тем заставить открыть ту тайну, о которой он в допросе показал; видя же

его намерение молчать, которое впрочем приписываю болезненному состоянию и всему с ним случившемуся, я призвал к убеждению его местного римско-католического священника, и надеюсь, с помощью его, убедить Мигурского объясниться чистосердечно.

Как Мигурский болен, жена же его совершенно расслаблена, то я и принужден оставить их здесь до выздоровления. Они содержатся под строжайшим караулом, сам же Мигурский в железзах.

О задержании Мигурского я уведомил господина Оренбургского военного губернатора.

О чем Вашему сиятельству честь имею донести, с присовокуплением, что я предполагаю отправить Мигурского, жену его и служанку к господину Оренбургскому военному губернатору, ежели до выздоровления их не получу предписания Вашего сиятельства о другом для них назначении.

Генерал-майор Власов.

21 июня 1840 года.

2

Полковнику Кожевникову — «секретно» и «в собственные руки»

Имея честь препроводить Вашему высокоблагородию выписку из сообщенных г. Оренбургскому военному губернатору г-ном генерал-майором Власовым сведений относительно поимки рядового Мигурского, считаю нужным покорнейше просить Вашего распоряжения о строжайшем исследовании и уведомлении меня, каким образом Мигурский... мог проживать в городе Уральске *более семи месяцев* в квартире жены своей, не быв никем замеченным, тогда как по предписанию к вам г. военного губернатора... она была подвергнута самому строжайшему надзору. Причем не оставьте присовокупить, в каком виде и кому был поручен этот надзор за нею и кого поэтому следует признать виновным в слабом исполнении сделанного на этот счет распоряжения.

...Перовский.

6 июля 1840 года.

...И снова завертелся-закружил бумажный вихрь!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, с рассказом урядника Даниила Еремина о себе и о случившемся

— Зовут меня Данила Васильев сын Еремин, от роду имею 32 года, исповедания гре-

ко-российского единоверческого, Уральского казачьего войска служащий урядник, в службе состою с 828 года, под судом и в штрафах не был.

— 13 июня сего года г. исправляющий должность наказного атамана Уральского войска, командировав меня для сопровождения в Каменец-Подольск жены рядового Мигурского, приказом за № 1321 предписал мне ехать безостановочно, кроме необходимых ночлегов, обходиться с Мигурскою вежливо и по прибытии в Каменец-Подольск явиться к тамошнему военному губернатору для исполнения дальнейших приказаний. Вследствие сего я пришел к Мигурской, объявил ей о своем назначении; она отвечала мне, что готова к отъезду, что экипаж тоже готов и уложен, но так как во время жара в половине дня не может ехать, то просила меня в остальное время того дня приготовиться совершенно, получить подорожные и прогоны, а на другой день поутру в три часа выехать,— что мною и было исполнено. Экипаж сей был вроде тарантаса, на рессорах с откидным верхом и фартуками, довольно помещительный.

— На другой день поутру я не мог встать так рано, как она желала, а пришел к ней по восходе солнца часов около пяти; Мигурская была совсем готова, почтовые лошади заложены, сама она сидела в повозке и с нею тут же у правого бока экипажа помещалась девка ее Магдалина; около экипажа стояли два солдата из поляк, имени которых я не знаю, в руках у них была бутылка с вином, которое предлагали пить и мне, но я отказался и начал укладывать свои дорожные вещи, из которых саблю хотел положить в повозку, но Мигурская не позволила, и я положил ее на козлы, поместившись тут же и сам. Затем мы отправились, а провожавшие ее поляки остались у ворот.

— Ехали мы, по желанию Мигурской, не почтовой дорогою, а проселочной, потому что эта, в некотором расстоянии, вдвое почти ближе. Мигурская никогда не выходила из экипажа, который всегда был закрыт фартуками сверху и снизу, оставалось небольшое для воздуха отверстие, но и то прикрывалось платком; девка ее также сидела там закрытою, и только по временам у своего края открывала фартук. На станциях чай и приготовленную пищу девка ей подавала в повозку.

— Таким образом ехали мы более трех суток день и ночь; а на четвертый день, 17 июня, перед вечером, не доезжая до города Петровска (который по проселочной

дороге от Уральска около 500 верст) версты за 3, я услышал тихий мужской голос и сначала осматривал, нет кого назади идущим, но, прислушиваясь внимательно, различил в повозке за фартуком разговаривающие три голоса, из коих мужской, в то время как ехали скорее, был слышен более; сообщив мое замечание ямщику, который тоже подтвердил это, и в продолжение разговора зарядив на случай пистолет, я приказал ему остановиться, слезть тотчас с козел и вожики зацепить за колеса, а самому быть у повозки для помощи. Исполнив это, я открыл фартук и спросил ее: кто у ней? с кем она разговаривает? Она пришла в чрезвычайное смятение и отвечала, что никого нет. Заметив же, что ноги ее лежали выше обыкновенного положения, я отдернул с ее ног рубашку и увидел под ногами у ней голого мужчину.

— Я спросил: что он за человек и не он ли Мигурский? На это он сказал: молчи, урядник, я тебе 6 т. р. дам. Я сказал, что не хочу от него и 6 миллионов, что я доволен царскими милостями и велел ямщику подавать веревку, чтоб связать, но Мигурский с бешенством закричал: «не смей, или сам погибнешь! ты сам положи меня в повозку и везешь с собою четвертый день». Потом схватил меня за грудь, прихватив и бороду, разорвал на мне пиюры. Видя такое сопротивление, я ударил его стволом пистолета по голове, и он отпустил меня.

— Испуганная жена только умоляла меня скрыть это происшествие, обещала величайшие награды, говорила: «я награжу тебя, твою жену, детей и все вы останетесь вечно благодарными», в достоверность же такого обещания начала искать свое золото. Держа крепко Мигурского, я приказал ямщику сесть на козлы и ехать как можно скорее. Между тем он пытался достать таз, около которого, как оказалось после, были два пистолета и топор. Не позволяя ему делать никакого движения, и чтобы занять их чем-нибудь в то время, как успеем переехать до города, велел я жене искать золото, в чем и прошло довольно времени.

— Между тем из-под горы вдруг показались идущие навстречу мужики, которым я и закричал повелительно, чтоб пришли и помогли довести до города беглого человека. Увидев это, Мигурский силился выскочить из повозки и бежать, но я захватил его руками и прижал крепко, устраивая, что за дальнейшее сопротивление убью его; в ответ на это он подставил грудь и велел стрелять. Приказав мужикам садиться на повозку, которых он с женою старались отталкивать, и

держа пистолет над головою, доехали в том положении до города Петровска, где я отпустил мужиков по их просьбе, что при обо-зе никого не осталось.

При въезде в город Мигурский надел на себя женское платье, потому что при нем не было никакого мужского платья, накинул на голову большой черный платок, и в этом костюме я представил его городничему того города, показал ему данные мне г. полковником Кожевниковым бумаги и конверт к Каменец-Подольскому губернатору, которые он взял все к себе; Мигурского же, скованного им в железа, жену и девуку отправил под стражу. В тот же день от Мигурского и от жены отобрано городничим показание, а на другой день от девки, ямщика и от меня самого; потом городничий отправил всех в Саратов к тамошнему г. военному губернатору, в сопровождении квартального надзирателя, унтер-офицера и четырех солдат. По прибытии же туда г. военный губернатор дал мне письменный приказ за № 5333-м отправиться в Уральск и доставить к г. исправляющему должность наказного атамана конверт за № 5332-м, адресованный к г-ну Оренбургскому военному губернатору.

К сему показанию Уральского казачьего войска урядник Данила Васильев Еремин руку приложил.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой больше вопросов, чем ответов

Рапорт... Снова рапорт... Еще и еще... Июльский... Августовский... Все — об одном: о случившемся в трех верстах от Петровска, о предьстории этого удивительного события, о показаниях его участников.

И вопросы, вопросы...

1

Из штаба корпуса — полковнику Кожевникову

Усматривая из показания урядника Еремина, что при отъезде его с Мигурскою из Уральска он видел в квартире ее двух поляков, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие приказать, по указанию Еремина, удостовериться, кто именно были эти поляки, и потом, рассадив их по разным местам, допросить их: не было ли им известно пребывание Мигурского, зачем они приходили к Мигурской и проч. Если же ничего подозрительного, по показаниям их, за ними не окажется, то, не заключая их под стражу, учредить за ними тайный полицейский над-

зор; в последующем же, с приложением показаний, не оставьте меня уведомить.

Начальник штаба
генерал-майор Рокоссовский.

18 июля 1840 г.

Из военного министерства — командиру корпуса

Шеф жандармов доводил до высочайшего сведения сообщенные ему управляющим министерством внутренних дел обстоятельства, сопровождавшие задержание беллого рядового Оренбургского линейного № 1 батальона Винцентия Мигурского...

...Его величество высочайше повелеть соизволил: уряднику Еремину выдать в награду пятьсот рублей ассигнациями и вместе с тем произвести по распоряжению Вашего превосходительства строжайшее исследование, *каким образом* Мигурский, скрываясь столь долгое время в Уральске в квартире жены своей, не был открыт местною полициею, обратив при том внимание на двух рядовых из поляков, провозжавших Мигурскую при выезде ее из Уральска. И как при сем исследовании необходимо присутствие Мигурских, то доставить их вместе со служанкою под надежным конвоем в Уральск, а самого Мигурского сверх того скованным...

Военный министр
генерал-адъютант граф Чернышев.

29 июля 1840 г.

2

«План действий», или документ без заглавия и подписи

К открытию укрывательства рядового Мигурского необходимо нужно дополнить дело, произведенное по этому предмету, следующими обстоятельствами:

1-е. Отобрать подробные показания от рядового Мигурского, его жены и находящейся у них в услужении девки Закжевской относительно места, *где укрывался Мигурский*, без каковых показаний нельзя сделать заключения о лицах, надзору коих подвергнута была жена Мигурского.

2-е. Спросить частных приставов Кирилова и Буренина и квартальных надзирателей, *находились ли они*, по неперменной своей обязанности, во время выпровождения Мигурской из города Уральска и *осматривали ли экипаж*, в котором она следовала, если же нет, то *по каким причинам*.

3-е. Отобрать объяснения от подполковниц Аничковой, Логиновой, войсковой старшины

Темниковой, есаулиши Сычуговой с матерью и сестрой, в том, что *не заметили ли они* в квартире Мигурской укрывавшимся мужа ее.

4-е. Допросить урядника Еремина, *каким образом открыт* им Мигурский укрывающимся в экипаже жены своей.

5-е. Перевести имеющееся в деле с польского на российский диалект письмо от унтер-офицера Бетлейчика к жене Мигурского, спросить противу оного Бетлейчика, равно и о том, *не известно ли ему* было укрывательство Мигурского и выезд его с женою из Уральского.

6-е. Истребовать от полковника Аничкова сведения, о которых упоминается в рапорте войскового старшины Матвеева за № 45, а от командующего 22 пехотной дивизиею — следствии, произведенное о *небезызвестной* потере Мигурского, для присоединения к настоящему и должного по оному соображения.

Сверх того, по делу не видно, *по какому случаю вошло* в оное обстоятельство касательно увоза из Уральского Мигурскими с собою умерших двух своих детей.

Рапорт... другой... третий... И за каждой строкой удивление.

Что произошло — понятно.

А вот *как?*..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
освещающая состояние дела на конец октября 1840 года, то есть через четыре с половиной месяца после поимки

Господину командиру Отдельного Оренбургского корпуса

Начальника штаба

РА ПО Р Т

Исправляющий должность наказного атамана Уральского войска полковник Кожевников представил ко мне следствие, произведенное над рядовым линейного Оренбургского батальона № 1-го Винцентием Мигурским.

По рассмотрении этого следствия Мигурский обвиняется в составлении подложного письма о лишении себя жизни посредством утопления в реке Урал, в укрывательстве от службы более семи месяцев в квартире жены своей, в побеге, учиненном при выезде последней из Уральского в Каменец-Подольск и в произведении с ней по поимке из бегов тайной переписки, а унтер-офицеры Сенкевич, Бельчинский и рядовой Ливинской подозреваются: первый — в тесных связях с

Мигурским и в знании и укрывательстве его, второй — в передаче Мигурскому некоторых записок от жены, карандашей, денег и проч., а последний в согласии и содействии к укрывательству Мигурского.

Сделав распоряжение о предании Мигурского суду при Оренбургском ордонанс-гаузе с тем, чтобы комиссия сделала заключение и о прикосновенных по следствию лицах, имею честь донести об оном Вашему превосходительству, присовокупляя, что как по этому следствию обвиняется и жена Мигурского Альбина в укрывательстве его и в тайной с ним переписке, а из донесения полковника Кожевникова видно, что она беспокорного характера, то для пресечения ей сношений с мужем, которые может иметь при предании ее в Оренбурге суду, я полагаю бы поступок Мигурской вместе с нею передать в экстракте на законное постановление в Бузулукский уездный суд...

Генерал-майор Рокоссовский.
29 октября 1840 года.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
со скрупулезным подсчетом верст и рублей, лошадей и копек

1

Справка без названия, подписи и даты

От Уральского до г. Петровска почтовая дорога, которую отправляются почтовые корреспонденции, пролегает чрез Оренбург, Симбирск и Саратов на протяжении 1444-х верст. По такому расстоянию причитается прогонов вперед на 3, обратно на 2 лошади — 361 р. ассигнациями.

Но так как урядник Еремин ехал до Петровска кратчайшим путем, составляющим только около 500 верст, и сверх того от Петровска до Саратова 98 верст, то расчет в прогонах должен быть следующий:

Отпущено было до Каменец-Подольска 737 р. 62½ ас.

До Петровска и обратно следовало издержать:

в передний путь на 3 лощ. 89 р. 70 к.
обратно на 2 лощ. 59 р. 80 к. 149 р. 50 к.
Должно быть в остатке . . . 588 р. 12½
Ереминым издержано . . . 340 р. 72 ас.
Осталось 396 р. 90 к.
Следовательно противу сего
расчета передержано . . . 191 р. 22½ ас.

2

К вопросу об оплате прогонов

От наказного атамана — в штаб корпуса: «...так как он (Еремин) доезжал только до города Петровска, то у него осталось прогонных денег сто тринадцать руб. сорок коп. серебром, которые переданы мною в войсковую канцелярию для приобщения к общественной сумме, из которой были означенные деньги позаимствованы».

Из резолюции на справке: «Неправильно: от Уральска... до Бузулука, чрез Самару, Симбирск и Саратов — по этому тракту следует пересчитать...»

Уральск — Оренбургу: «...покорнейше прошу... сообщить мне сведения, по какому расчету издержано Ереминым на эти прогоны 97 р. 35 к. серебром...»

Оренбурге — Уральску: «...по почтовому положению, полагая от Уральска до городов Петровска и Саратова за 1337½ верст на три, а от сего последнего до Уральска за 1239½ верст на две лошади».

(И так далее... Со всей ответственностью удостоверяю: разобраться удалось лишь в лошадах, поскольку относительно их споров и не возникало; что же касается верст и рублей, то к общему мнению — по крайней мере в рамках этого дела — так и не пришли. Во всяком случае, доверия Еремину, несмотря на его «отличную расторопность, бескорыстие и мужество», проявлено не было.)

3

Наконец, о награде

20 апреля 1841 года: «...уряднику Еремину всемилощивейше пожалованные пятьсот рублей ассигнациями ни из каких сумм еще не выданы».

7 мая: «...так как деньги эти донные еще не отпущены, осмеливаюсь покорнейше просить Ваше сиятельство не оставить зависящим распоряжением об отпуске их для выдачи уряднику Еремину».

23 мая: «вследствие рапорта... я вместе с сим отнесся к министру финансов об отпуске этих денег из Оренбургской казенной палаты...»

13 июня: «...прошу сделать распоряжение об отпуске означенных денег исправляющему должность наказного атамана Уральского казачьего войска полковнику Кожевникову и о последующем меня уведомить».

16 июля: «...предписать Оренбургскому уездному казначейству, чтоб оно означенные 142 руб. 85¾ к. серебром отпустило немедленно... под расписку того, кому прием их доверен будет...»

...Июль сорок первого!.. А «высочайшее повеление» о награде было сделано в июле сорокового — на год раньше.

Впрочем, подтверждения, что ассигнации — или их серебряный эквивалент — вручены Еремину и в этом июле, среди бумаг отыскать не удалось.

«Мавр сделал свое дело — мавр может уходить...»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, содержащая часть переписки тех месяцев, когда шло следствие

4

*Альбина Мигурская — губернатору
Перовскому*

...Долгое время не имея сношений с отечеством и родными, давно лишилась я последнего состояния... Два месяца я кое-как содержала себя распродажей имущества и небольшими займами, ожидая всякую почту пособия из дому. Но когда последний скудный запас истощился, то, не имея более других средств к содержанию себя и находясь в болезненном состоянии, я вынуждена была в отсутствие г. атамана Кожевникова обратиться к исправляющему его должность полковнику Бизянову, прося из казны денежного займа на свое содержание и лекарства, с обязательством уплатить долг при получении отправленных мне денег.

На сие через две недели поступил ответ, что об этом писано было в Оренбург, но в просимом денежном пособии мне отказано.

Начальству (чрез которое посылаю письма на родину) известно, что неоднократно я писала о присылке мне денег, как ровно известно из писем с моей родины, здесь задержанных, что в Каменецкой почтовой экспедиции год уже как лежат адресованные нам деньги и что почтмейстер для высылки сих денег ожидает верного известия о моем местопребывании.

Но сообщение прекращено, и я, не имея власти распоряжаться собой и своими письмами, не имея ни помощи от правительства, ни даже средств к получению собственных денег, принуждена терпеть крайнюю нужду.

Повергая себя попочительству Вашего превосходительства, осмеливаюсь утрудить Вас всепокорнейшею просьбою — приказать выдать на содержание моего несчастного мужа сто рублей, с тем, чтобы эти деньги, как и мне самой разрешенное денежное пособие, были бы удержаны из присланных нам денег.

Неоднократно обращалась я с просьбою к г. генерал-майору Рокоссовскому о дозволении мне перевестись в Оренбург, но, не получая никакого ответа, осмеливаюсь прибегнуть к благодетельнейшему снисхождению Вашего превосходительства об удовлетворении и этой моей просьбы.

Горестное мое положение не может быть чуждо Вашим чувствам, чтобы я сочла нужным распространяться о важности этой милости...

9 апреля 1841 года.
Уральск.

На письме — вернее, переводе письма — дата получения его губернаторской канцелярией: 18 апреля.

И тут же собственноручная резолюция начальника края:

«Выдать ей сто рублей из суммы для бедных, а касательно просьбы ее о соединении с мужем, то объявить, что после происшедшего она потеряла всякое право на подобное снисхождение».

Эта категорическая резолюция, без всякого смягчения, была передана в Уральск, где ее и объявили Альбине Мигурской.

А сто рублей записали в расход «на богоугодное и полезное»...

2

Губернатору Перовскому — от Винценцы Висневской

...Сестра моя Альбина... проживает в г. Уральске, и ей не позволен выезд на родину... Не получая ответа на свои письма, я сомневаюсь, действительно ли она находится в живых и дошли ли мои письма с деньгами и посылки в ее руки... Не получая от нее писем более года, я оплакиваю ежедневно ее участь и не знаю, куда и к кому обратиться. В связи с этим я и осмелилась всепокорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать распоряжение об уведомлении меня: жива ли она и где именно находится ныне, а также позволить ей написать мне хоть несколько строк. Сжальтесь над нашей участью, прикажите чрез кого следует истребовать надлежащие сведения, и меня, прямо на имя мое, уведомить...

Винценца — Альбине

Дражайшая моя сестрица! Не имея более года никакого о тебе известия и не получая ответов на неоднократные мои письма, не только к тебе, но и ко многим лицам, жи-

вущим в Уральске, о которых только слышала... я вынуждена обратиться с просьбою к Его превосходительству г. Оренбургскому военному губернатору, чтобы он соблаговолил позволить тебе написать к нам хоть несколько слов...

...Три месяца тому назад писала я к тебе и послала 25 рублей серебром, но не знаю, получила ли ты их; теперь снова посылаю при письме такое же количество денег и надеюсь, что по получении их ответишь мне, что с тобой делается и что является причиною твоего молчания.

Я, кроме всех просьб, какие принесла уже Русскому правительству для получения верных о тебе сведений, подала еще прошение нашему губернатору, чтобы он сделал о тебе, как об австрийской подданной, формальное сношение с объяснением, что возвращение твое в Галицию, для окончания семейных дел касательно имения, непременно нужно.

Я уверена, что правительство наше не откажет в своем ходатайстве, а ты тем временем, со своей стороны, проси дозволения написать к нам хоть несколько слов.

Целую тебя — твоя преданная сестра
Винценца Висневская.

Оба письма помечены маем 1841-го, точнее — концом этого месяца.

Перовский ответил в конце июня. Никаких новых чувств он не выказал: «деньги препровождены», «Мигурской никогда не воспрещалось иметь письменные сношения» и вообще все ее беды происходят «по собственной вине».

В общем, та же резолюция, только выраженная другими словами...

...Впереди был суд. С ним явно не спешили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ, в которой снова зазвучит голос Мигурской

1

Голос Мигурской?

Да, это так.

Передо мною еще два ее письма, написанных в январе сорок второго.

Оба — В. А. Перовскому. Оба — из Оренбурга.

Первое:

«...В канцелярии военного губернатора имеются документы по моему делу.

Около десяти дней гражданский суд проводил процесс по этому поводу. Прошу Вас приказать вернуть мне необходимые свиде-

тельства, чтобы дело было закончено и я могла получить свободу последовать за моим мужем.

...Мне очень дорого время. Только богу известно, что отказ в покровительстве может стоить мне последних сил, а возможно, и жизни...»

И тут же — второе:

«...Мне сказали, что моя просьба была не совсем хорошо составлена и Ваше превосходительство не знает, какие свидетельства необходимы для моего дела. Вот почему я еще раз вынуждена Вас побеспокоить...»

...Для решения моего дела необходимы: доклад, сделанный господином губернатором господину министру для получения мною законным путем разрешения вернуться в Австрийскую Галицию, паспорта из Петербурга и другие документы. По этому поводу было послано письмо из уездного суда, но ожидание ответа оказалось тщетным, и судьи посоветовали мне искать покровительства в лице Вашего превосходительства.

...Приговор зависит от этих свидетельств. По получении их я смогла бы через два дня быть свободной и следовать за моим мужем.

Итак, моя свобода зависит от Вашего превосходительства, и я надеюсь, что Вы мне в такой милости не откажете...»

...Первое из писем датировано 21 января, второе — 22-м.

1842-й вступил в свои права — новый трудный год для Мигурских...

2

Исправляющему должность Оренбургского военного губернатора господину начальнику штаба Отдельного Оренбургского корпуса

Оренбургского уездного суда

РАПОРТ

Состоявшие в сем суде под судом жена рядового Винцентия Мигурского Альбина Матвеева и находящаяся у ней в услужении австрийского владения девица Магдалина-Парасковия Винцентиева Закжевская, первая — за сокрытие беглого мужа своего и от погребения тел умерших двух ее малолетних дочерей, а последняя в способствовании ей в том, по решительному определению,

постановленному в 6-е число сего месяца... учинены от дела свободными, и из них последняя, Закжевская, изъявила желание проживать в России и находится при Мигурской.

О чем Вашему превосходительству уездный суд имея честь донести, покорнейше просит на свободное проживание Закжевской в России и нахождение при Мигурской снабдить ее письменным видом как иностранку, со включением в оный вышеизъясненную подсудность, которая приметями: 36 лет, росту малого, лицо рябовато и овальное, волосы темные, глаза бурые, особые приметы: горбатая...

Уездный судья Туманов.

11 февраля 1842 года.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

На этом, пожалуй, дело № 11604 и заканчивается.

О Мигурском, как видите, ни слова.

Да и о ней, Альбине... Что значит: «изъявила желание проживать в России...»?

Но читателя в неведении оставлять нельзя.

Мало мы знаем об их дальнейшей судьбе, а все же знаем.

...Винцентий Мигурский был отправлен в самые-самые дальние края России. Он стал рядовым 14-го Сибирского линейного батальона, расквартированного близ печально известных по судьбам декабристов Нерчинских рудников.

Мигурская, подобно женам декабристов, отправилась вслед за мужем. Она разделила его тяжкую, горькую солдатскую долю.

Пятнадцать лет продолжалась солдатская каторга Мигурского в сибирской глухомани. Только в 1857 году получил он право вернуться на родину.

Но вернулся Винцентий один. Жена его, Альбина, навсегда осталась близ Большого Нерчинского завода. Там она похоронила сына, рожденного и умершего в Сибири. Там сгорела в чехотке сама.

Альбина Мигурская...

Та, чью судьбу поведал людям бессмертный писатель земли русской Лев Толстой...

1880г.	Бумаги А. А.		
2365	Записная книга Стендаля Берендт.		
2	1821-1828 г., в 4-ю, 62 л. Кавказский полк, штаб подполковника Вадима. Усть-Кокчи: Гражданская война и Мелкие Стендаля Берендт. Отрывки в прозе: О. С. Ш. И., Мовши- ви, Радичевы и проз.		Сдан в Музей по выписке и 10 июля 1971
2366	Записная книга Пушкина, 1821-1828 г. в 4-ю, 42 л. Дневник между прочим: встреча визитера Дмитрия, Бадиссаравийском шах, писем, планы смелых о и Р.		Сдан в Музей Пушкина по выписке от 10/11/71

С. В. Житомирская

К истории писем Н. Н. Пушкиной

Одним из наиболее значительных источников для биографии А. С. Пушкина могли бы стать письма к нему Натальи Николаевны, его жены. Письма эти, бесспорно, существовали, но судьба их неизвестна.

Накануне Октябрьской революции в пушкиноведческой литературе господствовала версия, что дети Пушкина сдали письма в Румянцевский музей, но доступ к ним закрыт на длительный срок. Сотрудники музея никогда не поддерживали этой версии, и постепенно на первый план выдвинулось предположение, что письма оставались у дочери Пушкина, Н. А. Меренберг, умершей за границей, и разыскивать их следует в семьях ее потомков в Англии или Германии.

Оставались, однако, и сторонники прежней версии: так, и в наше время такой серьезный исследователь, как И. Л. Фейнберг, в статье о Дневнике Пушкина приводит ее как твердо установленный факт, хотя и не подкрепляет никакими документальными свидетельствами¹.

В 1961 году защитники этой версии получили, казалось бы, недостающее доказательство: работая в архиве Библиотеки имени В. И. Ленина над историей отдела рукописей за 100 лет, сотрудница библиотеки В. Г. Зиминова обнаружила документы 1920 года, в которых упоминались письма Натальи Николаевны Пушкиной, будто бы готовившиеся в это время к печати.

Найденные документы, не объясняя историю писем, вводили новый факт, нуждающийся в осмыслении. Стало необходимым исследовать, как же и когда письма попали в Румянцевский музей, почему их нет теперь и какова их дальнейшая судьба.

Несколько лет спустя документами заинтересовалась журналистка С. Г. Энгель, которая опубликовала в 11-м номере «Нового мира» за 1966 год статью «Где письма Натальи Николаевны Пушкиной?».

В статье изложена история подготовки ленинского декрета от 29 июля 1919 года об отмене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, композито-

	Пушкина.		193.
	Отрывки из Бюжета Годунова, Разговоры между иностранцами и поэтом, следом: «Венчик», «Из моря» и проч.		алмаз от 11/июня 1938.
281/7	Отрывки из книги 1828-го г., в предисловии к, в виде алмаза, на 98 с. VII глава «Огни», «Почта», из Русалии, повести: «Гости съездов» и из «Дагу», «Разговоры между уми» в 5 т. стр. 607-608, «Мелкие гомо- логизации».		Сдан в Музей Пушкина по акту от 11/июня 1938.
281/8	Почта и гости переписки. Стд.		Сдан в

ров, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях, инициатором которого был В. Я. Брюсов, приведены письма его и Госиздата по этому поводу, свидетельствующие о том, что Брюсов, как и некоторые другие пушкинисты того времени, был уверен, что письма Н. Н. Пушкиной к мужу хранятся в Румянцевском музее.

В изложении С. Г. Энгель получается, что письма Н. Н. Пушкиной к мужу хранились в музее, одновременно с Дневником Пушкина в 1920 году были подготовлены к печати, а потом исчезли — и из издательских планов, и из всех других документов, и из музея вообще. Исчезновение историко-литературных документов огромной ценности, которые готовились к печати под наблюдением В. Я. Брюсова, не только специалиста-пушкиниста, но и заведующего библиотечным отделом Наркомпроса, которому был прямо подчинен музей, дело неслыханное. Можно ли представить себе, чтобы этот факт не отразился ни в прессе, ни в делах музея, ни в делах Наркомпроса? Чувствуя сомнительность своего построения и пытаясь заполнить эту лауну, С. Г. Энгель сообщила читателям о будто бы обнаруженном ею уничтожении и фальсификации части документов Румянцевского музея.

В протоколах Пушкинской комиссии Румянцевского музея, пишет она, «есть некото-

рые странности. Отчетливо видны следы вырванных листов, что вызывало зачеркивание старой нумерации и замену ее новой. Вырваны страницы и в отчете заведующего отделом русской литературы В. Ф. Саводника...; лист 48-й начинается обрывком фразы «...поставленной задачи». В протоколе... заседания № 16 Ученой коллегии от 9 августа 1919 года... тоже несколько страниц вырвано; страница 54 поправлена на 51, далее везде номера страниц переправлены. В протоколе заседания № 26 от 8 июня 1923 года имеется параграф 5 «о письмах Пушкина, вскрытых полицией», а параграф 4 отсутствует»².

С. Г. Энгель приводит и еще некоторые подобные наблюдения:

«По корешку инвентарной книги, заведенной первым хранителем отдела рукописей А. Е. Викторовым еще в 1863 году, можно увидеть вшитые ножже листы (они резко отличаются по цвету). Заметна переделка записей А. Е. Викторовова: идет 1880 год, затем 1881, а после этого снова 1880³. В инвентарной книге не отмечено такое выдающееся поступление, как письма Пушкина Наталье Николаевне (может быть, и это осталось на вырванных листах?)».

Далее утверждается, что М. Н. Сперанский, упомянувший в предисловии к изданию Дневника Пушкина о том, что в Румянцевском музее с 1882 года хранятся «письма

самого Пушкина, его жены», очевидно... «видел оставшиеся где-то на вырванных страницах данные о поступлении в музей писем жены Пушкина». Есть и еще ряд подобных утверждений, завершающихся выводом: «Вырванные листы, поправки и переделки в документах Пушкинской комиссии Румянцевского музея наводят на мысль, что кто-то задним числом пытался доказать, будто писем Натальи Николаевны в Румянцевском музее никогда не было...»

Наблюдения С. Г. Энгель какжутся весьма важными. Разберем их одно за другим.

В протоколах Пушкинской комиссии (комиссии по изданию Дневника А. С. Пушкина) нет вырванных листов и замены одной нумерации листов другой. Протоколы эти не сшиты, а лишь собраны в одной обложке⁴. Весь текст 33 протоколов сохранился полностью, от заглавия каждого протокола до подписей под ним членов комиссии. Листы в протоколах вообще не пронумерованы, поставлены только номера протоколов (рукою секретаря комиссии Н. И. Шатерникова). В 11-м протоколе от 14 мая 1921 года, который в отсутствие Шатерникова вел председатель комиссии М. Н. Сперанский, был им сперва проставлен карандашом ошибочный 10-й номер — вероятно, потому, что у Сперанского не было под рукой предыдущего протокола, затем номер был исправлен Шатерниковым на правильный, 11-й.

От отчета В. Ф. Саводника, о котором идет речь, действительно сохранился лишь второй лист⁵, однако привлечение этого отчета в ряд доказательств, относящихся к истории писем Н. Н. Пушкиной, неправомерно: он не имеет ни малейшего отношения к рассматриваемому вопросу. В. Ф. Саводник заведовал отделом русской литературы библиотеки Румянцевского музея, по тогдашней структуре музея ведавшим только описанием соответствующей части ее книжного фонда⁶. Рукописное же отделение не входило в библиотеку, а было самостоятельным отделом музея. Да и сохранившаяся часть отчета Саводника подтверждает сказанное — в нем идет речь о просмотре общего каталога книг, и из контекста ясно, что об этом шла речь и на вырванном листе.

Протоколы Ученой коллегии музея за 1919 год сшиты в папку⁷. В архивной нумерации листов этого дела действительно имеются исправления, однако интерпретация Энгель по меньшей мере странна. Исправления начинаются с л. 18, относящегося еще к заседанию 10 марта, за четыре месяца до возникновения вопроса о письмах Н. Н. Пушкиной, — здесь лицо, нумеровавшее листы,

пропустило л. 18, проставив сразу л. 19 (связь текста очевидна), что впоследствии было замечено и исправлено; вторая подобная же описка была сделана в протоколе 29 марта (л. 23). Теперь прежняя и новая нумерация разошлись уже на 2 листа. Наконец, отсутствует один лист — конец протокола от 10 июля, но содержание этого листа, к счастью, видно из повестки дня, приложенной в конце протокола (л. 44), — оно не имеет никакого отношения к интересующему нас сюжету. Теперь нумерация разошлась уже на 3 листа, что сохранилось и до конца дела, коснувшись, в частности, л. 54. Номера листов, как мы видим, переправлены не «далее», а ранее и далее.

В протоколе № 26 заседания Пушкинской комиссии⁸, о котором говорит Энгель, есть 4-й и 5-й параграфы. В 5-м же параграфе фиксировано утверждение комиссией текста комментариев к Дневнику. Загадочные «письма Пушкина, вскрытые полицией», выглядят в нем так:

«Пункт 5. Читаны и одобрены к печати следующие статьи комментария, составленные В. Ф. Саводником: *Указ о заграничных поездках дворян, О письмах Пушкина, вскрытых полицией, Гулянье 1-го мая в Екатерингофе, Милорадович М. А., графиня Ламберт и граф Лаваль*».

В инвентарной книге музейного собрания отдела рукописей, заведенной А. Е. Викторовой, нет вшитых позже и отличающихся по цвету листов. Записи в этой книге до конца 1881 года велся первым хранителем рукописного отделения А. Е. Викторовым, с конца 1881 года книгу вел его помощник Д. П. Лебедев. Ошибочный порядок дат действительно там есть: сперва был начат 1881 год, а потом снова идут записи 1880 года, но все эти записи сделаны рукою самого А. Е. Викторова, умершего в 1883 году. Обстоятельства, объясняющие возникновение этих перемен в записях, будут указаны нами в дальнейшем изложении.

Поступление писем А. С. Пушкина к Наталье Николаевне отмечено в инвентарной книге — только не в 1882 году, когда они поступили и сведения о них появились в соответствующих печатных отчетах музея, а тогда, когда окончился пятидесятилетний срок их недоступности, установленный А. А. Пушкиным. Письма эти внесены в инвентарную книгу под № 7021, под которым они и вошли в науку.

Произвольное обращение с документами характерно для статьи Энгель не только в указанной кульминационной ее части, но и во многих других местах⁹. Не останавливаясь

на них подробно, приведем лишь один пример неточности, принципиально влияющей на ход рассуждений автора.

С. Г. Энгель удалось обнаружить в архиве В. Ф. Саводника телефонограмму А. К. Виноградова Г. П. Георгиевскому о встрече в Госиздате для обсуждения пушкинских изданий музея. Текст ее, приведенный в статье, заключен автором статьи в кавычки, однако он даже в мелких деталях расходится с подлинником: в нем опущен час встречи, раскрыты без оговорок сокращенные в подлиннике слова. Конец же записки интерпретирован в желательном для концепции автора направлении. Вот как он звучит в статье Энгель: «Тов. В. В. Воровский просит Вас вместе с ученым секретарем музея быть 5 февраля у него в Государственном издательстве с материалами по изданию «Дневника» и «Писем Натальи Николаевны Пушкиной». Если бы текст был таков, то не было бы сомнения, что речь идет о письмах, автором которых является Н. Н. Пушкина. Но в подлиннике написано: «с материалами по изданию «Дневника» и «Писем Н. Н. Пушкиной». А такой текст явно оставляет место для предположения, не является ли Н. Н. Пушкина адресатом чьих-то писем. И не писем ли того автора, которому принадлежит «Дневник» и который вообще не упомянут в телефонограмме? Произвольная расшифровка инициалов Пушкиной, стоящих в подлиннике, эти неясные вопросы искусственным образом снимает.

Тенденциозное использование документов и построение на этой основе надуманных гипотез лишают статью С. Г. Энгель научной достоверности и сводят на нет всю ее концепцию.

Таким образом, по-прежнему необходимо объективное исследование всех дошедших до нас свидетельств о судьбе писем жены Пушкина. Для этого нужно выяснить следующие вопросы:

1) Что известно о судьбе переписки Пушкина с женой со дня смерти поэта и до 1920 года?

2) Какие материалы, связанные с Пушкиным, поступали в Румянцевский музей от его наследников и при каких обстоятельствах? Каков был порядок оформления этих поступлений, достоверна ли сохранившаяся документация?

3) Сохранились ли документы о поступлении писем Н. Н. Пушкиной в Румянцевский музей? Когда и на каких условиях они сюда поступили?

4) Если нет документальных подтвержде-

ний их поступления — когда и на каком основании возникла эта версия?

5) Есть ли документы, проливающие свет на события 1919—1920 годов в Румянцевском музее, кроме указанных Энгель?

Попробуем ответить на некоторые из этих вопросов.

В известной, так называемой жандармской описи бумаг Пушкина, составлявшейся после его смерти, под № 41 значатся «Письма госпожи Пушкиной». Об этих письмах Бенкендорф писал Жуковскому, что они «будут немедленно возвращены ей, без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка»¹⁰.

Письма были действительно возвращены Н. Н. Пушкиной: к сделанной в описи помете «Вручены г-ну действительно статскому советнику Жуковскому» приписано самим Жуковским: «Отданы г-же Пушкиной»¹¹.

К этим же трагическим дням относится и первое упоминание в документах о письмах Пушкина к жене. Они, естественно, не вошли в опись, ибо не хранились и не могли храниться в кабинете Пушкина, а принадлежали Наталье Николаевне и были ею разложены в семь пакетов с собственноручными ее надписями (например, «Из Петербурга, 1834 года» и т. п.). Однако Наталья Николаевна в первые же дни разрешила Жуковскому ознакомиться с этими письмами. Это было кем-то замечено, неверно истолковано и донесено Бенкендорфу, что вызвало письменное объяснение Жуковского, благодаря которому до нас дошли указанные выше сведения¹².

Таким образом, и письма Пушкина к жене, и ее письма к нему с самого начала были выделены особо из всего рукописного наследия поэта и хранились у самой Натальи Николаевны. По свидетельству А. А. Пушкина, у нее лично хранился и Дневник поэта¹³.

При подготовке П. В. Анненковым второго собрания сочинений Пушкина вдова Пушкина разрешила последнему прочесть письма Пушкина к ней. Конспект этих писем, сделанный Анненковым, был опубликован Б. Л. Модзалевским¹⁴. Заметим, что ответных писем Натальи Николаевны Анненков не видел, хотя, казалось бы, должен был к этому стремиться.

Судя по дошедшим документам, не умея в полной мере оценить значение рукописного наследия Пушкина, Наталья Николаевна (теперь уже Ланская) тем не менее сознавала его ценность, понимала права и обязанности наследников Пушкина и воспитала эти понятия у своих детей. Этому способствовала и строго юридическая позиция опеки над

детьми Пушкина¹⁵. Каждая попытка опубликовать или гласно заявить о чем-либо из наследия поэта помимо его семьи встречала в течение длительного времени настойчивый отпор вдовы и детей Пушкина.

В 1855 году, узнав о том, что один из бывших опекунов детей Пушкина, Н. И. Тарасенко-Отрешков, принес в дар Публичной библиотеке некоторые автографы поэта, Н. Н. Ланская обращается к директору библиотеки М. А. Корфу с решительным протестом, утверждая, что дарить автографы Пушкина могут только Пушкины, законные его наследники¹⁶.

В 1858 году публикация в «Библиографических записках» писем Пушкина к брату послужила поводом к формальной жалобе, принесенной младшим сыном Пушкина Григорием Александровичем министру народного просвещения Норову, как главе цензурного ведомства. Здесь уже содержится полностью сложившаяся в это время позиция сыновей поэта, добивавшихся, чтобы «цензура, как здесь, так и в других городах России, не одобряла к печати записок, писем и других литературных и семейных бумаг отца моего без ведома и согласия нашего семейства»¹⁷.

Раздел имущества между детьми Пушкина, состоявшийся еще при жизни Н. Н. Ланской, сделал хранителем этого драгоценного семейного достояния старшего сына поэта А. А. Пушкина.

Однако личные свои бумаги Наталья Николаевна явно не рассматривала как часть этого наследия. Уже тот факт, что письма Пушкина к ней она не передала старшему сыну, а подарила младшей дочери Наталье¹⁸, доказывает, что она считала себя вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

Наталья Александровна Пушкина (графиня Меренберг), жившая постоянно за границей, очевидно, не разделяла ригоризма своих братьев по отношению к семейным бумагам. Спустя несколько лет после смерти матери она задумала опубликовать подаренные ей письма и обратилась по этому поводу к И. С. Тургеневу.

Получив от Н. А. Меренберг это предложение и сами письма, Тургенев на следующий день, 4 апреля 1876 года, писал Анненкову:

«Я не успел еще прочесть их — но увидел на обложках несколько замечаний, писанных Вашей рукою, из которых я мог заключить, что Вам эти письма известны. Графиня Меренберг желает, чтобы эти письма были напечатаны, и поручила мне продать их. Напишите об них мне два слова — и почему

они не были напечатаны до сих пор, хотя по всему было видно, что они приготовлены к печати, так что даже некоторые места обведены карандашом, как подлежащие исключению»¹⁹.

Вот ответ Анненкова:

«А что касается до писем Пушкина, то вот уже 5—6 лет, как граф[иня] Нассау-Дубельт продает свои секреты на всех площадях. Если Вы пробежали эти действительно драгоценные (для умного биографа) письма, то Вы увидели, конечно, что они похожи на разговоры мужа с женой в четырех стенах их спальни о людях и вещах. И вот дочка собирается показать народу папашу и мамашу нагишом, без всякой биографической рубашки — и притом за деньги. [...] В 1869 г. она предлагала эти письма Каткову, мне, Сологубу в Петербурге, кн. Львову — всем встречным и поперечным, и в эти дорогие и деликатнейшие излияния поэта, раскрывающие его семейной горе, погружались бесцельные глаза — это мне хорошо известно — Антропова, Маркевича и др.; господа эти, полагаю, даже и выписали из них наиболее резкие места. Теперь эта обесчещенная переписка Вам препровождена на комиссию: поместите ее в какой-либо публичный дом. Если бы я располагал какими-либо свободными деньгами, я бы купил эту исповедь Пушкина и, может быть, сделал бы из нее небезынтересный этюд, во всяком случае — этюд приличный и поясняющий дело»²⁰. Позднее Анненков писал об этом же редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу, уговаривая его, если уж письма издаются, взять издание на себя, ибо «хотелось бы, чтобы переписка попала в порядочные руки и напечатана была с некоторыми необходимыми выпусками, приличьем требуемыми»²¹. Стасюлевич опубликовал письма²², уплатив графине Меренберг тысячу рублей.

Переписка Тургенева со Стасюлевичем, возникшая в связи с публикацией писем, свидетельствует о большой осторожности Тургенева, заставившей его сделать ряд купюр. Однако, когда он обратился к Н. А. Меренберг, чтобы согласовать с этой, как он писал, «хотя любезной, но взбалмошной и легкоголовой барыней» окончательный текст писем, то получил ответ, что «она заранее и с благодарностью на все соглашается и доверяет ему «aveuglement»²³. Каково же было удивление Тургенева, когда в апреле 1878 года, по выходе писем Пушкина в свет, он был извещен анонимным письмом, что сыновья Пушкина едут в Париж с намерением «поколотить» его за эту публикацию. «Почему же меня, — резонно спрашивает Тургенев, —

а не родную сестру, разрешившую печатание?»²⁴

Мы, впрочем, не должны этому удивляться. А. А. Пушкин и впоследствии стремился представить дело так, будто Н. А. Меренберг не предложила Тургеневу письма, а лишь уступила его настояниям, последний же не оправдал ее доверия, выпустив текст в печать без необходимых сокращений²⁵. Можно вообразить, какова была непосредственная реакция А. А. и Г. А. Пушкиных на публикацию 1878 года и как настойчиво они должны были стремиться положить предел инициативе младшей сестры.

Подлинники писем Пушкина к жене между тем продолжали оставаться в редакции «Вестника Европы», и только в декабре 1878 года через того же Тургенева Н. А. Меренберг запросила редакцию об их судьбе. Воспользовавшись этим, Стасюлевич сделал первую попытку убедить дочь Пушкина не возвращать письма за границу, а передать их в одно из русских хранилищ. Просьба не имела успеха, письма были возвращены, а в редакции «Вестника Европы» остались спятая с них для публикации копия и правленные Тургеневым корректурные листы, послужившие впоследствии основой издания этих писем вплоть до 1935 года²⁶.

Хорошо сохранившаяся переписка Тургенева, Анненкова и Стасюлевича дает возможность утверждать, что в то время не только не поднимался вопрос о публикации ответных писем Натальи Николаевны, но не представлялось даже необходимым знакомство с ними для понимания фактов, отразившихся в письмах самого Пушкина. О них речи вообще не было.

Между тем и для наследников Пушкина становилось ясным, что хранение литературного наследия поэта в качестве неприкосновенных фамильных бумаг не могло более продолжаться. Место Пушкина в русской литературе официально определилось. Готовилось открытие памятника ему в Москве.

Поэтому в 1880 году А. А. Пушкин начинает передавать рукописи отца в Румянцевский музей.

В начале мая 1880 года П. И. Бартнев как представитель Общества любителей российской словесности получил от А. А. Пушкина рукопись поэта для Пушкинской выставки²⁷.

Одновременно, 9 мая, А. А. Пушкин обратился к директору Румянцевского музея В. А. Дашкову со следующим письмом: «В ознаменованное торжественного дня открытия в г. Москве памятника отцу моему Александру Сергеевичу Пушкину, предпола-

гая передать в общественную собственность сохранившиеся у меня подлинные рукописи его сочинений, я избрал местом хранения их на вечные времена находящийся под Вашим управлением Московский Публичный музей, куда эти рукописи и будут доставлены из Общества Любителей Российской Словесности, которому временно я их передал, вместе с правом воспользоваться ими для особого Литературного сборника»²⁸.

Музей справедливо оценил этот акт как величайшее событие. А. А. Пушкину была выражена благодарность, известие о даре сообщено в газеты, и, кроме того, Дашков обратился к министру народного просвещения с просьбой о специальном докладе Александру II.

Летом 1880 года Пушкинская выставка закрылась, а рукописи все не поступали в музей. Встревоженный хранитель рукописного отделения А. Е. Викторов побудил Дашкова снова обратиться к А. А. Пушкину с настойчивой просьбой о фактической передаче материалов²⁹. А. А. Пушкин заверил музей, что рукописи будут получены им немедленно, и уже 23 сентября Бартнев начал сдавать Викторову находившиеся у него лично рукописи³⁰. Часть же рукописей, переданных им в мае С. А. Юрьеву для выставки, еще не была ему возвращена.

Очевидно, А. А. Пушкин, получив письмо музея, упрекнул Бартневу в небрежном отношении к драгоценным материалам. Бартнев, в свою очередь, обвинил в этом С. А. Юрьева и Л. И. Поливанова, непосредственно отвечавших за их хранение³¹. В результате рукописи были переданы не непосредственно в музей, а возвращены А. А. Пушкину, телеграммой подтвердившему их получение³², и только после этого Бартнев закончил передачу их музею (9 октября 1880 г.).

Сохранившаяся переписка, суть которой изложена выше, и дела в архиве музея свидетельствуют — что очень важно для нас — о тщательнейшей документации передачи рукописей от одного лица к другому на всех этапах и о большом внимании именно к этой стороне дела и самого А. А. Пушкина, и Бартневу, и устроителей Пушкинской выставки, не говоря уже о Викторове, для которого это было профессиональным свойством. В делах музея сохранились и письмо А. А. Пушкина, и реестр переданных Бартневым материалов с его и Викторова расписками. В инвентарную книгу рукописного отделения пушкинские рукописи были внесены несколько позже. Как обычно, рукописи надо было сначала разобрать, си-

стематизировать и хотя бы предварительно описать³³. С другой стороны, передача все-таки не была закончена: Викторovu, несомненно, было известно, что у Бартенева еще остаются письма разных лиц к Пушкину, которые он с разрешения А. А. Пушкина собирался печатать и должен был передать музею лишь «по миновании надобности»³⁴. Эти письма были переданы Бартеневым 19 декабря 1880 года.

Поступившие перед самыми святками, эти письма к Пушкину также не были записаны в инвентарную книгу, а вместе с другими материалами ожидали систематизации и описания.

Между тем в начале 1881 года в рукописное отделение поступили бумаги П. И. Севастьянова, которые Виктор и внес под этим годом в инвентарную книгу (л. 171). Закончив же вслед за тем разбор пушкинских бумаг и начав записывать их в книгу, он, естественно, пометил их 1880 годом, когда они фактически поступили (лл. 172—174), и лишь затем вернулся к поступлениям 1881 года. Следующая за пушкинскими бумагами запись, значащаяся под 1881 годом, относится к собранию А. Н. Попова и датируется точно; она сделана не раньше декабря 1881 года³⁵.

Среди писем к Пушкину, поступивших в 1880 году в музей от Бартенева, писем Натальи Николаевны не было. Об этом говорит сохранившийся второй сдаточный реестр с расписками Бартенева и Викторова от 19 декабря 1880 года³⁶.

Письма же Пушкина к жене в этот момент были еще у Н. А. Меренберг. Не располагая перепиской ее с братьями, мы не можем судить о том, какие доводы они употребили, чтобы изъять у нее подаренные ей матерью материалы. Хотя в 1879 году она еще писала Стасюлевичу: «Я так дорожу письмами Отца моего, что, конечно, при жизни никогда добровольно не расстанусь с ними»³⁷, но в 1882 году А. А. Пушкин по ее поручению передал 64 письма отца своего к матери в Румянцевский музей³⁸. Возможно, что письма были привезены ею к открытию памятника Пушкину, когда собрались в Москве все его дети.

В упоминавшемся уже письме А. А. Пушкина к президенту Академии наук вел. кн. Константину Константиновичу от 6 марта 1905 года, где точно обозначены эти 64 письма и выражено неудовольствие тургеневской публикацией их, далее говорится: «Когда же сестра моя, в 1882 году, поручила мне передать в Румянцевский музей эти



письма, я, наученный горьким опытом, по соглашению с братом и сестрами, признал необходимым обусловить этот дар запрещением пользоваться им в течение 50 лет»³⁹. Казалось бы, ясно. Однако вся версия о хранении писем Н. Н. Пушкиной в Румянцевском музее относит передачу их к 1882 году.

Попробуем и мы поставить под сомнение это утверждение А. А. Пушкина о составе его дара. Может быть, есть основания предполагать, что, кроме писем отца к матери, он передал в музей в 1882 году и ответные письма матери? Какие документы об этом сохранились?

Документы в этом, как и в других известных нам случаях передачи А. А. Пушкиным материалов своего отца, достаточно отчетливо рисуют дело. На этот раз переговоры с А. А. Пушкиным вел, очевидно, сам А. Е. Викторov, и вся документация готовилась в музее. Тот документ, который хранится в архиве А. Е. Викторова и который Энгель приняла за позднейшую писарскую копию со вставками из воображаемого, не дошедшего до нас письма А. А. Пушкина⁴⁰, является в действительности одним из черновых проектов его дарственного письма на имя директора музея⁴¹. Он писан рукою помощ-

ника Викторова Д. П. Лебедева и исправлен собственноручно Викторovým. Исправления эти коснулись двух мест. Вставлено указание на то, что 64 письма Пушкина к жене жертвуются музею не А. А. Пушкиным, а Н. А. Меренберг, и первоначальная формулировка «с тем, впрочем, чтобы без моего согласия письма эти в чтение выдаваемы не были», заменена на «с тем, чтобы эти письма в течение пятидесяти лет в чтение никому выдаваемы не были». Очевидно, что первая поправка могла быть сделана только по указанию А. А. Пушкина, тогда и вторая, вероятно, принадлежит ему же. Таким образом, первая редакция отражала условия, на которых Викторов думал получить письма, и указания, данные им составителю бумаги Лебедеву, вторая же редакция явилась результатом дальнейших переговоров Викторова с А. А. Пушкиным, внесшим в первоначальную редакцию исправления, зафиксированные Викторovým. Проектов явно было несколько — об этом свидетельствует сохранившийся случайный отрывок другого черновика Лебедева⁴².

Исправленный Викторovým текст был снова переписан Лебедевым и дан на подпись А. А. Пушкину. В таком виде это письмо с пометой Дашкова о получении его 3 мая 1882 года и хранится в архиве музея. Вот его текст: «Милостивый государь Василий Андреевич! Прилагая при сем 64 собственноручных письма покойного моего отца Александра Сергеевича Пушкина к моей покойной матери Наталье Николаевне, пожертвованные Московскому Публичному музею сестрой моею графиней Натальей Александровной Меренберг, обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшею просьбою: благоволите присоединить упомянутые письма к другим собственноручным бумагам моего отца, принесенным мною в дар Московскому Публичному и Румянцевскому музеям по случаю открытия в Москве памятника Пушкину в 1880 году, с тем, чтобы эти письма в течение пятидесяти лет в чтение выдаваемы не были»⁴³. Отвечая Пушкину 6 мая, Дашков писал: «Письма будут присоединены к драгоценному собранию других автографов бессмертного поэта... причем указанные Вами условия хранения этих писем в течение первых пятидесяти лет будут соблюдены в точности»⁴⁴.

Письма были переданы Викторovu в том самом большом конверте, в котором их прислала А. А. Пушкину сестра⁴⁵. Конверт был запечатан сургучной печатью и оставался в таком виде до конца 1920-х годов. Распечатанный конверт и сейчас хранится при пос-

леднем письме Пушкина к жене в Пушкинском доме⁴⁶.

Может ли быть сомнение относительно содержимого конверта? В письме А. А. Пушкина точно указано: «64 собственноручных письма покойного моего отца Александра Сергеевича Пушкина к моей покойной матери Наталье Николаевне», в письме Дашкова речь идет об «автографах бессмертного поэта». Можно ли предположить, что, передавая одновременно ответные письма матери, А. А. Пушкин ничего не сказал об этом своем письме директору музея, что он утаил это спустя 25 лет и от августейшего президента Академии наук? Все, что известно об А. А. Пушкине, о его точном и тщательном отношении к наследию отца, исключает эту возможность. Но, может быть, наконец, было другое письмо того же времени, касающееся уже писем матери? Такого письма в деле о пожертвованиях в 1882 году нет, как нет и никаких признаков изъятия из этого дела каких-либо документов. Дело сохранилось полностью и в таком составе отражено в описи, составившейся около 1910 года, когда В. Д. Голицын принимал музей от предыдущего директора, И. В. Цветаева (то есть задолго до 1920 года).

Все пушкинские поступления 1880 и 1882 годов были описаны в одном томе печатных отчетов музея за 1879—1882 годы (где, как известно, сказано о передаче писем А. С. Пушкина к жене и об условиях этой передачи)⁴⁷.

Таким образом, документы убедительно доказывают, что в 1882 году А. А. Пушкин передал в музей только письма отца к матери, но не ответные письма.

Совершенно противоположная на первый взгляд информация содержится в заявлениях самого А. А. Пушкина, сделанных им для печати. После смерти Н. А. Меренберг в 1913 году репортеры запросили его о судьбе «переписки Пушкина с женой», по слухам хранившейся у покойной. А. А. Пушкин сообщил им, что еще в 1882 году передал эту переписку в Румянцевский музей⁴⁸.

Нет сомнения, что слова А. А. Пушкина были приведены в интервью точно — вряд ли он оставил бы без протеста какое-либо искажение столь интересовавшего его вопроса. И для ученых-современников это заявление, естественно, не оставляло места сомнениям: оно вскоре было использовано Б. Л. Модзалевским⁴⁹, а затем П. Е. Щеголевым⁵⁰. С этого момента местонахождение писем Пушкина к жене и Натальи Николаевны к Пушкину стало в научной литературе общеизвестным фактом.

Что же все это значит? Почему в 1913 году А. А. Пушкин публично опроверг свои весьма ответственные письменные заявления, сделанные в 1882 и 1905 годах?

Какую «переписку Пушкина с женой» он имел в виду? Нам представляется убедительным только одно объяснение. К моменту появления интервью слово «переписка» (в особенности для специалиста) имело тот же смысл, что и для нас, — обмен письмами между двумя корреспондентами. Но для поколения, к которому принадлежал А. А. Пушкин, это слово равно обозначало и обмен письмами, и письма какого-либо лица к другому, и письма разных лиц к одному адресату. Такое словопотребление, зафиксированное словарями русского языка, подтверждается и текстами близких к этому делу документов.

В первом же письме к Стасюлевичу по поводу пушкинских писем Тургенев пишет: «Дочь Пушкина, Графиня Меренберг (жена принца Нассауского) доставила мне всю корреспонденцию ее отца с матерью»⁵¹. Анненков пишет Стасюлевичу 5 ноября 1876 года: «Давно собирался я спросить Вас, да все забывал — приобрели ли Вы или отклонили от себя переписку Пушкина, которую, по поручению прежней Дубельт, а нынешней графини Меренбергши (дочери Пушкина), Тургенев собирался Вам предложить»⁵². В цитированном выше письме к Тургеневу он же называет эти письма «обещанной перепиской». В отчете Румянцевского музея уже известный нам номер 2396, переданный Бартевым 19 декабря 1880 года и содержавший 88 писем к Пушкину разных лиц, описан так: «Переписка А. С. Пушкина с разными учеными и литераторами»⁵³. В 1889 году А. Д. Свербеев принес в дар музею 115 писем и записок И. С. Тургенева к графине Ламберт. В письме к В. А. Дашкову, сообщая о составе своего дара, он писал: «Имею честь покорнейше просить принять эту переписку в дар...» и далее: «Благополите сделать распоряжение, чтобы переписка была вскрыта не прежде двадцати лет со дня поступления ее в Музей»⁵⁴. Подобные примеры можно было бы умножить. В интервью речь шла о письмах Пушкина к жене. Вывод, сделанный учеными и общественностью из интервью 1913 года, был основан на словесном недоразумении⁵⁵.

Но, может быть, письма Натальи Николаевны были переданы А. А. Пушкиным в музей не в 1880-х годах, а позже? Данных нет и для этого.

29 октября 1903 года Бартев по поручению А. А. Пушкина передал в музей 77 писем

к Пушкину разных лиц (среди них писем Натальи Николаевны тоже не было)⁵⁶. Наконец, 2 декабря 1904 года от А. А. Пушкина поступили 19 писем Нащокина к Пушкину⁵⁷. Содержание этих поступлений так же точно документировано и столь же точно совпадает с известиями о них в отчетах музея⁵⁸. Здесь следует сказать, насколько можно доверять архиву Румянцевского музея. Полный просмотр дел архива за 1880—1916 годы показал, что архив заслуживает такого доверия. Сохранились почти все ежегодно заводившиеся дела, связанные с комплектованием фондов («о пожертвованиях» и «о приобретениях на денежные средства»; нет дел только по приобретениям за деньги за 1880, 1881 и 1883 гг.). Дела эти в полном порядке.

Разумеется, условие, поставленное А. А. Пушкиным в 1882 году, было не единственным случаем подобных ограничений. Во всех встретившихся нам случаях суть этих условий была точно изложена в письме дарителя на имя директора музеев, а музей, со своей стороны, в ответном письме подтверждал свое согласие на эти условия.

Таким образом, ни архив музея, ни его печатные отчеты, ни дошедшая до нас частная переписка связанных со всем этим лиц ничем не подтверждают предположения, что письма Н. Н. Пушкиной к мужу были переданы кем-либо из ее детей в Румянцевский музей до 1913 года, когда были опубликованы упоминавшиеся интервью.

В печатных отчетах музея, в инвентарных книгах и в документации архива отражены и все поступления пушкинских материалов в музей из других источников; писем Н. Н. Пушкиной нет и среди них. Итак, недоразумение? Но недоразумения возникают там, где нет точных сведений и достоверной информации.

Что же известно было специалистам до 1913 года о письмах Н. Н. Пушкиной, их местонахождении и судьбе?

Переписка крупнейших пушкинистов Венгерова, Якушкина, Сайтова, Лернера, Модзалевского, Бартева, Щеголева, материалы Пушкинской комиссии Отделения русского языка и словесности Академии наук показывают, что пушкинисты в то время не располагали точными сведениями не только о письмах Н. Н. Пушкиной, но и о письмах самого Пушкина к жене.

Письма Н. Н. Пушкиной как важнейший биографический материал должны были до этого времени привлечь к себе внимание по крайней мере дважды: их должен был разыскивать В. И. Сайтов, впервые предпринявший фундаментальное издание писем Пушки-

на и к Пушкину; они явились бы также первоисточником для П. Е. Щеголева, с 1905 года публиковавшего свою все расширявшуюся работу о последних годах жизни Пушкина.

Первый, к кому обратился Сaitов в конце 1901 года за сведениями о пушкинских письмах в Румянцевском музее, был В. Е. Якушкин, признанный знаток этих материалов, опубликовавший их описание еще в 1884 году⁵⁹. Якушкин отвечал Сaitову 11 января 1902 года: «В последнем письме забыл написать Вам, что необходимо обратиться за оригиналами писем Пушкина к гр. Н. А. Мереб-берг, — тем более, что часть этих писем напечатана только в русском переводе. К ней надо обратиться или через граничных наших представителей, или, еще лучше, через высших родственников ее зятя»⁶⁰ (дочь Н. А. Мереб-берг, гр. Торби, была женой вел. кн. Михаила Михайловича).

Оказывается, даже Якушкин не знал, что большая часть писем Пушкина к жене с 1882 года хранится в музее и сведения об этом опубликованы в том же томе отчетов, где и описаны рукописи Пушкина! На первый взгляд — необъяснимо. Однако из примечания к работе Якушкина в «Русской старине» мы узнаем, что он знакомился с реестром пушкинских материалов, впоследствии помещенным в отчетах, еще в рукописи (отчет вышел позже работы Якушкина) и мог не посмотреть его еще раз в печатном виде.

В заблуждении этом находился не только Якушкин, но и другие члены Комиссии для издания сочинений Пушкина при ОРЯС, в 1903 и 1904 годах обращавшиеся по этому поводу к Н. А. Мереб-берг⁶¹.

Только к концу 1904 года В. И. Сaitов понял ошибочность информации Якушкина и обратился в Румянцевский музей: «Дело состоит в том, что, по уверению П. И. Барте-нева, в Румянцевском музее хранятся автографы тех 75-ти писем Пушкина к жене (с 20 июля 1830 по 18 мая 1836), которые были напечатаны в «Вестнике Европы»... Так ли это? и если так, то можно ли ими пользоваться? Не откажите сообщить мне точную справку...»⁶² Хранитель рукописного отделения Г. П. Георгиевский отвечал ему 19 октября 1904 года: «Да, письма Пушкина к жене (не все) были пожертвованы в музей в 1882 году сыном поэта, генералом Александром Александровичем Пушкиным, и в настоящее время хранятся в Отделении рукописей вместе с другими автографами поэта. Жертвователю поставил условие, чтобы пользование письмами Пушкина к жене было недоступно в течение пятидесяти лет, т. е. до

мая 1932 года. Условие это и до сего дня не отменено и не ограничено. Жертвователю даже не выговорил себе права делать изъятия по своему усмотрению, равно не предоставил этого права и Музею. Не находите ли Вы, поэтому, что Музей обязан ответить отказом на желание вскрыть письма Пушкина к жене до 1932 года?»⁶³

Узнав из следующего письма Сaitова о его намерении «просить президента Ак. Наук о слезном письме к А. А. Пушкину, который, вероятно, разнежится и позволит воспользоваться письмами отца только для акад. издания»⁶⁴, Георгиевский посоветовал Сaitову «сначала познакомиться с А. А. Пушкиным, пересмотреть у него все имеющееся, а потом уже, совместно с ним, попробовать проникнуть и к нам...»⁶⁵. Настойчивый Сaitов не посчитался с этим советом, и, как увидим, напрасно. 25 февраля 1905 года вел. кн. Константин Константинович направил А. А. Пушкину официальный рескрипт по этому поводу. В нем говорилось: «Музей, очевидно, обязан исполнить волю Вашу, как жертвователя; но сам жертвователю может заменить свою дарственную запись другою, если пожелает сделать исключение для издания сочинений покойного Вашего отца, предпринятого Императорской Академией Наук»⁶⁶.

На это последовал категорический отказ А. А. Пушкина, упомянувшийся нами выше.

Итак, вопрос о письмах Пушкина к жене был исчерпан. В издании Сaitова были использованы лишь копии, переданные Стасюлевичем. Подлинники были впервые использованы Н. В. Измайловым в конце 1920-х годов при подготовке к печати III тома «Писем» Пушкина⁶⁷.

А что же письма Натальи Николаевны, искал ли их Сaitов? Искал вначале, но вскоре оставил эти розыски, получив от того же Бартенева вполне определенное указание на этот счет. 21 декабря 1902 года Бартенев писал ему: «Писем Натальи Николаевны к мужу не сохранилось, как говорил мне недавно старший сын их»⁶⁸.

Свидетельство Бартенева, одного из наиболее осведомленных в этом вопросе людей, пользовавшегося исключительным доверием А. А. Пушкина, очень авторитетно и для нас. В огромной переписке Бартенева, к сожалению, не удалось обнаружить какие-нибудь дополнительные указания по этому вопросу. Однако в 1912 году в рецензии на 3-й том «Переписки Пушкина» под ред. Сaitова, написанной незадолго до смерти, Бартенев глухо намекнул на возможность публикации в далеком будущем писем Н. Н. Пушкиной к мужу⁶⁹. Нашел ли он опровержение све-

Минусинская находка
России? Андреев!

Примечание при севе 64 сентября 1882 года
на поименном листе сына, Александря Андреева
Петровича, с своей находкой минусинской
находки, описанной в журнале "Известия
Иркутского университета" от 1882 года. Сказано
там, что находка принадлежит к минусинскому
типу, и что она имеет сходство с находками
в Минусинске, но с тем различием, что
в Минусинске находка имеет форму
чашки, а в Минусинске она имеет форму
чашки.

Примечание, касающееся находки минусинской
находки, описанной в журнале "Известия
Иркутского университета" от 1882 года.

Примечание. К севе 64, находка с
находкой с находкой минусинской
находкой с находкой минусинской
находкой с находкой минусинской
находкой с находкой минусинской

Его П. Пух-ы
А. А. Давыдов
Маг. 9. 1882 г.

дений, полученных раньше от А. А. Пушкина? Сохранились ли копии писем? Это пока неизвестно.

Мы видим, что в начале нынешнего века пушкинсты еще недостаточно осведомлены, даже письма Пушкина к жене являются предметом неуверенных розысков.

После интервью 1913 года картина резко меняется — теперь все полагают, что и письма Пушкина, и письма его жены хранятся с 1882 года в Румянцевском музее.

Щеголев, впервые выпустивший отдельным изданием свою книгу «Дуэль и смерть Пушкина» в 1916 году, без изменений повторял это утверждение до издания 1928 года включительно. Именно его формулировкой о том, что письма Н. Н. Пушкиной «будут вскрыты только через несколько десятков лет», текстуально воспользовался Брюсов в своем письме 1919 года в коллегию Наркомпроса.

В 1928 году к позиции Щеголева публично присоединился Н. О. Лернер⁷⁰. Сам же Щеголев к этому времени уже убедился в ошибочности своих прежних утверждений. В опубликованной посмертно работе Щеголева написано: «В Румянцевском музее, что ныне Всесоюзная библиотека им. Ленина, этих писем нет и не было; недобропытно и бесцельно выяснение вопроса, как и почему создалось традиционное ложное представление о передаче писем жены Пушкина в Румянцевский музей. Факт остается фактом — писем здесь нет и не было»⁷¹.

С этого времени, а в особенности после парижской публикации недостававших (оставшихся у Н. А. Меренберг) писем Пушкина к Наталье Николаевне, письма Н. Н. Пушкиной начинают искать у зарубежных ее потомков.

Вернемся теперь к последним поступлениям в музей пушкинских материалов от его семьи.

После смерти А. А. Пушкина летом 1914 года последняя оставшаяся у него рукопись Пушкина — Дневник — перешла к его старшему сыну, тоже А. А. Пушкину, скончавшемуся в 1916 году, затем к дочери поэта М. А. Гартунг и, наконец, ко второму внуку поэта Г. А. Пушкину. Обстоятельства приобретения у него в 1919 году Дневника Румянцевским музеем изложены в его собственном письме на имя директора Библиотеки имени Ленина от 1 декабря 1934 года. В нем рассказано, как мобилизованный на деникинский фронт Г. А. Пушкин поручил своей жене, оставшейся без средств с большой семьей, продать Дневник Румянцевскому музею. Дневник был приобретен за 40 тысяч «керенками»⁷². В заметке, сохранившейся в маши-

нописи в архиве А. К. Виноградова⁷³, говорится, что «через два дня после переноса «Записок» в Румянцевский музей из дома был похищен письменный стол и столик, в котором хранилась рукопись. Через месяц дом сгорел». Как видим, приобретение музеем Дневника было более чем своевременным. Во всех указанных документах речь идет только о Дневнике, никакие иные пушкинские материалы не упоминаются.

Расписка, выданная музеем Ю. Н. Пушкиной при покупке Дневника, также решительно опровергает предположение о том, что письма Н. Н. Пушкиной были переданы одновременно с ним⁷⁴.

Таким образом, мы должны прийти к следующим выводам:

1) В 1882 году письма Н. Н. Пушкиной в Румянцевский музей не поступали.

2) У А. А. Пушкина после передачи отцовских бумаг в Румянцевский музей в 1880, 1882, 1903 и 1904 годах и вывоза Пушкинским домом библиотеки поэта, как он неоднократно заявлял, оставался только Дневник, поступивший в музей в 1919 году.

3) Нет никаких документальных данных о том, чтобы письма Н. Н. Пушкиной были переданы в Румянцевский музей при жизни А. А. Пушкина или после его смерти вместе с Дневником или отдельно от него на каких бы то ни было условиях.

Обратимся же теперь к тому, что происходило в Румянцевском музее летом 1919 года.

Получив Дневник Пушкина, Георгиевский немедленно начал лично готовить его к печати (в начале 1920 года текст был уже набран)⁷⁵.

В этот момент и был издан декрет от 29 июля 1919 года о национализации архивов. История его изложена в общих чертах в статье Энгель, но необходимо проследить ее еще раз.

Письмо Брюсова в коллегию Наркомпроса по этому вопросу было написано 12 июня 1919 года. Предложение Брюсова было рассмотрено очень быстро. 3 июля его поддержала коллегия Госиздата и внесла на утверждение в Совнарком⁷⁶. Аналогичное решение внесла коллегия Наркомпроса, рассматривавшая проект 22 июля под председательством М. Н. Покровского в отсутствие Луначарского и хворавшего Брюсова. Коллегия сочла необходимым посоветоваться лишь о формальной стороне дела с редакцией Собрания узаконений Наркомюста, от которой возражений не поступило⁷⁷. Декрет был подписан В. И. Лениным 29 июля и опубликован 31 июля в «Известиях ВЦИК». Но уже 25 июля зав. техническим отделом Госиздата М. И. Щел-

кунов — вероятно, в частном порядке — передал Георгиевскому тот не подписанный зав. Госиздатом Воровским запрос, текст которого приведен Энгель. Торопливость эта, несомненно, вызывалась нажимом Брюсова, приступившего к подготовке издания сочинений Пушкина и крайне заинтересованного в скорейшем решении вопроса.

Постоянно общавшийся с Брюсовым по деловым вопросам во время его болезни летом 1919 года Щелкунов писал ему 1 августа: «Сегодня мы посылаем Румянцевскому Музею, на основании опубликованного вчера декрета о рукописях, хранящихся в архивах, извещение о пушкинских материалах...»⁷⁸ Официальный запрос, подписанный Воровским, был отправлен, однако, только 4 августа. Он несколько отличается от опубликованного Энгель — в частности, включает ссылку на уже изданный декрет⁷⁹.

Кроме весьма краткой записи обсуждения этого вопроса Ученой коллегией музея в протоколе от 9 августа, где было вынесено решение ходатайствовать об изъятии музея из действия декрета, сохранились докладные записки в Ученую коллегию, написанные 6 августа Г. П. Георгиевским и хранителем подотдела старопечатных книг А. А. Шемшуриним⁸⁰. Из них — особенно из записки Георгиевского — прежде всего явствует, что отнюдь не вопрос о письмах Н. Н. Пушкиной, а сам декрет со всеми его последствиями, выходящими далеко за пределы этого важного, но частного вопроса, интересовал ее составителя. Он доказывал, что декрет будет способствовать обогащению «за счет России» заграничных хранилищ. Ценнейшие материалы, находящиеся в частных руках, не будут передаваться владельцами в хранилища, подчиненные действию декрета, и либо будут уничтожены владельцами намеренно, либо погибнут от неудовлетворительности домашнего хранения, либо будут любыми путями переданы за границу.

Вошел ли музей в Наркомпрос с тем ходатайством, которое было поручено Ученой коллегией музея составить А. К. Виноградову, мы не знаем. Оно не сохранилось ни в архиве музея, ни в архиве Наркомпроса, и это заставляет предполагать, что идея его отпала уже в результате устных переговоров Виноградова с руководством Наркомпроса. Во всяком случае, в хорошо сохранившихся протоколах коллегии Наркомпроса за 1919 год рассмотрение ходатайства музея не зафиксировано, хотя там подробно отражено обсуждение другого подобного протеста против декрета 29 июля — протеста В. Г. Черткова⁸¹.

В делах Госиздата нет и ответа музея на

запрос о пушкинских материалах. Впрочем, переписка за 1919 год вообще сохранилась там плохо. До начала 1920 года в документах музея, Госиздата, Наркомпроса нет никаких следов дальнейшего движения вопроса об издании пушкинских материалов.

В январе 1920 года Издательская комиссия Румянцевского музея, в состав которой входили редактор А. К. Виноградов, секретарь А. Л. Тарасевич и три члена — проф. Ю. В. Готье, проф. Н. И. Романов и Г. П. Георгиевский, «получила значение автономного органа Госиздата»⁸².

Одной из первых ее акций было следующее письмо в Госиздат от 29 января 1920 года: «Представляя справку о рукописях Пушкина, входящих в состав хранилища Государственного Румянцевского Музея, уже приготовленных к печати, Ученая Коллегия музея просит выдать Музею мандат на издание «Дневника» и «Писем».

Как видно из этого текста, речь идет об издании «рукописей Пушкина», и, следовательно, имеются в виду письма его, а не его жены. Это становится вполне очевидно из прилагаемой справки Георгиевского; она сохранилась в архиве в виде автографа с правой и машинописного отпуска, уже учитывающего сделанные исправления⁸³. В справке сообщается, что в музее хранятся не опубликованные до сих пор полностью письма Пушкина к жене, сданные в музей А. А. Пушкиным на известных условиях, и поступивший недавно Дневник поэта. «Условие и пожелания Александра Александровича не утратили своей силы и в настоящее время, — говорится далее. — ...Тем не менее теперь, когда внуки поэта находятся в неизвестности, пришла пора опубликовать Дневник и письма Пушкина, приняв все меры предосторожности». Решившись нарушить волю жертвователя и подчиниться действию декрета 29 июля, Георгиевский в этой справке искал формуловки, оправдывающие, с точки зрения его собственной этики, действия музея. Очевидно, с этой целью условие А. А. Пушкина, выраженное в действительности точным числом лет, превращено в этой бумаге в закрытие писем на срок жизни внуков поэта.

Непосредственной реакцией Госиздата на это письмо и явилась уже упоминавшаяся телефонограмма из архива Саводника, датированная 4 февраля 1920 года, то есть пятью днями позже отправки письма из Румянцевского музея. Найдя эту записку в архиве Саводника, но не зная предшествующей переписки, Энгель приняла ее за документ, в котором говорится об издании писем Натальи Николаевны Пушкиной. Но теперь смысл

16

Задача и исполнение ~~Александровича~~ Александровича не устроили
 всей своей силой и в настоящее время. Исполнение их падает
 бы заверше и Мурет со стороны тех лиц, которые хранят еще
 в своем распоряжении дневники и перепишу русских писателей
 и общественных деятелей и которые до времени не желают
 опознавать их цели.

А тем не менее (прислал пара оту библиографу дневника и
 письма Пушкина, приняв все меры предосторожности и
 действуя в полном соответствии с ~~указом~~ ~~указом~~ ~~указом~~ ~~указом~~ ~~указом~~
 ми поэта. Румянцовский Мурет приступил к этому
 ответственному делу и надеется в ближайшем будущем
 завершить его и передать их в собственную типографию,
 если позволят ему благоприятные обстоятельства и
 в его распоряжении будут все необходимые средства.

Хранитель Отдела рукописей
 Г. Георгиевский

25 Января
 1920 год.

ее уже не вызывает сомнений — речь шла и о Дневнике и о письмах самого А. С. Пушкина.

Таким образом, мы располагаем по крайней мере одним случаем, когда слова «писем Н. Н. Пушкиной», несомненно, означают: «писем А. С. Пушкина к Н. Н. Пушкиной».

До нас дошли (в делах музея⁸⁴, и в архиве Госиздата⁸⁵) многочисленные сметы и планы Издательской комиссии Румянцовского музея на 1920 год. Все они составлены позже 5 февраля. Везде говорится о Дневнике Пушкина, но нигде не фигурируют ни письма А. С. Пушкина к жене, издание которых, как мы видели, должно было обсуждаться у Воровского, ни письма Н. Н. Пушкиной к мужу.

Подготовке к печати Дневника Пушкина в 1920 году было придано в музее первостепенное значение. В свете этого единоличная

работа Георгиевского над Дневником уже не могла удовлетворить научное руководство музея, и для подготовки Дневника создается специальная комиссия в составе Георгиевского, Саводника и Шатерникова, возглавляемая академиком М. Н. Сперанским⁸⁶, а Госиздат заключает с членами комиссии договоры на это издание⁸⁷.

Подготовка к печати писем Пушкина и тем более Н. Н. Пушкиной не упоминается ни в документах комиссии, ни в списке, озаглавленном рукою Сперанского «Готовые рукописи» и относящемся, по всей видимости, к тому же времени⁸⁸. Остается предположить, что на встрече, назначенной на 5 февраля в кабинете Воровского, по каким-то соображениям было решено начать работу над пушкинскими материалами с публикации Дневника.

А между тем Распорядительная комиссия Госиздата 15 октября принимает решение обследовать деятельность Издательской комиссии Румянцевского музея, работающей уже 9 месяцев. Обследование это поручается смежному учреждению — Центральной Книжной палате⁸⁹.

В связи с этим обследованием Издательская комиссия Румянцевского музея подготовила свой отчет на 1 октября 1920 года, подписанный ее руководителем А. К. Виноградовым. Сохранилась, кроме того, докладная записка в Госиздат М. И. Щелкунова — на сей раз в качестве товарища председателя Книжной палаты, руководившего обследованием.

Машинописный отчет комиссии и есть тот документ, где упоминается о подготовке к печати писем Н. Н. Пушкиной. Он сохранился в двух видах: один экземпляр — полный, но черновой, со значительной правкой, хранится в архиве библиотеки⁹⁰, другой — выборка из первого, включающая лишь список предложенных к изданию трудов, учитывающая уже правку первого экземпляра и перепечатанная на той же машинке, — имеется в архиве А. К. Виноградова⁹¹. В обоих текстах среди материалов группы «Б», озаглавленной «Готовы к печати», под № 24 значится: «Письма Натальи Николаевны Пушкиной, 3 листа». В дальнейшем тексте они упоминаются еще раз, в той же формулировке, в числе изданий, признающихся срочными.

В докладной записке Щелкунова из предложенного музеем плана изданий выбраны 18 номеров, которые желательно напечатать в первую очередь. Среди них четвертым пунктом значится «Письма Н. Н. Пушкиной, 3 печ. листа», пятым — «Рисунки А. С. Пушкина, 1 лист» и десятым — «Дневник А. С. Пушкина». «Практически мы предполагаем, — говорится далее в записке, — 1) передать к техническому исполнению труды, помеченные нами в первую очередь, из них прежде всего

1) Грезеля, «Руководство к библиотековедению», как основной труд по библиотековедению,

2) Дневник А. С. Пушкина,

3) Письма Н. Н. Пушкиной и Рисунки А. С. Пушкина, как проливающие свет на неизвестные еще стороны жизни великого писателя...»⁹²

Как видим, в записке Щелкунова инициалы Натальи Николаевны не раскрыты и пункт № 3 «Письма Н. Н. Пушкиной и Рисунки А. С. Пушкина» сохраняет ту же двусмысленность, которую мы уже встречали

в телефонограмме Виноградова Георгиевскому.

Записка рассматривалась редколлегией Госиздата по докладу Виноградова 4 ноября 1920 года. Краткая протокольная запись фиксирует следующее решение: «Старые договоры оплатить и переводы по ним не прекращать; в дальнейшем каждая книга к изданию присылается в Госиздат для утверждения⁹³». Таким образом, из пушкинских материалов далее могла финансироваться только работа над Дневником, оформленная ранее договорами.

Больше никаких упоминаний в архивах музея и Госиздата ни о письмах Пушкина и их подготовке к печати, ни о письмах Пушкиной нет.

Документы, которые пока известны, недостаточны для окончательного решения вопроса о значении двух строк в отчете Издательской комиссии, сообщаящем, что письма Натальи Николаевны Пушкиной готовы к печати. В пользу их достоверности, как кажется, говорят опубликованные С. Г. Энгель письмо Брюсова в коллегия Наркомпроса, запрос Госиздата в Румянцевский музей и примечание М. Н. Сперанского к изданию Дневника Пушкина, где сказано, что А. А. Пушкин передал в музей в мае 1882 года «письма Пушкина, его жены»⁹⁴.

Однако если принять весь предшествующий ход доказательств, то все эти три текста теряют значение документальных свидетельств: Брюсов и Сперанский лишь разделили господствовавшую в литературе точку зрения, запрос же Щелкунова был, несомненно, продиктован Брюсовым, формулировка которого, в свою очередь, была заимствована из книги Щеголева.

Надо сказать, что сведения Брюсова о составе пушкинских материалов Румянцевского музея, хотя он работал над ними много лет, не были точны. Это не раз отмечалось критиками его работ и подтверждается его архивом. Предприняв в 1918 году издание собрания сочинений Пушкина, он начал готовить к печати систематический указатель источников по жизни и творчеству Пушкина. Сохранилось несколько черновых вариантов его — все они относятся к лету 1919 года⁹⁵. Во всех вариантах Брюсов уверенно поместил письма Н. Н. Пушкиной к мужу как неопубликованные и хранящиеся в Румянцевском музее, однако не упомянул о том, что в музее хранятся письма самого Пушкина к жене, а указав на Дневник, ничего не сказал об ушаковском альбоме, поступившем в музей годом раньше.

Против достоверности двух строк отчета — все остальные изученные нами документы, и среди них — авторитетное свидетельство Бартенева, не опровергнутое пока другим, более авторитетным.

Итак, долго размазывавшаяся ниточка архивных поисков не привела нас к однозначному решению. Нужны новые документы и новые факты — кто знает, найдутся ли они... Однако и то, что уже выяснено сейчас, заставляет решительно отвергнуть скороспелые, рассчитанные не на науку, а на сенсацию, выводы С. Г. Энгель. История поступлений пушкинских материалов в Румянцевский музей, имеющиеся сведения об источниково-ведческой осведомленности пушкинистов в начале XX века, документы, рисующие события 1919—1920 годов в музее и Госиздате, — все это заставляет с недоверием отнестись

к упоминанию о подготовленных к печати письмах Натальи Николаевны Пушкиной. Скорее всего, как и в остальных документах, приводившихся выше, в отчете Издательской комиссии имелись в виду письма к Наталье Николаевне. И если это опечатка машинистки, то будем ей благодарны за то, что она заставила нас наконец разобраться в истории этого вопроса.

Но где же письма Натальи Николаевны к мужу? Этого мы не знаем. Мы убедились лишь, что Румянцевскому музею они никогда не принадлежали. Полную ясность в этот вопрос могли бы внести осведомленные о судьбе семейных бумаг потомки Н. А. Меренберг, а может быть, архив А. А. Пушкина, несомненно существовавший, но не дошедший до наших хранилищ. Поиски эти останутся делом будущего.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ И. Фейнберг, История одной рукописи. М., 1967, стр. 119—120.

² «Новый мир», 1966, № 11, стр. 276.

³ Кто переделывал записи, не сказано, но явно, что логика автора относит их к событиям 1919—1920 годов, иначе привлекать это наблюдение было бы незачем.

⁴ Архив ГБЛ, оп. 34, д. 21.

⁵ Архив ГБЛ, оп. 17, д. 123, л. 85.

⁶ История Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина за 100 лет. 1862—1962. М., 1962, стр. 68—69.

⁷ Архив ГБЛ, оп. 17, д. 130.

⁸ Архив ГБЛ, оп. 34, д. 21, протокол № 26 (нумерация листов нет).

⁹ Вряд ли стоит доказывать недопустимость подобного метода домысливания недостающих фактов, но

нельзя не указать на реальные последствия его применения: в журнале „France—URSS magazine“ в марте 1967 года напечатана статья Ж. Шампенуа „Poushkin. Sur un duel et des lettres perdus“, где версия об исчезновении писем из Румянцевского музея «при таинственных обстоятельствах» излагается уже со ссылкой на статью Энгель как факт, научно доказанный.

¹⁰ М. А. Цявловский, Посмертный обыск у Пушкина. — Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 286, 308.

¹¹ Там же, стр. 308.

¹² М. Л. Гофман и Сергей Лифарь, Письма Пушкина Н. Н. Гончаровой. Париж, 1936, стр. 23—24.

¹³ Беседа с А. А. Пушкиным. — «Русские ведомости», 1911, № 236; У А. А. Пушкина в Москве. — «Сын отечества», 1899, № 99.

¹⁴ Б. Л. Модзалевский, Работы П. В. Анненкова о Пушкине. — В кн.: «Пушкин», 1929, стр. 351—371.

¹⁵ Журнал заседания от 26 мая 1837 г. — «Летопись Литературного музея», кн. 5. М., 1939, стр. 369; письмо

III опекунства редактору «Отечественных записок» от 31.XII.1841. — ПД, ф. 244, оп. 19, № 35, л. 1 об.

¹⁶ В. Андерсон, Н. И. Тарасенко-Отрепков и автографы А. С. Пушкина. — «Русский библиофил», 1913, № 6, стр. 21—27.

¹⁷ Цит. по статье С. А. Переселенкова «Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину». — «Пушкин и его современники», вып. VI. Слб., 1908, стр. 40—41. Московский цензурный комитет принял такое решение 25 апреля 1858 г. — ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, ед. хр. 399.

¹⁸ Дочь Н. Н. Ланской А. П. Арапова писала, что письма были обещаны матерью старшей дочери Марии, но потом с согласия последней отданы Наталье, остро нуждавшейся в то время (в связи с разводом с М. Л. Дубельтом). Вопреки утверждению Энгель («Новый мир», 1966, № 11, стр. 272) нет никаких сведений о том, были ли ей одновременно переданы письма к Пушкину самой Натальи Николаевны. — Лит. приложение к «Новому времени», 1908, № 11449.

- ¹⁹ И. С. Тургенев, Полн. собр. сочинений и писем. Письма, т. XI, 1966, стр. 240.
- ²⁰ ПД, ф. 7, ед. хр. 11.
- ²¹ Письмо от 5.IX.1876 — Стасюлевич и его современники, т. III, 1912, стр. 31.
- ²² «Вестник Европы», 1878, кн. 1 и 3.
- ²³ Слепо (франц.) — И. С. Тургенев, Письма, т. XII, стр. 213; т. XI, стр. 288.
- ²⁴ Там же, т. XII, стр. 149.
- ²⁵ ПД, ф. 244, оп. 27, д. 36, лл. 163—166. Письмо А. А. Пушкина к вел. кн. Константины Константиновичу от 6 марта 1905 года.
- ²⁶ См. описание этих материалов, сделанное В. И. Срезневским. — «Пушкин и его современники», вып. 2, 1904, стр. 12.
- ²⁷ П. И. Бартевев, Рецензия на III том «Переписки А. С. Пушкина» под ред. В. И. Савитова. — «Русский архив» 1912, № 1, обложка.
- ²⁸ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 279, л. 66.
- ²⁹ Отпуск от 17 сентября 1880 года рукою А. Е. Викторова с правкой В. А. Дашкова. — Архив ГБЛ, оп. 1, д. 279, лл. 98—99.
- ³⁰ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 279, лл. 103—108.
- ³¹ ЦГАЛИ, ф. 46, д. 572, л. 339; ф. 636, оп. 1, д. 126 и 410.
- ³² ЦГАЛИ, ф. 636, оп. 2, д. 13.
- ³³ Это и было сделано: в книгу они внесены уже в ином виде и порядке, чем это было в реестре Бартевева.
- ³⁴ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 279, л. 132.
- ³⁵ ГБЛ, ф. 51, л. 28. Письмо А. Е. Викторова Ф. В. Буславу от 8. XII.1881.
- ³⁶ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 279, л. 133.
- ³⁷ Стасюлевич и его современники, т. III, стр. 654.
- ³⁸ Н. А. Меренберг удержала у себя одиннадцать писем — вероятно, не столько как реликвию, сколько из материальных соображений: в 1892 году ее зять А. Кондырев предлагал эти письма антиквару Шибанову за «хорошую цену» (ГБЛ, ф. 342, 24, 67). Впоследствии они достались по наследству ее дочери гр. Торби.
- ³⁹ ПД, ф. 244, оп. 27, д. 36, лл. 163—166.
- ⁴⁰ «Мне удалось обнаружить лишь писарскую копию письма А. А. Пушкина директору музея В. А. Дашкову, которым сын поэта сопровождал передачу 64 писем Пушкина Наталье Николаевне. На этой копии имеются приписки А. Е. Викторова... Возможно, что дополнения А. Е. Викторова... взяты из несохранившегося письма его [А. А. Пушкина] о передаче писем матери». — «Новый мир», 1966, № 11, стр. 277.
- ⁴¹ ГБЛ, ф. 51, 23, 69.
- ⁴² ГБЛ, ф. 236, № 76.
- ⁴³ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 304, л. 15.
- ⁴⁴ Там же, л. 16.
- ⁴⁵ На конверте надпись рукою Н. А. Меренберг: «Его Превосходительству Александру Александровичу Пушкину».
- ⁴⁶ ПД, ф. 244, оп. 1, № 1567.
- ⁴⁷ Отчет Моск. публичн. и Румянц. Музея за 1879—1882 гг. М., 1884, стр. 34.
- ⁴⁸ Судьба переписки А. С. Пушкина. — «Русская молва», 31 марта 1913 года, № 109; Где переписка А. С. Пушкина с женою? — «Утро России», 31 марта 1913 года, № 75.
- ⁴⁹ Б. Л. Модзалевский, А. А. Пушкин. Некролог. — Пушкин и его современники, вып. XIX—XX. Пг., 1914, стр. VII—VIII.
- ⁵⁰ Дуэль и смерть Пушкина. — Там же, вып. XXV—XXVI. Пг., 1916, стр. XVIII—XIX.
- ⁵¹ И. С. Тургенев, Письма, г. XI, стр. 241.
- ⁵² Стасюлевич и его современники, т. III, стр. 31.
- ⁵³ Отчет Моск. публичн. и Румянц. Музея за 1879—1882 гг. М., 1884, стр. 34.
- ⁵⁴ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 405, л. 50.
- ⁵⁵ Нельзя не отметить подобную же вольность словоупотребления А. А. Пушкина, отразившуюся в другом интервью с ним. В заметке «У А. А. Пушкина в Москве» («Сын отечества», 1899, 13/25 апреля), где речь идет о рукописи Дневника Пушкина, говорится: «Мемуары эти незадолго до смерти передала мне моя мать».
- ⁵⁶ Архив ГБЛ, оп. 1, д. 609, лл. 64—66.
- ⁵⁷ Там же, лл. 76, в-д.
- ⁵⁸ Отчет музея за 1903 г. М., 1904, стр. 40; Отчет музея за 1904 г. М., 1905, стр. 36.
- ⁵⁹ «Русская старина», 1884, л. 5—5 об.
- ⁶⁰ ЦГАЛИ, ф. 437, ед. 357, л. 5—5 об.
- ⁶¹ Пушкин и его современники, вып. II. Спб., 1904, стр. II, XII, XIV.
- ⁶² ГБЛ, ф. 217, б. ш.
- ⁶³ ЦГАЛИ, ф. 437, ед. 92.
- ⁶⁴ Письмо от 28 октября 1904 года. — ГБЛ, ф. 217, б. ш.
- ⁶⁵ ЦГАЛИ, ф. 437, ед. 92.
- ⁶⁶ Архив АН СССР (ЛО), ф. 9, оп. 1, д. 772, лл. 70—71.
- ⁶⁷ Н. В. Измайлов, Записка «О письмах Пушкина к Н. Н. Пушкиной в Гос. Библиотеке СССР им. Ленина» (неопубл.).
- ⁶⁸ ЦГАЛИ, ф. 437, оп. 1, ед. 36, л. 2.
- ⁶⁹ «Трудно оторваться от чтения писем его к супруге... Ответные письма, если и появятся в свет, то лишь в очень далеком будущем». — «Русский архив», 1912, № 1, обложка.

⁷⁰ «По следам Пушкина. Где письма Н. Н. Пушкиной к Пушкину?» — «Стройка», 1930, 5 мая; «Письмо Н. Н. Пушкиной о Пушкине» — вечерний выпуск «Красной газеты» от 20 июля 1928 года.

⁷¹ «Литературное наследство», № 16—18. М., 1934, стр. 553.

⁷² Архив ГБЛ, оп. 52, д. 8, лл. 75—76.

⁷³ ЦГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, ед. 434, лл. 6—6 об.

⁷⁴ И. Л. Фейнберг, указ. соч., стр. 116.

⁷⁵ Наборная рукопись его, написанная рукою Георгиевского, и верстка сохранились в архиве В. Ф. Саводника (ЦГАЛИ).

⁷⁶ ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. 107, лл. 15—16.

⁷⁷ ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. 181, ч. 2, лл. 154—158.

⁷⁸ ГБЛ, ф. 386, 109, 31.

⁷⁹ Архив ГБЛ, оп. 17, д. 2, л. 64.

⁸⁰ Архив ГБЛ, оп. 17, д. 117.

⁸¹ ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, д. 85, лл. 9—10; там же, д. 16, л. 155; см. также ф. 2306, оп. 1, д. 181.

⁸² Неизданный отчет за 1916—1922 годы, верстка, стр. 12.

⁸³ Архив ГБЛ, оп. 34, д. 2, лл. 15—17.

⁸⁴ Архив ГБЛ, опись 34.

⁸⁵ ЦГАОР, ф. 395, оп. 6, ед. 29, лл. 6—9 об., 24—28 и др.

⁸⁶ Выписка из протокола Уч. Коллегии от 2.X.1920.— Архив ГБЛ, оп. 17, д. 2, л. 65.

⁸⁷ Архив ГБЛ, там же, лл. 119—120.

⁸⁸ Архив ГБЛ, оп. 17, д. 2, л. 131.

⁸⁹ ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, д. 80, лл. 317—319.

⁹⁰ Архив ГБЛ, оп. 17, д. 145.

⁹¹ ЦГАЛИ, ф. 303, оп. 1, ед. 183, лл. 13—15.

⁹² ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, д. 80, лл. 317—319. Нужно отметить, что сами рукописи исследователи не рассматривали, а видели лишь список их.

⁹³ ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, д. 108, лл. 8 а, 8 б.

⁹⁴ Дневник А. С. Пушкина. «Труды Государственного Румянцевского музея», вып. I. М., 1923, стр. 29. Примечание это комментирует текст предисловия М. Н. Сперанского к Дневнику: «В 1880 году... бумаги эти в том составе, в каком они были возвращены после издания Анненкова, переданы были для общественного пользования в Рукописное отделение Румянцевского Музея в Москве сыном поэта». Как видим, и сам текст предисловия неточно освещает факты: передача производилась А. А. Пушкиным в четыре приема — в 1880, 1882, 1903 и 1904 годах.

⁹⁵ Один — в ПД, один — в ГБЛ, один — в ЦГАЛИ.

Ю. Коротков

Господин, который был в субботу в Фулеме

(Чернышевский у Герцена
летом 1859 года)

1. Странная записка

Клочок белой, плотной, старинной бумаги размером в игральную карту. Края с трех сторон оборваны. Линия отрыва, ровная по бокам, внизу волниста. В правой половине — печатный текст: обрывки английских фраз расхваливают каменный уголь. Клочок старательно, но нетерпеливо вырван из рекламного проспекта британской угольной компании.

На обороте — поперек проступающих типографских строк — черными чернилами:

«Le Monsieur qui a été Samedi à Fulham est bien prié de repasser demain Mardi depuis 3 à 10 h.»*

Красивый, уверенный почерк. Но концы строк слегка устремляются вверх, буквы разной толщины и нечетких очертаний, на правой поле смазанная клякса. *Писавший горпился, в его руке было плохое перо.*

Поверхность бумаги гладкая: ни складок, ни следов сгиба. *Если конверт существовал, листок лежал в нем несложенным.*

Записка напечатана в собрании сочинений Герцена как письмо Д. В. Стасову от 11 июля 1859 года¹.

Дата и адресат определяются по связи с другим письмом, которое хранится в Пушкинском доме² вместе с запиской. Вот это письмо Герцена Стасову от 5 июля 1859 года, на конверте которого — имя, адрес и почтовый штампель.

«Мы все это время были в хлопотах, — пишет Герцен Стасову, — и потому не успели побывать у вас. Если вы свободны — не приедете ли завтра, т. е. в среду — вечером к нам.

Я еду с Огаревым в четверг дни на два в St. Leonard искать приморскую квартиру.

От Кавелина, или, лучше об нем я имел весть — он в Теплице и будет в Лондоне к 20 июля.

Je vous salue cordialement**.

Ал. Герцен» (XXVI, 281).

В комментариях к записке говорится³, что «Стасов не застал Герцена в субботу (т. е. 9 июля)», так как он уехал в четверг на два дня. «Вернувшись и узнав, что кто-то посетил его, Герцен оставил записку», предлагая зайти во вторник, 12 июля.

Здесь все проблематично. Ни о посещении Стасовым Фулема 9 июля, ни о задержке Герцена на прогулке ничего не известно. К тому же нелепо, оставляя записку в собственном доме, указывать его адрес.

По мнению комментатора, записка написана лицу, имени которого Герцен не знал. Однако такая возможность исключена «В воскресенье, — писал Герцен, — я от 3 часов до ночи дома и вечером в среду. Согласитесь, что меньше нельзя сделать, как спросить запиской, когда вы дома, и кто желал это знать» (XXVI, 272). Господину, не назвавшему своего имени, Герцен не стал бы назначать свидания, да еще в неприемный день. Н. А. Тучкова-Огарева вспоминала, что «...всех русских приезжих впускали в отдельную половину гостиной, куда я приходила узнавать, кто именно приехал, надолго ли в Лондоне...» (149)⁴. Стасов, бывавший уже в конце июня в Фулеме, не мог остаться неузнанным.

Доказательства комментатора не слишком убедительны. Специфические особенности документа не приняты им во внимание.

Дружеское письмо с сердечным приветствием и записка без подписи с обращением в третьем лице безличным оборотом. Не значит ли это, что сам адресат вовсе не был в Фулеме в субботу, а только должен передать приглашение господину, который был там?

Случайный обрывок бумаги. Неровно оторванный край. Торопливый почерк. Помарки... Не за письменным столом, а где-то вне дома писалась записка. Там, где оказался под рукой рекламный бланк и лежало перо, которым пользовались многие.

Приглашение через посредника, написанное не дома. Холодный тон и вместе с тем заинтересованность в повторном визите. Это необъяснимо, если господин в субботу попросту не застал Герцена дома. Очевидно, встре-

**Господина, который был в субботу в Фулеме, очень просят прийти снова завтра, во вторник, между 3 и 10 часами (франц.).

** Я вас сердечно приветствую (франц.).

ча состоялась, но между собеседниками что-то произошло. Тогда выражение «очень просят» означает сожаление о происшедшем и готовность продолжить беседу.

Письмо Стасову от 5 июля напечатано в томе под номером 290, записка — под номером 292. Номер 291 — письмо А. А. Герцену от 10 июля. В этом письме, между прочим, Герцен просит сына, жившего в Берне, передать старинному другу Карлу Фогту, что «его брошюра почти целиком перепечатана в петербургском «Современнике» (XXVI, 282). Июньская книжка «Современника», в которой сделана эта перепечатка, вышла в свет всего за девять дней до этого — 19 июня по старому стилю (1 июля — по новому)*. Так быстро в Лондон не поступали даже петербургские газеты! Журнал доставлен не почтой — его привез Н. Г. Чернышевский, находившийся как раз в эти дни в Лондоне. Не Чернышевский ли тот господин, о котором идет речь в странной записке?

2. Путевой журнал

Миниатюрная записная книжка в кожаном переплете с медным замочком. «Путевой журнал» Д. В. Стасова, дневник его заграничной поездки 1859 года⁵. Упомянутый однажды в литературе⁶, он почти на пятьдесят лет стал недоступен исследователям, и обнаружить его удалось с большим трудом⁷.

Беглые карандашные записи на нелинованной бумаге. Некоторые слова позднее обведены черными чернилами. Почерк не слишком разборчивый, множество сокращений, недописанных слов. Большинство названий, многие имена — в английской транскрипции. Записи — ежедневные, без пропусков. Они крайне скупы — только перечни, ни оценок, ни впечатлений. Везде указаны дни недели, числа — изредка, но по двум стилям одновременно.

Стасов приехал в Лондон на Генделевский фестиваль. Он осматривал картинные галереи и памятники старины, посещал парламент и судебные процессы. Все увиденное за день, все встречи и знакомства он аккуратно заносил в свой дневник. Имени Герцена в «путевом журнале» нет. Его заменяет название пригорода — Фулем (Fulham, Фульгам). Имена же Тхоржевского, Чернецкого, Трюбнера называются открыто.

«Путевой журнал» устанавливает дату приезда Стасова в Лондон — 21(9) июня (л. 7)⁸. Остановившись в меблированных ком-

натах (Риджент-стрит, 67), Стасов в день приезда посетил Чернецкого. В четверг, 23 июня, Стасов побывал у Трюбнера, а затем отправился в Фулем (л. 8). Как видно, он следовал установленным для посетителей правилам. «Приезжий в Лондон, — вспоминал В. И. Кельсиев, — обыкновенно извещая Трюбнеру желание удостоиться счастья познакомиться с Герценом. Трюбнер давал адрес и приглашал написать записку. В ответ на эту записку Герцен назначал свидание...»⁹ Стасов не оставлял записки у Трюбнера, ибо в тот же день посетил Фулем. Он мог лишь получить ответ на записку, оставленную в день приезда у Чернецкого¹⁰.

Если даже Стасов явился в Фулем без предупреждения, его приняли бы тотчас. «Когда бывали из России люди, уже известные Герцену лично или по их трудам, — писала Тучкова, — он бесконечно радовался им и бросал для них свои обычные труды...» (148)¹¹. Друг Кавелина, хороший знакомый Боткина и Тургенева мог рассчитывать на гостеприимство Герцена¹². Стасов привез с собой корреспонденцию Каткова для «Колокола»¹³, а главное — письмо Кавелина, которое Герцен ждал. «Письмо это, — писал Кавелин Герцену, — передаст тебе очень надежный и прекрасный человек, вполне заслуживающий, чтоб ты принял его хорошо... Прибавлю, что господин, который передаст это письмо, один из твоих деятельнейших корреспондентов. Ты сам оценишь, какой это милейший господин. По крайней мере я чувствую к нему большую слабость»¹⁴. С такой аттестацией Стасов был для Герцена самым желанным гостем.

Вторично Стасов был в Фулеме в субботу, 25 июня (л. 9), в третий раз — во вторник, 28 июня, в этот визит он познакомился с Б. И. Утиным (л. 10). Получив письмо Герцена от 5 июля, он посетил Фулем в среду, 6-го (л. 14). Наконец, Стасов был у Герцена в понедельник, 11 июля (л. 15). На следующий день он вторично посетил Тхоржевского (в первый раз он был у него 8-го). В пятницу, 15 июля, Стасов уехал в Париж (л. 17).

9 июля Стасов не был в Фулеме. Но он был там в субботу, 25 июня. Может быть, записку следует датировать понедельником 27-го? Но это означает, что Стасов не был принят дважды — в четверг, 23-го, и в суб-

* В XIX веке старый стиль отставал от нового на 12 дней. В дальнейшем даты всех событий, происходивших в России, даются по старому стилю, за границей — по новому.

боту, 25-го. Или 25-го между Стасовым и Герценом произошел конфликт. То и другое равно вероятно¹⁵. Ни малейшей возможности отождествить Стасова с «господином, который был в субботу в Фулеме», и тем подтвердить предположение комментатора не остается. Но если Стасов только посредник — господин был в числе его лондонских знакомых. Кроме Утина, Стасов встречался у Герцена с Чернышевским¹⁶. Его имя упоминается в «путевом журнале» трижды.

«Среда [...] вечер в Фулеме, где [были] У[тин] и Ч[ернышевский]» (л. 14).

«Суббота. Утром [был] у Черны[шевского], потом в Бриджвотер-стрит, потом в British Institutum, этуда на Isle of Wight в 5 часов через Kingston и Portsmouth; в тот же вечер в Ventnor; утром в 11 часов в Nudles, дорогой купались в Fresh Waters, ночевали Newport, а в понедельник в 3 часа [был] в Лондоне, где в 4 часа в House of Commons слушал Gladston, James Graham, Disraeli, Wilson etc. Обедал с Ути[ным] и Чернышевск[им] у Симора, вечером в Фуль[ем]» (л. 14 об. — 15).

Среда — это 6 июля, суббота — 9-е, понедельник — 11-е. Именно в эти дни Стасов встречался с Чернышевским. Роль Стасова как посредника, передающего Чернышевскому приглашение Герцена, вполне вероятна.

3. Неожиданное путешествие

Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон и его переговоры с А. И. Герценом — важный эпизод в истории русского освободительного движения. Единственная встреча двух вождей революционной демократии давно привлекла к себе внимание исследователей. Выяснению вопроса о целях и результатах поездки, предположениям о содержании переговоров, гипотезам о их последствиях посвящены специальные труды¹⁷. Но в спорах исследователей, в столкновениях концепций осталась в тени фактическая сторона эпизода. Маршрут и хронология поездки Чернышевского, даты и обстоятельства его встреч с Герценом до сих пор точно не установлены.

Принято считать, что Чернышевский находился в Лондоне 26—30 июня старого стиля, или 8—12 июля нового¹⁸. Но Д. В. Стасов в «путевом журнале» свидетельствует, что встретился с Чернышевским у Герцена еще 6 июля. Это ставит под сомнение укрепившуюся в литературе датировку.

С легкой руки А. Я. Панаевой¹⁹ поездку Чернышевского часто называют конспиратив-

ной. Но он уехал из Петербурга вполне легально, и «С.-Петербургские ведомости» согласно правилам трижды объявляли о его предстоящем выезде за границу²⁰. Скрывался не отъезд за границу, а намерение посетить Лондон. Неожиданная и кратковременная поездка была совсем не похожа на обыкновенные заграничные путешествия. Поэтому среди знакомых распространялась версия о болезни А. Н. Пынина, двоюродного брата Чернышевского, находившегося в двухлетней заграничной командировке для пригласения к профессорскому званию²¹.

Заграничное путешествие было совершенно непредвиденным и для самого Чернышевского. В начале июня он собирался на месяц в Саратов²², а вместо этого оказался в Лондоне. Причиной столь внезапной перемены планов была статья Герцена «Very dangerous!!!», напечатанная в 44-м листе «Колокола».

В этой статье, резкой и несправедливой, Герцен обрушился на «Современник». Журнал не был назван, но по прозрачным намекам все понимали, о ком идет речь. Сурово осуждая критику обличительной литературы и насмешки над гласностью, Герцен предостерегал неназванных журналистов от опасности заслужить благодарность правительства.

Больше всех считал себя задетым Добролюбов, который решил отвечать Герцену печатно. Свой ответ Добролюбов включил в рецензию на сборник «Весна». Для этого в отпечатанной июньской книжке «Современника» была вырезана страница и вместо нее вклеена новая²³. Цензурное разрешение получено 12 июня ст. стиля, выпуск в свет сделан 19-го²⁴. Никто не мог помешать редактору получить в типографии экземпляр собственного журнала до официального выпуска, Чернышевский так и поступил.

Как известно, из Петербурга Чернышевский выехал 17 (29) июня на пароходе «Нева» в Любек²⁵. Оттуда он отправил 20 июня старого стиля письмо отцу²⁶. Самый короткий путь от Любека до Парижа — через Гамбург — Бремен — Кёльн — Брюссель. На проезд по этому маршруту требовалось около суток²⁷. К исходу 3 июля нового стиля (21 июня — старого) Чернышевский приехал в Париж. «Я видел его здесь только два дня», — писал Пынин В. И. Ламанскому (128). Два дня — это, очевидно, 4 и 5-го. Во всяком случае, 5 июля Пынин сообщал Утину: «... в Лондоне в эти дни вы можете найти Чернышевского — в Hôtel de l'Europe, Leicester square...» (125). Информация преследовала утилитарные цели²⁸.

«Вам, — продолжал Пыпин, — может быть, не скучно будет повидаться с ним; я же попрошу вас сделать ему какие-нибудь указания, которые ему могут понадобиться: в путешествии он человек новый. Этим вы и меня обяжете». Другими словами, Пыпин поручает Чернышевского пожеланиям своего лондонского товарища. «Чернышевский, — пишет далее Пыпин, — будет в Лондоне очень короткое время, и это, может быть, помещает ему раньше быть у вас. Зайдите к нему по вашей обыкновенной доброте. Ему очень приятно и интересно ваше знакомство» (125—126). Похоже, что это написано с ведома Чернышевского.

Можно не сомневаться в том, что Утин, как человек обязательный, немедленно примет в *Hôtel de l'Europe*. Поэтому письмо могло быть отправлено только в день выезда Чернышевского из Парижа. Возможно, он взял его с собой и отправил с посыльным уже из отеля.

Париж — Кале, поспешным поездом — 8 часов. Кале — Дувр, пароходом — 1,5 часа. Дувр — Лондон, поездом — 2,5 часа. Всего 12 часов пути. Пароходное сообщение два раза в сутки — утром и вечером²⁹. Если Чернышевский выехал из Парижа вечером 5 июля, в Лондоне он был на следующее утро. Подсчет совпадает со свидетельством Стасова. Чернышевский был у Герцена в день приезда.

«Кажется, Герцен и Чернышевский, — вспоминала Н. А. Тучкова-Огарева, — виделись не более двух раз» (158). Осторожной формулой: «кажется... не более...» мемуаристка утверждает, что два-то раза они наверняка встречались³⁰.

Первая встреча происходила в присутствии Утина и Стасова. По всей вероятности, разговор, ради которого Чернышевский спешил в Лондон, при посторонних и не начинался. Герцен лишь назначил время, когда редактор «Современника» сможет прийти снова для беседы вдвоем.

Публикация в «С.-Петербургских ведомостях» сообщала, что титулярный советник Чернышевский прибыл в Петербург 7 июля (старого стиля) из Штеттина на пароходе «Владимир»³¹. Дату подтверждает и неопубликованное письмо Александра Васильевича Стасова к брату Дмитрию: «Твое письмо через Чернышевского, — писал он в четверг 9(21) июля, — я получил во вторник, но меня не было дома, и потому я его не видел и не мог получить никаких изустных сведений...»³²

Оставляя на квартире А. В. Стасова письмо, привезенное из Лондона, Чернышевский

написал на конверте: «Дмитрий Васильевич жив, здоров и благополучен. Я виделся с ним во вторник» (XIV, 379)³³. Разумеется, во вторник прошедшей недели, то есть 12 июля (30 июня). Надо полагать, в этот день Чернышевский получил доставленное им письмо. Но в «путевом журнале» об этом ничего нет.

Письмо Д. В. Стасова к брату помечено: «11 июля 1859 г., Лондон, 3 часа ночи»³⁴. Но ночь с 10 на 11 июля Стасов провел в Ньюпорте на обратном пути с острова Уайт. Значит, дата завершает письмо, написанное в ночь с 11-го на 12-е. В ночной спешке Стасов поставил на письме вчерашнюю дату — очень распространенная и извинительная ошибка. Дата отъезда Чернышевского из Лондона — 12 июля (30 июня) — получает документальное обоснование.

Чернышевский провел в Лондоне шесть полных суток. Приехав утром в среду 6 июля, он отправился в обратный путь утром во вторник 12-го. В первый раз он был у Герцена в день приезда. Дата второй встречи в источниках не называется. Но ее можно определить методом исключения.

В четверг Герцен и Огарев уехали на два дня на прогулку. Значит, ни 7-го, ни 8-го новая встреча состояться не могла. 10-го — воскресенье, общий приемный день, когда в доме собирались европейские эмигранты и бывало много случайных людей. Герцен старался, — вспоминала Тучкова, — чтоб русские не бывали у нас по воскресеньям, потому что трудно ручаться, чтоб не проник шпион к нам в этот день...» (148). В понедельник 11-го Чернышевский собрался уже уезжать. Вряд ли он так поступил бы, не попытавшись добиться объяснения, ради которого приехал. Остается один день — суббота 9 июля.

4. Удивительное недоразумение

Рассказывая о тех случаях, когда Некрасов посвящал его в свои личные дела, Чернышевский писал в 1884 году: «Одним из таких случаев, например, было то странное недоразумение, для прекращения которого пришлось мне, по желанию Некрасова и Добролюбова, проспать всю Германию от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути всю сухопутную дорогу» (I, 731)³⁵.

Через пять лет в одном из примечаний к «Материалам для биографии Н. А. Добролюбова» Чернышевский упомянул «удивительное недоразумение, в которое впал при чтении «Литературных мелочей прошлого

года» Николая Александровича один из знаменитейших и действительно лучших деятелей русской литературы»³⁶.

А за тридцать лет до этого, 5 июня 1859 года, Добролюбов записал в дневнике: «Мне все кажется, что вся эта история — чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение» (VIII, 570)³⁷.

Недоразумением Чернышевский и Добролюбов называют не «столкновение из-за «Vegu dangerous!!!»³⁸, а выступление Герцена с этой статьей. Или точнее: непонимание Герценом истинного смысла статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». Таковы прямые свидетельства самых осведомленных в этой истории людей.

Статья Добролюбова состояла из двух частей и печаталась в январской и апрельской книжках «Современника» за 1859 год. Рассматривая журнальную публицистику, Добролюбов нападал на так называемую обличительную литературу. Каждая из статей по-своему решала эту тему.

Январская статья выясняла *причину* ничтожности и мелочности обличительной литературы, которая, по мысли Добролюбова, заключалась в том, что большинство литераторов — люди «отсталые, робкие и бессильные». Принадлежат целиком прошедшему времени, эти «старые авторитеты», «прежние деятели», «пожилые мудрецы» «не умеют заглянуть в глубь современной общественной среды, не понимают сущности новых потребностей и стоят все на том, что толковалось двадцать лет тому назад» (IV, 66). «Лучшие люди предшествующего поколения», но вместе с тем и «литературные маниловы» наполняют литературу «лестью и самообольщением», «трескучими фразами», «повторением задов».

Прошлому поколению Добролюбов противопоставляет поколение новое, стремление которого «гораздо выше того, чем обольщалась в последнее время наша литература» (IV, 55). Молодые люди приняли от своих предшественников их убеждения как готовое наследие. Но их цель — «не совершенная, рабская верность отвлеченным идеям, а признание возможно большей пользы человечеству» (IV, 73). Характер нового поколения должен дать ему в событиях иную роль.

Проблему двух поколений Добролюбов ставит в общественно-политическом плане. Возрастные приметы очень условны, и публицист специально замечает, что «пожилые мудрецы» «встречаются и между двадцатилетними» (IV, 66). И в старом поколении он находит исключения: Белинский и еще пять-шесть человек, в числе которых имеются

в виду Герцен и Огарев. «Это люди высшего разбора, пред которыми с изумлением преклонится всякое поколение» (IV, 72).

Выясняя различие между прошлым и нынешним поколениями, Добролюбов разоблачает бесплодность русского либерализма и отдает свои симпатии новой общественной силе — революционно-демократической молодежи.

Апрельская статья «Литературных мелочей» разоблачала *главную ложь*, которая «состоит в высоком мнении литературы о том, что она сделала» (IV, 80). Рассматривая основные вопросы, возбуждением которых гордятся публицисты, Добролюбов приходит к выводу, что ни в одном из современных общественных вопросов литература «не имеет ни малейшего права приписывать себе инициативы» (IV, 87). И ни один из этих вопросов не был разрешен литературой. «...Все наши общественные потребности и стремления, — пишет Добролюбов, — прежде находили себе выражение в административной и частной экономической деятельности, а потом уже (и нередко — долго спустя) переходили в литературу» (IV, 79).

Добролюбов многократно напоминает читателю, что «литература служит отражением жизни» (IV, 55), что его «недовольство относится не столько к литературе, сколько к самому обществу» (IV, 108), давая тем самым понять, что главное содержание статьи не положение литературы, а общественные отношения. «Литература, — утверждает Добролюбов, — не имела у нас инициативы в общественных вопросах» и она не может ее иметь «при современной организации русского общества» (IV, 88). Литература в России — не общественная сила, а все еще *«потеха*, как и прежде» (IV, 90). Так, через положение литературы, все идеи которой зависят от административных распоряжений правительства, Добролюбов обосновывает необходимость и неизбежность революции в России.

Статья «Литературные мелочи прошлого года» явилась первым изложением новой политической программы реорганизованного «Современника». Критика обличительной литературы была формой, своеобразным приемом для выражения в подцензурной печати революционного призыва.

Герцен в то время еще не расстался с либеральными иллюзиями и считал возможным общественное решение крестьянского вопроса. Обращаясь с письмами к царю, всячески одобряя самый незначительный шаг вперед и порицая уступки крепостникам, Герцен подталкивал правительство в нужном

направлении. Но тактическая платформа его была значительно шире: «Освобождение крестьян с землею — один из главных и существенных вопросов для России и для нас, — писал он в «Колоколе» 1 ноября 1858 года. — Будет ли это освобождение «сверху или снизу» — мы будем за него!» (XIII, 363). Осенью 1858 года со страниц «Колокола» впервые прозвучал призыв к топору. Публикуя два письма, критиковавших позицию «Колокола» слева^{38а}, Герцен не соглашаясь с неизвестными корреспондентами, но считал их письмами «с нашей стороны» и в «самых несогласиях и упреках» видел «сочувствие» (XIII, 405).

Одной из первоочередных мер для России Герцен считал отмену цензуры. Сам «Колокол» был задуман, создан и существовал как бесцензурный орган обличительства. Идея гласности, которую Герцен считал первым средством борьбы со старыми порядками, настойчиво проводилась на его страницах. Герцен надеялся, что это средство «образованное меньшинство» обратит на пользу народа. Призывая царя к отмене цензуры, Герцен полагал, что «гласность казнит» крепостников «прежде, нежели дойдет дело до правительственного бича или до крестьянского топора» (XIII, 196).

«Литературные мелочи» нападали, таким образом, на два основных пункта тактической платформы Герцена. Развенчивая «мудрую партию пожилых деятелей», Добролюбов лишал ведущей роли «образованное меньшинство». Высмеивая обличительство и доказывая несамостоятельность и бесплодность российской гласности, он дискредитировал то средство борьбы, которое Герцен считал на данном этапе важнейшим. Критика статьи Добролюбова со стороны Герцена была неизбежна. Форма, которую она приняла, явилась результатом недоразумения.

Три обстоятельства способствовали возникновению недоразумения. Во-первых, полемика с Б. Н. Чичериным, повлекшая за собой разрыв Герцена с группой правых либералов, в числе которых были его старые друзья³⁹. Почти полгода эта борьба держала Герцена в напряжении. «Нам недоставало одного в России, — писал он М. К. Рейхель 19 ноября 1858 года, — партии образованных врагов...» (XXVI, 224). И только поток писем с осуждением позиции Чичерина несколько успокоил Герцена. «...Вся молодежь за меня, — писал он 7 апреля 1859 года. — Разделение это с прародительских времен идет: якобинцы и жиронда...» (XXVI, 252). Однако

опасность новых перебежчиков была не исключена.

Во-вторых, создание в январе 1859 года правительственного комитета по делам печати («Bureau de la presse», «Бюро печати», «троемужие», «цензурный триумвират») ⁴⁰, который стал осуществлять неофициальный надзор за литературой с целью «нравственного» воздействия на журналистику и использования ее «в видах правительственных». В числе «мер воздействия» этого комитета предусматривался подкуп литераторов и редакторов.

Наконец, в-третьих, личные отношения между Герценом и Некрасовым, редактором «Современника» ⁴¹.

Подогретый этими обстоятельствами, Герцен обрушил удар на «Современник». Причиной же «Very dangerous!!!» явилась апрельская статья «Литературных мелочей». Именно она дала повод намекать на «наитие направительного и назидательного цензурного триумвирата» (XIV, 116). Она же вызвала и заключительное предостережение: «Источая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что на этой скользкой дорожке можно *досесться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею!» (XIV, 121).

Статью «Литературные мелочи» и «Свисток», иллюстрирующий основные положения этой статьи, имеет в виду Герцен, когда пишет о журналах, которые «катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности...» (XIV, 116).

Признавая промахи и ошибки «первых опытов свободного слова», Герцен уподобляет обличительную литературу тройке, «которая в поту и выбываясь из сил, вытаскивает — может, иной раз оступаясь — нашу телегу из грязи!» (XIV, 220). Смеяться над ней значит помогать «цензурной тройце», «участвовать вместе с ней в отравлении мысли» (XIV, 117).

Объекты своей критики Герцен называет «пустым балагурством», которое «скудно, неуместно», «отвратительно и гадко». Тень холодного скептика Сенковского, ни во что не верующего, смеющегося и над добром и над злом, встает со страниц «Колокола» как предостережение «Современнику». «Ему недоставало, — пишет Герцен о Сенковском, намекая и на автора «Литературных мелочей», — такого убеждения, которое было бы «делом его жизни, картой, на которой все поставлено, страстью, болью» (XIV, 120).

Эпизоду с «Very dangerous!!!» посвящено множество исследовательских работ⁴². Наблюдения литературоведов и историков над реминисценциями русской журналистики в статье Герцена представляют большой интерес. Но существует еще и авторское признание в том, что «Very dangerous!!!» — «головомойка «Современнику» (XXVI, 267). Содержащиеся в статье намеки на «Библиотеку для чтения» играют лишь вспомогательную роль. Герцен умышленно смешивает позиции двух журналов противоположного направления, объединившихся в нелюбови к обличительству. Он ставит знак равенства между «пустым балагурством» «Современника» и «чистым искусством» «Библиотеки для чтения». «Смех ради смеха» стоит «искусства для искусства». Добролюбов так это и понял и несколько месяцев спустя разъяснял: «Некоторые приняли наши слова за убеждение, что обличать вовсе не нужно и что сатира только портит эстетический вкус публики» (V, 317). Отклонив это обвинение, он переадресовывает его обличителям, которые дошли «до эстетического открытия, что и сатира может быть таким же словом для слова, как и звучные стихотворения Фета или Хомякова...» (V, 316).

Герцен писал свою статью, не зная, против кого он выступает. Под «Литературными мелочами» стояла подпись — *бог*, всего в третий раз появляющаяся в журнале. Материалы «Свистка» были подписаны разными, явно вымышленными именами. Если даже Герцен слышал фамилию Добролюбова от приезжих, то вряд ли мог составить представление о его личности и взглядах по рассказам людей, мало его знавших. О новом же курсе «Современника», о структуре и политической программе журнала, принятой с начала 1859 года, Герцену никто не мог рассказать⁴³.

Вместо призыва к революции Герцен усмотрел в «Литературных мелочах» «пустое балагурство», а Добролюбова принял за холодного скептика без убеждений, современного Сенковского. В этом и заключалось удивительное недоразумение.

5. Колоссальная глупость

М. А. Антонович вспоминает, что однажды Чернышевский, «рассказавши об одной неловкости, которую он на днях сделал, назвал ее глупостью, и затем самым серьезным и повышенным тоном продолжал: «Да, это была глупость, и вообще я в свою жизнь проделал много глупостей. Но эта глупость ничто по сравнению с той колоссальной глупостью, которую я совершил, отправившись на поклон к Герцену...» (91)⁴⁴.

Через несколько месяцев, рассказывая Антоновичу о новой своей неловкости, Чернышевский вновь повторил прежние слова о поездке к Герцену. «Тут уж я осмелился, — продолжает Антонович, — и сказал ему: «Да, вы сказали мне об ней несколько слов, но не сообщили того, что же именно вы говорили ему и он вам, а это было интересно знать». — «Ах, не говорите, пожалуйста, — резко вскрикнул он, — мне крайне неприятно и обидно вспоминать об этой поездке, и я усиленно стараюсь забыть всю эту историю». Затем умолк и немедленно перевел разговор на другие темы» (92).

Это свидетельству мемуариста заслуживает доверия: Чернышевский действительно был склонен говорить о себе в подобном тоне. Антонович сблизился с Чернышевским в апреле 1861 года⁴⁵. Значит, разговоры, о которых вспоминает мемуарист, происходили не ранее этого времени. Не сторяча, не под влиянием минутного неудовольствия назвал Чернышевский дважды свой поступок «колоссальной глупостью». Оценка была продуманной и устойчивой. Неудовлетворенность Чернышевского своей поездкой была так велика, что и спустя два года ему было «крайне неприятно вспоминать» о ней, и он «усиленно старался забыть всю эту историю».

Мемуарист даже не задается вопросом, почему столь резко осуждает себя Чернышевский. Антоновичу все ясно: «поездка оказалась безрезультатной» (84). С этой предвзятой мыслью он «анализирует» «Объяснение» Герцена и, естественно, приходит к тому же выводу. По мнению Антоновича, это «комический результат», «несерьезное и неуклюжее оправдание или, лучше сказать, смешная отговорка» (84). Грозные филиппики Антоновича не делают его разбор более убедительным. Однако его мнение, как человека, «отражающего настроение круга «Современника», оказало большое влияние на отношение исследователей к «Объяснению» Герцена.

Вопреки мнению Антоновича Герцен вполне удовлетворительно разъяснил смысл своего выступления: «...мы предупреждали наших русских собратьев, слишком нападавших на обличительную литературу, что они этим путем, сознательно или бессознательно, могут наставить комитету». Выяснилось, что нападение на обличительство было совершено с благими намерениями. Но и по форме и по существу оно противоречило взглядам Герцена. Отказаться от своих слов он не мог. Оставалось только снять намек

на влияние «триумvirата», и Герцен переводит все в план иронический. Выяснилось, что тень Сенковского вызвана напрасно, что автор статей человек глубоких убеждений, и Герцен старается отвести от него это сравнение: «Мы не имели в виду ни одного литератора, мы вовсе не знаем, кто писал статьи, против которых мы сочли себя вправе сказать несколько слов, искренно желая, чтоб наш совет обратил на себя внимание» (XIV, 138). Вполне возможно, что «Объяснением» остались недовольны редакторы «Современника», и Антонович слышал это в редакционном кружке. Но, по существу, «Объяснение» ликвидировало «удивительное недоразумение», и с этой стороны поезда Чернышевского не была безрезультатной.

Утверждая, что «Объяснение» появилось «спустя около полугода после поездки», Антонович допускает очень грубую ошибку. Оно было опубликовано всего через девятнадцать дней: Чернышевский покинул Лондон 12 июля, а «Объяснение» напечатано 1 августа^{45а}. В день отъезда Чернышевского очередной номер (выходящий 15-го) уже печатался, а в следующем появился документ.

Близость Антоновича к Чернышевскому и Добролюбову, равно как и достоинства его мемуаров, в литературе обычно преувеличиваются⁴⁶. Конечно, Антонович был близким сотрудником Чернышевского (но *только* с 1861 года) и занимал место первого критика журнала (правда, *после* смерти Добролюбова). Безусловно, он был искренне предан своему учителю и сохранил эту преданность до конца своих дней. Там, где Антонович пересказывает слова Чернышевского или вспоминает факты его жизни за те полтора года, когда он был к нему близок, верить мемуаристу можно. С учетом, разумеется, особенностей мемуаров как источника вообще и своеобразия Антоновича-мемуариста в частности. Однако многое Антонович сообщает по слухам, и уже поэтому его свидетельства заслуживают критического отношения.

«Осведомленность» Антоновича хорошо видна при сопоставлении его сведений об отношении сотрудников «Современника» к нападению Герцена со «Страничкой из дневника» Н. А. Добролюбова, источником совершенно безукоризненным. Запись, сделанная под непосредственным впечатлением рассказа Некрасова о содержании статьи Герцена, дает исчерпывающее представление о самой первой реакции двух руководителей «Современника». К сожалению, только этими сведениями источник и ограничивается.

«Я лично, — пишет Добролюбов, — не очень убит неблагоприятием Герцена, с которым могу померяться, если на то пойдет, но Некрасов обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намеки на бюро оскорбляет его, так что он чуть не решается ехать в Лондон для объяснений, говоря, что такое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то необходимо, чтобы Герцен печатно от него отказался и взял назад свои слова» (VIII, 570).

Антонович к этому добавит не может ничего. Пересказывая источник, он лишь усиливает его эмоциональность. Он пишет, что Некрасова «статья привела в ужас», что он боялся: статья «нанесет гибельный удар» (83). Добролюбов якобы «готов был лопнуть от досады и огорчения, от злости и негодования» (149). Будь мемуарист очевидцем событий, его сообщения могли бы дать дополнительные штрихи к характеристике эпизода. Но это всего лишь своеобразная интерпретация всем доступного источника. Антонович вовсе не противоречит Добролюбову. Он лишь преувеличивает, повышает тон, драматизирует, если угодно.

Добролюбов в дневнике рассказывает об отношении к статье Герцена *до* ее прочтения. Но изменилось ли оно *после*? Антонович утверждает, что да. «Деятеля «Современника» огнеслись к выходе Герцена сначала различно, — пишет он, — а потом пришли к одинаковому взгляду на нее» (78—79). Однако дальнейшее его изложение не подтверждает этого тезиса, а скорее говорит об обратном. Отношение Некрасова оставалось таким же, как засвидетельствовано в дневнике Добролюбова. Чернышевский же «скоро успокоился» (?) и «относился к этому неожиданному реприманду со смешками, остротами, шуточками», «выражал напускную радость и утешался надеждой, что цензура после этого станет относиться к «Современнику» гораздонисходительнее, чем прежде.» (79).

По мнению мемуариста, после прочтения статьи Добролюбов поступил, «очевидно, так же, как и Чернышевский. Он убедился, что Герцен вовсе не таков, каким он казался ему, что его статья — дикая выходка, злостная и живая, что ей не поверит никто из читавших и знающих «Современник», и на людей, расположенных к нему, произведет отталкивающее впечатление и даже вызовет негодование. как это он видел в нескольких

литературных кругах, а потому и решил плюнуть на это дело и оставить его без внимания» (80). Далее, Антонович упоминает о том, что Добролюбов «потом вспомнил» о статье Герцена «отчасти серьезно, отчасти шутивно» (80). Но цитата из «серьезной статьи», которую приводит мемуарист, взята из рецензии на сборник «Весна». Антонович даже не подозревает, что цитирует ответ Добролюбова Герцену.

Это обстоятельство позволяет поставить под сомнение точность свидетельства мемуариста о тождественности позиций Чернышевского и Добролюбова. При всем сходстве их точек зрения у Добролюбова еще сохранялась надежда на выяснение недоразумения, и он вовсе не намеревался оставлять дело «без внимания». «Восторженный поклонник» Герцена еще не «охладел» к нему совершенно, как полагает Антонович. Другими словами, и позиция Добролюбова после прочтения статьи оставалась в основном такой же, как она изложена в его дневнике.

«Нас многие обвиняют, — писал Добролюбов, отвечая Герцену, — что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит; мы хотим более цельного и основательного образа действий, а нас потчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтоб мы были довольны и восхищались» (IV, 384).

Стараясь сделать свою мысль еще более понятной, Добролюбов рассказывает притчу о путешественнике, которому нужно ехать из Петербурга в Москву. Услужливый приятель, вызвавшийся его сопровождать, берет ему билет только до Колпино на том основании, что «нужно прежде всего думать о ближайшей цели», а уж «приехавши в Колпино, заботиться о том, как ехать дальше». С подобными предложениями приятель обращается и к другим. «Поневоле иной раз рассмеешься и поглумишься, хоть и не весело», — поясняет Добролюбов, проицируя над своими критиками. «А добрые люди из этого бог знает что выводят! Говорят, что мы пользы железных дорог не признаем, в дружбу не веруем, промежуточные станции хотим уничтожить...»

Четко и недвусмысленно Добролюбов выражает позицию «Современника»: не постепенное улучшение существующего строя, а народная революция. Принято считать, что

под «услужливым приятелем» разумеется Герцен. Но это всего лишь либеральные обличители с их убогой «философией постепенного продвижения вперед». О Герцене Добролюбов говорит в следующем абзаце, который до сих пор не принимался во внимание. Выделяя Герцена из либералов, Добролюбов с легкой иронией выражает ему свое уважение и доверие: «...мы уже с любовью смотрим на людей, которые утверждают, что не нужно менять билет на каждой станции, а можно застаться ими на две или на три, или даже взять один билет до Бологова, например. Мы тотчас самым радужным образом приветствуем таких людей, питая сладкую надежду, что, может быть, они придут, наконец, и к тому убеждению, что можно и прямо в Москву брать билет из Петербурга» (IV, 385). В преддверии российской революции Добролюбов предлагает Герцену союз. Он надеется, что Герцен согласится принять программу «Современника».

По свидетельству Антоновича, Чернышевский не хотел ехать в Лондон потому, что не видел возможности убедить Герцена дать опровержение. «Герцен, — излагает Антонович свое понимание позиции Чернышевского, — ни за что на свете не согласится уронить себя в глазах читающей публики, отказавшись от своих слов и тем признавши, что эти слова — неправда, ложь» (83). Здесь мемуарист противоречит сам себе. Изложенное им ранее отношение Чернышевского (и Добролюбова) к делу — «оставить его без внимания», потому что статье «не поверит никто из читавших или знающих «Современник», — совершенно исключает возможность подобных мотивов. Объясняться с Герценом по поводу «Very dangerous!!!» Чернышевский просто считал излишним. «Авторитет Герцена, — вспоминал Чернышевский, — был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, т. е. тенденциями смутными и шаткими» (I, 734). В отличие от Некрасова такими читателями Чернышевский не дорожил.

Нежелание ехать в Лондон вызывалось у Чернышевского более глубокой и основательной причиной: кригическим отношением к Герцену. Уже в 1856 году «образ мыслей» Чернышевского был «не совсем одинаковый с понятиями Герцена», и он еще тогда разъянял Добролюбову причины «своего недовольства некоторыми понятиями Герцена». Добролюбов же «огорчался холодными отзвуками», и «его утепало», когда Чернышевский «говорил о том, что высоко ценит блестящий талант Герцена»⁴⁷.

И спустя три года это различие в отношении к Герцену сохранилось. Разъясняя Герцену смысл своих нападок на обличительство, Добролюбов надеялся установить с «Колоколом» единство действий. Чернышевский не разделял наивных надежд молодого друга и переговоры считал иллизиями.

Антонович утверждает, что, уступив настоянию Некрасова, Чернышевский «с крайней неохотой» согласился ехать в Лондон (83). Сам Чернышевский сообщает, что поехал «по желанию Некрасова и Добролюбова». Значит, эту часть утверждения Антоновича можно признать истинной. Но о роли Добролюбова во всей этой истории мемуарист даже не подозревает.

Спустя два месяца в августовской книжке «Современника» вновь появляется парабола о путешественнике. Она несколько отличается по содержанию от первой и принадлежит перу другого автора.

«На самом деле история была самая невинная, — пишет Чернышевский в «Политике». — Положим, например, что вы хотите ехать из Рязани в Петербург, а я — в Москву; вам известно, что дальше Москвы я не поеду; но вам угодно было иметь меня своим спутником. Теперь спрашиваю вас: если, доехав до Москвы, я останусь там и предложу вам продолжать путь, как вы сами знаете, или остаться в Москве, когда вы не можете ехать одни, — если я сделаю это, неужели вы имеете право называть меня изменником? У вас, быть может, [плебейские] понятия; быть может, вы, зная, что мне нужно быть только в Москве, вынудили у меня какое-нибудь двусмысленное слово, что я охотно побывал бы и в Петербурге, и поверили этому слову, — ну, что ж мне из того? Какой же практический человек верит словам? Мало ли что говорят, так вот всему вы и станете верить? Вы должны расчеты ваши основывать на том, что мне нужно, а не на том, что я говорю; иначе вы на каждом шагу будете оставаться в проигрыше... Но, поверьте мне, никого вы не называйте за это изменником, а называйте только сами себя слишком наивным простяком, а лучше всего постарайтесь отучиться от вашей плебейской наивности» (VI, 345—346).

Невероятно, но факт. Один сотрудник отвечает другому на страницах собственного журнала. Чернышевский жестко отчитывает Добролюбова за политическую наивность. Он разъясняет ему: на соглашение с Герценом рассчитывать было нельзя.

Статья отправлена Чернышевским из Саратова 31 июля в Петербург Добролюбову.

А тремя неделями раньше, возвратившись из Лондона, он привез «остальные листы» июльской «Политики»^{47а}. «...Мы, сознаемся, не предполагали, — писал там Чернышевский, — чтоб наше мнение оправдалось так скоро, чтобы так поспешно обращены были силою совершившегося факта к принятию нашего взгляда люди, которые не отстали от наивной привычки измерять вероятность будущего только благородством собственных желаний, а не искать мерила для результатов известного дела в характере, в потребностях и намерениях деятелей, от которых зависит судьба дела. Надеемся, теперь перестанут осуждать нас за то, что мы остались холодны, неверчивы...» (VI, 275).

Неудачу переговоров с Герценом, которую он предвидел, Чернышевский использует для политического воспитания Добролюбова.

Таким образом, поездка Чернышевского имела две цели. Одна, вскоре ставшая достоянием многих, — объяснение по поводу «Very dangerous!!!», имела положительный результат. И вторая, известная лишь Чернышевскому и Добролюбову, — попытка склонить Герцена к пропаганде крестьянской революции, потерпевшая неудачу. Не удивительно, что Антонович, хорошо зная неудовлетворенность Чернышевского и Добролюбова лондонской встречей, но не подозревая о второй тайной цели, считал объяснение по поводу нападения Герцена безрезультатным.

Очевидно, к «одинаковому взгляду» на историю Герцена деятели «Современника» пришли только после возвращения Чернышевского из Лондона. Результаты поездки вынудили и Некрасова, и Добролюбова стать на точку зрения Чернышевского. Только в это время Добролюбов окончательно «охладил к Герцену». Именно результаты поездки имел в виду Добролюбов, говоря впоследствии Антоновичу: «Да... Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог; я — близорукий зритель!» (157).

«Колоссальная глупость», совершенная Чернышевским, заключается, следовательно, в том, что он взялся за дело, которое считал бесполезным и ненужным.

6. Неприятное столкновение

Отвечая на приглашение А. Н. Пыпина написать воспоминания, Чернышевский в письме от 9 декабря 1883 года, между про-

чим, утверждал: «...ни с одним из сколько-нибудь известных поэтов или беллетристов не было у меня ни одного сколько-нибудь неприятного столкновения; исключение — один человек и один случай в жизни этого человека (ты знаешь, о ком и о чем я говорю?)...» (XV, 432). Конечно, Пышин знал, кого и какой случай имел в виду Чернышевский. Знают это и исследователи, давно и безошибочно отождествившие «неприятное столкновение» с лондонской встречей Чернышевского с Герценом⁴⁸. Однако далеко не все подробности, упомянутые в этом свидетельстве, получили объяснение.

«...Но его поступок относился не ко мне, — продолжает Чернышевский, — и выговор мой ему за этот поступок был выговор от человека постороннего делу, говорившего по обязанности сказать то, что было сказано мною ему; и — давным-давно я примирился с этим человеком (в душе примирился, разумеется; видется или переписываться с ним я не имел случая)... давным-давно я перестал винить этого человека за этот его проступок. Не он был виноват; виноват был Добролюбов, Чем тут был виноват Добролюбов, будет сказано когда-нибудь кем-нибудь; едва ли мною. Сущность дела состояла в том, что Добролюбов доверял этому человеку больше, чем следовало. Но мне это нимало не повредило. Я был человеком посторонним этому обстоятельству и его последствиям. Кто думает иначе, ошибается. Меня это нимало не коснулось» (XV, 432).

Рассматривая лондонские переговоры, исследователи обычно использовали из приведенного свидетельства немного: «нападение», «столкновение», «выговор». Остальное игнорировалось. После всего изложенного выше «темные места» в письме Чернышевского проясняются.

Поступок Герцена (статья «Very dangerous!!!») действительно относился не к Чернышевскому, а к Добролюбову. Но почему же Чернышевский считал себя посторонним этому делу? И почему свой выговор Герцену он делал по обязанности? Только потому, что поехал в Лондон по настоянию Добролюбова? Вряд ли. Очевидно, Чернышевский был с чем-то не согласен в «Литературных мелочах».

В чем вина Добролюбова? В том, что он доверял Герцену больше, чем следует («доверял» — здесь, безусловно, в смысле «верил», «надеялся»). Каким образом проявилось это доверие? Напрашивается предположение, что доверие это было оказано Герцену именно в «Литературных мелочах прошлого года».

Нападая на два основных пункта тактической платформы Герцена, Добролюбов глубоко верил в революционность Герцена и надеялся убедить его в ошибочности этих положений. Он побуждал редактора «Колокола» отбросить либеральные колебания и стать во главе молодой партии революционеров. Оказавшись непонятым, Добролюбов поступает совершенно последовательно, разясняя свою позицию до конца.

При ином отношении к Герцену тенденции «Литературных мелочей» были совершенно чужды Чернышевскому. Этому делу он был действительно посторонним человеком. И выговор его Герцену за эту статью был поэтому только по обязанности. И последствия (то есть «охлаждение» Добролюбова к Герцену) его нимало не коснулись, Чернышевский заранее предвидел такой исход.

Назначая Чернышевскому беседу на субботу, Герцен полагал, что не проявляет неуважения к своему гостю. Намеченную ранее поездку отменить было нельзя, но в первый же день по возвращении он к его услугам. Вряд ли гость был того же мнения. Чернышевскому было непонятно и оскорбительно нежелание Герцена отложить загородную прогулку ради человека, приехавшего из России по делу и на короткий срок. Он видел в этом только прихоть русского барина. Обидная оттяжка наложила свой отпечаток на характер субботней беседы.

Герцен за эти дни познакомился с июньской книжкой «Современника», содержащей ответ Добролюбова на «Very dangerous!!!». Ее еще в среду вручил ему Чернышевский. Майскую книжку со статьей Чернышевского против Чичерина и статьей Н.-бова «Что такое обломовщина?» он прочитал раньше. Статья Чернышевского должна была ему понравиться, но обе статьи Добролюбова — вызвать новое раздражение. Для атмосферы будущей встречи это обстоятельство было тоже небезразличным.

Наступила суббота. «Как теперь вижу этого человека. — вспоминала Тучкова, — я шла в сад, неся на руках свою маленькую дочь... Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил с своим собеседником» (158). Этот эпизод нельзя отнести к среде — тогда Чернышевский был вместе с двумя другими гостями и вечером. Тучкова несла грудную дочь в сад — это могло быть только днем. Герцен и Чернышевский ходили по зале вдвоем. Значит, Огарев в беседе не участвовал.

Итак, днем 9 июля встретились для объяснений два едва знакомых, но предубежденных друг против друга человека. К расхождению во взглядах добавлялись и личные неудовольствия, вызванные сплетнями общих знакомых и делом об «огаревском наследстве». И хозяин и гость — в состоянии раздражения. Можно ли было ожидать, что беседа пройдет гладко?

В письме к К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888 года Чернышевский кратко охарактеризовал свою роль в этой беседе: «...я ломал Герцена (я ездил к нему дать выговор за нападение на Добролюбова; и он вертелся передо мною как школьник)...» (XV, 790). Существует и более обстоятельное свидетельство Чернышевского о характере беседы. Оно относится к 1861 или 1862 году, но сохранилось в более позднем пересказе М. А. Антоновича.

«Явившись к нему [Герцену], я разоткровенничался, раскрыл перед ним свою душу и сердце, свои интимные мысли и чувства, до того расчувствовался, что у меня на глазах появились слезы, — не верите, ей-богу, уверю вас. Герцен несколько раз пытался остановить меня и возражать, но я не останавливался и говорил, что я еще не все сказал и скоро кончу. Когда я кончил, Герцен окинул меня олимпийским взглядом и холодным почувительным тоном произнес такое решение: «Да, с вашей узкой партийной точки это понятно и может быть оправдано; но с общей логической точки зрения это заслуживает строгого осуждения и ничем не может быть оправдано». Его важный вид и его решение просто ошеломили меня, и все мое существо с его настроением и чувствами повернулось вверх ногами» (91—92).

Некоторые детали рассказа внушают сомнение. Представляется, например, неправдоподобным, чтобы Чернышевский разоткровенничался перед Герценом и расчувствовался до слез. Здесь вовсе не ирония Чернышевского, которую мемуарист, будто бы не поняв, сохранил в своем пересказе. Это обычное преувеличение Антоновича, свойственное ему и в публицистике и в мемуарах. Кроме того, нельзя упускать из виду: восьмидесятилетний старик записал то, что слышал двадцатипятилетним молодым человеком. Не только, и даже не столько, подводила память, сколько старческая психология. Вступаясь за Добролюбова, Чернышевский, конечно, волновался и горячился. В длинном страстном монологе он откровенно изложил революционную программу «Современника». Это была обвинительная речь, а не моль-

ба просителя. Сентиментальности, привнесенной мемуаристом от себя, не было и следа. Но Антонович и сам вносит уточнение. Он ставит в один ряд разговор с Герценом и другой разговор, который Чернышевский вел при нем, Антоновиче. Общее в этих двух случаях — обыкновение Чернышевского распекаать противника, не позволяя себя перебивать, а закончив — не слушать возражений. С этим уточнением монолог Чернышевского, о котором сообщает Антонович, почти ничем не отличается от выговора, о котором упоминает сам Чернышевский в письме к Солдатенкову или в письме к Пышину.

Одна подробность повышает доверие к свидетельству мемуариста. Это фраза Герцена об узкой партийной точке. Содержание беседы Антонович не знает и смысла этой фразы объяснить не пытается. А между тем она могла быть произнесена Герценом.

«Чернышевский, — продолжает Антонович, — сейчас же встал и немедленно стал прощаться с Герценом, который пытался его остановить, но он сказал, что ему некогда, что он спешит и ему надобно скоро уезжать, и он ушел немедленно» (92).

Рассказ Антоновича совсем не касается содержания беседы. «О сущности этой миссии, — писал он, — о своих объяснениях с Герценом, о своих аргументах, которые он приводил ему, Чернышевский, насколько мне известно, никому не говорил, а если и говорил, то, вероятно, одному только Добролюбову, а может быть, еще и Некрасову» (90). Лишь впоследствии, в 1867 году, Чернышевский кое-что о содержании беседы рассказал С. Г. Стахевичу, своему товарищу по каторжным работам.

«Николай Гаврилович, — вспоминает Стахевич, — упоминал... о разговорах с Герценом приблизительно в таких выражениях:

— Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола». Если бы, говоря ему, наше правительство было чутью поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы не-

устанно повторяли бы свое: *Ceterum censeo Carthaginem delendam esse**.

Именем Карфагена Николай Гаврилович означал в данном случае, очевидно, самодержавие»⁴⁹.

Сообщение Стахевича — одно из самых ценных свидетельств. Не исчерпывая содержания беседы Чернышевского с Герценом во всех ее подробностях, оно сжато излагает самую суть, смысл разногласий. Монолог Чернышевского в изложении Стахевича вполне согласуется с тем представлением о нем, которое сложилось на основе анализа других источников. Переход к критике обличительного характера «Колокола» от содержания «Литературных мелочей» — самый логичный и естественный. А требование выставить определенную политическую программу, по существу, и есть выполнение поручения Добролюбова.

Редактор «Русского слова» Г. Е. Благоветлов был хорошо знаком с обоими собеседниками. Вот что они говорили ему друг о друге:

«— Удивительно умный человек, — сказал Герцен о Чернышевском, — и тем более при таком уме поразительно его самомнение. Ведь он уверен, что «Современник» представляет из себя пуп России. Нас, грешных, они совсем похоронили. Ну, только кажется, уж очень они торопятся с нашей отходной — мы еще поживем!»

«— Какой умница! Какой умница! — восклицал, в свою очередь, Чернышевский. — И как отстал... Ведь он до сих пор думает, что продолжает остроумничать в московских салонах и препираться с Хомяковым. А время теперь идет с страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет! Присмотришься — у него все еще в нутре московский барин сидит!»⁵⁰

Отголоски споров вокруг «Литературных мелочей» совершенно явственно проглядывают в этом свидетельстве. Это обстоятельство позволяет отнестись к нему с доверием, хотя сохранилось оно лишь в двойном пересказе. Впечатление, произведенное друг на друга Герценом и Чернышевским, косвенно подтверждает конфликт, происшедший между ними.

Известны еще два отзыва Герцена о своем собеседнике. «Герцену думалось, — вспоминала Н. А. Тучкова-Огарева, — что в Чернышевском не хватает открытости, что он не высказывается вполне, эта мысль помешала их сближению, хотя они понимали обоюдную силу, обоюдное влияние на русское общество...» (151). Художник Н. Н. Ге, беседовав-

ший с Герценом в 1869 году, сообщил его мнение о Чернышевском в сходных выражениях: «Он его не полюбил; ему показался он неискренним, себе на уме, как он выразился»⁵¹.

Что-то в том же духе, очевидно, говорил Герцен Стасову и Утину. Это следует из письма Пыпина Утину от 27 (15) июля 1859 года. «Ваши известия о Чернышевском, — писал Пыпин, — к моему сожалению, подтверждаются тем, что я узнал от Стасова. Сам он [Чернышевский] писал мне из Штеттина в весьма разочарованном духе. Очень жаль, если дело с знакомыми кончилось неопределенно и осталось между ними недоразумение, потому что, наконец, и те и другие — люди порядочные, и притом знакомые-то не совсем правы. Чернышевский имеет свойство не тотчас сходиться с людьми мало знакомыми. Он уже не в первый раз производит ложное впечатление на людей, с которыми встречается ненадолго. Не стоило хлопотать из такого результата. Может быть, будет что-нибудь дальше...» (126—128).

Через год с небольшим в статье «Лишние люди и желчевики» («Колокол» от 15 октября 1860 г.) Герцен рассказал о беседе с «невским Даниилом». В литературе называлось множество прототипов этого «желчевика», «весьма выдающегося в своей области», — Чернышевский, Благоветлов, Слепцов, Соколов, но все предположения остались недоказанными. Сходство реплик Даниила с мыслями Добролюбова, казалось, решало вопрос. Однако о встрече Добролюбова с Герценом достоверных известий нет, и вряд ли такая встреча была возможна^{52—54}. Теперь, когда сущность миссии Чернышевского ясна, становится очевидным, кого именно подразумевал Герцен под «невским Даниилом».

Вопросы, поставленные Добролюбовым в «Литературных мелочах прошлого года» и развитые в статье «Что такое обломовщина?»⁵⁵, определили содержание беседы Чернышевского и Герцена. Замаскировав литературной проблематикой острейшие политические вопросы о народной революции и ее руководящей силе, Добролюбов сделал возможным их обсуждение в печати. Поэтому реплики Даниила в статье Герцена не передают буквально высказываний Чернышевского в беседе, а заменяются соответствующими по духу выражениями Добролюбова.

Статья Герцена была очередным полемическим выступлением против «Современника»,

* Впрочем, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен (лат.).

и содержание ее определялось этой задачей⁵⁶. Соглашаясь с мнением Добролюбова, Герцен считал спор об обличительной литературе исчерпанным. Защищая «лишних людей», то есть отстаивая роль либералов в преобразовании России⁵⁷, Герцен излагает лишь один аспект своей беседы с Чернышевским.

Характеристика «желчевиков» вполне приложима к Чернышевскому: «Добрейшие по сердцу и благороднейшие по направлению, они, т. е. желчные люди наши, тоном своим могут довести ангела до драки и святого до проклятия» (XIV, 324)⁵⁸. Манера «желчевика» вести беседу (несколько утрированная Герценом) была присуща и Чернышевскому: «уклончивое смирение и надменные выговоры, намеренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятие вперед всех обвинений и беспокойная нетерпимость директора департамента» (XIV, 323).

Совпадают и некоторые детали: беседу начал Чернышевский («— Что вы заступае­тесь за этих лентяев, — говорил нам недавно один желчевик...» (XIV, 324) и говорил, не останавливаясь, не обращая внимания на реплики Герцена («мы было ввернули слово... Но Даниил и слушать не хотел... он напал на нас за нашу защиту...» (там же); отношение Даниила к Герцену сходно с мнением о нем Чернышевского («он смотрит на нас, как на хороший остов мамонта, как на интересную ископаемую кость...» (там же).

Заключительный эпизод беседы с Даниилом напоминает обстоятельства «неприятного столкновения». «Даниил наш, — пишет Герцен, — как и следует в споре, не сдавался. Мне стало это надоедать...» (XIV, 327). И, отклоняясь от темы, Герцен нападает на Некрасова: «Поверьте, — говорит он Даниилу, — гонитель неправды, сзывающий позор и проклятие на современный срам и запустение и в то же время запирающий в свою шкатулку деньги, явно наворованные у друзей своих, при теперешнем брожении всех понятий и удобовпечатлительности вреднее и заразительнее всех праздных лишних людей, желчевых и слезливых!» (XIV, 327). Выпад остался без ответа. Об этом свидетельствует заключительная фраза статьи: «Не знаю, согласился ли мой Даниил...»

Возможно, что именно так закончилась встреча 9 июля: возмущенный нападением на Некрасова, Чернышевский счел дальнейшую беседу бесполезной и, оставив без ответа выпад Герцена, покинул Фулему.

7. «Я ездил не понапрасну...»

Письмо Чернышевского Добролюбову из Лондона (см. XIV, 379), написанное под непосредственным впечатлением от переговоров — вечером 9 июля (27 июня) или на следующий день⁵⁹, — подкрепляет и дополняет рассмотренные ранее свидетельства. Попытка некоторых исследователей считать его «доказательством, что у Чернышевского не было принципиальных расхождений с Герценом»⁶⁰, не выдерживает критики.

Чернышевский высказывает в письме недовольство встречей и впечатлением, произведенным на него Герценом: «Оставаться здесь доле было бы *скучно*, и, мимоходом отметив результаты («Разумеется, я ездил не понапрасну»), сожалеет о взятой на себя миссии: «Если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него». Общение с издателем «Колокола» угнетает Чернышевского — «боже мой, по делу надобно вести какие разговоры!» — но он отказывается сообщать подробности: «Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через которого пойдет это письмо». Не будь в распоряжении исследователей других источников, эти слова можно было бы понять буквально. Но о своих лондонских впечатлениях Чернышевский написал Пыпину из Штеттина. Значит, причина сдержанности инна: опасение возможной перлюстрации, недостаток времени или нежелание излагать совсем свежее «неприятное столкновение».

Советуя расспросить Некрасова («Если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича, чтобы он открыто выразил свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет»), Чернышевский имел в виду недавнее происшествие. В июне 1857 года Герцен отказался принять приехавшего в Лондон Некрасова, подозревая его в присвоении огаревских денег. Последующий обмен письмами привел к разрыву между ними и оставил в душе Некрасова тяжелое чувство⁶¹. Высокомерный аристократ, избалованный барин, несправедливый судья — вот что мог услышать о Герцене Добролюбов от Некрасова. Присоединяясь к этой характеристике, Чернышевский намекает, что оно сам оказался в сходной ситуации. Полагая, что Некрасов «скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете», Чернышевский добавляет: «Кавелин в квадрате — вот вам все».

В литературе смысл этого выражения толкуется по-разному. Одни исследователи полагают, что Чернышевский был убежден в

либерализме Герцена, хотя и ошибался в этом⁶². Другие считают, что оценка сделана в пылу полемики и не выражает подлинного отношения Чернышевского или же в нее вложено какое-то иное содержание⁶³. Выдвигалось предположение о портретно-психологической аналогии: формула «Кавелин в квадрате» появилась, мол, потому, что «аристократическая, барская натура» и «непонимание нового поколения передовой разночинной интеллигенции», присущее Кавелину, проявились у Герцена гораздо резче⁶⁴. Существует точка зрения, что, имея в виду «пристрастие либерального профессора к обличительству», Чернышевский назвал Герцена «обличителем в квадрате»⁶⁵.

Мнение исследователей о том, что Чернышевский намекал Добролюбову на что-то известное только им двоим, справедливо. Понять намек помогает все та же статья Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». Беспощадная характеристика поколения «зрелых мудрецов», лучших людей предшествующего поколения», ставших «литературными маниловыми», навеяна людьми 1840-х годов из круга «Современника» — П. В. Анненковым, В. П. Богатыным, И. С. Тургеневым и особенно К. Д. Кавелиным, с которым в это время Чернышевский и Добролюбов поддерживали тесные отношения. «Зрелые мудрецы», стремившиеся в молодости к добру и истине, по мнению Добролюбова, «из всего прежнего сохранили только юношескую восторженность да наклонность потолковать с хорошим человеком о приятном обращении и пометчать о мостике через речку» (IV, 71). Рассудочный принцип и жизненные страсти не слились в них в одно целое. «Отсюда вечно фальшивое положение, вечно недовольство собой, вечно ободрение и расшевеливание себя громкими фразами и вечные неудачи в практической деятельности» (там же). Возлагая ответственность за ничтожность и мелочность обличительной литературы на поколение 1840-х годов (то есть на либералов), Добролюбов выделяет из него Герцена и Огарева, которые, по его мнению, «всегда стояли в уровень с событиями» и «доселе остались людьми будущего» (IV, 72), — он считает их революционерами. Формулой «Кавелин в квадрате» Чернышевский полемизирует с этим мнением Добролюбова. Основываясь теперь и на личных впечатлениях, он утверждает, что к Герцену даже более, чем к Кавелину, применима характеристика «зрелых мудрецов». Портретно-психологическое сходство Герцена с Кавелиным, таким образом, оказывается одновременно и общественно-политической оценкой.

Что же имеет в виду Чернышевский, утверждая, что ездил не понапрасну? Одни исследователи считают, что здесь подразумевается соглашение с Герценом о создании тайной революционной организации⁶⁶. Но, во-первых, утверждение Чернышевского тонет в море отрицательных впечатлений. Во-вторых, если бы даже замыслы тайного общества летом 1859 года уже существовали⁶⁷, то для обсуждения подобной темы у собеседников не было ни времени, ни настроения. Полагают также, что Чернышевский пишет об «Объяснении», которое будто бы ему показал Герцен⁶⁸. Однако текст не мог быть заранее подготовлен, а обстановка встречи не располагала к совместной работе над документом.

По-видимому, Чернышевский писал о другом. Он ставил себе в заслугу, что заставил Герцена выслушать себя, разъяснил ему смысл статьи Добролюбова и новую линию «Современника», раскритиковал направление «Нолокола» и посоветовал выставить политическую программу. Чернышевский вынудил Герцена признать ошибочным сравнение Добролюбова с Сенковским и осознать неуместность оскорбительных намеков. Расхождения во взглядах выявились определеннее, «недоразумение» же разъяснилось по существу. Печатное «объяснение», о котором, по всей вероятности, собеседники даже не успели переговорить, представлялось редактору «Современника» само собой разумеющимся.

Обратный маршрут Чернышевского можно восстановить только предположительно. Если он писал Пышину из Штеттина о лондонских впечатлениях, значит в Париж он не заезжал. Пароход «Владимир» отправлялся в Петербург 16 июля нов. стиля. Очевидно, Чернышевский приехал в Штеттин накануне.

Антонович рассказывает о случае в гамбургской гостинице, где провел ночь Чернышевский, якобы ожидая парохода в Лондон (93). Но в Лондон Чернышевский ехал через Париж, зачем же ему было ждать парохода в Гамбурге? Быть может, он ночевал в гамбургской гостинице, приехав из Лондона? То обстоятельство, что под 12 июля в «путевом журнале» Стасова имя Чернышевского не упоминается, а врученное ему письмо помечено «3 часа ночи», позволяет полагать, что Чернышевский уезжал рано утром. Пароходы Лондон — Гамбург уходили на рассвете.

Таким образом, кажется правдоподобным, что Чернышевский возвращался из Лондона через Гамбург — Берлин — Штеттин.

Между тем слух о поездке широко распространился.

16 июля В. Д. Спасович отвечает Кавелину: «Чернышевского уже нет в Париже»⁶⁹.

18 июля Пылин спрашивает Утина: «Как вам показался Чернышевский? Да, кстати, напишите мне, если знаете, до каких результатов он дошел в толках с нашими знакомыми. Это меня в высшей степени интересует. Он писал мне из Штеттина, но писал только о своих личных впечатлениях, которые я более или менее ожидал и угадывал; меня интересует другая сторона. Он устроил поистине необыкновенное путешествие» (126).

29 июля Пылин объясняет В. И. Ламанскому: «Моя болезнь — только предлог, которым воспользовался Чернышевский... настоящая цель его путешествия была Лондон, где он имел делать свои дела, о которых вы, может быть, уже знаете или догадываетесь» (128).

23 августа В. П. Богкин пишет Тургеневу: «Слышал ли ты о посещении, которое сделал в Лондон Чернышевский? Оно характерно»⁷⁰.

16 сентября Тургенев запрашивает Герцена: «Правда ли, что тебя посетил Чернышевский, и в чем состояла цель его посещения и как он тебе понравился? Напиши об этом подробно не мне — меня письмо твое не застанет — притом же я все узнаю в Петербурге, — а Колбасину и Шеншину, которые очень интересуются этим...»⁷¹

Круг осведомленных людей расширился. Конечный пункт путешествия Чернышевского и факт его свидания с Герценом перестал быть секретом. После того как в Петербурге был получен «Колокол» от 1 августа с «Объяснением» Герцена, близким к литературным кругам лицам было нетрудно догадаться о цели заграничной поездки. Впрочем, Чернышевский и сам не считал нужным скрывать, что побывал в Лондоне, и охотно рассказывал о своих дорожных приключениях⁷². И, очевидно, не только о них. Высказал же он свое мнение о Герцене Благосветлову. Точно так же, вероятно, пришлось ему что-то отвечать на прямые вопросы Тургенева или Кавелина⁷³.

Значительный интерес может представлять письмо Добролюбова Герцену, упомянутое А. А. Серно-Соловьевичем⁷⁴, ежели оно отыщется. Правда, Антонович отрицал существование письма, заявляя, что в разговорах с ним оно никогда не упоминалось. «Если бы письмо было, — восклицал он, — то Чернышевский не признал бы нужным ехать к Герцену» (82)⁷⁵. Но мемуарист не

понимает, что необходимость послать письмо могла возникнуть после возвращения Чернышевского из Лондона⁷⁶.

«Неприятное столкновение» возбудило в Чернышевском личную неприязнь к Герцену. Еще по дороге из Лондона он написал в июльской «Политике»: «...мы чувствуем, что не в силах ни прощать, ни забывать» (VI, 279). До своего ареста Чернышевский не изменил такого отношения к Герцену. В показаниях сенату 1 июня 1863 года он указал в числе причин, «отчуждавших» его от Герцена, «поверка которых незатруднительна», «дурные отзывы» Герцена о Добролюбове, «начинающиеся с весны 1859 года, когда в № 45 или 47 «Колокола» была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня, — но о себе я не говорю) статья Герцена «Very dangerous!!!». Этих отзывов я не мог извинить Герцену никогда, а тем более после смерти Добролюбова. Когда я потерял Добролюбова (в ноябре 1861), неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не дозволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, если бы захотел» (XIV, 734—735).

Следственные материалы не принадлежат к числу достоверных источников, но Чернышевский в качестве примера указывает конкретную статью: «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» в январской книжке «Современника» за 1862 год. Вот эти весьма резкие строки: «Теперь, милостивые государи, называвшие нашего друга человеком без души и сердца — теперь честь имею обратиться к вам, и от имени моего, от имени каждого прочитавшего эти страницы, в том числе и от вашего собственного имени, — да и вы сами повторяете себе то, что я говорю вам, — теперь имею честь назвать вас тупоумными глупцами. Вызываю вас явиться, дрянные пошляки — поддерживайте же ваше прежнее мнение, вызываю вас...» (X, 35—36).

Чернышевский не называет имен, но намеки его весьма прозрачны⁷⁷. В другой статье той же январской книжки он упоминает и основную мысль Добролюбова и статью Герцена против нее. «В пять лет литература наша не продвинулась ни на один шаг, — пишет Чернышевский, — а так как литература служит отражением жизни, то значит ни на один шаг не продвинулась и наша жизнь. Но едва мелькнула эта мысль в моей голове, как застыла кровь в моих жилах от ужаса: что скажет о таком бездушном скеп-

тицизме пламенный г. Громека! Да еще хорошо бы, если бы вознегодовал только г. Громека! Есть публицист несравненно более знаменитый и гораздо более пылкий, который так и крикнет: «*very dangerous!*», и назовет меня «окаменелым титулярным советником» или «ископаемым кандидатом» (X, 71).

Нельзя сомневаться в том, что Герцен и Чернышевский стояли по одну сторону баррикады, принадлежали к одному революционному лагерю, боролись за одно общее дело⁷⁸. И конечно, Герцен для Чернышевского не только «Кавелин в квадрате», но и «один из знаменитых и действительно лучших деятелей русской литературы». Противоречия здесь нет, ибо тридцать лет разделяют две эти оценки. Первая высказана в разгаре полемики и выражает отношение редактора «Современника» к издателю «Колокола» накануне крестьянской реформы. Вторая относится ко времени, когда полемические страсти улеглись и появилась возможность объективной оценки; это характеристика всей деятельности Герцена. Но обширная тема «Чернышевский и Герцен» — предмет особых исследований⁷⁹, цель настоящей статьи значительно скромнее.

Лондонская встреча редактора «Современника» с издателем «Колокола» только эпизод во взаимоотношениях двух пропагандистских центров в годы первой революционной ситуации. Эпизод важный, имевший свои последствия. Мнение исследователей, полагающих, что встреча укрепила единство революционно-демократического лагеря, глубоко ошибочно. Напротив, переговоры не устранили принципиальных разногласий, а лишь прояснили их окончательно.

Издателей «Колокола» и редакторов «Современника» объединяла общая цель — освобождение народа и его социалистическое будущее. Но если Чернышевский и Добролюбов уже в начале 1859 года взяли курс на крестьянскую революцию, Герцен и Огарев все еще уповали на реформу. «Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах; не в началах, а в образе действия», — писал Герцен в предисловии к письму «Русского человека». — Вы представляете одно из крайних выражений нашего направления...» (XIV, 239). Герцен видел в Чернышевском и Добролюбове крайне левый фланг своих сторонников — правда, слишком радикальных и нетерпеливых, которых следует сдерживать, но все же своих. Отсюда и умеренный тон немногих полемических статей «Колокола» против «Современника» (после июля

1859 г.), и многочисленные попытки Герцена и Огарева установить личные контакты с Чернышевским^{80—81}. Союз с «Современником», имевший огромное влияние на молодежь, для Герцена был крайне желательным.

Будучи искренним сторонником народа, Герцен никогда не был либералом. Он колебался между демократизмом и либерализмом, хотя в конце концов «демократ все же брал в нем верх» (В. И. Ленин, ПСС, XXI, 259). На мирный исход событий он надеялся и в июле 1859 года, и спустя восемь месяцев, когда писал в «Колоколе»: «...к топору к этому ultima ratio притесненных мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора» (XIV, 239). Эта точка зрения была неприемлема для редакторов «Современника», убежденных в неизбежности народного взрыва. По мнению Чернышевского и Добролюбова, она ослабляла позиции революционеров, вселяя в них либеральные иллюзии. Начиная с июльской книжки 1859 года каждый номер «Современника» содержит скрытую, но резкую и суровую полемику с «Колоколом». Принципиальная линия Чернышевского заключалась в том, чтобы противодействовать влиянию Герцена на молодежь⁸².

Чернышевский ошибался, принимая Герцена за либерала, но справедливо не верил в сотрудничество с ним. Добролюбов был прав, считая Герцена революционером, но ошибочно надеялся на содействие «Колокола» в пропаганде крестьянской революции. После возвращения Чернышевского из Лондона Добролюбов принял его точку зрения. В этом был, пожалуй, главный результат лондонской поездки Чернышевского.

8. Вещественное доказательство

Все известные до сих пор свидетельства о свидании Герцена и Чернышевского исчерпаны. Существенных противоречий между ними, кажется, нет. Как бы ни отличались они друг от друга — формой или временем возникновения, объемом сведений или точкой зрения, тональностью или акцентами, — все они представляют встречу редактора «Современника» с издателем «Колокола» как столкновение.

Господин, который был в субботу в Фулеме, — несомненно, Чернышевский.

Остается уточнить немногие детали.

В бумагах Д. В. Стасова сохранилась визитная карточка Герцена. Как она там оказалась? Конверт, в котором она лежит, не имеет к ней никакого отношения⁸³. Да и за-

чем бы стал Герцен посылать свою визитную карточку почтой?

В «путевом журнале» на посещение Герценом Риджент-стрит, 67 нет ни малейшего намека. Однако, безусловно, Герцен там был. Но когда?

В письме Стасову от 5 июля Герцен объясняет, что хлопоты помешали ему сделать ответный визит. 6-го Стасов посетил Герцена. 7-го и 8-го Герцена не было дома. Значит, до субботы Герцен на Риджент-стрит не был. Но 9-го Стасов уехал на остров Уайт и возвратился только в понедельник в четыре часа. Не посетил ли Герцен Стасова в его отсутствие?

В понедельник Герцен решил встретиться еще раз с редактором «Современника», чтобы продолжить беседу. Но как его разыскать? Адреса Чернышевского Герцен не знал. Пришлось прибегнуть к содействию посредника.

Днем Герцен посетил Стасова и, не оставив его дома, оставил на Риджент-стрит, 67 записку (без конверта), написанную здесь же на обрывке рекламного бланка, оказавшегося под рукой. Визитная карточка заменяла подпись. Конверт нужно было просить у прислуги меблированных комнат, но с равным успехом можно было получить у нее и листок писчей бумаги.

Текст, доступный любопытным взорам, не должен был повлиять на Стасова в неловкое положение перед русским правительством, агентам которого записка могла стать известна. Отсюда — отсутствие обращения (превратившееся за долгие годы эмиграции у Герцена в привычку) и холодно-сдержанный тон, исключающий возможность предположить короткое знакомство.

Возвратившись в Лондон, Стасов обнаружил это послание и за обедом у Симора сказал Чернышевскому о желании Герцена видеть его снова завтра. В ответ Чернышевский объявил, что утром покидает Лондон.

Обед происходил очень поздно, после того как Стасов прослушал в палате общин речи пяти-шести ораторов. Очевидно, это было часов в восемь-девять вечера. Затем Стасов отправился к Герцену. Он должен был сообщить, что поручение выполнил, но Чернышевский принять приглашение уже не может.

В три часа ночи Стасов окончил короткое письмо к брату и пометил его вчерашним числом. Значит, спать

он не ложился и вернулся из Фулема после полуночи. Такая поспешность могла означать, что Чернышевский уезжал очень рано.

В письме, которое вез Чернышевский, Д. В. Стасов поручал брату напечатать в петербургских газетах объявление Н. П. Огарева о том, что он считает недействительной доверенность, выданную им в свое время одному лицу⁸⁴. В том же конверте лежало и объявление Огарева. Его-то и привез Стасов ночью из Фулема.

Письмо Д. В. Стасова содержало только эту единственную просьбу. Ничего другого в нем не было. Чернышевский вез от Д. В. Стасова к его брату заклеенный конверт, не подозревая о его содержимом. Это еще один штрих к характеристике отношений издателей «Колокола» и Чернышевского во время его пребывания в Лондоне.

Продолжение беседы, предложенное Герценом, не состоялось. Помешал этому отъезд Чернышевского. «Объяснение», появившееся в ближайшем номере «Колокола», осталось несогласованным.

Скупые французские строчки на обрывке старинного бланка не зря возбуждали любопытство. За ними скрывалось многое. *Удивительное недоразумение*, в которое впал Герцен, читая статью Добролюбова, и *неожиданный удар*, обрушившийся вследствие этого на «Современник». *Колоссальная глупость*, совершенная Чернышевским, и *неожиданное путешествие*, предпринятое им для этого. *Сладкая надежда* Добролюбова и *трезвое разъяснение* Чернышевского. *Неприятное столкновение* Герцена и Чернышевского и *ложное впечатление*, произведенное ими друг на друга. *Выговор* Чернышевского и *олимпийский взгляд* и *холодный поучительный тон* Герцена.

Клочок бумаги размером в игральную карту. Уверенный почерк профессионального литератора. И торопливо, скверным пером — четыре строки по-французски.

ГОСПОДИНА, КОТОРЫЙ БЫЛ В СУББОТУ В ФУЛЕМЕ, ОЧЕНЬ ПРОСЯТ ПРИЙТИ СНОВА ЗАВТРА, ВО ВТОРНИК, МЕЖДУ 3 И 10 ЧАСАМИ.

Обыкновенная деловая записка.

От Герцена к Стасову.

С приглашением Чернышевского.

11 июля 1859 года.

Вещественное доказательство «неприятного столкновения» издателя «Колокола» с редактором «Современника».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30 томах, т. XXVI. М., 1962, стр. 282. Далее все ссылки на это издание даются в тексте.

² Институт Русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде. Отдел рукописей (далее: РО ПД), фонд 294 (Стасовых), оп. 4 (Бумаги Д. В. Стасова), № 102. Письма А. И. Герцена.

³ Комментарии принадлежат Е. Н. Дрыжанковой.

⁴ Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания. М. 1959, стр. 149. Страницы этого издания далее указываются в тексте.

^{4а} И. Г. Птушкина сообщила мне, что в процессе работы над «Летописью жизни и деятельности А. И. Герцена» она также пришла к такому предположению.

⁵ РО ПД, ф. 294, оп. 4, № 530. Две записные книжки Д. В. Стасова (Заграничное путешествие), 1859. Обе заполнены записями, но к теме статьи относятся только лл. 4—17 первой записной книжки. Ссылки на эти листы приводятся в тексте.

⁶ В. Д. Комарова, Из Стасовского архива. II. Из архива Дмитрия Васильевича Стасова. «Сборник Пушкинского дома на 1923 год». Пг., 1922, стр. 272—285. Во вступительной статье использованы сведения из «путевого дневника» и семейной переписки.

⁷ В алфавитном каталоге была случайно пропущена карточка с описанием этой единицы хранения; считалось, что документ пропал. Мне удалось его обнаружить после сложных поисков. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить за помощь сотрудников РО ПД тов. Л. П. Архипову и Г. Г. Полякову.

⁸ Из Петербурга Д. В. Стасов отбыл вместе с К. Д. Ка-

велиным, В. Д. Спасовичем, М. Н. Катковым и др. 21 мая ст. ст. на пароходе «Эрбгросс-герцог Фридрих-Франц» в Росток (см. «С.-Петербургские ведомости» № 11 от 24 мая 1859 года). В понедельник, 25 мая, путешественники прибыли в Берлин, 29-го Стасов и Кавелин уехали в Дрезден, где Кавелин познакомил Стасова с семейством Рейхелей и с Марко Вовчок. В четверг 16(4) июня Стасов уже один уехал в Лондон через Франкфурт — Кельн — Брюссель — Лилль — Дувр (см. лл. 4—7).

⁹ В. И. Кельсиев, Исповедь. «Литературное наследство», т. 41—42. М., 1941, стр. 273—274.

¹⁰ Когда в сентябре 1857 года один из приказчиков Триюбнера, Генрик Михаловский, был изобличен как шпион III отделения, Герцен написал М. К. Рейхель в Дрезден: «Говорите всем русским, чтоб адресовались в типографию к Чернецкому, — это гораздо вернее...» (XXVI, 132). Познакомившись в Дрездене с М. К. Рейхель, Стасов мог получить от нее эту рекомендацию.

¹¹ О случаях, когда посетителя не принимали, Герцен писал: «...Является анонимный господин утром в самое рабочее время (уважения к труду, вы знаете, у нас мало) и не застает — я до 4 часов никого не пускаю к себе, это знает Триюбнер» (XXVI, 272). Стасов, посетив Триюбнера, безусловно, все это узнал.

¹² Стасов Дмитрий Васильевич (20.1 (1.2) 1828—28.4 1918) — сын архитектора В. П. Стасова, младший брат художественного критика В. В. Стасова и деятельницы женского движения Н. В. Стасовой. Окончив в 1847 году училище правоведения, служил в Сенате до 1861 года, когда был уволен за составление адреса в защиту студентов — участников волнений. Впоследствии — известный адвокат и присяжный поверенный, выступал защитником на политических процессах. Дважды арестовывался по политическим делам.

¹³ См. В. Д. Комарова, Указ. соч., стр. 276.

¹⁴ «Письма К. Дм. Кавелина и И. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену». С объяснительными примечаниями М. Драгоманова. Женева, 1892, стр. 10. Факт доставки этого письма Д. В. Стасовым устанавливается следующим образом. Письмо является ответом на письмо Герцена, которое Кавелин получил 11 июня нов. ст. (там же, стр. 9). Кавелин приехал в Дрезден 10-го, письмо Герцена ожидало его у М. К. Рейхель. Д. В. Стасов, близкий друг Кавелина, уезжал в Лондон 16 июля. Естественно, что именно он внял с собой письмо. Написано оно, очевидно, 14-го или 15-го, накануне отъезда Стасова из Дрездена (Драгоманов датировал его приблизительно июнем 1859 года). Косвенным подтверждением этого служат следующие соображения. «Сейчас получил ваше письмо, — писал Герцен М. К. Рейхель 29 июня, — я знал, что Кавелин должен быть, и жду его с нетерпением...» (XXVI, 278). В том же письме Герцен упоминает что «сам Стасов» хвалит Рейхеля (там же, стр. 279). Очевидно, в письме М. К. Рейхель сообщала о приезде в Дрезден Кавелина, его дальнейших планах, о знакомстве через Кавелина со Стасовым. Из этого письма Герцен почерпнул те сведения о Кавелине, которыми поделился со Стасовым в письме от 5 июля (приведено в начале статьи). О предстоящем приезде Кавелина Герцен знал до письма Рейхель из рассказов Стасова и приведенного им письма Кавелина. «Он скажет тебе, — писал Кавелин о Стасове, — когда я буду, потому что в сию минуту я этого сам не знаю. Верно то, что буду нынешним летом» («Письма К. Дм. Кавелина...», стр. 10). Расставаясь в Дрездене, Кавелин и Стасов намеревались съехаться в Лондоне, но Кавелин задержался в Теплице на лечении, и Стасов уехал в Париж, не дождавшись его. В письме Д. В. Стасова к сестре Н. В. Стасовой от 27 июня 1859 года содержится отзыв об Альфреде Рейхеле, который имеет в виду Герцен. (РО ПД, ф. 294, оп. 4, № 1).

¹⁵ Совершенно невероятный случай, чтобы в доме Герцена кому-нибудь отказали в приеме дважды. За две недели до приезда Стасова

в Лондон Герцен писал А. А. Чуминову: «...карточка господина, которому бы отказали два раза, у меня нет» (XXVI, 271). После конфликта же дружеское письмо от 5 июля было бы невозможно.

¹⁶ Этот факт (без даты) известен давно. «...В другой раз, — писала В. Д. Комарова о Стасове, — был там с Утиным вместе с Чернышевским, как видно опять-таки из путевого журнала Д. В. в одной из его маленьких записных книжек» (В. Д. Комарова, Указ. соч., стр. 280). На это место ссылался Б. П. Козьмин в статье о поездке Чернышевского (см. «Известия ОЛЯ», 1953, т. XII, вып. 2, стр. 140).

¹⁷ Основная литература по этому вопросу указана в статье А. Е. Кошovenko «К вопросу о лондонской встрече Н. Г. Чернышевского с А. И. Герценом в 1859 году и формуле «Кавелин в квадрате». — «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», М., 1960, стр. 271.

¹⁸ В «Канве биографии А. И. Герцена» М. К. Лемке впервые указал, что Чернышевский находился в Лондоне 26—30 июня (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XXII, Л.—М., 1925, стр. 300). Во введении к «Канве» указано, что, «начиная с переезда Герцена через границу, все даты приводятся по новому стилю». (Там же, стр. 190.) Лемке ссылался на собственный комментарий к статье «Very dangerous!!!» (там же, т. X, стр. 18), где также нет оснований для точной датировки. Н. М. Чернышевская исправила (не оговаривая это) очевидную ошибку и отнесла даты к старому стилю (см. Н. М. Чернышевская, Указ. соч., стр. 173).

¹⁹ А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания. М., 1956, стр. 280.

²⁰ «С.-Петербургские ведомости» № 125, 126, 127 от 11, 12 и 13 июня 1859 года.

²¹ См. Б. П. Козьмин, К истории поездки Чернышевского к Герцену в Лондон. — «Литературное наследство», т. 67. М., 1959,

128. Далее все ссылки на письма А. Н. Пыпина из этой публикации приводятся в тексте. О поездке в Париж Чернышевский написал и отцу в несохранившемся письме от 16 июня 1859 года (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 817).

²² Поездка в Саратов, намечавшаяся на начало мая, была отложена из-за болезни О. С. Чернышевской на начало июня. См. письма Чернышевского к родным от 17 марта и 5 мая 1859 года (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 373—374, 378). На все лето за границу собирался Добролюбов, но в связи с намерением Чернышевского поехать в Саратов он отказался от своих планов. См. письма Добролюбова к И. И. Бордогрову от 20 марта, 2 (или 9) апреля и 24 мая 1859 года (Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 9, стр. 347, 348, 359).

²³ Это наблюдение сделано С. А. Рейсером (см. его статью «Добролюбов и Герцен» в «Известиях АН СССР. Отделение общественных наук», 1936, № 1—2, стр. 182).

²⁴ См. В. Э. Боград, Журнал «Современник» 1847—1866. Указатель содержания. М.—Л., 1959, стр. 359.

²⁵ «С.-Петербургские ведомости» № 133 от 20 июня 1859 года.

²⁶ Письмо не сохранилось. Упоминается в письме Г. И. Чернышевского от 24 июля 1859 года (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 817).

²⁷ См. Н. Майский, Путеводитель за границую, т. 1. Спб. — М., 1860.

²⁸ Это следует из неопубликованного начала письма: «Не знаю, получили ли вы мое письмо, милый Борис Исаакович, и опять пишу к вам по двум обстоятельствам деловым...» Второе деловое обстоятельство совсем не было срочным: пересылалось письмо из Петербурга, которое проф. В. Д. Спасович с середины

мая возил с собой (РО ПД, ф. 360, № 52).

²⁹ Н. Майский, Указ. соч., стр. 373, 378.

³⁰ Э. С. Виленская сомневается в том, что Н. А. Тучкова-Огарева была вообще в это время в Фулеме, так как она «должна была находиться в Вентноре» (см. примечания в кн. Б. Козьмина «Литература и история». М., 1969, стр. 498). Поводом для такого сомнения послужило письмо Таты от 4 июля 1859 года. Но четырнадцатилетняя девочка сделала опisku — это письмо, вне всякого сомнения, следует датировать 4 августа. Н. А. Тучкова-Огарева, как это следует из всех остальных писем А. И. Герцена, уехала на остров Уайт только 22 июля.

³¹ «С.-Петербургские ведомости» № 150 от 12 июля 1859 года. Эту же дату называет Чернышевский в письме Добролюбову из Лондона (XIV, 379).

³² РО ПД, ф. 294, оп. 4, № 254, л. 1.

³³ Таким образом, эта записка Чернышевского датируется не концом июня (XIV, 379), а 7 июля 1859 года.

³⁴ См. «Сборник Пушкинского дома на 1923 год», стр. 283.

³⁵ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 1. М., 1939, стр. 731. Далее все ссылки на это издание даются в тексте.

³⁶ «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. 1. М., 1890, стр. 439.

³⁷ Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в 9 томах, т. 8. М.—Л., 1964, стр. 570. Далее все ссылки на это издание — в тексте.

³⁸ Так полагает М. В. Нечкина, которая впервые привлекла все три свидетельства к анализу вопроса (см. «Известия ОЛЯ», 1954, вып. 1, стр. 53).

³⁹ Оба письма принадлежали сторонникам крестьянской революции и призывали Герцена оставить надежды на царя и

звать Русь к топору. Автором «Письма из Петербурга» («Колокол», л. 23—24 от 15 сентября 1858 г.) был, по мнению Е. Г. Бушканца, Добролюбов (см. Е. Г. Бушканец, Добролюбов и Герцен. В сб. «Проблемы изучения Герцена». М., 1963, стр. 285—288). Автором «Письма к редактору» («Колокол», л. 25 от 1 октября 1858 г.) был, как доказал Н. Я. Эйдельман, В. П. Перцов, чиновник министерства внутренних дел (см. Н. Я. Эйдельман, Анонимные корреспонденты «Колокола». В сб. «Проблемы изучения Герцена», стр. 262—265).

³⁹ Подробнее об этом см. статью И. В. Пороха «Полемика Герцена с Чичериним и отклик на нее «Современника». — «Историографический сборник № 2. Саратов, 1965, стр. 45—75.

⁴⁰ См. М. К. Лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. Спб., 1904, стр. 309—368.

⁴¹ Критический обзор литературы по этому вопросу см. в статье В. П. Козьмина «Выступление Герцена против «Современника» в 1859 году» (в его кн.: «Из истории революционной мысли в России», М., 1961, стр. 634).

⁴² Обзор этих работ см. в статье Т. И. Усаниной. «Статья Герцена „Very dangerous!“ и полемика вокруг „обличительной литературы“ в журналистике 1857—1859 годов». В ее кн.: «История, философия, литература». Саратов, 1968, стр. 250—290.

⁴³ Принято считать, что Герцен был хорошо осведомлен о революционных позициях руководителей «Современника» благодаря беседам с М. Л. Михайловым, Н. В. Шелгуновым и А. Н. Пыпиным. Впервые это мнение высказал М. К. Лемке. Но это ошибочно, ибо все трое уехали из Петербурга за границу задолго до реорганизации журнала. Пыпин — в январе, Шелгунов — в мае, Михайлов — в июле 1858 года (см. Н. Г. Чернышевский Я. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 355; М. Л. Михайлов, Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, Вос-

поминания. М., 1967, т. 1, стр. 95; т. II, стр. 89, 495—497). Кроме того, до отъезда за границу никто из них не был достаточно близок к редакции журнала. О постоянном сотрудничестве Михайлова можно говорить только с сентября 1859 года. Шелгунов до 1859 года не принимал вообще участия в общей журналистике, а в «Современнике» печатался только в 1861—1862 годах. Пыпин же сам признает, что его дела в это время шли в стороне от журнала (см. А. Н. Пыпин, Мои заметки. Спб., 1910, стр. 99).

⁴⁴ М. А. Антонович и Г. З. Елисеев, Шестидесятые годы. М.—Л., 1933, стр. 91. Далее все ссылки на это издание — в тексте.

⁴⁵ См. письмо Н. Г. Чернышевского к Н. А. Добролюбову от 27 апреля 1861 г. (XIV, 425).

^{45а} В. П. Козьмин полагал, что Герцен напечатал «Объяснение» «более чем через месяц после переговоров» (см. В. П. Козьмин, Литература и история, стр. 46). М. В. Нечкина возражала ему: «всего через 24 дня после возвращения Чернышевского из Лондона». (См. ее статью: Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революционной ситуации (1859—1861 гг.). «Известия ОЛЯ», 1954, вып. 1, стр. 52.) Точки отсчета разные, но ошибка одна: поездка Чернышевского датируется исследователями по старому стилю, а выход «Колокола» — по новому.

⁴⁶ Первая встреча Антоновича и Добролюбова произошла 7 июля 1859 года (см. Н. А. Добролюбов, Соч., т. 9, стр. 374; М. А. Антонович и Г. З. Елисеев, Указ. соч., стр. 134—136). Предположение В. Э. Богграда, основанное на воспоминаниях М. И. Горчакова, об их знакомстве во второй половине 1858 года противоречит этим обим источникам и выглядит неуверенным (см. В. Э. Богград, Указ. соч., стр. 555—556). Первая рецензия Антоновича была напечатана в «Современнике» в сентябре 1859 года. «Довольно близкие отношения к Добролюбову» (дружескими назвать их мемуарист не считает

себя вправе) установились у Антоновича «с течением времени и мало-помалу» (139—140). Надо полагать, это произошло на рубеже 1859—1860 годов. В феврале и июне 1860 года в журнале появились еще три рецензии Антоновича. Но после отъезда за границу Добролюбова (май 1860) Антонович долго не появлялся в редакции, пока его не разыскал сам Чернышевский. Постоянное сотрудничество Антоновича в «Современнике» — началось только с февраля 1861 года (см. В. Э. Богград, Указ. соч., стр. 364, 374, 381, 393 и далее). Первая встреча с Чернышевским была незадолго до этого — «в конце 1860 г.», по словам мемуариста (154). «Через несколько месяцев после первой встречи с Н. Г. — вспоминал Антонович, — я коротко сблизился с ним и стал для него своим человеком» (39—40). Таким образом, близость Антоновича с Чернышевским продолжалась немногим более года (апрель 1861 — 7 июля 1862 года, день ареста Чернышевского). Близкие отношения с Добролюбовым продолжались еще меньше: 4 первых месяца 1860 года, до отъезда Добролюбова за границу (которые не привели ни к постоянному сотрудничеству, ни к знакомству с Чернышевским) и 3,5 месяца (август — ноябрь) 1861 года (когда Антонович бывал у больного Добролюбова «почти ежедневно» (82), что, впрочем, не дало ему права на подписание некролога Добролюбова в числе ближайших друзей).

⁴⁷ См. примечания Н. Г. Чернышевского к письму Н. А. Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 года (Н. А. Добролюбов, Соч., т. 9, стр. 251). Чернышевский назвал упомянутый Добролюбовым журнал «Колоколом», который в 1856 году еще не выходил. И. В. Порох, справедливо полагая, что речь шла о «Полярной звезде», необоснованно считает, что Чернышевский «ошибочно сместил характеристику своих настроений, относящихся к 1859 году, на 1856 год» (И. В. Порох, Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963, стр. 94).

47а Рукопись июльской «Политики» не сохранилась, но из лондонского письма Чернышевского Добролюбову видно, что она состояла из трех частей («Посылаю... продолжение «Политики». Остальные листы привезу с собою...»). XIV, 379. Курс. мой. — Ю. М.). О перемирии в Виллафранке, подписанном 11 июля нов. стили, Чернышевский узнал только после отъезда из Лондона. Значит, **остальные листы** — это первый и последний разделы статьи — «Похвала миру» и «Причина, по которой был заключен мир» (см. VI, 275—282, 323—327). Второй раздел — «Сражение при Маджете и Сольферино» — был, очевидно, отправлен еще из Парижа, а **продолжение**, посланное в лондонском письме, состояло из третьего раздела — «Причины поражения австрийской армии» (314—323).

48 См. Н. Г. Чернышевский и Полн. собр. соч., т. XV, стр. 930.

49 С. Г. Стахевич, Среди политических преступников. В кн.: «Н. Г. Чернышевский. 1828—1928». Сб. статей, документов и воспоминаний. М., 1928, стр. 103—104.

50 Цитир. по книге В. П. Ватурина «А. И. Герцен. Его друзья и знакомые». Спб., 1904, стр. 103.

51 Николай Ге, Встречи. — «Северный вестник», 1894, № 3, стр. 240.

52 54 Участники дискуссии по этому вопросу (см. «Встречался ли Н. А. Добролюбов с А. И. Герценом в 1860 году?». В сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1962, стр. 519—540) к единому мнению не пришли. Главным доказательством гипотезы считается статья Герцена «Лишние люди и желчевники».

Автор настоящей статьи ошибался, присоединяясь к мнению исследователей, считавших Даниила обобщенным художественным образом (см. Ю. Н. Коротков, У истоков первой «Земли и воли». — «Исторические записки», т. 79, М., 1966, стр. 194—195).

55 Е. Г. Бушканец полагает, что майская книжка «Современника» попала в руки Герцена до выхода

в свет «Колокола» и он в последний момент успел учесть в «Very dangerous!!!» статью Добролюбова «Что такое обломовщина?» (см. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1962, стр. 532). Но это маловероятно: между выходом в свет майского номера «Современника» и 44-го листа «Колокола» прошло всего пять дней! Более вероятным кажется наблюдение В. Э. Бограда и Н. И. Тотубалина, которые в примечаниях к соч. Добролюбова заметили, что Герцен как бы предугадал «возможность нахождения в «Обломове» родовых черт лишних людей» (IV, 474). Действительно, характеристика эволюции «лишних людей» в статье «Что такое обломовщина?» является дальнейшим развитием характеристики «зрелых мудрецов» из «Литературных мелочей», и Герцен правильно почувствовал, что Добролюбов не применит использовать столь подходящий для этой цели образ Обломова.

56 «Читал ли ты «лишних людей» в «Колоколе»? — писал Герцен П. В. Анненкову 20 ноября 1860 года. — Я после разговоров с тобой и небольшой статьи этих господ вдруг вздумал анонимный портрет демократа-поэта поместить под «Колокол» (XXVII, 114).

57 Ю. М. Стеклов не понял этого и считал рассказ Герцена о свидании с Чернышевским «чрезвычайно пристрастным и односторонним»: «Послушать его, так весь разговор... вертелся якобы вокруг исторических экскурсий в 30-е и 40-е годы» (Ю. М. Стеклов, Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность, т. II, М.—Л., 1928, стр. 50). Недооценивает значение проблемы и Е. Г. Бушканец (см. «Революционная ситуация...». М., 1962, стр. 533).

58 В литературе не появилось указаний на сходство некоторых выражений Герцена в этой статье с выражениями самого Чернышевского, который еще в 1857 году в «Современном обозрении» декабрьской книжки назвал своих сторонников «желчными ипохондриками», отмечая, что они «больны и раздражительны» (см. IV, 882). Кроме термина «желчевники»,

в статье Герцена есть фраза: «Все они были ипохондрики и физически больные...» (XIV, 323).

59 Позднее 10 июля не было смысла послать рукопись «Политики», так как почта не успела бы доставить ее до возвращения Чернышевского в Петербург.

60 А. Е. Кошовенко, Указ. соч., стр. 280.

61 См. письма Н. А. Некрасова И. С. Тургеневу от 26 мая, 20 и 21 июля 1857 г. и А. И. Герцену от 15 июня, 20 и 26 июля 1857 г. (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., 1952, стр. 340—352); письма А. И. Герцена Н. А. Некрасову от 10 июля и И. С. Тургеневу от 20 июля 1857 г. (XXVI, 104—106), а также «Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой, стр. 289.

62 См. Б. П. Козьмин, Литература и история, стр. 52—53 и примеч. Э. С. Виленской в той же книге, стр. 497.

63 См. М. В. Нечкина, Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революционной ситуации, стр. 52—53.

64 См. А. Е. Кошовенко, Указ. соч., стр. 281.

65 См. И. В. Порох, Герцен и Чернышевский, стр. 144.

66 См. М. В. Нечкина, Н. Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения в годы революционной ситуации. — «Вопросы истории», 1953, № 7 и др.

67 Первые две конспиративные записки Н. П. Огарева, которые М. В. Нечкина датирует 1857 и 1859 годами, на самом деле возникли значительно позже. Равным образом так называемый «конспиративный комплекс» Добролюбова вовсе не свидетельствует о наличии к 1859 году тайной организации в России. Вопросы эти выходят за рамки темы и будут освещены в специальной статье.

68 См. примечание Э. С. Виленской в кн. Б. П. Козьмина «Литература и история», стр. 498.

⁶⁹ «Литературное наследство», т. 67, стр. 128.

⁷⁰ В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М. — Л., 1930, стр. 157.

⁷¹ И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Письма, т. 3. М. — Л., 1961, стр. 340. В. П. Козьмин ошибочно считал, что Тургенев имеет в виду А. А. Фета, но речь идет об А. А. Шенлине, парижском знакомом Тургенева (см. там же, стр. 706).

⁷² С. Г. Стахевич в конце 1861 — начале 1862 года слышал от своего товарища студента-медика Н. А. Сочавы рассказ о том, как Чернышевский, не владея разговорной речью, спрашивал в Лондоне прохожих (см. С. Г. Стахевич, Указ. соч., стр. 56 — 57). Несколько дорожных и лондонских эпизодов рассказывает также М. А. Антонович (см. Указ. соч., стр. 93 — 96).

⁷³ В цитированном выше письме к Герцену Тургенев уверял, что узнает все в Петербурге. У кого же, кроме Чернышевского, он мог это узнать? К. Д. Кавелин посетил Лондон в конце июля 1859 года. Герцен считал его посещение «главным событием после приезда Огарева» (XXVI, 286). Безусловно, о посещении Чернышевского Герцен ему рассказал. Пользуясь коротким знакомством с редактором «Современника», Кавелин должен был попытаться выяснить и его мнение о Герцене.

⁷⁴ «Позвольте посоветовать вам, — писал А. А. Серно-Соловьевич, обращаясь к Герцену, — прочтеть письмо Добролюбова к вам по этому поводу; оно лучше, чем что-нибудь, должно осветить в вашей памяти давно забытые воспоминания и показать вам, как уже тогда, когда многое еще не выяснилось, когда вы были во всей силе своих словозвержений, относились к вам эти люди...» (А. А. Серно-Соловьевич, Наши домашние дела, Veveur, 1867, стр. 29). В. Я. Богучарский добавлял к этому, что «одно лицо, близкое в свое время Добролюбову и Чернышевскому», сообщило ему, «что документ этот несомненно существовал и что по со-

держанию своему он имеет очень большое общественное значение» (В. Я. Богучарский, Из прошлого русского общества. Спб., 1904, стр. 253).

⁷⁵ С. А. Рейсер также считает, что Добролюбов вряд ли писал Герцену (см. С. А. Рейсер, Был ли Н. А. Добролюбов автором письма «Русского человека» к Герцену? — «Вопросы истории», 1955, № 7, стр. 129, 131).

⁷⁶ М. В. Нечкина высказала мнение, что этим письмом Добролюбова было «Письмо из провинции», подписанное «Русский человек» и напечатанное в «Колоколе» 1 марта 1860 года (см. ее статью «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» — «Исторические записки» т. 10, 1941, стр. 32). Аргументацию М. В. Нечкиной более подробно развернула Е. Н. Дрыжакова (см. ее статью в Уч. зап. Ленинградского пед. института, факультет языка и литературы, 1956, т. XVIII, в. 5, стр. 69 — 70). Но свидетельство А. А. Серно-Соловьевича говорит о письме, в котором было выражено отрицательное отношение редакции «Современника» к Герцену. Письмо же «Русского человека», при всем несогласии с позицией Герцена, таким не является. (Вопрос об авторстве письма «Русского человека» в литературе не считается решенным. Обзор основных точек зрения см. В. В. Пугачев, К вопросу о тактике Н. А. Добролюбова в годы первой революционной ситуации. В кн.: «Н. А. Добролюбов, Статьи и материалы». Горький, 1965, стр. 110 и сл.) Исходное предположение, что Серно-Соловьевич имел в виду широко известный документ, представляется натяжкой. Напоминание делалось только Герцену, а не читателям, большинство которых уже не помнили (или даже совсем не знали) печатной полемики восьмилетней давности. О существовании письма А. А. Серно-Соловьевич мог знать от брата, который, в свою очередь, знал о нем от Герцена.

⁷⁷ В воспоминаниях, приложенных к письму Пыпину от 21 января 1884 года Чернышевский писал об этом: «...употреблено мною

очень суровое выражение, относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев» (I, 741). В комментариях к собр. соч. Чернышевского Н. М. Чернышевская и А. П. Костицын указывают, что вторым лицом был Герцен (см. I, 814; X, 1003).

⁷⁸ См. М. Н. Нечкина, Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, стр. 35; М. А. Антонович, Указ. соч., стр. 88 и др.

⁷⁹ Имеется обстоятельная работа И. В. Порожа, неоднократно упомянутая выше.

^{80—81} «Вспомните также, — писал А. А. Серно-Соловьевич Герцену, — сколько раз вы говорили и писали моему брату, чтобы он постарался помирить вас с Чернышевским во имя так называемого общего дела» (А. А. Серно-Соловьевич, Указ. соч., стр. 29). См. также письмо Н. П. Огарева и А. И. Герцена к Н. Н. Обручеву от августа 1861 года (XXVII, 164 — 167). Н. А. Серно-Соловьевич и Н. Н. Обручев, близкие и к редакции «Современника», и к издателям «Колокола», прилагали много усилий к установлению взаимопонимания.

⁸² Эта мысль, высказанная Б. П. Козьминым (см. его статью в «Известиях ОЛЯ», 1953, вып. 2, стр. 157), вызвала решительные возражения М. В. Нечкиной (см. ее статью там же, 1954, вып. I, стр. 52 и сл.).

⁸³ В конверт визитная карточка вложена по ошибке. Кроме лондонского штемпеля, на нем есть штамп графства Девоншир. Очевидно, визитная карточка Герцена оттуда отправлена быть не могла. В комментариях к письму 290, где говорится о конверте с визитной карточкой, Дрыжакова не отмечает ошибки в фамилии адресата, которая на конверте обозначена Stahloff. Предположение В. Д. Комаровой о том, что адрес на конверте написан Мюллером-Стрюбингом, вряд ли действительно. Несмотря на рекомендательное письмо В. П. Боткина к нему, Ставов, вероятно, с ним не встречался.

⁸⁴ См. «Сборник Пушкинского дома на 1923 год» стр. 282 — 283.



Б. Бялокозович
(Варшава)

Кто был
автором литографии
«Белорусский раб»,
изданной А. Мицкевичем
и описанной
А. И. Герценом?

В своем знаменитом памфлете «Крещеная собственность» (1853) Герцен ставил перед своими читателями вопрос, на который сам же спешил и ответить: «Видели ли Вы литографию, изданную А. Мицкевичем и представляющую «Славянского невольника»? Ненависть, смешанная со злобой и стыдом, наполняет мое сердце, когда я гляжу на этот жестокий упрек, на это «к топорам, братцы», представленное с поразительной верностью». Далее следовало уточнение — это не обобщенный образ «славянского невольника» прошлых столетий, а современный крепостной белорус: «Белорусский мужик, без шапки, обезумевший от страха, нужды и тяжелой работы, руки за поясом, стоит середь поля и как-то косо и безнадежно смотрит вниз. Десять

поколений, замученных на барщине, образовали такого парию, его череп сузился, его рост измелчал, его лицо с детства покрылось морщинами, его рот судорожно скривлен, он отвык от слова. Звериный взгляд его и запуганное выражение показывают, на сколько шагов он пошел вспять от человека к животным. За это преступление, за этого белоруса его паны не свободны, за него их героизм, их мученичество, их страдания не были приняты»¹.

Агитационный плакат, изданный Мицкевичем, в глазах Герцена был образцом живописного мастерства, окрыленного высокой идейностью пламенного протеста художника-гуманиста против крепостного правопорядка; обусловившего физическую и духовную деградацию «десяти поколений» трудового народа.

В письме к художнику Михаилу Петровичу Боткину от 21 февраля (5 марта) 1859 года Герцен, рассматривая проблему соотношения искусства и действительности, вернулся к взволновавшему его образу белорусского мужика. «Чем кровнее, чем сильнее вживается художник в скорби и вопросы современности — тем сильнее они выразятся под его кистью. Знаете ли вы литографию, некогда сделанную Мицкевичем, «Белорусского раба» — я на эту картину никогда не мог смотреть без биения сердца»².

В памфлете «Крещеная собственность» Герцен эту литографию именует «Славянский невольник», а в письме к М. П. Боткину — «Белорусский раб».

И первое и второе упоминания Герцена о литографии, «изданной», а может быть, даже «сделанной Мицкевичем», рассчитаны были на широкую известность этого плаката в кругу передовых читателей сороковых и пятидесятых годов. Но с течением времени строки о «славянском невольнике», или, точнее, о «белорусском рабе», стали утрачивать свою конкретную осязательность, так как старые экземпляры восхитившей Герцена «литографии» растерялись и до нас не дошли, а новых ее воспроизведений в течение ста с лишним лет не появлялось.

Оставался неизвестным и автор плаката. Больше того, о «белорусском рабе» не нашли никаких данных ни в литературе о Мицкевиче, ни в исследованиях о Герцене. Комментаторы же «Крещеной собственности» обходили полным молчанием рассказ о «белорусском рабе», воспроизведения которого не оказалось к тому же ни в одном из наших музеев и библиотек. Безрезультатными были долгое время и поиски

утраченного плаката, организованные редакцией академического издания сочинений и писем Герцена. В этих поисках принял участие и автор настоящей статьи, обнаруживший лишь в 1965 году в каталоге парижского Музея Адама Мицкевича инвентарную запись, позволившую, наконец, установить, что именно имел в виду Герцен, апеллируя к литографии «Славянский невольник»³.

Обнаруженная нами запись предельно лаконична. Она дана в каталоге на странице 34-й, под номером 546: «L'esclave slave», lithographie d'Oziemblowski, distribuee à un cours au Collège de France où Mickievicz parlait des misères et de la grandeur morale du paysan slave, 36×22cm»⁴. В каталоге отмечен и цветной вариант «Славянского невольника» под номером 547: «L'esclave slave», lithographie coloriée de Lemercier, 44×26,7 cm»⁵. Этот вариант, выпущенный в свет известной парижской литографией Лемерсье, вероятно, по заказу Мицкевича, при увеличении портрета и его раскраске был несколько деформирован.

О создателе плаката «Белорусский раб», имя которого указано было в парижском музейном каталоге, мы знаем не очень много, хотя прожил он долгую жизнь и оставил немало произведений, обеспечивших ему достойное место в истории польской живописи середины XIX века.

Юзеф Озембловский родился в 1804, а умер в 1878 году⁶. Он был на шесть лет моложе Мицкевича и учился в том же Виленском университете, в котором великий поэт слушал лекции тех же профессоров. Как художник Озембловский сложился в школе профессора живописи Виленского университета известного гуманиста Яна Рустема. Перу Озембловского принадлежит целый ряд портретов деятелей польской и

¹ А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 98—99.

² Там же, т. XXVI. М., 1962, стр. 241.

³ Там же, т. XXX, кн. 2. М., 1965, стр. 769.

⁴ В. Monkiewicz et E. Fiszler, Bibliothèque Polonaise de Paris. Inventaire du Musée Adam Mickiewicz portraits et souvenirs. Paris, 1948, s. 34.

⁵ Там же, стр. 34.

Подлинники воспроизводимых литографий находятся в Париже. За предоставление нам их репродукций приносим глубокую благодарность Ежи Енджевичу.

⁶ «Słownik Biograficzny pracowników księgi polskiej». Łódź, 1962, s. 130.

литовской культуры. Он же был автором замечательных зарисовок Вильнюса и других литовских и белорусских городов, им же самим литографированных в основанной им в Вильнюсе литографии.

Время и место создания Озембловским плаката «Славянский невольник» точно не установлено. Но есть все основания предполагать, что работа эта выполнена была им в Вильнюсе, в литографической мастерской, принадлежавшей самому художнику. Мы не знаем, получил ли этот плакат распространение на родине автора до тех пор, как он стал известен в Париже Мицкевичу, который, как известно, занимал кафедру славянских литератур в Collège de France с конца 1840 до середины 1844 года⁷.

Мицкевич неоднократно сопровождал свои лекции по курсу славянских литератур в Париже иллюстративным материалом, подтверждающим отдельные звенья его концепции. В этом отношении ему оказалась очень полезной и литография «Славянский невольник». В процессе работы над «Крещеной собственностью» Герцен не только сослался на эту самую литографию, но одновременно вспомнил и давно прочитанный им в Москве парижский курс славянских литератур Мицкевича. Именно в этих лекциях Герцен нашел для себя много родственных мыслей.

Повышенный интерес к лекциям Мицкевича Герцен проявлял задолго до своего отъезда из России. Повторяя суждения поэта, высказанные им 6 декабря 1842 года в первой лекции, о том, что «во всем земном шаре [...] нет, кроме этого зала, ни одного места, где бы можно было свободно поднять речь о положении славянских народов», Герцен в дневнике от 9 октября 1843 года подчеркивал: «А нам, славянам, предстоит молчание или слово вне отечества, как сказал Мицкевич, начиная нынешний курс свой»⁸.

В этом же году внимательное чтение парижских лекций Мицкевича приводит Герцена к выводу, что во взглядах московских славянофилов и Мицкевича, несмотря на многие расхождения, все же выступают также очевидные аналогии. Это касается прежде всего их отрицательного отношения к реформе Петра I и к современной бюрократии, их взгляды на древнюю славянскую общину и на будущее славянского мира. В дневнике от 12 февраля 1844 года Герцен констатирует: «Лекции Мицкевича

au Collège de France 1840—1842. Мицкевич — славянофил вроде Хомякова и Шиче со всею той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль, что он живет в Европе, а не в Москве, что он толкует не об одной Руси, но о чехах, иллирийцах и пр., и пр. Нет никакого сомнения, в славянизме есть истинная и прекрасная сторона; эта прекрасная сторона верования в будущее всего прекраснее у поляка, — у поляков, бежавших от ужасов и казней и носящих с собою свою родину»⁹.

Печатный курс славянских литератур Мицкевича имел некоторое влияние на идейную эволюцию Герцена и подготовил в какой-то мере его переход от западничества сороковых годов к точке зрения «русского социализма», побуждая одновременно со всей серьезностью отнестись к выдвинутой славянофилами проблеме русской крестьянской общины¹⁰. К этим вопросам и проблемам Герцен будет неоднократно возвращаться в таких своих работах эмиграционного периода, как «О развитии революционных идей в России» (1850), «Русский народ и социализм» (1851), «Поляки прощают нас!» (1853).

Под впечатлением курса славянских литератур Мицкевича Герцен записывает в своем дневнике от 12 февраля 1844 года: «Славяне везде рабы, везде холопы — смиренные, пассивные холопы. Демократический элемент, на который они опираются, утрачен, крепостное состояние — достаточное доказательство»¹¹. К этой именно проблеме возвращается Герцен и в брошюре «Крещеная собственность». Разоблачая крепостное право и его последствия, Герцен не случайно вспомнил литографию «Славянский невольник», которую распространял Мицкевич на своих лекциях в Париже.

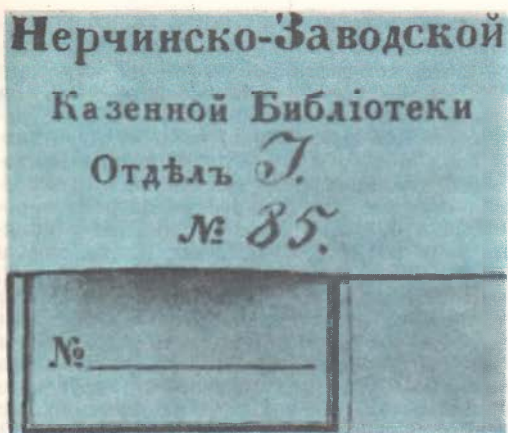
⁷ A. Mickiewicz, Dziela, t. XI, Warszawa, 1955, s. 8.

⁸ А. И. Герцен, Цит. изд., т. II, М., 1954, стр. 309.

⁹ Там же, стр. 314—315.

¹⁰ См. A. Walicki, Prelekcje paryskie Mickiewicza Słowianofilstwo rosyjskie. „Przegląd Humanistyczny”, 1984, nr. 1, s. 20; B. Białośowski, Alexander Herzen a Adam Mickiewicz w świetle dawnych i nowych przekazów. „Ruch Literacki”, 1967, № 5, s. 275—283.

¹¹ А. И. Герцен, Цит. изд., т. II, стр. 334.



Евг. Петряев
(Киров-на-Вятке)

Библиотека М. Л. Михайлова

Новые находки



В августе 1865 года на Нерчинской каторге погиб Михаил Ларионович Михайлов — поэт, переводчик, один из виднейших деятелей революционно-демократической литературы.

За три месяца до его смерти, 26 мая 1865 года, писарь Нерчинского горного правления в статейном списке каторжников под № 26 последний раз отметил: «Государственный преступник Михаил Илларионович Михайлов, 36 лет... Росту 2 аршина 5¼ вершка, волосы черные, глаза мутные, узкие, веки выпуклые, нос прямой, рот малый, подбородок обросший, лицо смугловатое, худощавое, лоб морщиноват... В заводы поступил 7 марта 1862 года»¹.

В «Ведомость о государственных и политических преступниках, находящихся в работах на рудниках Нерчинского горного округа» о Михайлове из месяца в месяц записывалось: «Бывший отставной губернский секретарь. За злоумышленное распространение сочинения, в составлении которого он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти, для потрясения основных учреждений государства, но осталось без вредных последствий, Михайлов по высочайшему повелению, последовавшему 25 ноября 1861 года, по лишению всех прав состояния, ссылается в каторжную работу в рудники на шесть лет»².



¹ Читинский областной государственный архив (ЧОГА), ф. 1, № 663.

² ЧОГА, ф. 1, отдел политический, № 102, л. 104.

Вначале (с 11 марта 1862 до января 1863 года) Михайлов находился на Казаковском промысле и жил у брата — горного инженера, затем, до мая 1864 года, — в Зерентуйском руднике, а позже — в Кадае.

В Казакове в доме инженера П. Л. Михайлова собиралась молодежь. Здесь шли «горячие споры, интересные беседы, вопросы и разъяснения, тянувшиеся далеко за полночь»³. Но это продолжалось недолго: полиция не дремала. Уже вскоре М. Л. Михайлов писал: «Дни мои скучны и однообразны, от пера к книге, от книги к перу. Но вместо книг (и какие это книги — русские журналы, доходящие ко мне урывками, где мысль напрасно напрягается найти выражение), вместо книг хочется живого дела, живых забот»⁴. Особенно плохо стало после перевода в Зерентуй. Здесь, почти совсем без книг, Михайлов не мог чувствовать себя человеком.

В Петербурге у него осталась библиотека, которую он долго и старательно подбирал. Известная статья Михайлова «О старой книге», напечатанная еще в 1854 году, хорошо отражала его библиофильские интересы. В «Записках», рассказывая об обстоятельствах своего ареста, Михайлов упоминал, что библиотека в петербургской квартире занимала три шкафа. Среди многих дорогих ему книг он называл запрещенный цензурой сборник стихотворений Пушкина (Берлин, 1861), взятый жандармами при обыске.

Получить книги в Забайкалье удалось лишь через год и обходным путем. В 1863 году в Казаково в адрес П. Л. Михайлова из Петербурга прибыло три ящика книг (вероятно, около трехсот томов). Часть книг полиция сразу же изъяла⁵.

В Зерентуе и Кадае комендант Нерчинской каторги, по словам находившегося с Михайловым политического ссыльного Э. Андреоли, «вместе со своей своих шпиков, на которых горько жаловался брат поэта Михайлова, проводил систему бессмысленной строгости, мелочных распоряжений, провокаций, доносов, вдвойне угнетавших узников в той пустыне, где и без того бегство или бунт были почти неправдоподобными»⁶. Как известно, инженер П. Л. Михайлов, начальник заводов О. А. Дейхман, инженер В. Ф. Янчуковский и другие предстали перед комиссией военного суда при войсковом правлении Забайкальского казачьего войска по обвинению «в послаблениях» ссыльному поэту и понесли наказание⁷.

Более двух лет провел Михайлов под строгим надзором в Кадае. Она находилась в 300 верстах от Нерчинска и в 37 от Нерчинского завода. Поэт П. Якубович (Л. Мельшин), посетивший ее в 1894 году, писал: «На пространстве сотен верст в округности безлесные, голые сопки. Ни деревца кругом, ни прохладной рощицы, ни свежего озера — все мертво, глухо, безжизненно. Деревушка Кадая лежит в мрачной глубокой котловине, над которой висит с одной стороны обрывистый утес, лишенный растительности, налево утес поменьше, но одетый кругом зеленью»⁸.

В Кадае Михайлов особенно страдал от холода и дурного питания, был лишен минимальных жизненных удобств и часто болел. В феврале 1865 года ему было дозволено «жить вне тюрьмы, на частной квартире, с тем чтобы за ним иметь самый бдительный надзор, не позволять ему выезда из Кадаинского селения и строго следить, чтобы он не имел ни с кем переписки»⁹.

Михайлов вышел из тюрьмы уже тяжело больным и поселился в хибарке старосты Маурова. Вообще здоровье поэта все эти годы было плохим. Забайкальский губернатор Кукель видел Михайлова летом 1862 года и даже тогда нашел, что «он на ладан дышит» и что это «живой скелет».

В дневнике забайкальца И. В. Багашева (1843—1919) сохранились заметки о том, что у Михайлова в Кадае было много книг и что он охотно их дарил. Приводилась и копия ярлычка, который встречался на подаренных книгах. В другой записи упоминается, что в 1865 году в рукописном сатирическом журнале «Реставрационный

³ Е. О. Дубровина, Памяти М. И. Михайлова. «Беседа», 1905, № 12, стр. 17.

⁴ М. Л. Михайлов, Сочинения, том III. М., 1958, стр. 614.

⁵ П. Фатеев, Последние годы жизни, борьбы и творчества революционного демократа М. И. Михайлова. «Забайкалье» (Чита), кн. 4, 1950, стр. 278.

⁶ Э. Андреоли. Из Польши в Сибирь... (De Pologne en Sibirie. Journal de captivité). Часть I. „Revue moderne“, Paris, том 48, 1868, стр. 129.

⁷ ЧОГА, ф. 31. д. 35, лл. 1—41.

⁸ «Степной край» (Омск), 1896, № 54.

⁹ «Забайкалье», кн. 4, 1950, стр. 225.

листок» (Нерчинск) помещались новые переводы М. Л. Михайлова из Беранже¹⁰. Таким образом, в Кадае Михайлов продолжал литературную работу, и книги были его единственной радостью. Он писал роман «Вместе», посвященный революционным демократам 60-х годов. По идейному замыслу это произведение (начало его появилось в журнале «Дело» в 1870 г.) стояло в одном ряду с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Литературовед Ю. Д. Левин установил, что Михайлов успел закончить этот роман (цензура дважды его запрещала), но рукопись пока не найдена¹¹.

Незадолго до смерти Михайлова (он уже находился в Кадаинском каторжном лазарете) казенная библиотека Нерчинского горного правления купила у него довольно много (64 тома) сочинений на иностранных языках¹². Возможно, что книги покупались и раньше, но документов об этом не найдено. В Нерчинско-заводской библиотеке преобладали научные и технические книги. Поэтому приобретение большого числа книг на «посторонние темы» и на иностранных языках, которыми в заводы владели немногие, было явным «ослаблением» поэту. Кроме того, и цена, заплаченная за книги (круглым счетом по 6 рублей за том), была довольно высокой. Конечно, все это сделали забайкальские друзья поэта. Среди них следует назвать архитекторского помощника Пантюхина, которого постарались потом перевести в Иркутск¹³.

Остальные книги и все рукописи Михайлов завещал передать сыну — Михаилу Шелгунову. В своих воспоминаниях Л. П. Шелгунова писала, что бумаги Михайлова, «связанные и приготовленные» самим поэтом, она получила от его брата. Но, видимо, завещание не было исполнено. Рукописи Михайлова, как сообщали П. Ф. Якубовичу-Мельшину, оказались у местного купца Глазкова. Незадолго до своей смерти он уничтожил их. Неизвестной осталась судьба книг. Они не поступили ни в библиотеки, ни в музеи. В Забайкалье никаких сведений о книгах найти не удавалось.

Библиотека Нерчинского горного округа была перевезена в Читу и сохранилась лишь частично. Уцелевшие книги, главным образом на иностранных языках, оказались в конце концов в фондах Читинской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Осенью 1965 года мне удалось просмотреть часть старых книг иностранного отде-

ла библиотеки. На полках встретились томики-ветераны из казематов декабристов. Многие книги (особенно на польском языке) пришли сюда из тюремных библиотек и сохранили массу автографов и заметок, еще не изученных и не расшифрованных. Некоторые из книг имели экслибрис Нерчинско-заводской казенной библиотеки. Этот невыразительный продолговатый ярлычок, отпечатанный, судя по шрифту, в местной типографии в середине XIX века, дополнялся от руки указанием отдела (заглавная буква) и номера книги (арабской цифрой).

Среди массы немецких книг наше внимание привлекла антология «Поэзия и поэты» Ф. Фрейлиграта (Дессау, 1854, 748 стр.). На обратной стороне верхней крышки переплета был уже встречавшийся ярлычок казенной библиотеки. Но из-под этого ярлыка виднелся другой, более длинный. Осторожно отделив и приподняв угол верхней наклейки, мы обнаружили под ней хорошо сохранившийся первый экслибрис размером 38×45 миллиметров с надписью: «Библиотека М. Л. Михайлова. №...» Так открылся след исчезнувших книг.

В антологии оказались многочисленные пометки около стихотворений А. Мейснера («Три поэта»), Уланда, Гервега и др. Именно этих поэтов Михайлов переводил в Кадае.

В стихотворении «Благословение поэта» отмечены чертой две начальных строфы: «Когда иду вдоль поля, слушая песню жаворонка, я становлюсь трудолюбивым седовласым человеком и говорю: благословение этому верному и прилежному полю, этим увядающим рукам, которые еще засеют землю». Сбоку карандашом написано: «...они [т. е. старые сеятели] сеют главное: то писатель — д. б. деятель».

Сравнение этой пометки с автографами Михайлова обнаруживает большое сходство в почерке (особенно в характерных буквах т, л, т). Видимо, эта запись в книге была сделана уже в Кадае. Многие буквы стерлись, и надпись пока не поддается воспроизведению в печати.

¹⁰ Кяхтинский музей. Бумаги И. В. Багащева. Дневник 1865 г., лл. 261 и 341.

¹¹ «Литература и жизнь», 1961, 25 августа.

¹² ЧОГА, ф. 31, № 16, л. 20.

¹³ Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, ф. 137, карт. 126, д. 43.

По внешнему сходству книг: темный красивый переплет с тиснением на коричневом кожаном корешке — вскоре нашлось около трех десятков томов, но с экслибрисом Михайлова оказались лишь следующие (на немецком языке):

1. Ф. Боденштедт, Современники Шекспира и их произведения. Берлин, 1860.

2. К. Борг, Русская поэзия. Рига, 1823, 416 стр.

3. Ф. Раумер, История Гогенштауфенов и их времени. В 6 томах. Лейпциг, 1857—1858.

4. Шерр, История немецкой культуры. Лейпциг, 1858.

Из английских книг экслибрис Михайлова сохранился на книге Дж. Стюарта Милля «О свободе» (Лондон, 1859)¹⁴.

На некоторых книгах писарь проставил чернилами казенные инвентарные номера (1336, 1348 и др.) и стоимость книги. По этим номерам и переплету можно с уверенностью сказать, что Михайлову принадлежал также двухтомник сочинений Гёте (Штутгарт, 1847), хотя на нем экслибриса нет.

Конечно, пометки в книгах библиотеки М. Л. Михайлова заслуживают детального

изучения, а его экслибрис станет своеобразным «фонарем» для дальнейших поисков.

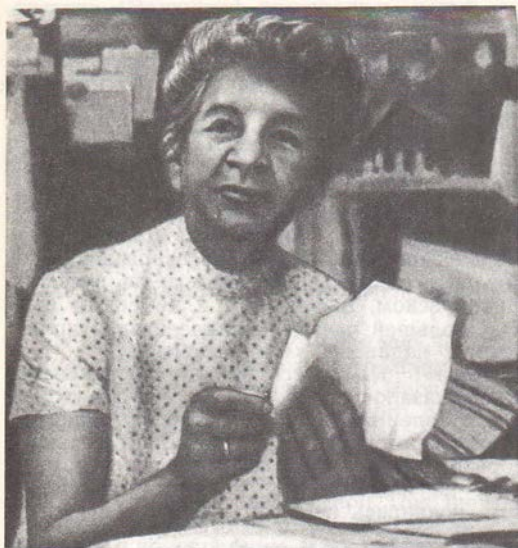
Так ровно через сто лет после смерти М. Л. Михайлова обнаружили следы его библиотеки.

Недавно в бумагах иркутского генерал-губернатора¹⁵ отыскались сведения о трех ящиках книг, привезенных Шелгуновыми Михайлову. Книги передали иркутскому комиссионеру для отправки инженер-поручику Михайлову, брату Мих. Ларионовича. В донесении сказано: «По вскрытии ящиков во всех их найдены книги на русском, французском, английском и немецком языках, большей частью с наклеенными ярлыками с надписью «Библиотека М. Л. Михайлова». По рассмотрению означенных книг оказалось несколько из значащихся в представленном при сем особом списке». В списке приведено 8 названий, главным образом запрещенных царской цензурой книг на французском языке. Таким образом, появилась еще одна нить для поисков.

¹⁴ Р. И. Цуприк, Новая жизнь старых книг. «Забайкальский рабочий» (Чита), 1966, 13 февраля.

¹⁵ Иркутский гос. обл. архив, фонд 24, оп. 3, ед. хр. 27.





№112 Liège, 13/vii 06
 Заграничной Агентства
 при
 У. К.

Уважаемые товарищи!

11/vii отправлено Вам
 2 к. К. подвески (500)
 франков по адресу: А. Минтц,
 Ramisch 31^e, получение конво-
 яна просить подтвердить
 С товарищеским приветом
 Секретарь группы
 Эдуард
 101 Montefiore 10



И. Дубинский-Мухадзе

Ищу в Германии...

На Штуттгартенплатцъ 5
 противъ вокзала
 „CHARLOTTENBURG“
 открывается съ 1-го апрѣля 1908 г. первый въ Берлинѣ
 обществѣнный
РУССКІЙ КЛУБЪ
 « ДЛѢ ВСѢХЪ. »
 При немъ
библіотѣна и читальня.
 Въ русскомъ, русскомъ, польскомъ и французскомъ языкахъ
 на русскомъ, польскомъ, французскомъ и др. языкахъ.
 БЕЗПЛАТНЫЕ КУРСЫ ЯЗЫКОВЪ.
Справочн. бюро и бюро труда.
 Проводники и переводчики
 ПОСТОЯННЫЙ БУФЕТЪ
 Запрещено продавать и вывозить
Члены учредители.

Третью неделю в Германии. Иду по следам Владимира Ульянова — он же болгарский подданный доктор Иорданов, и добропорядочный немец Мейер, и симпатичный русский господин Петров. А с осени 1901 года — Н. Ленин.

Сверяюсь с адресом, когда-то указанным в письме Ильича матери: «Господину В. И. Ульянову. Берлин, Моабит, Фленсбургерштрассе, 12 (У фрау Куррайк)». Первый адрес — первая неудача. Дома — нет. Что там один дом! Почти вся Фленсбургерштрассе, находящаяся в Западном Берлине, расстреляна пушками, спалена бомбами.

Тогда через Бранденбургские ворота направляюсь на Унтер-ден-Линден. Мне нужен дом номер два. Старая Королевская библиотека. Ее часто, вероятно ежедневно, посещал Владимир Ильич в августе — сентябре 1895 года.

На левой стороне широченной улицы, устремленной вниз к Александерплац, в глаза бросается мемориальная доска на доме номер восемь: «В 1895 году эту библиотеку посещал В. И. Ленин». Странно! И эту и Королевскую?

Дома шесть, четыре, а там, где по всем правилам должен быть номер два, — изрешеченная, опаленная огнем коробка. У стен — строительные леса. В недоумении возвращаюсь назад к дому с мемориальной доской. И здесь все разъясняется. Фонды изрядно пострадавшей во время войны Ко-

ролевской библиотеки переданы теперь Немецкой библиотеке. Наверное, и те книги, которыми пользовался Ильич. С книгами и право на мемориальную доску. Впрочем, на время, пока будет восстановлено старое «королевское» здание.

Теперь в унтербан, в подземку, и на Франкфуртер-аллее. Староберлинский тяжелый серый дом. Целехонек. Только номер другой. Был номер 193, стал 102. Франкфуртер-аллее, 102. Здесь в излюбленном локале в поздние сумерки третьего августа 1895 года происходило собрание рабочих — социал-демократов. С участием Владимира Ильича.

Кто знает, не в тот ли вечер Ильич свел знакомство со стариком берлинцем, великим мастером изготовлять чемаданы с двойным дном. Раньше, в годы свирепого закона против немецких социалистов, умелец в своей мастерской на Манштейнштрассе, 3 делал хитрые чемаданы для «Роте Фельдпост» — «Красной военно-полевой почты», — организации хотя и тайной, но глубоко гражданской, рабочей, двенадцать лет без провала доставлявшей в Германию цюрихскую газету «Социал-демократ». Теперь старик блеснул умением ради гостя из России. Чтобы Владимир Ульянов, возвращающийся из своей первой заграничной поездки, мог перевезти через границу листовки, книги. Нелегальные. Архиважные.

Мой шеф и гид в случаях особенно за-

Уважаемый тов. Яковлев,
 Предвзвучено сего тов. Яковлев
 Ковзоскин, мен. нашей групп
 Левин, секретарь Бюро сектора
 Группы, может перейти графин
 цу, так как настало
 него не имевшей, денгами
 Б. Яковлев Ленинский

труднительных, автор книги о русских социал-демократах в Германии, профессор Ботто Брахманн, считает, что в Берлине искать больше нечего.

И тут я проявляю «эрудицию»:

— А русский клуб и читальня имени Чехова в Шарлоттенбурге? А дом, где останавливалась Анна Ильинична? А квартира Айзенштадта-Юдина? Ведь у него был Ленин! Помните, была статья Ксавера Штреба?

— Да, да, — сдается профессор. — Вы правы. Будете у меня в Оранжери, покажу вам, между прочим, полицейскую переписку о сестре Ленина. Анна Ильинична весьма заботила герра фон Ягова, полицей-президента. В своем деле он был... как говорят по-русски?.. А, дока! В докладах Ягова прусскому министру внутренних дел попадают точнейшие оценки. Извольте, в начале марта 1906 года фон Ягов писал: «Русская революция распространилась за границы Русского государства и повлияла на всю международную социал-демократию,

которая под влиянием русской революции стала резко радикальной и обрела революционную энергию, прежде для нее не всюду и не в такой мере характерную».

Ботто Брахманн перечисляет документы, с которыми я могу ознакомиться. «Литературное наследство» фон Ягова, донесения немецкого консула в Баку о политических настроениях на Кавказе и значении Степана Шаумяна, «дела» Горького, Чичерина, Камо, Литвинова. Пожалуйста, читайте, заказывайте микрофильм... А квартиры увидеть нельзя. И русский клуб нельзя. Разрушено!

Молчу. Не говорю профессору, что вчера потерпел еще одно фиаско. Искал Северный вокзал, откуда 12 апреля 1917 года к границам России отправился Ленин. Сквозь все препятствия, все преграды — для человека другого масштаба вовсе непосильные — возвращался в Петроград. С Северного вокзала. А там я нашел разбитый каркас, пустой внутри...

«Владения» Ботто Брахманна в Потсда-

№ 170

3-й кв. 2093 02.

Россійск. Соц.-Дем. Раб. Партія

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Бюллетени

о заседаниях Лондонскаго съезда Р.С.Д.Р.П.

Засѣданіе 1^е

В понедельник, 13 мая, в 7 час. вечера со-
стоялось первое заседание Лондонскаго съез-
да Р.С.Д.Р.П. Съездъ открыл один из старей-
ших вождей русской социалдемократіи.
В своей рѣчи он указал на первенству-
ющую роль пролетаріата в русской ре-
волюціи, напомнил общими широкими
терминами ближайшія задачи рабочаго
класса в Россіи — Рѣчь была покрыта
шумными аплодисментами. — Затем
было прочитано приветствіе съезду

ме. Одно крыло дворца Оранжери отдано Государственному архиву республики. И еще большой особняк в городе Мерзебурге — второе историческое отделение. Там встречаюсь с заботливой и очень обязательной хозяйной доктором Вайзер.

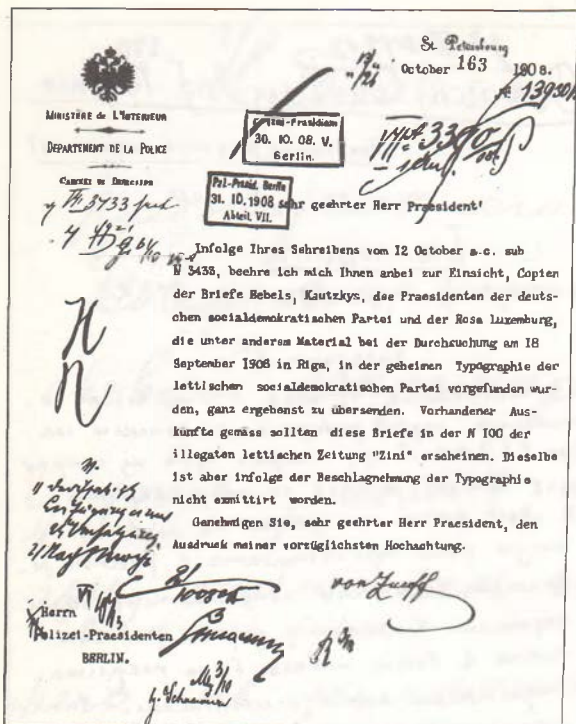
Для нас, советских исследователей, архивные руды Мерзебурга — поле абсолютно не распаханное. Здесь акты полицией-президиума Берлина. Доверительная переписка высших чинов прусского министерства внутренних дел с коллегами в Санкт-Петербурге. Конверты необыкновенной плотности и поразительной емкости. С гербами и синими печатками: «Строго секретно», «Сугубо для служебных надобностей». И порядковый номер, проставленный от руки всегда черными чернилами.

№ 27. Фридрих Энгельс. Лондон... № 53. Фрау Клара Цеткин из Штутгарта... № 77. Карл Маркс... № 104. Михаэль Бакунин. Русский... № 220. Лео Толстой... № 281. Мирский — Камо Самехи. Кавказский горец... № 305. Максим Горький.

«Дела» Горького, Камо, Берлинской и Лейпцигской колоний русских политических эмигрантов, Заграничного Центральнаго бюро русских социал-демократических групп, досье на провокатора Якова Житомирского — Отцова — это десятки томов, сотни страниц. Казалось бы, все это за пределами моих поисков. А может, и нет?

В разгаре лета 1907 года в дачный поселок Куоккалу к Владимиру Ильичу является Камо. С круглой картонной коробкой. Обычной, какими пользуются состоятельные господа для хранения шляп. Только на этот раз в коробке 250 тысяч рублей. Результат невероятно дерзкой экспроприации на Эриванской площади в Тифлисе в среду, тринадцатого июня. Боевой центр большевиков получает необходимые позарез средства.

Июль, август. Должно быть, два самых счастливых месяца в жизни Камо. Безмятежные. Он остается на финском взморье. Часто видится с Ильичем. И очередное



поручение ЦК. Такое же, как и в году ми-
нувшем: вместе с Максимом Литвиновым
закупать оружие. Отправлять в места, где
винтовки и гранаты всего больше требуются.
Девятнадцатого октября Камо приезжает
в Берлин. Поселяется на Эльзассер-
штрассе, 44. Ни малейших оснований для
тревоги. Паспорт — идеальный. На авст-
рийского подданного, страхового агента
Дмитрия Мирского.

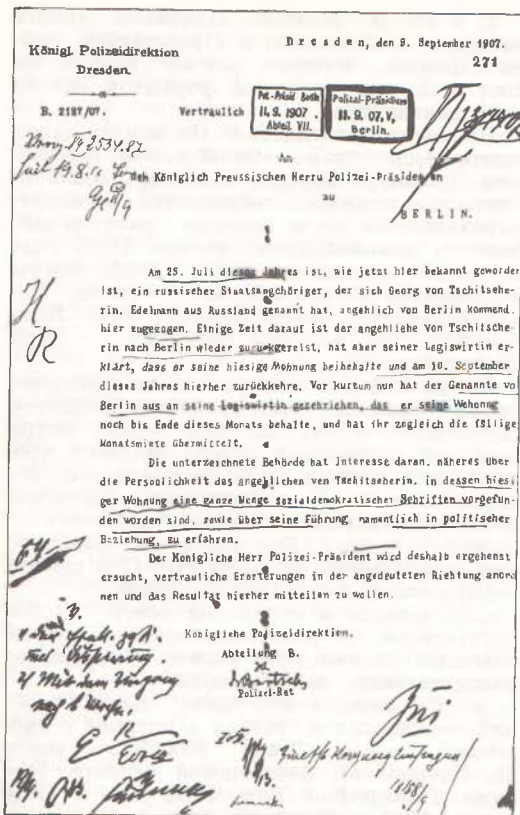
Одного только не подозревает много-
опытный Камо. Что начальник заграничной
агентуры департамента полиции Гартинг —
в Париже и Берлине его знают как Гек-
кельмана и Ландезена — уже много не-
дель получает подробнейшие донесения
врача Житомирского, доносчика с солид-
ным стажем. По долгу службы он давно
набивается в друзья кавказцам, благо сам
уроженец Баку. Охотно оказывает мелкие
услуги Камо.

Житомирский, Гартинг, фон Ягов, его
правая рука — начальник IV отдела Хо-
пе... знакомые все лица. Перелистываю не-
сколько страниц. Задерживаюсь на письме
из Санкт-Петербурга на французском
языке.

Письмо из Санкт-Петербурга № 131964.
От 25 мая 1908 года. Дирек-
тор департамента полиции — весьма
уважаемому господину полицей-президенту:
«Имею высокую честь препроводить Вам
два экземпляра газеты «Голос Социал-де-
мократа» № 1—2, февраль сего года. Ста-
тья «Не пора ли покончить?» представляет
неопрровержимый аргумент против злонаме-
ренной кампании, развязанной газетой
«Форвертс» и оппозиционным депутатом
рейхстага Либкнехтом. Как Вы лично убе-
дитесь, подлинные русские социал-демок-
раты — меньшевики исторгают Мирского —
Камо Самехи из своей среды. Экспроприя-
ция 250 тысяч рублей квалифицируется
как деяние уголовное и только уголовное...
Камо не ест социалист!

Вопрос «Не пора ли покончить?» пол-
ностью адресуется известному Вам Улья-
нову-Ленину. Главной персоне».

Автор письма С. Виссарионов ничего не
придумал. Не преувеличил. Нет нужды.
Обо всем заботятся меньшевики. Суетят-
ся, стараются поскорее отправить Камо на
виселицу. Связать по рукам, загнать в угол
Ленина.



ходит честнейший человек с рекомендательным письмом:

«Уважаемый товарищ,

Предъявитель сего товарищ Коварский, член нашей группы, бывший секретарь Брюссельской группы, хочет перейти границу, так как паспорта у него не имеется. Деньгами он снабжен. Дайте ему явку. Едет он, конечно, на партийную работу.

С товарищеским приветом

Секретарь (не очень разборчивая подпись)

Париж

21/VII—06».

И печат: «Российская социал-демократическая рабочая партия. Парижская группа содействия».

Или: «Мой товарищ, Борцин, на днях едет в Россию. Он бросает свою школу в Берлине, жертвует очень многим, рискует порвать с семьей, обнаруживает, таким образом, большую преданность. Просит направить его в один из южных городов. Нужны ли люди в нашей Киевской группе?»

Отцов дает явку. Одну из тех, что предварительно продал полиции.

«Киев. Южное Бюро ЦК. Крещатик, 42. парадный ход, 2-й этаж. Спросить зубного врача Макарова от 5—7 вечера. Пароль «Зубр».

«Одесса. Ришельевская улица. Банкирская контора Бродского. Спросить Геллerta. «Не было ли у Вас выигрышного билета серии «С-Д»? — «Нет!»

«Питер. Петербургский комитет. Николаевская улица, 33. Лаврентьев. Пароль: «Долой бонапартизм!» Ответ: «Мы соединимся в единую партию».

«Цека. Компания «Надежда». Угол Адмиралтейской площади и Гороховой улицы. Налево в конторе маленький человек с большой головой. От 2—4 часов. Пароль: «Кто отправит в Америку транспорт большой скоростью?»

Явки в Москве, Иркутске, Чите, Ярославле, Екатеринославе... Полиция предупреждена. Ждет!..

Листаю документы человеческой подлости и вспоминаю слова Ленина: «Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем».

...Из Мерзбурга еду в Лейпциг.

Юго-восток старинного города пересе-

...Житомирский начинал с осведомителя полицией-президиума Берлина. Двести пятьдесят марок ежемесячного вознаграждения. Потом его переуступили русской охранке. Там и жалование прибавили. И наградные за особую подлость. Но из виду фон Ягов своего бывшего сотрудника не упускал. Время от времени он дает ему поручения особо доверительные и капиталные.

В досье сохранилась тетрадь в пестрой твердой обложке. Цветным карандашом на первой из семидесяти пяти страниц запись: «Касса Заграничного Бюро при Объединенном ЦК Рос. социал-демократической рабочей партии». И святая святых революционера — явки в России. Явки, проданные оптом и в розницу Гартингу, фон Ягову...

Как же совершалось предательство?

В Заграничное Центральное бюро * к Отцову, стало быть к Житомирскому, при-

* «Заграничная база, — считал Ленин, — необходима и неизбежна для партии, которая действует в таких условиях, как наша. Это признает всякий, кто подумает над положением партии».

кает Ленинштрассе. Где-то здесь поворот на Пробстхейд. В первый приезд Владимира Ульянова — доктора Иорданава из Мюнхена — жители Лейпцига, главного города Саксонии, считали Пробстхейд деревней. Но улица Русских — Руссенштрассе уже существовала. В память боевого содружества народов в освободительной битве 1813 года.

На Руссенштрассе Ульянов искал дом № 48. Одноэтажный, с совершенно плоской крышей. Владелец Герман Рау был предупрежден. Приезжий интересуется его типографией. Имеет заказ.

Что за причина? В городе огромные типографии. Слава богу, книги в Лейпциге печатаются с 1481 года! Почему этот господин не воспользуется услугами больших хозяев? Ему могут предоставить выгодные условия. И откуда вообще он знает о крохотном деле в Пробстхейде? Одна печатная машина, несколько наборных касс. Работают они с компаньоном Палле.

У заказчика Владимира Ульянова сведений побольше. Он знает, что почтенный Рау до переезда в Лейпциг редактировал социал-демократическую газету в Эрфурте. Сейчас издает газету рабочего спортивного союза «Арбайтер-Турншейтунг». Пользуется прекрасной репутацией. Совсем недавно, в октябре нынешнего 1900 года, отдельным листком отпечатано «Заявление редакции «Искры». От начала до конца написанное тем же Владимиром Ульяновым. В типографии Рау издана и брошюра «Майские дни в Харькове». С предисловием гостя из Мюнхена.

Встреча состоялась. Соглашение достигнуто. Компаньоны Рау и Палле берут на себя выпуск в свет первого номера газеты русских социалистов. Называться она будет «Искра».

Все превосходно. Только в наборных кассах почти нет русского шрифта. Хотя бы пегита. Наборщик, отрекомендовавший себя Вернером, — польский социалист Иосиф Блуменфельд* — обходит городские типографии. Каждый раз в его ручной тележке весьма вещественные свидетельства рабочей солидарности — пачки со шрифтом, прикрытые ветошью, хламом. Но заказчик, приглядевшись к шрифту, бракует его. Пегит слишком мелок. Рабочим будет трудно читать. Необходим более крупный шрифт — боргес. Блуменфельд пасует. «Ничего. Я сам съезжу, привезу боргес», — подбадривает «доктор Иорданов».

С 4 по 9 декабря Владимир Ильич остается в Лейпциге, в Пробстхейде, подле «Искры», которая вот-вот явится на свет. Восемь страниц форматом 30 на 44,5 сантиметра.

Проходят десятилетия. Из искры давно возгорелось пламя Октябрьской революции. В центре Европы появилось социалистическое немецкое государство. Лейпциг, оправившийся после военных разрушений, заметно помолодевший, весной 1955 года справлял шестидесятилетие своей газеты «Лейпцигер Фольксцейтунг». Газеты, где сотрудничали Франц Меринг, Роза Люксембург. И местный уроженец — Карл Либкнехт.

В праздничном номере газеты помещено письмо рабочих типографии «Лейпцигер Друкхаус»: «Там, где возгорелась искра будущей лучезарной победы русского пролетариата, должен быть создан музей, который явится для лейпцигских печатников символом их революционных традиций».

Музей открыт. Все здесь восстановлено как при Ильиче, когда он стоял за спиной наборщика и следил за верстой.

...Я пришел в музей под вечер. Поток посетителей — разноплеменных, разноязычных — схлынул. Можно неторопливо расспрашивать экскурсовода.

— Скажите, а кто такая Дина Гельбке? — спросил я, увидев в витрине с табличкой «Дар Дины Гельбке» книги Н. Ленина: «К деревенской бедноте. Женева. Типография Лиги. 1903 год» и «Как рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демократии? Книгоиздательство «Вперед». Петербург. 1906».

— Геноссе Дина? Она наш большой друг. Ну, а как к ней попали книги Ленина и как она сумела сберечь их от гестапо, это долгая история. Лучше услышать из первых уст.

Нетерпеливо набираю телефон 5-19-36. Получаю приглашение явиться в восемь часов вечера.

Ехать надо в старую, гётевскую часть Лейпцига. Мимо Фауста и Мефистофеля, задержавшихся, должно быть, навсегда у входа в ресторан «Ауербахс Келлер». Потом остановиться, отдать дань домику на Голисер Шлессен, в котором молодой Шиллер сочинил свою «Песню радости». И совсем тихая зеленая Шпрингерштрассе, 5.

* В воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской о Блуменфельде: «Он был отличным наборщиком и хорошим товарищем».

густ Бебель в период действия закона против социалистов проводил здесь тайные собрания.

Помню, в один из зимних вечеров в начале 1909 года в Аугуст-Шмидтхаузе наш молодой товарищ Вальтер Либинг показывал Ленину последние номера журнала «Ферхауз». Журнал (его полное название «Попытки нового пути») имел 16—20 страниц и печатался на ротаторе. Издавала его молодежная группа, принадлежавшая к сильному оппозиционному движению в германской социал-демократии.

Ленин в течение получаса просматривал журнал. Тут же задавал вопросы Либингу, делал замечания. Несколько раз спрашивал, откуда те или иные формулировки. Вальтер Либинг отвечал, что часто видится с Карлом Либкнехтом, тот бывает на молодежных собраниях, читает некоторые рукописи. В заключение Ленин сказал: «Это все очень интересно, очень хорошо. Дерись и дальше так, юный друг, но только осторожнее, чтобы не навредить самому себе».

Когда Ленин в начале февраля 1912 года, после VI Всероссийской конференции Социал-демократической рабочей партии, приехал из Праги в Лейпциг, я его не видела. Я заболела туберкулезом, и товарищи отправили меня в Швейцарию. Там я вновь встретилась с Владимиром Ильичем.

Мне кажется, это было 22 февраля того же 1912 года. В Цюрихе Вера Фигнер выступала с докладом. Ленин сделал вводные замечания о положении в России. Тогда я была накануне родов, с весьма заметным животом. Все обратили на меня внимание, когда я вошла в зал. А я устремила глаза на Ленина. Вижу, он нахло-

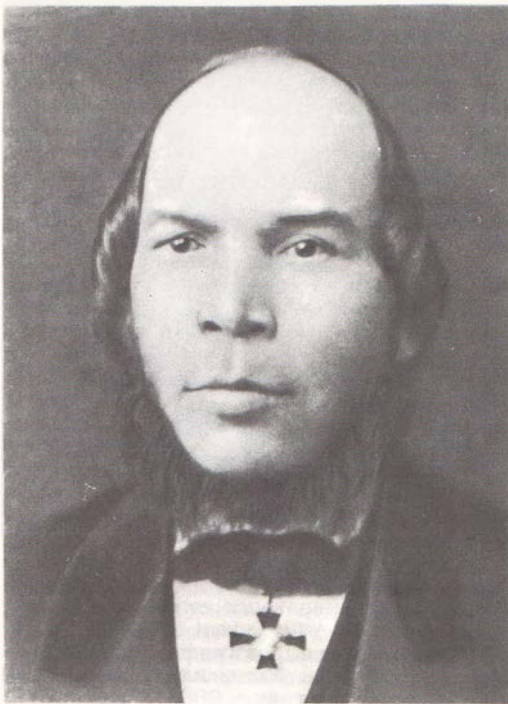
нился к Крупской и что-то сказал ей. Надежда Константиновна помахала мне рукой, позвала к себе. Я подошла. Ленин осведомился о моем здоровье, спросил, как я живу и достаточно ли у меня средств.

На следующий день, когда я в больнице родила сына, к моей хозяйке на Турнерштрассе, 20 пришел один из русских товарищей, чтобы узнать о моем материальном положении и позаботиться обо мне. Он был послан Лениным.

В последний раз я видела Ленина в феврале 1914 года здесь, в Лейпциге. Владимир Ильич выступил с докладом о национальном вопросе в Зибен-Меннерхаузе. Остановливался он тогда на Элизенштрассе, 45, в квартире переплетчика Курта Рёмера, социал-демократа. У Курта снимал комнату Загорский. И эта квартира быстро стала штабом большевистской группы. Загорский часто приводил к себе друзей, оставляя их ночевать. Рёмер ворчал беззлобно, что постоянно кто-нибудь приходит или уходит... Загорский в то время уступил свою комнату Ленину, а сам переехал на диван к Курту.

Однажды Ленин сказал Курту Рёмеру, что хочет послать кое-что в Россию, но это очень трудно сделать из-за цензуры. Спросил, не может ли Рёмер помочь, используя свою профессию. Вскоре были изготовлены два альбома — детские книжки с изображением зверей, игр — с листами из толстого картона. Обложки Курт оставил полыми. Туда вложили письма и экземпляры нелегальной газеты, отпечатанной на очень тонкой бумаге. Позже Загорский говорил, что все благополучно дошло по нужному адресу».

...Поиски мои в Германии, как видите, не были безуспешными.



С. Л. Сытин
(Ульяновск)

Существуют ли неизвестные фотографии И. Н. Ульянова?

Много лет собираю я гравюры и фотографии с изображением старого Симбирска. По мере того как накапливался материал о городе, все отчетливее вставали перед глазами его улицы и площади, спуски к Волге. Но это уже не удовлетворяло. А где же симбиряне? И прежде всего известные.

Естественно, первым возник вопрос:

сколько фотографий членов семьи Ульяновых симбирского периода дошло до наших дней? Сперва я делал репродукции из различных книг и альбомов. Но в марте 1967 года мне удалось побывать в Москве в Центральном партархиве при ЦК КПСС. Там мне охотно показали картотеку всех имеющихся в архиве фотографий И. Н. Ульянова, М. А. Ульяновой и их детей. Более того — вскоре я получил хорошие репродукции этих фотографий.

Я не стал специально заниматься фотографиями Володи Ульянова. Их известно всего три, и связанные с ними вопросы прекрасно раскрыты в монографии «В. И. Ленин в фотоискусстве». Зато другая задача — выявить все портреты Ильи Николаевича — меня чрезвычайно заинтересовала.

В числе фотографий, присланных из Центрального партархива, бросались в глаза две фотографии И. Н. Ульянова с его воспитанниками в Пензенском институте. Какое поистине вдохновенное лицо, своего рода тип демократа-разночинца той эпохи! Большинство фотографий И. Н. Ульянова (четыре) оказались как раз пензенского периода. Отсутствие фотографий астраханского и казанского периодов его жизни понятны — сама-то фотография в те годы (вторая четверть XIX в.) практически еще не существовала. Значительно труднее объяснить, почему нижегородский период представлен всего одной фотографией, на которой мы видим Илью Николаевича вместе с большой группой учителей.

Симбирский период жизни И. Н. Ульянова в собрании Центрального партархива оказался представленным пятью фотографиями. Три из них — портреты 1875—1882/83 годов. На четвертой, широко известной, Илья Николаевич снялся со всей семьей. На пятой он сфотографирован с инспекторами народных училищ Симбирской губернии.

В фондах Ульяновского дома-музея В. И. Ленина хранится еще одна фотография Ильи Николаевича, которой нет в партархиве.

Большая групповая фотография несколько необычной формы — сильно вытянутый прямоугольник. Она искусно смонтирована из трех фрагментов. В центре, развалившись в кресле, сидит представительный мужчина с пышными бакенбардами и усам. У него две орденских звезды. Это попечитель Казанского учебного округа Шестаков, непосредственное начальство И. Н. Ульянова. Слева от него сидит Виш-



невский — в те годы директор Симбирской мужской гимназии. Справа — И. Н. Ульянов.

Илья Николаевич сидит в несколько принужденной позе. Она легко объяснима — фотограф явно придавал его рукам «живописное», но неестественное, неудобное положение. Лицо у Ильи Николаевича сосредоточенное, волевое. Он подчинился фотографу, примирился с неизбежностью всей этой процедуры, но даже в этот момент он напряженно думает о чем-то своем.

Лицо И. Н. Ульянова оттеняется лицами его соседей — холеная, барская физиономия Вишневого, самоуверенно-пренебрежительное выражение на лице у Шестакова, монументальная самоуверенность лица протоиерея гимназии Юстинова... Весь второй ряд на фотографии занят учителями гимназии.

Сотрудники дома-музея, основываясь на карандашной записи на обороте этой фотографии, относили ее к 1876 году. Но на известной фотографии 1875 года Илья Николаевич выглядит много старше. А на фотографии 1879 года, датировка которой бесспорна, И. Н. Ульянов выглядит настолько старше, чем на рассматриваемой нами фотографии, что интервал в три года между ними представляется невероятным.

Уже позднее в одном из адрес-календарей Симбирской губернии мне попало упоминание, что Шестаков посетил школы Симбирской губернии в 1871 году. Вот ко-

гда, по всей вероятности, он и фотографировался с подчиненными ему симбирскими чиновниками и учителями гимназии. Следовательно, первая фотография И. Н. Ульянова в Симбирске более или менее точно относится к 1871 году.

В Ульяновском доме-музее хранятся еще две одинаковые подлинные фотографии И. Н. Ульянова (и еще одна такая же — в Центральном партархиве). Интересно происхождение этих фотографий. Одну из них прислал дому-музею еще в 30-х годах старик учитель из Сурского района. Другую передали года два тому назад учительницы-пенсионерки Л. А. и Н. А. Державины. Накануне революции, молоденькими девушками они начали свою долгую учительскую деятельность в женском училище на Покровской улице (ныне ул. Льва Толстого). Это училище называлось Языковским. В 80-х годах XIX века, вскоре после основания этого училища, его возглавила В. П. Ушакова-Прушакевич, первая учительница Володи Ульянова, которую И. Н. Ульянов неизменно ставил на первое место среди всех учительниц Симбирска и Симбирской губернии.

Языковское женское училище было расположено в какой-то сотне метров от участка, который в 1878 году приобрели Ульяновы. По словам Н. А. Державиной, в училище была так называемая директорская библиотека, в которой хранились книги и документы, принадлежащие дирекции на-

родных училищ. Там же стоял большой письменный стол. По рассказам, которые Н. А. Державина слышала в молодости от своих старших коллег в Языковском училище, в этой библиотеке часто работал И. Н. Ульянов. Именно там и хранилась несколько десятилетий его фотография, которую сестры Державины передали потом в дом-музей.

Есть ли шансы найти еще неизвестные фотографии Ильи Николаевича? Есть ли шансы найти такие же фотографии Володи Ульянова и других детей Ульяновых?

Первым фотографом в Симбирске был, видимо, Бах, работавший также в Самаре. В 1867 году или годом раньше появился А. Муренко. Однако ни одного портрета работы Муренко найти пока не удалось.

В том же 1867 году в «Симбирских губернских ведомостях» было помещено объявление: «Фотография М. М. Герасимовой и К^о (угол Б. Саратовской и Верхне-Чебоксарской, в доме Теняева)».

В 1869 году мы встречаем упоминание о художнике и фотографe Фанте. Его «фотографическое заведение» находилось на Покровской улице, в доме Беляева (ныне ул. Льва Толстого). Дело он вел широко, так как принимал в обучение «благовоспитанных мальчиков». При посещении Симбирска в 1869 году августейшими особами Фант подносит им рисунки и фотографии Симбирска. Альбом этот, возможно, сохранился в одном из центральных архивов. Пока же из работ Фанта удалось найти один портрет.

В начале 70-х годов появляются два новых имени: Закржевская и Шоази. Именно Закржевская снимала маленького Володю с сестрой в начале 70-х годов. Удалось найти 4 фотографии, сделанные в мастерской Закржевской. Все они оформлены по-разному, наклеены на различные бланки. Установлены имя и отчество Закржевской — Екатерина Львовна. Есть непроверенное предположение, что ее мастерская находилась на Панской улице (ул. Энгельса). Более чем вероятно, что сама Закржевская никогда и никого не снимала, а нанимала фотографа, который и выполнял от ее имени всю непосредственно фотографическую работу.

Такая практика, ее распространенность видны на примере А. А. Шоази. Его фотография в Симбирске была открыта в октябре 1869 года. Сам он был по документам «фридрихсгамским купеческим сыном». В 1875 году у него работал подмастерьем «рядовой 4-го пехотного полка Василий

Михайлов». Имя Шоази частенько попадает на страницах «Симбирских губернских ведомостей», но не столько в связи с его фотографическими делами, сколько по поводу всяких происшествий: отравился подмастерье, были выпущены на улицу козы фотографа, проживали без «письменных видов» двое крестьян и т. д.

В конце 60-х и начале 70-х годов в Симбирске недолго работал Фельзер. В дальнейшем он обосновался в Казани. Разрешение на открытие фотографии самарскому мещанину П. Л. Кольчугову было дано в феврале 1873 года. Фотографий его работы пока не обнаружено.

Когда ульяновских старожиллов спрашивают о старых симбирских фотографах, они обычно начинают с имени Каганина, имея в виду Каганина-сына. А Каганин-отец, буинский мещанин (звали его Федором Андреевичем), обосновался в Симбирске в 1875 году. Первоначально он арендовал помещение у женского монастыря на Дворцовой улице, а потом перебрался и прочно обосновался на Чебоксарской улице, недалеко от ее пересечения с Большой Саратовской. Его фотография просуществовала без малого полвека. До нас дошло множество выполненных им портретов, отдельные фотографии других жанров.

В сентябре 1878 года в Симбирске открылась фотография симбирского мещанина Венцеля Романовича Бик, просуществовавшая около двух десятков лет и перешедшая в 90-х годах к Нинитину. Именно Бик фотографировал Володю Ульянова в выпускном классе гимназии. Но это уже в 1887 году. А Илья Николаевич фотографировался у Бика еще в конце 70-х — начале 80-х годов. У Бика была фотография также в Самаре.

В июне 1879 года было разрешено открытие фотографии почетному гражданину А. Я. Эсперову. Важно отметить, что к этому времени в Симбирске осталось лишь 4 фотографии: Шоази, Каганина, Бика и Эсперова. Бах, Муренко, Герасимова, Фант, Закржевская, Фельзер, Кольчугов в это время уже не работают.

В 80-х годах в Симбирске появилось несколько новых фотографов: Н. П. Федосеев, А. Г. Андреев, А. П. Зотов. Интересно, что фотография Зотова находилась в Анненковском переулке (ныне улица Железной дивизии), по соседству с домом Ульяновых на Московской улице. Вместе с тем прекращают свое существование фотографии Шоази и Эсперова.

Уже в 70-х годах появляются фотографы

в отдельных уездных городах Симбирской губернии, прежде всего в Сызрани (фотография Пересветова).

Итак, первый вывод бесспорен — во времена пребывания семьи Ульяновых в Симбирске в городе постоянно работало около четырех фотографий. Эти фотографии выполняли на довольно высоком профессиональном уровне разнообразные фотографические работы. Таким образом, у жителей Симбирска уже с конца 60-х годов XIX века была реальная возможность фотографироваться всякий раз, когда они это считали нужным.

Просматривая семейные альбомы симбирян последней трети прошлого века, можно уловить некоторые традиции. Первый раз ребенка обычно фотографировали, когда ему было 2—4 года. Еще в 70-х годах фотографировать малышей было технически очень трудно из-за длительных выдержек. Следующая по времени фотография была обычно связана с поступлением в школу, очередная — с окончанием школы. Традиционными были фотографии при женовизите или замужестве, семейные фотографии — родители с детьми. Реже фотографировались одни супруги или одни дети.

В семье Ульяновых, судя по воспоминаниям Анны Ильиничны, не увлекались фотографиями, не развешивали их по стенам. Но вместе с тем у Ульяновых были многочисленные родные, со многими из которых, например с родными И. Н. Ульянова в Астрахани, приходилось видеться очень редко. Относился же к ним И. Н. Ульянов очень внимательно. И естественно, что одним из проявлений такого внимания была, видимо, посылка семейных фотографий.

Что касается Володи Ульянова, то до нас дошли все его «традиционные» фотографии — ребенком, гимназистом 1-го класса (на групповой семейной фотографии 1879 г.) и гимназистом выпускного класса. Точно так же обстоит дело и с фотографиями Саши Ульянова — фото ребенком, фото гимназистом одного из младших классов и групповая фотография выпускного класса. А вот для Анны Ильиничны традиция отчасти нарушена — есть лишь ее фото ребенком и в одном из старших классов гимназии (на семейной фотографии 1879 г.). Можно предположить, что существовали, но еще не разысканы другие ее фотографии гимназических лет. Для Ольги Ильиничны традиция в основном соблюдена: фото детских лет вместе с Володей, в период поступления в гимназию (семейное фото 1879 г.) и в момент окончания.

Традиционный минимум семейных фотографий Ульяновых до нас, таким образом, в основном дошел. Но вместе с тем каких-либо категорических свидетельств самих членов семьи Ульяновых, что других семейных фотографий не было в природе, у нас нет. Возможность находки новых фотографий членов семьи Ульяновых не исключается, хотя вероятность таких находок невелика.

Вторая возможность — групповые фотографии гимназистов младших классов, на которых могли бы быть братья Ульяновы (а в женской Мариинской гимназии — Анна и Ольга Ульяновы). Однако все выявленные групповые фотографии гимназистов относятся к 900-м годам нашего века. Предстоит еще выяснить, существовала ли вообще в 70—80-х годах традиция фотографироваться классами (исключая выпускной класс — для выпускного класса такая традиция уже была).

Наконец, третья гипотетическая возможность — искать Володю на фотографиях каких-либо торжественных церемоний на улицах Симбирска. Такие фотографии существовали. Но и эта возможность невелика, учитывая, в частности, строгий порядок и дисциплину в семье Ульяновых.

Следов любительской фотографии в Симбирске в 70—80-х годах прошлого века обнаружить пока не удалось. Фотографии детей и подростков со сверстниками, с друзьями 70—80-х годов не выявлены. Фотография была еще слишком дорога, чтобы ребята могли пойти и сфотографироваться на свои карманные деньги. А быть может, и сама традиция такого рода еще не сложилась.

Значительно большей представляется вероятность находки новых фотографий И. Н. Ульянова. По своей должности И. Н. Ульянов постоянно бывал на различного рода съездах, собраниях, заседаниях, которые по традиции часто заканчивались фотографированием участников. Директору народных училищ приходилось по должности участвовать в официальных церемониях, торжествах, которые в отдельных случаях также фотографировались. Кроме того, и сам Илья Николаевич был вынужден фотографироваться сравнительно часто — приходилось дарить свои фотографии, удовлетворяя просьбы друзей, сослуживцев. Выше уже говорилось о фотографии, подаренной И. Н. Ульяновым одному из учителей. 8 марта 1882 года члены педагогического совета Курмышского городского училища ходатайствовали о по-

мешении в рекреационном зале «большого фотографического портрета» И. Н. Ульянова в знак признания его особых заслуг в деле развития народного образования в Симбирской губернии. Какой портрет имелся в виду, какова его дальнейшая судьба — пока неизвестно.

Примером фотографий, на которых среди других лиц, вероятно, можно было бы найти и И. Н. Ульянова, являются снимки торжественной встречи Калужского полка летом 1879 года.

5-й пехотный Калужский полк возвращался в Симбирск после русско-турецкой войны. Возвращался по Волге, должен был подняться по Петропавловскому спуску. Напротив старого здания театра, поперек Большой Саратовской улицы, была построена триумфальная арка, у которой и должно было состояться торжество. Городская дума заранее договорилась со всеми че-

тырьмя фотографами Симбирска о фотографировании этого торжества. «...И адрес и ответ командира, — писала газета, — сопровождалась громкими, единодушными криками «ура»... Четыре фотографических аппарата с разных сторон смотрели на эту величественную картину...» Одна из этих фотографий должна была висеть в зале Дома городского общества, другую предполагалось передать Калужскому полку.

Вполне возможно, что где-то на заднем плане среди вездесущих ребят могли оказаться и Володя и Саша Ульяновы... Что же касается Ильи Николаевича, то, повторяю, он-то на этой фотографии должен быть почти наверняка (если только был в это время в городе). Но... фотографии эти пока не обнаружены.

Поиск должен быть продолжен как в самом Ульяновске, так и в центральных архивах и музеях.

Е. Старостин

К. Либкнехт и памфлет П. А. Кропоткина

В 1909 году известный революционный деятель Петр Алексеевич Кропоткин издал в Лондоне небольшую брошюру под названием: «The terror in Russia. Appel to the British Nation» («Террор в России. Призыв к британской нации»). Это острый документальный памфлет, направленный против репрессий царского правительства. Брошюра имела огромный успех. Английское общественное мнение было настолько взбудоражено, что русский император Николай II, вскоре посетивший туманный Альбион, так и не посмел показаться в Лондоне. Некоторое время спустя брошюра Кропоткина была переведена на французский и итальянский языки.

Кропоткин намеревается издать памфлет в Германии на немецком языке. Карл Либкнехт в письме от 6 августа 1909 года обещает ему всяческую помощь в этом деле.

К. Либкнехт — П. А. Кропоткину

6 августа 1909 г.

Господину Князю Петру Кропоткину.
Лондон.

Многоуважаемый господин!

Я позволю себе обратиться непосредственно к Вам в связи с немецким изданием Вашей книги «Террор в России», так как ускорение дела мне кажется крайне важным. Как мне сообщили, Вы сами хотите издать на немецком языке названное сочинение и именно с рекомендацией моего друга, депутата рейхстага Августа Бебеля.

По этому поводу я связался с Бебелем и два дня назад получил ответ, что он охотно соглашается ввести в немецкую публику Ваше сочинение со своим рекомендательным предисловием. Он считает за честь для себя подобное сочетание. Несомненно, Ваше превосходное сочинение не

нуждается в особых рекомендациях, и, конечно, одно Ваше имя и в Германии придаст ему большой авторитет. Все же, по моему убеждению, которое в данном случае, очевидно, совпадает с Вашим, присоединение авторитета Бебеля будет способствовать еще большему распространению сочинения, а возможно, более широкого распространения этого могущественного обвинительного акта крайне необходимо добиться.

Я уже связался с местным издательством «Vorwärts». Там prima facie готовы принять Вашу рукопись.

Кроме этого издательства, можно было бы принять в соображение издательство Дитца в Штутгарте. Само собой разумеется, я позабочусь о соответствующем переводе. Вашим возможным желаниям к условиям издания и т. д. я охотно пойду навстречу.

Я очень хотел бы попросить во всем деле сообщаться по возможности непосредственно со мной, с тем, чтобы избежать излишнего промедления.

С глубоким уважением

К. Либкнехт. Адвокат¹.

Этому письму Карла Либкнехта предшествовала переписка об издании брошюры в Германии. В архиве Берлинского института марксизма-ленинизма, как сообщил нам директор, профессор Эрнст Дил², сохранилось письмо Р. Бланка от 2 августа 1909 года к К. Либкнехту. Р. Бланк сообщает, что он «перепишу с Кропоткиным... взял на себя, но с Кропоткиным что-то случилось, вероятно, он заболел», и просит К. Либкнехта подождать еще несколько дней, прежде чем писать в Лондон³.

Как видно из письма, К. Либкнехт все же обратился лично к Кропоткину. Через три дня Кропоткин написал ему ответ:

П. А. Кропоткин — К. Либкнехту

9 августа 1909 г.

Господин.

Вы пишете мне, предлагая непосредствен-

¹ ЦГАОР СССР, ф. 1129, оп. 2, ед. хр. 1568.

² Пользуясь случаем, мы выражаем большую благодарность Эрнсту Дилу за любезно предоставленную копию письма П. А. Кропоткина, а также за сообщение о других материалах по этому вопросу.

³ Бланк Р. М. — доктор естественных наук, химик, публицист. Редактировал вместе с М. М. Ковалевским либерально-демократический журнал «Запросы жизни».

но связаться с Вами, по поводу немецкого издания моей брошюры «Террор в России».

Очень этим тронут. Я даже думал, что Вы уже получили письмо, написанное на плохом немецком, которое я просил Soskice⁴ Вам передать. В нем я дал ответ на Вашу просьбу о переводе.

Когда Soskice просил меня разрешить для Вас немецкий перевод, я ему сообщил, что должен сначала запросить Парламентский комитет — не намерен ли он зарезервировать издательские права на этот памфлет.

Поскольку в настоящий момент это улажено, и я отказался от авторских прав на эту брошюру, написанную в пропагандистских целях, — каждый имеет право издавать ее переводы на всех языках. Чем больше она будет распространена, тем лучше.

И именно поэтому я не могу дать личное разрешение никакому переводчику или издателю. Так как, если я дам подобное разрешение, лицо, которое его бы имело, могло бы претендовать на то, что только оно располагает правом на перевод. Достаточно было бы поставить: «издание разрешено автором» — для того, чтобы это помешало другим публиковать свои переводы или отрывки.

Я очень огорчен, узнав из Вашего письма, что возникло недоразумение, касающееся предисловия к немецкому изданию. Я никогда не выражал желание дополнительно иметь предисловие к брошюре и даже думаю, что предисловие подобного рода было бы лишним.

Разрешите мне выразить Вам удовольствие, которое я испытываю от знакомства с Вами — пока письменного, но надеюсь однажды познакомиться и лично.

Примите, дорогой господин Либкнехт, выражение моих самых лучших чувств.

Петр Кропоткин⁵.

Русские революционеры-эмигранты и английские радикалы из Общества друзей русской свободы вели активную пропагандистскую работу для того, чтобы информировать английскую общественность о революционной борьбе в России⁶. В сборе материалов для книги Кропоткину помогали члены этого общества — английские журналисты Брайлсфорд и Невинсон. Поэтому Кропоткин, прежде чем ответить К. Либкнехту, обратился с запросом в Парламентский комитет Общества друзей русской свободы. Не отклоняя в принципе предложения К. Либкнехта, Кропоткин возражал против предисловия А. Бебеля к книге — сказались старые партийные разногласия. Книга вышла в Штутгарте под названием «Die Schreckensherrschaft in Rusland» с предисловием переводчиков.

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции хранятся еще два письма вождя немецкой социал-демократии, относящиеся к 1913 году. К. Либкнехт просил у Кропоткина «дружеского содействия» в поддержке русских политических заключенных, напоминая, что «путь к такому действию Вы проложили уже в 1909 году своим произведением «Террор в России», направив внимание всего мира к ужасам русской тюрьмы».

⁴ Соскис Д. В. (псевдоним Сатурин Д.) — журналист, автор ряда книг историко-публицистического характера о Германии, Англии и Индии. Участвовал в подготовке английского издания книги Кропоткина.

⁵ Институт марксизма-ленинизма, г. Берлин.

⁶ Печатный орган Общества друзей русской свободы «Free Russia» создан благодаря активной деятельности С. М. Степняка-Кравчинского и П. А. Кропоткина в Лондоне в декабре 1899 года.

Н. А. Романов

История одного искания

Предисловие и публикация
С. И. Смуглого

Каждый раз, когда достоянием мира становится новое научное открытие, всех поражает этот неожиданный рывок вперед человеческой мысли. Для большинства людей научное открытие действительно кажется ошеломляюще внезапным, неожиданным. Объясняется это тем, что от нас часто скрыто то медленное накопление множества больших и малых сдвигов в овладении тайнами природы, которое всегда предшествует открытию.

«Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов». Эти слова Исаака Ньютона напоминают Норберт Винер, один из творцов кибернетики, величайшего открытия нашей современности. Но рождение и этой науки было подготовлено многими успешными поисками. Говоря об истоках кибернетики, учения об управлении и связи в живом организме и машине, Норберт Винер неизменно подчеркивал большую роль в формировании этих идей учения Павлова и русской математической школы, в особенности работ Андрея Николаевича Колмогорова.

В свою очередь, выдающийся советский математик пишет об этом так: «Двадцатые и тридцатые годы были годами созревания идей, которые потом пышно развернулись в новые науки — кибернетику, теорию информации, теорию обучения и т. п. Основная роль во всем этом комплексе идей работ И. П. Павлова признается всеми беспристрастными историками науки. Идеи более последовательного применения математики во всех этих областях бродили уже в двадцатые годы в большом кругу думающих ученых. Постепенно кое-что выкристаллизовывалось в определенные достижения... Думали, конечно, очень многие». И здесь академик А. Н. Колмогоров называет одного из этих людей — молодого воронежского математика Н. А. Романова, который «оказался на уровне передовой мысли своего времени и думал самостоятельно»¹.

Николай Александрович Романов родился 22 декабря 1903 года в Воронеже. Отец его был земским врачом, мать училась в Московской консерватории. Окончив реальное училище и физико-математический факультет Воронежского государственного университета, Н. А. Романов с 1924 года работал преподавателем физики в автомобильном техникуме. В 1932 году он получил звание доцента и стал заведовать кафедрой физики в Воронежском инженерно-строительном институте.

В своих воспоминаниях «История одного искания», которые остались незавершенными, Н. А. Романов рассказывает, как еще в студенческие годы он был поражен тем, что основная формула теории вероятностей не имеет, по существу, теоретического обоснования. После многолетних раздумий молодой математик приходит к мысли, что пролить свет на этот нерешенный вопрос могут известные опыты И. П. Павлова.

Н. А. Романов решает поделиться своими мыслями с великим физиологом и шлет ему письмо в Ленинград. И. П. Павлов, посоветовавшись с академиком Н. Н. Лузиным, находит идеи воронежского физика и математика заслуживающими внимания и приглашает его для беседы в Ленинград. Вскоре после поездки в Ленинград, описанной в четвертой главе воспоминаний в «Докладах Академии наук», по рекомендации академика Н. Н. Лузина публикуется первая работа Н. А. Романова — «О возможности контакта между теорией вероятностей и учением академика И. П. Павлова об условных рефлексах». А 20 ноября 1932 года в Воронеж приходит письмо директора Всесоюзного института экспериментальной медицины: «согласно просьбе академика И. П. Павлова нами возбуждено ходатайство перед Наркомтяжпромом об откомандировании профессора² Романова на работу к академику Павлову, который крайне заинтересован применением математического метода в физиологии высшей нервной деятельности». До переезда в Ленинград Н. А. Романов на основе более семидесяти исследований павловских лабораторий успел подготовить математическую работу «О стандартной таблице для опыта с условными рефлексами».

Н. А. Романов становится одним из ближайших сотрудников Павлова, первым математиком, «проникшим» в Колтуши — столицу мировой физиологии. Николая Александровича здесь ценят и любят. «Наш математизатор условных рефлексов», — дружески называют его павловцы. Здесь он пишет свои работы «Вероятность и условные рефлексы», «Понятие субъективной вероятности в свете учения академика Павлова об условных рефлексах» и др. Есть много доказательств того, как сам Павлов высоко ценил своего молодого сотрудника. Об этом свидетельствуют не только отзывы великого ученого, но и фотодокументы: Нильс Бор в гостях у Павлова — при разговоре присутствует Романов, Павлов принимает Герберта Уэллса — в беседе участвует Романов. После первых опытов Н. А. Романов по совету математиков (в первую очередь А. Н. Колмогорова), по-видимому, изменяет свой первоначальный замысел. «Вместо этого он занялся содержательной и интересной задачей — выяснением того, как животное формирует определенные реакции на появляющийся случайно с заданной вероятностью (в самом обычном, всем известном смысле) раздражитель»³.

Опыты такого рода уже гораздо позднее — через десятки лет — получили в США большое

¹ А. Н. Колмогоров, Замысел «стохастической теории обучения» у Н. А. Романова. «Природа», 1966, № 7, стр. 88.

² Ошибка: Н. А. Романов был доцентом.

³ Письмо академика А. Н. Колмогорова Е. А. Романовой от 23 октября 1964 года.

развитие под названием «стохастической теории обучения», ставшей существенной частью кибернетики. «Именно в этом смысле, — пишет А. Н. Колмогоров, — можно считать, что Н. А. Романов предвосхитил одно из направлений позднейших работ по кибернетике». Более того, глава советской математической школы подчеркивает, что «в этом направлении замыслы Н. А. Романова сохраняют свою актуальность и сейчас, так как упомянутые экспериментальные работы более поздних лет далеко не исчерпывают вопроса»⁴.

К сожалению, самому ученому не пришлось довести свои планы до конца. Осенью 1943 года во время лекции он умер.

Много лет спустя, прочтя в рукописи записки Н. А. Романова, академик А. Н. Колмогоров написал его сестре: «Воспоминания Вашего брата с литературной стороны хорошо написаны, интересны и мне лично очень симпатичны. Было бы хорошо, если бы они где-либо были напечатаны не как обоснование некоего «приоритета отечественной науки», а просто как памятник времени. Характеристики И. П. Павлова и Н. Н. Лузина тоже очень хороши.

О научных замыслах Вашего брата и их отношении к дальнейшему развитию науки я составил справку, которую Вам посылаю⁵. Если Вы найдете это разумным, то эту справку с моей подписью можно напечатать при публикации воспоминаний Николая Александровича или его работы»⁶.

Н. А. Романов оставил после себя не только ряд интересных научных работ, но и замечательные по своей тонкости и зрелости стихи, много музыкальных произведений — прелюды, сонаты, этюды.

Однажды в доме М. В. Нестерова Романов, глядя на висевшую на стене картину, вдруг сказал:

— Когда я смотрю на нее, то слышу Двадцатый этюд Скрябина.

Старый художник прослезился:

— Вы единственный, Коля, кто это сказал... Ведь я писал картину именно под эти звуки...

В незавершенных воспоминаниях Н. А. Романова, в его дневниках, письмах к друзьям и любимой сестре Елене Александровне ощущается богатство духовного облика этого незаурядного, вечно ищущего человека. Искусство не мешало, а помогало ему научно мыслить. И когда мы говорим о тех, кто подготовил рождение кибернетики, мы с полным правом можем назвать и имя молодого советского ученого Николая Александровича Романова.



Н. А. Романов в возрасте 25 лет.

Глава I. Знаменательная открытка

Там, где река Дон, приняв в себя воды реки Воронеж, речки Потудань и множества других мелких рек и речонок, тугими и плавными изгибами своего широкого русла не спеша начинает приближаться к жарким степям Приазовья, расположен город Коротояк. Как большинство русских городов этой полосы, он стоит на правом, возвышенном берегу многоводной реки; уже издали видны его скромные колокольни;

неясными очертаниями маячат они на сияющем краю земли. Если подойти ближе, то можно видеть, как маленькие белые домики, окруженные садами, веселой гурьбой сбегают к Дону. Здесь водится круп-

⁴ «Природа», 1966, № 7, стр. 87.

⁵ Имеется в виду цитирувавшаяся выше статья А. Н. Колмогорова, опубликованная в журнале «Природа» как послесловие к открытию из воспоминаний Н. А. Романова.

⁶ Письмо А. Н. Колмогорова Е. А. Романовой от 17 февраля 1966 года.

ная рыба. Выше по течению реки громоздятся меловые горы, ослепительно-белыми уступами круто обрываются они к глубокой воде. Меловые массивы образовали здесь ряд очень удобных, как бы выточенных по заказу, террас и плато, с которых открывается на редкость привольный вид на необозримое пространство заливных лугов, уходящих далеко на восток. Есть тут и глухие, заповедные лесные места, просеки и глубокие овраги, заросшие почти непроходимым кустарником; там редко ступает нога человека; носят они странные, немного таинственные названия — Яруга и Урыв, в которых отдаленно чудится что-то древнеславянское. Самое же название «Коротояк» согласно местному преданию произошло от сочетания двух украинских слов: «круто як», будто бы произнесенных когда-то двумя путниками, приближавшимися к городу.

Я люблю этот городок. Я люблю его за то, что здесь я провел краткий период своей жизни, отличавшийся необыкновенным богатством, полнотой и яркостью ощущений, мудрой расточительностью сердца. Я люблю его также, быть может, еще за то, что им отмечен крутой поворот в моей жизни, поставивший меня в непосредственное соприкосновение с такими людьми и событиями, которые, резко изменив мой жизненный путь, оставили глубокий, неизгладимый след в моем сознании. Эти люди и события имеют интерес не только для меня одного. Вот почему краткое воспоминание о них вместе с некоторыми своими попутными мыслями я и решил нынче записать.

...В те дни я был немножко поэтом. Кто из нас в свое время не грешил этим? В моих бумагах сохранилось стихотворение того времени, написанное белым стихом. Называется оно «Размером осени». И так как оно в известной мере характеризует собой сушь и простор Коротоякского края, я позволю себе привести некоторые выдержки оттуда.

...Непревзойденный замысел любя,
Я слышу осень. Жизнь, как тихий сад,
Рождает образы... И потому избрал
Особую печаль и сухость формы,
Чтобы музыкой минуты мысль насытить,
Чтоб было все — как опаденье листьев,
Как осени вошедшей озаренье,
Как величавый замысел судьбы.

...Видали ль Вы, как далеко, в степи,
Едва в равнины отойдет закат,
Блестит Арктур? Колючая звезда
Светло дрожит, свершая острый танец...
И пыльный вечер, скучный как репей,
И даль дорог, осыпанных песками,
Мы постигаем, как прощальный праздник.
Как мудрое и славное вещанье,
Где нераздельны правды бедной горечь
И пестротой украшенная ложь.

...Жизнь, не лети! Черкнуть, как метеор,
Сухую чашу неба, и упасть,
В сплошной ковчег зарывшись головою,
И бурным камешком навеки замереть,
Чтоб важные решали муравьи
Откуда? Чей? И не могли решить.
Но в тишине — печальным и угрюмым,
Скупым осколком неба — вспоминать
Своей судьбы высокое паденье
И ветра свист. И темный жар души.

...И хорошо потом брести «домой»,
Остановившись где-нибудь на косогоре,
Чтоб звезды над собой пересчитать
И вновь собрать! И вновь кругом

рыссыпать!
Всю раскаленность мыслей —
Все донести! Чтоб в четкой тишине,
Как яблоко, поэму надкусив,
Начать свой замысел. Его светло любя,
Я слышу осень. Жизнь как тихий сад.

Мы приплыли в Коротояк на пароходе. Мы плыли мимо тех же самых берегов, мимо которых когда-то гордым строем шли петровские корабли — брат Азов. Но за двести лет с небольшим река Воронеж так оскудела, что стала труднопроходимой и для нашего суденышка, смешно и хлопотливо ворочавшего в мутноватой воде своими желтыми лопастями. Недаром на носу парохода стоял специальный человек с длинным шестом, назначение которого было отталкиваться от берегов в критические моменты. Где-то позади в песчаных отменялах, там, где реке Воронеж после долгих усилий удается, наконец, нагнать реку Дон, остался дремучий лес. Там до наших дней не перевелись настоящие бобы: сплошь и рядом в прибрежных зарослях в этой местности попадаются поваленные стволы деревьев, перегрызенные конусообразно: два конуса встречаются вершинами; древесина мелко выщерблена: это работа зубов бобра...

Мы приплыли в Коротояк глубокой ночью. С высоты Коротоякских гор мы успели различить, как далеко на востоке

дрожат и искрятся электрические огни дома отдыха в Дивногорье. Наш хозяин сообщил нам, что раньше там был монастырь. Временами казалось, что эти огоньки как бы перебегают с места на место...

И потянулись просторные летние дни, полные отдыха и покоя. Утром необыкновенный воздух, остро и радостно входящий в сознание, — не дышишь, а пьешь его! Густое прохладное сырое молоко в глиняных корчажках с капельками, повисшими на темных краях их. Днем отлогий пляж с белым мелким песком, сверкающим на солнце, пляж, по качествам своим, быть может, мало чем уступающий евпаторийскому или пляжу в бельгийском Остенде; затем немного досадное и утомительное возвращение по крутому и пыльному подъему у моста, усыпанному подсолнечной шелухой и соломой, когда нога глубоко вязнет в пыли, и снова знакомый выбеленный домик, непривычное для горожанина ощущение прохладного земляного пола под босыми ногами, отдых с растрепанной книгой или партия в шахматы.

Я приехал в Коротояк не один. А. Ш. была прекрасным спутником, умным и добрым товарищем. Медичка третьего курса, она обладала недюжинными способностями скульптора. Вылепленные ею из сырого песка человеческие фигуры (например, фигурка мальчика, как бы невзначай заснувшего на речном берегу) были настолько художественно правдивы, что вызвали суеверную боязнь жителей окрестных деревень. В Коротояке же проводили свой летний отдых профессор патологической анатомии из Баку (И. И. Широкого-ров) и профессор геологии из Воронежа (К. К. Сент-Илер) со своими семьями. Было тут и небольшое музыкальное общество, и часто в раскрытое окно, в душную июльскую ночь, в степь глубокими и скорбными этюдами Шопена говорил рояль о чем-то человечески простом и прекрасном — быть может, о сладкой неповторимости жизни здесь, на земле.

Однажды, после большой экскурсии в соседний сосновый лес, А. Ш. передала мне пересланную в Коротояк из Воронежа моим отцом почтовую открытку с ленинградским штемпелем. Открытка была написана мелким, сухим, витиеватым, без нажимов почерком; заглавные буквы были несколько замысловаты; некоторые из них обладали ненужными украшениями.

Вот что в ней стояло:

«По поручению академика И. П. Пав-

лова имею честь сообщить Вам, что по рассмотрению компетентными лицами работа Ваша признана заслуживающей серьезного внимания и имеющей научный интерес. Для детального обсуждения вопросов, связанных с Вашей работой, было бы желательно Ваше личное присутствие в Ленинграде — ориентировочно в октябре—ноябре 1932 г. (Более точная дата будет сообщена позднее.) О возможности своего приезда в Ленинград благополучно уведомить заранее академика И. П. Павлова по адресу: г. Ленинград, В. О., 7-я линия, д. 2, кв. 11.

Уважающий Вас Вс. Павлов».

Сначала была только радость, чистой-шей радостью, И только. Затем усиленно заработало мышление. Один за другим возникали вопросы, мгновенно вспыхивая и вытесняя друг друга. Кто этот «Вс. Павлов»? Кто эти «компетентные лица», рассматривавшие мою работу? Значит, их много? Не забыл ли я ее? (На момент мое воображение нарисовало такую картину: ареопаг седобородых академиков, и я перед ними — смущенный и растерянный, позабывший все слова на свете). Как же быть с моим преподаванием в техникуме? С началом нового учебного года там? и т. д.

...Если бы старый коротоякский пожарный, продежуривший весь долгий летний день на деревянной каланче, мог лучше видеть или был бы вооружен сильным биноклем, то он увидел бы, как из двери небольшого чистенького домика вышел человек лет двадцати семи — двадцати восьми. Лицо его было озарено радостью. В руках он держал желтоватый, четырехугольный листок картона, на который он беспрепятственно и жадно взглядывал. Казалось, что он хочет убедиться в его реальности или лишний раз пережить впечатления от написанного на нем. Внимательный наблюдатель увидел бы, как, натыкаясь на неровности почвы, этот странный человек обошел пожарную каланчу сначала в одном направлении, затем для чего-то в противоположном. Обуреваемый каким-то необычайно сильным душевным движением, он, видимо, сам плохо сознавал свои поступки. Затем он направился к старому городскому саду. Там он сел у края обрыва и стал думать о чем-то своем, известном лишь ему одному. С востока шла ночь. На северо-западе горела заря. Где-то там был Ленинград. Вот что он вспомнил.



Нильс Бор в гостях у И. П. Павлова. Сидят: И. П. Павлов, Н. Бор супруга Бора. Стоят сотрудники И. П. Павлова: второй слева — Н. А. Романов, третий — Вс. И. Павлов.

Глава 2. Истоки мысли

Воронежский университет был открыт в 1917 году на базе эвакуированного в город Воронеж во время гражданской войны Юрьевского (Дерптского) университета. Под университет было отведено здание б. Кадетского корпуса — огромное желтое строение в стиле николаевской эпохи, казарменно-казенного типа с гулками сводами, длиннейшими коридорами, огромными лестничными площадками и таинственными переходами. В один из осенних вечеров 1924 года, когда дождевые капли лениво сползали по оконным стеклам (остановится на мгновение одна такая капля, как бы подумает немного и вдруг круто сбегает в сторону, навсегда поглощаемая соседней

каплей), в один из таких скучных вечеров в ярко освещенной математической аудитории университета шла лекция по курсу теории вероятностей. Лекцию читал профессор Антон Казимирович Сушкевич. Это был небольшой полный человек, с явно выраженным брюшком, с круглой бритой головой, в роговых очках. Всей своей фигурой он чем-то напоминал пастора.

— Итак, — говорил профессор своим суховатым, как бы каркающим голосом, — если в урне находятся два белых и три черных, равных по величине и одинаковых на ощупь шара, то вероятность появления белого шара при вынимании шара наудачу из урны будет равна $\frac{2}{5}$; вероятность же появления черного шара при тех же условиях будет равна $\frac{3}{5}$. В общем слу-

чае, когда в урне находятся m белых и p черных шаров, вероятность появления белого шара при вынимании шара наудачу исчисляется правильной дробью:

$$\frac{m}{m+p}$$

— Откуда эта формула? — перебивая профессора, неожиданно для самого себя спросил один из студентов, сидящий за вторым столом. — На основании чего мы ее принимаем?

— Ну, знаете... — тут профессор немного замаялся, — если мы будем задавать подобные вопросы... — здесь он нервно повертел кусочком мела, который держал в руках... — ведь эта формула ясна по здравому смыслу. Она не требует доказательств. Все это очевидно, — закончил он немного резко (видимо, этот разговор был ему неприятен).

И, повернувшись к доске, своим обычным суховатым, как бы каркающим тоном продолжал развивать свои выкладки — первую главу читаемого им курса, где фигурировали классические урны, наполненные шарами, игральные кости, тиражи лотерей и ожесточенные споры игроков о делении ставок в случае неоконченной игры.

Задавший вопрос профессору студент молчал. Ему было одновременно и неловко и обидно, и еще какое-то третье неясное чувство смутно волновало его. Это третье — было чувство логической законности поставленного им вопроса.

Столь неудачно полюбозытствовавшим студентом был автор настоящих строк. Психический склад человека, его улыбка, отношение к людям в большой мере определяются тем, в каких условиях протекало его раннее детство. В детстве никто из взрослых никогда не говорил мне: «Этого спрашивать нельзя». Я пишу здесь о детстве потому, что, по моему глубокому убеждению, в психике ребенка есть нечто, что приближает ее к психике ученого-исследователя; вопросы же научного творчества и являются главной темой настоящих воспоминаний.

В раннем детстве моей любимой игрушкой был обыкновенный, плотно закупоренный аптекарский пузырек, наполненный водой, куда мне показалось забавным набросать мелко искрошенные кусочки картона, спичек, пробки и т. п. Чем проще игрушка, тем больший простор оставляет она для детского воображения. Мне нравилось, встряхнув пузырек, немного прищурившись, смотреть через него в окно на

свет — лучи солнца преломлялись в зеленоватом стекле, — как кружится, всплывает и вновь тонет вся эта мелочь в затейливой игре. Однажды рано-рано утром, когда все еще спали и косые лучи оранжевого, еще прохладного солнца слепили мне заспанные глаза, я вздумал подвесить пузырек на бечевке, протянутой через всю комнату от стены к стене. Мне казалось, что этим я нарушаю обычное привычное и равномерное течение жизни, вношу в нее что-то необычайно.

«Моя душа, я помню, с ранних лет чудесного искала», — писал Лермонтов. Мне кажется, что эти слова могут быть отнесены к большинству детей, а не только к тем, что, ставши взрослыми, были впоследствии овеваны могучим ветром славы.

Что я видел в нем, в этом висящем пузырьке? Может быть, на мое детское воображение действовала та мысль, что вода — это обычно растекающееся по полу, требующее особых забот и осторожности в обращении жидкое тело, что эта прозрачная вода висит посередине комнаты в пустом пространстве? Или это было горделивое сознание осуществленной мечты — сложности, сначала возникшей в моем детском уме, а затем воплощенной в жизни? Не знаю. В детском сознании столько тайн, а мудрость, как говорит Аристотель, и состоит в том, «чтобы видеть чудесное в самом обыденном».

Я люблю детей за их свежую способность удивляться. Мы, взрослые, видим куда меньше детей. Столько разных разностей оставляем мы без внимания. Как не правы те, кто с сознанием собственного горделивого тупого превосходства видит в ребенке лишь что-то еще не выросшее, не настоящее, нечто вроде глупой личинки или куколки будущего взрослого, умного человека. Психика ребенка заключает в себе ценности, которыми мы уже и мысленно не обладаем. С годами что-то чуткое, восприимчивое, как задрожавшая струна, что-то почти гениальное безвозвратно утрачивается, заменяется привычной к уже надоевшим, неинтересным вещам. А в детстве? В детстве, помните? Каждая найденная коробка была новостью и кладом.

В детстве я верил в чудо. По вечерам, засыпая под хрупкие аккорды шопеновских мазурок, которые мама играла в полутемной затихшей гостиной и которые отдавались в моем детском сознании какой-то сладкой, еще неизведанной болью, или слушающая, как тихо напевает она грустную песнь Сольвейг, я любил, глядя на голубой фона-

рик, висевший под потолком в нашей детской, и на возникавшие от него теневые узоры на стенах, мечтать о том, что вот к нам, в нашу комнату, залетел знакомый ангел, подарил нам, детям, мягкие, пушистые крылья, научил летать. Как приятно было мысленно пролетать, упруго взмахивая крыльями над обычными книжными шкапами и игрушками, таким умелым воздушным путешественником, легко и беззаботно взвиваться над нашим скучным городским мощеным двором!

Затем откуда-то потянуло свежим ветром героической романтики Жюль Верна. Где-то там, по дебрям центральной Австралии, пробирается смелый, неутомимый исследователь. Детский воздушный шар не в силах был поднять меня самого, но ведь он легко может поднять записку! Пусть затерянный в горах далекий одинокий путешественник найдет и прочтает ее! Мы с ним хорошо понимаем друг друга! И детскими печатными буквами я старательно вывел: «Мы хотим сладких булок и конфет». Далее следовал точный адрес. Подгоняемый весенним ветром, выпущенный на свободу шар летел все выше и выше над пестрой зеленой и красной крыш, беспомощно болталась увлекаемая на тонкой нитке записка. Наконец шар сделался маленьким, черненьким и исчез точкой. Прощай, шар!

И пускай твердят унылые рационалисты о том, как вредно потакать детской беспочвенной фантазии. Как благодарен я судьбе за то, что она подарила мне эти редкие мгновения! И когда раздался звонок в тот обычный, ничем не замечательный вечер, когда все мы сидели за чайным столом, я знал уже, что это принесли ответ от него, от незнакомца! И пусть это сделали мои родители — присылка ожидаемых булок и конфет была делом их рук, — важно то, что об этом их чудном поступке, в котором было столько любви и нежности к пробуждающемуся (детскому) сознанию, я узнал лишь много лет спустя, когда знание трезвой действительности уже ничем не могло меня омрачить. Нет, не огорчило оно меня, а, напротив, наполнило мое сердце поздней благодарностью по отношению к ним — милым ушедшим теням, сохранившим мою лучшую мечту от преждевременной гибели. Они не пожелали разрушить хрупкое и гордое звание, уверенно и смело возведенное моей детской фантазией и — кто знает? — может быть, таинственно преобразованное затем в скрытых уголках мозга; оно дало начало тому, что

на языке взрослых называется «верой в человечество», «верой в его творческие силы» и т. п.

Не значит ли это, что истинная задача воспитания некоторых важных сторон человеческой личности состоит не столько в том, чтобы стараться привить ребенку что-то извне из нашего взрослого опыта, сколько в том, чтобы не убить в этом маленьком человечке то, что есть в нем своего особенного, детского? Не является ли поэтому лучшей обязанностью тех, кто стремится стать истинным ученым, истинным художником, пронести через всю свою жизнь как бесценные крупные наивности детства, романтизм юности? И не это ли имел в виду О. Уайльд, когда писал: «В будущем душа человека будет так удивительна, как душа ребенка»?

Учитель Алексей Ефимович Хмыров, с которым я занимался вплоть до 5-го класса реального училища, предоставлял мне большую свободу в занятиях, иногда мое внимание направлялось на то, что меня больше всего интересовало. Помню, с каким большим тактом и вместе с тем как умно ответил он на мой вопрос, которым я тайне очень гордился и которым думал поразить его. Я спросил его: «Как мог существовать свет в первый день сотворения мира богом, если солнце, луна и звезды были созданы им только в четвертый день?» — «А ты слышал что-нибудь о туманностях?» — в свою очередь спросил у меня мой учитель. И рассказал мне об этих загадочных образованиях Вселенной, посылающих нам свой таинственный свет из холодных глубин мирового пространства. Он показал мне туманность Андромеды, рассказал суть канто-лапласовской гипотезы, добавив при этом, что «один день» в творении мира мог исчисляться миллиардами веков.

В реальном училище не было и следа той свободы, которую мне предоставлял Алексей Ефимович. Казенная система обучения давала знать себя. На уроке геометрии преподаватель сказал: «Линия есть след от движения точки». — «А если точка будет вертеться на одном и том же месте, не сходя с него, ведь линии не будет?» — поднимаясь с моей скамьи, спросил я. Логически вопрос был явно незаконен, так как мы не вправе мыслить вращение вокруг собственной оси геометрической точки, не обладающей протяженностью. Но вместо того чтобы толково разъяснить мне это, Сергей Дмитриевич сделал какое-

то недоумевающее кислое лицо. Как будто бы он проглотил что-то очень невкусное и неприятное или услышал что-то бесконечно глупое и ничего не ответил. (Нужно заметить, однако, что он был чеплохой преподаватель и мы, реалисты, любили его.)

Реальное училище предопределяло техническую дорогу. В 1920 году в Воронеже открылось высшее учебное заведение технического типа — Практический институт, куда я и поступил. Но не суждено было сделаться инженером-строителем, и это — в большой мере — благодаря одной личности, которую я сейчас опишу.

Инженер-архитектор В. И. Гайн был весьма знающим и во всех отношениях достойнейшим преподавателем института; читал он курс строительных материалов. Давно уже, однако, установлена та неизбежная педагогическая истина, согласно которой интерес слушателей к той или иной дисциплине чуть ли не на сто процентов определяется личностью преподавателя, его манерой излагать свой предмет. В. И. Гайн читал свой предмет на редкость скучно. До сих пор помню его скучный гнусавый голос, вяло тянувший: «И всякого рода гли-и-и-и-на». Это он на одной из своих лекций утверждал, что полярная звезда (как-то это пришлось к слову) обладает тем свойством, что в какую бы точку вы ни направились, всегда будет стоять у вас над головой. На мое замечание, что это не так, В. И. Гайн обозвал меня еретиком. Но чаша моего терпения переполнилась, когда на одной из своих лекций он по обыкновению вяло-тягуче и очень пространно начал рассказывать о различных способах приготовления производственной глины. Из этой лекции мы узнали, что между многочисленными способами приготовления строительной глины существует и такой, когда жирная жидкая глина накладывается в небольшой тазик и здесь разминается босыми ногами рабочего, стоящего в тазу и ритмически переступающего с ноги на ногу. Слушая рассказ преподавателя, я отчетливо представил себе всю эту картину: жирная жидкая глина, разминаясь и хлюпая под босыми ногами рабочего, тонкими червеобразными образованиями пролезает между пальцами его ног — и это яркое представление, сочетаясь с нудным, тягучим, как глина, голосом лектора, было так живо, что меня чуть не стошнило.

Образ преподавателя и его лекции (да простит он мне это!) в большой мере со-

действовали моему переходу в университет, куда я поступил на математическое отделение физико-математического факультета. Здесь мне пришлось услышать двух лекторов совершенно иного типа. Одного из них, впрочем, я знал и раньше, так как он читал и в Практическом институте. Когда я вспоминаю светлый и благородный облик профессора А. А. Добиаша, передо мной всегда встают следующие замечательные слова Стефана Цвейга из его «Смятений чувств» (цитирую приблизительно, так как все выдержки в этих воспоминаниях приходится приводить на память): «Не с одним только прилежанием, дитя мое. Всякое значительное движение духа, всякая новая, смелая мысль рождается из страсти. Сначала страсть, увлечение, а потом уж прилежание. Иначе, в лучшем случае из тебя выйдет только школьный учитель».

Эту страсть высокого накала давал в своих лекциях профессор Александр Антонович Добиаш. Высокий крупный мужчина северного типа, напоминавший собою скорее англичанина или норвежца, нежели чеха, каким он был в действительности, с светло-серыми глазами и чуть белыми волосами, с чуть наклоненной вперед по-бычьей головой и крутым затылком, с решительными, смелыми жестами, умело владел глубокими и богатыми интонациями своего властного голоса, уверенными мазками он рисовал нам грандиозные картины современной физики с ее стремлением к широкому охвату явлений, всякий раз раскрывая перед слушателями перспективы науки и насыщая свои лекции глубоким философским анализом ее идей. Он давал нам почувствовать весь пафос современной физики, высокий потенциал ее творческой мысли, многие были им увлечены. Это был действительно джентльмен в лучшем значении этого слова. Никогда не забуду его лекции в Практическом институте, в которой он хотел дать студентам представление о модной в 1921 году теории относительности Эйнштейна. Решительным, смелым шагом войдя в переполненную, как всегда, аудиторию, он окинул быстрым взглядом ряды студентов, сделал широкий жест руки и произнес:

— Представьте себе, что все исчезло. Я исчез, все исчезло, — он заговорил немного быстрее, — эта аудитория исчезла, Практический институт исчез, Сельскохозяйственный институт исчез, — он говорил все быстрее и быстрее, — Воронеж исчез, земля исчезла, звезды исчезли. Пустота!..

Тут он, как опытный оратор, умело выдержал нужную длинную паузу. Слышно было дыхание студентов.

— И вот в этой пустоте, — продолжал он, придавая своему лицу и своей интонации загадочно-таинственное выражение, — навстречу друг другу летят два наблюдателя. «Я стою на месте, а ты движешься!» — кричит один. «Нет, стою я, а движешься ты», — отвечает другой. И никакими мыслимыми физическими экспериментами нельзя доказать, кто из них прав. В этом и заключается суть теории относительности.

Трудно себе представить более наглядное, более живое и выпуклое и вместе с тем более верное вступление к этой сложнейшей главе современной физики. Под руководством профессора А. А. Добиаша я написал реферат «Адиабатическое расширение насыщенных паров». Позже, когда профессор А. А. Добиаш перевелся из Воронежа в Ленинград, его место занял профессор А. П. Поспелов. В физическом семинаре у профессора А. П. Поспелова я прочитал реферат «Строение атома водорода по Нильсу Вору». Как-то, экспериментируя в физической лаборатории, я допустил слишком большую силу тока и пережег сразу шесть в то время еще очень дорогих катодных ламп. Профессор А. П. Поспелов по этому поводу сказал мне:

— Николай Александрович, у вас есть голова и нет рук, — слова, которые я не раз вспоминал впоследствии.

Второй яркой фигурой среди университетских преподавателей был еще сравнительно молодой профессор математики Н. П. Самбикин. Я не уверен, впрочем, имел ли он звание профессора, точнее — нашел ли он время для того, чтобы позаботиться об этом факте среди своей разнообразной, кипучей деятельности. Живой, энергичный брюнет, с блестящим и умным взглядом, в котором порой мелькало что-то насмешливое и озорное, Н. П. Самбикин всегда был готов к остроумной шутке и выходке, к удачному словцу. Любитель музыки и театра (он был большим поклонником и знатоком Художественного театра), страстный рыбак и шахматист (играл он, впрочем, всегда азартно и потому часто проигрывал), обладая, несомненно, выраженным литературным и артистическим даром, он вносил все эти черты своей яркой личности в свои лекции. Он был любимцем студентов. Читал он курс дифференциального и интегрального исчисле-



Н. А. Романов. Последняя фотография.

ния. Это он в Театре имени Вс. Мейерхольда на спектакле «Лес» Островского в столь нашумевшей постановке, когда часть публики, усиленно аплодируя, требовала выхода постановщика спектакля, в ответ на заявление, сделанное администрацией о том, что Мейерхольда в театре нет, это он, Н. П. Самбикин, подняв сжатый кулак, угрожающе воскликнул на весь театр: «И его счастье!» Но лучше всего характеры профессора Н. П. Самбикина и профессора А. К. Сушкевича, о котором я писал в начале этой главы, проявились в небольшом эпизоде, разыгравшемся в фотографии, куда собрались преподаватели и оканчивающие студенты математического отделения для того, чтобы сняться всем вместе по случаю выпуска. В центре ряда

стульев, приготовленных для преподавателей, стояло мягкое кресло, в которое профессор А. К. Сушкевич не замедлил плавно опуститься, видимо не без удовольствия, заранее предвкушая свое центральное положение в будущем фотоснимке. Самбкин, заметив это, тут же сымпровизировал:

...В кресле важно восседал
Наш Сушкевич-генерал.

Сушкевич обиделся: «Николай Петрович... Ну, я понимаю шутки... когда это своеобразно... Но в присутствии студентов...», на что Н. П. Самбкин со свойственной ему находчивостью и редкой подвижностью мысли воскликнул:

Самбкин, рифмы сей виновник,
Уселся рядом как полковник.

Нет, ни на минуту не подумая я преуменьшать, ни тем более отрицать педагогических и научных заслуг профессора А. К. Сушкевича, всей огромной его научной эрудиции. Вероятно, и список научных работ был у А. К. Сушкевича несравненно длиннее, нежели у Н. П. Самбкина, и больше аккуратности было в его всегда продуманных и тщательно выверенных столь веских суждениях. Но для того чтобы навеки поселить в душе студента интерес к науке, заставить полюбить ее настоящей, живой и неиссякаемой любовью, нужны лекторы типа Самбкина, а не Сушкевича. (Я не говорю уже о высококачественных лекциях профессора А. А. Добыша.) Такой лектор скорее найдет доступ к открытому сердцу слушателя, зажжет его творческим огнем, ибо всякая новая мысль, всякая новая идея, к какому бы отделу знаний она ни принадлежала, — если она только хочет пробить себе дорогу вперед, для того чтобы расплавить ту толстую ледяную кору особого человеческого равнодушия, имя которому — научное равнодушие, для того чтобы иметь возможность сделать это, — эта новая мысль, новая идея должна питаться скрытым пламенем страсти.

Глава 3. Немножко философии

Среди моих книг была одна, купленная мною у букиниста и часто попадавшаяся мне на глаза не слишком толстая книга в желтом пестром переплете, с кожаным добротным корешком; от нее слегка пахло приятным библиотечным запахом старой

бумаги. Это была «История философии» Льюиса. «Читайте прежде все лучшие книги, а то вы совсем не успеете их прочесть», — говорит Торо. Я долго не читал сочинения Льюиса, так как это была моя собственная книга и мне всегда казалось, что я еще успею ее прочесть. По этому поводу мне вспоминаются звучащие парадоксально слова моего друга М. В. Федосеева. На мой вопрос, читал ли он такую-то книгу, он отвечал, что до сих пор не читал. «Ведь она у меня есть», — добавил он в объяснение. Заключительным выводом сочинения Льюиса, которое я в конце концов все же прочитал, был вопрос: «Существуют ли в нашем мышлении какие-либо идеи независимо от опыта?» — вопрос, ставший под сомнение возможность так называемого чистого умозрения.

Книга Льюиса сослужила мне настоящую, хорошую службу в моих размышлениях над формулой вероятности. Вопрос, заданный мною на лекции профессора А. К. Сушкевича, не выходил у меня из головы. Замечу, между прочим, что я так и не сдавал теории вероятностей. Эта дисциплина по программам того времени не была обязательной для студентов физического цикла, а я предпочел вовсе не иметь ее в списке сдаваемых предметов в аттестате, чем сдавать ее формально, не понимая ее основ. Я вспоминаю, что аналогичное положение создалось у меня на первом курсе, когда все мои товарищи уже подавали дифференциальное исчисление, а я все еще думал над тем: так что же такое дифференциал? Мысль о том, чтобы уснить себе, что по существу представляет собой понятие вероятности, буквально овладела мною. Это была как бы своего рода навязчивая идея. «Сущность понятия вероятности мы не можем определить, так же как в физике мы не можем определить сущность силы, материи, электричества и т. п.», — прочитал я в курсе профессора К. Лахтина. Это было не лучше, чем то, что ответил мне на лекции профессор А. К. Сушкевич. Это был явно выраженный агностицизм. Здесь мысль в бессилье складывала крылья. В курсе академика С. Н. Бернштейна во мне вызвала неприятное чувство ссылка на наше «интуитивное представление о вероятности», ибо что такое интуиция? — еще более туманное, расплывчатое и неясное понятие, нежели «здравый смысл» в «Опыте» Лапласа. В книге академика С. Н. Бернштейна, кроме того, меня поразила сравнительная сложность аксиом, положенная им в осно-



Герберт Уэллс в гостях
у И. П. Павлова. Слева
сзади — Н. А. Романов.

ву теории вероятностей. Казалось, что для того, чтобы обосновать понятие, ясность, самоочевидность и простота которого бросаются в глаза, возводится сложный и громоздкий фундамент, правда утонченной, филигранной отделки, но все же производящий впечатление чего-то ненужного, искусственного. Формула вероятности, думал я, должна покоиться на чем-то весьма простом и естественном, таком же простом, как она сама.

Кроме того, в формуле математической вероятности меня всегда поражал ее априорный характер, ее внешняя независимость от прошлого опыта. Исходя из основной мысли книги Льюиса, я начал искать такую психологическую форму, в которую формула вероятности укладывалась бы целиком, но которая вместе с тем не была бы независимой от нашего прошлого опыта. Такой психологической формой, однако еще более простой и естественной, еще более приемлемой для нашего мышления, оказа-

лось суждение по аналогии. Действительно, нашему уму глубоко присуще суждение по следующей схеме. В нашем опыте мы встречаемся с некоторым предметом или явлением «а» и хотим знать заранее: обладает ли этот встреченный нами предмет некоторым признаком «х», нами у него еще не обнаруженным? Пусть, например, мы встречаем змею и хотим заранее знать, ядовита она или нет, то есть представляет ли она для нас какую-либо опасность? Единственный способ, при помощи которого мы можем образовать суждение в данном случае, — это обратиться к нашему собственному опыту и опыту других людей. Если встреченные нами в прошлом опыте змеи такой же окраски, как и встреченная змея (объекты «а»), были ядовиты (обладали признаком «х»), мы вполне убеждены в том, что и данная змея тоже ядовита (обладает признаком «х»), и поэтому быстро убегаем прочь. Если ни одна такая змея не была ядовита (как, на-

пример, ужи), мы спокойно наблюдаем ее движение. Наконец, если подобные змеи лишь иногда бывают ядовиты (например, в определенный период), или же мы не успели еще как следует посмотреть данную змею и впечатление от нее еще слишком общее и расплывчатое, мы все же «на всякий случай» ради безопасности поспешным шагом отходим от нее на некоторое почтительное расстояние. Для того чтобы придать своим рассуждениям количественный характер, я по аналогии математической вероятности написал формулу:

$$A = \frac{M}{M + 1}$$

в которой смысл букв был тот же, что и в формуле математической вероятности, но принципиальное отличие которой было в том, что здесь суждение относилось к $M + 1$ по счету встреченному нами объекту «а», тогда как формулой математической вероятности определялась вероятность появления объекта, входящего в число $M + 1$ данных объектов (шары в урне). Эту более общую формулу я назвал формулой аналогии. Формула математической вероятности, казалось, целиком укладывалась в эту форму логического суждения. Кажущаяся независимость формулы математической вероятности от прошлого опыта (то есть ее внешне априорный характер) объяснялась особыми качествами объектов, фигурирующих в теории вероятностей (кости, карты), а именно — их симметрией. Для наглядной интерпретации своих мыслей, а также для облегчения самого процесса мышления я положил в картонную коробку большое количество кружков различного цвета; на каждом из них черной тушью был изображен тот или иной знак (точка, крестик и т. д.). Вынимая наудачу из коробки один кружок, я старался составить суждение, основанное на добытом ранее знании свойств уже вынутых кружков — обладает ли вынутый кружок определенным значком или нет? Ящик с цветными кружками казался мне моделью, наглядно иллюстрирующей процесс познания мира. Если бы все кружки в «ящике-мире» были одинаковы между собою, мы обладали бы всем знанием мира сразу, не завоеывая его, уже после одного испытания; если бы все они были различными, наука, знание были бы невозможны. В действительности дело обстоит так, что кружки частью сходны между собой, частью различны. Мы строим наши суждения о неизвестных еще свойствах объектов по анало-

гии с нашим предыдущим опытом с известной долей вероятности...

Часами сидел я, вынимая кружочки из коробки.

— Ты, кажется, впадаешь в детство, — шуточно заметил мой отец, придя как-то из библиотеки Дома ученых, где он обыкновенно брал книги для чтения. — Посмотри лучше, какую книгу я принес, — и с этими словами он протянул книгу, которую держал в руках.

На обложке книги стояло: «Академик И. П. Павлов. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Госиздат, 5-е издание, 1927 г.». Отец увлекся этой книгой. Не раз за столом рассказывал он об удивительной способности собак к тонкой дифференцировке, то есть о способности их точно распознавать чрезвычайно малые отличия в форме тел, в высоте тонов, в интенсивности серого цвета и пр. Особенный интерес вызывал опыт, в котором сильнодействующий электрический раздражитель (разряд индукционной катушки) путем усиленной тренировки животного был превращен в обычный условный пищевой раздражитель, то есть вместо того, чтобы вызывать присущую ему реакцию оборонительного характера, вызывал истечение слюны у собаки, или, как сказал бы психолог, вызывал у нее представление о пище, то есть был превращен в нечто для нее очень приятное. Я тоже как-то взял книгу академика И. П. Павлова для того, чтобы, как я предполагал, «слегка перелистать», «просмотреть» и «ознакомиться» с нею. Это, однако, оказалось невозможным. Книга была написана так, что не допускала к себе поверхностного отношения. Ее нельзя было читать, не вдумываясь в ее содержание, она как бы втягивала в себя. Написанная своеобразным, сжатым, ясным языком, она всецело подчиняла себе читателя, предоставляя ему выбор: или честно усвоить всю ее совершенно новую, необычайную для него терминологию, или же совсем не читать ее. Медленно, с большим напряжением прочитал я три первые лекции. Как возникала мысль о возможности контакта двух наук — учения об условных рефлексах и теории вероятностей? Я думаю, что психологически главную роль в этом сближении сыграла формула аналогии.

С одной стороны, я не мог не заметить, что мои ядовитые змеи (точнее — бегство от них) — это условный рефлекс, а с другой стороны — сама формула аналогии была построена по образцу формулы математической вероятности. Я был чрезвычай-

но обрадован, когда в книге профессора Ю. П. Фролова «Учение об условных рефлексах как основа педагогики», в главе, трактующей об учащении условного рефлекса, как бы в подкрепление своим мыслям прочитал: «Мы полагаем поэтому, что этот отдел учения об условных рефлексах настоящую свою оценку может получить лишь при математической обработке полученных результатов. Заметим в скобках, что и сама математика от такого симбиоза с физиологией может в результате лишь выиграть, ибо что такое представляют собой наши понятия о силе, времени и других основных вещах, как не выработанные путем долгой тренировки условные рефлексы при реакции на окружающую среду».

Понятие вероятности и являлось одной из таких основных вещей, которую следовало осветить с физиологической точки зрения. Я имел возможность и лично беседовать с профессором Ю. П. Фроловым.

Будучи как-то в Москве, я зашел к нему в лабораторию и поделился своими мыслями. Профессор Ю. П. Фролов выслушал меня чрезвычайно любезно. Он горячо и убедительно говорил о том, как широко развивается учение академика И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, захватывая все новые и новые области знания. Однако дальше этих общих фраз наша беседа пока не пошла. Единственной причиной этому было то, что мои собственные мысли по данному вопросу были в то время еще слишком туманны и расплывчаты. Профессор Ю. П. Фролов — единственный из учеников академика И. П. Павлова, энергично поддерживающий мысль о необходимости и плодотворности контакта двух обширных областей знания: математики и учения о высшей нервной деятельности. Ниже я еще отмечу ту весьма положительную активную роль, которую он сыграл в деле продвижения этой мысли в научных кругах.

Многие авторы, излагая историю различных открытий и изобретений, подчеркивают роль случая в том или ином открытии. Случай, говорят они, наводит, наталкивает ученого или изобретателя на новую, нужную или недостающую мысль и тем способствует открытию. Так, всем известно классическое яблоко, сорвавшееся с ветки в саду и тем якобы натолкнувшее отдыхавшего Исаака Ньютона на мысль о законе всемирного тяготения. Все знают также знаменитую историю о крышке от чайника, подпрыгивавшей вследствие вырва-

вшегося из чайника пара и тем натолкнувшей молодого Джемса Уатта на мысль о техническом использовании энергии пара, то есть способствовавшую изобретению паровой машины. Я далек от мысли проводить какие-либо параллели или в какой бы то ни было степени переоценивать значение своих собственных мыслей. Все же, пользуясь своим скромным опытом, хочется сделать несколько простых замечаний по поводу роли случая в науке.

Случай — в открытии или изобретении — это начало или конец мышления. Всякому открытию, всякому изобретению предшествует долгая подготовительная, часто подсознательная мозговая работа. Недаром сам Исаак Ньютон, когда его спросили, как пришел он к своим великим открытиям, со скромностью истинно великого человека просто ответил: «Я много думал над этим». Мне хочется привести еще две фразы Ньютона, в которых он дает оценку своей деятельности. «Я кажусь себе ребенком, играющим раковинами на берегу океана, в то время как океан скрывает тайну от моих глаз», — говорил он. Отдавая должную дань уважения своим великим предшественникам — Копернику, Кеплеру и Галилею, Ньютон говорил: «Я видел так много оттого, что стоял на плечах гигантов...» Несомненно, случай играет роль в науке, но роль эта совершенно особая, требующая еще дополнительного пристального изучения. Чаще всего случай дает начало цепи размышлений. Так было с препарированной лягушачьей лапкой, висевшей на железных балконных перилах, легкое подергивание которой заметил Гальвани, — наблюдение, давшее начало развитию учения об электрическом токе. Роберт Майер, служивший в качестве врача на острове Ява, заметил, что венозная кровь у туземцев светлее, нежели у европейцев, и этот на первый взгляд незначительный факт привел в конце концов к открытию закона сохранения энергии. Завернутая в черную светонепроницаемую бумагу фотографическая пластинка, случайно положенная рядом с куском урановой смоляной руды, потемнела, и это послужило началом для целого ряда экспериментов, повлекших за собой в результате открытие элемента радия. Бывает, наоборот, что случай не начинается, а завершает собой ряд умозаключений. Так, вероятно, было с Архимедом, открывшим свой гидростатический закон во время купания в ванне. Ощущение частичной потери собственного веса было тем последним

нужным внешним толчком для того, чтобы цепь умозаключения замкнулась: Архимед в радости бежал голый по улицам Карфагена с криком «Эврика!» («Нашел!»). Сам он должен был переживать этот момент как просветление, озарение. Иногда такое просветление может наступать и без всякого видимого внешнего повода, как, например, это было с Анри Пуанкаре, открывшим свои знаменитые функции в тот момент, когда он заносил ногу на подножку автобуса, чтобы ехать на прогулку в Канны — в окрестностях Парижа.

Мне кажется, что во всех этих случаях в человеческом мозгу происходит нечто вроде постройки фантастического тоннеля Б. Келлермана. Долгие месяцы и годы рабочие двух материков — Европы и Америки — упорно работают под дном Атлантического океана, дробя, сверля и взрывая крепкие породы гранита и базальта, настойчиво стремясь навстречу друг другу. Наконец наступает долгожданный и торжественный момент: последняя тонкая перегородка из камня падает под ударами кирки, и двое рабочих — американец и европеец — обмениваются дружеским рукопожатием. Постройка тоннеля закончена... В тайниках того сложнейшего целого, которое именуется корой больших полушарий головного мозга, также упорно и настойчиво совершается скрытая работа. В таинственной коре процессов возбуждения и торможения образуются новые проторенности, пробиваются новые нужные пути. Эта работа в большей своей части совершается за счет подсознательных механизмов, часто во сне, воля подчас в ней не участвует... И вот, наконец, наступает долгожданный момент: длинная цепь нужных ассоциаций замкнута, путь завершен. И думающий ученый чувствует просветление, озарение, облегчение...

Когда мне стало ясно, что целесообразность контакта двух наук: учения об условных рефлексах и теории вероятностей может быть подтверждена также и экспериментально, я послал следующее письмо академику И. П. Павлову:

«Многоуважаемый профессор!

Я позволяю себе обратиться к Вам, подавляя в себе чувство неловкости, естественно охватывающей человека, обращающегося к тому, кого он глубоко уважает, но на обращение к которому он не имеет никаких прав.

Настоящее письмо имеет своей темой наметившееся, как мне кажется, соприкос-

новение двух отделов знания: теории вероятностей и учения об условных рефлексах.

Я постараюсь быть возможно более кратким...»

Далее следовали критика таких понятий, как «здравый смысл» и «интуиция», и указание на необходимость замены их при обосновании теории вероятностей другим, более определенным фундаментом. Я излагал также суть формулы аналогии и высказывал предположение, что должно быть сходство в структуре формулы вероятности и неизвестной формулы условного рефлекса...

«Формула вероятности, — писал я, — вскрывается, таким образом, как результат взаимодействия двух факторов: закона больших чисел в природе и рефлексивного склада мышления в нас».

Заканчивалось письмо такой фразой:

«Я очень прошу Вас сообщить мне Ваше мнение по поводу высказанных здесь мыслей в том случае, если они заслуживают с Вашей точки зрения какого-либо внимания.

Глубоко уважающий Вас...»

Письмо было послано весной 1929 года. Мне казалось, что ответ должен прийти очень скоро. Однако этот год закончился — ответа не было. Пришел следующий, 1930 год. Весь этот год я был по горло загружен педагогической работой в техникуме. Я продолжал ждать. Прощел 1931 год. Я еще надеялся. Наступал 1932 год. Я совсем перестал ждать. Летом 1932 года мои знакомые посоветовали мне поехать на отдых в Коротояк. Открытка, полученная мною в Коротояке, и была ответом на посланное мною письмо.

Глава 4. «Окно в Европу»

Как выяснилось из моей дальнейшей переписки с личным секретарем Ивана Петровича Павлова, его сыном Всеволодом Ивановичем, обсуждение моего письма, посланного академику весной 1929 года, должно было состояться в первых числах ноября 1932 года, в Ленинграде. К этому же сроку должен был приехать из Москвы в Ленинград на сессию Академии наук СССР известный математик, академик Николай Николаевич Лузин. Как я узнал впоследствии, мое письмо было тщательно

рассмотрено с математической точки зрения Н. Н. Лузиным где-то на даче под Москвой, где он в это время отдыхал и куда специально для этого приезжал В. И. Павлов. Результатом этого совместного рассматривания и была открытка, пересланная мне затем моим отцом в Куротояк. До того, как мое письмо было рассмотрено академиком Н. Н. Лузиным, В. И. Павлов давал его для отзыва профессору физики Ленинградского университета Ю. П. Крутову. Однако, как рассказывал мне В. И. Павлов, ответ был настолько неопределенным, что И. П. Павлов вынужден был обратиться к академику Н. Н. Лузину.

Чезадошло до своей поездки в Ленинград я устроил у себя на квартире нечто вроде репетиции доклада, который я предполагал сделать академику И. П. Павлову. Я пригласил к себе человек десять своих друзей, которым и изложил основные мысли своего будущего сообщения. Они реагировали различно. Я видел это как по их лицам во время моего изложения, так и по их непосредственным высказываниям. Одни горячо поддерживали основную мысль моей работы, подчеркивая ее новизну, другие были настроены скептически и указывали на возможность критики защищаемых мною положений с методологической (философской) стороны. Присутствовавший К. Л. Поляков сказал:

— Если академик И. П. Павлов согласится ставить опыты по разработанной Вами схеме, я подарю Вам все книжки стихов из моей библиотеки.

К. Л. Поляков был большим любителем стихов, он очень дорожил сборниками, собранными в его библиотеке (среди них было много редких изданий), и потому его обещание, показывающее, как мало он верил в успешность моего начинания, еще более меня подзадоривало.

Вместе со мной в Ленинград решил ехать мой отец. «В последний раз посмотреть Питер», — как он говорил. В Ленинграде жил его брат, мой дядя, у которого мы должны были остановиться.

В пути я читал книгу профессора Ю. П. Фролова «Условные рефлексy как основа педагогики». Я уже указывал ранее на то, чем она мне импонировала.

В окне вагона мелькали знакомые дачные места. Отец слегка подтрунивал надо мной:

— А как ты представляешь себе наш приезд в Ленинград, Николаша? — говорил он. — Ты, конечно, мысленно рисуешь себе такую картину: подкатывает наш

поезд к ленинградскому перрону. Видим: к вагону уверенным шагом приближается безукоризненно одетый молодой человек западноевропейского вида в сопровождении важного швейцара... «Скажите, пожалуйста, в этом ли вагоне прибыл из Воронежа молодой ученый Николай Александрович Романов? Ах, это вы? Очень приятно... Иван, возьмите чемодан. Вот сюда, пожалуйста. Автомобиль ждет-с... Иван Петрович в нетерпении-с...» А на самом-то деле как бы события не развернулись следующим образом. Приезжаем мы в Ленинград. Ты звонишь по телефону на квартиру академику И. П. Павлову. Долго не отвечает. Наконец после ряда неудачных звонков тебе отвечает старческий, простуженный, хриплый голос: «Что угодно? Кто говорит?» Ты (с замираньем сердца, робая): «Это я... Романов... тот самый... из Воронежа... который письмо...» Павлов перебивает: «Какой Романов? Не знаю, не знаю... Что-то не помню». Наконец после долгих усилий тебе удается попасть на квартиру к академику И. П. Павлову. Ты долго ждешь в темной передней. Из соседней комнаты (кабинет Павлова) слышно, как кто-то недовольно кашляет и сморкается. Звонок. К Павлову проходит, не обращая на тебя никакого внимания, седобородый, важный, маститый академик. Это Н. Н. Лузин. Из-за плотно закрытых дверей до тебя доносится звон стаканов и чайных ложечек. Они пьют кофе. Неожиданно из кабинета Павлова выходит Н. Н. Лузин. Он держит в руках маленький листок бумаги. Обращаясь к тебе, он говорит: «Вот что, молодой человек... Мы там пока беседуем с Иваном Петровичем, а вы возьмите-ка вот этот интегралчик. Я его специально для вас приготовил. Нужно же ближе с вами познакомиться, узнать вашу подготовку». Передает тебе листок и уходит. Ты смотришь на листок и видишь сложнейший интеграл, каких ты никогда не видывал. Ты уныло начинаешь думать. А время-то идет и идет...

Так беззлобно подшучивая надо мной, сбросил меня отец то в жар, то в холод...

А поезд все шел и шел. Мы не задерживались в Москве — и вот уже в окне вагона типичный северный пейзаж: кочки, болота, убогие, кривые сосенки.

...Что меня поразило в Ленинграде — это ощущение простора, свободы, порядка. Перед нами как по линейке протянулся светлый Невский проспект, нацелившись прямо в Адмиралтейство... Мелькнули фигуры Аничкова моста, Зимний дворец,

Дворцовый мост, Фондовая биржа, Ростральные колонны... Вот и Петроградская сторона. Здесь, в самом начале ее, недалеко от моста, жил мой дядя, старый петербуржец. Аккуратный до педантичности, он был весьма образованным человеком, говорил на трех европейских языках. К нему мы и направились. Встретил он нас чрезвычайно радушно. Не откладывая, сейчас же по приезду, из соседней квартиры я позвонил Павлову. Кнопка Б 5-56-57... Я волновался и путал кнопки А и Б — старомодная особенность ленинградских телефонов. Я долго не мог дозвониться. Наконец мужской голос очень сухо и, как мне показалось, высокомерно ответил:

— Академика Павлова дома нет. — И все.

Несколько позже низкий женский голос, очевидно принадлежавший полной пожилой женщине, отвечал:

— Академик Павлов в Колтушах.

Я позвонил на следующий день. Старческий голос (у меня моментально запотело ухо, прижатое к телефонной трубке) быстро и деловито спросил:

— Что? Какой Романов?.. (У меня похолодело в сердце.) Да... да... знаю... Это все организует сын — Всеволод. Организационная сторона совещания лежит на нем. Он договаривался с академиком Лузиным. Вот в чем дело. Позвоните позднее.

И, не дав сказать мне ни слова в ответ, Павлов (это был он) повесил трубку. Деловито и коротко. Ничего лишнего, ничего приветливого. «Даже не спросил, как я доехал», — подумал я. Чувство разочарования шевелилось в сердце. Что-то похожее на второй папин вариант, думалось мне.

Вскоре я опять позвонил. Мягкий, приятно вибрирующий баритон протяжно-вопросительно произнес:

— Да-а-а-а?

— Говорит Романов, приехавший из Воронежа. Извините, что так часто звоню к вам...

Мягкий баритон, приятно вибрируя, интонация которого ясно стремилась показать, что в данном случае никаких затруднений не будет, что сейчас все будет разрешено и улажено к общему удовольствию и в дальнейшем пойдет как по маслу, успокаивающе произнес:

— Лично со мной вы разговариваете в первый раз. Обсуждение вашей работы назначено на послезавтра, на час дня, и будет происходить на квартире у академика Павлова. Будьте любезны, точно к этому времени приехать туда. На всякий слу-

чай напоминаю вам адрес: Васильевский остров, 7-я линия, д. 2, кв. 11. Академик Николай Николаевич Лузин обещал быть.

И тоже быстро (как отец) повесил трубку.

Я почти дословно выгучил свой доклад. И все же мне казалось, что не все еще в нем окончательно готово. Конспект доклада я написал на длинных узких листках — наподобие тех, на которых я составлял конспекты своих лекций в техникуме.

Накануне знаменательного дня вечером я отправился погулять по набережным Ленинграда. Был канун праздника Октябрьской революции. Набережные, площади, карнизы дворцов, шпиль Петропавловской крепости — все это было богато и с большим вкусом иллюминировано. На Неве у Фондовой биржи, у Тучкова моста стояли миноноски и подводные лодки Балтийского флота. Они тоже светились разноцветными огнями. Набережные были полны гуляющей публики. К небу взлетали разноцветные римские свечи, горели бенгальские огни. Резко и властно и вместе с тем как-то удивительно легко и свободно взмахивали в пустом пространстве длинные мечи прожекторов. Я заметил одну характерную особенность: когда ракета взлетала вверх, она оставляла за собой дымовой след — длинную параболическую дугу голубоватого оттенка. Прожекторы улавливали этот момент и после взлета ракеты делали ясно видимым этот дымовой, долго висящий в воздухе след. Ракет было много. Голубоватые параболические арки переплетались между собой в бездонной пропасти темного осеннего неба над большим праздничным городом, и все это хрупкое, легкое целое, весь этот ажурный дымовой свод, построенный из голубоватых арок, вызывал легкое чувство головокружения.

Мы прошли мимо университета и Академии художеств и дошли до 7-й линии. Здесь живет академик И. П. Павлов. Здесь я буду завтра. О чем он думает, что он делает сейчас, этот великий старик? Дом стоял важный, затихший, с темными окнами, каменный, прочный академический дом. Я почувствовал невольное уважение к нему. Всякий дом имеет свое «выражение лица». Самое древнее, самое крепкое человеческое воззрение — это анимизм. Быть может, ярче всего оно проявляет себя в нашем восприятии внешнего облика домов. Дом не просто стоит. Дом смотрит на окружающий его мир глазами своих окон. Этот дом казался мне крепким, бодрым стариком, много выдавшим на своем

веку, знающим себе цену и потому спокойно смотрящим на новую жизнь, хлопотливо снующую вокруг него...

Возвращался я по другому берегу Невы. Я очень устал. Как во сне видел я проплывавшие мимо громады Исаакия, знакомый с детства по картинкам гордый силуэт Медного всадника. Я вспомнил имя скульптора Фальконе и его ученицы Марии Гоцци, лепившей голову знаменитого всадника. Вот и Сенатская площадь. В сознании вспыхнули имена декабристов. Ленинград — Петербург, славный город, город Пушкина и Блока проходил мимо. Каждый камень здесь был священен...

На следующий день я проснулся бодрый и свежий. Сон подкрепил меня. Не было и следа вчерашней усталости. Я просмотрел свои конспекты. Стоял ясный, прохладный осенний день. Мысль работала отчетливо. До часу дня было еще далеко, и я вышел подышать свежим осенним воздухом Ленинграда.

Как я уже писал, что меня поразило в этом великоленном городе (и это чувство не покидало меня и тогда, когда я уже жил в нем) — это впечатление простора и свободы. Это ощущение голубого простора, высокого ясного неба, золотых шпилей, стремящихся куда-то ввысь, ощущение художественной законченности стройных архитектурных ансамблей, широких перспектив Невы и воздух. Воздух особый, ленинградский, необычайно чистый, говорящий сердцу о близости морского простора, воздух бодрый и свежий, насыщенный запахом смолы, идущим от скрученных канатов и корабельных бортов, воздух, пахнущий сладковатым запахом осинового дров, сложенных штабелями на баржах у набережных... Может быть, оттого, что район моих странствований по Ленинграду в этот приезд лежал главным образом вблизи Фондовой биржи, Тучкова моста, то есть в восточной части Васильевского острова, где расположены университетские кварталы, — не знаю — только это ощущение простора, высоты, синевы и свободы не покидало меня. Япил этот воздух полной грудью. Я мог сказать, что живу полной жизнью. Мне нравилось, проезжая через какой-нибудь мост в трамвае (Дворцовый или Троицкий), взглянуть в синеватую даль Невы, пометчать на мгновение о столь близких лесных озерах Финляндии, о скалистых фиордах Норвегии, где бродил с ружьем лейтенант Глан, о соленых просторах Балтики. Мне нравилось, глядя на круглые камни бульжной мостовой и Фондовой бир-

жи, представлять себе, что по этим самым камням (я гнал от себя мысль о том, что мостовая неоднократно ремонтировалась) проходят ноги в сапогах с ботфортами, ноги в белых чулках, туго натянутых на мускулистые, сильные икры, обутые в добротные, прочные туфли с блестящими пряжками. Мне казалось, что между такой мостовой из желтоватых круглых камней и ногами, обутыми именно таким образом, больше соответствия в стиле, нежели ногами, обутыми в современные ботинки, которым больше идет гладкий серый асфальт. (Замечу, что в 1935 году все эти места были асфальтированы.)

Золотые в вырезах завороты крыши на колокольне Петропавловской крепости чем-то напоминали мне шляпу Петра I. Ангел под крестом на колокольне то появлялся, то исчезал, и это — пока я не узнал, что он представляет собою флюгер и иногда поворачивается к нам в профиль, — приводило меня в недоумение. Я заметил, что статуи на крыше Зимнего дворца производят впечатление падающих: они чуть наклонены вперед, как будто всматриваются в то, что делается внизу.

Было около полудня. Пора было возвращаться домой. У дяди я попрощался со своими. На лицах их было написано заметное волнение.

— Прежде чем начать излагать свои мысли, не забудь спросить, каким временем ты располагаешь, а то не рассчитаешь доклада, — напутствовал меня отец.

Я приехал в трамвае. Мимо проходили кварталы Васильевского острова. Я мысленно повторил свой доклад.

— Следующая остановка — восьмая линия, — равнодушно произнесла кондукторша.

— Как восьмая? А седьмая? — воскликнул я.

— Седьмая только что была, — так же равнодушно и бесстрастно отвечала та.

Трамвай уже шел полным ходом. Мелькали дома, вывески, ворота. Я посмотрел на часы. Было без двенадцати минут час.

«Только, пожалуйста, точно», — прозвучал где-то в глубине сознания голос Всеволода Ивановича. В голове была только одна мысль: «Я опоздал! Все кончено. Все потеряно. Я опоздал на совещание, от которого, быть может, зависела бы вся моя судьба, вся моя дальнейшая жизнь!»

Не дожидаясь полной остановки вагона, я спрыгнул на ходу и, что называется, «дал скорость». Я выбежал на 7-ю линию, посмотрел на номер дома. Рядом со мной

был дом № 42. А мне нужен дом № 2! Это были все большие, высокие дома с широкими проездами, огромными фасадами.

Вот дома № 30, 28, 26... 16, 14, 12... 8, 6, 4... и, наконец, дом № 2! Я узнал его, моего вчерашнего знакомого. Это был большой трехэтажный серо-желтый дом, чем-то напоминавший мне Воронежский университет. Я поспешно взбежал по каменной, широкой лестнице казенного здания. Какой-то особый запах пустого камня, соединенный с прохладой и гулким резонансом моих шагов, охватил меня. Мне казалось, что можно было слышать на расстоянии, как стучит мое сердце. Я позвонил.

Мне открыл высокий плотный мужчина, с прямым пробором, с небольшими, часто прищуривавшимися глазами, с красиво очерченным носом с тонкой переносицей и горбинкой, открытым лбом и умным прямым взглядом. Я представился. Приветливо улыбаясь, Всеволод Иванович (это был он) как бы ненароком взглянул на часы. Было без пяти минут час. Что он хотел сказать этим своим намеренно-подчеркнутым движением? Что прийти на пять минут раньше назначенного времени согласно павловским правилам так же невежливо, как прийти на пять минут позже? Не знаю, только подчеркнутость этого жеста для меня была очевидна. В передней было полутемно. Направо была дверь, из-за которой доносился звон стаканов и ложечек. Они пили кофе. («Второй вариант», — подумал я.) Всеволод Иванович провел меня налево в большую залу и оставил меня одного.

Я сел на небольшую низкую мягкую козетку и осмотрелся. То, что окружало меня, было великолепно. Я не ожидал такой роскоши. Эта зала представляла собой нечто среднее между музеем и дворцом. Три широких окна выходили прямо на Неву, и через эти высокие прямоугольники в залу лился ровный, спокойный золотисто-голубоватый свет. Он отражался на крышке роля, играл светлыми зайчиками на позолоченных рамках множества картин, висевших яркими красочными пятнами на стенах, тонул в бархате мебели, в мягких красках толстых, пушистых ковров, в которых глубоко утопала нога... Картин было множество: не было ни одного свободного места на стенах... В глазах пестрило... В числе других картин я заметил и копию (как я узнал впоследствии, исполненную самим автором) «Трех богатырей» Васнецова. Столбы золотисто-голубоватого света косо стояли в пестрой роскошной зале и,

сочетаясь с моим душевным состоянием ожидания, отдавались в сердце какой-то торжественной напряженностью.

Сидеть на козетке было неудобно: она была слишком низка. Я просматривал свои конспекты. Но мысли разбегались и совсем не подходили к моменту: я жалел, что не успел постричься, а только побрился, думал о том, что сзади, на воротничок, вероятно, свисают досадные маленькие небрежные косички. Я решил изменить порядок своих листков и перебирал их, как вдруг откуда-то сбоку стремительно выскочил (я заимствую это выражение из воспоминаний художника М. В. Нестерова ввиду его удивительной меткости и правдивости), да, именно стремительно выскочил маленький, сухой, крепкий старик. В нем не было ни тени величавости, спокойствия и той торжественности, с какой мы привыкли сочетать наше представление о «великих мира сего». Это был крепкий, сухой, бодрый старик в сером английском костюме хорошего покроя. Мягкий белоснежный воротничок охватывал старческую шею. Он очень заметно хромал. Но и в хромоте его было что-то стремительное. Казалось, она не мешает ему идти, а наоборот, пользуясь ею, как бы отталкиваясь поврежденной ногой от почвы пола, старец набирает нужную скорость. От всей его фигуры веяло какой-то свежей бодростью. Казалось, он только что умылся или принял холодную ванну. Он стремительно опустился в кресло и перекинул ногу за ногу в крепких ботинках с толстыми подошвами, наподобие австрийских. На руке его я успел разглядеть большую розовую блестящую шишку. Несколько секунд прошло в молчании. Мы сидели и смотрели друг на друга. Павлов первый нарушил молчание.

— В Воронеж университет, кажется, из Юрьева перевели? — спросил он.

Я понял, что это рекогносцировочный вопрос, что это вопрос так, «между прочим», что Павлов хочет немножко изучить меня.

— Да, из Юрьева, — отвечал я.

Снова наступило непродолжительное молчание.

— А вы знаете, я ведь еще немножко теорией вероятностей занимаюсь, — с добродушным смехом сказал Павлов. — По воскресеньям вошло у меня в привычку раскладывать карточные пасьянсы. Ну вот, когда пасьянс не выходит — по вашей теории вероятностей, — тут и смощенничает немножко... — Павлов снова добродушно рассмеялся.

Куда девалась вся европейская холодная подтянутость и сдержанность! Это был простой, добрый, русский старик, с доброй улыбкой милого старого дедушки. Почему-то вспомнилась пасака, мой собственный дедушка, отдаленное детство.

— Вот такая штука, — сказал Павлов, немного помолчав.

Но тут я не выдержал. Разговор о Воронежском университете и карточных пасьянсах явно не устраивал меня. Я вспомнил о цели, ради которой я приехал из Воронежа. Я вспомнил, что время дорого, что секунды летят. Я вспомнил наставления папы. И без всякого перехода, быть может, несколько резко и порывисто, слишком поспешно, опережая события, я спросил Павлова:

— А каково ваше мнение о возможности математической обработки учения об условных рефлексах?

— По-моему, это преждевременно, — коротко ответил он.

«Так зачем же вы меня вызывали?!» — чуть не вырвалось у меня. Но я не успел ничего сказать: в залу поспешной, уверенной поступью вошел Всеволод Иванович. В комнате распространился легкий запах одеколона. Я мог лучше рассмотреть Всеволода Ивановича. Это был высокий плотный мужчина с аккуратным английским пробором, с прямым умным взглядом небольших серых глаз. От всей его фигуры веяло здоровьем, рассчитанной уверенностью в себе, в своих движениях. Но это был не только внешний облик этого человека. В нем чувствовались большая внутренняя сила, уверенность в собственных суждениях и поступках. Это был образчик человека с прекрасно организованной центральной нервной системой. В серых глазах его светилась воля.

В руках он держал какую-то рукопись. В ней мне почудилось что-то знакомое. Я узнал свое письмо, которое послал Павлову в 1929 году.

И сейчас же в залу вошел четвертый участник нашего совещания — академик Николай Николаевич Лузин. Внешность его меня поразила. Нет, я решительно не таким представлял себе академиком! Снова не было в нем ни следа торжественности, важности, «маститости». Во внешности академика Лузина было что-то детское, что-то ребячески наивное. Было ли это в его непропорционально большой, как у детей, голове, в его очень выпуклом, круглом лбе с прилипшим к нему наивным завитком светлых волос — видимо, Н. Н. Лу-

зин торопился на совещание, — было ли это в его светло-голубых, детских наивных глазах, которые он иногда в увлечении беседой то чуть-чуть неестественно закатывал кверху, не знаю — только весь он походил на большого ребенка.

Все мы четверо сели в кружок, который образвала мебель. Под нашими ногами, на полу, посреди этой небольшой группы людей лежала дорогая шкура какого-то зверя вроде тигра. На нее я и положил длинные листки своих конспектов. Одна полоска с главными формулами, написанная синим и красным карандашом, выделялась ярко среди других. В наших позах, в нашей сосредоточенности, в склоненных фигурах над этими продолговатыми листками, лежащими на шкуре зверя, мне почудилось что-то древнее, что-то античное.

— Каким временем я располагаю? — спросил я, вспомнив папин совет.

— Ну, полчаса, — сказал Павлов.

— Мною можете располагать в течение какого угодно срока, неограниченно, — сказал Лузин.

— Мною тоже, — сказал Всеволод Иванович.

Я приготовился говорить.

— Одну минутку, — остановил меня Всеволод Иванович. — Отец, — обратился он к Павлову с какой-то торжественностью, — здесь присутствует Николай Николаевич — представитель совсем другой отрасли науки. Я думаю, будет нелишне, для пользы дела, если ты нам кратко изложишь основы своего учения.

Павлов согласился. Да, одно дело — изучать по книгам в отрывках между нудными уроками, где-то в далеком провинциальном Воронеже великое учение Павлова о поведении высших животных и человека, а другое дело — слышать его, воспринимая это учение, так сказать, «из первых рук», непосредственно слушать автора, когда он в сжатой, блестящей форме излагает квинтэссенцию своего учения — этот «плод своего неотступного думания». Я был свидетелем этого необычайного доклада.

— Приспособление организма к окружающей среде, уравнивание его со внешней средой осуществляется при помощи реакций двух типов, — сказал Павлов. — С одними из них, в их уже, так сказать, готовом виде, животное рождается, они не требуют специальной выработки. Это безусловные рефлексы. Другие — реакции второго типа, как мы их называли, — условные рефлексы, требуют для своего

возникновения специальных условий, особой выработки. Оба рода рефлексов существенно отличаются друг от друга, так же и по тем отделам нервной системы, в которых локализируются. Условные рефлексы как бы надстраиваются над безусловными. Если я сделаю такой опыт: действие индифферентного до того объекта будет сопровождать каждый раз подкармливание животного или вливание в рот его кислоты — этот индифферентный агент, например вспыхивание лампочки или звучание тона, приобретает условное действие, то есть применение одного только этого агента будет гнать слюну у собаки...

Павлов говорил выразительно, умеренно-быстро. По временам он помахивал рукой с блестящей розовой шишкой, быстро перебирая пальцами в воздухе и вращая всей кистью руки.

Закончил он тем, насколько точен и тонок условный рефлекс, — это приспособление организма к среде, приведя некоторые данные из последних опытов его сотрудников, иллюстрирующие эту мысль, Павлов окончил. Все посмотрели на меня. Я понял это молчаливое приглашение.

— Теория вероятностей, — начал я, — покоится на неясном, шатком фундаменте. Понятия «здравый смысл» (Лаплас) и «интуиция» (академик С. Н. Бернштейн), которые кладутся в ее основу, не могут считаться строго научными ввиду их неопределенности и расплывчатости. Нужно подвести под теорию вероятностей строгий научный фундамент. Можно представить себе такой опыт, при котором из числа воздействий условным агентом подкрепляются подкармливанием не все, а лишь некоторые (например, половина всех воздействий). Тогда, употребляя временно психологическую терминологию, мы могли бы сказать, что получение еды при каждом новом отдельном воздействии условным раздражителем на организм будет представляться для животного событием не достоверным и не невозможным, а лишь более или менее вероятным. Интересно выяснить, какая по величине будет в этом случае слюнная реакция у собаки. Эти опыты могут пролить свет на трудно определяемое понятие вероятности. С другой стороны, контакт двух наук — теории вероятностей и учения об условных рефлексах — должен в дальнейшем оказаться полезным и для физиологии высшей нервной деятельности, так как, по моему глубокому убеждению, должно быть внутреннее структурное сходство между

формулой вероятности и неизвестной пока формулой условного рефлекса.

Я окончил.

Сейчас же заговорил Н. Н. Лузин.

— Да, это очень нужно, очень своевременно. — Он говорил короткими фразами, закатывая свои голубые глаза к потолку. — Этот шаг необходим в науке. Он глубоко симптоматичен. Ведь до сих пор формула вероятности бралась математиком как некоторая принудительная данность. Этот прием, о котором мы только что слышали, может оказаться чрезвычайно плодотворным. Ибо формула вероятности должна покоиться не на сложных искусственных аксиомах, а на чем-то простом и естественном, таком же простом и естественном, как она сама. Это назрело.

Павлов молчал.

— А как ваше мнение? — спросил я у Павлова. — Какова будет по величине условная реакция на такой, лишь иногда подкрепленный условный раздражитель (например, из всех воздействий которого на акт подкрепляется лишь половина)?

Павлов на секунду задумался.

— Ну что ж, она и будет равна половине максимальной реакции, — сказал он.

— Но ведь это ему как раз и нужно! — указывая на меня каким-то широким жестом, радостно-торжественно воскликнул Всеволод Иванович.

Наступила пауза. Все ждали, что скажет Павлов.

— Ну что ж, присылайте свои задания, — быстро сказал он. — Я скажу кому-нибудь из своих сотрудников, чтоб были поставлены интересующие вас эксперименты. — И, подумав, добавил: — Вот какая штука!

— Всю организационную сторону вопроса я беру на себя. Деловой контакт вы будете поддерживать со мной, — добавил Всеволод Иванович.

Я посмотрел на часы. Было четверть третьего. Наше совещание длилось более часа. Пора было уходить.

— Можно ли мне завтра прийти в Физиологический институт? — спросил я Павлова.

— Как завтра? — быстро и строго возразил он. — Завтра воскресенье. Наши лаборатории будут закрыты.

Решено было, что в Физиологический институт Академии наук я приду вместе с моим отцом послезавтра, в понедельник, в двенадцать часов дня. Мы вышли в переднюю. Павлов и его сын какими-то удивительно сходными поспешными движениями бросились помогать надевать пальто

мне и Лузину. Это смутило меня до чрезвычайности.

Осенний день своей бездонной синевой опрокинулся над великим стройным городом. Мы шли по набережной мимо египетских сфинксов у Академии художеств. Были видны мачты парусника.

— Как мне пройти на Петроградскую сторону? — спросил я у Лузина.

— Идите прямо, прямо по набережной и затем свернете налево, голубчик, — ласково сказал он.

Через день около двенадцати часов дня отец и я отправились в Физиологический институт Академии наук (Тучкова набережная, 12). Нас встретил Всеволод Иванович Павлов и один сотрудник, Илландор Руфинович Протасов. Отец прошел в кабинет Павлова. О чем говорили два старика, во многом сходные между собою по образованию, характеру, возрасту, эпохе, в которой они оба воспитывались, для меня навсегда осталось тайной.

Всеволод Иванович знакомил меня с сотрудниками лаборатории. Он представил меня всем как «математизатора условных рефлексов».

— Отец или Николай Николаевич Лузин скоро возбудят ходатайство о переводе вас в Ленинград или Москву, — сказал он. — Отец был очень удивлен, как можно было только по книгам так усвоить учение об условных рефлексах. Конечно, это только начало. Окончательную свою оценку ваша работа получит, когда она будет напечатана и пройдет через много голов!

В этот же день в институте произошел случай, который несколько омрачил мое приподнятое настроение, но который имел для меня громадное воспитательное значение на будущее время.

Павлов, выйдя из своего кабинета, объяснял группе сотрудников, позади кото-

рых стоял я, столпившихся у одной из экспериментальных установок, где на станке стояла в ременных лямках экспериментальная собака, так называемый «закон силы».

— И вот что интересно, — говорил Павлов, — если мы возьмем условный раздражитель более сильный, то есть возьмем лампочку не в десять, а в пятьдесят свечей, то и условный эффект, вызываемый таким более сильным раздражителем, будет больше, то есть у собаки при действии лампочки в пятьдесят свечей выделится, допустим, не пятнадцать, как ранее, а тридцать-сорок капель слюны...

Я стоял позади внимательно слушающей группы сотрудников.

— Конечно, — тихо сказал я.

Павлов весь преобразился. Его спокойная, равномерная интонация, с которой он излагал этот давно установленный им научный факт, исчезла. Густые, косматые, нависшие брови нервно задвигались.

— Ну, положим, не «конечно»! — громким голосом воскликнул он.

Я понял, что здесь, в этом институте, нельзя небрежничать с мыслью. Я понял, что здесь царствует постоянная напряженность слова и дела, что тут нужно быть постоянно начеку. Не все здесь так гладко и просто. Если академик Павлов, шеф института, дает себе труд в течение нескольких минут что-то объяснять другим, то это не может быть самоочевидным для какого-то новичка, приехавшего из далекой провинции. Каждое слово здесь строго учитывается и взвешивается.

Я проклинал себя за неосторожно, невольно вырвавшееся слово.

Но все же Павлов согласился ставить опыты по моей схеме, мысленно утешал я себя.

Мы возвращались в Воронеж. Собранные К. Л. Поляковым сборники стихов были выиграны.

Н. К. Рерих

Листы
дневника

«Накрывайся платами разных народов, но пей из одной чаши» — этот восточный афоризм любил повторять известный русский художник и ученый Николай Константинович Рерих.

Двадцать лет назад в Кулу, среди величественных вершин Гималайских гор, растаял в голубом небе дым погребального костра. На его месте был водружен камень с надписью: «13 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир».

Биографов Рериха больше всего поражают его необычайная многосторонность, феноменальные знания во многих областях науки, неиссякаемая творческая энергия. Из какого источника черпал Рерих свои силы и неутомимость? Этот вопрос задавали многие, но безошибочно ответить на него мог, конечно, только он сам. Ответ художника мы находим в его «Листах дневника».

«Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша — полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждет... И не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творится, о Родине, о ее счастье, о ее преуспевании всенародном. Через все и поверх всего найдем строительные мысли, которые не в человеческих сроках, не в самости, но в истинном самосознании скажут миру: мы знаем нашу Родину, мы служим ей и положим силы наши оборонить ее на всех ее путях» («Чаша неотпитая»).

Нерасплесканной чашей пронес художник свою любовь к Родине, и именно эта чаша, зачастую прикрытая от посторонних глаз узорчатыми тканями иноземных платов, служила ему источником творческих сил.

Николай Константинович Рерих родился в 1874 году в Петербурге. Там же в 1897 году он окончил Академию художеств. Признание и известность большого самобытного художника пришли к нему очень скоро. Но Рерих не ограничивал свою деятельность только сферой искусства. Он принимает активное участие в культурно-просветительной жизни России, возглавляет Школу общества поощрения художеств, в 1917 году вместе с Горьким участвует в работе Комиссии по вопросам искусства при Петроградском Совете.

Н. К. Рерих. Кулу, 1933 г.





Кулу. Вид из мастерской
Н. К. Рериха.

Еще до первой мировой войны Рерих разработывает план научно-исследовательской экспедиции в Индию. После окончания войны он приступает к реализации этого плана. Выставки его картин в Европе и Америке приносят ему мировую известность. В США по его инициативе возникает несколько международных культурных организаций, способствовавших осуществлению давней мечты. В 1923 году Рерих с семьей выезжает в Индию. В последующие несколько лет он осуществляет экспедицию по малоисследованным землям Азии, его маршрут захватывает и советский Алтай. В 1926 году Рерих с женой и старшим сыном посещают Москву. Закончив в 1928 году экспедицию в Индии, Рерих организует в Западных Гималаях институт по изучению Азии. С этих пор Кулу становится его постоянным местопребыванием. Возглавляемый им институт сотрудничает в различных областях науки со многими странами, в том числе и с Советским Союзом.

Николай Константинович и его сыновья внимательно следили за советской литературой. Но путь для русской книги непосредственно из СССР в колониальную Индию был крепко заказан. Советские издания Рерих получал через Таллинское представительство «Международной книги», где тогда я работал. На этой почве у меня возникла переписка с Н. К. Рерихом.

Литературная деятельность Н. К. Рериха началась очень рано: еще в 1890 году он напечатал в одном из журналов «Дневники охотника». В 1914 году в Москве вышел первый том его собрания сочинений. Последующие книги выходили за границей. Как правило, Николай Константинович писал на русском языке, а публикации на иностранных языках являлись авторизованными переводами с русского. Публикуя свои произведения за рубежом, Рерих сталкивался со многими препятствиями. Около трети его книги «Алтай — Гималаи», изданной в Англии и США, подверглось сокращению (преимущественно за счет описания советского Алтая). В 1934 году реакционные круги русской эмиграции добились у харбинской цензуры запрещения выхода книги Рериха «Священный дозор». Многие свои мысли Рерих не имел возможности передать гласности, они записывались и откладывались до лучших времен.

«Посылаю Вам не для печати один из последних моих листов дневника, — писал, например, Н. К. Рерих автору этих строк 15 мая 1939 года. — В некотором предвидении захотелось отметить, как много вредят друг другу люди, болтая без всякого разбора все, что придет в голову. Прав был народ, когда сложил пословицу: прост как дрозд — нагадил в шапку и зла не помнит. А из такой простоты вырастает препротивный чертополох».

Заветною мыслью Рериха было — все плоды своей художественной и научной деятельности лично передать Родине. В сборах на Родину в 1947 году и оборвалась его жизнь.

В 1957 году в Советский Союз переехал старший сын художника, известный ученый-востоковед Юрий Николаевич Рерих. По завещанию отца он передал в государственный



Н. К. Рерих и Ю. Н. Рерих
в экспедиции. Монголия, 1935 г.

фонд свыше трехсот картин. Через три года Советский Союз с выставкой своих картин посетил второй сын художника и сам замечательный художник — Святослав Николаевич Рерих. После смерти старшего брата он передал Институту народов Азии Академии наук СССР его библиотеку, на базе которой теперь организован Кабинет имени Ю. Н. Рериха.

Так чаша служения своему народу, обошедшая с Рерихом многие страны, следуя его воле, вернулась на Родину.

Николай Константинович не вел дневников в собственном смысле этого слова. Личные воспоминания и путевые впечатления, размышления по вопросам искусства, науки, общественной жизни он писал в форме кратких очерков, которые после 1934 года группировал в три подборки «Листов дневника». Из 973 очерков, входящих в эти подборки, около 700 никогда не публиковались. Полный комплект «Листов дневника» хранится у Святослава Николаевича в Индии. Но много очерков привез с собой в Москву Юрий Николаевич, сейчас они находятся в распоряжении члена семьи Рерихов — Иранды Михайловны Богдановой.

Ниже печатаются девятнадцать очерков, хранящихся в архивах И. М. Богдановой и автора предисловия. Только три из них были опубликованы ранее («Знаки жизни» в газете «Рассвет», Чинаго, 1935; «Мои встречи...» — в газете «Сегодня», Рига, 1937; «Русская слава» — в альманахе «Литературные записки», Рига, 1940), все остальные печатаются впервые. Публикуемые материалы раскрывают неизвестные страницы жизни художника, рассказывают о его глубоком патриотизме и гуманистическом строе мыслей.

Предисловие и публикация П. Ф. Белинова
(Косе-Ууемйиза, Эстонская ССР)

Знаки жизни

Вблизи нашего поместья была мыза, еще в екатерининские времена принадлежавшая какому-то индусскому радже. Ни имени его, ни обстоятельство его приезда и жизни история не донесла. Но еще в недавнее время оставались следы особого парка, в характере могульских садов, и местная память упоминала об этом необычном иностранном госте. Может быть, в этом соседстве кроется и причина самого странного названия нашего поместья — Ишвара, или, как его произносили, Исвара¹. Первый обративший внимание на это характерное индусское слово был Рабиндранат Тагор, с изумлением спросивший меня об этом в Лондоне в 1920 году. Сколько незапамятных и, может быть, многозначительных исторических подробностей заключало в себе время Екатерины, со всеми необыкновенными иноземными гостями, стекавшимися отовсюду.

Помню, в приладожских местностях, среди непроходимых летом болот, один наш

приятель, архитектор, нашел признаки давно покинутой, екатерининских времен, усадьбы с еще обозначавшимся огромным парком и заросшими угодьями. Среди соседних сел сохранилось лишь смутное предание о том, что здесь жила одна из фрейлин Екатерины, приезжавшая в отрезанную усадьбу еще по зимнему пути и остававшаяся безвыездно до осенних заморозков. В самом построении такой необычайной, труднодоступной усадьбы уже заключалось что-то необыкновенное. Но даже на таком сравнительно коротком протяжении времени народная память уже ничего не сохранила.

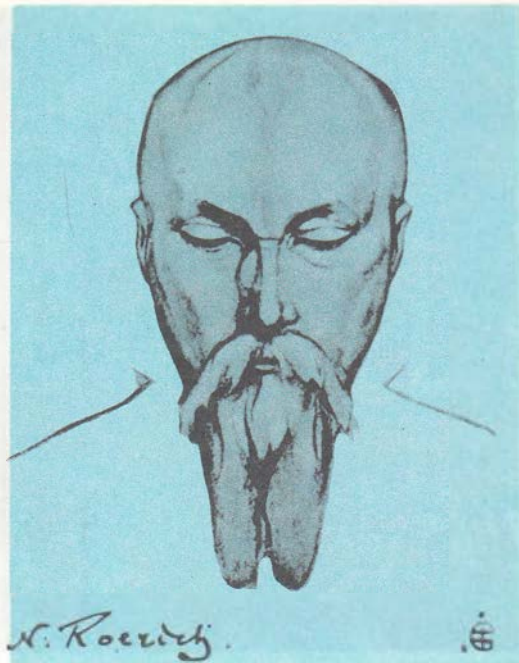
Мы должны не сетовать на приблизительность суждений о давних исторических событиях, когда в течение столетия уже совершенно изглаживаются, может быть, очень замечательные подробности быта.

Помню, как однажды на Неве, в местности так называемой Островки, было случайно открыто петровских времен кладбище. Среди могил оказалась гробница какого-то сановника первого класса, судя по вышитым на остатках камзола регалиям. Значит, место должно было быть довольно известным и само лицо первого класса — историческим. Но никто не помнил ни об этом сановнике, ни даже о самом случайно открытом кладбище.

Также помню, как однажды в Александровской лавре, под храмом, пропала именитая могила Разумовского. На его месте почему-то поместился совсем другой генерал, и только на старинном плане могил собора еще значился первый населенник этого исторического места упокоения. Значит, ни знатность, ни внимание потомков все же не уберегли исторический памятник.

Вспоминаю это к тому, что, по пушкинскому выражению, люди так часто «ленивы и нелюбопытны». Мало того, они часто любят глумиться над археологией и вообще над историческими науками, обзывая все это ненужным хламом и пережитками.

Среди такого невежественно-презрительного отношения ко всему бывшему не замечается светлой устремленности к будущему. Если бы кто-то сказал, что ему некогда думать о прошлом, ибо все его сознание устремлено лишь в будущее, тогда можно бы пожалеть об его ограниченности, но все же понять эту устремленность. Но когда люди по лености и нелюбопытству даже о ближайшем прошлом забывают,



а в то же время по убожеству и косности не позволяют себе даже помыслить о будущем, тогда получается какое-то неживое состояние организма, ибо организм лишь пищеварительных функций не может быть существом человеческим.

Вы можете с прискорбием наблюдать, как люди упорно отказывают себе в познании, до сих пор считая, что многое прочтенное ими или совершилось бы, или отвратило бы их от чего-то. Даже теперь приходится видеть якобы образованных людей, которые, не стыдясь, уверяют, что грамота приносит лишь несчастье народу, и некоторые присутствующие втайне сочувствуют такому убожеству. В таком случае действительно знание обращалось в суеверие и предрассудки замещали разумные познания. Не будем думать, что эти мысли относятся лишь к прошедшим временам. Мы видим и сейчас во множестве случаев потрясающую умственную неподвижность и затхлость. В просвещенных городах Европы приходилось узнавать о людях, никогда в течение жизни своей не выходивших за пределы своего родного города и с гордостью признававшихся в такой неподвижности. Мало того, бывали случаи, когда люди во всю жизнь не пере-

Н. К. Рерих. Рис. Святослава Рериха, 1923 г.

Н. К. Рерих и Дж. Неру. Кулу, 1942 г.



ходили моста в своем городе и считали это как бы семейной традицией. И в то же время из далеких пустынь Азии выходили многозначительные вести о том, что путешествие признавалось необходимой частью образования. Казалось бы, все хорошие традиции должны были бы лишь эволюционно развиваться, но на деле часто выходит иначе, и какие-то темные ограниченности продолжают торчать, как изъеденные кочки среди светлого потока.

Все как в великом, так и в малом... Кто пренебрегает наблюдательностью за окружающим, тот не взвесит и воли исторической последовательности.

Когда говорится о том, что от самых первых школьных дней в учащихся должна быть развиваема и глубокая наблюдательность, и внимательная заботливость, и бережность, — это не будет педагогической скукою, но, наоборот, лишь естественным и живым подготовлением к бодрой, настоящей жизни.

Также и в домостроительстве, в чистоте и культурности всех взаимоотношений основой будет не условие благосостояния или богатства, но именно утонченность сознания, которая породит чистоту, привле-

кательность и созидательное доброжелательство.

Нельзя безнаказанно уничтожать. В естественной эволюции одни формы перерастут предыдущие. Но такое улучшение форм не имеет ничего общего с тлением разрушения. Когда мы твердим о внесении в жизнь взаимоуважения, познания, охранения всего прекрасного, — это не касается только прошлого как такового. В каждой бережности к творческому сокровищу уже заключается преддверие к будущему. Потому всякое живое изучение процессов жизни и творчества никогда не будет отвлеченным, но именно будет жить во всей своей способности нового творчества и созидания.

В изучении созидательства заключено и понимание реальности. Инстинктивно люди встают против отвлеченного, абстрактного, противопологая его всему живому и существенно нужному. В конце концов всякая абстрактность есть только символ нежизненности. Великая реальность всего сущего, во всех своих многообразных проявлениях, противопоставляет себя так называемой отвлеченности. Всякое живое изучение будет уже привлеченностью, а не отвлеченностью. Живой молодой ум не ув-



лечется чем-либо абстрактным, предпочитая ему жизненное. В этом будет совершенно естественная потребность и устремление ко всему прекрасно жизненному.

Потому, когда зовем изучать прошлое, будем это делать лишь ради будущего. Потому-то, когда указываем бережь культурные сокровища, будем это делать не ради старости, но ради молодости. Когда упоминаем о взаимоуважении, о бережности и об осмотрительности, будем иметь в виду именно качество истинного строителя. Среди этих качеств строитель запасет и трудолюбие, и дружелюбие, и мужество.

1934 г.

Туман

Сколько людей приезжает полюбоваться величественным видом Гималаев, неделями живут в Дарджилинге². Нередко за все время видят перед собой лишь серый, беспросветный туман и уезжают в полном разочаровании. Местные снимки с гор их не только не удовлетворяют, но, вероятно, им кажутся какими-то поддельными. Ведь они сами не видели горного величия. Они остаются в пределах очевидности. А случайная очевидность им уделила лишь се-

рый туман. Трудно людям отделить очевидность от действительности. Серый подавляющий туман так часто скрывает прекрасную действительность. И не образовано воображение. Коротки мысли для того, чтобы огненно представить себе скрытое туманом.

«Но неизвестно будущее, и стоит оно перед человеком подобно осеннему туману, поднимающемуся из болот: безумно летают в нем вверх и вниз, черная крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей гибели...»

Сколько непоправимых горестей соделано в тумане. Сколько непоправимого происходит в туманах гнева, раздражения, смятения и страха. Все туманы разноцветные, но всегда отягощенные серыми и альбами насыщениями. И черные туманы бывают. В Лондоне при черных туманах люди не могут найти даже свой собственный дом. Блуждают беспомощно, выходят из себя, теряют терпение. Только подумайте, если зримый туман может называться черным туманом, то сколько этой чернейшей тьмы обуревают, искажает сознание человеческое.



Н. К. Рерих у своей
мастерской в Кулу.

Н. К. Рерих с сыновьями
Кулу, 1933 г.

Газета рассказывает следующий «роковой случай»: «Несколько дней тому назад в Харбине в Модягой произошла потрясающая трагедия, повлекшая за собой смерть 8-летнего мальчика. Знакомые подарили мальчику щенка. Мальчик кормил собачку из своих рук, играл с ней целыми днями и даже брал ее с собой спать в свою кровать. Между ребенком и собакой установилась самая нежная дружба.

Отец по утрам открывал клетку с канарейкой и выпускал ее летать по комнатам. Щенок подкараулил канарейку, ударил ее лапой и придушил. Отец схватил щенка за задние лапы и на глазах своего сына ударил щенка головой об стену и убил его. Ребенок был страшно потрясен этой картиной жестокой расправы отца со своим любимцем. Спустя несколько времени мальчик стал жаловаться на сильную головную боль, указывая, что, очевидно, так же болела голова у его щенка, когда отец бивал его, ударив о стену.

На следующий день у ребенка поднялась температура. Вызвали врача, который высказал подозрение на нервную горячку и потребовал, чтобы родители перевезли ребенка в больницу. На третий день болезни врачи, по характерным признакам

западания головы назад, определили у мальчика заболевание менингитом. Причиной заболевания, возможно, послужило то потрясение, которое ребенок пережил, наблюдая картину убийства отцом его любимой собачки. На пятый день мальчик умер. Его смерть явилась большим ударом для родителей.

Отец и мать переживают сейчас большую трагедию. Мало того, что оба убиты свалившимися на них горем, между ними происходят ежеминутные ссоры. Мать умершего мальчика упрекает мужа, называя его виновником гибели ребенка. Отец посетил несколько врачей и справился у них, может ли случиться заболевание менингитом от такого потрясения, какое пережил мальчик. Врачи ответили утвердительно».

Действительно, страшная драма, непоправимая, порожденная уродливым бытом. А сколько таких драм и ужасов происходит, не попадая на газетные листы! В молчании и неизвестности эти ужасы остаются неявленными и не предупреждают многих уже готовых к совершению страшного дела. Страшные дела бывают разные. Топором рубят головы, удушают, и не однажды, а трижды... Мало ли какие ужас-

ные изобретения существовали, а может быть, и еще существуют.

Но еще гораздо больше страшных дел творится и без топоров и без шнурков удушителей. В тесном быту, при закрытых дверях и окнах, калечатся жизни. Какие-то люди берут на себя ответственность за извращение чужой жизни. Иногда, подобно средневековой инквизиции, они думают исправительствовать, но чаще всего действуют просто в тумане, в алом и черном тумане. В таком тумане, в котором они уже не распознают своего собственного очага, в котором они готовы разрушить ими же сложенный дом, лишь бы произвести акт безумия. Конечно, это, несомненно, безумные действия. Но оттого, что они безумные, на земле не легче.

Вы представляете себе сверлящую мысль умирающего мальчика о том, что его собачке было так же больно, когда ее убивал его отец. В этом «так же точно» выражено очень многое. Наверное, когда мальчик говорил это, то никто толком и не обращал внимания на тяжкий смысл сказанного, а вот теперь, когда он умер, тогда и его слова запечатлеваются и, конечно, над ними думают.

Как-то пришлось спросить: почему именно так долго оставались непризнанными некоторые замечательные сочинения? На это отвечали: «Не менее пятидесяти лет от смерти автора должно пройти, чтобы люди уверились». Когда одного филолога вели на костер, он сказал окружающим: «Мысль нуждается в огненной печати». Великая скорбь в этих словах. Ведь сказавший это имел в виду не predetermined процесс светлой мысли, но искаленную, извращенную мысль, для которой осознание придет лишь после непоправимого.

Они, отемненные черным туманом, неужели никогда не помыслили о всем глубоком значении слова НЕПОПРАВИМОЕ? Ведь самый первый урок сочувствия, самоотвержения и терпения уже избавил бы этих готовящихся преступников от совершения злого дела. Конечно, судебные защитники будут говорить о большой разнице сознательного и бессознательного содержания. В обстановке суда слово БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ звучит, но когда вы подумаете над ним — оно распадается на множество делений со значениями и последствиями весьма разнообразными.

Если данный злой поступок был бессознательный, то посмотрим, откуда произошло это несознательное жите. Конечно, мы

увидим много и алого и черного самопорожденного тумана. Оправдываться условиями среды, трудностями быта принято и в конце концов делается легким и избитым. Зачем складывать вину на какую-то среду, из которой человек и не пытался уйти? Не лучше ли поискать ближе... в самом себе?

Быт всегда труден. Лишь по незнанию люди думают, что кому-то легко, а только не им. Часто там имеются те трудности, о которых эти люди и вообще не думали. Трудно прежде. А чтобы увидеть эти трудности, прежде всего нужно освободиться от тумана. Ведь туманы происходят от земных испарений. Каждый душевный туман будет от земного, от телесного. Если это твердо запомнить, то при первом же слове этого тумана еще можно одуматься, еще можно сообразить, насколько постыдно это погружение в рудиментарный хаос.

И опять-таки для соображений о земных туманах не нужно ждать каких-то войн, смячений, преступлений кричащих. В тиши быта, при закрытых дверях и окнах рождаются черный и красный туманы. Там совершаются непоправимые накопления.

На море и на улицах при тумане зажигают двойные огни; указывают опасность сиренами и гудками. Вот и гибельная опасность душевного тумана должна быть предупреждаема какими-то голосами, и внешними и внутренними.

Зазвучи, сердце!

1935 г.

Мои встречи с Куинджи, Пурвитом, Богаевским, Рыловым и другими славными художниками

(Из воспоминаний)

«...Мощный Куинджи³ был не только великим художником, но также был и великим Учителем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединенна, и только ближайшие его ученики знали глубины души его. Ровно в полдень он восходил на крышу дома своего, и, как только загремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей своих: голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: «Подойди ближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя». Незабываемо было зрелище этого седого, улыбающегося человека, по-

крытого щебечущими птичками, — оно останется среди самых дорогих воспоминаний. Перед нами было одно из чудес природы, мы свидетельствовали, как малые птички сидели рядом с воронами и те не вредили меньшим собратьям.

Одна из обычных радостей Куинджи была — помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло благодеяние. Неповторима была вся жизнь его. Простой крымский пастушок, он сделался одним из самых прославленных русских художников, исключительно благодаря своему дарованию. И та самая улыбка, питавшая птиц, сделала его и владельцем трех больших домов. Излишне говорить, что, конечно, все свое богатство он завещал народу на художественные цели».

Так вспоминалось в записном листе «Любовь непобедимая». А в «Твердыне пламенной» сказалось:

«Хоть в тюрьму посади, а все же художник художником станет», — говаривал мой учитель Куинджи. Но зато он же восклицал: «Если вас под стеклянным колпаком держать нужно, то и пропадайте скорей. Жизнь в недотрогах не нуждается». Он-то понимал значение жизненной битвы, борьбы Света со тьмою.

Пришел к Куинджи с этюдами служаций; художник похвалил его работы, но пришедший стал жаловаться:

— Семья, служба мешают искусству.
— Сколько вы часов на службе? — спрашивает художник.

— От десяти утра до пяти вечера.
— А что вы делаете от четырех до десяти?

— То есть как от четырех?
— Именно от четырех утра?
— Но я сплю.
— Значит, вы проспите всю жизнь. Когда я служил ретушером в фотографии, работа продолжалась от десяти до шести, но зато все утро от четырех до девяти было в моем распоряжении. А чтобы стать художником, довольно и четырех часов каждый день.

Так сказал маститый мастер Куинджи, который, начав от подпасака стада, трудом и развитием таланта занял почетное место в искусстве России. Не суровость, но знание жизни давало в нем ответы, полные сознания своей ответственности, полные осознания труда и творчества.

Главное — избегать всего отвлеченного. Ведь, в сущности, оно и не существует, так же как и нет пустоты. Каждое воспоминание о Куинджи, о его учитель-

стве как в искусстве живописи, так и в искусстве жизни вызывает незабываемые подробности. Как нужны эти вехи опытности, когда они свидетельствуют об испытанном мужестве и реальном созидательстве.

Помню, как после окончания Академии художеств Общество поощрения художеств пригласило меня помощником редактора журнала. Мои товарищи возмущались возможностью такого совмещения и прочили конец искусству. Но Куинджи твердо указал принять назначение, говоря: «Занятый человек все успеет, зрячий все увидит, а слепому все равно картин не писать».

Сорок лет прошло с тех пор, как ученики Куинджи разлетелись из мастерской его в Академии художеств, но у каждого из нас живет все та же горячая любовь к Учителю жизни. В каждой статье об искусстве приходят на память всегда свежие заветы Учителя, уже более четверти века ушедшего от земли. Еще в бытность нашу в академии Щербов изобразил в карикатуре нашу мастерскую; для обстановки Щербов взял мою картину «Сходьтис старцы»⁴, но карикатура лишь подчеркнула нашу общую любовь к Учителю. Когда же в 1896 году президент академии обвинил Куинджи в чрезмерном влиянии на учащихся и потребовал его ухода, то и все ученики Куинджи решили уйти вместе с учителем. И до самой кончины Архипа Ивановича все мы оставались с ним в крепкой любви, в сердечном взаимопонимании и содружестве.

И между собою ученики Куинджи остались в особых неразрывных отношениях. Учитель сумел не только вооружить к творчеству и жизненной борьбе, но и спаять в общем служении искусству и человечеству. Сам Куинджи знал всю тяготу борьбы за правду. Зависть сплетала о нем самые нелепые легенды. Доходило до того, что завистники шептали, что Куинджи вовсе не художник, а пастух, убивший в Крыму художника и завладевший его картинами. Вот до чего доползла змея клеветы. Темные люди не могли переварить славу Куинджи, когда статья о его «Украинской ночи» начиналась словами: «Куинджи — отныне это имя знаменито».

Писали о Куинджи и дружили с ним такие люди, как Тургенев, Менделеев, Достоевский, Суворин, Петрушевский... Одни эти имена уже обостряли язык клеветы... Но боец был Куинджи, не боялся выступать за учащихся, за молодых, а его суро-

вые, правдивые суждения в совете академии были грозными громами против всех несправедливостей. Своеобразный способ выражений, выразительная краткость и мощь голоса навсегда врезались в память слушателей его речи. В недавних газетах сообщалось, что в Русском музее отведен целый зал произведениям Куинджи. Народ помнит о своих ценностях.

Хранят нерушимо память об учителе и все разлетевшиеся ученики, укрепившие имена свои на страницах истории искусства.

Вильгельм Пурвит⁵ стал прославленным художником и главою Академии Латвии. Чуткий колорист, Пурвит, как никто, запечатлел весеннее пробуждение природы. Передал снега, облаканные солнцем, и первые листья берез, и звонкие ручьи... Недавно в газете «Сегодня» Пурвит говорил о красотах Латвии; читая его ласковые слова о родной природе, мы опять видели перед собою славного, углубленного Пурвита, точно и не было прошедших сорока лет.

Привет Пурвиту.

Фердинанд Рушиц⁶ стал корифеем польского искусства. Старый город Краков гордится им, и во многих странах знают его героические произведения. Именно героичность звучит в картинах Рушица и в пейзажах, и в старых городах, и в самых твердых уверенных красках утверждена сила художника. В 1903 году в Вильне последний раз встретились с Рушицом, но словно бы и не пробежали эти десятки лет.

Привет Рушицу.

Аркадий Рылов⁷ укрепил себя на одной из лучших страниц русского искусства. «Зеленый шум» Рылова обошел все художественные издания. Русские музеи хранят его картины, а многие ученики его сохраняют о нем сердечную память. Работали мы с Рыловым и после академии семнадцать лет в Обществе поощрения художеств. Как прекрасно вел он свои классы и как любили его ученики! Русскую природу он любит, и знает, и умеет передать эту несломимую любовь своим ученикам. Рылов — заслуженный деятель искусства — еще недавно, после смерти Горького, так прекрасно писал о памятнике великому писателю и о народном творчестве. Рылов умеет ценить народные сокровища. Уже шестнадцать лет не виделись мы, но как вчера вижу дорогого друга.

Привет Рылову.

Николай Химона⁸ подтвердил собою лучшие основы Греции. И с ним мы рабо-

тали в лучшем согласии шестнадцать лет. Он умел хранить заветы Учителя. В 1930 году в Лондоне была его посмертная выставка. Сильны и свежи были его пейзажи. Снега, реки, весенние холмы, а также и знаки дальней его родины Греции.

Привет Химоне.

Константин Вроблевский⁹ любил Карпаты, Украину. И с ним дружно работали мы в школе Общества поощрения художеств. Верный в слове, твердый в работе, Вроблевский был близким для учащихся.

Привет Вроблевскому.

Константин Богаевский¹⁰, певец Крыма, дал свой неповторенный стиль. Помнится статья Волошина о Богаевском. Незабываемы характерные скалы и старые башни Тавриды и совершенно особая схема колорита.

Привет Богаевскому.

И Латри¹¹ любил Крым. Элегия и величавость запечатлена в его картинах, в глубоком тоне и спокойе очертаний. Слышно было, что Латри был в Париже и увлекался прикладным искусством. Едино искусство и всюду должно внести красоту жизни.

Привет Латри.

Виктор Зарубин¹² дал любимые им Украину, Харьковщину, Межигорье с обозами, паломниками, с даями, полными его настроения. Странники по лицу земли уходят за холмы, блестят степные речки, залегли курганы, и шепчутся темные сосновые боры.

Привет Зарубину.

Не знаю, где Борисов¹³ — поэт Севера, баян льдов и полуночного солнца. Где Кандауров? Помнил его «Скифскую могилу» в Музее академии. Где Калмыков? Где Бровар? Педашенко? Курбатов? Воропонов? Но если бы встретились, то сорок лет минули бы незаметно. Ничто неприятное не может войти между учениками Куинджи¹⁴. Свежи заветы Учителя.

В Индии почтен учитель — Гуру. Приходилось много раз писать о Куинджи, и друзья-индусы сердечно понимали память об Учителе.

Привет всем друзьям, ученикам Куинджи. Немалый, но незаметный срок — сорок лет.

1936 г.

Жизнь

Нелегко описать жизнь, в ней было столько разнообразия. Некоторые даже называют это разнообразие противоречиями.

Конечно, они не знали, из каких импульсов и обстоятельств складывались многие виды труда. Назовем эти особенности жизни именно трудом. Ведь все происходило не для личного какого-то удовлетворения, но именно ради полезного труда и строительства. На наших глазах многих полезных деятелей обвиняли в эгоизме, ради которого они будто бы исключительно творили. Нам приходилось слышать такие обвинения и о Толстом, в отношении братьев Третьяковых, и о Куинджи, и о кн. Тенишевой, и о Терещенко, и о многих других, славивших забываемо полезное народное сокровище. Завистники шептали, что все эти поборники и собиратели действуют исключительно из самолюбия и ожидают каких-то высоких наградений. Когда мы говорили: «Но что, если вы клеветаете и доброе строительство происходит из побуждений гораздо более высоких и человеческих?», гомункулы усмехались и шептали: «Вы не знаете человеческой природы». Очевидно, они судили по себе, и ничего более достойного их мышление не могло вообразить.

Даже дневник очень трудно вести. Не было тихих времен. Каждый день происходило столько неожиданного, различного, что на близком расстоянии часто совершенно невозможно представить себе, что именно будет наиболее значительным и оставит по себе продолжительный след. Иногда как бы происходит нечто очень житейски существенное, а затем оно превращается в пустое место. Лучше всего обернуться на жизнь на расстоянии. Произойдет не только переоценка событий, но и настоящая оценка друзей и врагов. Приходилось писать: «друзей и врагов не считай» — это наблюдение с годами становилось все прочнее. Сколько так называемых врагов оказались в лучшем сотрудничестве и сколько так называемых друзей не только отвалились, но и впали во вредительство, в лживое бесстыдное злословие. А ведь люди особенно любят выслушивать таких «друзей». По людскому мирскому мнению, такие «друзья» должны знать нечто особенное. Именно о таких «друзьях» в свое время Куинджи говорил, когда ему передали о гнусной о нем клевете: «Странно, а ведь этому человеку я никогда добра не сделал». Какая эпика скорби сказывалась в этом суждении!

Но о радостях будем вспоминать, жизнь есть радость.

1937 г.

И так бывало

Михаил Петрович Боткин¹⁵ рассказывал о своей покупке у графа Строганова бюста, приписываемого Леонардо да Винчи. «Давно уже я примечал этот бюстик. Наконец попросил мажордома убрать его, иначе, мол, полотеры разобьют. Человек не глупый — убрал.

Прошли месяцы, а граф-то и не заметил. Спрашиваю его: «А где же бюстик?» А граф-то и забыл, говорит: «Здесь ничего и не было». Я говорю: «Нет, здесь стоял бюстик». Заспорили. Послали за мажордомом. Тот объяснил, что от полотеров на чердак спрятал. Вот я и говорю графу: «Все равно не сегодня так завтра разобьют. Лучше продайте мне». Граф говорит «А сколько даете?» Вот представьте себе мое положение: и вещь-то бесценная и денег-то жалко. Ну, зажмурился и говорю: «Пятьсот рублей». — «Пятьсот пятьдесят — и ваше». Так бюстик ко мне и переехал.

Был и такой рассказ: «Приходит к Боткину старушка с сассанидским блюдом. Тот дает два двугривенных, старушка хочет уйти: «Пойду к другому». — «Да к кому же пойдете?» — «Пойду к Ханенко»¹⁶. — «К которому?» — «Да к Богдан Иванычу». Боткин крестится на икону: «Опоздали — вчера скончался. Друг мне был». И блюдо куплено, а Ханенко здравствовал». Рассказывалось это со слов старушки, и Боткин хохотал: «Чего только люди не выдумают».

Про Делярова¹⁷ говорили, что он смывает спиртом подписи для удешевления. Два раза он пытался лишить нас двух хороших картин. Дал я антиквару Напсу прогладить Ван-де-Вильде¹⁸. Прихожу за картиной, ничего не сделано. Напс уверяет, что краска так поднялась, что все равно вся отвалится, и настойчиво предлагает купить картину. Другой раз то же произошло с Ван-де-Нером¹⁹. Напс показал мне нашу картину в самом ужасном виде — вся размыта, в пятнах, в белых налетах. Опять предлагает купить картину и извиняется за порчу. Я понял, что ужасный вид наведен умышленно, и настоятельно спросил Напса, для кого он устроил всю эту комедию. Напс был пьян и не выдержал: «Да все Павел Викторович пристает, чтобы я достал от вас эти картины».

Однажды антиквар Т. запросил несообразную цену. Я отказался. «Зачем деньгами, — говорит, — дайте какую-нибудь вашу картину», — и смотрит на свернутые

холсты в углу. «Да ведь это разрезанные картины — обрезки». — «Вот это мне и надо», — и выхватил фрагмент пейзажа. Теперь он в одном иностранном музее. И такое бывало.

1937 г.

Народ

С многолюдством народным мне пришлось встречаться во всей моей жизни. В Изваре всегда было многолюдно. Во время охоты довелось встречаться с народом во всех видах его быта. Затем раскопки дали народную дружбу. Поездки по многим древним городам создали встречи самые незабываемые. Потом в Школе [общества] [поощрения] [художеств] каждый год приходилось встречаться с тысячами учащихся, в большинстве с фабричными труженниками всяких областей. И эти встречи навсегда составили ценнейшие воспоминания, и душа народная осталась близкой сердцу. В последний раз мы соприкоснулись к русскому народу во время экспедиции 1926 года, когда ехали через Козеунь, через Покровское к Тополеву Мысу, а оттуда плыли по Иртышу и далее до Омска. И в Покровском, а затем на пароходе к нам приходили самые разнообразные спутники. Велика была их жажда знания. Иногда чуть ли не до самого рассвета молодежь, матросы, народные учителя сидели в наших каютах и толковали и хотели знать обо всем, что в мире делается. Такая жажда знания всегда является лучшим признаком живых задатков народа. Не думайте, что вопросы задаваемые были примитивны. Нет, люди хотели знать и при этом выказывали, насколько их мышление уже было поглощено самыми важными житейскими задачами. Народ русский испокон веков задавался вопросом о том, как надо жить. К этому мы имеем доказательства уже в самой древней литературе нашей. Странники всегда были желанными гостями. Хожалые люди не только находили радушный ночлег, но и должны были поделиться всеми накоплениями. Сколько трогательной народной устремленности можно было находить в таких встречах. Нередко при отъезде какой-то неожиданный совопросник, полный милой застенчивости, стремился проводить, чтобы еще раз, уже наедине, о чем-то допросить. Горький рассказывает, как иногда на свои вопросы он получал жестокие мертвенные отказы. Невозможно отказать там, где человек приходит, гора желанием

знать. В этом прекрасном желании спадает всякое огрубение, разрушаются нелепые условные средостения и соприкасаются дружно и радостно сущности человеческие. Как же не вспомнить Ефима, Якова, Михаила, Петра и всех прочих раскопанных и путевых друзей. Навсегда останутся в памяти нароходные совопросники, так глубоко трогавшие своими глубокими запросами. В столовую парохода входит мальчик лет десяти. «А не заругают войти!» — «Зачем заругают, садись, чайку выпьем». Оказывается, едут на новые места, и горит сердце о новой жизни, о лучшем будущем. Знать, знать, знать!

1938 г.

Русская слава

О русских изделиях сложились многие легенды. Мы слышали, что павловские ножи отправлялись в Англию, где получали тамошнее клеймо, чтобы вернуться на родину как английское производство. Мы слышали об «английских» сукнах из Нарвской и Лодзиской мануфактур. Слышали о вестфальской ветчине из Тамбова. Слышали о «голландских» сырах из русских сыроварен. Слышали, как некий аграрий потерял ключи от своего амбара, а затем, когда выписал лучшее зерно из Германии, то в мешке нашел свои потерянные ключи. Также слышали мы, как ташкентские фрукты должны были прикрываться иностранными названиями, чтобы найти сбыт на родине. Тщетно некоторые продавцы пытались уговорить покупателей, что русские продукты не только не хуже, но лучше иностранных, но русские люди по какой-то непонятной традиции все же тянулись к английскому, французскому, немецкому.

Когда мы говорили о российских сокровищах, то нам не верили и надменно улыбались, предлагая лучше отправиться в Версаль. Мы никогда не опорочивали иностранных достижений, ибо иначе мы впади бы в шовинизм. Но ради справедливости мы не уставали указывать на великое значение всех ценностей российских.

В неких историях искусства пристрастные писатели восставали против всех, кто вдохновлялся картинами из русской жизни. Потребовалось вмешательство самих иностранцев, преклонившихся перед русским искусством, перед русской музыкой и театром и признавших гений русского народа. Вспомним, какую Голгофу должны были пройти Мусоргский, Римский-Корсаков и вся славная кучка, прежде чем

опять-таки же иностранными устами они были высоко признаны. Мы все помним, как еще на нашем веку люди глумились над собирателями русских ценностей, над Стасовым, Погосковой, кн. Тенишевой²⁰ и всеми, кто уже тогда понимал, что со временем народ русский справедливо оценит свое природное достояние. Помню, как некий злой человек писал с насмешкою «о стульчаках по мотивам Чуди и Мери». Ведь тогда не только исконно русские мотивы, но даже и весь так теперь ценимый звериный стиль, которым сейчас восхищаются в находках скифских и луристанских, еще в недавнее время вызывал у некоторых снобов лишь пожимание плечей.

Теперь, конечно, многое изменилось. Версальские рапсоды уже не будут похвалить все русское. Русский народ оценил своих гениев и принялся приводить в должный вид останки старины. Новгород объявлен городом-музеем, а ведь в прошедшем это было бы совсем невозможно, ибо чудесный Ростовский кремль с храмами и палатами был назначен к продаже с торгов. Только самоотверженное вмешательство ростовских граждан спасло русский народ от неслыханного вандализма. Также было и в Смоленске, когда епархиальное начальство назначило к аукциону целый ряд церковной ценной утвари, и лишь благодаря вмешательству кн. Тенишевой эти предметы не разбежались по алчным рукам, а попали в Тенишевский музей.

Можно составить длинный синодик всяких бывших непризнаний и умалений ценностей русских. Потому-то так особенно радостно слышать о каждом утверждении именно русского природного достояния. К чему нам ходить на поклон только в чужбину, когда у нас самих лежат в скринях непочатые сокровища. Посмотрите на результаты русских археологических экспедиций за последние годы. Найдено так много, научно и широко раздвинуты познавательные рамки. Затрачены крупные суммы на реставрацию Сергиевской лавры, Киевской Софии и других древнейших русских мест.

Волошин пишет книгу «Великий Русский Народ», где воздает должное деятелям земли русской от Олега до Менделеева по всем разнообразным строительным областям. Для меня лично все эти утверждения являются истинным праздником. Ведь это предчувствовалось и запечатлелось во многих писаниях, которым уже и тридцать, и сорок, и более лет.

Верилось, что достойная оценка всех русских сокровищ произойдет. Не допускалось, чтобы народ русский, такой даровитый, смысленный и мудрый, не вдохновился бы своим природным сокровищем. Не верилось, чтобы деятели, потрудившиеся во славу русскую в разных веках и во всех областях жизни, не нашли бы достойного признания.

И вот ценности утверждены, славные деятели признаны, и слава русская звучит по всем краям мира. В трудах и в лишениях выковывалась эта непреложная слава. Народ русский захотел знать, и в учебе, в прилежном сознании он прежде всего оценил и утвердил свое прекрасное, неотъемлемое достояние. Радует сердце о славе Русской.

1939 г.

Петров-Водкин²¹ и Григорьев²²

На днях поминали Щуко²³ и говорили: еще один ушел! А теперь нужно сказать: еще ушли! Сразу два — оба сильные, оба в полной мере таланта, опыта, творчества. Оба они были различны, но потенциал их был велик и серьезен. Именно это были серьезные художники. Трудно сказать, кто из них удельно был больше. Стоит вспомнить некоторые вещи Григорьева, и он покажется сильнее, но затем представить крепко спаянные, творчески пережитые картины Петрова-Водкина, и перевес склонится на его сторону. Петров-Водкин не писал «Рассеи», но действительно работал для народа русского. Григорьев же хотя и много думал о «Рассее», но чуждался ее, а подчас и громил ее огульно и несправедливо. Это было причиной нашего расхождения. Может быть, Григорьев своеобразно любил «Рассею», но облик ее он дал в таком кривом зеркале, что жалеешь об искривленности. В своих странствованиях по всем Америкам Григорьев среди всяких столкновений получил и язву раковую. Чили заплатило ему вперед жалованье, но просило уехать немедленно. Рисунки для модных платьев в Гарперс Базар тоже не могли радовать природного художника. В последний раз мы виделись в Нью-Йорке в 1934 году. Григорьев нервно и настойчиво рассказывал об увлеченности работы для модного журнала, но в кипении желчи сказывалось терзание заплутавшегося путника. Все-то он сворачивал против «Рассеи», твердил, как хорошо ему за границей, но тут-то не верилось ему. Все-то будто бы было хорошо, и пре-

красно, и удачно, но глаза говорили о совсем другом. Ту же действительность подметил и А. Велуа²⁴, когда писал о последней выставке Григорьева в Париже. Совсем иначе вышло с Петровым-Водкиным. В самом начале его упрекали в иностранных влияниях. При всей его природной русскости о нем говорили как бы об иностранце, о французе и старались найти манерность в его картинах. Но манерности не было. Был характерный стиль. Петров-Водкин неоднократно бывал за границей, но не мог там остановиться. Его тянуло домой, а домом его была русская земля. Русскому народу Петров-Водкин принес свое художественное достояние. Он учил русскую молодежь. Учил искусству серьезно, учил познанию композиции и техники. Молодая русская поросль сохранила глубокую память о том, кто и в трудные дни принес свое творчество русскому народу. Хорошее, крепкое творчество. Не натурализм, но ценный реализм, который может вести сознание народное. Большая брешь в «Мире Искусства» — Яковлев, Щуко, Григорьев, Петров-Водкин. Ушли преждевременно! А сильные люди, сильные художники так нужны!

1939 г.

Безумие

Пишут с дальней окраины: «Неужели и сейчас какие-то люди живут-прозябают, как будто в мире ничего не случилось? Что же еще должно случиться, чтобы люди настояжились, подобрались и подумали: можно ли так дальше существовать? А ведь есть такие, которые живут, как прежде, и ни о чем не желают думать». Действительно, что же должно стрястись, чтобы человек возопил: «Так дальше нельзя!»? Старик Петен²⁵ громко возопил, что в бедствиях Франции виновата жажда к удовольствиям, обувшая французов со времен прошлой войны. Маршал прав, именно веселое время, всякая дешевая роскошь, развал семьи, всякое «гуд тайм» разлагают народы. Студенты Оксфорда заявляют, что не будут защищать родину. Посмотрите широко распространенные журналы: «Жизнь» (Америка) и «Лондонская жизнь» (Англия). Какую же жизнь они отражают? Неужели народам нужна такая пошлость? И как растолковать издателям, что развратители народа подлежат самой страшной каре. «Сопляжники», гольфисты, кулачные бойцы, все породители пошлости, придет вам конец. Борцы, обмазанные грязью, может

быть, наиболее показательны для степени падения человечества. На посмешище, теряя человекообразие, бесформенные оолгелые шуты копошатся в грязи. Когда читаем о позорных неистовствах папы Борджиа²⁶, думаем, что это все давно прошло и сейчас уже невозможно. Так ли? Не происходит ли нечто подобное в новых одеждах и в других наименованиях? Сообщают, что сейчас в самый трагический час войны Англия устраивает традиционные скачки. Без Дерби не прожить! Правда, читали «Пир во время чумы», но ведь поэт говорил об единичном, групповом эксцессе, а тут массовое безумие. Обывательщина, мешанство одолели. Можно понять, отчего Бернард Шоу горько шутил, сказав: «Понимаю Провидение, если Земля была создана как междупланетный сумасшедший дом». И еще: бедные страны преуспели, богатые загнили. Не в золоте правда. Многие возмутятся, если скажете, что истинная ценность в единице труда. Зачем труд, когда люди мечтают о безответственных наслаждениях. Давно сказано: «И будет последний день золотым». В переустройстве мира будут основой труд, творчество.

1940 г.

По заслугам

Вспоминались нападки фашистских газет. Экие ругатели! Главное обвинение было, почему я хвалю достижения русского народа. Мракобесы хотели, чтобы все достижения нашей Родины были стертые, а народ надел бы фашистское ярмо. Всякие радзавские, вонзидские, васьки ивановы, юрии лукины, суворины, семеновы²⁷ и тому подобные темные личности изрыгали всякую клевету и доношения на всех, кто не с ними. Но кто с ними? Подонки, потерявшие облик человеческий.

Счастье в том, если оказываются врагами те, которые, в сущности своей, и должны быть такими. А друзьями пусть будут те, кому и надлежит быть и кем можно гордиться. Представьте ужас, если б фашисты начали хвалить вашу деятельность. Но судьба хранит, и в списке врагов те, кому там и быть надлежит. Вражеский список не мал.

Конечно, много лжи осталось неотвеченной, но сама жизнь отметет вредительский сор. Из-за фашистов порвались некоторые знакомства. Впрочем, и об этом малель не приходится. Если люди ослепли и не видят

сущности, то с такими шатунами не по пути. Плакать можно, когда видите, как умышленно снижаются достижения, казалось бы неоспоримые. Но сама жизнь путями неисповедимыми убирает дисгармонию, и самое ценное охраняется.

Не будем навязывать наши сроки. Они могут оказаться нашептанными самою. «Скоро» и «не скоро» не в наших мерках. Подбор требует времени. Пусть явно подберутся все фашистские элементы и уйдут в преисподнюю. Жаль, что при таком переустройстве страдает и столько лучших сил. Но жизнь знает свои пути.

Много самозванных любителей что-нибудь «поставить на место». Пусть сама жизнь поставит по заслугам. И фашисты и их приспешники тоже получат по заслугам. А русский народ стоит на месте геройском. Этот подвиг укрепит в истории культуры одно из самых чудесных мест.

1941 г.

Из письма

...Спасибо за вести о редакционных суждениях. Прямо удивительно, что люди, казалось бы серьезные, подражают своими необоснованными пересудами самым отчаянным мракобесам. Хотя бы голословные суждения о каких-то моих миллионах — Вы же знаете, что таковых никогда и не было и никогда я лично к ним не стремился. Пусть бы эти вещатели заглянули в мой текущий счет. Думаю, у них он больше. Что касается сказок сибирских, то странно почувствовалось полное совпадение этих выдумок с произмышлениями пресловутого харбинского мракобеса В. И.²⁸ В таком случае не мешало бы уже позаимствовать из книг того же мракобеса, что я будто бы выдаю себя за перевоплощение преп. Сергия, состою главою мирового Коминтерна и Фининтерна и тому подобные неправдоподобности. Прямо удивительно, что люди, считающие себя интеллигентными, способны цитировать всякую некультурную чепуху.

По этому поводу вспоминается мне, как в 1920 году в Лондоне некий чиновник мин. ин. дел уверял, что я не Рерих, ибо Рерих в 1918 году похоронен в Сибири и он присутствовал на моих похоронах. Затем ровно через десять лет — в 1930 году — в Лондоне же ко мне явился проф. Коренчевский и после всяких замысловатых вступлений сказал: «Есть у меня один вопрос, на который Вы мне, наверно, не

ответите». Когда же я заинтересовался таким оборотом и сказал, что готов ему ответить, он таинственным голосом проведжал: «Ведь вы не Рерих, а Адашев». Когда же я настаивал на том, что я есмь я, он с хитрым видом закончил: «Я так и думал, что вы мне не скажете истину». Вот с какою кромешною тьмою приходится встречаться. Даже не знаешь, где границы этого Гранд-Гиньоля. Тогда у нас осталось впечатление, что Коренчевский умалишенный, но, очевидно, таких безумцев на свете довольно много, ибо они всячески продолжают свое своеобразное рекламирование.

В том же Лондоне проживают некая В. и архитектор Б., которые разновременно рассказывали, что мы взяли в плен далай-ламу со всеми его сокровищами. Самого далай-ламу мы в конце концов отпустили, но все несметные его сокровища оставили при себе. Взрослые, пожилые люди не гнушаются и такими росказнями. В некоей газете я сам читал, что, встречаясь с людьми, мне понравившимися, я пригоршнями вынимаю из кармана бриллианты и рубины и одариваю ими их. Известный Вам барон М.²⁹ в Лондоне спрашивал доверительно: «Ведь от одного взгляда Рериха волосы седеют». Вот Вам и товарищ председателя думы. Поистине мы живем в каком-то мрачном средневековье.

В то же время, если Вы спросите всех этих вещателей, видели ли они мои картины, они сознаются, что не видели. Если спросите их, читали ли они мои книги, они должны будут сознаться, что не читали. Сознавшись в этом игноранстве, они все же будут считать возможным повторять и измышлять какие-то нелепейшие сказки. Вот в редакции говорят о каком-то рекламировании. Спрашивается, разве я сам повинен во всяком таком рекламировании о седеющих волосах. Вот, например, в Харбине некая «интеллигентная особа» видела меня ходящим по воде на реке Сунгари, в чем она и клялась. Что же, и такое рекламирование я сам устраиваю? Неужели считается рекламированием, что я пишу книги и картины или в течение десятков лет работаю по археологии и забочусь о сохранении культурных ценностей. Право, смеху подобно.

Мои статьи «Лихочасье» и «Болезнь клеветы» достаточно отвечают на всякие мракобесные вылазки. Вот в Америке Х. украл наши шэры — пожалуй, и это рекламирование. Письмо это останется как бы историческим документом того, что люди не стесняются говорить о том, чего они во-

обще не знают. Даже профессора беззащитно произносят суждения о предметах им незнакомых. Они говорят об осторожности, но неужели из осторожности они произносят всякие необоснованные наветы? Плох такой «научный» метод. Чую все Ваши звучные доводы и ответы всем этим игнорантам. Особенно сейчас, в дни сдвигов, пусть люди будут осмотрительнее и позаботятся о достоверности.

1941 г.

Осколки

Как-то в минуту шутки вспомнились забавные подробности из времен Академии художеств. Все смеялись, а Юрий³⁰ настаивал: «Запиши, запиши». Где же все записать? Конечно, забавно, что Репин говаривал новичку, принесшему на «строгий суд» слабые попытки свои: «Завидую вашей кисти». Старик Виллевалде³¹, всегда в мундирном фраке, всех хвалил: «Очень хорошо, отлично, прекрасно!» Затем захваленный получал на экзамене один из последних номеров, а Виллевалде успокаивал: «Значит, у других было еще лучше». Подозеров³² был мастер по части затылка. Если на рисунке хотя бы частично виднелся затылок, Подозеров требовал: «Затылочка прибавить».

Чистяков³³ бывал несправедлив, благоволил к одним, а других забывал. Когда же ему намекали об этом, он мстил и кричал на весь класс: «Да у вас не Аполлон, а француз — ноги перетонили». Понес к нему заданный эскиз: «Медный змий», а он говорит: «Чего выдумывать, возьмите Доре». Когда его спрашивали, отчего он не кончит свою «Мессалину», Павел Петрович ухмылялся: «Голова болит. Уже тридцать лет голова болит». При злоупотреблениях Владимира³⁴ и Исеева³⁵ один Чистяков не пострадал, ибо он не подписывал протоколов заседаний, а всегда исчезал заранее. Пригласил известного лошадищика Ковалевского³⁶ посоветоваться насчет коней в «Нянейей охоте». «Да вы постройте их попонками», — вот и весь совет.

Много всяческих добродушных осколков, а на стенах мастерских висели рисунки Брюллова, Сурикова, Врубеля и других превосходных. Ходили присматриваться, как они делали, — это не подозеровский затылочек!

1942 г.

О будущем

До чего хочется сделать что-то на пользу русского воинства, русского Красного Креста, русского народа. Давали мы индийскому Красному Кресту. Давали на самолеты. Все это ладно, но хочется и в Индии устроить что-то полезное для русской победы. Дали мы четыре большие картины — две моих и две Светика³⁷, которые должны дать не менее 20 тысяч рупий. Кроме того, цветных воспроизведений на 1300 рупий, каталог, входная плата и значительная часть с продажи — все это должно дать не менее 30 тысяч. Только даже и в дни русских героических побед в Дели не любят все русское. А может быть, кто-то и гримасничает, слыша о победах. Много говорили о «пятой колонне», но где она гнездится? Каковы ее намерения?

Святослав телеграфирует: «Выставка должна быть отложена». Значит, он натолкнулся на непреодолимые трудности. Чували мы, что в Дели неладно. В Лондоне будут устраивать трехдневный национальный праздник. Будут флаги, и речи, и слова, слова и слова. В Австралии тоже национальный праздник в честь русского воинства, но в Дели будет глухо и немо.

Святослав хотел дать отличное радио, посвященное 23 февраля. Удастся ли? Столько подводных камней. Всякие сэрзы гарбачи изрыгают исподтишка злую славу. А ведь как Святославу старался устроить что-то хорошее во славу русскую.

Сейчас от него вторая телеграмма о том, что подобная выставка может быть устроена в Бомбее в июле. Кто знает, может статься, такое решение наилучшее. Видимо, в Бомбее нашлись деятельные друзья. Увидим.

Время смятенное. В Пуне умирает в заточении Ганди. Подумайте, Ганди — совесть Индии кончается в заточении. Голодовка, слабость сердца, уремия — долго не выдержит. Какая легенда останется! Недаром говорили, что мертвый Ганди страшнее для Англии, нежели живой. Тяжко думать о конце Ганди. Такое же гнетущее чувство было, когда уходил Толстой. Переворачивалась страница истории. Уходит народная совесть, а когда она опять кристаллизуется в ком-то? Честный человек покидает землю, а много ли их, таких честных? Много ли таких самоотверженных?

Слушаем каждое радио. Русские победы перевернули великую страницу истории. Ганди тоже страница истории. Многое решается. Лагорское радио передало прекрас-

ный привет Святослава русскому войнству. В Калькутте, в Карачи, на Цейлоне прорессии.

Призраки

1943 г.

Склон горы ярко залит заходящим солнцем. Вереница путников спешит к ночлегу. Самых людей не видно за светом, но впереди каждого бежит черная тень. Видна лишь тень — черная-пречерная — точно какие-то темные сущности бегут по горной тропе. Бывают в жизни такие темные мелькания. Призраки!

Немало призраков во всех концах земли. Пугали призраки, что в Карелии умрем с голоду. В Швеции на выставку явился таинственный господин с невнятной фамилией, спрашивает: «Вы собираетесь в Англию?» — «Откуда вы это знаете?» — «Мы многое знаем и пристально следим. Не советуем ехать в Англию. Там искусство не любят и ваше искусство не поймут. Другое дело — в Германии. Там ваше искусство будет оценено и приветствовано. Предлагаем устроить ваши выставки по всей Германии и гарантировать большую продажу. А чтобы не было сомнения, можно сейчас же подписать договор и выдать задаток». Призрак с задатком!

Во Франции призрак настойчиво советовал повидаться с генералом иезуитов, суля всякие небесные и земные блага. Другой обхаживал ласково, прельщая Мальтою и Родосом. В Харбине русские фашисты (какие отбросы!) с угрозами вымогали деньги. Призрак твердил о встрече в Иерусалиме (где я никогда не был). Из Италии призрак советовал всецело передать наш пакт об охране культурных сокровищ³⁸ в руки Муссолини, который проведет и утвердит его.

Многие насюки призраков! Одни призраки с именами, а другие безыменные. Кто они? Но каждый из них в той или иной форме в конце концов инсинуировал и угрожал: мол, пожалеете, если не согласитесь. Мы видели и месье призраков. Удивительна эта темная рука, тайно вредительствующая. Иногда ее замечаете, а другой раз только чувствуете без видимости.

Как в дремучем лесу можно наехать на таинственную ведьмовскую избушку, так и в действиях призраков не знаете, где и для чего оно происходит. Одно ясно, что делается какое-то вредительство, но пути и следы его заметны. Вот и в Дели что-то наследовано. Не любимо там все русской! Но Русь победоносна!

1943 г.

«Новый мир»

Прислан редкий гость — «Новый мир»³⁹ — четыре номера за этот год. Много ценного материала. Прекрасны мысли Алексея Толстого о детских книгах и о сохранении чистоты русского языка. Жаль двух исконных выражений. Толстой против «захоронить» и «зачитать». Но ведь народ издавна знает «клад захороненный» и «книгу зачитанную» — пропавшую у приятеля. Народ рассказывает о том, как клады захоронили, и никак иначе нельзя выразить это народное определение. Но это подробность, а общая мысль Толстого так своевременна, неотложна.

Майский вспоминает жуткую бывальщину и взлеты молодежи. Интересны уральские сказы. Значительны, как всегда, стихи Эренбурга. В статье о живописи наряду с Репиным и Суриковым упомянут и Верещагин. Это хорошо, а то одно время его обходили молчанием.

Елена Ивановна⁴⁰ правильно отмечает, что во всех московских присылках нет пошлости и грязи. Героическому народу нужны суровость, устремленность к труду и строению. Этим светлым качеством преобладают трудности. Вот и победы закрепят славный путь народный. И сколько молодых полководцев выдвинулось! И сколько изобретателей, строителей создалось! И сколько ученых и художников оценено народом! Народная жажда знания! Русская смекалка! Русская красота! Русское творчество жизни незабываемое. Много падла семьи! Непобедимая мощь в таком единении.

Целина необъятной земли открывает несчетные сокровища. Сказочная хозяйка Урала знает, что пришло время возвысить народы, помыслившие об общем благе. Каменные, непреклонные лица трудовых народов. Мыслят о будущем. И сколько безыменного подвига проявляется каждодневно, ежечасно.

Любят азиатские народы наших героев. В дальних горах и пустынях ткется сложное сказание о богатырях, возлюбивших общее дело превыше всех своих житейских выгод. Народное, священное дело. Творчество жизни незабываемое. Много падла развелось на земле, но встала русская сила, и изничтожаются себеумы-подлюги.

Не о себе думает герой воин, не о себе болеет сестра милосердия... Некоторые славные имена будут отмечены, а сколько безыменных героев, собою пожертвовавших,

принесших жизнь за общее благо. Народу-труженику, народу-творцу, народу-победителю

С л а в а!

1943 г.

Credo

Пишут, что не знают мое credo. Какая чепуха! Давным-давно я выражал мое понимание жизни. Ну что ж, повторим еще раз:

«Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство — для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата «священного источника». Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью. Сперва бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищет что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, куда оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем...»

«Предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности великого искусства победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже «земные» люди поняли действительное значение красоты. И когда утверждаем: Любовь, Красота и Действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня. Знак красоты откроет все «священные врата». Под знаком красоты мы идем радостно. Красотою побеждаем. Красотою молимся. Красотою объединяемся. И теперь произнесем эти слова не на снежных вершинах, но в суете города. И, чуя путь истины, мы с улыбкою встречаем грядущее.»

Писалось это двадцать лет назад, а говорилось и гораздо раньше. Те самые, кто говорит, что они не знают, отлично слышали от меня самого. Знать-то они знают, но для каких целей им нужно набросить тень, гнести неопределенность? «Клеветайте, клеветайте, всегда что-нибудь останется».

А мы все же будем звать к прекрасному, и ценность творчества будет нашей основой.

1943 г.

К будущему

Декарт, Паскаль, Мольер не были включены во Французскую академию. Не были признаны «бессмертными» в кавычках. Беру пример из множества ему подобных в разных странах. Все это заметки для будущего. Авось одумаются и захотят мыслить по справедливости, хоть по самой убогой справедливости. Мировой переосмотр должен помаленьку совершаться. Говорю не о политическом «шапочном разборе» — он уже много где дает себя чувствовать, даже не дожидаясь конца войны. Вероятно, он будет не менее жесток и кроваваден, нежели бомбы. «Человеческое, слишком человеческое!»

Люди должны помыслить о культурных перестроениях, об истинном просвещении, о биологической нравственности. «Гуд тайм» и джаз еще не наставники. Рассказывали, что в предвоенное время нацистские студенты являлись на экзаменах с револьвером, угрожая несговорчивому профессору. Рассказывал это сам профессор, человек достойный. Может быть, и в иных странах бывали всякие подобные насилия. Когда Культура шатается, тогда можно ждать всевозможных уродств. Пусть будут эти язвы вскрыты, чтобы при дальнейших построениях избежать таких античеловеческих проклятий. Довольно крови, довольно человеконенавистничества!

Только от школы, от семьи могут быть услышаны эти спешные зовы. Пусть они будут не только гласом в пустыне, но приказом набатным. Много говорилось о разных вандализмах, но вандалы и вандалчики и в ус не дуют и продолжают свое скверное, дикое дело. Мне приходилось видеть пожимание плечей: мол, довольно о вандализмах. Ну, сказал, и довольно. Нет, миленькие, вовсе не довольно. Красный Крест Культуры вовсе еще не осознан. Синодик звериных вандализмов растет и даже, страшно сказать, очень умножается. В основе гнездится невежество. Ведь оно может жить и во фраке с орденами. Доживает ли человечество, когда военные бюджеты будут перечислены на просвещение?!

«Перековать мечи на орала», «Положить тигра с овцой», кто-то зверски Хочет...

1944 г.

Напоминайте

Германия кончена. Много сообщалось об ограблении немцами художественных сокровищ и книгохранилищ. Где все это? Говорят, вероятно, в подземельях. Где же такие хранилища? Ведь в них должны быть запрятаны не только награбленные сокровища, но и содержание немецких музеев, которым грабители должны расплатиться за все убытки, ими причиненные.

О судьбе культурных ценностей ни радио, ни газеты пока не сообщали, а это предмет величайшего внимания. Минули времена, когда культура и творения народного гения оставались в пренебрежении. Но если о судьбах красоты и науки не общается — значит, эти клады еще не найдены.

Не слышно, чтобы на конференции толковали о судьбах народных достояний. Даже если клады еще не найдены, то их нужно искать и, не теряя времени, выяснить этот великого значения вопрос. Пусть народы скорей услышат о судьбах их творческих достижений.

У нас собраны кой-какие выписки об увезенных немцами сокровищах. Выходит, что грабеж был чудовищный. Даже крупные размерами произведения были вывезены. По каталогам можно установить, что именно исчезло. Целые комиссии занимаются такими подсчетами. И настало уже время грозно потребовать возврата и восстановления. Чем громче будет сказана забота о народном достоянии, тем воспитательнее это будет для народов. Нельзя удовлетвориться мыслью, что народное сознание уже сдвинулось. Кое-где есть продвижение, но массы еще готовы и на вандализм. Народы справедливо возмущаются немецкими вандализмами, но и сами еще в недалеком прошлом не прочь были принять участие в разрушениях.

Что было — то было, но не должно быть в будущем. Да, да, чаще напоминайте о священном народном достоянии. Напоминайте о любви к Родине, сложившей неповторимые сокровища. Напоминайте о культуре, ведущей человечество к преуспеяниям.

1945 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Исвара (Извара) — поместье отца Н. К. Рериха вблизи ст. Волосово Ленинградской области.

² Дарджилинг — город в Индии на границе с Сиккимом. Из Дарджилинга Рерих провел экспедицию по Сиккиму в 1924—1925 годах.

³ Куинджи Архип Иванович (1842—1910) — выдающийся русский живописец и педагог, оказал большое влияние на искусство Рериха.

⁴ Картина теперь находится в Калифорнии.

⁵ Пурвит Вильгельм Егорович (1872—1945) — латышский художник-пейзажист.

⁶ Рушиц Фердинанд Эдуардович (р. 1870) — соученик Рериха по Академии художеств.

⁷ Рылов Аркадий Александрович (1870—1939) — русский и советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР.

⁸ Химона Николай Петрович (р. 1865) — воспитанник Академии художеств, инспектор Рисовальной школы Общества поощрения художеств.

⁹ Вроблевский Константин Каэтанович (р. 1868) — художник, окончил Академию художеств.

¹⁰ Богаевский Константин Федорович (1872—1943) — пейзажист и график, заслуженный деятель искусств РСФСР.

¹¹ Латри Михаил Пелопидович (р. 1875) — художник, воспитанник Академии художеств.

¹² Зарубин Виктор Иванович (р. 1866) — академик живописи, секретарь Общества поощрения художеств.

- ¹³ Борисов Александр Алексеевич (1866—1934) — пейзажист, писал преимущественно Север.
- ¹⁴ Кандауров Антон Иванович (р. 1863), Калмыков Григорий Одиссеевич (р. 1873), Бровар Яков Иванович (р. 1865), Педашенко - Третьякова Мария Ивановна (р. 1867), Курбатов Антон Николаевич (р. 1865), Воробьев Глеб Федорович (р. 1867) — русские художники, учившиеся в Академии художеств вместе с Н. К. Рерихом у А. И. Куинджи.
- ¹⁵ Боткин Михаил Петрович (1839—1914) — художник исторической живописи, член Совета Академии художеств, директор музея Общества поощрения художеств.
- ¹⁶ Ханенко Богдан Иванович (р. 1848) — почетный любитель Академии художеств, коллекционер.
- ¹⁷ Деларов Павел Васильевич (ум. 1913 г.) — один из крупнейших собирателей в России, знаток нидерландской и итальянской живописи. Автор ценной статьи о К. П. Брюллове.
- ¹⁸ Ван-де-Вельде — фамилия трех голландских художников XVII века. Наиболее известен из них: Виллем Младший (1663—1707).
- ¹⁹ Ван-де-Нер — голландский художник XVI века.
- ²⁰ Тенишева Мария Клавдиевна (1867—1928) — организатор народной художественной деятельности в селе Талашкино Смоленской области, собирательница предметов искусства. Рерих много сотрудничал с Тенишевой в художественно-просветительной и искусствоведческой работе.
- ²¹ Петров - Водкин Козьма Сергеевич (1878—1939) — русский советский художник.
- ²² Григорьев Борис Дмитриевич (1886—1939) — русский художник из группы «Мир искусства», умер в эмиграции.
- ²³ Шуко Владимир Алексеевич (1878—1939) — русский советский архитектор и театральный художник, педагог.
- ²⁴ Венуа Александр Николаевич (1870—1960) — русский художник, критик, идейный руководитель «Мира искусства». Много писал на исторические темы, выразительно раскрывая стилистические черты исторических эпох.
- ²⁵ Петен Анри-Филипп (1856—1951) — французский маршал и политический деятель, сотрудничал с немецкими оккупантами во время второй мировой войны, возглавляя режим Виши.
- ²⁶ Борджиа — здесь папа римский Александр VI (1476—1507), известный распутной жизнью.
- ²⁷ Радзаевский, Вонсядский и др. — реакционеры из кругов русской эмиграции, неоднократно выступали против Рериха за его просоветские настроения.
- ²⁸ В. И. — инициалы Василия Иванова, известного своими антисоветскими выступлениями на Дальнем Востоке.
- ²⁹ Барон М. — Милюков П. Н., лидер партии кадетов в царской России, эмигрант.
- ³⁰ Юрий — Юрий Николаевич Рерих (1902—1960) — старший сын художника, ученый-востоковед, с 1957 года возглавлял сектор филологии Индии в Институте востоковедения и тибетологическую группу в Институ-
- те востоковедения Академии наук СССР.
- ³¹ Виллевальде Богдан Петрович (1818—1903) — художник-баталист, профессор Академии художеств.
- ³² Подозеров Иван Иванович (1835—1899) — русский скульптор, профессор Академии художеств.
- ³³ Чистяков Павел Петрович (1832—1919) — русский художник, известный педагог, профессор Академии художеств.
- ³⁴ Владимир — великий князь Владимир Александрович (1847—1909), президент Академии художеств в 1876—1909 годах.
- ³⁵ Исеев Петр Федорович (р. 1831) — конференц-секретарь Академии художеств в 1868—1889 годах.
- ³⁶ Ковалевский Павел Осипович (1843—1903) — художник — баталист и анималист, профессор Академии художеств.
- ³⁷ Светик — Святослав Николаевич Рерих (р. 1904), младший сын Н. К. Рериха, известный художник, искусствовед, ученый — ботаник и фармаколог. Постоянно живет в Вангалуре (Индия).
- ³⁸ Пакт — имеется в виду Пакт о защите культурных ценностей, предложенный Н. К. Рерихом. Уже после его смерти на основе этого Пакта была заключена Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. Конвенция ратифицирована многими государствами, в том числе и Советским Союзом.
- ³⁹ «Новый мир» — имеется в виду журнал, издающийся в Москве.
- ⁴⁰ Елена Ивановна — жена художника, урожденная Шапошникова (1879—1955), участвовала в научных экспедициях Рериха, автор книг по восточной философии.



Джек Лондон

ЭТИ КОСТИ ВСТАНУТ СНОВА

Статья Джека Лондона «Эти кости встанут снова» написана в 1901 году вскоре после полученного в Соединенных Штатах известия о смерти и похоронах английского писателя, автора «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Известие оказалось ложным, и статья-некролог Лондона не была напечатана. Однако позже писатель включил ее в сборник «Революция и другие очерки» (1910).

Джек Лондон с большой симпатией относился к Киплингу, восхищался его талантом рассказчика и поэта, учился у него мастерству экономного, сжатого повествования, умению заинтересовать читателя. В своей статье Лондон отдает должное дарованию Киплинга, его деятельной натуре. Мы видим, что, стремясь почтить и защитить память этого писателя, Джек Лондон рисует некий идеал литератора, развивает свои представления о настоящем художнике, которым, по его мнению, был и Киплинг. Важнейшей заслугой такого художника Лондон считает умение отразить существенные черты эпохи, особенности и устремления той или иной нации. Чтобы подчеркнуть свою мысль, Лондон в этой части некролога отвлекается от классовой направленности творчества Киплинга. Но он не забывает о ней. В заключении статьи Лондон четко и недвусмысленно определяет идейную сущность этого писателя — барда английской буржуазии, воспевавшего захватнические деяния империалистов XIX века.

Хотя оценка Лондоном Киплинга основывалась на его творчестве до 1901 года, а Киплинг прожил еще 35 лет и создал немало, она, несомненно, представляет большой интерес. Но совершенно особый интерес вызывают высказанные в статье взгляды на назначение литературы и роль писателя. Вряд ли среди литературного наследия Джека Лондона, за исключением, пожалуй, его рецензии на «Фому Гордеева» Горького, найдется другая статья, где бы его взгляды на искусство были высказаны так определенно и сильно.

На русском языке, с некоторыми сокращениями, статья публикуется впервые.

Виль Быков

Редьярд Киплинг, по характеристике чикагского критика, «пророк крови и вульгарности, принц скоропреходящего и идол непризнанных», — умер. Да, это правда. Он мертв, мертв и погребен. И суетливое разноголосое людское племя, маленькие невзрачные людюшки засыпали его тело неразрезанными страницами «Кима», обернули в бумагу «Сталки и К⁰», а на могильном холме вывели незабвенные строки из его «Урока». Это было нетрудно. Проще простого. И суетливые, крикливые джентльмены изумленно потирали руки, дивясь, почему они давно уже не сделали этого, ведь это было очень и очень просто.

Но грядущие века, о которых любят распространяться суетливые и крикливые джентльмены, возможно, найдут, что сказать по поводу этого события. Когда они, грядущие столетия, обратятся с вопросом к XIX веку с целью выяснить его характер, выяснят не то, что люди XIX века считали, что они думают, а что они на самом деле думали, не то, что они считали, что им следует делать, а то, что они на самом деле делали, тогда наверняка они обратятся к Киплингу, а прочтя его, поймут. «Им только казалось, что они читали его с пониманием, этим людям XIX столетия, — скажут грядущие поколения. — И поэтому они решили, что это он не понимает, а в действительности они сами не знали, о чем думали».

Но, пожалуй, это слишком сильно сказано. Это приложимо только к тому классу людей, который выполняет функции, подобные тем, которые выполнял в Древнем Риме популус. Эта неустойчивая толпообразная масса, взбравшаяся на стену, всегда готовая прыгнуть по ту или по эту сторону и на виду у всех карабкающаяся на нее снова; те люди, которые ставят сегодня у власти демократов, а завтра республиканцев, которые сегодня находят и возносят какого-нибудь пророка, а завтра забрасывают его камнями; которые истощно защищают книгу; читаемую всеми лишь потому, что она читается всеми. Эта публика — игрушка прихоти и каприза, причуды и моды, неустойчивая, непоследовательная, публика с мнениями и настроениями толпы, если хотите — «обезьянье племя» нашего времени. Сегодня она читает «Вечный город». Вчера она читала «Хозяин Кристиан», а до этого — Киплинга. Да, она его читала, вероятно, к его стыду. Но это не его вина. Если бы он ориентировался на нее, он бы, вне всякого сомнения, был достоин смерти, похорон и забвения. Но никог-

да, отдадим ему должное, он не жил для них. Это им казалось, что он жил, но для них он тогда так же был мертв, как и сегодня, как будет мертв всегда.

И он ничего не мог с этим поделать, потому что он стал модой, и это легко понять. Когда он лежал больной, в смертельной схватке сражаясь за жизнь, все, кто знал его, были опечалены. Таких было немало, множество голосов по всему свету выразили свои соболезнования. Потом, и довольно скоро, и толпа начала спрашивать про человека, которого так много людей оплакивало. Почему же не присоединиться, если все другие оплакивают? С этой поры начались всеобщие причитания. Один распался другого, и все принялись потихоньку читать этого писателя, которого ранее совсем не читали, и публично стали говорить, что это тот человек, которого они всегда читали. Но вскоре, на следующий же день, они потопили свое горе в океане исторических романов и, как и следовало ожидать, совсем про него забыли. Всплыв из океана, в который они погрузились, они осознали, что забыли его слишком рано, и им бы стало стыдно, не приди тут на ум какому-то остроумцу идея: «Давайте похороним его». И они быстро опустили его в могилу, с глаз долой.

Но когда они уползут в свои собственные могилки и скромненько улягутся, заснут вечным сном, будущие поколения отодвинут прочь могильный камень, и он встанет снова. Чтобы все знали: «Тот, кто делает свой век бессмертным, всегда бессмертен». Тот из нас, кто умеет схватить существенные факты нашей жизни, кто рассказывает, о чем мы думаем, чем мы были и за что мы стоим, — такой человек становится глашатаем столетий, и до тех пор, пока они его слушают, он будет жить.

Мы помним о пещерном человеке. Мы о нем потому и помним, что он обессмертил свой век. Но, к несчастью, воспоминания о нем смутны, в некотором роде фрагментарны, потому что он увековечил свой век смутно, в некотором роде фрагментарно. Он не знал письменного языка, поэтому он оставил нам грубые отметины на животных и вещах, раздробленные мозговые кости да оружие из камня. Таковы были самые лучшие средства его самовыражения, которыми он только был в состоянии воспользоваться. Именно за то, что этот человек нацарапал свое собственное имя с помощью царапин на животных и вещах, оставил свое особое клеймо на раздробленных моз-

говых костях и пометил свое каменное оружие своей собственной эмблемой, за это его и будут помнить. Так или иначе, но он сделал лучшее, на что был способен, и мы о нем самого хорошего мнения.

Гомер завоевал достойное место благодаря Ахиллесу и греческим и троянским героям. Увековечив их, он увековечил и себя. Независимо от того, был ли это один, или десять человек, или даже десять поколений, мы о нем не забыли. И до тех пор пока имя Греции на устах у людей, до этого времени будет известно и имя Гомера. Существует много таких имен, связанных со своим временем и унаследованных нами по традиции, а еще больше появится их в будущем, и к ним в знак того, что мы существовали, мы должны прибавить несколько своих собственных.

Если говорить только о художниках, поймите меня правильно, только те художники останутся известными, которые рассказывают о нас правду. Их правда должна быть самой глубокой и самой значительной, а их голоса ясными и сильными, определенными и последовательными. Полуправда и частичная правда не подойдут, не годятся здесь и тонкие, пискливые подголоски и хриплые песенки. То, что они поют, должно быть высшего качества. Они должны использовать и воплощать в непреходящей форме искусства живые факты нашего существования. Они должны рассказать, для чего мы жили, ибо без очевидных целей в жизни, уверяю вас, мы не существуем для будущего. А то, что устраивало людей тысячу лет тому назад, теперь им не подходит. Романс о гомеровской Греции остается романсом о гомеровской Греции. Это бесспорно. Это не наш романс. И тот, кто в наши дни станет петь о гомеровской Греции, вряд ли может рассчитывать, что споет лучше Гомера, и, конечно, это не будет песня о нас или тем более — нашим романсом. Машинный век — это нечто совершенно отличное от героического века. То, что справедливо для скорострельных пулеметов, биржевых контор и электромоторов, просто не может быть справедливо для метательных дротиков и колес несущейся колесницы. Киплинг это знал. Он нам говорил об этом в течение всей своей жизни, воплотив то, что пережил, в созданных им произведениях.

Он увековечил то, что сделано англосаксами. Англосаксы — это народ не только того узкого островка на краю западного океана. Англосаксы — это люди во всем мире, говорящие на английском языке, ко-

торые бытом, и нравами, и своими обычаями скорее всего англичане, чем неангличане. Этим людям воспевал Киплинг. Их труд, пот и кровь были мотивами его песен; но все мотивы его песен пронизывает мотив мотивов, сумма их всех и нечто большее, как раз то, что пронизывает пот, и кровь, и труд англосаксов, — гений нации. А это поистине космическое свойство. Не только то, что справедливо для нации во все времена, но и то, что справедливо для нации во все времена с точки зрения настоящего времени, он уловил и отлил в формах искусства. Он уловил ведущий мотив англосаксов и выразил его в мелодичных рифмах, которые нельзя спеть за один день и которые не будут спеты за один день.

Англосакс — это пират, захватчик земель и морской разбойник. Под тонким покровом культуры он все тот же, каким был во времена Моргана¹ и Дрейка², Уильяма³ и Альфреда⁴. В его жилах кровь и традиции Хенгиста и Хорса⁵. В битве он объект кровавых воцелений древнескандинавских витязей. Грабеж и добыча манят его неудержимо. Нынешний школьник грезит о подвигах Клива⁶ и Хастингса⁷. У англосакса верное оружие и твердая рука, и он первобытно жесток, все это у него не отнимешь. У него беспокойная, неуемная кровь, она не дает ему отдыха и гонит на поиски приключений через моря и на земли, затерянные в морях. Он не чувствует, когда его бьют, поэтому-то к нему и пристала кличка «бульдог», чтобы все знали о его упорстве. Он проявляет «некоторую заботу о чистоте своих методов и не желает ни чужеземных богов, ни зауми интеллектуаль-

¹ Генри Морган (1635—1688) — знаменитый английский пират.

² Фрэнсис Дрейк (1545—1596) — английский адмирал, первый англичанин, проплывший вокруг света.

³ Уильям II — в 1087—1100 годах король Англии.

⁴ Альфред Великий (849—899) — король Англии, отразивший нашествие датчан.

⁵ Хенгист вместе со своим братом Хорсом, по преданию, возглавлял в V веке до н. э. первое германское нашествие на Англию и основал королевство Кент.

⁶ Роберт Клив (1725—1774) — британский генерал и государственный деятель. Прославился завоеваниями в Индии.

⁷ Уоррен Хастингс (1732—1818) — английский государственный деятель, первый генерал-губернатор Индии.

ных фантазмагорий». Он любит свободу, но выступает как диктатор по отношению к другим, он своеволен, обладает неиссякаемой энергией и обходится без посторонней помощи. Он умеет взяться за дело, творит законы и вершит правосудие.

И в XIX веке он живет в соответствии со своей репутацией. Живя в XX столетии, так не похожем на любое другое столетие, он и выражает себя иначе. Но кровь дает о себе знать, и во имя Господа, Библии и Демократии он обошел всю землю, завладев обширными пространствами и жирными кусками и одерживая победы с помощью своей необычайной отваги, предприимчивости и благодаря превосходной технике.

Грядущим же векам, занявшимся выяснением того, что представлял собой англосакс XIX века и каковы были его деяния, мало будет дела до того, что он хотел бы сделать или не сделал. Его будут помнить за то, что он действительно успел сделать. Его заслуга перед потомками — это то, что он в XIX веке делал дело; его пожелание XX веку, по всей вероятности, будет состоять в том, чтобы он устроил жизнь, — но об этом уже будут петь Киплинги XX века или Киплинги XXI века.

Редьярд Киплинг XIX века пел о «вещах как они есть». Он видел жизнь такою, какова она есть, «приняв ее лицом к лицу», взяв ее обеими руками и прямо взглянув ей в глаза. Разве есть для англосакса и всего им содеянного лучшая проповедь, чем «Строители моста»? И лучшее признание его заслуг, чем «Время белого человека»? Что же касается веры и чистоты идеалов — не для «детей и богов, а для мужчин в мире мужчин» — кто прославил их лучше его?

Прежде всего Киплинг выступил за деятеля, против мечтателя — за деятеля, который не жалеет праздных песенок о пустых днях, а который идет вперед и делает дело, согнув спину, в поте лица своего и засучив рукава. Самое характерное для Киплинга — любовь к злободневности, необыкновенная практичность, его своеобразный и постоянный интерес к трезвым, нетрагическим фактам. Но главное, он восхвалял труд, и не менее упорно, чем когда-то это делал Карлейль⁸. И он обращался не только к высокопоставленным, но и к простому человеку, к добывающим в поте лица свой хлеб простым людям, которым при всем их желании слушать и понять все же бесконечно далека напыщенная фразеология Карлейля. Делай дело, которое у тебя

под руками, и делай его в меру всех своих сил. Не так уж важно в конце концов, что это за дело, раз оно что-то значит. Делай его. Делай его и вспоминай бесполого и бездушного Томлинсона, которого не пустили на небо.

Многие века люди двигались ощупью, бесцельно теряя время, брели впотьмах; и на век Киплинга выпала доля насладиться солнцем, или, другими словами, сформулировать власть закона...

«Но он же вульгарен, он ковыряется в грязи жизни», — возражают суетливые джентльмены, люди Томлинсона. Хорошо, а разве жизнь не вульгарна? Разве можно разъединить факты жизни? В ней много здорового, но много и нездорового; и разве можно спасти свои одежды, заявляя: «Это меня не касается»? Разве можно утверждать, что часть больше целого? Что целое больше или меньше суммы его частей? Что же до грязи жизни, зловоние оскорбляет вас? Ну и что же? Разве вы не терпите его? Почему же вы тогда не очистите воздух? Вы требуете фильтр для очистки лишь своей собственной порции? А очистив, вы гневаетесь из-за того, что Киплинг снова замутил ее? Он по крайней мере замутил ее здоровым, насытил ее энергией и доброй волей. На поверхность он поднял не просто осадки со дна, но самые существенные ценности. Он рассказал будущим поколениям о нашей низости и наших похотливых желаниях, но он также рассказал будущим поколениям о том важном, что спрятано под этой низостью и похотливыми желаниями. И он к тому же учил нас, всегда учил нас быть чистыми и сильными и идти, как подобает, прямой дорогой.

«Но у него нет чувства сострадания», — пищат суетливые джентльмены. «Нас восхищает его искусство и блеск интеллекта, нас всех восхищает его искусство и блеск интеллекта, его ослепительная техника и редчайшее чувство ритма, но... он совершенно лишен чувства сострадания». Минуту, друзья! Как это понимать? Нужно ли ему пересыпать свои страницы сострадательными эпитетами в таком количестве, в каком провинциальный наборщик пересыпает их запятыми? Конечно, нет. Все не так просто, милые джентльмены. Много на свете было остряков, и самый остроумный, как известно, никогда не улыбает-

⁸ Томас Карлейль (1795—1881) — шотландский историк, философ и очеркист.

ся, даже в самый критический момент, когда слушатели давятся от смеха.

Так и с Кипплингом. Возьмите, например, «Вампира». Сетуют на то, что в нем нет и намека на сочувствие к человеку и его гибели, нет и намека на урок, нет сострадания к человеческим слабостям и негодования на бессердечность. Но разве мы дети из детсада и нам нужно рассказывать сказки по слогам? Ведь мы взрослые люди, способные читать между строк то, что Кипплинг хотел, чтобы мы прочли между строк. «Ибо что-то в нем жило, но все остальное было мертво». Разве здесь не заключена вся печаль мира, наша скорбь, жалость и негодование? И каково же еще назначение искусства, если не возбуждение в сознании чувств симпатии к изображаемому явлению? Цвет трагедии красный. Разве не должен художник изображать и горячие слезы и тяжелое горе? «Ибо что-то в нем жило, но все остальное было мертво», — можно ли в этом случае более проникновенно передать сердечную боль? Или лучше, чтобы молодой человек, чуть живой и почти мертвый, вышел на авансцену и произнес проповедь перед рыдающими зрителями?

Для англосаксов XIX век был ознаменован двумя большими событиями: овладением существом дела и распространением расы. Здесь действовали три великие силы: национализм, коммерческий дух, демократия — перетряхивание рас, безжалостная, бессовестная *laissez faire*⁹ господствующей буржуазии и действительно работающее правительство в рамках иллюзорного равноправия. Демократия XIX века — это не та демократия, о которой мечтали в XVII веке. Не демократизм Декларации независимости, а то, что делается на практике, в жизни, именно это содействует выполнению задачи «уменьшения племен, живущих без закона».

Вот эти события и силы XIX века и воспел Кипплинг. Им посвятил он романс, в котором подчеркивает и передает объективное стремление, отражает побуждения расы, ее деяния и традиции. Даже в речь несущихся под парами локомотивов вдохнул он нашу жизнь, наш дух, нашу сущность. Точно так же, как он является нашим глашатаем, так и они — его глашатаи. А романс человека XIX века, судя по тому, как он выразил себя в XIX веке — шестерней и валом, сталью и паром, дальними путешествиями и приключениями, — был выражен Кипплингом в блестящих песнях для грядущих веков.

Если XIX век — век Хулигана, тогда

Кипплинг — голос Хулигана, потому что он является голосом XIX века. Кто же лучше его представляет XIX век? Мэри Джонстон¹⁰, Чарльз Мэджор¹¹, Уинстон Черчилль¹²? Брет Гарт¹³? Уильям Дин Хоуэллс¹⁴? Джилльберт Паркер¹⁵? Кто из них по настоящему представляет жизнь XIX века? Если забудут Кипплинга, то не вспомнят и «Д-ра Джекила и м-ра Хайда», «Похищенного» и «Дэвида Балфура» Льюиса Стивенсона? Конечно, забудут. «Остров сокровищ» Стивенсона станет классикой вместе с «Робинзоном Крузо», «Сквозь зеркало» и «Книгой джунглей». Его будут помнить за его очерки, его письма, за его философию жизни и просто самого по себе. Он будет горячо любим, как и был до сих пор горячо любим. Но за другие заслуги перед будущим, а не за те, о которых мы ведем речь. Ибо каждая эпоха имеет своего певца. Так же как Вальтер Скотт пел лебединую песнь рыцарству, а Диккенс бюргерскому страху поднимающегося класса торговцев, так и Кипплинг, как никто другой, пел гимн господствующей буржуазии, военный марш белого человека, шагающего по земному шару, торжественную оду коммерции и империализму. За это его и будут помнить.

Окленд, Калифорния,
октябрь, 1901 г.

Перевод с английского В. Бынова

⁹ *Laissez faire* (франц.) — позволять допускать, зд. развязность.

¹⁰ Мэри Джонстон (1870—1936) — американская писательница, завоевавшая популярность в конце XIX века историческими романами.

¹¹ Чарльз Мэджор (1856—1913) — американский писатель, автор исторических романов.

¹² Уинстон Черчилль (1871—1947) — американский писатель, автор популярных исторических романов.

¹³ Брет Гарт (1836—1902) — выдающийся американский прозаик и поэт.

¹⁴ Уильям Дин Хоуэллс (1837—1920) — видный американский писатель и литературный критик.

¹⁵ Джилльберт Паркер (1862—1932) — канадский писатель, автор рассказов и романов, среди которых нашумевший роман «Трон мужества» (1896).

Александр Бенуа

Мои встречи с И. С. Тургеневым

Упомянутый в публикуемой статье Гриша К., с успехом читавший лекции о творчестве Тургенева, — это гимназический товарищ будущего художника, Г. Калинин, Он, по позднему признанию А. Н. Бенуа, «отличался редким остроумием», «самостоятельно изучил великое множество литературных произведений как русских, так и в переводе, иностранных». Г. Калинин «обладал несомненным даром излагать свои мысли и серьезно готовился стать писателем <...>. Я пророчил Грише блестящее будущее...»¹, — вспоминает А. Н. Бенуа.

Статья — воспоминания художника раскрывает перед нами характер восприятия им творчества Тургенева в разные периоды жизни А. Н. Бенуа. Она написана с присущим Бенуа критикой блестящим и остроумием и свидетельствует о большой любви этого выдающегося художника к творчеству великого русского писателя И. С. Тургенева, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в настоящем году.

Публикация и примечания
Л. Н. Назаровой
(Ленинград)

Александр Николаевич Бенуа (1870—1960) — выдающийся русский живописец, художественный критик и историк искусств. М. Эткинд в своей монографии о нем подчеркивает, что литературное наследие А. Н. Бенуа огромно, ибо «в течение многих лет, публикуя в газетах и журналах регулярные обзоры художественной жизни России, он в сотнях статей анализировал важнейшие события в области изобразительных искусств, архитектуры, театра, музыки»¹.

Исследователь при этом вовсе не упоминает о статьях А. Н. Бенуа, посвященных русской литературе или отдельным ее представителям. Существуют ли, однако, такого рода статьи в его литературном наследии? Думается, что на этот вопрос можно ответить утвердительно, хотя, очевидно, что подобные статьи едва ли составляют значительную часть в творчестве этого талантливого художественного критика и историка искусств.

Ниже публикуется (с некоторыми сокращениями, отмеченными в тексте тремя точками, взятыми в ломаные скобки — <...>) статья А. Н. Бенуа, названная им «Мои встречи с И. С. Тургеневым».

Она написана художником к 60-летию со дня смерти писателя и, впервые опубликованная в парижской газете «Последние новости» (1933, 3 сентября, № 4547, стр. 2—3)², осталась до сих пор неизвестной советским читателям.

О том, что чтение Тургенева еще в юношеские годы производило на него сильнейшее воздействие, А. Н. Бенуа писал и позднее. Вспоминая о том, как он «с жадностью» «поглощал один за другим все знаменитые рассказы Тургенева, причем «наибольшее впечатление» оказывали на него «Ася» и «Вешние воды», А. Н. Бенуа подробно останавливается на «Призраках». «Я не только не смог бы в этой повести что-либо критиковать, но в целом я принял ее за нечто возможное, за жуткую и совершенно достоверную вещь. В течение многих ночей я после этого ждал, что и меня посетит прелестный призрак <...>. В конце концов муки, причиняемые мне капризами моей главной «пассии», и нежелание тургеневского призрака меня осчастливить так, как он осчастливил героя рассказа, — слились в одно сложное и необычайно нелепое чувство»³.

Да простит мне читатель столь эффектное, не лишенное претенциозности заглавие: к тому же в принятом понимании оно вовсе не соответствует истине. Тургенева я в глаза не видел и встретиться с ним лично не мог. Но я все же это заглавие оставляю, ибо как-никак оно выражает то, что я хочу сказать. Лично Ивана Сергеевича я не встречал, но он настолько был мне в разные моменты жизни близок, настолько мне казалось, что я и вижу и слышу его, что иначе как встречами я эти моменты весьма длительные, на годы растягивавшиеся моменты, назвать не могу. «Встречи» сменялись не менее длительными промежутками, когда я Тургенева «терял из виду», «разнакомливался с ним»,

¹ М. Эткинд, А. Н. Бенуа. 1870—1960. М. — Л., изд-во «Искусство», 1965, стр. 9.

² Вырезка из этой газеты любезно доставлена нам Т. А. Осоргиной (Париж).

³ А. Бенуа, Жизнь художника. Воспоминания. Том II. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1955, стр. 264.

⁴ Там же, стр. 355.

переставал его понимать, переставал его любить, но после того новые «встречи» бывали какими-то особенно для меня значительными.

«Первая встреча» с Тургеневым относится еще к моим гимназическим годам. Наверное не помню, в каком я был тогда классе и сколько мне было лет, но отчетливо вспоминаю ту хрестоматию, по которой надлежало изучать «образцы русской словесности». Хрестоматию я также ненавижу, как и все прочие школьные книги, как и ту самую казенную гимназию, с которой началось мое «среднее» образование (слава богу, позже я перешел в гимназию Мая⁵, о которой храню самую благодарную память)...»

Так вот в этой хрестоматии рядом с выдержками из Пушкина и Гоголя, рядом со стихотворениями Кольцова были и дватри отрывка из «Записок охотника» и только потому, что они значились в этой книге, что надлежало «уметь их читать» в классе или корпеть над ними, разбирая строение их фраз и выискивая в них мысли для «письменной задачи», только поэтому мне был противен один вид их, одни их заглавия...»

Такова была моя «первая встреча» с Тургеневым, и ничто в ней не предвещало, что он станет моим любимым автором. Но прошел год, а то и два, и наша «вторая встреча» случилась при совершенно изменившихся обстоятельствах. В это время великий писатель уже скончался в Париже, и тело его было перевезено в Петербург. Тургеневу были устроены памятные в истории русской литературы похороны, столь торжественные и внушительные, что это даже возмутило людей «благоразумных». И у нас за семейными обедами шли горячие споры о том, позволительно ли было хоронить «сочинителя» с такой помпой и не было ли в этом безобразного преувеличения⁶. Я был живо заинтересован этими спорами, ибо за это время уже успел вернуться из отрока в юношу, и иные литературные вопросы начинали меня волновать сильнее, чем раньше, утратив совершенно свой «привкус гимназического учения».

А тут как раз издатель Глазунов поднес моему отцу только что выпущенное им Полное собрание сочинений Тургенева, и хоть мне и было сказано, что чтение это «не для меня», но так как прямого запрета не последовало, то я все же попробовал ближе познакомиться с тем, о ком все говорили, и от первой же пробы я сразу пере-

шел к упоению. Зброшены были уроки и даже игры, шалости. Я весь без остатка ушел в Тургенева...

Один только том оставался без прочтения — это именно «Записки охотника». На них оставался для меня налет опустыленной гимназической скуки. Меня что-то раздражало в самих названиях и сопоставлениях: «Хорь и Калиныч», «Чертопханов и Недолюскин», «Ермолай и мельничиха». Мне не нравились (все в связи с гимназическими воспоминаниями) непонятные слова — лебедям, бирюк; мне было противно заглавие «Гамлет Щигровского уезда». Как раз я только что тогда видел на сцене самого Сальвини⁷, я всей душой переживал (разумеется, совершенно по-мальчишески) драму и особенно роман принца датского, и мне казалось уродливым сопоставление его имени с названием какой-то провинциальной труппы. «Записки» были мной оставлены в стороне, зато с тем большим увлечением я проникнул во весь остальной мир Тургенева, а через него я проникнул в жизнь вообще, знакомился со всей сладостью ее соблазнов и, разумеется, с соблазнами любовных радостей и страданий.

Знакомство с Тургеневым, казалось, открыло мне глаза на окружающее, но в особенности на то, что творилось во мне. Непосредственно до Тургенева моими кумирами были Вальтер Скотт, Дюма-отец, Сю, Всеволод Соловьев⁸ и т. п. Но боже, до чего кукольными, приблизительными, вздор-

⁵ В частной гимназии К. И. Мая в Петербурге А. Н. Бенуа учился в 1885—1890 годах (см.: А. Бенуа, Жизнь художника. Воспоминания. Том II, стр. 321).

⁶ Похороны И. С. Тургенева состоялись в Петербурге 27 сентября 1883 г. Для сопровождения погребальной процессии был назначен усиленный наряд полиции и жандармов (см.: Ю. Д. Левин, Одним нигилистом меньше! «Вопросы литературы», 1966, № 11, стр. 254—255).

⁷ Сальвини Томмазо (1829—1916) — знаменитый итальянский трагический актер. Гастролировал в России, в частности, в 1886 и 1900 гг. Лучшие его роли в трагедиях Шекспира, в том числе в «Гамлете».

⁸ Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель, создатель жанра исторического романа; Дюма Александр (Дюма-отец, 1803—1870) — французский писатель, автор авантюрно-исторических романов; Сю Эжен (1804—1857) — французский писатель; наиболее популярный роман его — «Парижские тайны» (10 тт., 1842—1843); Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903) — автор псевдоисторических романов, имевших некоторый успех благодаря занимательности фабулы.

ными показались мне теперь все их герои рядом с тургеневскими — туда-сюда меня продолжали убеждать в своем реальном существовании все «Четыре» мушкетера, Бальзамо, Мезон-Руж, Сергей Горбатов⁹ — словом, мужской персонал этих исторических романов, но как померкли все «дамы», начиная от благородной графини Шарни и кончая коварной «Милэди»¹⁰. Разве могли выдержать сравнение эти условные маски с совершенно живыми людьми Тургенева, с совершенно такими же людьми, какими были наши родные и знакомые, какими были мои друзья и товарищи, каким был я сам, а главное, какими были те особы женского пола, к которым я начинал относиться все с большим и с большим интересом.

Но не только люди у Тургенева мне казались «нашими людьми», почти портретами, скопированными с натуры, но и все, о чем он говорил, в описаниях полностью соответствовало окружающей меня обстановке. Как раз к этому моменту относится мое первое знакомство с деревней, с усадебным бытом, и все читать про то, прелесть чего передо мной только что раскрылась, читать это в таких метких, простых, дышащих подлинностью описаниях — это особенно способствовало тому, что все тургеневское сделалось для меня совершенно близким, родным.

Мне скажут, что 1880-е годы в России очень отличались от тех 1830-х и 40-х годов, в которых «происходят» мои любимые тургеневские романы, но этой разницы я совершенно не замечал, да, в сущности, и разницы не так уж было много; весь дух русского общества, несмотря на отмену крепостного права, на изменение экономических условий, продолжал оставаться во многом таким же, каким он был за сорок лет, и особенно это было так в нашем доме, с его старыми слугами, со всем его старомодным укладом.

Впрочем, Тургенев был тогда принят мною целиком и вовсе не только в его «реалистическом аспекте»<...> «Призраки» буквально свели меня с ума<...> Как раз тогда у меня, четырнадцатилетнего мальчика, происходил роман, казавшийся мне роковым и убийственным; я был вообще расстроен во всем своем составе (одно из тургеневских выражений), и мысли о смерти и о какой-то чувственной загроможденной жизни преследовали меня. И вот сверхъестественные похождения с каким-то сифилом представлялись мне верхом мучительного счастья... Словом, я был тогда так

же очаровательно нелеп, как Вольдемар из «Первой любви», но я так же, как он, умел страдать, а от страданий переходить к беспредельному экстазу.

Рядом с «Призраками» «Первая любовь» и была той повестью, которая более всего меня трогала, я ее читал и перечитывал. Она оказалась более всего созвучной с моими тогдашними настроениями, и до сих пор представляется для меня удивительным, что Иван Сергеевич в сорок с лишком лет мог до такой степени точно и верно передать страдания юной души, страдания русского Вертера, усугубленные всеми специфическими особенностями русских нравов. О, эта Зинаида, эта княжна <...> — до чего ясно я ее видел, до чего мне были знакомы и ее голос и ее манера улыбаться, взглядывать, ее легкая поступь, ее жестокие шутки. И все то, что окружало ее, я как бы знал по личному опыту, видел собственными глазами — эту дачу с колоннами, эти два флигеля, этот перегороженный сад и эту оранжерею в развалинах. На совершенно такие же «подвиги», как тот, что легкомысленно потребовала от Володи Зина, был способен и я. Случилось же мне полные трое суток голодать, чтобы как-нибудь задобрить покровительствующие любви силы, случилось же и мне изрезать перочинным ножом всю правую ладонь, за то, что я совершил, как мне казалось, какое-то «преступление» в отношении дамы моего сердца.

И во всем этом нелепом мальчишестве вымыслы Тургенева и мои собственные совершенно искренние переживания сплетались настолько неразрывным образом, что было невозможно распутать, что из творившегося во мне и творившегося мною было следствием литературных увлечений, а что в моих литературных увлечениях являлось отзвуком моих действительных переживаний...

⁹ «Четыре» мушкетера — Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян — герои романов А. Дюма-отца: «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845) и «Десять лет спустя, или Виллонт де Бражелон» (1848—1850). Бальзамо и Мезон-Руж — герои романов того же автора «Записки врача» (1846—1848) и «Кавалер де Мезон-Руж» (1846); Сергей Горбатов — герой романа В. С. Соловьева: «Сергей Горбатов» (1831), «Вольтерьянец» (1882) и «Старый дом» (1883).

¹⁰ Графиня Шарни и «Милэди» — героини романов Дюма-отца «Графиня Шарни» и «Три мушкетера».

Я <...> не распространяюсь о тех впечатлениях, которые произвели на меня тогда «общественные», «главные» романы Тургенева. Читал я их с напряженным вниманием, они на многое открывали мне глаза, знакомили с такими вопросами и идеями, о которых я имел уже до того очень смутное представление. Как раз тогда ко мне был приглашен репетитор, юный, очень бедный и очень талантливый студент (впоследствии занявший выдающееся место среди петербургских публицистов), и вот с ним я мог во время затягивавшихся между занятиями антрактов вдоволь обсуждать все возникавшие при чтении «Отцов и детей», «Нови» и «Дыма» вопросы. Но вообще к этим вопросам я горел прохладным пламенем <...>.

Тогдашняя моя «близость с Тургеневым» продолжалась несколько лет, но затем ее как бы стали вытеснять новые явления...

Упоение Бальзаком, Флобером, Золя¹¹ и особенно Толстым. Тургенев постепенно спустился до уровня Доде, Жорж Санд¹². Его не перечитывали, прежние впечатления не проверялись, его просто забывали, а забывая, сочиняли ему не очень лестную характеристику, согласно которой он становился каким-то олицетворением безразличного барина и человеком, абсолютно лишенным искренности, тогда как искренность в ту пору становилась превыше всего, за нее можно было простить даже всякие плачевные недочеты.

Это наше (говоря наше, в эти годы я познал силу групповых объединений) отношение вылилось, между прочим, и в ряде докладов, прочитанных одним из моих приятелей в том подобии самообразовательного клуба, из которого затем вырос «Мир искусства». Гриша К.¹³ был очень неглупым и очень талантливым молодым человеком. Его лекции были интересны и сравнительно довольно почтительны в отношении Тургенева. Но уже никакого энтузиазма в них не проявлялось, хоть и он в свое время пережил культ автора «Первой любви». Много говорилось о стилистическом искусстве, о писательской виртуозности, о «языке» Тургенева. Распространялся также лектор и о ранних не совсем симпатичных черточках в личности Тургенева, об его коварстве, об его ненадежности, о некоторой его трусости (большое впечатление произвел рассказ о пожаре на пароходе), но почти ничего не говорилось о том, чем лет пять или шесть мы увлечались, что перевернуло тогда всю нашу

душу, что явилось главным элементом в воспитании нашего сердца, в процессе нашего осознания себя.

А затем и вовсе Тургенева забыли; я лично забыл его почти начисто; я помнил, что я «этого человека» когда-то любил, но каков был сам человек, я бы уже не сумел рассказать. Переживая такое же увлечение Чайковским, Левитаном, Серовым¹⁴, вспоминался иногда Тургенев «как певец усадебного быта», как первый русский «пейзажист». Отмечали сходство музыки «Онегина» с настроением тургеневских дворянских гнезд, а любясь картинами осени, зимы, весны Левитана, Серова, Коровина¹⁵, мы вспоминали, что такие же картины вставали перед глазами, когда мы зачитывались Тургеневым. Но дальше констатирования подобных аналогий дело не шло. Единственно неоспоримыми оставались «стиль» Тургенева, легкость и пушкинское совершенство его языка, которые противопоставлялись небрежности, сумбурности стиля Достоевского и массивной тяжеловесности стиля Толстого. Но и к стилю Тургенева выработалось такое отношение, как то, что существует, ко всему, что считается классическим. Его «признавали», его цитировали, его ставили в пример, но его не любили. Самая его безупречность казалась близкой к холодной вылощенности. Русское общество тогда в

¹¹ Бальзак Оноре де (1799—1850) французский писатель, крупнейший представитель французского критического реализма; Флобер Гюстав (1821—1880) — французский писатель-реалист; Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель, теоретик натурализма во французской литературе.

¹² Доде Альфонс (1840—1897) — французский писатель-реалист; Жорж Санд (псевд. Авроры Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница, автор социальных романов.

¹³ Гриша К. — Калинин Григорий (см. вступительную статью).

¹⁴ Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — композитор; Левитан Исаак Ильич (1861—1900) — живописец, мастер реалистического пейзажа; Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и рисовальщик-реалист. «Левитан, Серов, Коровин... вот мастера, сумевшие передать истинную красоту русской природы <...> Левитан... — родной брат Кольцову, Тургеневу, Тютчеву» (А. Бенуа, История русской живописи в XIX веке. Изд-во «Знание». Спб., 1902, стр. 229).

¹⁵ Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — живописец и театральный художник, начавший с реалистических жанровых картин и пейзажей.

целом, что греха таить, «раззнакомлива-лось с Тургеневым», его как бы перепле-ли в золоченый переплет классика и... отставили на полочку.

И вот именно в качестве такого «раз-золоченного классика» (и отчасти движи-мый сентиментальным воспоминанием о своем прежнем увлечении) я преподнес Полное собрание сочинений Тургенева сво-ей старшей дочери, когда ей минуло сем-надцать лет. «Самый подходящий подарок для молодой девушки» — гарантированная безвредность и «полезная образцовость». Пусть прочтет теперь, пусть через такого «абсолютно порядочного» писателя «не-множко» познакомится с русской жизнью... Не знаю, принес ли именно эти плоды мой подарок, но принес он, во всяком случае (несколько позже), совершенно непредви-денные плоды — и не столько дочь моя почерпнула из него пользу, сколько я сам благодаря этому подарку «снова встретился с Иваном Сергеевичем». Встретился сначала с некоторым недоверием, но затем посте-пенно от «холодного возобновления знаком-ства» я перешел к изумлению, к восторгу; наслаждение от раскрывающейся красоты правды становилось глубже и глубже. Но я не скажу, что в этом чувстве воскресло бы мое юношеское увлечение Тургеневым. Это было совершенно новое чувство, чувство, отве-чающее всей той душевной сложности, ко-торая образовалась в результате целой жизни, со всеми ее муками, сомнениями, ужасами и недоумениями.

Попался мне первый том под руки совершенно случайно<...> Взял я его так, чтобы развлечься, освежиться<...> Но странное дело, раз взявшись за первую книгу, я так и не переставал читать Тур-генева, пока не одолел все десять томов, а когда я кончил последний, то захотелось еще и еще перечитать все наиболее пора-зившее.

И на сей раз на первом месте оказа-лись рядом с «Первой любовью», с «Веш-ними водами» — «Записки охотника». При этом я не мог надивиться тому, как та-кого поэта можно было заподозрить в по-зерстве, в фальши, в «барском сюсюка-нии»? Как можно было такому подлинно-му художнику выдать аттестат «образцо-вого», но холодного стилиста, как можно было этому мудрому сердцеведу отказать в глубине, в знании заветных и сердечных тайн?

Но я не стану распространяться о всем том, что я нашел в Тургеневе при этой последней моей с ним «встрече». При-шлось бы написать томы, пришлось бы ко-ржавым языком комментатора, своими сло-вами, при помощи бесчисленных цитат по-ведать вещи, которые ныне совершенно очевидны. Но одно мне все же хочется прибавить: накануне мучительной разлуки с родиной я именно благодаря Тургеневу еще раз увидел ее всю в целом — и во-все не в каком-либо прибранном, подсла-щенном виде. В частности, «Записки охот-ника» не оказались «сборником этюдов с природы, составленных изучающим пейзазов барином», — нет, это в своем роде кака-то печальная, но и очень полная, глубоко взволновывающая энциклопедия о русском человеке, о русской жизни и о русской земле, книга, уже пропитанная той ностальгией, которой болел всю жизнь добровольно оторвавшийся от России Тур-генев¹⁶ и горечь которой и нам теперь при-шлось отвеждать...

¹⁶ Тургенев последние годы постоянно жил за границей (во Франции) вместе с семьей знаменитой певицы П. Виардо, бывшей большим его другом. Весной или в летние месяцы он почти ежегодно приезжал в Россию.

Зоя Воскресенская

В ССЫЛКУ

Рассказ

Февральская метелица гудела и посвистывала по питерским улицам, наметала косые синие сугробы на панелях, обдавала снежной пылью, перехватывала дыхание.

Мария Александровна прохаживалась вдоль тюремной стены и не отрывала глаз от зеленого квадрата дверцы. Каждый раз, когда скрежетал ключ в замке и громыхал засов, она подавалась вперед, как настоженная птица вытягивала голову из воротника ротонды — вся в нетерпении, вся в ожидании.

Дверца распахивалась, над высоким железным порогом сначала появлялась нога в сапоге, за ней вываливалась фигура жандарма в голубоватой шинели. Мария Александровна снова втягивала голову в плечи и опять шагала. Порой она останавливалась и с тревогой поглядывала на свои руки в вязаных нитяных перчатках и, разведя их в стороны, смотрела под ноги, словно что-то обронила. Нет, ничего не обронила, но пальцы не ощущали привычной тяжести узелка с передачей. Сегодня она пришла в тюрьму с пустыми руками, без связки книг, без бутылок с молоком, даже не взяла с собой ридикюля, чтобы вот этими свободными от ноши руками обнять сына.

Сегодня его должны выпустить из тюрьмы на свободу... Мария Александровна грустно улыбнулась. На свободу... Чтобы отправиться в ссылку. Сколько он пробудет дома? Нет, не дома, а в кругу семьи. Никакого дома нет, дом был, а сейчас случайные меблирашки, хозяйские неуютные квартиры. Но разве в этом счастье? Дом там, где семья. А всем вместе, кажется, быть не суждено. Она, мать, поедет с Владимиром в Сибирь, он не будет в ссылке один. Разрешение на ее поездку

уже получено, но Володя об этом еще ничего не знает.

Лучики-морщинки разбежались от уголков засветившихся глаз матери. Он, конечно, будет возражать и все равно обрадуется...

Уже много раз с визгом распахивалась дверца в тюремной стене, а его все нет. Метелица запушила белым мехом ротонду, превратила козий воротник в горностаи.

Четырнадцать месяцев ходила Мария Александровна к этим воротам, протягивала в окошко узелок с передачей, четырнадцать месяцев не было и часу покоя. Чем кончится дело? Засудят на каторгу? А может быть... Как бы ни заверяли ее дети и друзья, что дело кончится ссылкой, а вот десять лет пульсирует в сердце рана. Десять лет назад она ехала с передачей к старшему сыну и еще не знала, что Саше уже не нужно молоко, что его повесили в ту ночь... И сейчас, пока не прижмет к себе Владимира, не услышит, как бьется его сердце, ничему не поверит, не успокоится.

Почему его так долго нет? А впрочем, часы не назначены, просто объявили, что выпускают из тюрьмы 14 февраля.

Прюнелевые ботинки вытаптывают елочной тропинку вдоль тюремной стены, и, как бы ни заметала следы метелица, тропинка становится все глубже, все явственнее.

«Как это я раньше не догадалась, что мне тоже нужны валенки, в прюнелевых башмаках в сибирской деревне не обойдешься? Все ли я подготовила для сына?» — перебирает в памяти мать. Валенки есть, и теплое белье припасла, и отцовская шуба будет хорошей защитой от сибирских морозов. Не одну сотню верст исколесил в этой шубе по Симбирской губернии Илья Николаевич и не думал не гадал, что она пригодится среднему сыну в ссылке; и никогда отцу не приходила в голову мысль, что так страшно оборвется жизнь его старшего сына Александра...

Снова заскрежетал засов, и в темном проеме вдруг неожиданно появился он, Володя, появился весь сразу, перемахнул через порог, широко распахнул руки и озорно засмеялся. Мать подалась вперед, а ноги словно пристыли, не двигаются, рванулась раз, другой, схватила за руку сына и потащила его прочь от тюремных ворот, от этих стен.

— Скорее, скорее домой, — торопила Мария Александровна. — Аня ждет.

Владимир Ильич прижимает мать, стря-

хивает с ее плеч снег, и мать слышит стук сердца, его сердца.

— Нам надо взять извозчика, — разомкнул, наконец, руки Владимир Ильич.

— Нет, нет, пойдем пешком, Сергиевская всего в полутора кварталах отсюда.

— Но мне нужен по крайней мере ломовой извозчик, — смеется Владимир Ильич. — Столько книг накопилось.

Надзиратель, согнувшись под тяжестью перевязанных шпагатом тюков, протискивался через дверцу. Владимир Ильич окликнул проезжавшего мимо легкового извозчика, пересчитал тюки, уложил их в санки и протянул надзирателю монету.

— Премного благодарен, ваше высокоблагородие, — низко кланялся надзиратель, — премного благодарен.

Владимир Ильич взял под руку мать.

— Вот видишь, только перешагнул порог тюрьмы и сразу стал высокоблагородием.

— И этот титул стоит пятиалтынный, — улынулась Мария Александровна.

Они шагали следом за извозчиком, санки доверху были нагружены книгами.

— Я хорошо поработал, — с удовольствием потер руки Владимир Ильич. — Когда в камере делали обыск, у жандармов не хватало терпения перебирать все книги.

Извозчик повернул со Шпалерной на Литейный проспект, прямая, широкая стрелка которого терялась в затуманенной вьюжной дали.

— Какой простор! — воскликнул Владимир Ильич. — Мне кажется, что Литейный стал за это время в десять раз шире и длиннее. И как оглушительно шумно и какая веселая метелица.

— Все было бы отлично, если бы впереди не было Сибири! — заметила с грустью мать.

— Впереди жизнь, свобода, впереди уйма дел, мамочка, и так много прекрасного впереди, — горячо откликнулся Владимир Ильич.

Извозчик въехал во двор дома на Сергиевской улице. Владимир Ильич отметил — двор проходной и из него выход на три улицы. Отлично. Все учтено, квартира выбрана по всем правилам конспирации.

Анна Ильинична, закутавшись в пуховый платок, бежала с крыльца. Перетащили тюки, Владимир Ильич старательно отряхнул с книг снег, сложил их в углу комнаты.

— А теперь — здравствуйте! — сказал весело.

И вот уже гремит на кухне рукомойник. Владимир Ильич кидает пригоршни воды

в лицо, мать стоит рядом с полотенцем, сестра держит в руках свежую рубашку, а потом все трое ходят друг за другом по комнатам.

— Прелестно, замечательно, — говорит Владимир Ильич.

— Тебе нравится наша квартира? — удивляется Анна Ильинична.

— Мне нравятся окна без решеток, мне нравятся эти чудо-двери, которые распахиваются, едва к ним притронешься, двери без железных засовов и глазков. Глазки в дверях — это мерзость. Мне все нравится, что распахивается в жизнь, в мир — большой, просторный, незарешеченный.

Наконец мать уговорила сестру за стол.

— Все чудо, великолепное чудо, — восхищался Владимир Ильич. — Рядом мамочка, Анюта, вот бы сюда Маняшу, Митю и Марку. И можно говорить простым человеческим языком, не опасаясь надзирателей. Вилка, нож — это чудо цивилизации, белая фарфоровая чашка — тоже чудо.

Разговор вперебой, обо всем, и все трое обходят главный вопрос — когда отправляться в ссылку.

— Четыреста тридцать три дня ты просидел в одиночке, — говорит мать.

— Ты считаешь, много? По-моему, маловато, — отвечает Владимир Ильич почти всерьез. — Не успел закончить работу над книгой о рынках. Сначала ужасно раздражал глазок, а потом я приноровился не смотреть на него, а только слышать, как надзиратель отодвигает задвижку, и он, наверно, страшно удивлялся, что я все время жую, а я жевал хлебные чернильницы. Кстати, Анюта, тебе хорошо удалось разобрать программу?

— Отдельные страницы слабо проявились — надо, чтобы ты проверил.

— Это у меня молоко скисло. Ужасно досадовал.

— Как ты вырос, Володя, — с невольным уважением сказала Анна Ильинична.

— Это просто у меня лысина увеличилась, — отшучивался Владимир Ильич.

— Нет, я о программе. Замечательный документ.

Переписывая проявленные горячим утюгом строчки проекта программы социал-демократической партии, Анна Ильинична по-инюму увидела брата. Это был уже не тот юноша в Кокушкине, который со страстью накинулся на марксистскую литературу, и не тот, который, работая в Самаре, в нелегальных кружках, разбирался сам и помогал другим разбираться в русском народничестве и овладеть марксизмом.

Перед ней предстал убежденный марксист, руководитель, видевший далеко вперед.

— Я представляю, как полиция с ног сбилась — руководство «Союза борьбы» арестовано, а листовки от его имени издаются, рабочие получают руководство, как вести борьбу, организовывать стачки.

— Вот-вот, это и нужно было показать, что организация существует, действует. И знаешь, Анюта, кого мы должны благодарить за все это? Мамочку!

Мария Александровна не на шутку рассердилась.

— Ну что ты говоришь, Володя, при чем тут я!

— А молоко?

— Да, но молоко тебе носили и Анюта, и Маня, и Надежда Константиновна. Только я долго не могла догадаться, почему ты просишь сырое молоко и черный свежий хлеб, опасалась за твой гастрит.

— Мамочка, а ты не помнишь, что секрету молочных чернил обучила нас ты?

— Но это была простая детская игра, — пожалала плечами мать.

В далеком детстве, когда еще был жив Илья Николаевич, зимними вечерами мать затевала с детьми игры в шарады, загадки.

Однажды Мария Александровна положила на стол листок бумаги и предложила детям прочитать на нем известное четверостишие Пушкина.

Дети по очереди вертели в руках чистый листок, просматривали его на свет, приставляли к зеркалу, но на бумаге не было никаких следов.

Володя унес листок в другую комнату и, вернувшись, сказал:

— Я прочитал в темноте, здесь написано: «Зима! Крестьянын, торжествуя, на дровнях обновляет путь...»

— Не хитри, — погрозила пальцем мать.

— «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» — стала декламировать Аня.

Саша сидел и, запустив пальцы в кудри, пытался разгадать мамину хитрую загадку.

— Ну что, сдаетесь? — спросила она весело.

— Сдаемся! — хором закричали дети.

— На этом листке написано четверостишие из «Руслана и Людмилы», — торжественно объявила мать.

— Но это надо доказать! — возразил Володя.

— Хорошо! — согласилась Мария Александровна. — Для этого мне нужна волшебная лампа Аладдина. Зажгите папину лампу и принесите ее сюда.

Саша принес лампу под зеленым абажуром и поставил ее на ломберный стол. Аня спустила лампу-«смолию», потушила ее. Глаза матери лукаво щурились. Она подняла двумя пальцами листок над лампой и, сделав таинственное лицо, прошептала:

— Появитесь, волшебные строки! — Дети, замерев, следили за руками матери. — Раз, два, три! — Мария Александровна медленно опустила листок на стол, провела по нему ладонью, дунула и перевернула. Малыши ахнули. На чуть опаленном листке ярко проступили коричневые буквы:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

— Химические чернила! — в восхищении воскликнул Саша. — Но чем ты писала?

После долгих уговоров мама, наконец, согласилась открыть секрет. Таинственными чернилами оказалось простое молоко.

И когда Владимира Ильича втолкнули в одиночную камеру и за ним загремел заков, мысль стала напряженно работать над тем, как наладить связь с волей, чтобы рабочие знали, что «Союз борьбы» живет и действует. Надо было заполнить время напряженной работой, сделать все, что было задумано на воле: разработать программу революционной социал-демократической партии, написать давно задуманную книгу о развитии капитализма в России, чтобы завершить идейный разгром народничества. Надо, наконец, переписываться с товарищами в тюрьме и оставшимися на воле. Но как это сделать? Эзоповским языком листовку не напишешь. Владимир Ильич шагал по камере и мучительно думал. Думал о товарищах, думал о родных и, как бы разматывая клубок жизни, незаметно переселился в детство и вдруг вспомнил волшебную лампу Аладдина на ломберном столе, и мамыны руки над зеленым абажуром, и коричневые строки: «У лукоморья дуб зеленый...» Его охватило счастливое волнение. Молоко! Да, это было настоящее открытие. Написал домашним, чтобы принесли сырое молоко и мягкий черный хлеб. И мама, та самая мама, которая научила этому волшебному письму, вдруг запротивилась. Сырое молоко и черный хлеб! Ни за что! Опять обострится гастрит. Спился с Надеждой Константиновной, чтобы она взяла у его матери волшебную

лампу Аладдина. И Надежда Константиновна, умевшая, как никто, понимать Владимира Ильича, попросила Марию Александровну вспомнить все, что связано с лампой Аладдина. Мать вспомнила. Теперь секретом расшифровки тайнописи овладели товарищи на воле. Завязалась переписка и внутри тюрьмы. Больше ста писем написал Владимир Ильич тайнописью; два печатных листа проекта программы социал-демократической партии с объяснительной запиской к ней, были написаны молоком, и первомайская листовка, и брошюра о стачках. Когда Надежда Константиновна была арестована и тоже очутилась в камере на Шпалерной, Владимир Ильич написал ей тайнописью самое сокровенное, давно выношенное: «Я вас люблю». И все это молоком.

— Да здравствует молоко! — поднял Владимир Ильич стакан и залпом осушил его.

Мать, наконец, решилась спросить о главном:

— А когда тебе ехать в ссылку, Володя?

Владимир Ильич вздохнул.

— Сегодня вечером.

— Но это невозможно! — воскликнули Мария Александровна и Анна Ильинична.

— Да, я тоже считаю, что это невозможно. Мне позарез надо встретиться с товарищами, разработать план действий, выяснить, как здесь жили и работали без нас молодые, что-то похоже, что они решили идти по легкой дорожке, хотя свернуть движение на экономическую борьбу. Надо вырвать разрешение пробыть в Питере три дня, за три дня я все успею.

— Ну что ж, — сказала мать, — для этого не нужно волшебной лампы Аладдина. Я напишу прошение и сейчас же поеду в департамент полиции. Уверена, что не откажут. Аня, достань визитное платье, Володя, дай чернила, только не молочные.

Мария Александровна раздвинула тарелки на столе и, обмакнув перо в чернильницу, лукаво взглянула на сына.

— Не диктуйте и не мешайте, я знаю, что надо писать.

«Директору департамента полиции, — вывела она тонким почерком. — Сын мой, Владимир Ульянов, приговоренный к ссылке, выпущен только сейчас из заключения и явился ко мне с известием, что его обязали выехать из Петербурга сегодня же вечером. Но вследствие того, что мне невозможно собрать его в несколько часов (меня не предупредили о дне высылки его),

у него нет даже теплого белья на дорогу...»

Сын и дочь стояли за спиной матери и следили за бегающим пером. Анна Ильинична, прочитав последнюю строку, рассмееалась.

— Ты посмотри, Володя, сколько мама припасла тебе белья, и папину шубу, и валенки.

— Полиции это знать не обязательно, — резонно возразила Мария Александровна и продолжала писать:

«...и деньги, необходимые нам на дальнюю дорогу, я могу получить только завтра в банке...»

— Мамочка, — прервал ее Владимир Ильич, — почему ты пишешь «нам», надо писать «ему».

— Погоди, я потом тебе объясню.

«...к тому же мне необходимо быть с ним завтра у врача, я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить сыну остаться в Петербурге до вечера 17-го.

Я умоляю Ваше превосходительство не отказать мне в этой просьбе.

Мария Ульянова».

Мария Александровна осторожно приложила лист промокательной бумаги.

— В добрый час! — сказала она. — А теперь я объясню, почему я написала, что деньги нужны на дорогу «нам». Я еду с тобой в Сибирь и уже получила разрешение.

Владимир Ильич протестующе поднял руку.

— Да, Володюшка, это дело решенное. И поедем мы не по этапу. Говорят, что это мучительная процедура — тащиться от одной пересыльной тюрьмы до другой, поедем за свой счет. В департаменте полиции приняли во внимание, что я стара, чтобы таскаться по этапам, и мы едем вместе.

Владимир Ильич смотрел на мать с чувством обожания и какой-то неосознанной вины.

— Мамочка, — сказал он решительно. — Ты не можешь ехать со мной в ссылку, ты нужна здесь, а я должен следовать по этапу вместе с товарищами, я не имею права на привилегированное положение.

— Это дело решенное, — повторила мать тоном, каким говорила в детстве и который означал, что никакие разговоры по этому вопросу недопустимы. — Ты не можешь быть там один.

— А я и не буду один. Я надеюсь быть там с Надеждой Константиновной. Думаю, что ее дело тоже скоро закончится и она приедет ко мне как невеста... как жена, — произнес он тихо и нежно.

Мать почувствовала, что ее оставляют силы, что-то больно задело за сердце. Ведь она ждала и радовалась мысли, что у Володи будет жена, семья, догадывалась о любви сына и Надюши, и все же... Радость за счастье сына и горечь его потери, потери для себя. Извечная трагедия матери. Как сложно устроено материнское сердце... Но, как всегда, Мария Александровна сумела укрыть где-то в недоступном уголке души эгоистическое чувство, взглянув в глаза сыну, сказала:

— Твое счастье, Володя, — это мое счастье.

Владимир Ильич острым взглядом подметил душевное смятение матери и, когда она спросила его, может ли он выполнить ее просьбу и ехать не по этапу, понял, что это нужно ей, нужно для ее душевного покоя, что он не может огорчить ее, и твердо ответил:

— Хорошо, я поеду за свой счет.

Мать с благодарностью провела рукой по щеке сына, тоже поняла, что он поступил своими принципами ради нее.

— Надюша прелестная девушка, умница и товарищ отличный, — ликовала Анна Ильинична. — Маняша будет в восторге, она всегда предсказывала, что вы поженитесь.

— Да, да, Надюша будет отличной другой, лучшей жены и желать нельзя, — искренне сказала Мария Александровна и, спохватившись, заторопилась — присутственные часы в департаменте подходили к концу.

Владимир Ильич вызвался проводить ее. К департаменту подъехали за несколько минут до конца приема.

Мария Александровна легко взбежала на второй этаж и подала дежурному офицеру визитную карточку.

— «Вдова действительного статского советника Мария Ульянова», — прочитал офицер и, откозыряв, проскользнул за дубовую дверь.

— Пожалуйста, не задерживайте его превосходительство, — предупредил офицер, распахнув дверь в кабинет.

— Ваше превосходительство, — обратилась Мария Александровна к генералу, — только очень спешное дело заставило меня еще раз беспокоить вас. Вы были столь любезны и разрешили мне следовать в ссылку за моим сыном Владимиром Ульяновым. Но ему приказано выехать из Петербурга сегодня, и для меня это было полной неожиданностью, я не собралась и не купила в дорогу самое необходимое, — она протянула прошение.

Сановник взял двумя пальцами бумагу, пробежал ее глазами и вздохнул, раздумывая.

— Ваше превосходительство, только три дня! — умоляюще воскликнула Мария Александровна.

— Хорошо, хорошо, — с раздражением ответил генерал и, передав стоявшему рядом адъютанту прошение, продиктовал: — «Ввиду отъезда с матерью, разрешить. Упомянуть об этом в бумаге градоначальнику».

Подписывая резолюцию, генерал ворчливо заметил:

— Напрасно, напрасно в ваши годы вы отправляетесь в Сибирь. Не советовал бы. Пусть сын сам несет наказание за содеянное, не стоит баловать.

— Сердечно благодарю ваше превосходительство, — ответила Мария Александровна, думая о своем.

Владимир Ильич, едва взглянув на мать, по ее сияющим глазам понял, что разрешение получено. Три дня в Питере! Это победа, можно многое успеть, протянуть ниточки связей в далекую Сибирь, успеть поспорить, отстоять принципы, посмотреть на молодых, которым суждено продолжать их общее дело здесь, в Питере.

Владимир Ильич бережно усадил мать в санки, пристегнул полость.

— Сегодняшний вечер мы проведем вместе? — спросила мать.

— Мамочка, — шепнул Владимир Ильич, — мне необходимо сегодня же познакомиться с товарищами, и мне удобнее сойти по дороге. Если филеры и следят за мной, то дежурят возле дома, а не ждут меня здесь, у полицейского департамента.

Мария Александровна подавила вздох.

— Делай как лучше, тебе виднее. Только очень прошу, не задерживайся слишком поздно. Мы с Аней будем тебя ждать. Ты ведь и пообедаешь как следует не успел.

Снежная пыль мела в лицо, санки переваливались по ухабам, темнело, один за другим зажигались газовые фонари, и вокруг них роились тучи белых комаров — снежинок, загорались фонари у подъездов домов, в их свете искрились инеем гранитные цоколи. Невский выглядел торжественно и празднично в сияющем фейерверке снегов.

Поворачивая на Садовую, извозчик чуть придержал лошадей, Владимир Ильич прижал к губам руку матери, откинул полость и соскочил с подножки. Мария Александровна следила, как ее сын, подняв воротник пальто, словно растворился в косматой метелице...

С. Семанов

1896 год

Из угла в угол тесной комнаты энергичной походкой прохаживался невысокий коренастый человек, глубоко засунув руки в карманы брюк. На первый взгляд ему можно было дать лет тридцать, очевидно, потому, что его рыжеватые волосы сильно поредели, а это всегда придает более солидный вид даже совсем молодым людям. Но так казалось только на первый взгляд: под гладким, без единой морщинки лбом смотрели живые юношеские глаза. Движения и жесты были тоже совсем юношеские — резкие, порывистые, походка пружинистая, как бы сейчас сказали — спортивная. И чуть присмотревшись к этому человеку, становилось ясно: ему лет двадцать пять, не более. Так оно и было на самом деле.

Вся мебель той неуютной комнаты состояла из железной кровати, стола, приделанного к стене, и табурета. Ибо эта комната была тюремной камерой, а ее единственный обитатель — узником. Молодой узник остановился у стола, энергичным жестом придвинул табурет, сел и взялся за перо. За окном, забранном толстой железной решеткой, догорал недолгий зимний день. Зимний день в Петербурге 2 января 1896 года. Новогодний праздник только что шумно прокатился из конца в конец огромной России. Впрочем, не все встречали наступающий год шумно и весело. Помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов провел его в одиночной камере дома предварительного заключения, куда его привезли утром 9 декабря. Здесь, на Шпалерной улице, в камере № 193 он и встретил Новый год. Встретил в полном одиночестве, если не считать тюремного надзирателя, время от времени смотревшего в дверной глазок.

Итак, 2 января нового, 1896 года Ленин писал:

«У меня есть план, который меня сильно занимает со времени моего ареста, и чем дальше, тем сильнее. Я давно уже занимался одним экономическим вопросом (о сбыте товаров обрабатывающей промышленности внутри страны), подобрал некоторую литературу, составил план его обработки, кое-что написал, предлагая издать свою работу отдельной книгой, если она превзойдет размеры журнальной статьи. Бросить эту работу очень бы не хотелось, а теперь, по-видимому, предстоит альтернатива: либо написать ее здесь, либо отказаться вовсе. Я хорошо понимаю, что план написать ее здесь встречает много препятствий. Может быть, однако, следует попробовать?»

Так начал Ленин свое письмо — первое письмо из тюрьмы, которое до нас дошло. Если из этого отрывка опустить слово «арест», то впечатление будет такое, словно научный работник ведет спокойный деловой разговор в привычной для себя обстановке. Правда, в следующих строках уже сказывается своеобразный «местный колорит». Ленин продолжал:

«Литературные занятия заключенным разрешаются: я нарочно справлялся об этом у прокурора... Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет. Далее, книги разрешается возвращать обратно — следовательно, можно пользоваться библиотеками. С этой стороны, значит, дела обстоят хорошо. Гораздо серьезнее другие препятствия — по добыче книг. Книг нужно много, — я ниже предлагаю список... Некоторые книги придется, конечно, купить, и я думаю, что смогу ассигновать на это некоторую сумму. Последнее и самое трудное — доставка книг. Это уж не то, что принести парусную книжечку: необходимо периодически, в течение продолжительного времени, собирать их из библиотек, приносить и относить».

Письмо это адресовалось А. К. Чеботаревой, жене железнодорожного служащего И. Н. Чеботарева. Оба они были старыми друзьями семьи Ульяновых. Сам Чеботарев еще в студенческие годы стал близким товарищем старшего брата Ленина — Александра, одно время они даже жили вместе. Находясь под следствием, Ленин не случайно избрал именно его в качестве адресата. И сам Чеботарев и тем паче его жена не принадлежали к революционным организациям, поэтому жандармы не

могли заподозрить их и в причастности к петербургскому «Союзу борьбы», к которому принадлежал сам Ленин и его товарищи, как арестованные, так и находившиеся на свободе. При чтении письма возникает впечатление, будто книги — вот единственное, что Ленину требовалось от Чеботаревой. Именно так и восприняла это письмо многоопытная тюремная цензура, и оно беспрепятственно дошло до адресата. В конце письма была, в частности, такая непримечательная фраза:

«Может быть, вы сочтете необходимым передать это письмо кому-нибудь, посоветоваться, — а я буду ждать ответа».

Письмо передали «кому-нибудь», то есть соратникам Владимиру Ильичу, оставшимся на свободе. Анна Ильинична Ульянова вспоминала:

«А между тем Владимир Ильич в письме этом ни больше, ни меньше, как запросил товарищей о том, кто арестован с ним; запросил без всякого предварительного уговора, но так, что товарищи поняли и ответили ему тотчас же, а бдительные аргусы ничего не заподозрили... Запрашивал он, пользуясь кличками товарищей. Некоторые из них очень подходили к характеру нужных ему книг, и запрос не мог обратить внимания. Так о Василии Васильевиче Старкове он запросил: «В. В. Судьбы капитализма в России». Старков звался «Ве-Ве»... Однако же не все клички укладывались так сравнительно удобно в рамки заглавий научных книг, и одной из следующих, перемежаемых, конечно, рядом действительно нужных для работы книг была книга Брема «О мелких грызунах». Здесь... запрашивал с несомненностью для товарищей об участии Кржижановского, носившего кличку «Суслик». Точно так же по-английски написанное Майн Рид «Минога» обозначало Надежду Константиновну Крупскую, окрещенную псевдонимом «рыбы» или «миноги»... К сожалению, в памяти моей сохранились лишь эти несколько заглавий, по поводу которых мы когда-то немало хохотали».

Ответить на эти вопросы Ленина было теперь уже нетрудно, пользуясь его же методом. «Такая-то книга в библиотеке есть» означало: товарищ на свободе, «такая-то книга из библиотеки изъята» означало, естественно, что товарищ находится уже в руках жандармов.

Листы, сплошь исписанные названиями различных книг, Ленин отправлял из тюрьмы очень часто. Они, эти списки, не сохранились, но по единственному свиде-

тельству очевидцев можно предположить, что книги посылались Ленину десятками, а всего в его камере побывали сотни самых различных изданий. В тюрьме он решил воспользоваться невольным досугом, предоставленным ему жандармами, и всерьез изучить современное экономическое положение России. И это было насущной, актуальнейшей задачей дня. Теоретические споры молодых марксистов с молодыми и немолодыми народниками о том, по какому пути идет развитие страны, — эти споры были еще в самом разгаре. Казалось бы, что капитализм в России победил невзвратно. Об этом гремели составы на железных дорогах, гудели фабричные трубы и волжские пароходы, скрежетали станики молодых русских заводов. Но нередко случается, что в тиши кабинета скрип собственного пера звучит сильнее, чем все бури всего мира. И народнические публицисты с упорством, похожим на упрямство, зачисляли все это мощное поступательное движение жизни в разряд случайностей. А за тогдашними народническими публицистами стояли авторитеты, к которым прислушивались целые поколения русских революционеров. Нет, все было не так просто, как кажется порой с высоты времени.

Итак, 2 января Ленин отправил на волю первый список необходимых ему для работы книг. Существует примета, что, мол, как человек проведет этот день, таков ему и выпадет год. И надо признать, что эта примета в отношении Владимира Ильича в 1896 году оказалась совершенно справедливой: весь год он провел в энергичных трудах, весь год неотрывно работал за письменным столом, весь год, находясь в одиночке, умело поддерживал связь с товарищами...

Для того чтобы углубленно работать в таких условиях, требовалась недюжинная сила воли. Ведь Ленин находился под следствием, его обвиняли в принадлежности к «противоправительственной партии». Если жандармам удастся получить доказательства, что именно он, Владимир Ильич Ульянов, является главным инициатором и идеологом петербургского «Союза борьбы», — приговор его ждет суровый.

На первый допрос Ленин был вызван еще 21 декабря. Допрос этот был довольно продолжительным, но обвиняемый уверенно обошел все следственные ловушки, и никакого нужного жандармам материала получить от него не удалось. Кстати сказать, и улики против Ленина имелось

еще очень мало. Вот почему его пока оставили в покое и занялись другими арестованными, надеясь собрать недостающие для обвинения материалы.

Пауза в допросах затянулась ни много ни мало, как на три месяца. Второй раз Владимира Ильича вызвали на допрос 30 марта 1896 года. Допрос вели жандармский следователь подполковник Филатев и помощник прокурора Кичин. В результате доносов двух шпионов и провокаторов жандармы теперь располагали уже немалыми сведениями о революционной деятельности Ленина среди петербургских рабочих, и надо сказать, что сведения эти были довольно-таки точны. Филатев допрашивал многословно, не торопясь.

Следствию известно о многочисленных посещениях обвиняемым рабочих квартир за Невской заставой. Не бывал ли обвиняемый в квартире рабочего Александровского завода Меркулова? Или в квартире рабочего Обуховского завода Шелгунова? И не расскажет ли обвиняемый, чем он занимался в этих квартирах? О чем говорил?

Ленин догадывался, что эти сведения жандармы могли получить только у предателя. Кто же он? Ясно, что его имени жандармы не станут называть. Значит, и не смогут устроить Ленину очную ставку, чтобы получить официальные доказательства для суда. А следовательно, пока можно все отрицать. И он заявил:

«В квартирах рабочих на Васильевском острове, за Невской и Нарвской заставами я не бывал».

Следователь не настаивал. Ладно, не бывал, так не бывал. И тогда жандармский подполковник выложил на стол свою козырную карту. Это были густо исписанные листки, которые он любезно протянул Ленину. Едва взяв их в руки, Владимир Ильич понял: да, это они, рукописи его статей, написанные для подпольной типографии. Отрицать, что они написаны не его рукой, бессмысленно. На это он ответил следующим образом:

«Относительно предъявленных мне рукописей: 1) листок, на котором указано «Рабочее дело»..., 2) рукопись о стачке ткачей в Иванове-Вознесенске, 3) стачка в мастерской механического изготовления обуви, — отобранных, по словам лиц, производивших допрос, у Анатолия Ванеева, — объясняю, что они писаны моей рукой, а также предъявляемая мне рукопись «Фридрих Энгельс»... писана мной, составляя перевод, сделанный мной во время

пребывания за границей и приготовленные для печатания в одном из русских изданий...»

От других объяснений Владимир Ильич отказался, и допрос был прекращен.

В дальнейшем Ленин вызывался на допрос еще дважды — 7 и 27 мая, и все к тому же два подполковнику Филатеву. Сперва следователь пытался вернуться к рукописям статей для подпольной печати, авторство которых Ленин признал. Неоднократно, с разных сторон следователь пытался вырвать у Владимира Ильича неосторожное слово о задачах намечавшейся к изданию подпольной газеты, о ее участниках, о том, кому и для чего передавал обвиняемый рукописи... На все эти вопросы Ленин отвечал одной лишь стереотипной и лаконичной фразой:

«К показанию своему от 30 марта сего года я добавить ничего не могу».

В конце концов Ленину перестали задавать вопросы на эту тему.

Еще очень интересовало следователей другое. Им было известно, что Ленин во время своей поездки за границу встречался в Швейцарии с Плехановым. Узнать подробности этой встречи жандармам было бы очень важно, так как тут появлялась возможность получить кое-какой материал о связях российского подполья с революционной эмиграцией. Ленин на допросе 7 марта ответил на это так:

«Относительно своей заграничной поездки объясняю, что я предпринял ее, поправившись только после болезни, воспаления легких, которою был болен весной 1895 года в С.-Петербурге... Ни в какие сношения с эмигрантами я не вступал».

Подполковник Филатев, однако, настаивал. Жандармы точно знали — и это было действительно так, — что Ленин имел несколько встреч в Швейцарии с Плехановым и вел с ним важные деловые переговоры. 27 мая допрос опять велся вокруг этой темы. Но Ленин снова категорически отрицал все:

«Так как по поводу предъявленного мне на предыдущем допросе указания, что есть сведения о моих сношениях за границей с эмигрантом Плехановым..., то я считаю нужным объяснить, что эмигрант Плеханов проживает, как я слышал, вблизи Женевы, а я ни в Женеве, ни вблизи ее не был и, следовательно, не мог пмечь с ним сношений».

Больше Ленин на допрос не вызывался. Жандармы, очевидно, поняли, что от него

не удастся добиться никаких полезных им сведений.

Между тем камера, где уже полгода находился в заключении Владимир Ильич, напоминала библиотеку. Небольшой стол, заваленный рукописями, был тесен для многочисленных книг, и они пачками громоздились на полу. Ленин штудировал ученые исследования об экономике России, изучал статистические сборники, составлял схемы и таблицы. Здесь, в стенах петербургской тюрьмы на Шпалерной, были заложены основы одной из самых важных и самой большой по объему работ Ленина — «Развитие капитализма в России».

Анна Ильинична Ульянова вспоминала об этом времени:

«К счастью для Ильича, условия тюремного заключения сложились у него, можно сказать, благоприятно. Конечно, он похудел и, главным образом, пожелтел к концу сидения, но даже желудок его, относительно которого он советовался за границей с одним известным швейцарским специалистом, был за год сидения в тюрьме в лучшем состоянии, чем в предыдущий год на воле. Мать приготавливала и приносила ему раз в неделю передачи, руководствуясь предписанной ему указанным специалистом диетой; кроме того, он имел платный обед и молоко. Очевидно, сказалась благоприятно и регулярная жизнь этой российской «санатории», жизнь, о которой, конечно, нечего было и думать при нервной беготне нелегальной работы... Одним словом, Владимир Ильич и в тюрьме проявил свою всегдашнюю кипучую энергию. Он сумел устроить свою жизнь так, что весь день был наполнен. Главным образом, конечно, научной работой... Раз, когда я сообщила ему, что дело, по слухам, скоро окончится, он воскликнул: «Рано, я не успел еще материал весь собрать». Но и этой большой работы было ему мало... Он был занят вопросом программы. И вот он стал пробовать писать в тюрьме нелегальные вещи. Передавать их шифром было, конечно, невозможно. Надо было применить способ незаметного, проявляемого уже на воле письма. И, вспомнив одну детскую игру, Владимир Ильич стал писать молоком между строк книги, что должно было проявиться нагреванием на лампе...

Помню, что Владимир Ильич в те годы и перед тюрьмой и после нее любил говорить: «Нет такой хитрости, которой нельзя было бы перехитрить». И в тюрьме

он со свойственной ему находчивостью упражнялся в этом. Он писал из тюрьмы листовки, написал брошюру «О стачках», которая была забрана при аресте Лахтинской типографии (ее проявляла и переписывала Надежда Константиновна). Затем написал программу партии и довольно подробную «объяснительную записку» к ней, которую переписывала частью я, после ареста Надежды Константиновны».

Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской еще в период создания петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Совместная работа среди питерского пролетариата сблизила их, они сделались друзьями. Позднее Надежда Константиновна стала невестой Владимира Ильича. Во время пребывания в тюрьме конспиративная переписка Ленина с товарищами, оставшимися на воле, шла в основном именно через Крупскую. Впоследствии Надежда Константиновна вспоминала:

«Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень быстро. В то время заключенным в предварилке можно было передавать книг сколько угодно, они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв, или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 года я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг — в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, за-

варишь чай и как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай — письмо проясляется..., и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был в центре сношения с волей!»

Итак, в жизни Ленина миновал еще один год — 1896-й. Он встретил его в тюрьме и там же проводил. Много новых соратников Ленина было привезено сюда же, на Шпалерную, и тюремные двери захлопнулись с ними. Следствие все еще тянулось. Стойкость Ленина и его товарищей не позволила жандармам набрать достаточно обвинительного материала, чтобы предать их суду: улики были слишком зыбкими даже для их неправого и негласного суда. И тогда власти решили покончить дело так называемым административным порядком. Делалось это просто. Полицейское начальство писало соответствующую бумагу на имя министра внутренних дел с ходатайством об административной высылке людей, подозреваемых в революционном движении. Обычно министр не утруждал себя подробным рассмотрением дела, а оно, в свою очередь, утверждалось царем.

Так было и на этот раз. Следствие (тогда говорили — «дознание») закончилось. Относительно Ленина было сделано такое заключение:

«Привлеченный к дознанию в качестве обвиняемого помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов не признал себя виновным в принадлежности к социал-демократическому сообществу: отказался давать какие-либо объяснения о своем знакомстве с другими лицами и утверждал, что никогда не бывал в каких-либо кружках рабочих. Относительно найденных у него и у Анатолия Ванеева рукописей... он уклонился от дачи показаний, но не отрицал, что эти рукописи и найденные у него статьи о Ярославской стачке написаны им. Свою поездку за границу Ульянов объяснил желанием приобрести некоторые книги...»

Как видно, жандармы в своем итоговом документе не могли не отметить, что Ленин отрицал большинство обвинений. В сущности говоря, его можно было обвинить лишь в написание нескольких про-

кламаций. Все прочее, что ставилось ему в вину, доказать судебным порядком было бы крайне трудно. Но до суда дело не дошло. 27 января 1897 года Николай II утвердил ходатайство министра внутренних дел об административной высылке Ленина. В этом документе говорилось:

«Помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов летом 1895 года ездил за границу, где, по агентурным данным, вошел в сношения с эмигрантом Плехановым с целью установить способ для правильного водворения в Петербург революционной литературы, затем, по возвращении в Петербург, участвовал в составлении статей для подпольной газеты сообщества «Рабочее дело», руководил кружками Меркулова и Шелгунова за Невской заставой, посещал сходки у Ивана Федорова на Васильевском острове и квартиру Зиновьева и Карамышева в Огородном переулке, именуясь «Федором Петровичем», передав Меркулову деньги для поддержания рабочих, сделавших в ноябре 1895 года забастовку на фабрике Торнтона».

На этом основании Ленин был приговорен «по высочайшему повелению» на три года ссылки в Восточную Сибирь. В феврале 1897 года он на несколько дней был выпущен из тюрьмы. Выпущен для того, чтобы подготовиться к отправке в ссылку, в далекую снежную Сибирь.

1896 год в жизни Ленина закончился. Своеобразный итог его подвела в своих воспоминаниях Анна Ильинична Ульянова:

«Мы очень боялись долгого тюремного сидения, которого не вынесли бы многие, которое во всяком случае сильно подорвало бы здоровье брата... Поэтому приговор о ссылке на 3 года в Восточную Сибирь был встречен всеми прямо-таки с облегчением... В результате хлопот матери Владимиру Ильичу разрешено было поехать в Сибирь на свой счет, а не по этапу. Это было существенным облегчением, т. к. кочевка по промежуточным тюрьмам брала много сил и нервов... Владимир Ильич пошел в ссылку вождем, признанным многими. Первый съезд партии 1898 года наметил его редактором партийного органа, ему же поручил написать программу партии... Первый начальный этап движения был пройден».



Ф. Арский

Взлеты и падения Алкивиада

«Двух Алкивиадов Афины
не смогли бы выдержать».

Архестрат,
Афинский стратег

Для современников Алкивиад оставался загадкой. Они не понимали стремлений этого человека, которого боги столь щедро наделили талантами и пороками и на долю которого выпало столько славы и позора. Оценивали его противоречиво. Ни один античный историк, писавший о Пелопоннесской войне, не мог пройти мимо Алкивиада. Но очевидцам событий по обыкновению не хватало объективности. Потомкам же достались в наследство крайне пристрастные свидетельства. Правда, они по крайней мере знали исход драматической борьбы между Афинами и Спартой; «историческая дистанция» позволяла иначе осмысливать каждый эпизод этой борьбы и производить переоценку ценностей.

Объективности, однако, не прибавлялось. Историки вершили суд, руководствуясь принципами и моральными критериями

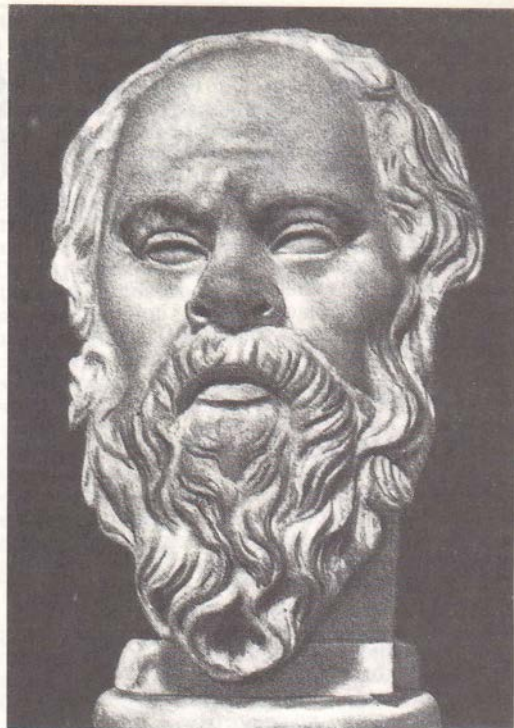
своей эпохи, молчаливо предполагая, что люди, жившие за много веков до них, должны были глядеть на мир теми же глазами, что и они. К тому же оценка Алкивиада зависела еще и от отношения к афинскому обществу в целом, от демократических или аристократических симпатий автора. В результате современному исследователю приходится иметь дело фактически с двумя биографиями деятеля, которого почти все писатели древности считали злым гением Эллады.

Честолюбец и взяточник, готовый продать родину и друзей. Кутила, развратник и нечестивец, для которого нет ничего святого. Изменник и трус, думающий лишь о собственном спасении. Виновник гибели афинского флота и поражения Афин в войне. Человек, который «чаще участвовал в походах с врагами против отечества, чем с афинянами против врагов, и по своей подлости был первым среди сограждан». Таким предстает Алкивиад в сочинениях ораторов Лисия и Андокида, хотя и враждовавших между собой, но объединившихся в ненависти к своему политическому противнику.

Талантливый полководец, дальновидный политик, разносторонне одаренный человек, мужественно переносивший удары судьбы. Истинный патриот, подвергавшийся несправедливым нападкам и ставший жертвой зависти и коварства. Так характеризуют Алкивиада ораторы Исократ и Демосфен, историки Ксенофонт и Диодор Сицилийский.

О заслугах и достоинствах Алкивиада, не отрицая, правда, его пороков, говорят также Фукидид, Платон, Плутарх, Корнелий Непот, которым, видимо, лично он все же не внушал особых симпатий. Плутарх сравнивал его с плодородной египетской землей, которая, по словам Гомера, «много злаков рождает — и добрых, целебных, и злых, ядовитых». «На этом человеке, — замечает Непот, — природа, очевидно, испытала все, что она может сделать. Все писавшие о нем согласны, что никто не превосходил его ни хорошими, ни дурными





качествами. Потомок знатного рода, выросший в знаменитом городе, он затмил красотой своих сверстников. Все, за что он брался, он делал с величайшим умением. Обладая выдающимся умом, он командовал войсками на суше и на море. Он был красноречив и главным образом благодаря этому достиг такого влияния, что в ораторском искусстве у него не было соперников. Он был богат и щедр, но, когда надо, трудолюбив и вынослив. Он любил блеск в общественной жизни и домашней обстановке, умел искусно приспособляться к обстоятельствам и ни в чем не знал меры. Он мог быть приветливым и лстивым, расчотительным, беспутным, сладострастным. И все удивлялись противоречивости его натуры, тому, как в одном человеке сочетались столь различные свойства» (Корнелий Непот, Алкивиад, VII).

Загадка Алкивиада, однако, не в этом. Кого ныне удивит тем, что в характере людей иногда сочетаются самые противоположные свойства, позволяющие им с одинаковой легкостью творить добро и зло! Для исторической же оценки гораздо важнее понять ту общественную атмосферу, в которой подобные люди могут действовать, — и притом не как частные лица, а как ведущие государственные деятели.

Большинство авторов признает, что Алкивиад был беспринципным политиком, что он был честолюбив, эгоистичен и, выражаясь современным языком, аморален. Но тогда почему подобная личность возносится на вершину славы? Почему общество отдаст свою судьбу в руки человека, на кото-

рого никто не мог положиться и который, по его собственным словам, доверял лишь самому себе?

Тайна Алкивиада не в нем самом, а в том, что он стал героем своего времени. Следовательно, суду истории подлежит не только он, но и само это время, то есть афинское общество второй половины V века до н. э., которому пришлось пожинать плоды того, что оно само же посеяло.

Алкивиад принадлежал к древнему знатному роду Алкмеонидов, из которого вышло немало героев, полководцев, законодателей. Но афиняне были злопамятным народом, и даже слава таких деятелей, как Клизфен, Мегакл, Перикл, не могла смыть позора клятвпреступления, совершенного в 30-х годах VII века до н. э. представителями этого рода (они расправились со своими соперниками, вопреки обещанию сохранить им жизнь), и в течение всей афинской истории враги не раз использовали тяготевшее над Алкмеонидами проклятье для сведения личных и политических счетов.

Алкивиад был племянником Перикла и



Сократ. Воспроизведение скульптуры Лисиппа. Мрамор. Вторая половина IV в. до н. э.

после гибели отца, павшего в бою, воспитывался в доме своего знаменитого дяди. С детства он был окружен всеобщим вниманием и поклонением. Толпы знатных юношей ходили за ним по пятам, предупреждая каждое его желание и осыпая лестью. Устоять под натиском похвал было невозможно. Окружающие, словно сговорившись, упорно разжигали в нем неистовое честолюбие, стремление во всем быть первым.

Алкивиада учили поклоняться прекрасному, уверяя, что красотой он затмит всех своих сверстников. Он действительно был строен, крепок телом, изящен и ловок. Заботясь о своей наружности, он даже не захотел обучаться игре на флейте, потому что это искажало и уродовало лицо. Издеваясь над флейтистами, он в конце концов так опозорил этот инструмент, что игру на нем исключили из числа занятий, трлщичествующих свободным гражданам.

Богатство, знатность, избалованность, привычка удовлетворять любые прихоти, растущее тщеславие — казалось, путь Алкивиада окончательно определен. Золотая молодежь охотно признала бы своим вождем молодого повесу, сорящего деньгами, любителя шумных оргий и пикантных приключений. И все же прожигателем жизни он не стал. Помешало... все то же честолюбие. И два совершенно противоположных человека внушили ему новую страсть.

Один из них — Перикл. Бессменный правитель Афин, хранитель древних традиций, он провозглашает умеренность и сдержанность основной моральной нормой и принципом государственной политики. Стремясь

к общественной гармонии, он защищает демократию, не допуская в то же время крайностей и разгула страстей. Его зовут Олимпийцем, и он с удивительным хладнокровием примиряет враждующие партии, ликвидирует конфликты, добиваясь неслыханного авторитета среди граждан.

Перикл заражает своего воспитанника любовью к политике. Политика! Она требует гибкости ума, дальновидности, умения подчиняться обстоятельствам. Но для Алкивиада его опекун — недостижимый образец государственного деятеля и потому не объект для подражания. Да и зачем становиться вторым Периклом, когда можно оставаться Алкивиадом?

Мечты о славе все чаще волнуют его. Узнав о новом увлечении, друзья убеждают юношу, что ему ничего не стоит достичь популярности и затмить самых известных афинских политиков и полководцев.

И тут Алкивиад встречается с Сократом. Философ разглядел за внешним блеском ума, талантом и неисчерпаемой энергией, которую, по его мнению, следовало лишь направить в нужное русло. И мудрец берется за дело. Он следит за каждым шагом своего ученика, тренирует его сообразительность, внушает ему неожиданные и необычные мысли. Он обедает с ним, упражняется в борьбе, развивает в нем искусство вести беседу и полемизировать с соперниками. Во время походов он живет с ним в одной палатке, а в 432 году до н. э., когда Алкивиад был ранен в битве, прикрывает его своим телом и, отразив нападающих, спасает ему жизнь. (Через 8 лет они поменяются ролями, и уже Алкивиад защитит отступающего с разбитым афинским отрядом учителя.)

Нелегко было Сократу постоянно удерживать около себя беспокойного воспитанника. Нередко, соблазненный товарищами, он отправлялся кутить, и философ гонялся за ним по городу, словно за беглым рабом. Сократ оказался единственным человеком, чей авторитет был непререкаем для Алкивиада. Он восхищался им, боялся и даже каялся перед ним в своем беспутстве.



Образ жизни Алкивиада, его характер и стремления абсолютно противоречили тому, что проповедовал Сократ. Трудно подыскать более разительное несоответствие между наставником и его питомцем. Алкивиад считал себя верным учеником Сократа, хотя вся его деятельность ничего общего не имела с принципами, которые отстаивал философ. Слава — ничто, учил Сократ. Политика — пустое, ничтожное занятие. Государство — в том виде, в каком оно существует, — порочно. Оно не обеспечивает единства и равенства граждан, оно не способно защитить ни народ в целом, ни отдельного человека. Подлинное призвание человека — обратиться внутрь себя, думать о личном совершенствовании, о служении богам и истине, а не о богатстве и славе.

Алкивиад, как и многие молодые афиняне, воспринял лишь негативную часть программы своего учителя. Горячие головы легко усваивали ее критическую направленность, им нравилось все подвергать сомнению, бросая вызов традиционным устоям морали и правопорядка. Изопращенное полемическое искусство софистов, опровергавших привычные представления и умевших находить противоречия в самых незыблемых аргументах, приучало не только к гибкости мышления, но и к великолепному жонглированию словами. На практике же это вело к скептицизму, к пересмотру устаревших нравственных принципов, а затем и вообще к отказу от каких-либо моральных ценностей. Историческая трагедия Сократа заключалась в том, что он родился слишком рано, когда доча для его теорий еще не созрела. Общество не способно было еще усвоить его этическую программу, требующую безоговорочного уважения к человеку и его правам, соблюдения стржайшей справедливости в отношениях государства и гражданина. Провозгласив высшей добродетелью служение истине, Сократ протестовал против слепой веры в авторитеты и отказал государству в праве считать себя носителем окончательной, не подлежащей обсуждению истины. Но, пробудив

интерес к отдельной личности, защищая ее право иметь собственное мнение, отличное от мнения большинства, и поступать в соответствии с велениями совести, Сократ вложил в руки своих последователей опасное оружие. Его программа стала для них теоретическим обоснованием индивидуализма. Презирая общество, народ, «толпу», они признавали единственно правильной только личную точку зрения. Критикуя государство за неспособность обеспечить справедливость, они утверждали свою субъективную правоту — правоту сильных личностей, вырвавшихся из оков «коллективного рабства».

Никогда еще в истории Афин не возникло более подходящей атмосферы для карьеристов и честолюбцев, рвущихся к власти, добывающихся почестей, заигрывающих с народом и прикрывающих личные цели общегосударственными интересами!

Алкивиад пока еще юн и не может оспаривать славу у опытных мужей, руководящих политикой. Но он уже привык быть на виду, привлекать внимание, вызывать овации и восторги. Его артистическая натура требует обожания и поклонения. Он готов на все, лишь бы его имя не сходило с уст сограждан. Своей удивительно красивой собаке, стоившей баснословных денег, он обрубают хвост и, когда узнает, что все жалеют ее и бранят хозяина, с улыбкой отвечает: «Что ж, все складывается, как я хочу. А хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом, — иначе как бы они не сказали обо мне что-нибудь похуже».

Тщеславие заставляет его всюду искать соперников, чтобы вкушать радость победы. Несмотря на картавость, он овладевает ораторским искусством, понимая, сколь велика над людьми власть слова. Через сто лет Демосфен признает, что Алкивиад, кроме прочих своих достоинств, был еще и на редкость красноречив.

Ему нет равных и на Олимпийских играх. Ни один царь или частное лицо никогда не присылали в Олимпию семи колес-



ниц, и никому не удавалось одержать сразу столько побед². Он занял на играх 416 года до н. э. первое, второе и четвертое места, превзойдя, по словам Плутарха, «все, что способны принести эти состязания».

Ему оказывают почести разные города. Эфесцы ставят богато убранную палатку, хиосцы дают корм для лошадей и множество жертвенных животных, лесбосцы — вино и продукты для пиров. Художник Аглафон посвящает ему картину, которую помещают в афинской пинакотеке (близ входа на Акрополь). Она изображает Алкивиада на коленях Неми со знаками победы, одержанной его лошадьми на ристалищах во время игр в Немейской долине.



В хоре похвал, правда, настораживают два голоса. Один принадлежит Тимону. Известный мизантроп, не скрывавший своего презрения к роду человеческого, расположен к одному лишь Алкивиаду. «Я люблю этого мальчишку, — признается он, — потому что предчувствую, сколько зла причинит он афинянам» (Плутарх, Антоний, LXX).

Сократа беспокоит другое. Он предвидит, сколько зла Алкивиад причинит сам себе, если не умерит своего честолюбия, и пытается доказать ему ничтожность того, чем он гордится. «Сократ, заметив, что Алкивиад кичится своим богатством, а особенно принадлежащими ему землями, повел его однажды туда, где в Афинах хранилась картина с изображением всего круга земного, и предложил найти Аттику. Когда юноша нашел, Сократ попросил его отыскать свои владения, а на слова: «Тут их нет вовсе», — сказал: «Смотри, ты гордишься тем, что не составляет самой малой части Земли» (Элиан, Пестрые рассказы, III, 28).

Ученик не слышит предостережений учителя. Он считает, что тот слишком стар (Сократу уже около 50) и не в силах понять нового поколения. Тридцатилетний Алкивиад, по словам Плутарха, «самой природой не созданный для покоя», вступает на тернистый путь политической деятельности.

В Греции в это время затишье. Никиев мир 421 года до н. э. приостановил военные действия между Афинами и Спартой. Но соперники не доверяют друг другу и готовятся к возобновлению борьбы за гегемонию в Элладе. Спартацы едины в своем стремлении реабилитировать себя за неудачи в Пелопоннесской войне. В Афинах



Серебряное блюдо. III в. до н. э.

положение другое. Демократическая партия, которую представляют купцы, ремесленники, моряки, призывает к новым захватам. Аристократы во главе с Никием удовлетворены достигнутым и настаивают на соблюдении условий перемирия. Естественно, те и другие клеймят вождя враждебной партии, клянутся в любви к народу и предрекают государству гибель, если будет принята программа соперников.

Народное собрание не в силах разобраться в хитросплетениях ораторов. Оно легко поддается на уговоры и с поразительной легкостью меняет свои решения.

В 420 году мирная партия терпит поражение. Торжествует радикальная демократия во главе с демагогом Гиперболом. Алкивиада, по традиции своего рода поддерживающего демократов и уже дважды отличившегося в сражениях, избирают стратегом вместо Никия, и он начинает лихорадочно готовиться к возобновлению войны. Его энергия направлена на то, чтобы изолировать Спарту, ослабить ее влияние



в Пелопоннесе и отодвинуть сферу афинского влияния к границам Лаконского государства. Он плетет сложные интриги, поддерживает демократов в различных городах, организует заговоры и перевороты. В короткий срок он сделал союзниками элейцев, аргивян, мантинейцев и, как замечает Плутарх, «разъединил и потряс весь Пелопоннес».

В 419 году Афины нападают на Эпидавр, которому Спарта немедленно оказывает помощь. Этого достаточно, чтобы конфликт разгорелся вновь. По предложению Алкивиада спартанцев обвиняют в нарушении мира. Война возобновляется.

Аристократическая партия напрягает все силы, чтобы потушить пожар. Опытные ораторы апеллируют к крестьянам, угрожая им гибелью посевов, доказывают, что авантюризм не приведет к добру. И Народное собрание, которое вчера еще рукоплескало Алкивиаду, внезапно отворачивается от него: весной 418 года стратегом избирают Никия.

Но демократы не складывают оружия. Гипербол ищет подходящего случая, чтобы свалить своего противника. И когда летом 418 года афиняне терпят поражение при Мантинее (в этой битве Алкивиад сражался рядовым воином), Гипербол наносит удар:



Ахилл, перевязывающий Патрокла.
Чаша работы Сосия. Около 500 г.
до н. э.



Упражнения атлетов. Фрагмент
рельефа. Мрамор. Конец VI в.
до н. э.

он предлагает народу провести остракизм, чтобы изгнать из Афин того, кто обладает могущественным влиянием и угрожает государству тиранией³. Вождь демоса ничем не рисковал. Даже если бы его надежды не оправдались, приверженцы Никия проголосовали бы не против Гипербола, положение которого казалось неизбежным, а против Алкивиада — человека, опасного не только для мира, но и, как думали многие, для свободы Афин; его честолюбивые замыслы и растущая популярность внушали уже серьезные опасения представителям обеих партий.

Остракизм 417 года принес неожиданность: изгнанным оказался... Гипербол. Не желая искушать судьбу, Алкивиад договорился с Никием, и их сторонники объединенными усилиями провалили незадачливого вождя демократов. Для осторожного, сдержанного Никия этот союз оказался роковым. Выступи он против Алкивиада, он или победил бы и, изгнав соперника, был бы без тревог (возможно даже, что ему удалось бы восстановить мир со Спар-

той), «либо, побежденный, удалился из Афин, не дожидаясь бедствий, постигших его потом, и слава отличного полководца осталась бы при нем» (Плутарх, Никий, XI).

Алкивиаду же победа открыла путь к власти, хотя и усилила недоверие к нему со стороны обеих партий. Но в тот момент он был наиболее подходящей фигурой для осуществления воинственных замыслов афинян, которые все чаще договаривали о том, что пора, наконец, добиться безраздельного господства на море и осуществить давнюю мечту о захвате богатой Сицилии.

Алкивиад чувствует: пришел его час. Наконец-то он сможет сделать то, на что не осмеливались самые дерзкие умы. Его замысел грандиозен: он предлагает создать под эгидой Афин Средиземноморскую державу, охватывающую Пелопоннес, Италию, Сицилию, Карфаген и Африку. Покорение Сицилии должно было явиться первым шагом на пути к этому.

Алкивиад начинает агитацию. Он беспре-



станно выступает в Собрании, беседует в частных домах, собирает вокруг себя толпы народа, убеждает, уговаривает, смеется над маловерами, успокаивает сомневающих-ся, сулит сказочные богатства, расписывает невероятные диковинки и чудеса, которые предстоит увидеть его соратникам. Народу, еще недавно радовавшемуся заключению мира, внушается надежда, что его бедам придет конец: государство выйдет из финансовых затруднений, увеличит жалованье и раздачи хлеба и денег.

Город приходит в возбуждение. Повсюду собираются люди, чертят на песке карту Сицилии, Карфагена, берега Африки. Идея становится умонастроением всего народа, не видевшего ничего противозаконного в том, чтобы грабить города и покорять племена варваров. Vox populi⁴ звучит воинственным грубым гласом. Скетиков не слышно: «сомневающиеся молчали, чтобы не показаться дурными патриотами» (Фукидид, VI, 24).

Остается верен себе лишь тот, кто не изменял своим принципам в угоду большинству.

Сократ говорит: «Нет!» Сама идея завоевания чужих земель и народов для него чудовищна и безнравственна. Он интуитивно приходит к мысли, четко сформулированной 2300 лет спустя: «Не может быть свободен народ, угнетающий другой народ». Философ еще рассуждает об абсолютной, то есть «божественной», справедливости, о чести и бесчестии. Но он убежден: беззаконие не проходит бесследно, и, нарушая справедливость, государство развращает своих членов, то есть губит себя. Да, решение Собрания — это выражение воли всего демоса. Да, он понимает, что, голосуя «против», он не считается с желанием масс. Что такое? Вы сомневаетесь в его патриотизме? Ну уж кто-кто, а он-то умеет спорить. Да, если быть строго последовательным, его следует назвать врагом отечества, потому что он... истинный его защитник. Не его вина, если народ оказывается врагом самому себе и принимает губительные решения.

(Еще 15 лет Сократ будет испытывать терпение демоса, бороться за истину и справедливость вопреки мнению большинства. В конце концов 70-летнего мудреца официально назовут врагом афинского народа, подрывающим государственные устои, и приговорят к смертной казни. Он откажется от помощи друзей, готовых организовать побег из тюрьмы, и спокойно встретит свой последний час. Ибо, во-первых, никто еще не доказал, что смерть — такое уж зло, а во-вторых, умирать надо столь же достойно, как и жить, и его гибель должна послужить образцом гражданской стойкости и верности законам, которые следует выполнять, коль скоро они существуют.)

Сократ, однако, бессилён изменить ход событий. Его никто не слышит, как, впрочем, и астронома Метона, предсказывающего роковой исход задуманного предприятия. Афиняне верны себе: слово популярного политика для них гораздо более весомо, чем мнение любого философа или ученого. И они делают первый шаг к катастрофе.

Экспедиция снаряжается с невероятной быстротой. Никогда еще Афины не отправляли столь мощной эскадры. 134 триеры, 25-тысячный экипаж, 4 тысячи гоплитов, 1300 легковооруженных солдат, 130 судов с провиантом и прочим грузом. Весь цвет афинской молодежи готов двинуться на запад, вверив свою судьбу трем стратегам: осторожному Никию, опытному Ламаху и энергичному Алкивиаду. По мнению афинян, такое объединенное командование наилучшим образом сочетало благоразумие и расчетливость с отчаянной храбростью и решительностью. Их не смущало, что Никий отказывается от руководства войсками, — энергия Алкивида хватило бы на десятерых. А энтузиазм огромной армии не оставлял места колебаниям и сомнениям.

Все готово к отплытию. Корабли собраны в Пирее. Погружены припасы и снаряжение. Народное собрание дает стратегам неограниченные полномочия на все время



войны. Кажется, ничто не забыто. Ждут лишь сигнала к отправке...

И тут все летит кувырком. Происходит событие, столь же неожиданное, сколь и роковое. Однажды утром почти все каменные изображения Гермеса (гермы), украшавшие улицы и площади, оказались изуродованными.

Неслыханное кощунство повергло жителей в смятение. Лихорадочно стали искать святотатцев. Атмосфера всеобщего подозрения накалилась до предела. Обвиняли проспартански настроенных аристократов, выступавших против войны. Обвиняли демократов, якобы сводивших счеты с Алкивиа-

дом, предавшим Гипербола. Подозревали коринфян, некогда основавших Сиракузы, а теперь пытающихся сорвать экспедицию. Поговаривали даже о заговоре против государства, ибо за одну ночь искалечить гермы во всем городе могла только организованная группа злоумышленников.

Совету поручают немедленно расследовать преступление. Создается специальная комиссия, обещана крупная награда тем, кто укажет виновных. Даже рабам гарантируется безопасность, если они вопреки обычаю выступают с обвинением свободных граждан.

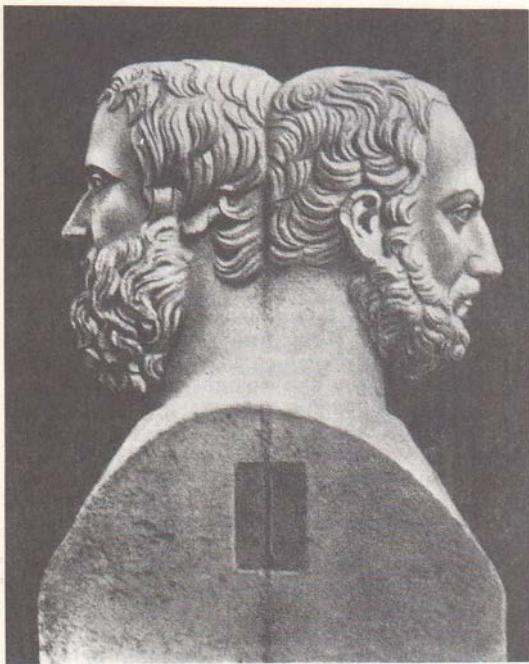
И посыпались доносы. Афиняне обнаружили поразительную осведомленность в делах друг друга. И хотя гермокопидов (разрушителей герм) так и не нашли (загадка, не решенная и поныне), бдительность все же была вознаграждена. На свет выплыли подробности частной жизни многих граждан, их знакомства и связи; стало известно, как и с кем они проводят время, о чем беседуют за столом, кого критикуют, над чем смеются.

Выяснилось, например, что Алкивиад, часто собиравший в своем доме шумные компании, не ограничивался попойками, а развлекал гостей самым непристойным образом: он давал представления, пародировавшие священные таинства — Элевсинские мистерии.

Насколько обвинение соответствовало истине — сказать трудно, хотя, зная бесшабашное удалство и циничность Алкивиада, можно думать, что оно не лишено было оснований. Так или иначе, Алкивиад потребовал суда над собой — и притом немедленного. Зная, что на его стороне армия и флот, он полагал, что без труда добьется оправдания, и уже готовился к защитительной речи. Противники же его, на-



Голова Тифона. Мрамор. 600 г. до н. э.



Геродот и Фукидид. Двойная гемма италийской работы, восходящая к оригиналу IV в. до н. э. Мрамор.

оборот, всячески затягивали процесс, доказывая, что нельзя задерживать начало похода, ожидая конца расследования. Тщетно ссылаясь полководец на то, что он не может возглавлять экспедицию под бременем столь тяжких обвинений. Народное собрание постановило: все трое стратегов должны оправдаться в Сицилию, и, лишь вернувшись по окончании войны, Алкивиад пусть оправдает себя перед согражданами.

По существу, это уже было равносильно оправданию. В самом деле, обвинение как будто оставалось в силе, хотя и не было еще доказано. Но если всерьез допустить, что Алкивиад совершил преступление против религии (каравшееся столь же строго, как государственная измена), то по меньшей мере безрассудно доверять нечестивцу, не уважающему богов, верховное командование. Рассчитывать же на то, что возвратившегося с триумфом полководца (а иного исхода войны не ждали) удастся

привлечь к ответственности, могли только не искушенные в политике простаки...

В середине лета 415 года эскадра двинулась на запад. «Поход этот был знаменит как по удивительной смелости и внешнему блеску, так и в смысле превосходства над силами противника; кроме того, не бывало еще морской экспедиции, столь отдаленной от родной земли, не было предприятия, которое внушало бы такие надежды на будущее» (Фукидид, VI, 31).

У острова Керкиры флот соединился с союзниками и вскоре появился у берегов Италии. Заняв ряд городов, Алкивиад начал готовиться к осаде Сиракуз. Он разработал подробный план операции, распределил войска, расставил корабли. Больше он ничего сделать не успел. Из Афин прибыли гонцы, вручившие главнокомандующему постановление Народного собрания о его немедленной явке на суд. Посланцы были почтительны и осторожны: их предупредили — ни в коем случае не угрожать и не применять насилия, чтобы не вызывать недовольства в войсках.

Алкивиад, недоумевая, поднимается на борт специально присланной за ним триеры и покорно отправляется на родину. Он еще не знает, что теперь его имя на устах афинян, поскольку процесс гермокопидов уже закончился, и притом неожиданно быстро. Когда следствие зашло в тупик, так как преступников обнаружить не удалось, вдруг объявился человек, в котором пробудилась гражданская совесть: Андокид, юноша из знатного рода, мужественно взял вину на себя, и раскаяние его было столь велико, что он не мог умолчать о многих соучастниках, не пощадив при этом друзей, знакомых и даже собственного отца⁵. Правда, его объяснения были полны противоречий, а свидетели явно не внушали доверия. Тем не менее, «не проверяя показаний доносчиков и вследствие подозрительности все принимая на веру, афиняне хватили и сажали в оковы вполне безупречных граждан на основании свидетельств людей порочных» (Фукидид, VI, 53). Суд был неумолим: тех, кто предстал перед ним, казнили, обвинив в богохульстве и стремлении ниспровергнуть демократию.

После этого все внимание переключилось на «дело о мистериях». Конечно же, кощунство над ними — тоже часть олигархического заговора, ибо только человек, ненавидящий народ, способен издеваться над тем, что дорого афинянам. Разве можно оставлять его во главе армии? *Perreat mundus et fiat justitia!*⁶ Заботясь о благе



Голова Гипноса. Бронза. IV до н. э.

государства, в решающий момент отзывают полководца с поля боя, обрекая армию на бездействие, что вскоре приводит к ее полному разгрому.

На пути в Афины Алкивиадом овладевают сомнения. Он начинает догадываться, что его ждет, и, когда корабль останавливается в Фуриях, внезапно исчезает. Он скрывается в Италии, потом перебирается в Пелопоннес. Кто-то, узнав его, удивляется: «Неужели ты не веришь родине?» — «Отчего же, — возражает он, — верю во всем, кроме тех случаев, когда дело касается моей жизни. Тут я даже родной матери не поверю: ведь и она может по ошибке положить черный камешек вместо белого»⁷. Но в глазах афинян бегство Алкивиада явилось несомненным доказательством его вины. Его заочно приговорили к смертной казни, конфисковали имущество, а память предали проклятию. Приговор вырезали на мраморной колонне, как бы гарантируя преступнику вечный позор.

Ни один из античных историков не упрекал Алкивиада за неявку на суд. Было ясно, что исход процесса зависел не от виновности, а от расстановки сил в Народном собрании, где преобладали его противники. Крайние демократы не простили ему остракизма Гипербола, умеренные порицали его за союз с Никием, аристократы же всегда видели в нем врага. На что же мог рассчитывать полководец без армии, представ перед судом? На объективность и беспристрастность Собрания, с легкостью отказывающегося от собственных решений? В демократических государствах Греции народ всегда считался источником закона. Правда, будучи законодателем, он и сам обязан был подчиняться принятым постановлени-

ям. Иначе, как неоднократно предупреждали древние авторы, народ-самодержец неминуемо превратится в народ-деспот, признав беззаконие нормой общественной жизни.

Афиняне любили принимать решения «на века», не сомневаясь в их непогрешимости. Неумолимые в оценках и неподкупные в своей справедливости, они возвеличивали героев и безжалостно карали «дурных» граждан. Правда, при малейшем изменении политической ситуации бывших героев сбрасывали с пьедестала, а осужденных объявляли невинными жертвами и восстанавливали в правах. И тогда сносились гордые мраморные плиты с текстом декретов, на их место устанавливались новые — разумеется, на столь же вечные времена. От славы до бесчестья был один шаг. Гордясь своей объективностью, греки судили человека за каждый конкретный поступок, невзирая на прошлые заслуги, и постоянно требовали подтверждения гражданской полноценности. Малейшая неудача расценивалась уже не как обычный промах или ошибка, а как сознательное, злокозненное действие. Полководца, одержавшего десятки побед, но вынужденного однажды отступить, отстраняли от командования и зачастую объявляли изменником. Политический деятель, предложивший немало полезных реформ и укрепивший положение государства, не получив хоть раз поддержки большинства, рисковал прослыть антипатриотом и быть изгнанным из страны. Говоря о несчастьях, постигших прославленных мужей, и обидах, нанесенных им неблагодарными согражданами, Цицерон замечает, что «в примерах непостоянства афинян и их жестокости к виднейшим

гражданам недостатка нет» (Цицерон, О государстве, 1, 3, 4).

В самом деле, Мильтиада, победившего персов в знаменитой Марафонской битве, после неудачной осады Пароса обвинили в том, что он обманывает народ, и присудили к огромному штрафу. А так как он не мог внести необходимой суммы, его бросили в тюрьму, где он и умер, нищий и опозоренный. В 483 году подвергают ostrакизму «справедливейшего» и «благороднейшего» из граждан — Аристида, не согласного с программой его соперника Фемистокла. А через несколько лет этого руководителя государства, создателя афинского флота, разгромившего персов при Саламине, в свою очередь, обвиняют в измене и приговаривают к смерти, и он вынужден искать убежища у персидского царя. «С угрозами изгнанный из отечества, которое он спас, Фемистокл бежал в глубь варварской страны, которую некогда сокрушил» (Цицерон, там же).

Сына Мильтиада Кимона, блестящего полководца, не знавшего поражений, обвинили в 461 году в стремлении возвыситься над народом, который, естественно, не потерпел подобных притязаний и изгнал опасного для демократии деятеля.

Подобно своим предшественникам, Алки-

виад стал жертвой внутренней борьбы в Афинах — борьбы, в которой беззаконие рядилось в одежды законности, получая одобрение демоса. В V веке до н. э. так случалось не раз: правящая группировка, имевшая большинство голосов в Народном собрании, уже от имени всего народа чинила произвол, пересматривала прежние установления, сводила счеты с соперниками. Политики считали это в порядке вещей. Философы сомневались и пытались определить, каким должен быть истинный и справедливый закон.

Когда-то совсем еще юный Алкивиад с помощью аргументов, почерпнутых у софистов, поставил в тупик своего умудренного опытом опекуна.

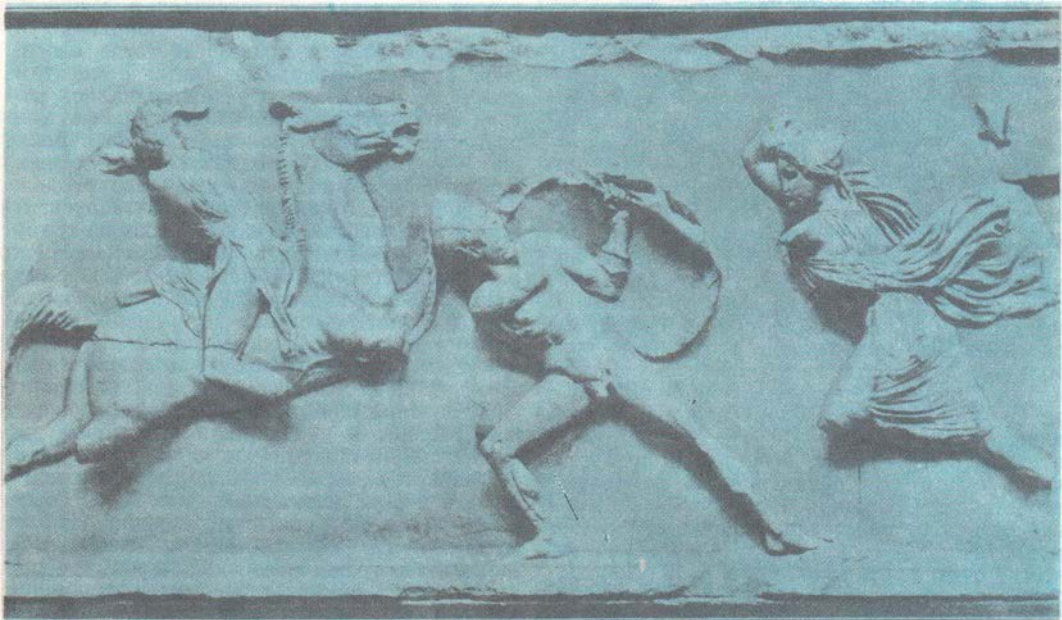
«Алкивиад: Не объяснишь ли ты мне, Перикл, что такое закон?»

Перикл: Ты просишь у меня совсем нетрудной вещи... Закон — это все то, что народ, собравшись вместе, постановляет и письменно излагает относительно того, что следует и чего не следует делать.

Алкивиад: Исходя при этом, что нужно творить добро или зло?

Перикл: Клянусь Зевсом, добро, юноша, а не зло!

Алкивиад: Ну, а если сходитя на собрание для вынесения письменных по-



становлений не весь народ, а немногие, как это бывает в тех местах, где у власти олигархия?

Перикл: Все, что постановит и письменно изложит высшая власть в государстве относительно образа действий людей, называется законом.

Алкивиад: Значит, если тиран захватит власть в государстве и станет предписывать гражданам, что им надлежит делать, — и это будет считаться законом?

Перикл: Да, предписания тирана, пока он у власти, — тоже закон.

Алкивиад: Что же тогда является насилем и беззаконием? Не будет ли беззаконием такое положение, когда сильнейший притесняет слабейших, заставляя их не путем убеждения, а насилем делать то, что ему угодно?

Перикл: По-моему, это так.

Алкивиад: Следовательно, все, к чему тиран принуждает граждан, не убедив их, является беззаконием?

Перикл: По-видимому. Я беру назад свое утверждение относительно законности действий тирана.

Алкивиад: Ну, а если решают немногие, прибегая не к убеждению, а к насилю над массой, что это?

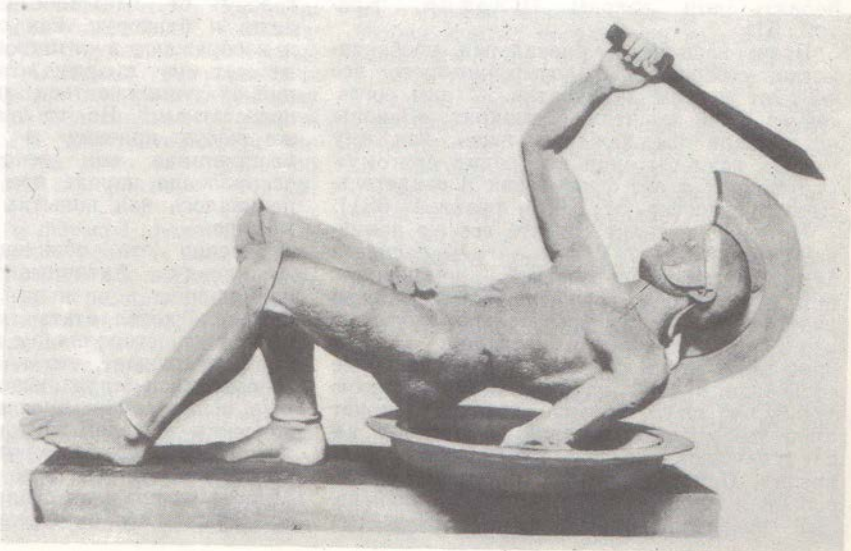
Перикл: Все, к чему один принуждает

другого, не убедив его предварительно, по моему мнению, скорее насилем, чем законом, независимо от того, изложено это в письменной форме или нет.

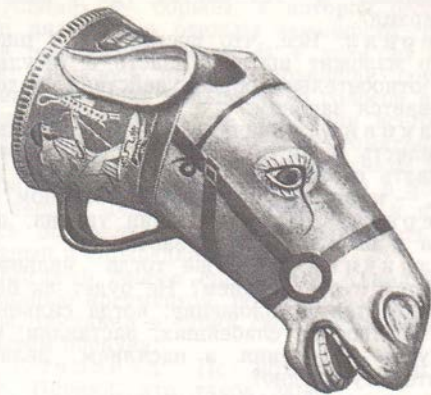
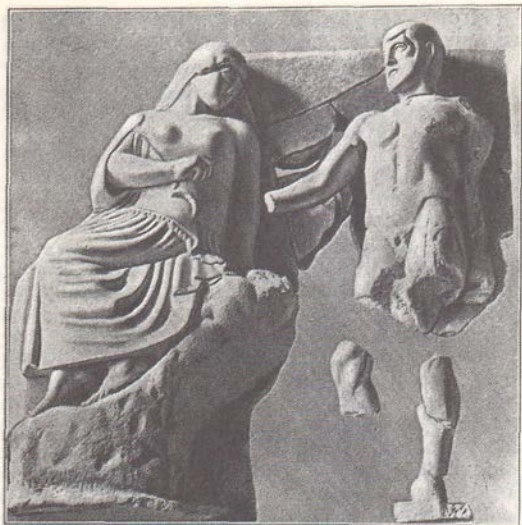
Алкивиад: Но если так, то не будет ли и то, что собравшийся народ в силу своей власти над богатыми постановит, не убедив их в правильности этих постановлений, скорее насилем, чем законом?

Перикл: Пожалуй, что так» (Ксенофонт, Воспоминания, I, 2, 40)⁸.

Перикл еще мыслит старыми, традиционными категориями. Для него закон и справедливость едины. Он не понимает, что абсолютного, справедливого закона, удовлетворяющего всех без исключения граждан, нет и быть не может. Ученик же Сократа уже осознает непримиримость интересов различных групп и партий внутри государства. Именно поэтому, мечтая об идеальном законе, управляющем людьми и стоящем над ними, Сократ говорил, что государство — зло, но, увы, неизбежное, иначе — анархия, то есть состояние, чреватое еще большими опасностями для граждан. Отсюда его вывод: строгое соблюдение государственных установлений обязательно. Живя в одной стране, любой гражданин как бы подписывает обязательство подчиняться законам. Хороши они



Битва
с амазонками.
Фриз Мавзолея
в Галикарнасе.
Середина
IV в. до н. э.
Поверженный
воин.
Фронтон храма
на о. Эгине.
Мрамор.
Начало
V в. до н. э.



или нет — безразлично. Если они ему кажутся плохими, никто не заставляет его оставаться в пределах этого государства. Если же он не выселяется, то уж тем самым молчаливо обязуется тщательно исполнять эти законы (Платон, Критон, 51).

Итак, насилие — печальная необходимость, утверждает философ, которого все считают врагом демократии. С ним согласен ее ярый защитник Демокрит: «Законы не мешали бы каждому жить, как ему угодно, если бы один не вредил другому» («Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности», М., 1935, фрагмент 631).

Но какое насилие считать все же наименее болезненным? V век — век расцвета античной рабовладельческой демократии, при которой все граждане⁹ имели право участвовать (и действительно участвовали!) в управлении страной. Защитники этого строя считали, что он наиболее справедлив, ибо народ сам решает свою судьбу, а разум большинства гарантирует правильность его действий. В конце V века усиливаются голоса противников демократии. Исторический опыт принес разочарование. Афинский народ как коллективный правитель оказался подвержен тем

же слабостям, что и единоличные владыки: завистлив и подкупен, недоверчив и подозрителен, несправедлив и жесток, падок на лесть и скор на необдуманные решения, склонен впадать в панику и терять голову от отчаяния. Он неразумен, как дитя, и близорук, как старец. Таким его и изображают в античной комедии, что не мешает ему, правда, во время представлений от души смеяться над собственными недостатками. Но то театр. На Пниксе¹⁰ же любую критику в свой адрес демократ воспринимал как оскорбление, а всякое оскорбление народа или его святых расценивалось как попытка подорвать демократию.

Именно это обвинение и предъявили Алкивиаду. Античные авторы не были единодушны в оценках. По мнению Андокида, он хотел стать тираном. Непот называет его сторонником аристократов. Исократ утверждает, что «Алкивиад не только не относился безразлично к демократии, но был выше самых прославленных демократических деятелей. Он был демократом не потому, что его изгоняли олигархи, а несмотря на то, что они звали его к себе. Многие из граждан стали враждебны к нему, думая, что он намеревается захватить



Геракл и Афина. Фронтон храма Зевса в Олимпии. Середина V в. до н. э.

Голова коня. Краснофигурный сосуд. Начало V в. до н. э. Деталь.

Маска. Терракота. Конец VII — начало VI в. до н. э.

тираническую власть. Но они заключали об этом не из фактов, а полагали, что каждый человек хочет сделаться тираном, а он легче, чем кто-либо другой, может достичь этого» (Исократ, Речи, XVI, 36). Ближе всех к истине оказывается Фукидид: «Афиняне, опасаясь стремлений Алкивиада к тирании, начали враждебно относиться к нему. Хотя Алкивиад вел военные дела для государства прекрасно, каждому гражданину в отдельности было в тягость его поведение». В действительности же «Алкивиад столь же мало заботился об олигархии, как и о демократии» (VI, 15, 3—4).

Безразличный к формам правления, Алкивиад думал прежде всего о себе и своей роли в государстве. Он жаждал популярности и к власти стремился не потому, что видел в ней источник обогащения или способ осуществления политической программы, а именно из-за того, что она открывала путь к славе. Над его честолюбием иронизировал еще Сократ: «Ты думаешь, что получишь величайшую власть в городе, а уж если здесь будешь силен, то и в остальной Элладе, да и не только в Элладе, а и у всех варваров, живущих с нами на одной материке. Если бы бог

сказал тебе, что ты можешь царствовать здесь, в Европе, но перейти в Азию тебе нельзя, ты не захотел бы жить, не имея возможности наполнить всю вселенную своим именем и своей силой. И я не думаю, чтобы, кроме Кира и Ксеркса, ты вообще считал кого-нибудь достойным упоминания» (Платон, Алкивиад, 105 В—С).

Катастрофа разразилась в тот момент, когда он достиг вершины славы. Решение Народного собрания, кроме всего прочего, нанесло удар по самолюбию. «А я докажу им, что еще жив!» — восклицает он, узнав о смертном приговоре. И доказывает незамедлительно. Он объявляет войну своему отечеству.

Алкивиад появляется в Спарте и предлагает превосходный план борьбы с Афинами. Его советы убедительны, дельны, сулят огромные выгоды. Спартанцы недоумевают: для них совершенно немыслимо, чтобы гражданин, тем более полководец, пусть даже несправедливо осужденный, предал родину и мстил ей. Чтобы рассеять недоверие, Алкивиад произносит речь, которая должна представить его честным и принципиальным человеком. Осудив демократический строй за его «разнузданность» и назвав его «общепринятым безу-



мием», он сражает неискушенных спартанцев, привыкших к краткости и четкости выражений, хитроумными софистическими парадоксами: «Надеюсь, никто из вас не отнесется ко мне с меньшим доверием из-за того, что я иду против родины. Надеюсь также, что никто не заподозрит, будто мои слова объясняются ожесточением против Афин за мое изгнание отсюда. Правда, я бежал от низости людей, изгнавших меня, а не для того, чтобы оказывать вам помощь. Более злые враги Афин — не вы, вредившие им на войне, а те, кто вынудил друзей Афин обратиться в их врагов. Любви к своему государству я не чувствую в моем теперешнем положении, так как терплю от него неправду. Я чувствовал ее в то время, когда безопасно жил в Афинах. Да я и не думаю, что иду теперь против того государства, которое еще остается моим отечеством. Напротив, я желаю возвратиться себе отечество, которого нет у меня более. Истинный патриот — не тот, кто не идет против своего отечества, даже когда несправедливо лишится его, а тот, кто из жадности иметь отечество приложит все старания, чтобы добыть его снова» (Фукидид, VI, 89).

Спартанцы несколько иначе понимали патриотизм, но стараниями неожиданного союзника решили не пренебрегать. Он раскрыл многие военные секреты и обеспечил успешное наступление на афинян: военные действия вскоре перенесли на территорию Аттики. И все же полного доверия он так и не приобрел. К тому же стиль спартанской жизни тяготил его. Привыкнув к афинской вольнице, к шумным спорам и изысканным удовольствиям, он столкнулся теперь с регламентированным порядком военизированного государства, требовавшего неутомительного подчинения Совету старейшин, строгого единомыслия и единообразного поведения граждан. Алкивиад иронизировал над легендарной стойкостью спартанцев и их равнодушием к смерти: «Стремясь избавиться от своей трудной жизни, предписываемой законом, они готовы променять ее тяготы даже на смерть»

(Элиан, Пестрые рассказы, XIII, 38). Но баловень судьбы умел приспособляться к обстоятельствам: он усвоил привычки спартанцев, стал коротко стричься, купаться в холодной воде, есть ячменные лепешки и постную похлебку. Правда, добродетельное смирение не помешало ему своротить жену спартанского царя Агида, но он уверял, что сделал это не из озорства, а только ради того, чтобы Ланедемом управляли его потомки (этой тщеславной мечте не суждено было сбыться, так как царь отказался признать родившегося сына, и тот лишился прав наследования).

Посланный в 412 году к берегам Ионии, Алкивиад склоняет ряд городов на сторону Спарты и тем самым резко ослабляет позиции Афин на море. Слава его растет. А вместе с ней усиливается подозрительность и недовольство правителей, то ли завидовавших чужеземцу, то ли опасавшихся его крепнущего влияния. Как и в демократических Афинах, в аристократической Спарте ревниво следили за тем, чтобы кто-нибудь не приобрел слишком большой популярности. И вот отдается тайный приказ умертвить Алкивиада — человека, оказавшего неопценимые услуги государству, но способного в будущем принести еще больший вред.

Алкивиад вынужден искать нового отечества¹¹. Теперь уже дважды изгнанник, он оказывается у персидского сатрапа Тиссаферна и сразу же занимает высокое положение при его дворе. Тиссаферн, которого Плутарх называет самым большим греконенавистником среди персов, проникается пылкой любовью к гостю. Он дарит ему лучший из своих садов и приказывает впредь именовать его Алкивиадовым. С привычной для него легкостью Алкивиад воспринимает чужие обычаи и нравы. Строгий моралист Плутарх осуждает его за то, что «стремительностью своих превращений он оставил позади даже хамелеона». Непота же это приводит в восхищение: «В Афинах он превзошел всех блеском и величием. В Спарте он вел столь суровый образ жизни, что умеренностью



и сдержанностью превзошел самих лакедомонян. Пришел он к персам, у которых высшей похвалы удостоиваются те, кто смело охотится и умеет жить в роскоши. Алквиад до такой степени подражал им, что они сами дивились. И так всюду; где бы ни находился, он занимал первое место и пользовался любовью» (Алквиад, XI).

В постоянстве любви афинян и спартацев Алквиад уже убедился. На что же рассчитывал он у персов, которые славились своим вероломством? У него созревает отчаянный план возвращения на родину, и именно персы, объединившиеся с врагами Афин, должны ему помочь. Он уговаривает Тиссаферна не вмешиваться в военные действия и не оказывать поддержки Спарте. Он предупреждает, что Спарта в случае победы станет опасным соперником, и поэтому нельзя допускать разгрома Афин. А он уже близок. Афины терпят неудачу за неудачей. Сначала — Сицилийская катастрофа, гибель огромной армии и части флота. Затем — разорение Аттики спартанскими войсками и потеря союзников. Средства на исходе, государству грозит гибель.

Это понимали и сами афиняне. Город охватило смятение. Партийная борьба ожесточилась до предела. Демагоги обвиняли аристократов в измене, олигархи интриговали против народных вождей и требовали изменения конституции. Измученное бесконечными раздорами население готово было согласиться на любое правительство, лишь бы оно навело порядок в стране.

Алквиад внимательно следит за происходящим. Ситуация складывается явно в его пользу. Изгнанник доказал Афинам, насколько он опасен как враг. Теперь они смогут убедиться, на что он способен в качестве друга. Он вступает в тайные переговоры с руководителями афинского флота, стоявшего у Самоса, и обещает им поддержку — не только свою, но и персов. Единственное условие — изменение государственного строя Афин. Требование довольно странное для человека, лишенного

каких-либо политических принципов, но за ним скрывается дьявольский расчет. Олигархи вряд ли согласятся признать его и не разрешат ему вернуться на родину. Если же они придут к власти, то, не имея авторитета в народе, вынуждены будут опираться только на силу и сделают террор главным орудием своей политики. Тогда-то Алквиад и выступит как спаситель отечества, восстанавливающий законность и демократию. План этот не осуществился. Но ход событий подтвердил предвидение Алквиада.

В 411 году вконец растерявшееся и запуганное Народное собрание принимает решение, санкционирующее государственный переворот. К власти приходят олигархи. Они разгоняют прежний Совет и создают новый, ограничивают число полноправных граждан пятью тысячами человек и начинают управлять уже без всякого контроля со стороны народа.

Малоавторитетное правительство продолжалось всего три месяца. Его сменила более умеренная группировка олигархов, сумевшая стабилизировать положение и внести некоторое успокоение в умы. Преследования граждан прекратились, было даже отменено решение, касавшееся Алквиада. Несколько побед на море внушили уверенность, что государство обретает былую морскую мощь. Воспрянув духом, афиняне опять бросаются в водоворот политической борьбы. На умеренных, пытавшихся примирить враждующие партии, нападают со всех сторон. В конце концов в 410 году демократы возвратились к власти. Они восстановили старую конституцию, осудили, изгнали или казнили «врагов отечества» и вернули доброе имя тем, кто подвергался репрессиям.

Вновь вспоминают об Алквиаде. От него ждут решительных действий, с ним теперь связывают надежды. Всем известно, что еще год назад он предложил свои услуги афинскому флоту. Моряки, некогда служившие под его командованием, на радостях провозгласили его стратегом и да-



же склоняли к тому, чтобы двинуться на Афины и свергнуть олигархов. Но Алкивиад отговорил их, убедив, что уход с выгодных позиций в Эгейском море и гражданская война в Афинах только на руку спартамцам. «Как и подобало великому полководцу, он воспротивился решениям, подсказанным гневом, не позволил совершиться ошибке и тем спас государство от неминуемой гибели» (Плутарх, Алкивиад, XXVI). Благодаря его находчивости и изобретательности афинский флот выиграл сражение в Геллеспонте. Но когда окрыленный успехом победитель явился с дарами к Тиссаферну, вероломный сатрап, сговорившийся за его спиной со спартамцами, отблагодарил своего друга тем, что бросил его в темницу. Через месяц Алкивиаду удастся бежать из тюрьмы, а вскоре он вновь командует афинскими кораблями. Теперь, уже не надеясь на персидский нейтралитет, он организует кампанию с учетом сил обоих противников. Наконец-то его полководческий талант находит достойное применение.

410 год. Под Кизиком разгромлены войска сатрапа Фарнабаза и захвачены все спартанские суда, охранявшие гавань. Эта победа позволяет афинянам укрепиться на берегах Геллеспонта и полностью контролировать пролив. Под угрозой вторжения Вифиния отказывается от союза со Спартой и переходит на сторону Афин.

409—408 годы. Триера Алкивиада мечется между Эгейским и Мраморным морями. Он постоянно выселяется на берег, ведет переговоры с колеблющимися союзниками, руководит осадой городов, сам участвует в рукопашных схватках. Каждый раз он находит неожиданные решения, которые ставят в тупик противника. Под

Халкедоном он строит стену, чтобы отрезать город от моря. Не успев ее закончить, он вынужден вступить в бой с гарнизоном, сделавшим вылазку, и примчавшейся на выручку конницей Фарнабаза. Он не позволяет вражеским отрядам соединиться и отражает двухсторонний натиск.

При осаде Селибрии, когда дается преждевременный сигнал к атаке, а войско еще не готово к битве, он увлекает за собой 50 солдат и бросается на штурм.

Он изгоняет из Византии объединенный гарнизон пелопоннесцев, мегарян и беотийцев и принуждает город к уплате дани.

За три года он участвовал в десятке битв, потопил или захватил 200 кораблей. Теперь он мог вернуться на родину не с пустыми руками.

Афины ждут своего спасителя. В условиях безвременья Алкивиад — единственная фигура, на которую можно возложить надежды. Правда, лидеры обеих партий по-прежнему опасаются его: они не забыли ни его властолюбия, ни его вероломства. Но афинский обыватель ни о чем не хочет помнить. Он устал от бесконечных неурядиц, он не в силах вникать в тонкости политических программ и хочет только одного: пусть, наконец, сильный человек возглавит государство, покончит с хаосом и обеспечит долгожданную победу. О далеком будущем думать не приходится — нужен герой момента. Персонажи аристофановской комедии размышляют по этому поводу:

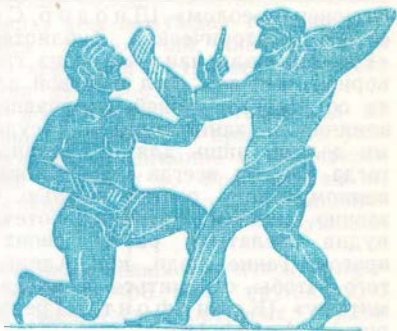
«Дионис: Об Алкивиаде спрошу я вас —
Ведь им болеет город.

Эврипид: А что о нем он думает?

Дионис: Как что?



Мраморная копия головы статуи из золота и слоновой кости.



Афиняне покорились судьбе, не оставившей им иного выбора. Об этом спустя почти столетие вспомнит Демосфен, вернувшийся из изгнания и провозглашенный «спасителем отечества». Ступив на землю Аттики, он скажет, что возвращается «лучше и достойнее Алкивиада, ибо он убедил, а не вынудил сограждан принять его вновь» (Плутарх, Демосфен, XXVII).

Еще до начала Пелопоннесской войны афинские послы в Спарте сформулировали теорию, оправдывающую господство Афин над союзниками: всегда существовал порядок, при котором сильный брал верх над слабым. «Никто еще из уважения к праву не отказывался от власти и применения силы, если представлялся случай» (Фукидид, I, 76). Утверждая культ силы, государство приучало к мысли, что право — это и есть право сильного и законно все, что полезно и выгодно народу. В конце V века до н. э. этот прагматический принцип становится нравственной нормой отдельных граждан. Правда, пока еще мало кто провозглашает его столь цинично, как Алкивиад, но многие «думали точно так же, хотя и не хотели этого высказывать» (Платон, Государство, II, 358 С). Теперь этот принцип обратился против афинян, посеявших ветер. Они сами «вскормили льва», который однажды уже дал им почувствовать свою силу, «доказав, что он еще жив».

Алкивиад возвращается как триумфатор. Слава полководца, не проигравшего ни одного сражения, заставляет забыть о прошлых изменах. Ему рукоплещут, осыпают цветами. «Огромные толпы сбегались к гаваням посмотреть на Алкивиада, так что город совсем обезлюдел — даже рабы проявили не меньшее воодушевление, чем

Тоскует, ненавидит — хочет все ж
иметь.

Но ваше мнение объявите мне!

Эврипид: Нет, тот не гражданин, кто
не спешит

Помочь отчизне, торопясь
вредить ей.

Себе — все блага, городу — весь
вред.

Эсхил: Не надо львенка в городе
растить,

А вырос он, так надо подчиниться».

(Аристофан, Лягушки, 1422—1432).

свободные. В тот момент этот человек был окружен ореолом» (Диодор Сицилийский, Историческая библиотека, XIII). «Его называли наилучшим из граждан, говорили, что он... пал жертвой злого умысла со стороны людей, уступавших ему во влиянии и занимавшихся государственными делами лишь для собственной выгоды, тогда как он всегда содействовал общественному благу, рискуя жизнью. Соперники заочно лишили Алкивиада отечества, вынудив сделаться рабом своих злейших врагов. Такие люди, как Алкивиад, выше того, чтобы стремиться к перевороту или мятежу» (Ксенофонт, Греческая история, I, 4, 13—16).

Народное собрание приветствует изгнанника, вернувшегося, чтобы спасти отечество, которое он едва не погубил. С тех пор как он последний раз выступал перед афинянами, прошло семь лет. Семь лет скитаний, взлетов и падений, поисков и измен. Алкивиад сравнивал себя с Диоскурами¹²: подобно им, он «то умирает, то воскресает вновь; когда счастье сопутствует ему, народ превозносит его как бога, когда же отворачивается — он мало чем отличается от мертвеца». О чем же говорит он сейчас, поднявшись на Пникс? Грозит отпущением тем, кто опозорил его? Гневается на непостоянство сограждан? Он понимает, что нужны другие слова. И он рассказывает о своих злоключениях, жалуется на судьбу и зависть богов (не людей!), а главное — дает понять, что не время ворошить прошлое, а надо смотреть вперед — и смотреть с надеждой и мужеством.

Собрание ликует. Народ прощен, его герой не помнит зла, причиненного ему демосом. Впрочем, почему демосом? Ясно, что виновны клеветники и завистники, обманувшие граждан и пытавшиеся погубить такого достойного человека! Собрание постановляет: вернуть ему конфискованное имущество, снять заклятия, наложенные жрецами. И вот уже торжественно взяты назад клятвы, сброшены в море столбы с высеченным на них приговором. Алки-

виада увенчивают золотым венком и предоставляют неограниченные военные полномочия. Он становится главнокомандующим всеми морскими и сухопутными силами. «Почти все думали, что с его возвращением придет удача в делах. Кроме того, надеялись, что, подобно тому, как к спартамцам пришел успех, когда Алкивиад стал их союзником, так и они снова начнут преуспевать, заполучив этого мужа в союзники... Низшие слои полагали, что он станет их наилучшим соратником и опорой нуждающимся и будет потратить основы государства» (Диодор Сицилийский, Указ. соч., XIII). «Простой люд и бедняки ни о чем другом не мечтали, кроме того, чтобы Алкивиад сделался над ними тираном» (Плутарх, Алкивиад, XXXIV). Ему даже советовали пренебречь всеми народными постановлениями и править полностью на свой страх и риск.

Но риск был слишком велик. Алкивиад знал, что многие демократы и олигархи с подозрением относятся к его возвышению. Не доверял он и пылкой любви сограждан, понимая, что весь его авторитет держится только на военной славе и достаточно малейшей неудачи, чтобы от него отвернулись. Значит, надо побеждать любой ценой.

Он опять искушает судьбу. Ведь день его высадки в Пирее совпал с «праздником омовения» в честь Афины, когда статую богини окутывали покрывалом. Этот день считался одним из самых злосчастных в году, и его старались не заполнять делами. Алкивиад захотел продемонстрировать, что боги отныне благосклонны к нему. Он снаряжает 100 триер и осенью 408 года, через три месяца после возвращения на родину, отправляется в поход. Он высаживается на острове Андросе и побеждает отряд андросцев и их союзников — спартамцев. Оставив гарнизон для осады города, он спешит к Самосу, который превращает в опорный пункт для операций в Ионии.

До решающих битв еще далеко. Противники копят силы, ищут новых союзников.



ограничиваясь отдельными стычками. Время идет — и оно работает против Алкивиада. Он становится жертвой собственной славы. Вера в его блестящий талант и удачливость была столь велика, что нетерпеливые афиняне ожидали от него молниеносных и притом немедленных побед. Любую задержку или предосторожность истолковывали как нерадивость или измену. Что у непобедимого полководца могут быть какие-то трудности, что для него что-то невыполнимо — в это никто не верил. Но коль скоро флот бездействует, а враги сохраняют свои позиции, значит Алкивиад проявляет преступное легкомыслие (столь свойственное его натуре) либо замышляет предательство.

Меж тем осмотрительный спартанский военачальник Лисандр приказал флоту уклоняться от серьезных сражений. Он готовил все новые и новые триеры, экипировал их, собирал деньги. К его услугам была казна персидского царя Кира, и он смог увеличить жалованье матросам. Алкивиад же, не рассчитывая на помощь обессиленных Афин, с огромным трудом добывал необходимые средства у покоренных им городов. Ему приходилось часто отлучаться и покидать флот, и это учел дальновидный Лисандр.

Из Афин приходили вести о недовольстве граждан, требовавших побед. Ближайшие помощники Алкивиада рвались в бой, и однажды, когда командующий, как обычно, отправился за провиантом, деньгами и оружием, военачальник Антиох вопреки строжайшему запрету ввязался в сражение и попал в ловушку, расставленную спартанцами. Он потерял 15 кораблей, а сам погиб. Узнав о случившемся, Алкивиад примчался к Самосу и пытался вызвать Лисандра на продолжение битвы, но тот уклонился от боя. Поражение Антиоха никак не влияло на ход кампании, но в Афинах его восприняли чрезвычайно болезненно. Алкивиада называли изменником, бросившим флот на произвол судьбы. Его обвиняли даже в том, что он присваивал себе деньги союзников, устраивал по-

пойки и вообще больше заботился о своих удовольствиях, чем о нуждах государства. Его лишили полномочий, ликвидировали должность верховного стратега и вместо него избрали десять стратегов.

Испытав новое унижение, Алкивиад не может больше оставаться в армии. Он уходит в добровольное изгнание и поселяется в небольшой крепости во Фракии. Там он живет последние три года, становясь свидетелем окончательного крушения Афин.

Его преемникам выпал трагический жребий. Одержав в 406 году крупнейшую победу при Аргинузских островах, стратеги были привлечены к суду за то, что не смогли похоронить павших и спасти раненых, оставшихся на кораблях, которые разметала буря. Чудовищный процесс закончился единодушным осуждением¹³ и казнью полководцев.

Сменившие их военачальники были уверены в близком окончании войны и торопились завершить ее одним ударом. Афинские корабли вошли в Геллеспонт и остановились на открытом рейде. Исполненные презрения к неприятелю, уклонявшемуся от боя, стратеги забыли о предосторожности. И тогда появился Алкивиад. Он прискакал к устью реки Эгос-Потамы и пытался убедить их сменить стоянку и не позволять матросам разбредаться по берегу. Его предостережениям не вняли, ему ответили: «Пока еще стратеги мы, а не ты», и посоветовали убраться прочь.

При Эгос-Потамах афинский флот был уничтожен. Это определило исход войны, четверть века сотрясавшей Элладу. Афины капитулировали. При поддержке спартанцев к власти пришло правительство 30 тиранов, установившее военную диктатуру. Начались расправы с демократами. И опять всплыло имя Алкивиада. Многие сетовали на то, что с ним обошлись несправедливо. Раздавались голоса, что не все потеряно, куда он жив. Не забыли о нем и тираны. В списке граждан, приговоренных к изгнанию, первым значилось имя Алкивиада. Но этим не ограничились. Афин-



ское правительство уговорило спартанцев расправиться с беглецом, и те издали специальное постановление о том, чтобы умертвить его.

Алкивиад вновь ищет пристанища. Из Фракии он перебирается в Вифинию, оттуда во Фригию, к бывшему сопернику — Фарнабазу. Сатрап окружает нежданного гостя заботой и вниманием. Он любезен и радушен, и улыбка не покидает его лица, когда из Спарты приходит письмо, в котором его просят избавиться от опасного преступника. Подсланные убийцы поджигают дом изгнанника. Он успевает выскочить из пламени и с мечом бросается на врагов. Никто не решает сразиться с ним врукопашную — его засыпают издали стрелами и дротиками.

Так погибает 45-летний полководец и политик, лишившийся друзей, армии и отечества.

Голову его приносят Фарнабазу. Вероломный перс может гордиться тем, что отнял у Алкивиада славу непобедимого героя. Но слава эта не умирает. Когда через сотню лет римляне во время войны обратились за помощью к оракулу, тот посоветовал им воздвигнуть статуи умнейшего и мужественнейшего из греков. И две

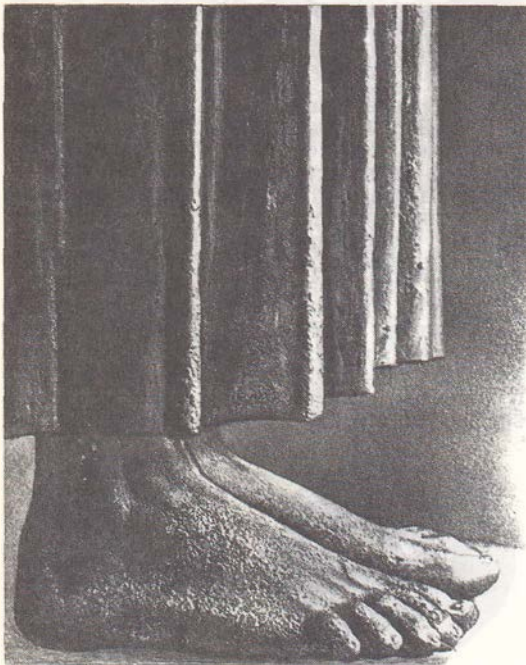
медные фигуры украсили площадь, где происходило народное голосование: одна изображала Пифагора, другая — Алкивиада.

Античный мир помнил, однако, и другое: блистательный военачальник был великим авантюристом и редким по своей беспринципности человеком, стремившимся лишь к удовлетворению своего непомерного честолюбия. Именно в этом видели причину его постоянного конфликта с обществом.

Греческое слово «аретэ» означало сумму высших достоинств, свойственных гражданину, — смелость, честность, преданность отечеству, верность богам и законам. Провозгласив эти нравственные нормы, общество, со своей стороны, брало на себя ряд обязательств и перед собственными членами. Заключался «общественный договор» между государством и гражданином. В V—IV веках до н. э. этот договор нарушался не раз, и возникал конфликт между личностью и обществом. В этом конфликте всегда побеждало общество, но победа подчас оборачивалась нравственным поражением. Афиняне сжигали творения ученых, высказывавших слишком рискованные и неожиданные мысли, изгоняли талантливых государственных деятелей, добившихся чересчур большой популярности и подозреваемых в тиранических стремлениях, расправлялись с патриотами, предостерегавшими от поспешных и ошибочных решений.

Обиженный гражданами Алкивиад, чтобы восстановить справедливость, перешел на сторону врагов отечества. За 70 лет до него оскорбленный Аристид удалился в изгнание и, не протестуя против несправедливости, терпеливо ждал, когда неразумный афинский народ, поняв свою вину, призовет его вновь. За первым сохранилась вполне заслуженная слава антипатриота, другой остался для потомков образцом человека и гражданина.

Архестрат, афинянин, говорил, что Афины не вынесли бы двух Алкивиадов. Справедливости ради следует заметить, что они не выдержали и одного — того, кого сами взрастили и сделали героем своего времени.



Дельфийский возница. Бронза.
Около 470 г. до н. э.
На стр. 418 — Деталь.



ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Именно во второй половине V века до н. э., особенно после смерти Перикла (429 г.), слово «демагог», первоначально обозначавшее «народный вождь», «руководитель народа», приобрело тот оттенок, который за ним сохранился и поныне.

² Победителем объявляли не возничего — участника состязаний, а владельца колесницы.

³ Такова была обычная формула ostracism. Если Народное собрание решало, что «суд черепков» необходим, то на следующем заседании проводилось голосование, и каждый гражданин писал на глиняном черепке имя того, кто, по его мнению, угрожал свободе.

⁴ Глас народа (латин.).

⁵ За оказание важных услуг государству Андокид (как и его отец) был освобожден от суда и оправдан. Он предпочел, однако, покинуть Афины и удалиться в добровольное изгнание.

⁶ Пусть погибнет мир, но правосудие должно восторжествовать! (латин.).

⁷ Афиняне голосовали поднятием рук либо опусканием в урны мелких камешков. Черный цвет означал признание подсудимого виновным.

⁸ Весь диалог явно придуман Ксенофонтом, учеником Сократа и противником демократии.

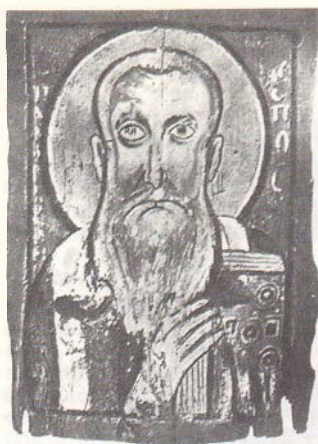
⁹ В их число не включались женщины, чужеземцы и, разумеется, рабы.

¹⁰ Холм в пригороде Афин, где собиралось Народное собрание.

¹¹ Именно в конце V века до н. э. был сформулирован принцип: «Отечество — там, где дела идут хорошо».

¹² Мифические братья, жившие попеременно то на небесах, то в подземном царстве.

¹³ Против этого решения голосовал лишь Сократ, считавший процесс позором для государства, способного на подобную несправедливость, и для народа, эту несправедливость одобряющего.



А. Штекли

Гипатия, дочь Теона

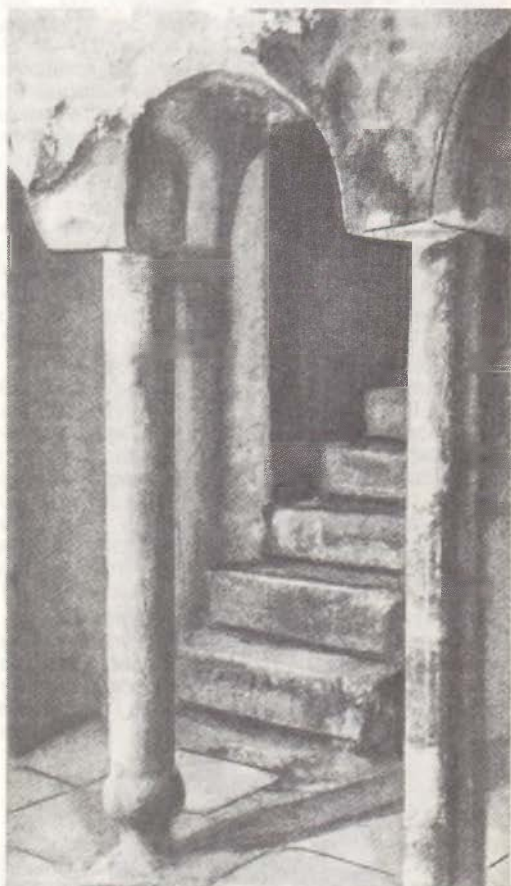
Портрет девушки, II в.

Портрет молодой женщины, II в.

Епископ Авраам. Икона из монастыря Бауит, VI—VII вв.

Форум Гиппона.

Каир, Христианская церковь Абу Сарга, VI в.



С детства она была окружена книгами. Папирусные свитки и кодексы из пергамента находились повсюду: и на полках и на рабочем столике отца. А главное, они жили на территории Мусейона, научного центра и высшей школы, которой гордился Египет. Рядом с их комнатами размещалось крупнейшее книгохранилище мира — Александрийская библиотека. Основанная и собранная наследниками Александра Македонского, она во времена Цезаря, когда город подвергся разграблению, потеряла непоправимый ущерб. По свидетельству древних писателей, сгорело семьсот тысяч томов. Но славу библиотеки удалось восстановить. Антоний, чтобы сделать приятное Клеопатре, приказал доставить в Александрию книжные сокровища Пергама. При императоре Аврелиане библиотека снова сильно пострадала. Кровавая междоусобица, сопровождавшаяся пожарами, уничтожила почти весь квартал, где она находилась.

Когда снова воцарился мир, ученые Мусейона с остатком книг были переселены на акрополь, в помещения, принадлежавшие Серапеуму. Александрия славилась своими храмами, но Серапеум считался самым знаменитым. Он был столь прекрасен, что даже историк Аммиан Марцеллин, известный своим красноречием, уверял, будто бессилен его описать. Особенно красивы были многочисленные внутренние дворники, окруженные колоннадой, тенистые аллеи, дышащие жизнью статуи, рельефы, фрески. «Все это укрывает Серапеум в такой мере, — замечал Аммиан Марцеллин, — что после Капитолия, которым увековечивает себя достославный Рим, ничего более великолепного не знает вселенная».

Теон, отец Гипатии, был видным астрономом и знатоком механики. Он гордился, что продолжает дело великих ученых и принадлежит к Мусейону, научному обществу, в стенах которого работали прежде Эвклид, Аполлоний Пергский и Клавдий Птолемей. Гипатия рано стала проявлять интерес к занятиям отца. Она полюбила геометрию и исписывала множество таблицек, учась доказывать теоремы. Ей нравилось в звездные ночи наблюдать небо. Брат ее под руководством отца тоже успешно постигал математику, но отставал от Гипатии. Девочка отличалась удивительнойсообразительностью и, что было особенно редкостным, обнаруживала незаурядные способности к механике. Она подолгу смотрела, как работают ремесленники. По-

дражая Теону, мастерила несложные инструменты, нужные для астрономических наблюдений.

Мусейон славился не одними математиками. Стоило в любой стране неизвестному врачу показать документы, удостоверяющие, что он учился в Александрии, как к нему тут же проникались доверием. Под кровом Мусейона в свое время наставляли мудрости многие видные ученые. И здесь, как в Афинах и Риме, расцветала философская школа неоплатоников.

За книгами древних философов Гипатия провела многие годы. Широта интересов, удивительная работоспособность, острота ума, глубокое понимание Платона и Аристотеля снискали ей уважение профессоров Мусейона. Она была еще очень молода, когда у нее появились первые ученики. Вместо обычной одежды молодой девушки она стала носить темный плащ философа. Молва о ее необыкновенных познаниях распространялась все шире и шире. Александрия, жемчужина Египта, издавна славилась своими учеными. Теперь Гипатия становилась ее новой гордостью.

Огромная библиотека, общество утонченных и знающих людей, превосходные аудитории, восторженные ученики — все, казалось, способствовало безмятежным занятиям наукой. Но настоящего покоя не было и под платанами Мусейона. Шли годы, наполненные тревогой и ожиданием несчастий. Римская империя рушилась. Внутренние распри раздирали государство, обескровленное непомерными поборами, бесконечными войнами, произволом правителей. Смятение царило не только в пограничных областях, где хозяйничали орды варваров, смятение царило в умах и душах. Уже семьдесят лет, как при Константине христианство стало господствующей религией, но чуда не произошло. Жизнь по-прежнему была полна несправедливости и угнетения. Все те же напасти губили римский мир, императоры по-прежнему оспаривали друг у друга власть, по-прежнему массы готов, гуннов и скифов опустошали цветущие земли. Люди, верные старым богам, приписывали все беды новой религии, а в христианской церкви громче и громче раздавались голоса тех, кто требовал окончательно сокрушить язычество.

Епископ Александрии Феофил был в числе самых нетерпеливых. Настойчиво добивался он от императора указа об уничтожении всех без исключения языческих храмов в Египте. Запрета поклоняться

идолам и совершать жертвоприношения ему было мало. Он жаждал снесения языческих святынь. Феофила не смущало, что его рвение влекло за собой кровавые беспорядки и гибель людей. Жители Александрии и ее окрестностей нередко оказывали сопротивление фанатикам, которые пытались разрушить храмы, поражавшие своей гармоничностью и красотой. Но Феофил не мог успокоиться, пока Серапеум оставался целым. Не зная устали, хлопотал он при дворе о дозволении его уничтожить.

Этот день на всю жизнь остался в памяти Гипатии как кошмарный сон, в реальность которого трудно поверить.

Утром огромная толпа, предводительствуемая монахами, устремилась к Серапеуму. Стража успела поднять тревогу и закрыть ворота. Это лишь отсрочило развязку. Нападение было хорошо подготовлено. Руководил им сам Феофил. И хотя на помощь защитникам Серапеума поспешили многие горожане, возмущенные посягательством Феофила на красоту и гордость Александрии, участь храма была решена.

Когда смельчаны, оборонявшие храм, сделали несколько отчаянных вылазок и потеснили людей Феофила, тот обратился к начальнику войск. Во исполнение императорского указа надо немедленно пригнать солдат! Те прибыли с осадными орудиями, словно для взятия неприятельской крепости. Военные лестницы помогли осаждающим преодолеть стены. Мощный таран разбил ворота. На территорию Серапеума хлынула толпа.

Плиты, устилавшие площадь, обгарились кровью. Фанатики, обуреваемые духом разрушения, крушили все, что попадалось под руку: разбивали статуи, выламывали двери, портили фрески. Желавшие поживиться богатой добычей бросились к сокровищнице. Но там уже хозяйничали доверенные люди епископа. Под надежной охраной несметные храмовые сокровища были направлены во дворец Феофила.

В толпе раздались возмущенные голоса. Тогда кто-то из монахов крикнул, что следует немедленно уничтожить всю языческую нечисть — книги идолопоклонников. Толпа ринулась к библиотеке. Безумие надо было остановить любой ценой! Горстка ученых с оружием в руках защищала подступы к книгохранилищу. Некоторые из них проявили чудеса храбрости. Элладий, например, один сразил девятерых. Но все

напрасно. Силы были слишком неравны. Люди, обезумевшие от убийств, ворвались в помещения библиотеки. Бесценные книжные богатства, сохраненные и приумноженные трудами многих поколений ученых, оказались добычей темных, пышущих ненавистью людей. Монахи воюю их подзадоривали. Языческую заразу следует навсегда искоренить! Книги сбрасывали с полок, рвали, топтали ногами. Рукописи, за которые в свое время отдавали целые состояния, вышвыривались во двор. Там собирали их в кучи и раскладывали костры. Внутренние помещения Серапеума, как и книгохранилище, громили долго и основательно.

Тщетно Гипатия кричала и рвалась туда, где сражались и гибли друзья. По приказу Теона ее надежно держали крепкие руки рабов.

Храм Сераписа был разгромлен. Мусейона больше не существовало. Александрийская библиотека была почти полностью уничтожена. Это свершилось в 391 году, на шестой год правления епископа Феофила.

Ревнители христианской веры еще сбивали ломами последние рельефы с фронтонов, а по аллеям Серапеума ветер гнал клочки драгоценных рукописей, когда Теон нанял небольшой дом в тихом квартале. На плоской крыше он установил инструменты, необходимые для наблюдения звезд. Вскоре Теон объявил, что открывает частную школу и будет обучать всех желающих механике и астрономии.

Гипатия не снимала траура по погибшим друзьям, не появлялась на людях, не выходила к столу. Теон, осунувшийся и как-то сразу постаревший, не произносил слов утешения. Но однажды он сказал: «Завтра, дочь, мы возобновляем занятия. Утром к тебе придут ученики».

Варварство надвигалось со всех сторон. Германцы с окрашенными рыжей краской волосами, жаждущие плодородных земель для поселений, или стремительные кочевники, выходящие из Азии, то и дело переходили рубежи. А внутри империи все выше поднимало голову другое варварство — воинствующий фанатизм победивших христиан, их исступленная преданность своей вере и стремление силой подавить все прочие ненавистные религии. Добродетелью стало считаться пренебрежение к культурным ценностям, неприязнь к науке. Серапеум и сотни других храмов

уничтожали не чужеземцы-варвары, одетые в шкуры, а сами же египтяне, греки, римляне, сирийцы. Сыновья народов, славных древней культурой, обратившись в христианство, разрушали здания редкой красоты, жгли библиотеки, разбивали статуи. Все это объявлялось ненужным и вредным. Надо, думая о боге, готовиться к будущей вечной жизни на том свете.

Христианские проповедники на все лады превозносили невежество. Верующий неуч, чистый сердцем, противопоставлялся лукавому язычнику-ученому. Взгляды большинства князей церкви отличались узостью. Наука годилась лишь в том случае, если сразу приносила им пользу. Какой прок от астронома, если он, углубившись в расчеты, пытается постичь загадки мироздания? Все, что нужно об этом знать, есть в библии! Другое дело, если он умело высчитывает наступление пасхи. Правда, бывает, и сочинения греческих риториков приносят пользу, помогая совершенствоваться в церковном красноречии.

Спасать надо было не тот или иной драгоценный свиток, барельеф или фреску, спасать надо было само представление о культурных ценностях, о преемственности культур, о важности науки, о назначении искусства.

После разгрома Серапеума многие ведущие ученые навсегда покинули Александрию. Но Теон с дочерью остались. Ссылаться на поговорку «Родина там, где хорошо» позволительно меняле, а не ученому. Настоящий ученый не покинет родину в годину испытаний.

Школа Теона и Гипатии продолжала работать. Все свободное от занятий время Гипатия сидела над книгами или изучала звездное небо. Она достигла совершенства в трудном искусстве наблюдать звезды. Гипатия не только развивала идеи великого астронома и математика Клавдия Птолемея. Многолетние наблюдения позволили ей внести в его труд ряд поправок. Она составила более точные астрономические таблицы. Дочь превзошла отца в астрономии. Слава Гипатии затмила славу Теона.

Постепенно от преподавания математики Гипатия перешла к чтению лекций по философии. Она излагала слушателям учения Платона и Аристотеля. Гипатия вызывала удивление. Казалось, в этой девушке воплотилась мудрость прошлого. Ее толкования греческих философов радовали обстоятельностью и глубиной. Все чаще раз-

давались восторженные голоса: никто так не знает философии, как Гипатия!

С годами слава о ее школе широко распространилась. Быть учеником Гипатии считалось большой честью. В Александрию ехали юноши из разных стран.

Сокрушение язычества вовсе не повело к тому, что люди, задававшие тон в христианской церкви, отказались от воинственности и прониклись миролюбием. Среди епископов шла жестокая и беспринципная борьба за власть. Те богословские учения объявлялись правильными, приверженцы которых в настоящий момент брали верх.

Епископ Феofil признавал только кулачное право. Когда несколько духовных лиц, прозванных за высокий рост Длинны-



Портрет мужчины. Деталь пелены. II в.

ми братьями, возмутьившись его порядками, пожелали возвратиться в пустыню, он воспылил жадной мести. Он заявил, что Длинные братья держатся ложных богословских взглядов. На самом же деле Феofil еще недавно разделял эти взгляды, но теперь, дабы досадить ненавистникам, он стал защищать противоположное мнение. В Нитрийских горах, пустынной местности неподалеку от Александрии, находились многочисленные скиты. Жившие там монахи, в большинстве своем люди безграмотные, славились воинственным духом и неумолимостью. Феofil натравил их на Длинных братьев, и те едва избежали смерти.

Успех Феофила окрылил его приверженцев и послужил вдохновляющим примером для всех ревнителей истинной веры, считавших, что насаждать ее надо крепкой

рукой. Богословские споры, оказывается, можно прекрасно решать с помощью грубой физической силы!

События, происходившие в Александрии и ее окрестностях, вызывали озабоченность Гипатии. Дело не в том, что здесь на епископском престоле сидел крутой и темный человек, неразборчивый в средствах. Хуже было другое. Люди, полагавшие, что христианство, став государственной религией и окончательно низвергнув язычество, обратится на путь мира и терпимости, ошиблись. Победившее христианство не проявляло ни бережного отношения к древней языческой культуре, ни к искусству, ни к научному наследию. Отовсюду шли малоушестительные вести: пастыри-ученые все больше оказывались не у дел. Их место занимали ограниченные и жадные до власти честолюбцы. Князья церкви неуждержимо рвались к мирскому могуществу и хотели подчинить себе все. Слова и дела были в вопиющем противоречии. Духовные наставники превратились в расчетливых политиков. Они умели пользоваться и нарочитой торжественностью богослужений, и берущими за душу проповедями, и беседами с глазу на глаз, и благотворительностью.

Христианские пастыри научились мастерски играть на низменных инстинктах толпы, сеяли ненависть к иноверцам, взращивали суеверия. Ссылками на «божью волю» распалили страсти, а миской дешевой похлебки завоевывали если не сердца, то желудки бедняков, чтобы натравить вечно голодных людей на лиц, не угодных церкви.

Хорошие начинания и добрые дела, еще недавно служившие самым благим целям, обращались в свою противоположность. Во время эпидемий некому было ходить за больными и убирать трупы. Смертельная зараза обращала в бегство людей и не трусливого десятка. Требовались особое мужество и самоотверженность, чтобы по собственной воле взять на себя тяжелые и опасные обязанности, необходимые для общего блага. В этом стали видеть религиозный подвиг. Смелчани, решившиеся на это, объединялись в особую организацию. Их так и звали — «парабаланы», то есть «отважные», «подвергающие себя смертельной опасности». Они пользовались уважением и рядом привилегий. Их освобождали от налогов.

Феофил обратил внимание на парабалан. Он, даже по признанию церковных исто-

риков, был первым, кто положил начало самовластью епископов. Недаром Феофила называли «христианским фараоном». Его притязания на неограниченное господство встречали сопротивление светских властей. Частые конфликты заставили Феофила призадуматься. Расправляясь с врагами, он иногда прибегал к помощи нитрийских монахов. Но они были за пределами города, александрийская чернь оставалась разобщенной, и, чтобы поднять ее, требовалось время. А он нуждался в людях, готовых в любой момент броситься за него в огонь и воду. Он не имел права содержать солдат. Войсками в Александрии распоряжался военачальник. Тогда Феофил вспомнил о парабаланах. Великий мор случается не так уж часто, и, на худой конец, таскать трупы можно заставить и рабов! Ему сейчас нужны решительные, вышколенные, надежные бойцы.

Среди парабалан навели порядок. Созерцателей и богомольцев, мечтающих спасти душу, ухаживая за умирающими, направили работать в богадельни. Набрали новых людей, мускулистых, отчаянных. Предпочтение отдавали бывшим солдатам и гладиаторам. Когда префект, правитель Египта, спохватился и запротестовал, Феофил, посмеиваясь, сослался на давние установления: парабаланами обычно распоряжался епископ. Да и кто будет убирать трупы, если Александрию постигнет очередная напасть?

Гипатия поражала своей разносторонностью. Ее широко прославило преподавание философии и математики. Однако с не меньшим блеском читала она о Гомере или о греческих трагиках. По общему мнению, Гипатия превзошла всех современных ей философов. Недаром ученики стекались к ней отовсюду. Она примыкала к философской школе неоплатоников, но ее строгий мир чисел и геометрических фигур, мир, подчиненный законам механики, был далек от мечтаний и мистических озарений других философов этой школы.

Превосходно знала Гипатия и книги христианских писателей. Один из ее любимых учеников, Синезий, епископ Птолемаиды, не решался выпустить в свет свой богословский труд без одобрения Гипатии.

Ей принадлежал обширный комментарий к сочинениям Диофанта по геометрии. Следуя за Аполлонием Пергским, она посвятила специальную работу коническим сечениям.

В школе Гипатии занимались выходцы

из разных стран. Рядом с христианами сидели язычники. Бывших ее учеников можно было встретить и на епископской кафедре и при дворе в Константинополе.

Слушать Гипатию было одно наслаждение. Часто на ее лекции сходилось много народу. Посещать дом Гипатии вошло в моду. Вокруг нее собирался весь цвет ученой Александрии. Сам префект нередко бывал ее гостем.

Познания Гипатии, рассудительность и скромность внушали уважение. Она всегда держалась с достоинством. Даже перед правителями появлялась в своем темном плаще философа. Ей охотно внимали магистраты. Свое влияние она никогда не употребляла во зло. Гипатию считали воплощением мудрости и к голосу ее прислушивались не только, когда речь шла о научных вопросах.

А время вовсе не способствовало занятиям наукой. Математика вызывала подозрения. В ту пору в церквях нередко молили господу обрушить свой гнев на головы «математиков, колдунов и прочих злодеев». Астрономия была частью математики, а разницы между астрономом, изучающим небесные явления, и астрологом, предсказывающим судьбу по звездам, как правило, не делалось. Даже в официальных документах звездочетов называли просто математиками. В 409 году императоры Гонорий и Феодосий II издали специальный закон. Математикам вменялось в обязанность явиться к епископу, отречься от богопротивных взглядов, предать огню список своих заблуждений и поклониться блюсти христианскую веру. Тех же, кто отказывался принести отречение, было велено изгнать из Рима и всех прочих городов. Математиков, которые осмелились нарушить это установление, самовольно остались в городах или под прикрытием ложной клятвы продолжали тайком заниматься своей профессией, надлежало карать без всякого милосердия.

От указа этого Гипатия не пострадала. У должностных лиц Александрии хватило, к счастью, ума не причислять ее к тем математикам, которых во имя торжества веры и государственного спокойствия следовало ловить и наказывать. Даже Феодил терпел Гипатию. Ему льстило, что в его городе существует школа, равной которой нет ни в Риме, ни в Константинополе. Ученые-александрийцы не прочь были похвастаться: что, мол, Афины по сравнению с их родным городом? Слава Афин закатилась, ныне они могут гор-

диться лишь душистым аттическим медом, в Александрии же блистает Гипатия! Весь Египет питается ее посевоом, когда в Афинах царит мерзость запустения.

Люди уже привыкли к тому, что время от времени страшные вести сотрясали Римскую империю. Натиск варваров усиливался. Хорошо, когда от них удавалось откупиться золотом или землями для поселений. Но они, чувствуя свою мощь, становились все напористей. В 378 году император Валент понес под Адрианополем жесточайшее поражение и был убит. Весь Балканский полуостров лежал незащищенным перед отрядами грозных готов. Судьба самого Константинополя висела на волоске.



Портрет
мужчины
с бородой,
II в.

Правда, Феодосию, полководцу, ставшему впоследствии императором, удалось поправить положение, но ненадолго. В вожде вестготов Аларихе империя нашла нового врага, страшного своей ненасытностью. Он тоже чуть было не взял Константинополь и опустошил Балканы до самых южных областей Греции. Несколько лет спустя несметное войско готов обрушилось на Италию. Осажденный Рим дважды откупался, но в третий раз Аларих захватил город приступом и отдал его на поток и разграбление. Римлян постигла ужасающая беда. Рассказы о торжестве варваров и их бесчинствах разнеслись по всем концам некогда единой, великой и прочной империи. На этот раз свершилось немислимое. В августе 410 года пал Вечный город, олицетворение могущества, символ непобедимости. Пал под ударами варваров Рим!

Своего племянника, Кирилла, Феофил открыто прочил себе в преемники. Выборы выборами, но он сделает все возможное, чтобы после его смерти епископский престол достался сыну сестры, а не какому-нибудь чужаку!

Считая, что судьба Кирилла во многом зависит от того, как сложатся его отношения с нитрийскими монахами, он велел ему на время поселиться в одном из горных скитов. Внешне Кирилл стал настоящим пустынножком, а в душе лелеял мечты о власти. Он с радостью вернулся в Александрию, когда его позвал Феофил. Теперь поддержка нитрийских монахов была ему обеспечена, и надо было завоевать популярность у жителей Александрии. Недавний отшельник преобразился: щеголеватое одеяние, статная фигура, красивый голос. Его проповеди в Кесарионе, главной церкви города, проходили при огромном стечении народа. Ему неистово аплодировали.

Епископ советовал племяннику обратить особое внимание на парабалан, увеличить им жалованье, предоставить новые льготы. Он одобрил Кирилла, когда тот взял в свои руки все средства, предназначенные для благотворительности, и стал решать, кого кормить досыта, а кому выдавать лишь крохи. Некоторых смущали сомнительные новшества Кирилла: люди, встречавшие его на улицах приветственными возгласами и бурно рукоплескавшие ему в храмах, занимались на церковные деньги.

Растущая популярность Кирилла вовсе не тревожила епископа. Он видел в нем достойного преемника.

Феофил лежал на смертном одре. Жизнь едва в нем теплилась. Он пребывал в летаргии. Вести о его кончине ждали с минуты на минуту. Для Кирилла пришло время действовать. Он должен во что бы то ни стало захватить епископский престол!

Характер пресвитера Кирилла, жестокий и властный, вызывал у многих опасения. Люди, могущие повлиять на избрание епископа, колебались. Другой кандидат, архидиакон Тимофей, внушал больше доверия. Борьба разгорелась еще до того, как было объявлено о смерти Феофила. Вокруг Тимофея и Кирилла собирались приверженцы. Страсти обострились до крайности, словно предстояло не избрание духовного главы Александрии, а баталия с неприятелем. Кирилл боялся, что, если не применить вовремя силу, верх возьмут

его противники. Начались столкновения. Вездесущие агенты Кирилла подогревали воинственность толпы. В ход пошли палки, камни, ножи. Абунданций, начальник гарнизона, встал на сторону Тимофея. Исход борьбы казался предрешенным, но Кирилл не растерялся. Звать на помощь нитрийских монахов было поздно. Тут-то и пригодились верные Кириллу парабаланы. Сотни их с оружием в руках устремились к дому Тимофея. Солдаты были смяты. Абунданций, страшась великой резни, пошел на мировую и отказал Тимофею в дальнейшей поддержке. Кирилл победил, и его возвели на престол епископа.

С тревогой и озабоченностью наблюдала Гипатия за ходом событий. Христианские пастыри, провозглашающие свою веру религией мира и справедливости, в открытую попирают собственные принципы и силой захватывают власть! Орест, префект Александрии, предпочел не вмешиваться. Пусть, мол, в делах церкви разбираются сами священники. Неужели префект не понимает, к чему может привести такое попустительство? Или он просто испытывает страх перед шайками вооруженных парабалан?

Очень скоро Кирилл стал проявлять свое самовластье. Первыми, за кого он взялся, были новациане, христиане-сектанты, люди суровых жизненных правил, собравшие в своих церквях немалые богатства. Он произнес проповедь, толпа его ярых приверженцев бросилась на новациан. Их церкви были опустошены и закрыты. Деньги, дорогая церковная утварь и все имущество епископа новациан оказались в руках Кирилла.

Грабить церкви христиан, которые не разделяют его взглядов, тоже неотъемлемое право епископа? Орест тоже не касается префекта? Орест опять говорил, что и эта распря — лишь междоусобица церковников. Дальше, разумеется, Кирилл не пойдет. Но это было только самоуспокоение.

Вскоре обстановка еще более осложнилась. В Александрии издавна жило много иудеев. Кирилл не хотел мириться с тем, что значительная часть горожан осталась вне его власти. Он решил воспользоваться старой враждой иудеев и христиан. В городе участились стычки. Христей стали взаимные упреки. То там, то здесь совершались поджоги. На улицах по утрам находили убитых. Вражда росла.

Однажды на рассвете сам Кирилл направился во главе вооруженной толпы

в иудейскую часть города. Святой отец намерен раз и навсегда очистить город от врагов христианской веры! Люди Кирилла опустошали синагоги, захватывали меняльные конторы, ювелирные мастерские, склады, вламывались в лавки, грабили дома. Особенно неистовствовали парабаланы. Все иудейское население, десятки тысяч людей, было изгнано из Александрии. Кирилл торжествовал победу. Его казна ломилась от награбленных сокровищ.

Возмущенный Орест написал в Константинополь и просил доложить о происшедшем императору. Эта жалоба мало заботила Кирилла. Он по-своему истолковал события и свалил всю вину на иудеев. Кирилл был убежден, что его объяснения примут при дворе благосклонно. Значительную часть захваченного золота он послал в Константинополь нужным и влиятельным лицам.

Однако позиция, занятая префектом, раздражала Кирилла. Оресту следовало бы уже понять, кто настоящий хозяин Александрии. Он должен смириться, не требовать наказания виновных, не беспокоить двор жалобами.

При каждом удобном случае Кирилл выставлял напоказ свое миролюбие. Он неоднократно посылал к префекту своих людей с предложением прекратить распрю. Но Орест отверг дружбу епископа. Он громкогласно заявлял, что не позволит Кириллу злоупотреблять силой и ущемлять права светской власти.

В церкви Кирилл, протягивая евангелие, призывал Ореста помириться. Но тот был непреклонен и твердил, что заставит уважать закон.

Орест, не скрывая вражды, становится в позу ревнителя законности? Ну что же, придется показать этому несмышленищу в тоге префекта, кто здесь теперь обладает настоящей властью!

Не полагаясь на одних парабалан, Кирилл вспомнил о той силе, которую в борьбе с врагами успешно использовал Феофил, о нитрийских пустынножителях. Он послал к ним гонца с призывом о помощи. Престижу церкви угрожает несговорчивость префекта! Чтец Петр, один из приближенных Феофила, отобрал самых решительных, сильных, готовых на все. Он привел в Александрию вятсот монахов, один вид которых внушал страх. Опаленные солнцем пустыни тела в рубищах или шкурах, заросшие, угрюмые лица, неприязненные взгляды.

Привыкшие беспрекословно подчиняться своим начальникам, они заняли улицы, по которым обычно проезжал Орест. Едва появилась его колесница, как толпа бросилась ей наперерез. Десятки монахов, схватившись за упряжь, остановили лошадей.

«Жертвоприноситель! Изменник! — неслось со всех сторон. — Проклятый язычник!»

Орест побледнел. Он понял, что нападение подстроено Кириллом. Префект закричал громко, как только мог: «Я не язычник! Я христианин, меня крестил константинопольский епископ Аттік!» Но его не слушали и продолжали осыпать оскорблениями. Телохранители обнажили мечи. Толпа ответила градом заранее приготовленных камней. Один из монахов ударил Ореста камнем в голову. Префект упал. Из раны



Портрет
юноши
с золотым
венком.
Начало II в.

обильно текла кровь. В толпе раздались крики торжества. Почти все телохранители Ореста, опасаясь быть убитыми, побросали оружие и разбежались.

В это время подоспела подмога. Горожане, услышав о нападении на префекта, поспешили на помощь. Им удалось схватить одного из самых яростных подстрекателей, того монаха, который ранил Ореста. Его звали Аммоний. Остальных нитрийских пустынножиков обратили в бегство. Префекта, залитого кровью, доставили во дворец.

Рана оказалась не очень тяжелой, и Орест вскоре был уже в состоянии отдавать приказы. На основании закона о каре преступников, чинящих беспорядки и покушающихся на носителей власти, он приговорил Аммония к смерти. Казнь соверша-

лась всенародно. Аммоний умер в страшных мучениях.

Ночью труп казненного исчез. Его выкрали неизвестные. А наутро по приказу Кирилла тело Аммония было выставлено в одной из главных церквей для всеобщего поклонения. Кирилл дал ему имя Фавмация, то есть «чудесного», и велел прославлять его как мученика, отдавшего жизнь за торжество веры. В церквях на все лады возносили хвалу Аммонию-Фавмацию, его религиозному подвигу, величию духа, благочестию.

Храм был убран с поражающим великолепием. Все было залито светом. Горели лампы и свечи в золотых канделябрах. Крутом курили ладан. Живые цветы источали одурманивающий аромат. Сверкали драгоценные камни. Тело Аммония было положено так, что всем были видны следы пыток. Звучал многоголосый хор. Специальные распорядители умело руководили богомольцами. Люди prostирались ниц, причитали и плакали, били земные поклоны, ползли на коленях мимо гроба Аммония, мимо символов мученичества, целовали постамент, на котором он был установлен, целовали стены церкви, каменные плиты пола. К Фавмацию-Аммонию зывали с просьбами о заступничестве, об исцелении от болезней, о ниспослании удачи. Голосили плакальщицы. Почести «великомученику» воздавали очень долго, с необычайным размахом и невиданной пышностью.

Прежде, расправляясь с язычниками, церковь бросала им обвинения в идолопоклонстве. Но прошло немного времени, и победившее христианство само стало религией идолопоклонников. И поклонялись теперь не прекрасным статуям богов, а «святым мощам», останкам какого-нибудь святого или великомученика, руке его или ноге, черепу или пряди волос. Родилось новое, христианское идолопоклонство, куда более отвратительное, чем языческое.

Возвеличение Фавмация-Аммония вызвало в Александрии жестокие споры. Многие христиане, люди богобоязненные и скромные, выражали тревогу и недоумение. Их возмущало нечестивое предствление, устроенное Кириллом. Жизнь Аммония, далеко не безупречная, его буйный и злопаятный нрав были хорошо известны. Для чего же Кирилл, явно отступая от истины, сделал из него страдальца за веру? Да, Аммоний умер в мучениях, но от него, разумеется, не требовали отречения от Христа. Он понес законное наказание за свою дерзость. Нельзя придавать событиям столь

ложную окраску. Да и оправдана ли эта языческая пышность? Ропот усиливался. Среди христиан, недовольных излишним рвением своего епископа, было немало влиятельных людей. Кирилл понял, что перегнул палку. Но главного он достиг — как следует проучил Ореста и показал, что того ждет, если он станет по-прежнему ему перечить. Теперь не в интересах Кирилла было раздувать конфликт. Он решил поменьше говорить об Аммонии, чтобы всю эту историю мало-помалу предать забвению.

На улицах было еще беспокойно, когда Гипатия отправилась к Оресту. Нет, не для того, чтобы призывать его к решительным действиям против зарвавшегося епископа. Префекта она знала давно и на его счет не заблуждалась. Она пришла навестить раненого, выразить ему участие.

Орест не походил на героя. Вызывающее поведение Кирилла, его неразборчивость в средствах, неуемная жажда всевластия и наглая отвага, рожденная чувством безнаказанности, подействовали на Ореста угнетающе. На стороне префекта были закон, власть, солдаты, но он не верил в успех сопротивления, им владело сознание обреченности, словно знал он, что за Кириллом стоит неодолимая сила.

Префект говорил, что чувствует себя вновь господином положения. Он успел призвать в город стоявшие в окрестностях Александрии легионы. Дворец его окружен надежной стражей. Ему нечего опасаться толпы фанатиков. А что касается истории с телом Аммония, то он решил не вмешиваться. Его, конечно, тоже корбит от этой гнусной затеи, но если Кирилл находит, что ради пользы церкви надо изображать подвергнутого казни злодея великомучеником, то это его дело. Он, Орест, ограничится тем, что напишет обо всем в Константинополь. Требовать же выдачи казненного он не намерен — подобный трофей он охотно оставит Кириллу.

Было ясно, что и на этот раз самоуправство Кирилла не встретит должного отпора. Перед Гипатией в тоге префекта сидел жалкий, напуганный человек с забинтованной головой.

Умирая, отец взял с нее слово, что во имя науки она никогда не будет вмешиваться в распри правителей и не даст вовлечь себя в междоусобицу. Миссия ее в другом: она должна всеми силами оберегать не многие оставшиеся ростки знаний, чтобы

их окончательно не вытоптали орды неграмотных варваров или безумствующих монахов. Одно неосторожное выступление, и школу ее разгромят.

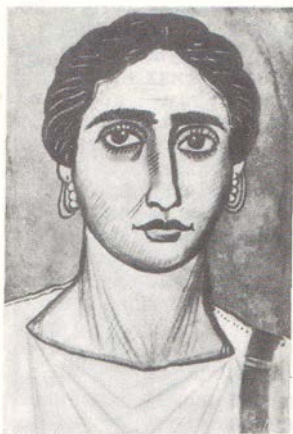
Долгие годы Гипатия держалась, не читала лекций, которые навлекли бы на нее обвинения в неправомерности. Среди разгула страстей она сохраняла невозмутимость. В дни, когда искусные подстрекатели устраивали на улицах столкновения, а благоразумные люди не высывывали из дому и носа, она не отменяла лекций. Платона она разъясняла под шум уличных беспорядков. В ночи поджогов ее видели у астрономических инструментов. Она привыкла не прерывать занятий, когда под портиком среди слушателей замечала соглядатаев Феофила. Она всегда помнила завет отца и в самые тяжелые минуты утешала себя мыслью, что делает нужное дело и среди торжествующего безумия лелеет хрупкие ростки разума. Но чем дальше заходил Феофил, а потом и Кирилл, в стремлении подчинить своей власти все — души верующих и доходные поместья, имущество вдов и переписку книг, содержание проповедей и раздачу голодным хлеба, — тем трудней было Гипатии сохранять выдержку.

Под прикрытием фраз о чистоте веры шла отолтелая борьба за власть. Пока христианство не превратилось в государственную религию, ее духовные вожди требовали только одного — терпимости и свободы совести. Стоило же христианству победить, как зазвучали другие призывы, призывы уничтожить язычество. Нетерпимость стала величайшей добродетелью. «Не пристало одной религии утеснять другую», — когда-то провозглашал христианский писатель Тертуллиан. Но жизнь быстро переименовала эти слова: одна религия не может не утеснять другую. Более того, среди самих христиан начались раздоры. «Христиане, вражду между собой, — замечал один летописец, — ведут себя хуже лютых зверей».

Все эти годы Гипатия продолжала преподавать, не вмешивалась в распри, держала в узде и уста и сердце. Она научилась молчанию. Но ее все чаще мучила мысль, что это тожеособенно преступлению. Она пыталась себя оправдать: что одна она, женщина, может сделать в век величайших потрясений, когда рушится империя, когда в движение пришли целые народы, когда десятки тысяч варваров, как набегающие волны, захлестывают пограничные области, когда все перемешалось — племена, вероисповедания, обычаи, идеи?

Она жила для науки: открывала юношам глубины философии и посвящала их в тайны математики. Она сопротивлялась наступавшему варварству, сохраняя и распространяя знания, накопленные светлыми умами человечества. Гипатия свято блюла завет отца и смолчала даже тогда, когда Кирилл изгнал из Александрии тысячи ее коренных жителей. Так неужели теперь из-за фимиама, расточаемого вокруг казненного злодея, она нарушит слово? Новое идолопоклонство, безрадостное и мрачное, вызывает у нее отвращение, но это ничто по сравнению с другими преступлениями Кирилла.

Несметная толпа скорбящих и юродствующих теснилась у церкви, где Кирилл воздавал последние почести великомууче-



Портрет женщины средних лет. Начало III в.

нику Фавмасию, а в доме Гипатии продолжались обычные занятия.

Ее все чаще охватывало чувство неудовлетворенности и тревоги. Прошло больше двадцати лет с тех пор, когда, пытаясь защитить сокровища Александрийской библиотеки, сражались и гибли ее друзья, молодые ученые. Отец ее удержал, она осталась в живых. Неустанным трудом она добилась того, чего не достигла ни одна женщина. Современники считали ее первой среди философов. Руководимая ею школа была известна далеко за пределами Александрии. Приобщаться мудрости приезжали к ней из многих стран. Но благословенной внутренней гармонией, о которой как о величайшем благе говорили любимые ею философы, Гипатия похвастаться не могла.

Имела ли она право все это время хранить молчание? Она много думала о разгроме Серапеума, о друзьях, погибших с оружием в руках, и не испытывала гордости за свой долгий, делящийся десятилетиями научный подвиг. Может быть, и ей следовало умереть тогда же, умереть под ударами фанатиков, среди обгоревших кровью книг?

Она сомневалась в правоте Теона. Отец доказывал, что в годы лихолетья долг ученых — сохранить науку для будущего. Он верил, что со временем люди перестанут уничтожать прекрасные статуи и мудрые книги. Надежды его не оправдались. Книги по-прежнему уничтожали. Правда, теперь это совершали не одни невежды. Куда с большим размахом и знанием дела книги жгли высокообразованные священнослужители.

Гипатии однажды рассказали, что неподалеку от Александрии среди развалин какого-то храма монахи обнаружили целую библиотеку греческих и римских писателей. Кирилл, находившийся там проездом, осмотрел ее. Среди рукописей было много ценного, в том числе труды Платона и Аристотеля. Монахи во главе с настоятелем требовали предать всю эту языческую мерзость сожжению. Епископ, не желая терять доверие «черных людей», составлявших его опору, дал согласие. В костер полетели бесценные свитки. А несколько дней спустя, выступая в Александрии с проповедью, Кирилл среди прочего разглагольствовал и о Платоновых идеях! Гипатия не скрывала возмущения.

Кирилл, не в пример своему предшественнику-дяде, мужиковатому и неотесанному, был широко образован. В молодости он слушал философию у Гипатии и изучал греческих мыслителей. Он считал себя знатоком богословия и брался разрешать любые вопросы. Опровергая доводы противников, Кирилл был не прочь блеснуть ученостью. У него была отличная память. Он цитировал наизусть иностранные библейские тексты.

Ему все сходило с рук: захват епископского престола с помощью шайки параблан, насилия над иноверцами, разграбление церквей, принадлежащих христианам другого толка, поджоги, убийства, нападение на самого префекта. Пусть бы и богословские споры он решал на манер дядюшки: науськивал вооруженных нитрийских пустынников на своих идейных врагов. Но он, кичась образованностью, стал ссылаться на Платона! Орест, нерешительный и слабый, может на многое закрывать

глаза. Он позволяет своему епископу поирать законы своего императора. Это его забота. Но ведь дело не в нарушении того или иного распоряжения, а в торжестве произвола и попрании простой человечности. Она, Гипатия, слишком долго молчала. Но всему есть предел. Правда, и теперь она не нарушит слова, данного отцу, не станет преодолевать нерешительность Ореста или восстанавливать магистратов против Кирилла. Она не выйдет за границы научного спора и всего лишь покажет, как епископ александрийский извращает идеи великих философов. У нее нет ни власти Ореста, ни послушных его воле легионов. Она может выступить против Кирилла только с одним оружием — оружием истины.

О предстоящей лекции она объявила заранее. Слушателей собралось намного больше обычного. Гипатия отказалась от выигранных ораторских приемов, говорила подчеркнуто сухо и деловито. Она сопоставляла тексты, только тексты. Вот подлинные мысли Платона, а вот как их истолковывает епископ Кирилл...

Когда Кириллу докладывали о выступлении Гипатии, он все больше и больше мрачнел. Гипатия, вероятно, разжигала вражду к нему Ореста? Нет, префекта на лекции не было. Да и говорила она только о правильном и ложном истолковании Платона.

Перед тем как отпустить всех, Кирилл как бы невзначай бросил: «А известно ли вам, что помириться со мной Оресту мешает именно Гипатия? Ведь она неспроста побывала у него во дворце». И хотя люди из ближайшего окружения епископа превосходно знали, что это неправда, тем не менее по городу тотчас же поползли слухи. Будто в упрямстве Ореста виновата одна Гипатия.

Еще было время одуматься. Ночи стояли беспокойные. Надрывно лаял пес. Наушанный привратник жаловался: вокруг дома, что-то высматривая, постоянно бродят неизвестные. Наутро служанки подняли крик. Они наткнулись на привратника. Он лежал связанный, избитый, с кляпом во рту. Сторожевая собака была задушена. Но в доме ничего не украл. Только на плоской крыше, где находились приборы для наблюдения звезд, великолепная армия, гордость Гипатии, была разломана на куски.

Несколько дней спустя в ее библиотеке внезапно начался пожар. Кто-то подбросил туда и зажег пропитанное маслом тряпье.

Убийство префекта вовсе не входило в планы Кирилла. Ничего, кроме вреда, это бы не принесло. Его отношения с константинопольским двором, и без того натянутые, обострились бы до крайности. На место убитого префекта прислали бы другого, может быть, еще более несговорчивого. Вражда с Орестом связывала Кириллу руки, но префекта следовало не уничтожить, а подчинить. Кирилл неоднократно говорил о желании «угасить вражду». Однако путь к этому, по его мнению, был единственный — Оресту следовало признать, что во всех делах, и церковных и светских, решающий голос отныне принадлежит в Александрии ее епископу. Оресту на улице разбили в кровь голову, разнесли в щепы его колесницу, разогнали телохранителей, а он все еще не уразумел, что Кирилл ни перед чем не остановится, дабы обеспечить церкви неограниченное господство. Как заставить его это понять?

Однажды Кирилл проезжал мимо дома Гипатии. У подъезда он увидел много рабов с носилками и нарядные колесницы. Опять слушать Гипатию собрались богатейшие и влиятельнейшие люди Александрии!

Вечером Кириллу докладывали об очередной лекции Гипатии. Соглядатай был из образованных и отличался хорошей памятью. Хотя лекция Гипатии и была посвящена Платону, она тем не менее опять коснулась, среди прочего, и богословских взглядов самого Кирилла. Она подчеркнула, что они расходятся с прежними постановлениями церковных соборов и встречают вполне обоснованную критику со стороны антиохийских богословов. Среди слушателей было много тех, кто благодаря своим сокровищам и поместьям играл в христианской общине Александрии очень важную роль. Они внимали речам Гипатии с большим одобрением.

Кирилл нахмурился. Гипатия не желала считаться с предостережениями. Ее не образумили ни сломанные инструменты, ни пожар в библиотеке. Да и Орест, несмотря на пробитую голову, все еще не соглашается на примирение.

Внезапно лицо Кирилла просветлело. В холодных глазах засверкали злые огоньки. Чтец Петр, предводитель зарабаван и нитрийских монахов, воскликнул: «Доколько же, отец, мы будем терпеть Гипатию? Неужели позволим ей и впредь распространять среди христиан ядовитые плоды ее учений?»

«Смоковницу, не приносящую доброго

плода, — ответил Кирилл евангельскими словами, — срубают и бросают в огонь».

Гипатия возвращалась домой в носилках. На одной из улиц, близости от церкви Кесариев, стоящей у моря, дорогу ей вдруг преградили монахи. В мгновение ока по чьему-то сигналу на улицу высыпала толпа нитрийских пустынников и парабалан. Ими распоряжался чтец Петр. Гипатию подстерегли. Засада. Бесполезно кричать и звать на помощь. Она окружена стеной неумолимых врагов. В руках у них камни, палки, куски черепицы, острые раковины, подобранные на берегу...

Ее стащили с носилок, швырнули на землю, поволокли к церкви. Там — в священнейшем для каждого христианина месте! — монахи, сорвав с нее одежды, при-



Портрет
мужчины
с высоким
лбом.
Начало II в.

нялись ее бить. Гипатию били нещадно, били с иступлением, били остервенелые фанатики, били, когда она давно уже была мертвой.

Останки ее выволокли из церкви и потащили на площадь, где заранее был разожжен огромный костер.

Страшная весть повергла Ореста в смятение. Гипатию убили и бросили в огонь!

Префект Александрии был сломлен. Он не рискнул даже послать в Константинополь доклад о случившемся. Убийство Гипатии, по словам одного летописца, «угасило вражду» между Кириллом и Орестом. Префект решил, пока не поздно, помириться с епископом. Он признал себя побежденным.

Кирилл стал безраздельным властителем Александрии.

Это произошло в 415 году, в месяце марте, во время великого поста.

Убийство Гипатии осталось безнаказанным. И хотя многие в Александрии прекрасно знали, что Кирилл истинный вдохновитель этого злодеяния, положение его не пошатнулось. Он, напротив, наслаждался ощущением силы. Орест больше ему не перечил. Даже сообщение об этих событиях было послано через голову префекта. Группа каких-то граждан Александрии, возмущенная, как видно, безнаказанностью преступления и позицией Ореста, направила по собственной воле в Константинополь делегацию, чтобы рассказать о происшедшем. Но Кирилл тоже не дремал. Дамаский сообщает, что Эдесий, важный сановник, занимавшийся расследованием, был подкуплен и извавил убийц от наказания.

В «Кодексе Феодосия» сохранилось распоряжение императора от 5 октября 416 года. Там говорится, что в случае необходимости отправить из Александрии посылку городские власти выносят решение, а утвердить его обязаны вышестоящие должностные лица. Какие-либо самовольные депутаты горожан в Константинополь строго-настроено запрещаются! ¹

Еще два документа из «Кодекса Феодосия» имеют, по всей вероятности, отношение к событиям, связанным с убийством Гипатии. Императорский декрет от 29 сентября 416 года предписывал, чтобы парабаланы ограничились непосредственными обязанностями и не вмешивались бы в дела городских властей. Им запрещается посещать публичные зрелища или являться без вызова в присутственные места. Число их не должно превышать пятисот человек. Отныне назначать новых парабалан будет не епископ, а префект ².

Но даже с этими ограничениями Кирилл не пожелал смириться. Через полтора года количество парабалан было вновь увеличено ³. Парабаланы по-прежнему оставались послушным орудием в руках Кирилла Александрийского.

Судьба была беспощадна и к самой Гипатии и к ее книгам. Ни одна из написанных Гипатией работ не дошла до нас. Единственное письмо и то оказалось подложным. Да и о жизни ее сохранились лишь отрывочные и случайные известия. Поэтому составить сколько-нибудь подробную биографию Гипатии нельзя. Попытки осмыслить и связать воедино все известные свидетельства неизбежно требуют большей или меньшей доли домысла.

Наиболее подробный рассказ о драматической борьбе в Александрии, одним из эпизодов которой было убийство Гипатии, содержится в «Церковной истории» Сократа Схоластика ⁴. В основе его лежат, вероятно, устные свидетельства очевидцев ⁵. Гипатия неоднократно упоминается в письмах Синезия Птолемаидского ⁶. Важные подробности сообщает Филосторгий ⁷, писатель-язычник Дамаский (отрывки из его сочинений сохранились у Свида ⁸ и в «Мириобионе» Фотия ⁹), Гесихий Милетский ¹⁰, византийский хронист Иоанн Малала ¹¹ и другие ¹².

Кирилл Александрийский восторжествовал над врагами. А победителей, как известно, не судят — им создают вдобавок приличествующую триумфу биографию. Беспрецедентный интриган и насильник был канонизирован и причислен к «отцам церкви». Убийство Гипатии, даже по признанию Сократа Схоластика, весьма осторожного церковного историка, «навлекло немало позора и на Кирилла и на александрийскую церковь» ¹³. Этот эпизод, разумеется, не украсил жития «святого Кирилла». И его не замедлили существенно подправить.

Слава Гипатии была слишком громкой, и не так-то просто было изобразить эту замечательную женщину исчадием ада. Церковь предпочла иной путь. Гипатию сделали чуть ли не христианской мученицей.

В «Житии святого Кирилла Александрийского» все выглядит уже так: «В Александрии проживала одна девица, по имени Гипатия, дочь философа Теона. Она была женщина верующая и добродетельная и, отличаясь христианской мудростью, проводила дни свои в чистоте и непорочности, соблюдая девство. С юности она была научена своим отцом Теоном философии и настолько преуспела в любомудрии, что превосходила всех философов, живших в те времена. Она и замуж не пожелала выйти отчасти из желания беспрепятственно упражняться в любомудрии и изучении книг, но в особенности она хранила свое девство по любви ко Христу». Убили ее «ненавидевшие мир мятежники». Нитрийских монахов в городе тогда не было. Узнав о происшедшем, они «исполнились скорби и жалости к неповинным жертвам мятежа» и, придя в Александрию, чтобы защитить Кирилла, забросали камнями колесницу префекта ¹⁴.

Услужливые историки надежно и надолго скрыли истину.

Гипатию убили дважды: одни монахи растерзали ее в церкви, другие принялись последовательно и упорно уничтожать созданные ею книги. Гипатию обрекли на вечное молчание. Тем временем сочинения Кирилла размножали сотни переписчиков. Житие его украшали миниатюрами.

Несмотря на усилия ученых и писателей, пытавшихся восстановить истину и воссоздать подлинный облик Гипатии, справедливость так и не восторжествовала. В церквях поклоняются иконам с ликом «святого» Кирилла Александрийского. Из-под печатных станков все еще выходит его полное лжи жизнеописание. На полках библиотек стоят его многотомные сочинения.

А из книг Гипатии до сих пор не найдено ни единой строчки.

Столкновение защитницы античного мировоззрения, «жизнерадостного и светлого», с надвигающимся «тмаком средневековья» — благодатная тема для романистов, особенно если их не слишком отягощает любовь к исторической достоверности. Леконт де Лиль видел в Гипатии символ погибающей эллинской культуры, последнее воплощение «духа Платона и тела Афродиты».

Этот образ соблазнил не одного романиста. Испытание оказалось непреодолимым: обучающая философии молодая красавица требовала в качестве обязательного противопоставления темных монахов, которые, убивая ее, дают выход подавленному вожделению.

На русский язык переведены два романа, посвященные Гипатии, — Фрица Маутнера и Чарльза Кингсли, но оба они в большей или меньшей степени следуют той же схеме. У Маутнера Исидор, отвергнутый Гипатией, добивается от Кирилла позволения убить ненавистницу, ибо искушающий его дьявол принимает ее облик. Ненависть монахов к прекрасной язычнице усугубляется, по Кингсли, любовью Ореста к Гипатии¹⁵.

Чего стоят подобные фантазии об убиваемой монахами мудрой девушке «с телом Афродиты», показывает хотя бы то, что Гипатии к моменту гибели, по самым скромным подсчетам, было под пятьдесят.

Жизнь Гипатии еще ждет своего романиста, который, отринув штампы, сумел бы показать ее эпоху, эпоху великих социальных столкновений и ожесточенной борьбы идей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ „Theodosiani libri XVI...“ Berlin, 1905, I, 2, стр. 729.

² Там же, стр. 850.

³ Там же, стр. 851.

⁴ Socratis Scholastici ecclesiastica historia. Oxford, 1853.

⁵ Geppert F. Die Quellen des Kirchengeschichtlers Socrates Scholasticus. Leipzig, 1898, S. 131.

⁶ Meyer W. A. Hypatia von Alexandria. Heidelberg, 1886, S. 2.

⁷ Synesius Cyrenaeus. Epistolae J. P. Migne, Patrologiae graecae tomus LXVI. Paris, 1859.

Письма Синезия к Гипатии использованы в работе А. А. Остроумова «Синезий Птолемаидский». Москва, 1879.

⁸ «Церковная история», книга VIII, глава 9. Philostorgius Kirchengeschichte. Leipzig, 1913, S. 111.

⁹ Suidae lexicon graece et latine recensuit G. Bernharty. Halis et Braunswigae, t. 1—2, 1834—1853.

¹⁰ Photius. „Bibliothèque“, t. 1—3. Paris, 1959—62.

¹¹ То же у Свида, II, 2, pp. 1312—1313.

¹² Joannis Malalae chronographia. Bonn, 1831. Книга XIV, p. 359.

¹³ Все источники перечислены в ст. „Hypatia“—„Paulus Real—Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft“. В. IX. Stuttgart, 1916.

Там же указана основная литература. Из многочисленных иностранных работ особенно важны работы Р. Гохе, В. А. Майера и И. Р. Асмуса.

¹⁴ «Церковная история», книга VII, глава 15. В русском переводе, изданном Петербургской духовной академией, это место умеренно искажено. Убийство Гипатии-де «причинило немало скорби и Кириллу и Александрийской церкви» (Петербург, 1850, стр. 526). Эта фальсификация сохранена и в издании 1912 года (Саратов, стр. 389). На что только не пойдешь, чтобы хоть как-то выгородить одного из важнейших святых христианской церкви!

¹⁵ «Жития святых». Книга десятая. Москва, 1908, стр. 159—160.

¹⁶ П. Ф. Преображенский. В мире античных идей и образов. М., 1965, стр. 158.

Русские друзья Маркса и Энгельса

К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., Политиздат, 1967, 809 стр., 55 000 экз.

Первый раздел книги составили статьи Маркса и Энгельса о русском революционном движении, высказывания о нем в их произведениях и переписке. Материал не новый, но впервые собранный воедино, в хронологической последовательности, он как-то по-новому убедительно дает понять место, занимаемое Россией в революционных планах вождей международного пролетариата.

Маркс и Энгельс вспоминают о России, когда говорят об американском движении рабов, о политических партиях в Англии, о рабочем движении в Германии, о классовой борьбе во Франции. В их представлении участие и передовых и революционных сил России в общем движении века было настолько значительным, что пролетарской революции в Европе они не мыслили без русской революции, помимо нее.

Во втором разделе книги публикуется переписка Маркса и Энгельса с их русскими корреспондентами. Впервые она издана так полно — 146 писем Маркса и Энгельса (в том числе до сих пор неизвестное письмо Энгельса В. Н. Смирнову 25 июля 1889 года) и 314 писем русских общественных и политических деятелей.

Читатель обратит внимание на новые имена русских корреспондентов Маркса и Энгельса, неизвестные

по ранним изданиям¹: И. Г. Головин, С. И. Серебrenников, Н. В. Васильев, М. Словутский, П. Д. Воборыкин и ряд других. Но и среди писем уже известных русских друзей Маркса и Энгельса публикуется много новых — ранее не печатавшиеся письма Н. И. Утина, П. Л. Лаврова, Л. Н. Гартмана, С. М. Кравчинского, М. М. Ковалевского. Все это значительно расширяет наши представления о русских связях вождей пролетариата.

Особая ценность данного издания в строго научном характере публикации эпистолярных документов. В изданиях 1947 года и 1951 года в переписке были «опущены те места, которые посвящены личным вопросам и утратили свой интерес»². Теперь читатель сам сможет судить о том, что для него интересно в этих письмах, опубликованных ныне без всяких изъятий. Думается, что в переписке с деятелями такого масштаба, как Маркс и Энгельс, даже детали не только не теряют, но со временем приобретают особое значение.

Письма, собранные в этой книге, — еще одно свидетельство богатых возможностей эпистолярного жанра. Здесь есть письма-статьи, письма-памфлеты, письма-исповеди, письма — библиографические справки. Письма, где цитируются Шекспир и Некрасов, и письма со статистическими таблицами. Есть письма, где открыто говорится о революционных взглядах и революционных планах — такие приходили с верной охазией. Есть шедшие обычным путем, по почте, где адресат и корреспондент выступали часто под вымышленными именами, а предмет разговора был обозначен условно. В таких Интернационал выступал как крупное торгово-промышленное предприятие, а его вожди соответственно как предприниматели, возглавляющие фирму.

Далеко не все русские

корреспонденты Маркса и Энгельса были революционерами. Ученые, писатели, журналисты, издатели — не все они были даже политическими деятелями в точном смысле этого слова. В целом они представляли собой передовую русскую интеллигенцию, пеструю по социальному составу и по убеждениям: для периода 40-х годов в основном дворянскую, для 60-х — начала 80-х — разночинскую, демократическую и, наконец, для 80—90-х годов — марксистскую, социал-демократическую.

Разные по содержанию, стилю, по своей ценности «русские» письма были для Маркса и Энгельса тем живым источником сведений о России, которого не могло заменить никакое самое основательное знакомство с литературой. Да, собственно, и сведения о русской литературе, как и саму ее, Маркс и Энгельс в основном получали от русских друзей. Это они, и прежде всего Даниельсон и Лопатин, познакомили Маркса и Энгельса с сочинениями Чернышевского и Добролюбова, «открыли» для них Некрасова и Салтыкова-Щедрина и многих других русских писателей, без которых невозможно правильное представление о русской культуре.

Хронологический принцип расположения материалов первого и второго разделов книги представляется наиболее целесообразным — он помогает читателю ощутить само развитие отношений и русского освободительного движения. Здесь опять-таки преимущество данного издания по сравнению с ранними, где письма группировались по корреспондентам.

От первых изданий книга отличается и более подробными комментариями к тексту. Однако и теперь прокомментировано еще далеко не все, кое-что требует пояснений, уточнений, исправлений.

Читателю, в частности, могут быть неизвестны многие имена, упоминаемые в тексте, а вследствие этого не совсем понятен и сам текст. Например, кто такая г-жа Новикова, которая, по словам Маркса, «блестяще провела благородного Гладстона» (стр. 92). В одном из

¹ «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». М., Политиздат, 1947; 2-е изд. 1951.

² Там же. Предисловие, стр. 7.

писем Маркс запрашивает у Смирнова сведения о г-же Кулишовой (стр. 344). Поскольку ответ не сохранился, комментаторам следовало бы самим дать пояснения. Разве не интересно будет узнать читателю, почему посредником в переписке между студентами Петровской академии и Энгельсом Лавров рекомендует Иванюкова (стр. 483)? Сообщив основные сведения об этом либеральном профессоре-экономисте, стоило бы особо отметить, что в 1881 году он защитил диссертацию по экономической теории Маркса.

Подобных примеров можно было бы привести много — все они говорят о необходимости для подобного издания развернутого именного указателя. Есть ряд незавершенных и потому неудовлетворительных комментариев. Например, по поводу сообщения П. Лаврова об издании «Сущности социализма» Шефле «в переводе одного русского террориста» (стр. 457) замечается, что «перевод был осуществлен В. Тарновским». Приведем фамилию, стоящую на обложке книги, комментаторы не сообщили, что это псевдоним народовольца Г. Г. Романенко. Читатели не узнают об этом и из именного указателя, где раскрыты более известные псевдонимы — например, Ж. Санд.

Есть случаи спорного комментирования. В декабре 1882 года Маркс пишет дочери: «некоторые из недавно опубликованных русских изданий свидетельствуют о быстром распространении моих теорий в этой стране...» (стр. 90). По словам комментаторов, вывод этот сделан Марксом «по всей вероятности» под впечатлением книги В. В. (Воронцова) «Судьбы капитализма в России». Но весьма сомнительно, чтобы эта книга явилась свидетельством успеха марксизма в России. К тому же она не могла быть для Маркса чем-то новым, так как составилась из статей, печатавшихся в конце 70-х — начале 80-х годов в «Отечественных записках», — журнале, с которым Маркс знакомился систематически. Не верно ли предположить, что имеется в виду № 8—9 «Народной воли» (февраль 1882 года) с предисловием Маркса и Эн-

гельса к русскому переводу «Коммунистического манифеста» и примечаниями редакции о солидарности с ним.

Есть и ошибочные комментарии. В двух письмах к Энгельсу Г. В. Плеханов, рассказывая о трудностях борьбы с народничеством, дает характеристику одному из его идеологов — Н. К. Михайловскому (имя для Энгельса не новое): «Во время диктатуры Лорис-Меликова тот самый Михайловский, с которым мы полемизируем, писал в одной из своих статей, что в России миссия разрешения социального вопроса принадлежит именно правительству» (стр. 725, подчеркнуто Плехановым; то же на стр. 721). В комментариях указывается статья Михайловского в № 10 «Отечественных записок» за 1880 год. «Кто же возьмет на себя великий труд предотвращения исторического пути родины от повторения европейской борьбы? Очевидно, правительство...» — читаем здесь. Но дальше следует: «такова непременно мысль Нади». Только при невнимательном чтении можно было приписать эти взгляды Михайловскому. Они принадлежат терроне разбираемого им рассказа. Программа же самого Михайловского в эти годы требовала «передать общественные дела в общественные руки». В революционной «Народной воле» он приветствовал переход к политической борьбе с самодержавием, утверждая, что ни на какие уступки оно не пойдет¹. Плеханов в полемическом запале неверно информировал Энгельса, а комментаторы не только не исправили, но усугубили его ошибку.

По переписке можно проследить не только серьезно осведомленность Маркса и Энгельса в развитии русского освободительного движения. Как отмечается в предисловии, она позволяет «определить этапы изучения Марксом и Энгельсом русской истории, экономики, культуры, науки, языка, установить то место, которое занимало изучение аграрных отношений в Рос-

сии в теоретических исследованиях Маркса» (стр. 3). И в этом смысле содержание книги шире, чем можно судить по ее названию, отразившему лишь ее главную проблему.

Именно на этой главной проблеме — Маркс и русское революционное движение, русские революционеры и марксисты — и хотелось бы остановиться в этих отрывочных заметках о книге. Остановиться не для того, чтобы еще раз подчеркнуть противоположность марксизма и народничества, а с целью привлечь внимание читателя книги к вопросам не столь ясным и, возможно, более сложным.

Речь пойдет о 70—80-х годах, периоде наиболее интенсивной переписки Маркса и Энгельса с русскими, особо пристального внимания их к России, наибольших надежд на русскую революцию.

В это время марксизм в России возбуждает уже интерес не отдельных одиночек, как это было в 40-е и даже 60-е годы, а освободительного движения в целом. К нему обращаются в поисках ответа на коренные вопросы русской действительности, его используют для обоснования целей и путей борьбы. И все же среди русских революционеров этого периода, тянувшихся к учению Маркса и Энгельса, к общению с ними, жадно ловивших каждое их слово, признававших их безоговорочный авторитет в социально-экономических науках, не было марксистов. Русские друзья, в своих письмах с искренностью называвшие Маркса своим учителем, а себя — учениками, не считали марксизм учением всесильным и верным для своей родины. Большинство из них верило в особый путь России к социализму, минуя капиталистическое развитие. Возможности такого пути они усматривали в общем укладе крестьянской жизни. Самое серьезное изучение произведений Маркса и Энгельса, а для некоторых и длительное личное общение с идеологами научного социализма не поколебало их народнических убеждений. А ведь этих выдающихся представителей русской интеллигенции не упрекнешь ни в недостатке способностей, ни в нехватке знаний. В переписке с Марксом и

¹ «Литература партии «Народная воля», стр. 25.

Энгельсом они обнаруживают и самостоятельность суждений и способность мыслить критически, разговаривая с величайшими мыслителями века на равных началах.

Лопатину и Даниельсона принадежит перевод «Капитала» на русский язык, который можно считать авторизованным — чего не скажешь ни про какой другой иностранный перевод этого произведения. Для этого нужны были не только колоссальные знания, но и глубокое проникновение в предмет исследования. И тем не менее ни Лопатин, которого Маркс одарил своей близкой дружбой, ни Даниельсон, испытывавший длительное влияние личности Маркса, не стали его последователями, как не стали ими ни Лавров, ни Кравчинский, ни другие русские друзья вождей пролетариата.

Правда, среди течений русской демократической мысли существовало и антинародническое, представители которого, в частности Н. Зибер и М. Ковалевский, имена которых встречаются в переписке, признавали капитализм со всеми его последствиями неизбежным для развития России. Далекие от того, чтобы принять политическое учение Маркса, учениками которого они себя называли, сторонники этого направления не дали русскому освободительному движению никаких лозунгов, никакой программы, оставшись чисто идейным течением, бесплодным в смысле практических выводов. И не они, а именно революционеры-народники пользовались сочувствием и поддержкой вождей пролетариата, вызвали их восхищение и одобрение своей борьбой...

Стоило только революционерам-народникам представить себе развитие своей родины «по Марксу» — с неминувемым капитализмом, с гибелью общины, как отсюда для них вытекали самые пессимистические выводы. «Тогда социалисту как такому остается лишь заниматься более или менее обоснованными вычислениями, чтобы определить, через сколько лет земля русского крестьянина перейдет в руки буржуазии, через сколько сотен лет без толку может капитализм достигнет в России такого развития, как и

в Западной Европе» (стр. 435—434). В этих словах В. И. Засулич, обращенных к Марксу, выражены раздумья многих русских революционеров. Они звучат и в произведениях тех лет Н. К. Михайловского, писавшего, что желать повторения у нас борьбы труда с капиталом «на европейский лад» значит сочувствовать «всяким прямым и косвенным причинам обезземледения мужика и вообще всему, что делает его жизнь невыносимой»¹.

Ощущения народника, попытавшегося встать на точку зрения Маркса, выразил, в частности, в демократическом журнале «Слово» некто, скрывшийся за инициалами П. С. Он задался тем же большим вопросом: «что бы пришлось делать с точки зрения Маркса русской интеллигенции в современной обстановке». А пришлось бы, по его мнению, отречься от самых драгоценных чувств и желаний, «хладнокровно не только смотреть, но и деятельно, притом же вполне сознательно, содействовать развитию пролетариата...». «Трудно придумать что-нибудь чудовищнее тех требований, которые предъявляет нам историко-экономическая теория Маркса», — восклицает он в заключение².

Таковы социально-психологические мотивы, по которым народники не могли согласиться с применением марксизма в России. Конечно, эти мотивы были лишь производными от главного — мелкобуржуазного сознания крестьянских революционеров, общей неподготовленности страны к восприятию марксизма.

Что делать в России начала 80-х годов революционеру-марксисту, как приложить к жизни свои убеждения, на какие силы общества ориентироваться — именно таков был смысл вопросов письма В. Засулич Марксу.

К сожалению, в книге приведен лишь отрывок из первого наброска ответа Маркса. Стоило привести здесь все четыре черновика, чтобы показать, насколько трудным для Маркса было ответить на простой, казалось бы, вопрос Засулич: во что верить русскому революционеру — в общину или в торжество капитализма в России, из чего исходить в своей деятельности — из неизбежности капитализма или возможности миновать его. Посланный Засулич ответ (стр. 443—444) в самой общей форме признавал за общиной возможность стать при определенных условиях основой социального возрождения страны. А ведь характер запроса Засулич обязывал как раз к более развернутому конкретизированному взгляду, чем тот, который им был уже известен¹. Но первая марксистская постановка вопроса о возможности для России некапиталистического пути к социализму (1875 г.) так и не получила развития в последующих высказываниях идеологов научного социализма на эту тему. Все они сводятся к повторению мысли о возможности для России прийти к социализму, используя общину при условии пролетарской революции на Западе². Не подерживая иллюзий народников, такие высказывания не лишали их возможности активного действия.

По наиболее традиционной точке зрения в нашей литературе Маркс и Энгельс «долгое время считали возможным воздержки

¹ О знакомстве русских революционеров с брошюрой Энгельса «Социальные отношения в России» можно судить по газете «Земля и воля», где о полемике Энгельса с Ткачевым говорится как о факте известном.

² Первая постановка проблемы — в статье Энгельса «О социальных отношениях в России» (1875 г.), затем последовательно идут высказывания Маркса в письме в редакцию «Отечественных записок» (ноябрь 1877 г.), в письме В. Засулич (март 1881 г.), в предисловии Маркса и Энгельса к русскому переводу «Коммунистического манифеста» (февраль 1882 г.).

¹ Н. М. (Михайловский). Литературные заметки. «Отечественные записки», 1880, № 10, р. II, стр. 207.

² П. С. Мелкое земледельческое хозяйство на Западе. «Слово» № 10, р.-П., стр. 46.

ваться от открытой политики с народниками, так как внутри России в то время не было другой революционной силы¹. Несомненно стремление вождей пролетариата поддержать революционную борьбу русских революционеров. Однако, думается, дело состояло не только в тактическом расче-

те. Идеологи пролетариата, класса, который не может освободиться сам, не освобождая все другие угнетенные классы общества, Маркс и Энгельс не могли безусловно относиться к идейным исканиям крестьянских революционеров. Сама попытка революционеров России найти для своего народа такой путь к социализму, который избавил бы его от страданий и потрясений капиталистического строя, не могла не быть в глазах Маркса и Энгельса исторически оправданной и понятной. Ведь речь шла о крестьянской стране, о замечении около 80 миллионов крестьян новыми классами буржуазного общества (стр. 641). Вот почему Маркс и Энгельс, надеясь на европейскую пролетарскую революцию, не могли приветствовать наступление капитализма на русскую жизнь, разложение им общины. Характерно, что сама их терминология, когда они говорят об этом процессе, очень близка русской демократической журналистике. Прислушайтесь, как горячо и заинтересованно звучат слова Маркса о крестьянской общине, сколько в них желчи против ее буржуазных недоброжелателей: «И в то время как обескровливают и терзают общину, обезпечивают и истощают ее землю, литературные лакеи «новых столпов общества» иронически указывают на нанесенные ей раны, как на симптомы ее естественной неоспоримой дряхлости, и уверяют, что она умирает естественной смертью и что сократить ее агонию было бы добрым делом» (стр. 87). Мог ли так написать человек равнодушный к судьбе общины, для которого ее гибель была только закономерной, а по-

тому и оправданной неизбежностью?

Проблема, выдвинутая русскими революционерами и решаемая ими ненаучно, утопически и для Маркса и Энгельса составляла проблему, «о которой нужно разрешить» (стр. 87), — жизненную, важную и очень трудную. Именно под влиянием русского народничества Маркс и Энгельс, открывшие основные закономерности общественного развития к социализму, начинают задумываться над возможностью особого пути к нему, позволяющего избежать «кандидского ущелья капитализма» и в то же время дающего возможность воспользоваться всеми плодами цивилизации.

Однако действительность еще не давала материала, достаточного для научного решения этой проблемы. Для Маркса и Энгельса, в своих теоретических выводах всегда основывающихся на революционно-практическом опыте, решение задачи о судьбах капитализма в России оказалось по-своему не менее трудным и мучительным, чем для русской интеллигенции. Невольно снова приходится на ум страницы черновиков письма Маркса Засулич, сменяющих друг друга, чтобы вылиться, наконец, в несколько общих положений. В поисках ответа русским революционерам Марксу еще не на что было опереться в своих догадках и предвидениях в опыте западноевропейских стран. Это затрудняло противопоставление утопическим надеждам теоретически обоснованного действительного пути.

С точки зрения сегодняшнего дня надежды на победоносную пролетарскую революцию в 70–80-х годах в Европе были не менее несбыточны, чем расчет на крестьянскую революцию. Однако разница между двумя концепциями некапиталистического развития огромная и принципиальная.

Сами русские революционеры не сознавали этой разницы. Высказывания идеологов научного социализма по «русскому вопросу» они воспринимали как подтверждение своих взглядов в главном — в возможности для России некапиталистического пути, в справедливости и целесообразности своей борьбы. Усло-

вия же реализации этой возможности, в понимании которых и заключалась противоположность марксизма и народничества, как раз отодвигались в сторону как несущественные. Причина такого восприятия марксистских положений не только в субъективном подходе к ним народников, но отчасти и в тех смысловых ударениях, которые были поставлены Марксом и Энгельсом в перечиске с русскими, в сдержанности идеологов научного социализма по отношению к народническим иллюзиям. Утопизм программы, рассчитанной на крестьянскую социалистическую революцию, не мог не быть ясен для Маркса и Энгельса. И все же ни одной лобовой критической атаки, ни одного факта разоблачения народнических иллюзий. Такая же сдержанность и в отношении попыток русских революционеров использовать марксизм для подтверждения своих теорий. Интересно с этой точки зрения примечание редакции «Народной воли» к предисловию Маркса и Энгельса к русскому переводу «Коммунистического манифеста», напечатанному в № 8–9 газеты (февраль 1882 г.). Народовольцы увидели в нем подтверждение своих взглядов. Вряд ли этот номер «Народной воли», кстати сказать, ярко выраженного бланкистского характера, не побывал в руках авторов предисловия. Однако Маркс и Энгельс никак не отозвались на это произвольное толкование. Народнические иллюзии этого периода в их глазах еще не были вредными для движения. Это были иллюзии, еще способные воодушевлять борцов, увеличивая их самоотверженность, придавая им большую силу воли (см. письмо Энгельса В. Засулич от 23 апреля 1885, стр. 514).

Русские революционеры ошибочно ориентировались на крестьянство как главную силу революции. Но в 1877 году Энгельс писал: «нельзя сказать, чтобы в России существовало рабочее движение, о котором стоило бы говорить» (стр. 81). Они мечтали об одновременном политическом и социальном перевороте, а пока своей борьбой наносили удары самодержавию — главному резерву реакции в Европе.

¹ «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», стр. 5. Предисловие.

Народническая утопия в 70—80-х годах еще не была результатом «отворачивания от фактов», незнания действительности. Ее порождали и поддерживали невыявленные капиталистические противоречия русской жизни. Сама эта жизнь в ее развитии, в понимании Маркса и Энгельса и должна была явиться главным помощником в борьбе с иллюзиями.

И действительно, в 90-е годы Энгельс, обсуждая вопрос о судьбах капитализма в России, уже мог опираться на достаточный фактический материал. «Из Ваших писем, — пишет он Даниельсону, — я заключаю, что относительно самих этих фактов (то есть развития капитализма. — В. Т.) Вы согласны со мной. Что же касается вопроса — нравятся нам эти факты или нет, — то это другое дело; но нравятся они нам или нет, эти факты все равно будут продолжать существовать. И чем больше мы отрешимся от своих симпатий и антипатий, тем лучше будем судить о самих фактах и их последствиях» (стр. 611).

Маркс не дожид до открытой полемики с русскими народниками. Но заключительные страницы книги — это не только столкновение народничества с марксизмом. Два года спустя после смерти Маркса Энгельс написал В. Засулич, представлявшей тогда маленькую группу первых русских сторонников научного социализма: «Я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне, без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса... И сам Маркс был бы также горд этим, если бы прожил немного дольше» (стр. 513). Эти слова написаны сорок лет спустя после того, как Маркс получил первые русские письма.

Собранные в этой книге, они способны многое рассказать о нелегком пути общественной мысли России к марксизму. В № 8—9 «Народной воли» революционеры вспоминают о жертвах, принесенных в борьбе за убеждения: «едва ли другой народ так дорого платил за одни лишь попытки мыслить и действовать в направлении к облегчению своей участи...» Тага

к марксизму неразрывна с этими попытками.

По отдельным сохранившимся письмам конца 80-х — начала 90-х годов, которые читатель найдет в книге, можно судить, какую неоценимую помощь оказал Энгельс первым русским марксистам, не имеющим поначалу реальной поддержки на родине, враждебно встреченным революционной эмиграцией.

Переписка заканчивается в 1895 году. Год смерти Ф. Энгельса был для русского освободительного движения значительной вехой, за которой начался новый, пролетарский этап этого движения. Марксизм стал его господствующей идеологией.

В. Твардовская

На пути к революции

М. Матвеев,
Студенты Сибири
в революционном движении.
Томск, 1966. Изд-во
Томского университета,
240 стр., 700 экз.

«Интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе», — писал В. И. Ленин в 1903 году. Самой отжившей частью интеллигенции он считал студенчество.

Одной из страниц истории студенчества и повяжена рецензируемая книга.

М. Матвеев использовал громадный неизвестный и

малоизвестный материал, хранящийся в Центральном государственном историческом архиве Москвы и Ленинграда (ЦГАОР и ЦГИА), в Государственном архиве Томской области. Широко привлек мемуарную и монографическую литературу, периодические издания.

Исследование предваряет обзор экономического положения Сибири конца XIX — начала XX века, позволяющий М. Матвееву показать наглядно необходимость открытия здесь высших учебных заведений (университета в 1888 году, технологического института — в 1900 году). Однако правительство понимало всю опасность превращения Томска, административного и культурного центра «страны каторги и скорби», в университетский город. Не случайно еще в 1881 году ставился вопрос о прекращении ссылки революционеров в Томскую губернию ввиду предстоящего открытия здесь университета. Не было недостатка и в тех, кто предвидел будущие «беспорядки», источником которых станут студенты.

Вездесущий М. Н. Катков на страницах «Московских ведомостей» еще в 1886 году писал: «В Томске образовался целый штаб социалистов, собранных со всех концов Сибири... Ожидается только прибытие новобранцев в виде томских студентов, а может быть, и профессоров». К. П. Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, предостерегал в своем письме Александра III: «Общество томское состоит из всякого сброда: можно себе представить, как оно воздействует на университет...»

Сибирские студенты вышли на общественную арену, когда движение учащихся высших учебных заведений в общероссийском масштабе переставало являться самостоятельной силой в борьбе с самодержавием и начало растворяться в общедемократическом движении.

Одним из кульминационных моментов в борьбе студентов Томска стали демонстрации 18 и 20 февраля 1903 года. На улицу вместе с рабочими под лозунгом «Долой самодержавие!» вышли сотни студентов уни-

верситета и технологического института, и все же не они, а именно томские пролетарии определяли характер демонстраций. В книге приведена очень интересная и характерная цитата из «Искры» по поводу событий 20 февраля, из которой явствует, что демонстрация «...в конце превратилась скорее в рабочую демонстрацию, когда большая толпа (до 1000 человек), состоявшая главным образом из рабочих, продолжала революционные возгласы, штеинные прокламаций». Это свидетельство противоречит основному выводу М. Матвеева по поводу степени революционности студентов Сибири к 1903 году. Вывод этот сформулирован автором в заголовке к разделу, о котором идет речь, — «Студенческое движение в начале XX века. Победа в студенческом движении революционной социал-демократии». Столь категоричское суждение неправомерно хотя бы потому, что к этому времени сама социал-демократия только-только формировалась как авангард пролетариата. Она еще только шла к решительному завоеванию своих позиций в среде рабочего класса. Так что утверждение автора о завоевании к началу первой русской революции социал-демократами студенчества не выдерживает критики и опровергается самой «Искрой».

Можно говорить лишь о зарождении в студенческом движении Сибири социал-демократического направления под воздействием агитации членов РСДРП. Студенчество действительно вышло на улицу, его незначительная, но самая последовательная часть осталась с рабочими, основная же масса охладела к политике после нападения на демонстрантов 18 февраля черносотенцев.

Последующие репрессии со стороны властей сказались на политической активности студентов в период 1903—1904 годов. В эти два года, вспоминая Н. Баранский, «Местная работа (социал-демократов. — А. И.). В Томске была скон-

центрирована среди студентов университета и технологического института. На работу среди студенчества были направлены наши лучшие пропагандистские силы» О наиболее передовой части студенчества социал-демократического толка почититель Западно-Сибирского учебного округа Лаврентьев спешил донести: оно «обычно во всех беспорядках студенчества играет первую роль, во время же спокойного течения академической жизни старается агитировать и возбуждать студентов втихомолку и которая поступает в высшие учебные заведения не ради учебных занятий, а с целью вести преступную пропаганду».

Однако, несмотря на то, что по всей России в 1903 году прокатилась волна рабочего движения, сибирское студенчество в целом, по существу, не идет дальше многочисленных студенческих сходок и нарушения «нормального хода» занятий.

Центральной в рецензируемой монографии является глава «Студенты Томска в революционном движении в период подъема первой русской революции».

К началу 1905 года под влиянием социал-демократической пропаганды студенческие волнения в Томске усилились. «В течение рождественских праздников тревожное настроение студентов обоих высших учебных заведений города Томска... не только не ослабло, а, напротив, возросло и обострилось», — сообщал попочитель Западно-Сибирского учебного округа.

События Кровавого воскресенья еще более всколыхнули Томск. 18 января в городе состоялась мощная демонстрация под социал-демократическими лозунгами.

Занятия в институте и университете прекратились. Даже властям стало понятно, что причины «беспорядков» лежат «вне университетской жизни и имеют тесную связь с волнениями, охватившими за последнее время русское общество».

В книге приведен интересный материал, позволяющий судить о том, как студенты осуществляли решение ЦК РСДРП прекратить с 1 сентября 1905 года забастовку высшей школы и превратить ее аудиторию в трибуну революции. Частичная «автономия», отмечает М. Матвеев, ставилась на службу борьбы с самодержавием. И все же репрессии правительства, устойчивость сделали свое дело. К моменту высшего подъема революции — декабрьскому вооруженному восстанию основная часть сибирских студентов исчерпала свой запас революционной энергии.

Нам представляется спорным мнение М. Матвеева о том, что слабое участие сибирского студенчества в решительной схватке с царизмом объяснялось отсутствием в городе большинства учащихся Томского университета и технологического института. Причину, на наш взгляд, следует искать в другом. Если пролетарию нечего было терять «кроме своих цепей», то у студента положение складывалось иначе. Перед каждым идущим в революцию учащимся молодым человеком вставала дилемма: идти ли дальше, теряя возможность получить образование, «выйти в люди», или «вовремя» остановиться в борьбе против власти. И значительное большинство решило остановиться.

Однако это отнюдь не означало ухода студентов с арены политической борьбы. В период спада революции, когда пролетариат вынужден был с боями отступать, студенчество, вернувшееся в учебные аудитории, вновь активизировало свою антиправительственную деятельность. Автору удалось показать всю сложность обстановки, царившей в сибирских высших учебных заведениях, создать порой драматическую картину борьбы, которую вели студенты вплоть до осени 1907 года.

А. Иванов

Заговорившие портреты

Н. А. Раевский, Если заговорают портреты. Алма-Ата. Изд-во „Назуши“ 1965, 182 стр., 50 000 экз.

Если взяться за старинное кольцо, вставленное в львиную пасть — массивная дверь, окованная железными полосами, открывает вход в Бродянский замок: готические своды, дрова, потрескивающие в камине, печати с гербами, свечи в серебряных канделябрах, зала для 10 000 старых книг, необыкновенные, еще не раскрытые до конца тайны прошлого... И все происходит в четвертом десятилетии нашего XX века, в 1938 году.

С этого начинается увлекательное повествование охотника за тайнами и некогда гостя того старого замка Николая Алексеевича Раевского.

Молодого русского, жившего в старой Чехословакии, зовут в романтический Бродянский замок призрак женщины, прожившей там более полувека, — баронессы фон Фризенгоф, прежде на родине называвшейся Азия (то есть Александрина) Гончарова: сестра жены Пушкина, не просто свояченица, но близкий человек, вероятно последнее увлечение поэта.

Раевский мечтает найти в Бродянах, у внуков Ази Гончаровой, еще неведомые пушкинские реликвии, может быть, рукописи...

Он вспоминает: «Я провел несколько часов среди давно умерших родных и знакомых поэта. Многих из них знал в лицо я чуть не с детства. Много о них читал. Но в этом замке воспоминаний я увидел их по-новому, как не позволяли много рассказавших о Пушкине. Незабываемые бродяньские часы...»

Правила хорошего тона не позволяли много спрашивать, больше приходилось рассказывать самому. Но уже начинали гово-

рить неизвестные прежде «портреты дедов на стенах» — Вяземский, Наталья Николаевна (уже во втором браке — не Пушкина, а Ланская), свояк-убийца Дантес, прежняя хозяйка дома, наконец, Пушкин (увы, как оказалось, не Александр Сергеевич, а «братец Левушка»).

Для первого посещения Раевский увидел достаточно, но он не ведал, что XX столетие уж готово властно вторгнуться в средневековую глушь: «Хозяева замка пригласили меня снова приехать в Бродяны на пасхе 1939 года. Я рассчитывал привести с собой специалиста-фотографа, осмотреть все подробнее. Надеюсь, что мне покажут и архив. Поездке не суждено было состояться. За несколько дней до назначенного срока в Прагу вошли танки Гитлера... Связь с Бродянами прервалась, и только много лет спустя я узнал о том, что замок уцелел, часть реликвий попала, к счастью, в Ленинград, а где находится остальное — неизвестно».

Там заканчивается первая из четырех историй, составляющих книгу «Если заговорают портреты».

Жалко, что Н. А. Раевский не упомянул в своей популярной работе о нескольких важных и неясных обстоятельствах, касающихся судьбы бродяньского архива (о чем рассказано в его статье, напечатанной в IV томе научного сборника «Пушкин. Исследования и материалы»). Располагавший какими-то бродяньскими материалами братиславский профессор А. В. Исаченко, между прочим, рассказал о потрясающем факте — встрече в том замке Дантеса и Натальи Николаевны: «кажется, эта встреча уменьшила напряжение между ними». К сожалению, Исаченко не сообщил, откуда он почерпнул это известие...

Николай Раевский, странствовавший по Моравской Словакии, через 30 лет в другой части света — в казахской столице — облакает свои рассказы в печатную плоть. Но разве наш век не отучил удивляться стремительным и фантастическим совмещениям времен и мест?

Автор книги много видел и умеет рассказать. Он не торопится, иногда — как в застольной беседе — возвращается к сказанному и во все не нуждается в искус-

ственном украшении своего повествования: ведь читатель все равно уже «попался», прикован и ему не уйти, пока не переворнет последнюю страничку...

Рассказывая о своих наблюдениях и открытиях, Н. А. Раевский вскользь, абсолютно ненавязчиво, демонстрирует тонкую интуицию, наблюдательность и другие высокие профессиональные качества. Например, несколько раз подчеркиваются почти неуловимые, но важные тонкости, отличающие французские тексты и русский перевод. Переводчик кокетливую записку Д. Ф. Фикельмон, автор замечает: «Надо сделать оговорку: по-французски, особенно в романтическую эпоху, когда с друзьями почти обязательно полагалось беседовать о чувствах, многие выражения звучали менее интимно, чем соответствующие русские, но все же интимность в них есть немалая».

А вот — о записи Фикельмон, посвященной Енатерине Гончаровой, выходящей замуж за Дантеса: «Мастерски владеет французской фразой, Дарья Федоровна находит для молодой ухе барышни слова и обороты, в которых немало тонкого яда (в переводе он чувствуется не так ясно). Французскому слову, которым Фикельмон определяет чувство старшей Гончаровой к Дантесу, довольно точно соответствует грубоватое русское «вторилась».

Казалось бы, тут — мелочи, светские подробности; но за ними — общественное мнение, напряженный эпизод преддзвонной биографии поэта.

Не всякому специалисту дано сделать и следующее наблюдение, за которым стоит немало знания и опыта:

«...Права гениального человека тогдашние русские верхи понимали плохо, а права старинного, но небогатого и нечиновного дворянина казались им, надо думать, недостаточными. Много дверей открывалось не перед первым поэтом России, а перед мужем блистательно красивой женщины».

На Западе сто с лишним лет тому назад у гения было больше прав, чем в России, а экстретиторальный особняк австрийского посла и в юридическом и в переносном смысле слова находился на западноевропейской территории. Пушкин

входил в него желанным, почетным и, можно думать, любимым гостем».

Лишь в нескольких случаях можно заподозрить Н. А. Раевского в неточности: острота о наружности Пушкина, как «смеси обезьяны и тигра» прежде лица сочинена Вольтером, спрашивавшим о парижанах — «что поделывают мои тигры-обезьяны?». Вряд ли Геккери не мог одобрить пасквиль на Пушкина, так как «имел ясное представление об отличной осведомленности III отделения»; аппарат III отделения был невелик, многое от него ускользало; характерно, что даже через 20 лет это ведомство очень долго не догадывалось о содружестве Н. П. Огарева в вольной печати Герцена. Наконец, может быть, не стоило подчеркивать, что П. В. Анченков знал из каких-то особых, неизвестных источников о близости Пушкина с Д. Ф. Фикельмоном: первый пушкинист в этом случае, очевидно, пользовался информацией П. В. Нащокина.

Истории, рассказанные Н. А. Раевским, касаются ситуаций интимных, деликатных, даже щекотливых. Две главные героини книги, следуя за которыми литератор и ученый сделал несколько важных открытий и наблюдений, — это женщины, занимавшие в жизни поэта важное место; дружба, уважение, понимание переходили в привязанность, страсть...

Автор, конечно, предвидел возможную реакцию некоторых читателей, которые, проглотив книгу в один присест, тут же устыдятся собственного интереса и скажут, поморщившись: «Ну к чему это?... мелочи, интимные подробности. К чему нам знать, например, какого числа Пушкин полюбил Н. и разлюбил М., или в какой компании, наряженной в домино и маски, он ездил по разным знатным домам?»

В этом знаменитом — «бойтесь пушкинистов!» — причудливо перемешаны фальшь с истиной.

Фальшь: даже поморщившийся читатель вряд ли заспорит, что в любой области знания не всегда видно значение новооткрытого факта. Из забавных наблюдений над возникающим при трении электричеством отнюдь не сразу родилась современная энергетика; Л. Морган, всю жизнь изу-

чавший семейные отношения иррокезов, сильно продвинул теорию происхождения семьи вообще. Еще одна древняя надпись, еще одна кость, еще глиняный черепок, охваченные систематикой, кибернетикой и прочей мудростью, вдруг делаются разговорчивы. И вот дата, когда Пушкин полюбил Н., вдруг освещает по-новому весь его душевный строй, а поездка в маска — пустяк, но рядом, в тех же санях, сидел посол Геккери...

«В жизни Пушкина, — справедливо замечает Н. А. Раевский, — малозначительного нет. Малая подробность позволяет порой по-новому понять и оценить всем известный стих или строчку пушкинской прозы. Нет ничего оскорбительно для памяти поэта в том, что мы хотим знать живого, подлинного Пушкина, хотим видеть его человеческий облик со всем, что было в нем — и прекрасного и грешного».

Но «бойтесь пушкинистов!» — к сожалению, не совсем вздор. Сколько написано работ, где — факт ради факта, поиски без «сверхзадачи», пушкинизм без Пушкина (впрочем — как физика без физики).

Верные факты, хоть и не нанизанные на мысль, — все равно честная добыча, но она могла быть большей и будет большей, когда кто-нибудь включит старый факт в новую систему мыслей.

Книга Н. А. Раевского — как раз образец верного, удачного движения от, казалось бы, мелких, частных «фактиков» к важным обобщениям.

Кто мог бы поручиться, стоит ли тратить дни и месяцы для решения такой не шибко актуальной на вид задачи, как изучение родословного древа князей Кляри-и-Альдринген. Однако Н. А. Раевский находит, что князя — прямые потомки фельдмаршала М. И. Кутузова. Для пушкиниста это — первостепенное обстоятельство, потому что и дочь полковника, Е. М. Хитрово, и внучка, Д. Ф. Фикельмон, люди, близкие к поэту.

Только что возвратившись вместе с автором из пушкинского замка Фризенгофов в Бродяках, мы уже отправляемся в не менее пушкинский замок Кляри в Теплице...

1942 год. Фашисты оккупируют Чехословакию. Раевский попадает в тюрьму, но, выбравшись оттуда, как бы бросает вызов всему временному, брэнному, что принесено войной; он стремится сохранить хотя бы частицу пушкинского, то есть вечного и непреходящего. Вскоре Раевский оказывается первым специалистом, узнавшим о драгоценных документах из архива Фикельмона (неизвестное письмо Пушкина, дневник Д. Ф. Фикельмон и др.).

Рисуя «словесной акварелью» портрет Дарьи Федоровны (Долли) Фикельмон, автор снова добывается успеха на пути от «фактиков» к фактам.

Может быть, чересчур много рассуждается о «жаркой истории» Фикельмон с поэтом, но все же, только увидев, как относилась к Пушкину жена австрийского посла, можно оценить ее интересные дневниковые свидетельства.

Подробности светских пересудов, сплетавшихся вокруг семьи Пушкина... Но Раевский рассказывает об этом, не удаляясь, а приближаясь к Пушкину. В записи Фикельмон выделено несколько многозначительных строк об уважении Дантеса за Натальей Николаевной: «Большой свет все видел и мог считать, что поведение самого Дантеса было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной, но десятки других петербургских обществ, гораздо более значительных в его <Пушкина> глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее камни».

Н. А. Раевский сообщает, что говорилось «друзьями, сотрудниками, читателями», и мы с горечью и сожалением видим, как эти люди вольно или невольно способствовали клеветущей молве, губили поэта, даже любя и почитая его. Мы узнаем, что над сложным клубком «домашней интриги» (Пушкин — три сестры Гончаровы — Дантес) смеется в письмах близкая приятельница поэта Софья Карамзина, насмешничает ее брат Андрей, сотрудничает ближайший друг и единомышленник Вяземский, и даже Жуковский находит повод для смеха.

«Когда поэта не стало, —

пишет Н. А. Раевский, — все, конечно, перестали смеяться. Глубоко и искренне было горе друзей Пушкина. Но все это было после катастрофы, а когда она готовилась, многие и многие близкие Пушкину люди, в противоположность прозорливой Фикельмон, видели в том, что происходило, не трагедию, а комедию или, в лучшем случае, трагикомедию...»

В связи с этим вспоминается несколько строк из сборника документов, собранных друзьями, распространявшихся после смерти поэта документов о дуэльной истории: «Я скажу, — писал П. А. Вяземский, — что Пушкин напрасно так жертвовал собой, нам он был нужнее чести его жены, — ему же честь жены была нужнее нас, быть может» (из архива Е. И. Якушкина).

Последняя глава в книге «Если заговорят портреты» — о гибели поэта. Но автор неоднократно приводит читателя к мысли, что Пушкин еще не прожил всей жизни для нас — не только потому, что бесконечно во времени его творения, но и потому, что еще не прочтены многие страницы — то есть минуты, часы, месяцы, годы — его биографии.

Н. А. Раевскому удалось приблизить к нам Пушкина несколькими новыми эпизодами, ситуациями, мгновениями, — но разве не будят воображение и не обещают чудес, например, такие замечания, оброненные в книге:

«О князе Лихтенштейне, ставшем в Петербурге как бы членом семьи Фикельмонов, можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго — вскоре князь уехал на родину. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свой, вероятно, частые встречи с русским поэтом».

«Пушкин, несомненно, встречался и еще с одним чиновником австрийского посольства, князем Францем Лобковичем, молодым человеком, несколько прикосновенном к литературе. Незадолго до войны я познакомился в Праге с правнуком его брата, князем Яном Лобковичем, который обещал мне со временем показать хранившиеся у не-

го бумаги дипломата. К сожалению, замок князя Яна реквизирован гитлеровцами».

Автор книги полагает также, что неизвестные письма Натальи Николаевны к мужу хранятся где-то за границей и что следовало бы попытаться разыскать во Франции потомком маркиза де Транс (племянника графа Фикельмона), так как «у них мог сохраниться пушкинский автограф».

Соглашаясь с Н. А. Раевским относительно неисчерпанных пушкинских богатств в частных архивах Запада, заметим, что десятки неизвестных пушкинских текстов еще ждут своих открывателей на родине поэта — в архивах, библиотеках, старых сундуках, альбомах, коллекциях. Ведь известно о существовании не менее двухсот сочинений и писем поэта, которые были, но исчезли...

Открытия Пушкина не прекращаются, и доказательство тому мы надеемся увидеть в новых трудах неутомимого Н. А. Раевского и в подготавливаемом пушкинском томе «Прометея».

Н. Яковлев

Начало поиска

М. Колшицер, Валентин Серов. Серия „Жизнь в искусстве“. М., „Искусство“, 1967, 452 стр., 50 000 экз.

В издательстве «Искусство» вышла первая книга давно ожидаемой серии «Жизнь в искусстве», посвященная одному из самых

любимых и самых трудных в своей кажущейся простоте русских художников, Валентину Александровичу Серову. Начат поиск нового жанра. Чем будут эта и последующие книги серии — знакомыми нам искусствоведческими монографиями или биографическими романами? В какой мере личная жизнь знаменитого человека с его привязанностями и антипатиями, трогательными или забавными эпизодами вправе занять место в жизнеописании художника-творца? Очевидно, в судьбе художника жизнь и творчество неотделимы. Будет ли рассказано в книге о том, как родился художник Серов, не Врубель, не Коровин, а он, единственный и неповторимый в русском искусстве? В рассказе о сорока годах жизни Серова автор главное внимание уделяет повседневному быту художника и близких ему людей, теряя из виду главное, что влияло на формирование его мировосприятия. Мы узнаем о внешности матери и отца, их привычках и странностях, о чудачестве друзей и знакомых, но почти ничего об учителях молодого Серова.

Как известно, в становлении Серова-мастера решающую роль сыграли Репин и Чистяков. Однако из пространного повествования о годах учения у них невозможно понять, чему они учили и чем «метода» одного отличалась от другого. Масса бытовых подробностей и даже сомнительных анекдотов о карандашиках, кубиках, точках на теле натурщика и т. п. Но из утверждений, подобных следующему: «Чистяковская система полностью овладела им, ни один штрих не нанесен даром. Он настолько изучил лошадь, что мог рисовать совершенно без натурщи» (стр. 62), — видно, что у самого автора нет четкого профессионального понимания вопросов рисунка вообще и чистяковской системы в частности.

Разочаровывает и изображение близкого друга Серова Врубеля. На страницах повествования появляется какой-то «обидно нерешительный» неудачник, который «университет окончил плохо, воинскую повинность отбыл плохо. Академию не окончил». Суждения же его об искусстве, кстати заимствован-

ные из такого далекого от достоверности источника, как книга В. Смирновой-Ракитиной «Валентин Серов» (М. 1961), крайне примитивны: «— Искусство есть искусство и должно быть таковым прежде всего, — к этой истине сводились его утверждения». «— Пусть будет красиво написано, — говорил он, — а что написано, нам не важно...

— Значит, и этот самовар, если будет красиво написан, имеет право называться художественным произведением? — возражали старики.

— О, несомненно, — нисколько не задумываясь, отвечал Врубель (стр. 48). Полноте! Никогда такой пошлости Врубель не говорил и не мог говорить. Именно в 1883 году Врубель написал сестре: «Реализм родит глубину и всесторонность»¹. Да и в приведенном в книге отрывке из того же письма Врубель упрекает передвижников не за отсутствие красоты, а за неумение «беседовать с натурой», то есть за недостаток живописного реализма.

Таким же недалеким чудачком, в лучшем случае, предстает перед нами и другой близкий друг Серова, Константин Коровин. Мы узнаем о жилетке и незаправленной в брюки рубашке, о пролитой на декорацию краске, которую зрители театра приняли за облака, и прочие анекдоты. А чем отличалось их живописное мышление, почему полотно Коровина не спутаешь с врубелевским или серовским и почему они дети одной эпохи в художественной культуре? На эти вопросы в книге ответа нет.

Стремление объяснить сложные явления художественной жизни вне тех общественных отношений и взаимосвязей, в которых они имели место, заводит автора в тупик при описании сближения Серова с группой «Мира искусства». «Трудно даже сказать, — пишет он, — что привлекло в них Серова. Скорее всего их молодость, задор, энергия, то, что они всегда находились в движении, их связь со всем новым в искусстве и открывавшиеся из-за этого горизонты и возможность всегда быть

«на гребне» (стр. 183). Нет. Дело здесь ни в молодости мирискусников, ни «в связи со всем новым», и тем более ни в тщеславном стремлении «быть всегда на гребне». Да и не со всем «новым» связал бы свою творческую судьбу Серов. Долгое время «Мир искусства» оценивался в литературе слишком односторонне в плане внеисторического осуждения его проповеди «искусства для искусства». Идя вслед за установившейся традицией, автор не попытался взглянуть на «Мир искусства» глазами современников, подумать о том, какую роль в той исторической обстановке имела проповедь чистого искусства и только ли ее исповедовали молодые художники этой группы. В 1912 г. Г. В. Плеханов писал: «Склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, и искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой». И далее: «Всякая данная политическая власть всегда предпочитает утилитарный взгляд на искусство. Да оно и понятно: в ее интересах направить все идеологии на служение тому делу, которому она сама служит»². Увы... того главного, чего вправе ждать читатель от подобной книги, в ней нет. В рассказе именно эти черты: разлад с официальной идеологией, отказ от утилитаризации искусства — и привлекли прежде всего Серова к «Миру искусства». Важную роль сыграло и то, что художники эти, по словам А. Венуа, «входили в жизнь со свежей впечатлительностью, пламенным сердцем и личными взглядами, как истинно художественные натуры, и которым уже хотелось в картинах не назидать, поучать или исправлять, но попросту писать то, что им вздумается, понравится, полюбуется»³. Стремление «не назидать», «не исправлять» было протестом против опеки Императорской Академии, про-

тив генералов от передвижничества и было также близко Серову.

Аполитичность, в которой обычно упрекают художников «Мира искусства», кончилась с началом первой русской революции, когда большинство их выступило против царизма на страницах сатирических журналов. Серов проявил в эти годы всю глубину и последовательность и ранее свойственных ему демократических убеждений. С описания событий 9 января на страницах книги появляется Серов — борющийся, протестующий, ищущий правды в жизни и в искусстве. Этот последний период его жизни хорошо известен, и писать о нем легче. Но даже и здесь автор некритически использует мемуарные материалы, забывая о том, что всякий мемуарист выражает в своих воспоминаниях прежде всего себя и его сведения и оценки требуют вдумчивого объективного анализа. Так, поверив словам Репина: «С тех пор даже его милый характер круто изменился: он стал угрюм, резок, вспылчив и нетерпим; особенно удивили всех его крайне политические убеждения... с ним потом этого вопроса избегали касаться...», автор пыгается и нас уверить, что эти убеждения появились у Серова внезапно. На самом деле они у него формировались в течение всей жизни, и то, что удивляло Репина, не должно удивлять исследователя.

«Серов был для русских художников тем, чем был Толстой для русских писателей, — их совестью. Свидетельств этому тьма. Но об этом говорить уже не стоит. Для этого пришлось бы заново пересказывать всю биографию Серова». Так заканчивает автор свое жизнеописание художника. Но почему не стоит? Может быть, именно под этим углом зрения и стоило бы писать книгу о художнике? Полагаю, что читателю хотелось бы не только понять природу того неповторимого серовского мастерства, в котором с ним до сих пор может соперничать только Врубель, но и видеть, как послушное вдохновение и мысли «рукомесло» воплотило совесть художника.

Первая книга серии — первая попытка создания

² Г. В. Плеханов. Письма без адреса, М. 1953, стр. 168—170.

³ А. Венуа. История русской живописи XIX в. СПб. 1902, стр. 224.

¹ М. Врубель, Переписка. Воспоминания о художнике. М.—Л., 1963, стр. 60.

синтетического образа человека, художника, гражданина. Удачной ее назвать нельзя. Но важно уже то, что поиск начат.

В. Белобородов

Книга о трагической актрисе

Р. Бенъяш. Пелагея Стрепетова. Л., „Искусство“, 256 стр., 100 000 экз.

История русской сцены знает немало актеров, которые передали общественные настроения своей эпохи, прониклись устремлениями времени. Творчество Екатерины Семенович связано с предреволюционной эпохой, бунтарское искусство Мочалова отразило процесс освобождения личности в годы николаевского самовластья. Искусство Щепкина и Мартынова было живым протестом против крепостного права. Творчество Комиссаржевской и Качалова питалось революционными идеями начала XX века.

Книга Р. Бенъяш посвящена Пелагее Антиповне Стрепетовой (1850—1903), расцвет творчества которой приходится на время подъема революционного народничества. Сквозь всю жизнь пронесла Стрепетова тему защиты истерзанной русской женщины, забытой и униженной. Где бы ни играла Стрепетова — на быстро сколоченных подмостках ярмарочного театра или в блестящем позолотой роскошном Александринском

зале, — всюду звучал ступенчатый голос русской крестьянки.

Театральный критик Р. Бенъяш давно занимается жизнью и творчеством Стрепетовой. В 1947 году вышла первая ее книжка об актрисе, в 1959 году появился сборник воспоминаний и писем Стрепетовой с развернутой вступительной статьей Р. Бенъяш, сейчас мы познакомимся с третьей работой — беллетризованной биографией актрисы, вышедшей в серии «Жизнь в искусстве». Таким образом, автор двадцать лет изучает творчество актрисы. Р. Бенъяш свободно ориентируется в материалах о Стрепетовой, тонко чувствует и понимает актрису. Книга написана напряженным, страстным слогом. Короткие фразы, неожиданные и впечатляющие сравнения. Автор проникает в психологию актрисы, показывает причудливые изгибы ее трудной судьбы.

...Осенним вечером к дому нижегородского театрального парикмахера был подброшен сверток. В нем маленькая девочка. Эта девочка, так и не раскрывшая тайны своего рождения, стала великой актрисой. Р. Бенъяш ведет читателя по жизни Стрепетовой. Триумфы и провалы, романы и замужества, соперничества на сцене и трагедии в личной жизни. Драматические повороты в жизни Стрепетовой подчеркнуты и обострены. Это делает чтение книги интересным, а иногда и захватывающим.

Р. Бенъяш выпукло воссоздает роли Стрепетовой. О таких работах актрисы, как Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского, Катерина в «Грозе» Островского, Анна Петровна в «Иванове» Чехова и некоторых других рассказано подробно, живо, с хорошим чувством стилистики драматурга и актрисы. И все же таких описаний мало. Читатель знакомится с громадным репертуаром актрисы уж очень «выборочно». Из слов, обозначенных в названии серии — «Жизнь в искусстве», автор делает акцент на первом. Его больше всего интересует жизнь актрисы.

Сквозь книгу проходит верная мысль о народнической сущности творчества Стрепетовой. Современник писал о Стрепетовой: «Она глубоко глядит в душу человека, видит в ней то, че-

го другие не видят, слышит такие тайные звуки, которые для других не слышны». Стрепетова отчетливо слышала тайные и глухие звуки народного горя.

Изображение народных низов многими литераторами и художниками в 1860—1870-е годы было не только открытием новых тем и характеров, а показом жизненных явлений с точки зрения оппозиционно настроенных слоев общества. О картине И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» В. В. Стасов писал: «Никогда еще горькая судьба вьючного людского скота не представляла перед зрителем на холсте страшной массой, в таком громадном пронзительном аккорде». Горькую судьбу русской крестьянки с невиданной до того трагической силой и проникновенностью показала Стрепетова — любимая актриса Репина, Стасова, передвигников и кучкистов. «Горькая судьбина» — именно так и называлась пьеса А. Ф. Писемского, которой актриса дала сценическую жизнь.

Творчество Стрепетовой дано в книге на фоне народнического движения и деятельности его героев. Имена Петра Алексеева, Веры Фигнер, Софьи Перовской возникают в книге органично, поднимая искусство Стрепетовой. Если народническая тема верно прослежена в работе, то феминистский аспект творчества актрисы совсем не освещен.

Между тем многие триумфы Стрепетовой 1870-х годов обусловлены соединением народничества с женским движением. Интерес к судьбе женской личности, русский феминизм 1860—1870 годов нельзя отделить от общих революционно-освободительных идей. В 1860-е годы реакционеры не без успеха порочили самобытность женского движения в России, обвиняя его в бессмысленном и запоздалом подражании героям Жорж Санд; в 1870-е годы, соединившись с народническими идеями, оно превратилось в мощную силу. Эта сила вдохновляла героинь Стрепетовой.

Во второй половине 1880-х годов имя Стрепетовой уже не вызвало прежнего интереса. Ее зрители, которые еще так недавно боготворили любимую актрису, перестали воспринимать трагедию ее героинь как что-то близкое, личное.

Безраздельно преданная своей общественной теме, Стрелетова не смогла ощутить новые веяния и настроения эпохи. Революционное народничество, на грёбе которого взметнулся ее великий трагический дар, зашло в тупик и изжило себя. Вместе с ним гасло общественное значение творчества Стрелетовой. Р. Веньяш говорит об упадке искусства Стрелетовой. Автор не выпрямляет путь своей героини, хотя некоторые сложные вопросы мировоззрения и идеологии Стрелетовой в книге упрощены. Взаимоотношения Стрелетовой и Суворина даны прямолинейно. Суворин представлен (и даже назван) Мефистофелем, совращающим беднягу Стрелетову. Автор полагает, что «Стрелетова так и не поняла перемен, происшедших с вернейшим ее почитателем». Не заметить общественную позицию Суворина было невозможно. И независимо от Суворина, сама Стрелетова в конце своей жизни была близка к консервативным и реакционным кругам. Жаль, что автор прошел мимо важнейшего документа для характеристики этого периода жизни актрисы — подневных записей писательницы С. И. Смирновой, жены актера Н. Ф. Сазонова. Этот дневник (хранится в Институте русской литературы АН СССР) помог бы автору раскрывать многие важные стороны жизни и мировоззрения Стрелетовой. Кроме того, дневник содержит много достоверных бытовых деталей, характеризующих Стрелетову на протяжении более двадцати лет. Пропуск такого важнейшего источника представляется серьезным упущением автора. Коль скоро речь зашла об источниках, отмечу, что автору остались неизвестны и неупоминкованный «Дневник репетиций и спектаклей» А. А. Потехина, хранящийся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, многие письма мужа Стрелетовой М. И. Писарева и др. Использование этих материалов обогатило бы книгу.

Работа не свободна от неточных формулировок, противоречий и ошибок.

На стр. 5 читаем: «В шестнадцать лет на крохотной сцене похожего на сарай летнего рыбинского театра она случайно сыграла Лизавету в «Горькой судьбине» Писемского. Роль, которой

суждено было стать главным спутником всей творческой жизни». Речь, по-видимому, идет о первом выступлении актрисы в «Горькой судьбине». А на стр. 30 сказано: «Стрелетовой было около шестнадцати лет, когда в том же Ярославле, заменив заболевшую исполнительницу, она сыграла без всякой подготовки Лизавету в «Горькой судьбине». Раз «без всякой подготовки» — похоже, что это было первое выступление. Где же Стрелетова впервые сыграла Лизавету — в Рыбинске или Ярославле?

Автор почему-то оценивает народническое движение словами театрального критика А. Р. Кугеля. Это не тот авторитет, в оценке которого нуждаются народники. Как бы высоко ни оценивать ум и политическую прозорливость Кугеля (последней, кстати, у него не было), писать, что «он слишком умен, чтобы не понять наивный идеализм народничества» (стр. 117), нельзя.

На стр. 97 говорится о выступлении в 1859 году М. И. Писарева в роли Тишки в домашнем спектакле «Свой люди — сочтемся»: «Невинный домашний театр... «Свои люди — сочтемся»... показал за девять лет до того, как удалось снять с этой комедии официальный запрет». Неверно. Комедия шла в 1861 году в Малом театре и Александринском театре. На стр. 183 сказано: «Почти на целое десятилетие во главе дирекции оказывается И. А. Всеволожский». Он был директором в 1881—1899 годах. Это почти два десятилетия.

Когда речь заходит об упадке Александринской сцены, автор пишет: «В оппозиционной «Искре» кто-то напечатал издевательские стихи» (стр. 184), и приводит эти стихи. Но почему «кто-то»? Автор эпиграммы — известный поэт Д. Д. Минаев. Стихи недавно изданы (см. «Поэты «Искры», т. 2. Л., 1955, стр. 334).

П. А. Стрелетова недолго работала в московском частном театре А. А. Бренко. Автор пишет: «Театр этот был создан в 1880 году по инициативе артистки Малого театра А. А. Бренко. Его субсидировал один из крупных московских богачей — Малкиэль. Официальной владелицей считалась госпожа Левенсон» (стр. 158). Напрасно Р. Веньяш пола-

гает, что она представила читателям трех персон. А. А. Бренко и госпожа Левенсон — одно и то же лицо. В среде актеров и коллег она была известна как Александра Алексеевна Бренко. Когда надо было хлопотать по поводу всяких организационных и цензурных дел (театр действовал до отмены монополии на театральные представления в Петербурге и Москве), жена адвоката фигурировала как «госпожа Левенсон».

На стр. 141—143 приведен пространный отзыв о Стрелетовой, напечатанный в «Московских ведомостях» в 1875 году и подписанный псевдонимом «Посторонний». Основываясь лишь на том, что этим псевдонимом подписывал десять лет спустя некоторые свои статьи в «Отечественных записках» Н. К. Михайловский, Р. Веньяш приписывает знаменитому критику этот отзыв о Стрелетовой и говорит о близости искусства Стрелетовой устремлениям Н. К. Михайловского. Между тем Н. К. Михайловский никогда не печатался в «Московских ведомостях» у М. Н. Каткова. Статья принадлежит перу постоянного критика «Московских ведомостей», который вел там театральную хронику в течение нескольких лет (по предположению И. Ф. Петровской это был Л. Н. Антропов).

На стр. 225 речь идет о самоубийстве Виссариона Писарева — сына Стрелетовой и М. И. Писарева. Автор сравнивает судьбу В. Писарева с судьбой третьего мужа актрисы А. Погодина, покончившего с собой: «Вскоре после ее смерти он (В. Писарев. — А. А.) в точности повторит судьбу отчима. Единственное, в чем повезет Стрелетовой, что она об этом узнать не успеет». Стрелетова умерла в 1903 году, сын ее покончил жизнь самоубийством в 1917 году. Это не «вскоре», и писать ради «обострения сюжета», что она не успела об этом узнать, не стоит. Многие цитаты приведены неточно. Автор, например, цитирует А. А. Плещеева, который в своих воспоминаниях якобы писал о Стрелетовой, что она играет, «как Толстой говорит, как Репин пишет» (стр. 113). Слова о Толстом самолично добавлены автором книги, у А. А. Плещеева их нет.

Факты следует уважать. Ценность интересной и талантливой книги Р. Беньяш снижается из-за вольного обращения с фактами.

**А. Альтшуллер
(Ленинград)**

«Опытный дошкольник»

В. М. Конашевич, О себе и своем деле. Изд-во „Детская литература“, 1968

На старости я сызнава живу, минувшее проходит предо мною.

— Я рисую только то, что люблю, — говорят художник Владимир Михайлович Конашевич.

Его рисунки нужно рассматривать долго-долго, внимательно-внимательно. И тогда... Озорно подмигнет маршаковский Петрушка-иностраниец. Отдаст честь брату оловянный солдатик. Помчится в бой Бибигон — смешной мальчишка Чуковского. Неожиданно весело и добро улыбнется чудо-юдо рыба кит.

И так же медленно и внимательно нужно читать его записки «О себе и своем деле».

Эта книга о ребячьих проказах и становлении характера, о близких, дорогих людях и Москве конца прошлого века. Читать ее бесконечно весело и трогательно.

Вот блины у крестной — все обстоятельно: масло, сметана, закуска, чистые блины с припеком. Потом обед — потому что блины блинами, а обед обедом. Наверное, чеховский француз Пуркуа, прочитав «оду

блинам» Конашевича, снова воскликнул бы: «О страна чудес, не только климат, но и желудки делают у них чудеса». «Между переменами блюду, — лукаво замечает Конашевич, — мы, дети, бегали вокруг стола для модiona, чтобы блины плотнее улеглись в животе и побольше их можно было съесть. Кто больше всех съел, тот блинный герой».

В этой книге бабушка рассказывает внукам удивительные истории, пышной мишурой украшается зеленая елка, мальчик впервые постигает световые эффекты...

Добрая, раздумчивая книга. Но у нее, как у всякой книги, написанной талантом сердца и талантом ума, есть тайна.

27 января 1944 года. Величайшее событие в жизни Ленинграда — день полного освобождения города от блокады. Ленинград салютует победе, салютует победителям — своим защитникам и своим героям. А перерывы между залпами — как минуты молчания у могил павших...

Еще не залечены раны улиц, не зарыты траншеи на полях сражений. Но главное уже свершилось.

А до этого было 900 дней смертельной опасности, холода, голода и мужества. По городу было выпущено 225 тысяч снарядов. На город было сброшено 100 тысяч бомб. Вражеские пушки били по площадям и госпиталям, по театрам и трамваям, по домам и памятникам. Но жизнь продолжалась, и вместе со всеми трудился оставшийся в городе художники, писатели, актеры. В самое трагическое время первой блокадной зимы академик архитектуры Никольский сделал рабочий эскиз арки в честь будущей победы. Театр музыкальной комедии показал в 1942 году премьеру — пьесу Вишневого, Крона, Азарова «Раскинулось море широко». Симфонический оркестр, возрожденный к жизни дирижером Элиасбергом, исполнил Седьмую ленинградскую симфонию Шостаковича.

Владимир Михайлович Конашевич вместе с Ленинградом пережил все, что выпало на долю осажденного города. И замерзал, и голодал, и терял близких, и продолжал работать. Он делал иллюстрации для атласа по истории переливания

крови, устраивал музеи для сануправления, оформлял госпитали, писал панно для улиц. Возрождал иллюстрации к книгам Чуковского и Маршака (оригиналы погибли в Павловске). Писал свои воспоминания. Творчество давало жизненные силы — ведь умирали не только голодные, умирали и павшие духом.

Как писала во время блокады другая ленинградка, Вера Инбер:

Пока я работаю — пуля меня не возьмет.

Пока я работаю — сердце мое не замрет.

Вот она, трагическая и нехитрая тайна записок Конашевича — они созданы в осажденном Ленинграде. В воспоминания детства врываются звуки воздушной тревоги. Прерывая нить повествования, художник записывает свои сиюминутные впечатления — по контрасту с этим громом и ужасом так сладко вспоминаются тишина и мир нашей детской жизни.

И это не художественный прием, не желание влюбовую столкнуть контрасты. Подобные дневники, хотя они пишутся немножко для других, полнее всего передают поток жизни. И новый смысл приобретают на фоне блокадных отрывков мирные детские зарисовки. И происходит переоценка ценностей, ибо, как говорит мудрейшие: «Не умея ненавидеть, нельзя искренне любить».

На титуле книги Конашевича написано: «Воспоминания, статьи, письма». Если суммировать впечатления от статей, то окажется, что речь идет прежде всего о рисунке для детской книги, а стало быть, и о самой детской книге. Каким должен быть этот рисунок? Каким личным, ярким, предельно выразительным — таково мнение художника. «Дети — народ искренний, все принимают всерьез», — пишет Конашевич.

Владимир Михайлович Конашевич иллюстрировал Тургенева, Фета, Чехова и делал это с присущим ему мастерством и вкусом. Но не случайно его постоянный редактор и большой друг Алянский называл Конашевича «опытным дошкольником». Дети присвоили себе его творчество.

Из переписки Конашевича с Чуковским и Алянским,

помещенной в сборнике, лучше всего видно, какой кровью, каким напряжением делается большая литература для маленьких. Конашевич, Чуковский, Алянский — друзья. Но как ожесточенно спорят, негодуют, говорят друг другу далеко не лестные вещи. Они не соглашаются друг с другом, но Конашевич все же переделывает рисунки. Необыкновенно обязательный человек, он откладывает в сторону взрослые книжки ради нового сборника Квитко и английских песенок в переводе Маршака, ради Пушкина, перед которым благоговевает. И вот высшая награда: «Муха-Цокотуха» — давно уже столь же моя, сколь и ваша», — пишет ему Чуковский.

Некоторые работы Конашевича помещены в сборнике. То есть вообще-то их много, рисованные человечки разбежались по всем страницам. Но главное — иллюстрации к книгам. И когда смотришь на семейных храбрецов братьев Гримм, на плывущий по волнам корабль царя Салтана, на прелестную Дюймовочку в ее тюльпане, становятся понятными слова детской поэтессы Ирины Токмаковой, обращенные к художнику: «Его иллюстрации к моим стихам — для меня счастье, какое в жизни бывает редко, мечта, которая сбылась неожиданно и полностью».

Воспоминания о детстве, написанные в осажденном Ленинграде, — это подвиг солдата, это проявление не-

вероятной силы человеческого духа.

Письма, статьи — это теория создания детской книги. И то и другое неразрывно связано, повсюду художник остается верным себе.

Самуил Яковлевич Маршак — один из любимых авторов Конашевича — считал, что у детской книги всегда бывают два автора — писатель и художник. У сборника, выпущенного издательством «Детская литература», — автор один. В выходных данных книги значится: на суперобложке, переплете, форзаце, титульном листе, шмуцтитулах, концевках воспроизведены рисунки Конашевича.

Л. Каменщик

Л. Жуковский

Интернационал социалистической литературы

На празднование десятилетия Октябрьской революции в Москву съехались литераторы из нескольких стран. Вперемежку с торжественными заседаниями, митингами, посещениями заводов и школ, музеев и театров происходили встречи писателей — спорили до глубокой ночи, обсуждали планы создания «писательского интернационала». Так образовалось Международное бюро революционной литературы.

В течение трех лет это Бюро собирало силы, связывало между собой революционных писателей разных стран. Международные связи литераторов, воодушевленных идеалами социализма и верою в пролетарскую революцию, начали возникать уже раньше. Но теперь они стали постоянными. Узловыми пунктами были: во Франции литературная группа, сосредоточившаяся вокруг А. Барбюса и журнала «Монд», в Германии — Союз революционных пролетарских писателей и журнал «Левый поворот» (Die Linkskurve), которым руководили писатели-коммунисты Бехер, Мархвица, Ренн; в США — журнал «Новые Массы» — издание группы демократических литераторов при активном участии коммунистов (Майкл Голд).

В Москве издавался «Вестник иностранной литературы». Международное бюро писателей работало в непосредственной близости от руководящих центров таких организаций, как Коминтерн, КИМ, МОПР и др. Деятельность Бюро не ограничивалась перепиской с друзьями в разных странах, обменом книгами, статьями, организацией переводов, встреч и пропагандой творческих достижений своих еди-

номышленников. Много усилий требовало и непосредственное участие в повседневной политической борьбе. Бюро поддерживало все международные пропагандистские кампании против угрозы новой войны и в защиту жертв классового юстиции. Когда были арестованы писатели Иоганнес Бехер в Германии и Ленгард Лайцен в Латвии, когда полицейским репрессиям подвергались литераторы Венгрии, Китая, Италии и других стран, Бюро организовывало массовые движения протеста, добиваясь их освобождения, разоблачая гонителей и палачей.

В ноябре 1930 года в Харьков на II Международную конференцию пролетарских и революционных писателей съехались делегаты из 20 стран. Среди них были и прославленные уже мастера слова и те, кому еще только предстояла известность. Было несколько будущих дезертиров и отступников и много будущих героев, подвизников, мучеников.

Советскую литературу представляли А. Серафимович, А. Фадеев, Ф. Панферов, В. Луговской, А. Исбах, М. Чумандрин, Л. Авербах, А. Тарасов-Родионов, Иван Ле, И. Микитенко, Аюп Аюпян, Гали Гумер, Б. Буачидзе. Второй по численности была немецкая делегация, в которую входили И. Бехер, А. Зегерс, Ф. Вайскопф, Л. Ренн, Э. Э. Киш, Э. Глезер. Венгерская делегация состояла из шести человек. Бела Иллеш делал основной доклад, Антал Гидаш и Мате Залка участвовали в руководстве организацией конференции. С ними были Алдар Комьят, Эмиль Мадарас и Матейка. Из Франции приехали Арагон и Муссинак, делегат конференции Барбюс прислал письменное выступление, ему не удалось выехать. Бруно Ясенский представлял Польшу, Джерманетто — Италию, Майкл Голд — США, Эми Сяо — Китай, великий перуанский поэт Сесар Вальехо — Латинскую Америку.

Первое торжественное заседание происходило в театре. Конференцию приветствовали глава правительства Советской Украины В. Чубарь, народный комиссар просвещения Н. Скрышник. Отряд красноармейцев выстроился на сцене... Строем вошли юные пионеры с горнами и барабанами... Выступали рабочие харьковских заводов, студенты, украинские писатели...

Харьков тогда был столицей Украины, но еще сохранял некоторые внешние черты провинциального губернского города. По улицам разъезжали извозчики, кое-



Группа участников
II Международной конференции
пролетарских и революционных
писателей

где мелькали пестрые вывески частных магазинов. Но почти в каждом квартале в темных шеренгах фасадов уже желтели просветы строительных лесов. На окраинах строились огромные заводы: тракторный, турбинный, расширялись старые — паровозный, электромеханический, сельскохозяйственных машин, велосипедный.

Гостиницы, где жили делегаты, и Дом литераторов, в котором шли основные заседания конференции, все дни осаждали толпы молодежи. Они старались утащить хоть одного иностранного товарища в свой клуб, на свое заседание, пленум, конференцию.

Интернационализм. Все участники этой конференции давно знали и часто произносили это слово. Но многие именно здесь впервые ощутили интерна-

ционализм так осязаемо, так зримо. Улица, на которой находился театр — первое помещение конференции, — главная улица столицы Украины носила имя Либкнехта, а большая центральная площадь называлась площадью Розы Люксембург. Был завод имени Коминтерна и клуб имени Сакко и Ванцетти. И везде, куда бы ни приходили зарубежные гости, их встречали с неподдельным радушием и дружелюбным интересом, подробно расспрашивали, наперебой рассказывали о своих делах, отчитывались: что было раньше, что есть теперь, что будет завтра, через год, через пять лет... пели, выкрикивали приветствия и лозунги на языке гостя.

В эти дни многие впервые ощутили, что интернационализм — это не только и не просто идея, не отвлеченное понятие, а живая реальность — братство людей, говорящих на разных языках.

Дом литераторов стоял в начале короткой тихой улицы, обсаженной старыми деревьями. Все комнаты и коридоры трехэтажного здания были уставлены витрина-

ми с книгами, завешаны фотографиями, таблицами, лозунгами. Здесь шли многочасовые заседания. Делегаты подолгу спорили. Одни корили Бюро за недостаточно внимательное отношение к их странам. Другие сердились на Барбюса за то, что он публикует в своем журнале оппортунистов. Третьи доказывали, что необходимо «преодолевать национальную ограниченность литературного творчества и... создавать интернациональный пролетарский стиль». Спорили и о преимуществах разных жанров. Противники «устаревшего» реалистического романа уверяли, что это буржуазный жанр, а революционному пролетариату нужны экспрессивные «малые формы» — новеллы, очерки, памфлеты. Им возражали не менее страстные защитники традиций реализма, ссылаясь на Горького, на творческий опыт советской литературы. Поборники крупномасштабного эпоса в поэзии наседали на лириков, которые, мол, умеют писать только «от себя лично». Продолжался давний спор о том, что важнее: достижения отдельных талантливых писателей или «общий размах революционной литературы»...

Но все были единодушны, когда речь заходила об угрозе войны, о полицейских преследованиях противников милитаризма и фашизма, о помощи товарищам в тюрьмах. Эрнст Глезер называл себя «сочувствующим попутчиком» пролетариата, но не вошел в Союз революционных писателей Германии, потому что не мог согласиться с тогдашними утверждениями руководителей союза, будто роман — это «излюбленная форма буржуазной литературы». В Харькове он встретил поддержку пролетарских писателей разных стран. С трибуны конференции Глезер говорил: «...год тому назад, когда речь заходила о Советском Союзе, многие говорили: «Руки прочь от СССР!» Сегодня я уже не повторю этих слов. Я говорю иначе: «Все руки за Советский Союз».

Антал Гидаш возражал сектантам, которые свысока третировали интеллигенцию и всех, кого не хотели признавать истинными пролетариями. Он привел выдержки из письма Дюлы Ййеша, который писал из Венгрии, что хочет стать «истинным революционным пролетарским писателем». «...Задача революционной литературы, — говорил Гидаш, — может быть выполнена, если, кроме большинства рабочего класса, мы завоеваем еще большинство той левой интеллигенции и мелкой буржуазии, которая переживает сейчас острейший кри-

зис, и мы должны завоевать ее посредством наших произведений».

16 ноября конференция собралась на заключительное заседание. Бразилец Сальвадор Боргес, дрожа от горя и гнева, рассказал о сообщении, полученном с его родины, — расстреляны 50 коммунистов. Последним выступал Мате Залка. Он был в форме командира Красной Армии, с боевым орденом Красного Знамени — в те годы ордена встречались еще очень редко. «...Товарищи, которые уезжают за границу, — говорил он, — если у них была до сих пор слишком короткая шпага, должны теперь сделать один шаг вперед вплотную к врагу, чтобы сразить его.

Тем товарищам, которые останутся здесь, с нами, нужно всеми силами принять участие в строительстве социализма, в строительстве той великой баррикады между буржуазией и пролетариатом, которая называется Советским Союзом».

Председательствующий Гидаш объявил конференцию закрытой. Делегаты встали и одновременно в нескольких местах возник знакомый напев:

Völker hört die Signale... —

пела Анна Зегерс, молодая, изящная, взгляд ее был грустным и вместе с тем весело-пытливым.

C'est la lutte finale... —

пел Арагон, закинув большелобую голову.

Let each stand at his place, —

выпевал каждое слово смуглый, лохматый Майкл Голд, сам себе дирижируя короткой трубкой.

Гидаш пел то по-венгерски, то по-русски.

Это есть наш последний, —

резким тенором пел Фадеев, высокий, остролицый, в гимнастерке, туго перетянутой ремнем.

Чуешь сурьмы заграли... —

басил коренастый плечистый Микитенко.

Вдоль прохода между рядами к эстраде пробиралась группа харьковских комсомольцев. Они пели по-русски и по-украински, и девичьи голоса высоко затягивали последние ноты, как в народных песнях.

А справа и слева стояли делегаты. Немцы поднимали сжатые кулаки — тогда только начало распространяться это боевое приветствие — «Рот Фронт».

Кто-то вскочил на стул и управлял разноголосым хором.

Пели японцы, австрийцы, американцы, грузины, чехи, англичане, болгары, латыши...

Пели задорно, лихо, как войны боевой марш; пели гордо и торжественно, как победный хорал; пели весело и растроганно, не скрывая слез, взволнованные таким внезапно явственным, внятным ощущением братства и единства. Пели сосредоточенно и грустно, вспоминая тех, кого расстреляли вчера в Бразилии, и тех, кто ожидал казни в Китае, кто сидел в несчетных тюрьмах; пели, задыхаясь от радостной веры в близость великих побед, от сознания силы, наполняющей душу и разум: «Это есть наш последний и решительный бой...»

После Харьковской конференции, учредившей Международное Объединение Революционных писателей (МОРП), интернациональные связи литераторов — деятельных сторонников мира и социализма стали еще шире, прочнее и гуще. Новые секции МОРП возникали все в новых странах, особенно бурно росли и крепились испанская, китайская, чехословацкая, японская секции, оказавшиеся вскоре непосредственно на линии огня, на переднем крае вооруженной борьбы против реакции и милитаризма. Содружество, возникшее в Харькове, расширялось. Вехами нового развития стали международные конгрессы в Париже в 1935, в Валенсии в 1937 году и движение сторонников мира, возникшее после второй мировой войны.

Харьковскую конференцию закрывал Антал Гидаш; в те дни он был уже широко известным, можно сказать, прославленным революционным поэтом, венгерским и советским. Его песня «Гудит, ломая скалы, ударный труд» стала одним из самых популярных напевов первой пятилетки. А я был одним из комсомольцев паровозного завода, которые пришли в тот вечер приглашать зарубежных гостей. С Анной Зегерс и с Гидашем я познакомился много лет спустя, и оказалось, что наши воспоминания об этом дне очень похожи, едва ли не тождественны. Мне так же, как им, это воспоминание помогало жить в трудную пору, одолевая мучительные сомнения.

И сейчас это воспоминание не только отголосок в памяти, а живая уверенность в самом важном, самом справедливым деле на земле. «С Интернационалом воспрянет род людской».

И. Ениколопов

(Тбилиси)

Дауд-паша и Россия

В Государственном Литературном музее Грузии хранится письмо¹, подписанное «государь Вавилона Дауд-паша». Этот документ принес в дар музею еще в 1933 году доктор Г. И. Бродзели, в семье которого письмо сберегалось около ста лет. От родителей доктор слышал, что автор письма в молодости не то бежал из Грузии, не то был похищен абреками и продан в невольники. Это письмо — единственная восточка, которую он подал своим родным много времени спустя. Правитель Ирака Дауд-паша сыграл крупную роль в истории Ближнего Востока. Он добился такой степени могущества страны, что его имя и дела породили оживленную переписку европейских дипломатов.

Первый, кто дал о нем сведения в печати, был английский путешественник по Закавказью и Ближнему Востоку Р. Кер-Портер, посетивший в 1818 году Багдад. Узнав от путешественника о том, что генерал А. С. Ермолов «с радостью воспользуется случаем сделать угодное дело столь знатному владетельному лицу», Дауд-паша выразил желание послать в подарок генералу ценную шашку и письмо с просьбой позаботиться о его семье. Через несколько дней после этого разговора «письмо паши вместе с шашкой были отправлены в Грузию с особым доверенным лицом от его высочества», — повествует путешественник, но «к несчастью, — продол-

жает он, — ни письмо, ни подарок не достигли назначения — посланный в пути был ограблен»².

А. С. Грибоедов, заведовавший в то время дипломатической перепиской генерала А. С. Ермолова, писал в «Путевых записках»: «Давид-паша три года тому назад (то есть в 1822 году. — И. Е.) прислал своего поверенного в Грузию, чтобы позволено было его матери прибыть к нему в Багдад. Но она, крепостная князей Орбелиани, решительно отказалась от путешествия в мусульманскую землю и предпочла свое состояние в православном отечестве той пышной жизни, которая ее ожидала в Багдаде»³.

Очевидно, после первой неудачи Дауд-паша спустя три года послал нового гонца, и на этот раз письмо достигло цели.

Уже тогда намечалось освободительное восстание греков, рассчитанное на помощь извне, главным образом со стороны России. Официально русское правительство, связанное Священным союзом, не могло оказать реальной помощи грекам, но Грибоедов (служивший еще секретарем русской миссии в Персии) и его начальник Мазарович приложили все усилия, чтоб поддержать их. Для этого они направили честолюбивые стремления персидского престолонаследника Аббас-мирзы против Турции, ослабляя этим силы карателей. Это можно было сделать лишь при доброжелательном отношении к России правителя Ирака, который подчинялся Турции только номинально.

В своих действиях Дауд-паша проявил столько самостоятельности, что не побоялся открыто вступить в конфликт с английским консулом в Багдаде — Ричем, который вынужден был бежать из Багдада со всем составом консульства. Начавшаяся в 1820 году война Персии с Турцией с благоволения русской миссии в Персии и проконсула Кавказа генерала Ермолова помогла греческим патриотам. Прорусская деятельность Дауд-паши проявилась в войнах России с Персией (1826—1828 гг.) и с Турцией (1828—1829 гг.).

Так, в войне с Персией, когда владетельный хан Еревана Гассан-хан подступил к Эчмиадзину, местное население, вынужденное спасаться бегством, «принял к себе Багдадский паша».

В войне России с Турцией действия русского корпуса в Турецкой Армении были застрахованы от выступления со стороны Ирака, занявшего нейтральную позицию, несмотря на неоднократные требования из Стамбула ударить в тыл русским

войскам. В этом поступке сказались непоколебимая верность Дауд-паши своей родине. С другой стороны, здесь заслуга Грибоедова-дипломата, добившегося еще и нейтралитета Персии.

Дауд-паша пользовался большой известностью на Кавказе. Помещик князь Лаурсай Орбелиани, желая заслужить благосклонность паши, освободил всю его семью от крепостной зависимости⁴.

Недавние изыскания поэта-академика Г. Леонидзе и востоковеда В. Силагадзе помогли установить год рождения Дауд-паши — 1774, его фамилию — Бочолашвили. Выяснилось также, что одному из его братьев разрешили выехать в Багдад, где он занял место коменданта, а остальным его братьям присвоили княжеские титулы, дав фамилии Маневелашвили.

О Дауд-паше пишет в своем «Путевом журнале» и Е. Чириков, русский комиссар — посредник по турецко-персидскому разграничению. Из его сообщения видно, как много Дауд-паша сделал для благоустройства Багдада и Басры. Описывает Чириков и меры, принятые Дауд-пашой к ликвидации последствий чумы в Багдаде в 1831 году. Вскоре он «был сменен Портою, впал в немилость к султану и послан был в Мекку, где должность его состояла в том, чтобы сметать пыль с гробницы пророка Мухаммеда»⁵.

Таковы превратности судьбы этого замечательного человека, уроженца города Тбилиси.

¹ Государственный Литературный музей Грузии (ГЛМГ). Рукописный фонд № 19 577.

² R. Ker-Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia etc. V. 2. London, 1822, p. 249.

³ А. С. Грибоедов. Соч. М.—Л., 1959, стр. 463.

⁴ ГЛМГ, РФ № 19 580.

⁵ Записки Кавказского отдела Рус. геогр. о-ва, кн. IX¹. СПб., 1875, стр. 3, 8—11.

М. Тугушева

Джон и Ада Голсуорси

Только что окончивший Оксфорд, примерный, горячо любимый сын респектабельного буржуазного семейства готовился к обязательному для людей его круга заграничному «tour»^у. Отправился в путь он несколько позднее намеченного срока. Его родственник женился: необходимо было присутствовать на семейном торжестве.

Брак совершился в апреле 1891 года и имел немалое значение для английской литературы. Молодая девица Ада Купер вышла замуж за майора Артура Голсуорси, двоюродного брата будущего писателя. Почти сразу же после свадьбы кузена Джон Голсуорси отправился в длительное путешествие к тихоокеанским странам и в Австралию. В одном из писем он просит передать привет и новой родственнице. Вернувшись, Джон находит, что его сестры Лилиан и Мейбл свели с ней тесную дружбу. Постепенно для всей обширной семьи Голсуорси перестает быть тайной неудачное замужество Ады. Джон Голсуорси преисполнен к милой, прекрасной Аде живейшего участия, которое сменяется взаимной преданностью и страстью.

Любовь к Аде навсегда вошла в жизнь Джона Голсуорси, но пройдет десять лет, прежде чем они смогут пожениться, десять лет тайны и мучительной жизни врозь. Любовь долго была омрачена сознанием невозможности «переделать судьбу». «В жизни нет ничего более трагического», — скажет потом автор «Сдается в наем».

Эти десять лет были решающими в жизни Джона Голсуорси. Он стал писателем. Его биографы (со слов самого Голсуорси) считают, что именно Ада пробудила в нем писательское призвание. Однажды она спросила молодого юриста: «Почему вы не пишете? Вы созданы для этого...»

Еще не будучи женатыми, они не так уж мало бывали вместе. Затянувшаяся десятилетняя «интерлюдия» была отмечена не

только горячей взаимной любовью, но и постоянным творческим единомыслием. Ада стала вдохновительницей и поводырем Голсуорси в мире искусств. Как никто другой, она умела пробудить в нем жажду творчества и тщательно беречь его покой, когда он работал. Однажды на концерте в Куинз Холл, где давали увертюру Чайковского «1812 год», один из друзей хотел поделиться с Голсуорси своими впечатлениями. Вмешалась Ада. «Джон работает», — прошептала она. И действительно, вооружившись моноклею, он изучал на первый взгляд ничем как будто не примечательного джентльмена, очевидно, главу семейства.

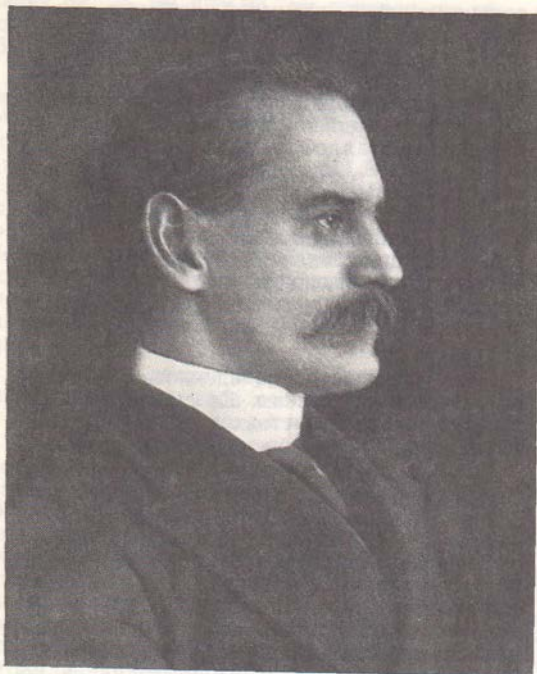
Ада была не только вдохновительницей, но и строгим критиком. Ее суждение о литературных достоинствах его произведений было для Д. Голсуорси непререкаемо.

В 1904 году умирает отец Голсуорси. Смерть его потрясла писателя. Горе было так велико, что даже Аду он отказывался видеть неделю или две. Но умер не только отец, умер «викторианец», которого сын не хотел огорчить бракоразводным процессом. Теперь Джон и Ада бросают вызов условностям — уезжают на несколько дней в деревню Манатон, в Дартмур. Отныне фермерский дом «Уингстоун», в котором они провели первые недели своей совместной жизни, станет их любимым пристанищем на много лет. После Дартмура наступает черед Италии, где они собираются прожить полгода — достаточный срок, чтобы майор Голсуорси окончательно убедился, что бракоразводный процесс неизбежен.

«Я уезжаю за границу на шесть-семь месяцев, — сообщает Голсуорси другу, — практически до тех пор, пока мы с Адой не сможем пожениться. Стоглавая гидра ожидания будет прикончена в этом месяце, орудие смерти — нечто, известное под названием «судебное преследование» против нас во Дворце правосудия. Когда мы вернемся, приезжайте к нам в нашу скромную хижину, если, конечно, сочтете нас достаточно для этого респектабельными».

Жизнь сейчас мне кажется интересной и заманчивой, потому что, слава богу, Ада не совсем обыкновенная женщина, да и наша преданность друг другу не зря подвергалась испытаниям. Очень любопытно следить за реакцией окружающих. В общем такое наблюдение укрепляет мою веру в человека».

Уже в Дартмуре за ними явно следили.



Джон Голсуорси



Ада Голсуорси

(Для развода нужны были неопровержимые улики «супружеской неверности», и майор Голсуорси, как впоследствии и Сомс Форсайт, прибегнул к услугам детектива.) Вернувшись из Италии, они узнали, что процесс в разгаре.

По свидетельству английского писателя Форда Мэдокса Форда, Голсуорси довольно болезненно относился к перипетиям процесса: «Он был уверен, что его карьера в обществе кончена». Он даже не считал возможным присутствовать на обеде, который дал Ф. Мэдокс Форд в его честь. Виновник торжества опасался, что знакомство с ним, чье имя связано с громким судебным процессом, бросит тень на любезного хозяина. Голсуорси вышел из клубов, членом которых состоял до этого, отказался от многих светских и официальных знакомств. Однажды давний приятель отказался пожать протянутую Голсуорси руку. Ничто, однако, не могло его остановить на избранном пути. Он не откажется от счастья, которого терпеливо ждал де-

сять лет, он не уподобится герою своего раннего рассказа — «Спасение Суизина Форсайта». Монументальный, старый холостяк — раб условностей, освободившийся от рабства только вместе с жизнью. На смертном ложе Суизина навещает полувидение, полувоспоминание о девушке — венгерке Розжи, которую он когда-то любил... Розжи оказалась неподходящей партией, отец ее был участником революционного восстания в Австро-Венгрии. Да, Суизину тогда повезло. Он вырвался из объятий любви и остался в стороне от «сомнительных» европейских дел. Но теперь его, умирающего, осеняет истина: та романтическая страсть — самое лучшее и прекрасное, что было у него в жизни. Это горькое предсмертное озарение, очевидно, таило в себе тайный смысл для создателя рассказа, счастливо преодолевшего буржуазные условности.

«Ужас и трагедия альтернативы» воплотились, по счастью, только в вымысле, в книге, написанной в маленьком итальян-



Джон и Ада Голсуорси в военном госпитале, 1916 г.

ском городке Леванто. Человек может и проиграть битву за любимую женщину, как это случилось с художником Босини на страницах нового романа Д. Голсуорси «Человек-собственник».

В сентябре 1905 года Ада и Джон Голсуорси поженились.

Их первый дом, Аддисон Роуд, 14, ничем не отличался от сотен подобных домов, принадлежавших их соседям, состоятельным врачам, юристам, биржевым дельцам. «Изящный налет артистизма прикрывал устойчивый респектабельный быт: комфорт, размеренный образ жизни, верные слуги — исполнительные и молчаливые. Ко второму завтраку, за которым нередко заходил разговор о Тургеневе, Генри Джеймсе, Ницше, подавали традиционные ростбиф, йоркширский пудинг и яблочный пирог. Но постепенно рабочая простота входила в их повседневный обиход — уже не обязательны были вечерние туалеты к обеду, сигары и ликеры после обеда», — вспоминает биограф.

Писатель надолго затворялся в своем кабинете. В соседней комнате за фортепьяно садилась Ада. Их союз стал символом полного «слияния», как тогда писали в романах, двух человеческих душ.

Прекрасная женщина, любимая жена, умная, с большим художественным чутьем, помощница, верный товарищ в долгих прогулках верхом, Ада была поистине незаменима.

Но год, проведенный на Аддисон Роуд, был самым счастливым. Постоянная близость Ады, успешный труд, покой и радость — все это рождало ощущение предельной полноты и неистощимости счастья. При этом оба они были далеки от эгоизма счастливых людей. В своих воспоминаниях Ф. Мэддокс Форд утверждает, что ни один писатель «не отдавал так много денег, времени и заботы всяким несчастным, нежели Голсуорси».

«Всякие несчастные» были постоянно предметом тревоги гуманиста Голсуорси. У него еще в юности пробудился сочувственный интерес к жизни лондонских трущоб, «странный», по мнению критиков, для человека его времени и классовой принадлежности. И теперь любой из тех, кто нуждался в помощи, мог постучать в дверь дома № 14 по Аддисон Роуд, без помощи никто не уходил.

Вот как описывает английский писатель Р. Моттрэм, их частый гость в это время, типичную сцену:

«В кабинет входит Ада, к которой пришел посетитель. На ней модная негнущаяся юбка и блузка с высоким воротничком. Ада. Джек, эта бедняга... она опять пришла.

Джек. Ей нужны деньги и одежда.

Ада молчит, но в ее глазах можно прочесть: «Все это верно, но довольно абстрактно».

Джек (поспешно). Дорогая, я хочу сказать, чтобы ты дала ей мои деньги и твою одежду.

Ада бросает на него ласковый взгляд и уходит».

«Человек-собственник» принес Голсуорси настоящую известность и литературную славу. Он упрочил его репутацию в обществе. Теперь уже никому не пришло бы в голову игнорировать протянутую им руку. Да и времена изменились. Смерть королевы Виктории унесла и прежние «моральные» строгости и ограничения. Теперь сестре Лилиан, встревоженной тем, что в Ирэн мог тут узнать Аду, а в коллизии Ирэн — Сомс — Босини — «молодой»

Джолион реальные события из жизни Джоан Голсуорси, писатель отвечает:

«Ты действительно думаешь, что это имеет сколько-нибудь серьезное значение? Кто, кроме тебя, Мэб и мамы (а ей, может быть, и не стоит читать книги), знает достаточно об этом или интересуется нами настолько, чтобы... удивляться, зачем я избрал подобную тему для романа? Кто (кроме «форсайтов», а к ним я сейчас перейду) знает ситуацию настолько, чтобы сказать А. с И., тем более что я изменил цвет ее волос, сделал их золотистыми? Конечно, «форсайты», да с полдюжины других незначительных лиц, возможно, и скажут: «Как это плохо, что роман основан на сходном событии», или воскликнут: «Ах, какой дурной вкус!» Но возьми Конрадов, Гарнеттов, Хьюферов, которые тоже прочли книгу. Для них это абсолютно безразлично, и роман им кажется интересным потому, что они считают его моим лучшим произведением.

Что касается «форсайтов», то не имеют никакого значения параллели, проводимые ими между А. и И. (кстати, они во многом разные), мной и... кем-то еще... При известных обстоятельствах уже не испытываешь желания знать, кого с кем они связывают. Надоели они мне».

Обращают на себя внимание слова Голсуорси о том, что Ада и Ирэн «во многом разные». В женщине с римским профилем, с узкой полоской губ, иногда тронутой чуть заметной улыбкой, можно и не узнать той, чей образ стал для миллионов, прочитавших «Человека-собственника», символом страдающей красоты. Впрочем, портретов Ады Голсуорси существует множество: Ада на лошади, Ада, кормящая кошку, Ада в охотничьем костюме (сапоги, бриджи).

Одна из ее приятельниц как-то призналась, что в жизни не видела более «мускулистой женщины». Ада много ездила верхом, иногда садясь на лошадь по-мужски, хорошо играла в крикет и просто отлично, получше, чем многие мужчины, — в бильярд, метко стреляла с короткой дистанции.

Что в этой женщине общего с титиановой «Любовью небесной», которую так напоминает «молодому» Джолиону нерешительная, пассивная Ирэн? Но вот еще один портрет Ады — в свободном белом платье с темной каймой. Она сидит в кресле, стилизованном под трон владыки, каким он, по преданию, был у древних инков. Пышные волосы «шлемом», большие, темные, печальные глаза. Прямая, изящная, она

едва касается головой эллипсоидной спинки кресла, изображающей солнце, — портрет сделан во время первого путешествия супругов Голсуорси в Америку. Пожалуй, именно этой Аде обязана своим рождением излюбленная героиня романов Голсуорси. Как бы ее ни звали — Ирэн, Одри, «беглянка» Клер, «маленькая натурщица» или миссис Мигэн, она прежде всего — идеал прекрасной роковой женщины. Чувство, внушаемое ею, чем-то напоминает «тристано-изольдовскую» страсть, рожденную приворотным зельем. Героиня, словноотягощенная бременем своей привлекательности, вызывает любовь нерассуждающую и очень земную. На этот счет Голсуорси не оставляет никаких сомнений. Один из его корреспондентов очень удивил писателя, решив, что Голсуорси неодобрительно относится к чувственной стороне любви (в пример приводилось отвращение Ирэн к Сомсу). «Меня скорее можно упрекнуть в обратном, — ответил Голсуорси, — надо уметь отличать проявление взаимного чувства от того, которое удовлетворяется вопреки желанию другого. Это не одно и то же. С годами, пройдя через некоторые испытания, вы узнаете, что большинство женщин, созданных для любви, гораздо менее других приспособлены терпеть подобное посягательство на чувственную сторону их природы, ибо с этим связано для них сильнейшее ощущение духовной деградации...»

Дух и тело для Голсуорси нераздельны. Своих любимейших героев он награждает даром «поэтической, сублимированной страсти. Он возводит любовь-страсть в ранг самого возвышенного, самого человеческого и гуманного чувства. «Только лишь тело немного стоит. Этого для любви мало, — пишет он критику Эдуарду Гарнетту, прочитав роман Д. Лоуренса «Сыновья и любовники». — И чем Лоуренс это скорее поймет, тем лучше. Писатели, именами которых мы клянемся, — Толстой, Тургенев, Чехов, Мопассан, Флобер, Франс — знали эту великую истину, они использовали тело, и весьма бережно, чтобы обнажить душу...»

Голсуорси всегда отрицательно относился к «натуралистическим», «зоологическим» и «социологическим» теориям в отношении женщины. И в этом тоже сказывалось влияние Ады. Ей крайне, например, была несимпатична героиня уэллсовского романа «Тона-Бенге», — «гвоздь, на который навешивают разные идеи», говорила она. Ничто не могло быть даль-

ше от романтического образа женщины, которая для самого Голсуорси была реальной и близкой: вот она негромко играет на фортепьяно в серебристой, с сиренево-сумеречными тенями комнате, играет много, щедро, с радостью, повинаясь настойчивой просьбе «Ада, еще!». И все-таки любимейший женский образ Голсуорси в годы создания «Саги» и «Современной комедии», Ирэн, тоже в какой-то мере (пусть уж Ада не сердится) оказался тем самым «гвоздиком», на котором «висит» довольно определенная идея. Сам Голсуорси определил основной замысел «Саги» как «попытку передать беспощадную власть, которую красота имеет над жизнью мужчины». Образ Ирэн, реализуемый через восприятие других персонажей, и есть воплощение разрушительной (disturbing) силы, вступившей в единоборство с миром собственников. В первой части «Саги» красота разрушает клетку, построенную эгоизмом человека-собственника, для которого прекрасное — меновая стоимость. Сомс дает деньги — получает красоту. Здесь симпатии читателя всецело на ее стороне. Но образ Ирэн не был самым удачным творением писателя. Он ему удался гораздо меньше, чем образ другой героини «Саги», Флер. (В письме к Андре Швейриону он признавал: «Чувствую, с Флер я не справился».) Правильнее было бы сказать: и та и другая вырвались из-под власти своего творца, созданные им образы вступают в известное противоречие с замыслом писателя.

Тут интересно выслушать мнение современной английской писательницы Памелы Х. Джонсон, которая в юбилейной статье, посвященной столетней годовщине со дня рождения Голсуорси, порицает его за слепую привязанность к Ирэн и несправедливость к Флер. П. Х. Джонсон адресует Ирэн обвинение в «необыкновенном эгоизме», который разрушает любовь ее сына и дочери Сомса. Под ферулой своей прекрасной маменьки с волосами «цвета увядших листьев», юный Джон, этот неудавшийся Ромео, находит в себе силы предать свою Джульетту — Флер, — иронизирует она. П. Х. Джонсон делает интересное сравнение:

«Я склонна думать, что в «Человеке-собственнике» воспроизведена ситуация «Анны Карениной». Каренин — это Сомс, Анна — Ирэн, Вронский — Босини, Джун — Китти... Анна — Ирэн чувствует непреодолимое отвращение к Каренину — Сомсу... Но Анна мы можем симпатизиро-

вать, можем найти в ней что-то близкое нам. Это невозможно по отношению к Ирэн, потому что Анна не только страдает, чего нельзя сказать об Ирэн, мы видим, как она страдает. Имеет значение и то обстоятельство, что Анна пытается быть доброй с Карениным, и если ей это не удается, то она хоть пытается...»

1914 год положил конец мирной упорядоченной жизни эдвардианской Англии. Ворвалась война и в затишье Уингстоуна.

В ноябре 1916 года Джон и Ада Голсуорси уезжают во Францию. Несколько месяцев он работает в военном госпитале массажистом, она — кастеляншей. Они, впрочем, не позволяют овладеть собой шовинистическому угару. «Помните, что вы прежде всего поэт», — пишет Ада Ральфу Моттрэму — солдату и советует ему не увлекаться «духом томизма» — верноподданнического, жертвенного солдафонства.

Больше в Уингстоун они не вернулись. Ада — Ирэн страдала ревматизмом, обострившимся в дартмурских болотах.

Фамильный особняк Голсуорси еще в годы войны отдал под клуб для раненых.

«Сага о Форсайтах», опубликованная в 1922 году, была дописана в Гроув Лодж, который супруги Голсуорси делают своим лондонским домом после войны.

В Национальной галерее висит картина Констэбла, на ней изображен Гроув Лодж. Дом когда-то принадлежал художнику. Голсуорси он достался в значительно измененном и модернизированном виде.

Северная дверь из холла вела в небольшую комнату — кабинет писателя. На книжных полках бесчисленные авторские экземпляры его произведений, переведенных на многие языки.

Во второе свое путешествие по Америке Джон Голсуорси отправляется как знаменитый «представитель английской литературы», автор многочисленных романов, пьес, критических эссе, Ада — в качестве его «скромного секретаря». Вернувшись из Нового Света, они все больше времени стараются проводить в своем загородном поместье Бэри. Связи с внешним миром, конечно, не порываются. Голсуорси читает лекции о литературе, он неустанно работает, председательствует на международных конгрессах Пен-клуба. Стараясь избежать английских туманов, зимы они проводят в Северной Африке, Европе. К сожалению, в Италию уже нельзя ехать столь беззаботно, как прежде.

«Не так давно, — жалуется Ада в одном из писем, — существовала опасность подвергнуться нападению разбойников. Теперь их место заняли фашисты. С ними встречи не избежать. Узнать их можно по черным рубашкам. Не называясь разбойниками, они крадут людей, стреляют, режут, бьют из-за угла и так далее... Д. Г., — переходит она к литературным новостям, — только что закончил вчерне роман, который, как мне кажется, написан довольно гладко...»

Это была «Лебединая песня» — последняя часть «Современной комедии». «Мир зиждется на иронии», — думает Майкл Монт, возвращаясь с похорон Сомса: чело- века-собственника убивает единственное бескорыстное и неэгоистическое чувство, испытанное им за всю жизнь, — любовь к дочери.

Последние пять лет жизни Д. Голсуорси — это по-прежнему труд: за несколько месяцев до смерти он заканчивает трилогию «Конец главы» — мировая известность, почести и слава.

В 1929 году английский король награждает его «Орденом заслуг». В 1932 году Голсуорси присуждают Нобелевскую премию.

Он написал традиционную речь лауреата, он готовится к поездке в Стокгольм, но путешествие не состоялось. В декабре он уже не покидает постели. Болезнь прогрессирует быстро. В середине января его племянник записывает в дневнике: «Перо, чернила, листок бумаги, укромный уголок и — солнце! Сознание, что Она где-нибудь рядом; этого было ему достаточно всю жизнь... Теперь солнце померкло. С нею он не мог говорить — язык ему не повиновался... Тонкая рука, изможденная, дрожащая, ужасающая в своем бестелесном упорстве, поднялась с одеяла и дотронулась до ее лица. Медленно, очень медленно исхудавшие пальцы сжали ее подбородок... и когда рука опять упала — сознание покинуло его навсегда». 31 января 1933 года Голсуорси не стало.

«Мой самый дорогой человек умер сегодня утром в 9.15. Причина смерти — кровоизлияние в мозг, артериосклероз, больные зубы и все, что может подточить телесные и душевные силы лучшего и достойнейшего из людей».

Та, кому принадлежат эти строки, пережила Голсуорси на 23 года. Одинокая, ослепшая и почти всеми забытая, Ада — Ирэн умерла 29 мая 1956 года в возрасте девяноста с лишним лет.

Ф. Зинько

(Одесса)

«Просвещеннейший капитан»

В мае 1917 года Одесса была разбужена ревом пароходных сирен. Вскоре к ним присоединились гудки заводов. Трижды ударили залпы артиллерийского салюта. Десятки тысяч людей потянулись в порт, неся знамена и транспаранты. В гавань вошел пароход с приспущенным флагом. С него на руках сняли четыре увитых кумачом гроба и вынесли их на берег. Многотысячная траурная процессия, которая прошла по улицам города и вернулась в порт, продолжалась четыре часа. Потом гробы снова были водружены на пароход, и он под вой сирен ушел в Севастополь.

Так моряки, портовики, рабочие Одессы отдали последний долг героям восстания на крейсере «Очаков» — лейтенанту Шмидту, матросам Частнику, Антоненко, Гладкову, расстрелянным царскими палачами 6 марта 1906 года.

Лейтенант Шмидт — одна из самых ярких фигур первой русской революции — широко известен как военный моряк. А между тем он долго служил в русском торговом флоте. Произведенный в офицеры, он не остался на военной службе, а перешел по вольному найму в торговый флот. Сам Шмидт считал, что он «входит таким образом в ряды пролетариата, жил и живет интересами рабочего сословия»¹.

Петр Петрович Шмидт родился 5 февраля 1867 года в Одессе, в морской семье. Отец его в дни первой Севастопольской обороны командовал батареей на Малаховом кургане. Впоследствии он дослужился до чина вице-адмирала и умер градо-на-

¹ «Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы», 1922 г.



Лейтенант Шмидт в 1901 г

чальником Бердянска. Мать Шмидта происходила из князей Сквирских, чужь ли не гедиминовского рода — обедневшей ветви древних польских королей и литовских великих князей.

29 сентября 1886 года окончивший Петербургский морской корпус Петр Шмидт был произведен в мичманы.

Сперва он плавал в качестве второго, а затем старшего помощника капитана на судах Добровольного флота, в частности, на «Костроме», а впоследствии перешел на службу в РОПИТ (Русское общество пароходства и торговли). В газете «Одесские новости» от 6 ноября 1905 года, то есть вскоре после первого ареста Шмидта, помещена заметка без подписи — «Лейтенант — борец за свободу»:

«Среди своих товарищей и сослуживцев П. П. Шмидт всегда выделялся как чрезвычайно просвещенный и выдающегося ума человек, обаяние которого было неотразимым. Честная, открытая и добродушная натура этого моряка привлекала к нему симпатии всех, кто приходил с ним в близкое соприкосновение. На тех судах, где служил Шмидт, не только все члены кают-компании относились к нему с какой-то нежной, родственной любовью, но и низший персонал команды смотрел на него, как на старшего своего товарища. С глубокой грустью Петр Петрович всегда говорил в кругу друзей о проявлениях бюрократического произвола, и от всех его речей веяло ненасытной жаждой свободы, не личной, конечно, а общей, для всего русского населения, гражданской свободы. Дума этого человека была переполнена верой в близость свободы, верой в силу передовой русской интеллигенции».

А вот воспоминание плававшего вместе со Шмидтом Карнаухова-Краухова, который впоследствии был одним из организаторов восстания на крейсере «Очаков» и прошел все этапы каторжного ада. Краухов плавал на ропитовском грузо-пассажирском пароходе «Игорь» в качестве ученика штурмана, когда капитаном был П. П. Шмидт. «Команда «Игоря», писал Краухов, любила своего грозного и справедливового командира, безусловно подчинялась его распоряжениям и даже угадывала его жесты и движения». С глубоким уважением, вспоминает Краухов, относился Шмидт к матросам. «Мордошлепам» у меня места нет! — говорил он. — Я от них ушел с военной службы. Здесь только свободный матрос — гражданин, строго под-

чиняющийся своим обязанностям во время службы».

Шмидт много внимания уделял образованию команды. «Штурманам было распоряжение заниматься с матросами в специально назначенное для этого время. Для занятий приобретались учебники и учебные принадлежности за счет парохода. Сам же «учитель Петро», как мы называли Шмидта, садился на шканцах среди команды и много рассказывал».

Много требуя от подчиненных, П. П. Шмидт свято выполнял свои обязанности капитана. «Были и такие денечки, — пишет Краухов, — когда Шмидт не сходил с мостика по 30 часов. Это был моряк, до мозга костей влюбленный в море, знающий себе цену, отлично понимавший морскую службу»².

«Да будет Вам известно, — писал Шмидт 2 ноября 1905 года Зинаиде Ризберг, — что я пользуюсь репутацией лучшего капитана и опытного моряка»³. И немного позднее снова: «Если бы ты немного побывала в Одессе, которая наполнена моряками, которые служили со мной и зависели от меня, то, я знаю, они бы тебе хорошо отозвались обо мне»⁴. И это не было бахвальством в устах человека, которого через два месяца царская юстиция приговорила к виселице.

Когда в 1889 году адмирал С. О. Макаров задумал пробиться на вновь построенном «Ермаке» к Северному полюсу, одним из первых он пригласил с собой лейтенанта Шмидта. Взаимное уважение и дружба соединяли этих разных людей.

В том же году в Ниле был спущен на воду пароход «Диана», заказанный РОПИТОм. 8 тысяч тонн водоизмещения, 1800 сил в машине и 8,5-узловый ход — по тем временам это было внушительное океанское судно. Капитаном «Дианы» был назначен Петр Петрович Шмидт, вернувшийся из полярного плавания.

«...Очень мало прикасался к земле, — писал он о последующих годах Зинаиде Ризберг, — так как, например, последние десять лет плавал только на океанских линиях и в году набиралось не больше 60 дней стоянки в разных портах урывками, а остальное время обретался между небом и океанами»⁵.

«...Если бы вы знали, какой каторжный физический труд представляет из себя служба на коммерческом флоте... Если мне дадут временно пароход Черноморский, то это вот такая работа. Я ухожу из

Одессы по портам Крыма и Кавказа и обратно возвращаюсь через 11 дней. За эти 11 дней при тяжелых зимних погодах и штормах я должен посетить 42 города, в каждом из них сдать и принять груз и пассажира. Придя в Одессу, я принимаю ванну, потому что в море почти невозможно это, и погружаюсь в летаргический сон в первый день, на второй день я уже принимаю груз, вожусь с формальностями и документами и к вечеру уже ухожу опять на 11 дней по тем же портам. В такой головокружительной гонке и вечно напряженном внимании, отвечая за сотни пассажирских жизней, находишься все время»⁶.

В газете «Одесские новости» от 20 ноября 1905 года были напечатаны воспоминания о Шмидте, подписанные «Моряк».

«Пишущий эти строки плавал помощником П. П. Шмидта, когда он командовал «Дианой». Не говоря о том, что мы все, его сослуживцы, глубоко уважали и любили этого человека, мы смотрели на него, как на учителя морского дела. Просвещеннейший человек, Петр Петрович был просвещеннейшим капитаном. Он пользовался всеми новейшими приемами в навигации и астрономии, и плавать под его командованием — это была незаменимая школа, тем более, что Петр Петрович всегда, не жалея времени и сил, учил всех как товарищ и друг. Один из его помощников, долго плававший с другими капитанами и назначенный затем на «Диану», сделав один рейс с Петром Петровичем, сказал: «Он открыл мне глаза на море!»

В конце ноября 1903 года «Диана» шла из Риги в Одессу. Двое суток не утихал шторм, и двое суток капитан не покидал мостика. Лишь когда погода немного улучшилась, Шмидт ушел к себе и уснул.

«Не прошло и двух часов, — пишет «Моряк», — как погода изменилась, нашел туман. Помощник, стоявший на вахте, по непростительной небрежности не сообщил об этом капитану и не разбудил его, и «Диана» налетела на подводную грядку

² Карнаухов - Краухов. Красный лейтенант, 1926 г.

³ «Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы», 1922 г.

⁴ Там же.

⁵ «Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы», 1922 г.

⁶ Там же.



П. П. Шмидт
в капитанском
салоне парохода
«Диана»

камней, как потом выяснилось у острова Мен. Страшный удар о камни, треск всего корпуса парохода заставил выбежать на палубу весь экипаж. Темнота ночи, шторм, жестокие удары о камни, неизвестность — все это вызвало панику, команда шумела, начался беспорядок.

И вот раздался тихий, но какой-то необыкновенно твердый и спокойный голос Петра Петровича. Этот голос призвал всех к спокойствию. Это была сила влияния необыкновенная. Не прошло минуты, как все были спокойны, все почувствовали, что у них есть капитан, которому они смело вручают свои жизни. Эта спокойная отвага Петра Петровича не оставляла его все дни аварии, и он спас «Диану».

Радио в те поры еще не пришло на флот. Первая радиостанция на русском торговом судне «Россия» была установлена только через пять лет. Поэтому потерпевшие аварию не имели возможности сообщить о своем бедственном положении. А заметили их лишь через несколько дней, когда стих шторм.

«На третий день пароход был в положении опасном, и Петр Петрович приказал команде и помощникам садиться на

шлюпки и выбрасываться на берег о. Мен. Он сам спокойно распоряжался каждой шлюпкой, заботливо относясь не только к людям, но и каждому матросскому узелку вещей, но и передал нам свое спокойствие, и мы все благополучно выбрались на берег в бурунах.

Когда все мы сели в шлюпки, то обратились к нему, чтобы и он сядил. Он грустно посмотрел на нас и со своей доброй улыбкой сказал:

— Я остаюсь, я не покину «Диану» до конца.

Мы все, едва удерживая слезы, уговаривали его, но он остался при своем решении. Тогда мы сами пожелали остаться с ним, но он разрешил это только четырем из нас, находя, что эти люди могут понадобиться ему для сигнализации и сообщения со спасательными пароходами, если бы таковые пришли.

16 суток пробыл Шмидт на гибнущем судне, до тех пор, пока 14 декабря его не сняли окончательно с камней.

«После аварии, — продолжает свой рассказ «Моряк», — мы были озлоблены все на помощника, который был виновником несчастья. Он же, Петр Петрович, не про-

изнес ни одного слова упрека и потом в своих донесениях к директору РОПИТа старался всеми способами снять вину с помощника и принять ее на себя.

— Я капитан, — говорил он, — значит, я один и виноват.

Недаром так сильно было влияние этой безукоризненной личности на всех, кто соприкасался с ним...

Недавно в «Неделе» опубликовано письмо Шмидта сыну, написанное из Килия, где ремонтировалась «Диана»:

«Очень большая работа должна быть окончена, и только тогда я могу просить отпустить меня вследствие расстроенного здоровья, да и то еще не знаю, как пойдет ремонт парохода и не потребует ли он тоже моего присутствия. Надо, сыночка, смотреть на вещи по-мужски и не допускать в душе слабостей; если пароход под моим командованием потерпел такую жестокую аварию, то мой долг не избегать всей работы для приведения дела в порядок. Я хочу, чтобы «Диана» после несчастья и починки была бы лучше и крепче, чем раньше, а для этого нужен мой хозяйский глаз: если я не буду больше на ней плавать, то пусть она плавает еще долго и благополучно без меня вполне исправная. Кончу все, тогда отдохну дома с чистой совестью, а не как белгий лентяй».

В начале русско-японской войны Шмидт был призван на военный флот и назначен старшим офицером большого угольного транспорта «Иртыш», который должен был сопровождать эскадру адмирала Рождественского, направлявшуюся на Дальний Восток с Балтики. После погрузки угля транспорту приказали идти в Ревель на императорский смотр. Предоставим слово еще одному очевидцу.

«Из канала в другой канал «Иртыш» выводили два буксирных катера. Нужно было сделать крутой поворот. Стали разворачиваться, но вследствие ветра развернулись неудачно. Буксир вытянулся и закрипел. Вдруг раздается оглушительный выстрел, как из пушки, буксир лопается, и транспорт полным ходом идет к берегу. Катастрофа была бы неминуемой, если бы ее не предупредил старший офицер. Не потеряв присутствия духа, лейтенант Шмидт перевел обе ручки машинного телеграфа, и обе машины заработали полный ход назад. Старший офицер командовал, как всегда, красиво, отдавая приказание спокойным, звучным голосом. «Командоры, к канату! — загремел металлический голос. — Оба якоря к отдаче из-

готовить. Из правой бухты вон! Отдать якоря!» Якорь полетел в воду. «Канат травить до пяти сажень». Командоры только что успели застопорить канат, как с мостика раздалась команда: «Из левой бухты вон! Отдать якоря!» Полетел в воду и другой якорь. «Канат травить до пяти сажень. Как на лоте?» — справился старший офицер у лотового. «Остановился», — ответил лотовой. Не прошло и минуты, как лотовой закричал: «Назад пошел!» Старший офицер быстро перевел телеграф на «стоп», и катастрофа миновала. Командир, все время стоявший на мостике неподвижно, как изваяние, наконец, сообразил, какой опасности подвергался транспорт. Взволнованный, он подошел к старшему офицеру и молча пожал ему руку.

...Буксирами командовал зав. гаванями. Когда катастрофа миновала, он снова вступил в командование. Старший офицер подошел к нему: «Уходите, я без вас лучше бы управлялся... «А кто дал бы вам катера?» — спросил его заведующий. «Я и без ваших катеров под своими парами управлялся бы... Уходите с мостика!» Заведующий с обиженным видом сошел с мостика. «Я отправлю рапорт адмиралу, — бросил он старшему офицеру. — Вы не имеете права оскорблять меня»⁷.

Рождественский, не разобравшись, посадил Шмидта на 15 суток в каюту под ружье.

Но Шмидту не суждено было пережить позор Цусимы. В Порт-Саиде он заболел и вынужден был вернуться в Россию. Когда Шмидт сел в катер, чтобы покинуть корабль, вся команда — две с лишним сотни матросов — выбежала на ванты и грянула ему от всей души «Ура!».

Не удивительно, что в среде морских офицеров Шмидт пользовался репутацией вольнодумца, «розового». Когда на мачте «Потемкина» взвился красный флаг революции, по Севастополю полоз слух, что восставшим броненосцем командует лейтенант Шмидт. А Шмидт в это время прозябал в Измаиле на миноносце № 253.

После знаменитой речи на кладбище, когда Шмидт сидел уже под арестом на броненосце «Три святителя», рабочие Севастополя избрали его пожизненным депутатом Совета.

«Я — пожизненный депутат сева-стопольских рабочих. Понимаете ли, сколько счастливой гордости у меня от этого за-

⁷ Из дневника матроса-цусимца. «Современник», № 9, 1913 г.

ния. «Пожизненный». Этим они хотели, значит, меня выделить из своих депутатов, подчеркнуть мне свое доверие на всю мою жизнь. Показать мне, что они знают, что я всю жизнь положу за интересы рабочих и никогда им не изменю до гроба...

Я должен это ценить вдвое, потому что может быть более чуждым, как офицер для рабочих? А они сумели своими чуткими душами снять с меня ненавистную мне офицерскую оболочку и признать во мне их товарища, друга и носителя их нужд на всю жизнь. Не знаю, есть ли еще кто-нибудь с таким званием, но мне кажется, что выше этого звания нет на свете. Меня преступное правительство может лишить всего, всех их глухих ярлыков: дворянства, чинов, состояния, но не во власти правительства лишить меня моего единственного звания отныне: пожизненный депутат рабочих»⁸.

Шмидт называл себя «социалистом вне партии». Единственное его «революционное» деяние до 1905 года — переписка для гектографа «Исторических писем» Лаврова. Но в то же время Шмидт «с юных лет интересовался общественными науками, которых требовало оскорбленное чувство правды и справедливости»⁹. Он обладал безбрежным, как океан, энтузиазмом, кристальной чистотой души. Шмидт был весь соткан из гуманности.

И вот этот человек волею судьбы и своей любви к свободе вынужден был стать вождем восставших матросов «Очакова». Шмидт не был организатором восстания, он не был даже его сторонником. Он поехал на «Очаков» только по настоятельной просьбе матросов. Экзальтированный, пораженный величием открывающихся перед ним целей, Шмидт не столько руководил событиями, сколько вдохновлялся ими. И вот уже отправлена в Петербург телеграмма царю, подписанная «Командующий Черноморским флотом граждан Шмидт». И на стеньге «Очакова» поднят сигнал: «Командую флотом. Шмидт». И он ждет, что вся эскадра немедленно выбросит красные флаги, арестует офицеров во главе с ненавистным адмиралом Чухниным и присоединится к «Очакову». А эскадра зловец молчала...

Потом каземат, суд.

Было время обдумать все происходящее, покаяться, попросить прощения и тем вымолить себе жизнь. Но тут Шмидт непоколебим: «Лучше погибнуть, чем изменить долгу»¹⁰, — пишет он в завещании сыну.

«...Тверда моя вера, что в России социалистический строй уже не за горами, и может быть, мы еще доживем до всех признаков переворота, последнего переворота, после которого человечество выйдет на путь бесконечного мирного совершенства, свободы, благосостояния, счастья и любви! Да здравствует же грядущая молодая, счастливая, свободная, социалистическая Россия!»¹¹.

«Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, — бросил Шмидт в лицо судьям, — будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины... Не гражданин Шмидт, не кучка восставших матросов перед вами, а стомиллионная Россия, и ей вы выносите свой приговор»¹².

На рассвете 6 марта 1906 года грянули вятковочные залпы на острове Березань. Был приведен в исполнение приговор над лейтенантом Петром Шмидтом, кондуктором Сергеем Частником, комендором Николаем Антоенко и машинистом Александром Гладковым. Стреляли 48 молодых матросов с канонерской лодки «Терец». Сзади них стояли солдаты, готовые стрелять в матросов. А на солдат были навешены орудия «Терца». Даже осужденных, связанных, поставленных под дула винтовок, боялось царское правительство Шмидта и его товарищей.

Сегодня имя лейтенанта Шмидта стало символом беззаветного стремления к свободе, символом подвига русской интеллигенции. В. И. Ленин высоко оценил значение восстания на «Очакове». 14 ноября 1905 года он писал: «Восстание в Севастополе все разрастается... Командование «Очаковым» принял лейтенант в отставке Шмидт... севастопольские события знаменуют полный крах старого, рабского порядка в войсках, того порядка, который превращал солдат в вооруженные машины, делал их орудиями подавления малейших стремлений к свободе»¹³.

⁸ Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы», 1922 г.

⁹ Там же.

¹⁰ Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы», 1922 г.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 111.

В. Новиков

Разоблачение провокатора

В начале 1900 года после трех лет сибирской ссылки В. И. Ленин поселился в Пскове. На короткое время этот небольшой старинный город стал центром деятельности русской социал-демократии. Сюда, к Владимиру Ильичу, приезжали многие единомышленники-революционеры. Здесь состоялось историческое «Псковское совещание», на котором был решен вопрос об издании «Искры».

Царская охранка хорошо понимала, какую роль в революционном движении играет Ленин, и невидимые тени агентов полиции неотступно следовали за Ильичем. В Петербургском охранном отделении появились сведения, полученные «из агентурного источника, заслуживающего доверия и внимания». Ссылаясь на этот источник, полковник Пирамидов доносил по начальству, что главное руководство делами «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», по крайней мере его Петербургского отдела, ныне сосредоточилось в руках трех, хорошо известных департаменту полиции лиц, проживающих в городе Пскове: В. И. Ленина, А. Н. Потресова, Н. Н. Лохова.

«Эти лица, — писал Пирамидов, — выработывают, а может быть уже выработали, текст прокламации, предназначенной к предстоящему 1 мая и заказанной к отпечатанию за границей, или в редакции «Рабочей мысли», или в редакции «Рабочего дела». В Пскове этими же лицами устраиваются будто бы собрания, на которых читаются рефераты о марксизме и новом его оппоненте Бернштейне. На собраниях этих участвуют как местные, так равно и приезжие из С.-Петербурга; через

последних осуществляется и руководство «Союза» на петербургских фабриках»¹.

Требовалось проверить агентурные сведения и получить улики, необходимые для ареста. С этой целью Пирамидов намеревается послать в Псков провокатора.

«По имеющимся сведениям, — продолжает Пирамидов, — в Пскове должен в настоящее время проживать бывший ссыльный Николаев², до последнего времени состоявший в переписке с одним из моих сотрудников. Исходя из мысли, что Николаев, наверное, имеет общение с вышеупомянутыми тремя лицами, я предполагаю устроить свидание с ним моего сотрудника, в целях разведать о деятельности и образе жизни в городе Пскове Лохова, Потресова и Ульянова»³.

Теперь известно, что секретным агентом Пирамидова был петербургский журналист Панкратьев. О его неудачной поездке в Псков рассказал уже после революции бывший земский статистик князь В. А. Оболенский, предоставлявший в начале века свою квартиру для встреч псковской интеллигенции⁴.

«Один из моих революционных званых вечеров, — вспоминал Оболенский, — сохранился в моей памяти вот по какому поводу: в Псковском статистическом бюро работал недавно вернувшийся из ссылки бывший народоволец Николаев. Рассказывая мне однажды историю своего ареста и ссылки, он, между прочим, упоминал о том, что на допросе обнаружилась изумительная осведомленность жандармов о некоем факте, который был известен лишь ему и его близкому другу. Так ему и не удалось установить, откуда жандармы узнали об этом факте.

¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР СССР). ф. ДП 00, оп. 1898, ед. хр. 5, ч. 45, т. 3, лл. 25—25 об.

² Николаев Александр Андреевич — народоволец, по окончании Вологодской ссылки жил под негласным надзором полиции в Пскове, работал земским статистиком.

³ ЦГАОР, ф. ДП 00, оп. 1898, ед. хр. 5, ч. 45, т. 3, лл. 25—25 об.

⁴ В. А. Оболенский в период пребывания в Пскове поддерживал связь с местными социал-демократами. По сведениям департамента полиции, «ни в чем предосудительном замечен не был, кроме близких сношений с местными поднадзорными» (ЦГАОР, ф. 102, оп. 94, ед. хр. 967, л. 62). Позднее примкнул к партии кадетов. После революции эмигрировал за границу.

Как-то раз Николаев, которого я позвал к себе на вечер с Лениным, Лоховым и другими постоянными участниками наших собраний, просил у меня разрешения привести ко мне гостящего у него приятеля — петербургского журналиста Панкратова⁵. Зная, что разговоры у меня бывают довольно неблагонадежные, он счел нужным удостовериться, что ручается за Панкратова, как за самого себя. Я не возражал, и вечером Панкратов сидел рядом с Лениным за чайным столом.

Своим видом и манерой держать себя Панкратов произвел на всех отталкивающее впечатление и, как он ни старался завязать общий разговор, беседа не клеилась. Все как-то замкнулось, говорили о пустяках и, проскував часа два, рано разошлись по домам.

Через год в Петербурге в камере мирового судьи разбиралось дело об оскорблении присяжным поверенным Вржосеком журналиста Панкратова, которого он публично назвал провокатором. Вржосек был оправдан, предъявив судье неопровержимые доказательства правильности своего обвинения, а Панкратов после этого уже открыто служил в охранном отделении⁶. Я уехал из Пскова и никогда больше не встречался с Николаевым, а поэтому не мог от него узнать, не Панкратов ли был тем единственным его другом, который знал в дни его ареста о таинственном факте, ставшем известным жандармам.

А теперь мне приходят в голову такие странные мысли. Если бы тогда в моей столовой присутствие Панкратова не сковало бы наши языки и он сумел бы вкратце в доверие к Ленину, Ленин вероятно был бы снова арестован...⁷

Провокаторская деятельность Панкратьева стала известна революционерам еще до его столкновения с Вржосеком. В ноябре 1901 года «Искра» поместила на своих страницах специальное предостережение:

«Существует в Петербурге литератор Петр Эммануилович Панкратьев, сотрудник «Права», «Сев. Курьера», «Петербургских Ведомостей», «Жизни» и других органов и бывший член В[ольного] — Э[кономического] Общ[ества]. Оказывается, что, сверх того, он еще является членом... департамента полиции. Об этом свидетельствует следующий перехваченный кое-кем подлинный документ:

«Его Высокоородию, г. Начальнику отделения по охране общественной безопасности и порядка.

Агента 1-й степени Петра Эммануиловича Панкратьева

Рапорт:

Сим честь имею довести до сведения Вашего Высокоородия, что, согласно распоряжению Начальника Деп. Полиции, я прибыл 10 июня в Одессу.

П. Панкратьев»⁸

Спустя некоторое время предостережение распространялось и отдельной листовкой. В апреле 1902 года у одного из арестованных в Туле было найдено два экземпляра печатного листка, который начинался словами: «Товарищи, нам удалось получить документ, ясно характеризующий Петра Эммануиловича Панкратьева как агента департамента полиции...» и предостерегал товарищей от ведения каких бы то ни было дел с этим человеком⁹.

Борьба со шпионами и провокаторами всегда была важнейшей задачей комитетов РСДРП. Владимир Ильич в «Письме к товарищу о наших организационных задачах» специально подчеркивал, что для борьбы с провокаторами надо привлекать лучших революционеров, на заводах и фабриках он считал возможным даже создание «кружков для слежения за шпионами»¹⁰. «Мы должны внушать рабочим, — писал В. И. Ленин, — что убийство шпионов и провокаторов и предателей может быть, конечно, иногда безусловной необходи-

⁵ Мемуарист неточно называет фамилию провокатора. Подобная ошибка допускалась и ранее: в частных письмах, распространяемых в 1901 году за границей для оповещения революционеров о шпионстве Панкратьева, он также назывался Панкратовым. На эту досадную ошибку тогда же указывал журнал «Жизнь» (Лондон), в номере 1-м за 1902 г. (стр. 435—440).

⁶ Этот инцидент имел свои последствия. 18 апреля 1901 года Вржосек был арестован. В протоколе полицейского допроса приводится факт столкновения его с Панкратьевым. Говоря о причинах ареста, Вржосек заявил следователю, что исключительно обязан проискам означенного Панкратьева (ЦГАОП, ф. ДП, 7-е д-во, оп. 1901, ед. хр., 319, т. 1, лл. 42—46 об.).

⁷ «Последние новости» (Париж), 10 января 1928 года.

⁸ «Искра», 1901, № 11 от 20 ноября.

⁹ Центральный государственный архив Москвы, ф. 131, оп. 66, ед. хр. 164, т. 1, лл. 52 об. — 53.

¹⁰ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 7, стр. 11, 17.

мостью, но, что крайне нежелательно и ошибочно было бы возводить это в систему, что мы должны стремиться создать организацию, способную обезвреживать шпионов раскрытием и преследованием их. Перебить шпионов нельзя, а создать организацию, выслеживающую их и воспитывающую рабочую массу, можно и должно»¹¹.

Выдающийся пример ленинской тактики борьбы с провокацией показывала «Искра», систематически публиковавшая на своих страницах материалы, разоблачающие и обезвреживающие многочисленных шпионов и провокаторов.

¹¹ Там же, стр. 17.

Н. А. Троицкий

(Саратов)

Департамент полиции и мать Софьи Перовской

Мать Софьи Львовны Перовской Варвара Степановна Перовская (урожденная Веселовская) принадлежала к семье талантливой и влиятельной. Отец ее был полковником Александрийского гусарского полка, муж (отец Софьи Перовской) одно время (в 1865—1866 гг.) губернаторствовал в Петербурге, а старший брат — академик Константин Степанович Веселовский — пользовался европейской известностью как ученый-статистик: труды его ценили В. Г. Белинский и Карл Маркс¹.

Сама Варвара Степановна была человеком редкой нравственной красоты. В том, что двое (из четырех) детей Варвары Степановны — дочь Софья и сын Василий — стали революционерами, безусловно, сказались и влияние матери. Дети боготворили ее. Софья Перовская перед смертью писа-



В. С. Перовская

ла ей: «Я всегда от души сожалела, что не могу дойти до той нравственной высоты, на которой ты стоишь, но во всякие минуты колебания твой образ меня всегда поддерживал. В своей глубокой привязанности к тебе я не стану уверять, так как ты знаешь, что с самого детства ты была всегда моею самой постоянной и высокой любовью»².

Как только Софья Перовская была арестована (10 марта 1881 г.), «вице-император» М. Т. Лорис-Меликов вызвал Варвару Степановну к себе и от имени царя повелел ей употребить все ее влияние на дочь, чтобы та выдала всех своих соучастников. Варвара Степановна отказалась. «Дочь моя, — гордо заявила она Лорис-Меликову, — с раннего детства обнаружи-

¹ См.: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 12. М., 1956, стр. 408; Архив Маркса и Энгельса, т. XIII. М., 1955, стр. 58, 219—221.

² Елена Сегал, Софья Перовская. М., 1962, стр. 355.



Обложка дела департамента полиции «О жене Действ. ст. советника В. С. Перовской».

вала такую самостоятельность, что ее нельзя было заставить делать что-либо по приказанию, а только лаской и убеждением. В настоящее же время она уже в зрелом возрасте, вполне сложившихся взглядов, ясно понимала, конечно, что делала, и поэтому никакие просьбы не могут повлиять на нее»³.

После казни дочери (3 апреля 1881 г.) Варвара Степановна жила в Крыму, принимала в своем доме народовольцев (С. М. Гинсбург, А. В. Орочко и др.)⁴ и навлекла на себя подозрения жандармских властей, которые, судя по всему, не спускали глаз с матери «цареубийцы».

В бумагах департамента полиции за 1890 год сохранилось небольшое (всего 24 листа), но любопытное дело «О жене действительного статского советника Варваре Степановне Перовской»⁵. Открывается оно секретным телеграфным уведомлением вице-директора департамента полиции П. А. Сабурова начальнику Таврического

губернского жандармского управления от 2 января 1890 года: «Ввиду сведений, имеющихся в Д[епартамен]те о сомнительной политической благонадежности жены действительного ст[атского] сов[етника] Варвары Степановны Перовской, проживающей в имении Беловодской при деревне Бурлюк, и на основании Положения о негласном надзоре Департамент полиции имеет честь просить Вас, милостивый государь, учредить за означенной личностью негласный надзор». Далее следует бланк поднадзорного листа, в котором помечено, что негласный полицейский надзор за В. С. Перовской установлен в тот же день, 2 января 1890 года.

Варвара Степановна было тогда уже под 70 лет⁶. Старая и больная женщина ничем не угрожала существующему строю. Тем не менее, с 1890 по 1902 год, то есть на протяжении 12 лет, таврические жандармы тайно надзирали за ней и ежегодно по два раза в год присылали в департамент полиции «Сведения», с грифом «Совершенно секретно» и трафаретными отметками: «В политическом отношении ни в чем предосудительном не замечена», или: «Ведет себя хорошо».

Наконец 1 января 1903 года агент, представленный для наблюдения за В. С. Перовской, не стерпел и предположил трафарету «Сведений» красноречивое предисловие: «Имеет более 80 лет, глухая, почти слепая, ни в чем предосудительном замечена не была». Департамент полиции призадумался больше чем на два месяца, но в конце концов нашел разумное решение: «Согласно циркулярному распоряжению Департамента от 12 марта 1903 г. за № 4652 за Варварой Степановной Перовской негласный надзор прекращен».

Варвара Степановна ненадолго пережила освобождение от надзора. Она умерла в следующем, 1904 году.

³ В. Л. Перовский, Воспоминания о сестре. М. — Л., 1927, стр. 102—103.

⁴ Там же, стр. 110—111.

⁵ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 102, 3-е д-во, оп. 88, 1890, д. 1091.

⁶ Муж Варвары Степановны Лев Николаевич Перовский жил тогда отдельно от жены в Петербурге, где и умер 13 февраля 1890 г.

⁶ Родилась 20 ноября 1821 г.

Г. Ф. Коган

«В гостях у Достоевского»

Неизвестный рисунок
К. А. Трутовского¹

Многолетняя дружба связывала Ф. М. Достоевского и К. А. Трутовского. Они познакомились и подружились в дни своей юности в Петербурге в Главном военном инженерном училище.

Всегда замкнутый, сосредоточенный в себе, мало с кем сходящийся из товарищей, воспитанник выпускного класса Ф. М. Достоевский сразу же после первого знакомства стал защитником тринадцатилетнего новичка Трутовского от нападков «повелителей» старших классов. Но не только это сблизило их. В мрачных стенах училища с его суровой воинской дисциплиной будущего великого русского писателя и известного художника-жанриста, не чувствовавшего никакого призвания к военному делу, привязала друг к другу любовь к искусству и литературе.

Трутовский выделялся среди воспитанников училища своими художественными способностями. Достоевский заинтересовался юным художником. «Я помню, как ласково он разговаривал со мной и советовал заниматься побольше рисованием и чтением всего касающегося искусства»², — вспоминает Трутовский. «Ф. М. Достоевский дал сильный толчок моему развитию своими разговорами, руководя моим чтением и моими занятиями»³.

Не один Трутовский испытал на себе благотворное влияние Достоевского. «...Его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно»⁴, — вспоминает Д. В. Григорович о Достоевском в годы их пребывания в училище. Беседа Достоевского увлекала не только его сверстников, но и молодых воспитателей училища. Вокруг Достоевского образовался кружок, который

держался особо и сходилась, как только выпадала свободная минута. Друзья сходились или в классной комнате, или в комнате дежурного офицера, или в коридорах училища.

С Григоровичем и Трутовским встречи Достоевского не прекратились и тогда, когда Достоевский, перейдя в верхние офицерские классы, весной 1842 г. поселился на отдельной квартире в Графском переулке, близ Владимирской церкви. «Квартира его была во втором этаже и состояла из четырех комнат: просторной прихожей, зала и еще двух комнат; из них одну занимал Ф. М., а остальные были совсем без мебели»⁵, — вспоминает Трутовский.

На рисунке изображена комната Ф. М. Достоевского в этой квартире. «В узенькой комнате, в которой помещался, работал и спал Ф. М., был письменный стол, диван, служивший ему постелью, и несколько стульев. На столе, стульях и на полу лежали книги и исписанные листы бумаги»⁶. Здесь-то и встречались товарищи по училищу, и по-прежнему беседы Достоевского захватывали их.

«То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слышал, было для меня откровением»⁷, — рассказывает Григорович. Друзья по совету Достоевского читают Гюгана и Шекспира. Трутовский занимается французским языком, чтобы читать в подлинниках французских авторов. Достоевский сам снабжает своего юного товарища книгами и по-прежнему подолгу беседует с ним о литературе и искусстве, они читают друг другу наизусть

¹ Рисунок найден в черновиках воспоминаний К. А. Трутовского о Ф. М. Достоевском. Центральный Государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), фонд 890, оп. 1, ед. хр. 3, л. 14. Текст этих воспоминаний опубликован в «Русском обозрении», 1893, январь, стр. 212—217.

² «Воспоминания о Ф. М. Достоевском К. Трутовского 1886 года». В кн. Щукинский сборник, вып. 1. М., 1902, стр. 91.

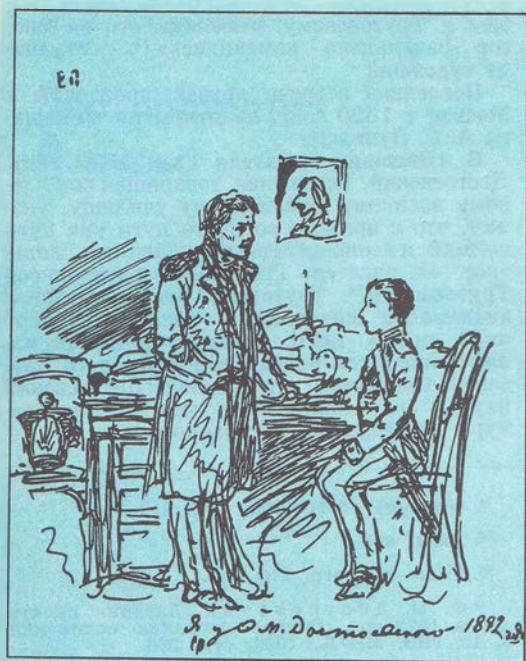
³ К. А. Трутовский, Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. «Русское обозрение», 1893, январь, стр. 215.

⁴ Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. Л., «Academia», 1928, стр. 140—141.

⁵ «Русское обозрение», 1902, январь, стр. 214.

⁶ Там же.

⁷ Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. Л., «Academia», 1928, стр. 55.



Не случайно на этом, затерявшемся среди черновиков воспоминаний Трутовского о Достоевском рисунке художник помещает в рабочей комнате писателя портрет Гоголя. Было ли так в действительности? Ведь рисунок сделан не с натуры, а по памяти, много лет спустя — в 1880-е годы. Но память о беседах с Достоевским о Гоголе столь велика, что художник не мог не поместить в своем рисунке эту значительную для их юности деталь.

Стол, заваленный бумагами, — так всегда было во всех рабочих кабинетах Достоевского. Здесь, в первой своей рабочей комнате, Достоевский сделал первый в России русский перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Трутовский в этой комнате часто на клочках бумаги простым карандашом набрасывал различные эскизы.

В 1844 году на этой квартире вместе с нелюбимым и затворником Достоевским поселился светский, живой Григорович. Друзья обменивались мнениями об игре Франца Листа и бельгийского кларнетиста Иосифа Блаза, о первом представлении в Петербурге оперы «Руслан и Людмила». Здесь они читали друг другу первые свои произведения. Достоевский и Григорович прожили в этой квартире до начала 1846 года. В этой комнате произошло знаменательное событие в жизни Достоевского. В мае 1845 года он впервые прочел Григоровичу свой первый роман «Бедные люди».

О работе Достоевского над этим романом не знал и Трутовский. «Ф. М., — вспоминает художник, — мне никогда не говорил об этом, и не читал выдержек из своего произведения, да и мог ли он давать на суд сочинение такому ребенку, каким был я тогда; мне было всего 15 лет!»⁸

Таким юным, робким, с благоговением прислушивающимся к словам своего старшего друга, Трутовский изобразил не без юмора самого себя на этом рисунке, датированном 1842 годом. Большой интерес представляет изображение Достоевского — это самое раннее, известное нам изображение писателя. В 1847 году Трутовский, продолжавший встречаться с Достоевским, создал портрет писателя и его старшего брата М. Достоевского. (Подлинники нахо-

Пушкина и Жуковского. Особенно запомнились друзьям его беседы о Гоголе, которого «он сам никогда не уставал читать и нередко читал его вслух, объясняя и толкуя до мелочей».

«При наших беседах он мне первый выяснил все великое значение творений Гоголя, всю глубину его юмора, который я до того времени, как еще очень юный, понять не мог...»⁸ — вспоминает Трутовский, ставший, по выражению С. Т. Аксакова, «по преимуществу художником Гоголя». «Самое сильное и решающее впечатление было для меня, когда Ф. М. с невыразимым одушевлением объяснял мне всю глубину мысли в повести «Шинель». Я разом понял все и особенно значение «незримых слез сквозь видимый смех»⁹. В те дни Трутовский впервые прочитывает «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые он особенно полюбил из всего наследия Гоголя. Позднее он создаст свои первые, исполненные задушевной теплоты и мягкого юмора иллюстрации к «Сорочинской ярмарке» и «Майской ночи» и вскоре станет, по признанию современников, одним из лучших выразителей «малороссийских сцен» Гоголя.

⁸ Щукинский сборник, стр. 91.

⁹ Там же, стр. 91—92.

¹⁰ Там же, стр. 92.

дятся в музей-квартире Ф. М. Достоевского в Москве.) Здесь Достоевский нарисован во весь рост, в форме воспитанника офицерских классов Военного инженерного училища.

«Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили»¹¹, — рассказывает Трутовский. Достоевский, по воспоминаниям и Трутовского и Григоровича, был среднего роста, коренаст.

Правдиво передано выражение лица Достоевского — всегда сосредоточенность в себе, глубокая задумчивость. «...Глаза впалые, но взгляд пронизательный и глубокий»¹², — рассказывает в воспоминаниях Трутовский.

Достоевский и Трутовский постоянно общались друг с другом. Достоевский звал Трутовского на пятницы Петрашевского, но в ту пятницу, когда художник собирался быть у петрашевцев, их арестовали. Друзья встретились вновь лишь в 1862 году. Вернувшись из ссылки, Достоевский при-

шел к Трутовскому. «Взгляды его на многое радикально изменились»¹³, — отмечает художник.

Последняя встреча друзей произошла в Москве в 1880 году, на открытии памятника А. С. Пушкину.

В «Дневнике писателя за 1877 год» Достоевский, вспоминая товарищей по Главному военному инженерному училищу, указывает, что с прямого военного пути «на путь шаткий и неопределенный» удалились лишь трое: «я, писатель Григорович и живописец Трутовский»¹⁴. Трутовский был известным академиком живописи. В наследии художника видное место занимает книжная иллюстрация, тем более особенно дорого упоминание художника, что именно Достоевский научил его «понимать и ценить в литературе все великое и гуманное»¹⁵.

¹¹ «Русское обозрение», стр. 213.

¹² Там же.

¹³ Там же, стр. 216, 217.

¹⁴ Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1877 год. Полное собрание сочинений, т. 12. ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 266.

¹⁵ Щукинский сборник, стр. 92.

М. И. Андреевская

Два портрета Языкова



Молодецкая поэзия Языкова, его легкий и бурливый стих в свое время восхитили Пушкина, и он откликнулся на дружеское послание Языкова в тоне его же удал и веселья.

Языков, кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
Нет, не кацальскою водой
Ты воспоил свою Камену,
Пегас иную Иппокрену
Копытом вышиб пред тобой.
Она не холодной льется влагой,
Но пенится хмельною брагой,
Она размывчива, пьяна,
Как сей напиток благородный,
Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском, жаждою свободной
Открытый в наши времена.



И представляешь себе Языкова этой поры кутежей и праздности по его раннему портрету: румяным, полнолицым «добрым молодцем», исполненным добродушной лени.

Какая разительная перемена, если сравнить с его измученным и больным лицом на последних портретах! Их редко кто помнит. Они не связываются с духом его поэзии. Но вот любящие близкие друзья знали его в последние годы жизни именно таким. «Наш Языкушко болен», — озабоченно и ласково писал о нем И. Киреевский. Горько и подробно рассказывал он в письме о последних днях больного — Языков и умирал поэтом: бредил стихами и пел в бреду.

Около трех лет спустя Киреевский и Хомяков заказали русскому художнику-гравёру Ф. И. Иордану, профессору Академии художеств, портрет Языкова «в малом виде и свободным манером». И в 1849 году появился этот посмертный портрет Языкова — «чрезвычайно милая вещица», по характеристике Д. А. Ровинского, собиравшего и знавшего русские гравюры. Оставалось думать, что Ф. И. Иордан, знавший Языкова в Риме, сделал этот портрет по памяти. Очень скоро этот гравированный портрет стал редкостью: отпечатков было немного, а доска была утеряна. Знали его большей частью по копии работы Паннемакера.

И вот в 1965 году Государственный музей А. С. Пушкина в дар от вдовы пушкиниста А. Л. Слонимского Лидии Леонидов-

ны получил эту редкость: профильный портрет Языкова, офорт самого Иордана. Ценность такого подарка для коллекции музея еще и в том, что портрет принадлежал сестре Пушкина О. С. Павлицевой, прабабке Л. Л. Слонимской.

Второй из помещенных здесь портретов Языкова — это набросок в альбоме. Сравнивая их, вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что они не только похожи, но и как-то взаимосвязаны.

Этот рисунок стал известен только несколько лет назад. Он был сделан Э. А. Дмитриевым-Мамоновым, хорошим знакомым Киреевских и Языковых, и ничем не выделялся среди его многочисленных дилетантских зарисовок и набросков. Но зато у него оказалась совсем иная судьба: совершенно ясно, что именно он послужил прекрасному мастеру Иордану для воссоздания облика Языкова на посмертном портрете. Очевидно, друзья, заказывавшие портрет Языкова, и дали гравёру этот самый рисунок — неоконченный, слабый, но несущий живое сходство с лицом поэта.

И вот здесь перед нами два схожих и несхожих портрета: вялый, малоинтересный, разве что верный, сделанный с натуры набросок и мастерски и со вкусом выполненная гравюра, тонкий художественный портрет, причем посмертный портрет — грустного большого Языкова, «последней звезды пушкинского созвездия», как назвал его П. А. Вяземский.

А. И. Башкиров

История одной медали

«В 1813 году Троицкий комендант подполковник Феофилаьев и директор Троицкой таможни надворный советник Чекалов, находясь в Киргизской степи по делам пограничным, уведомились, что при урочище Каратургае открыты весьма богатые свинцовые руды и что самая гора, в которой находятся сии руды, называется киргизами свинцовою (Кургашь-Тау)».

Оренбургский генерал-губернатор князь Г. С. Волконский весьма заинтересовался этим сообщением. В 1814 году экспедиция во главе с Феофилаьевым, Чекаловым и инженером-поручиком Г. Ф. Генсом «выступила за границу».

В 700 верстах от границы по реке Тургаю была обнаружена Свинцовая гора.

Было добыто 100 пудов руды. Генс составил «весьма отчетливое обозрение совершенно тогда неизвестного пространства».

Основываясь на сведениях, доставленных экспедицией, Волконский входит с представлением к правительству. Для всестороннего изучения новых земель военный губернатор просит у министра финансов горных офицеров и нужных им пособий, не требуя, впрочем, никаких сумм, а предположив единственно выработать из свинцового прииска и вывезти на заводы 6000 пудов свинцовой руды, «посредством переплавки которой выручить потребные для экспедиции издержки, заимствуя оные из сумм, состоящих в его распоряжении»¹.

Предложение генерал-губернатора принято. В Оренбург направляется горная команда, состоящая из трех офицеров и двадцати восьми человек нижних чинов.

В частном письме Волконский сообщал: «...я открыл богатую Свинцовую гору в Киргизской степи. Посылаю туда чиновни-

ков горных и инженерных для испытаний и соображений. Это будет новая важнейшая отрасль государственного богатства»².

Вторая экспедиция выступила из Усть-Уйской крепости 11 июня 1815 года, с большим опозданием против срока, предполагаемого Волконским.

Лето стояло необычайно засушливое. Большая часть речек и озер в Киргизской степи пересохла. Это очень затрудняло поход.

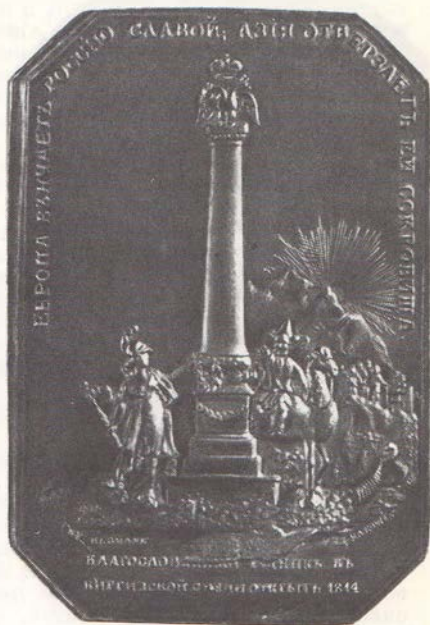
После 22-дневного перехода экспедиция достигла Свинцовой горы, «...пробыла на оной 18 дней, освидетельствовала, сколько дозволила краткость сего времени, рудный прииск, добыла из оного предписанное количество руды, осмотрела так называемую Медную гору (Мыс-Тау)... Свинцовая гора, подвергшаяся исследованию, находилась в Средней Орде Киргизской степи, при вершинах реки Кара-Тургая...»³

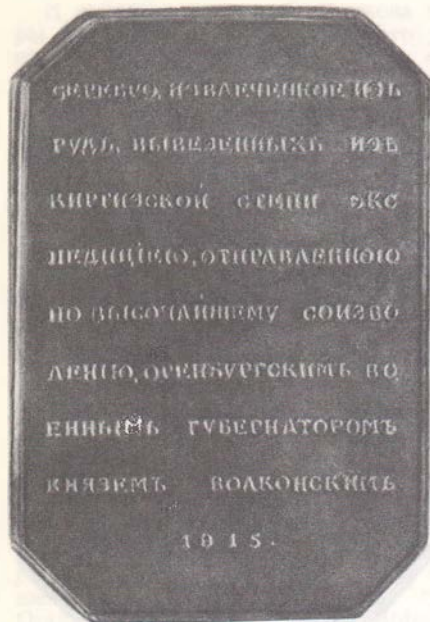
Были разработаны свинцовый и медный прииски, а также 46 шурфов. В отчете маркшейдера Ф. И. Германа записано:

¹ «Архив декабриста С. Г. Волконского», т. I. «До Сибири». 1918 г., СПб, стр. 396.

² Там же, стр. 185.

³ «Горный журнал», т. 4, 1829, стр. 148.





«Во всех приисках и шурфах производилась горная работа посредством кайла, кирки и молота. ...В коротких боках разрезов высекались уступы для удобнейшего схода и спуска рабочих; по сим уступам в бадьях, носилках, ящиках, ведрах и даже шляпах вынималась добышная руда и камень на поверхность; большие куски руды... поднимались веревками по нарочно устроенным наместам из досок и бревен, и таким образом все имело внутри рудника определенный ход»⁴.

На поверхности руда разбиралась, взвешивалась и поступала «в прием обозного начальника».

Из хвоста были сделаны корзины на все количество руды. Этим «отвратили излишнюю трату оной от раструски при провозе». Работа в руднике велась круглосуточно. Рабочие сменялись три раза в сутки, а ночью работали со свечами.

В этом же отчете записано: «Можно, однакож, судить по некоторым признакам, что сия Свинцовая гора, окружена будучи подобными ей первоклассными горами, составляет вместе с ними особенный, неизвестный до ныне географам горный пояс, простирающийся передовую цепью своею в одинаковом направлении с течением реки Кара-Тургая».

Экспедицией было обнаружено много

древних выработок в исследуемых горах. «...Древние выработки производились одновременно и способом такого народа, который в гражданском домостроительстве и горном деле имел уже некоторые успехи».

Положение экспедиции было трудным. Предстоял обратный 700-верстный путь по выжженным степям. Кончилось продовольствие.

16 августа собрался совет руководителей экспедиции. На совете «положено было, что дальнейшее пребывание в Киргизской степи может подвергнуть всю экспедицию великим опасностям и самой гибели».

Обратный поход занял 24 дня. Экспедиция благополучно возвратилась в Троицк и Звериноголовскую крепость.

«Вывезенные из Киргизской степи руды проплавлены были на Мияском заводе... из 6046 пудов свинцовой руды выплавлено было 2524 пуда свинца, а из 107 пуд медной руды 7 пуд 35 фунтов чистой меди. Свинец испытан был также и в содержании серебра и золота: оказалось, что в пуде свинца содержится 1 золотник серебра, а в пуде сего последнего — 50 золотников золота»⁵.

Таковы были результаты. Экспедиция выполнила поставленные задачи. Ее участники — солдаты, казаки и инженеры — проявили смелость, находчивость, героизм.

История этой малоизвестной экспедиции дополняет биографию ее организатора Григория Семеновича Волконского — человека умного, дальновидного, не щадившего своих сил для блага отечества.

В военную службу Григорий Волконский вступил в 1756 году поручиком, а в 1763 году он был уже полковником. Казалось, все складывается удачно. Он участвовал в двух русско-турецких войнах под началом Суворова. Прославился. Суворов хорошо знал храброго генерала и называл его «неутомимым».

В 1789 году у Малой Сальчи Волконский лично вел в атаку полк. Опрокинул пятитысячный турецкий отряд и обратил его в бегство. В сражении при Мачине командовал корпусом, на который выпала главная тяжесть боя. В жаркой схватке с турками был ранен саблей в голову. Ранен тяжело.

⁴ Там же. стр. 49.

⁵ Там же. стр. 50.

На этом закончилась военная карьера боевого генерала. Волконский ушел на покой. Началась жизнь в Петербурге.

Рос сын Сергей — будущий декабрист. Он тоже мечтал о военной славе, о подвигах.

Волконский не любил Петербург с его великосветскими интригами, пустотой и глубоко страдал в столице. Иногда он уходил пешком далеко за город. Если уставал, то подсаживался к проезжающим с возами крестьянам. Заводил с ними беседы. Одевался князь крайне небрежно и просто. Часто появлялся «в полумужицком, полудворянском костюме».

Волконский хранил благоговейную память о Суворове. Это служило поводом для насмешек. Так говорили, что он «часто представлял собою Суворова, делал такие же штуки, зимою и летом ежедневно обливался холодной водой, ходил часто по улицам без верхнего платья и говорил: «Суворов не умер: он во мне!» Волконского считали человеком странным.

В Петербурге он часто выезжал на базар в карете, запряженной четвернею цугом. Сам закупал провизию. Сзади кареты под рукой у ливрейных лакеев висели гуси, окорока, которые Волконский тут же на улице раздавал бедным.

В 1803 году князь Волконский становится Оренбургским генерал-губернатором. С большой энергией принимается он за дело.

«...Осматриваю войско, обозреваю уезды, благосостояние народу и справедливость в городах генерально всех судей; жалоб довольно и много закоренелых и гнусного интереса вижу; браню, стражаю, иных перемещаю, только б за божескою милостью удовлетворить бедных терпящих»⁶, — пишет он в одном из писем.

Волконский начинает проводить в жизнь идею о том, что «умных и расторопных людей надобно приласкивать и извлекать из них государственную пользу». Создает план учреждения в Оренбурге военного училища для детей казаков и киргизов. Собирает средства на его постройку.

Неподалеку от Оренбурга проходит Линия (граница). За ней лежат бескрайние Киргизские степи — Киргизский край. Все приходящие из Киргизской степи и Средней Азии караваны останавливались на меновом дворе возле Оренбурга. Оренбург встречал караваны из Бухары, Коканда, Хивы, Ташкента и служил транзитным перегрузочным пунктом русских и среднеазиатских товаров. Сюда приезжали купцы из

Москвы и с Нижегородской ярмарки. Здесь совершались всякого рода торговые сделки и операции.

Волконский начинает налаживать добрососедские отношения с киргизами-кочевниками, пытается прекратить родовые междоусобицы, обеспечить безопасность торговых путей и спокойствие на границах азиатских владений России. Он привлекает ордынских ханов к охране караванных путей и караванов; мечтает о посылке экспедиций с большими полномочиями в Хиву и Бухару, но должной поддержки в своих начинаниях не получает. (Один из отрядов, посланных Волконским, дошел до Бухары.)

Теперь жители Оренбурга, часто видели дымь костров и раскинувшиеся кибитки киргизов-кочевников. Это кто-нибудь из ханов орды пожаловал к губернатору Волконскому.

«Ожидаю к себе прибытия хана Киргизского и Султана Каратая, сильнейшего в Киргизской орде, — пишет он, — я приглашал их к Оренбургу для мены и для некоторых переговоров, относящихся до ордынцев и до здешнего края»⁷.

О жизни Волконского в Оренбурге в свое время со слов старожиллов было собрано много любопытных сведений. Передавали, что Волконский, будучи стариком, жил зимою в неоплавленных комнатах. Ординарцы и вестовые были в одних мундирах».

Один казачий урядник говорил, что, не стерпев холода, снял с вешалки ночью княжескую епанчу, в каких ходил дома князь, покрылся и крепко заснул. Приходит князь, видит, что епанча с орденскою звездой на уряднике, разбудил его и сказал: «Повесь откуда взял и впредь не смей этого делать, видишь, я старик, а холода переносу, а ты, молодой, мерзнешь».

Княжеские епанчи иногда с дозволения раздавались гостям, когда он видел, что последние синеют от холода.

Случилось однажды так, что за обедом сидело несколько человек. Входит курьер из Петербурга и глазами ищет, кто из них князь, — на всех одинаковые епанчи. Князь сказал: «Подай сюда бумагу», — и прочие глазами указали на него»⁸.

Старый суворовский генерал был прост и нетребователен. Любил он устраивать у

⁶ «Архив декабриста С. Г. Волконского», т. I. «До Сибири», 1918 г., СПб, стр. 380.

⁷ Там же, стр. 140.

⁸ «Записки И. В. Чернова», г. Оренбург, 1907, стр. 140.

себя и «вечера для танцев», на которые приглашал простых казаков с женами и дочерьми. Веселья на таких вечерах было много. Часто устраивались народные гулянья с различными увеселениями, фейерверками.

Впрочем, современники жаловались, что «единственной странностью Волконского осталось едва ли не насильственное ознакомление оренбургского общества со старинной итальянской музыкой».

Наступает тяжелый и славный для России 1812 год. Пылает Москва. Григорий Семенович не сомневается: «Скоро наступит конечная гибель врагов». Но его одолевают волнения за судьбы отечества. Он пишет: «...больно только русскому сердцу, что неприятель занял Москву, привел ее в ужаснейшее положение».

И вот итог всех раздумий: «...прежние начальствующие много должны отвечать, что полцарства уже захвачено».

В это трудное для России время оренбургский губернатор не перестает заботиться о вверенных ему землях. Он давно проявляет большой интерес к ископаемым богатствам края.

Еще в 1808 году Волконский пригласил доктора Фукса, известного профессора Казанского университета, и попросил его «научно исследовать целебную силу» серной воды Сергиевских минеральных ключей. Фукс дал положительный отзыв. Известность Сергиевских вод упрочилась. По его указаниям устраиваются новые солевозные пути для доставки Илецкой каменной соли

в Россию. Большое количество этой соли отправлялось и в Среднюю Азию. Наконец в 1813 году по его указаниям было начато исследование природных богатств края.

После успешного завершения экспедиции, о которой мы рассказали выше, в честь этого события была создана памятная медаль, вычеканенная из «серебристого свинца», добытого из Свинцовой горы.

На лицевой стороне медали надпись гласит:

**ЕВРОПА ВЕНЧАЕТ РОССИЮ СЛОВОЙ,
АЗИЯ ОТВЕРЗАЕТ ЕИ СВОИ
СОКРОВИЩА.**

В этой лаконичной строке заключен большой смысл. В нескольких словах подведен исторический итог.

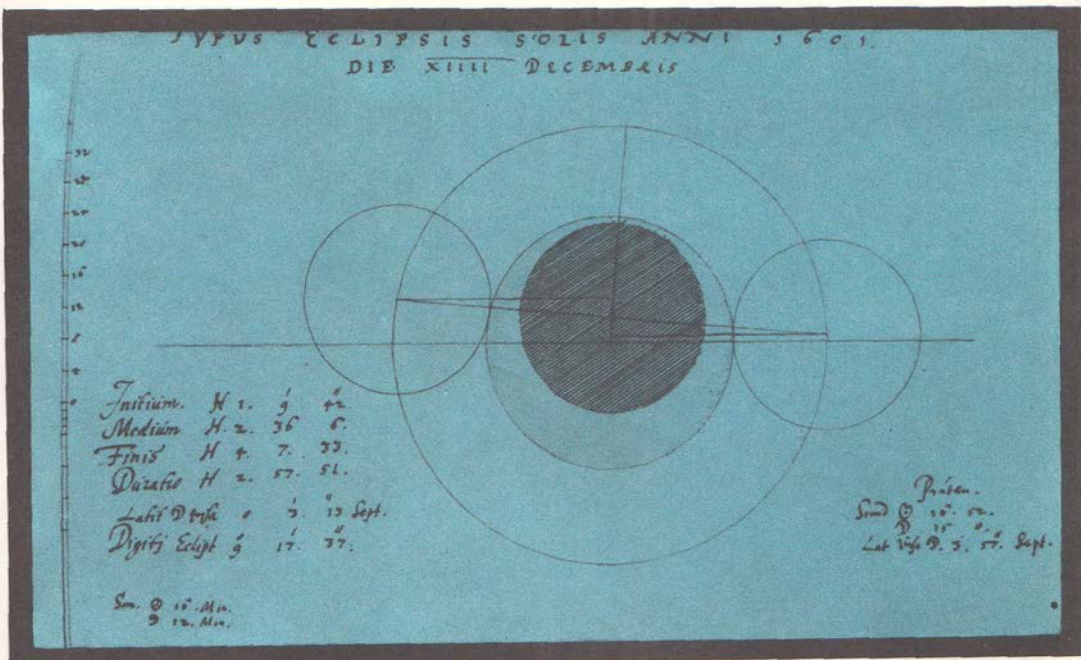
Там же изображена богиня Минерва, стоящая по одну сторону колонны. У подножия рог изобилия. Направо от колонны — киргиз на верблюде, а вдали виднеются горы с работающими рудокопами. Над ними восходит солнце.

Внизу:

**БЛАГОСЛОВЕННЫЙ РУДНИК
В КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ ОТКРЫТ 1814.**

На обратной стороне медали вычеканено: «Серебро, извлеченное из руд, вывезенных из киргизской степи экспедицией, отправленной по высочайшему соизволению, оренбургским военным губернатором князем Волконским.

1815».



Н. М. Раскин,
Г. А. Стратановский
(Ленинград)

Рисунки из рукописей И. Кеплера

В 1971 году исполнится четыреста лет со дня рождения великого немецкого астронома Иоганна Кеплера. Кеплер разработал гелиоцентрическую теорию Н. Коперника и открыл три основных закона планетных движений. Этим он заложил основы научной астрономии. Его научное наследие представляет величайшую ценность. Архив И. Кеплера после смерти ученого испытал немало превратностей. Рукописи первоначально перешли во владение его зятя Якоба Барча, а затем сына — Людвига Кеплера. Наследники последнего продали бумаги ученого данцигскому астроному Гевелию. Затем зять Гевелия в 1707 году продал архив Кеплера лейпцигскому магистру М. Г. Ганшу. Этот последний занялся изучением и приведением в порядок драгоценных рукописей для подготовки их к изда-



Eclipticos O. 3. Octobris 1614:

Monachij specillis indubitata fide observata fuit

Finis

Medium tuncme.

Initium.

H. 1. 46.

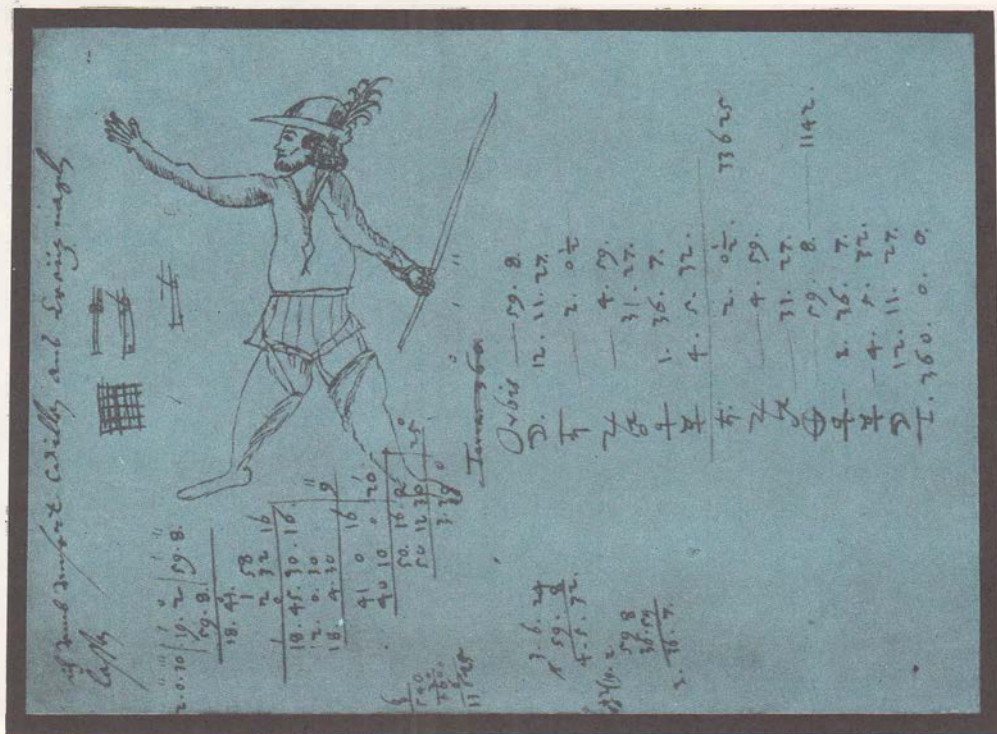
H. 12. 30. p. u.

H. 11. 15. a. u.

Ob invicem Tolisii sic visa est



Toto quicquid tempore videtur & reliquante ecliptica pueris
tandem ad latera sic solo profuerunt 100 palmos subterre ac 1000

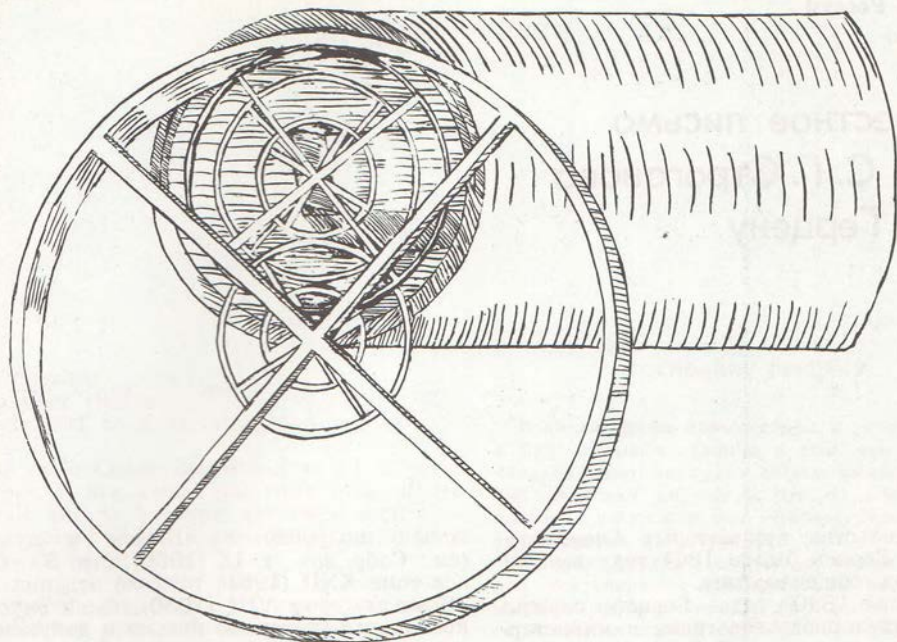


нию. В 1721 году Ганш вынужден был заложить собрание рукописей Кеплера у некоего Этингера, но не смог их выкупить. После этого о рукописях надолго забыли. Лишь около 1765 года Х. Г. Мурр, ученый из Нюрнберга, случайно обнаружил бумаги Кеплера у вдовы, «монетной советницы» Трюммер, которой они достались по наследству. Х. Г. Мурр пытался привлечь внимание немецкого общества на необходимость покупки и издания рукописей великого ученого. Однако владельца назначила за них слишком большую цену — 1000 талеров. Тогда Мурр обратился за содействием к знаменитому математику Л. Эйлеру — петербургскому академику. Л. Эйлер через приближенных Екатерины II Г. В. Козицкого и графа В. Г. Орлова представил императрице докладную записку с указанием огромной научной ценности бумаг И. Кеплера. В 1773 году рукописи И. Кеплера были приобретены русским правительством за крупную по то-

му времени сумму — 2 тысячи рублей и летом 1774 года переданы в Петербургскую академию наук. Академия назначила для их изучения академиком В. Л. Крафта (младшего) и А. И. Лекселя. Однако вскоре эта работа прекратилась за смертью обоих ученых.

В 1839 году рукописи И. Кеплера были переданы в библиотеку Пулковской обсерватории, где и находились до 1937 года. С этого времени они хранятся в Ленинградском отделении Архива Академии наук СССР.

Изучая рукописи И. Кеплера, мы обратили внимание на сравнительно большое число рисунков, чертежей, схем и т. д., исполненных рукой знаменитого ученого. Часть их иллюстрирует текст. Другие рисунки, не имея прямого отношения к теме научного труда, отражают те раздумья, которые волновали автора в момент работы над рукописью. Подобные рисунки — это второй план работы, своеобразная запись



авторских мыслей и чувств, как бы разрядка в момент творческих исканий.

Жизнь И. Кеплера совпала с Тридцатилетней войной (1618—1648) — одной из самых ужасных войн, опустошавших его родину. Естественно, что среди рисунков находятся и изображения воинов. Одно из них воспроизводится (стр. 468). На нем изображен воин с копьем. Рисунок находится среди каких-то астрономических вычислений.

Трудно определима тематика второго рисунка (стр. 470). Страницу математических вычислений покрывают изображения каких-то лиц в профиль и анфас. Большинство этих рисунков не закончены и носят несколько гротескный характер. Другие рисунки — абрисы, завитки, орнаменты.

Следующая группа рисунков — иллюстрации к научным трудам. Первым из них является рисунок (стр. 468), приложенный к одной из астрономических статей И. Кеплера, изображающий созвездие Змиедерж-

ца. Кеплер по традиции придал этому созвездию мифический образ могучего атлета, который держит змия в своих руках.

Два следующих рисунка (на стр. 469) изображают результаты наблюдений солнечных затмений 14 декабря 1601 года и 3 октября 1614 года.

Рисунок на стр. 471 посвящен излюбленной теме ученых, изобретателей и инженеров тех дней — проекту «вечного двигателя». На нем изображена подобная конструкция, предложенная И. Кеплером. В ней энергия вращения большого махового колеса, снабженного противовесом, должна была передаваться на вал механизма.

Рисунками ученых до последнего времени занимались недостаточно. Между тем нет сомнения, что они дают в руки исследователя ценный материал для суждения об одной из сторон творческого процесса и могут пролить свет на ряд важных эпизодов биографии ученых.

Л. И. ван Россум
(Амстердам)

Неизвестное письмо графа С. Г. Строганова А. И. Герцену

Обстоятельства, при которых Александр Иванович Герцен был в 1841 году выслан в Новгород, общеизвестны.

С начала 1840 года Герцен служил в чине титулярного советника в министерстве внутренних дел в С.-Петербурге. В то время это министерство управлялось графом А. Г. Строгановым, который, как и его брат граф С. Г. Строганов, бывший тогда попечителем Московского учебного округа, был хорошо расположен к Герцену. 18 ноября 1840 года Герцен был произведен в коллежские асессоры. Одно по тому времени неосторожное выражение Герцена в не дошедшем до нас письме к отцу И. А. Яковлеву об убийстве купца будочником у Синего моста прервало эту успешную карьеру. Письмо было перлюстрировано, а о содержании его было доложено царю Николаю I. Последний приказал выслать Герцена в Вятку, куда тот был направлен также во время своей первой ссылки, но после допроса генерал-лейтенантом Л. В. Дубельтом, начальником штаба корпуса жандармов, и аудиенции у графа А. Х. Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника III отделения, наказание было смягчено: вследствие «распространения неосновательных слухов о происшествиях в столице» Герцен был выслан в Новгород, где он должен был служить в качестве советника губернского управления при губернаторе Е. А. Зурове.

В нашем распоряжении имеется обо всем этом деле обширная, хотя и не полная документация. Сам Герцен писал об этом до-

вольно подробно в «Былом и думах» (см.: Собр. соч., т. IX (1956), стр. 53—65), а в томе XXII (1961) того же издания и в «Звеньях», том VIII (1950), были опубликованы все известные письма и документы, относящиеся к этому делу.

Помимо упомянутого выше письма к Яковлеву, до сих пор не было найдено письмо С. Строганова, о котором Герцен так сообщает Н. К. Огареву в своем письме от 2—4 марта 1841 года: «Сат[ин] расскажет тебе о записке от С. Г. [Строганова] — гуманной весьма. Дело в том, что мы разны понимаем дело» (А. И. Герцен, Собр. соч., т. XXII, стр. 105). Из дальнейшего содержания этого письма можно понять, в чем заключалась эта разница во взглядах на это дело между Герценом и Строгановым. Герцен прежде всего сожалел о том, что его рассказ об убийстве купца был поводом к высылке его из Петербурга, тогда как Строганов считал, что для Герцена тут в первую очередь дело шло о гарантиях в отношении его дальнейшей карьеры.

Нет никакого сомнения в том, что приводимое ниже письмо С. Строганова и является той «запиской», о которой говорит Герцен в своем письме к Огареву от 2—4 марта. Содержание этого письма, впрочем, говорит само за себя.

Это письмо приводится ниже в русском переводе. Подлинник письма на французском языке находится в Международном институте социальной истории в Амстердаме.

A Monsieur
Monsieur Herten
de la part de S. G. Stroganov.

J'ai vu le Comte Benkendorf et lui ai parlé de vous. Il m'a assuré que votre triste affaire n'aurait aucune influence sur votre service et que plus-tard *il se chargerait* de vous faire revenir à Pétersbourg.

Le Général Doubelt auquel j'ai aussi parlé m'a assuré que vous ne trouveriez aucun empêchement pour venir à Pétersbourg pendant votre service à Novgorode.

Je vous promes [sic] d'en dire encore un mot au Gouverneur Zouroff à mon passage par Novgorode.

Il ne me reste qu'à vous engager à grande patience et à supporter avec résignation *chrétienne* ce qui vous arrive. Quand je pourrai vous être utile adressez-vous à moi!

Je suis votre très dévoué serviteur,
Comte Serge Stroganoff

19 février 1841
Saint Pétersbourg

ГОСПОДИНУ ГЕРЦЕНУ

Я видел Графа Бенкендорфа и говорил с ним о Вас. Он меня заверил в том, что Ваше печальное дело не будет иметь никакого влияния на Вашу службу и что он впоследствии позаботится о том, чтобы устроить Ваше возвращение в Петербург.

Генерал Дубельт, с кем я также говорил, дал мне уверения в том, что Вы не встретите никаких препятствий для посещения Петербурга во время Вашей службы в Новгороде.

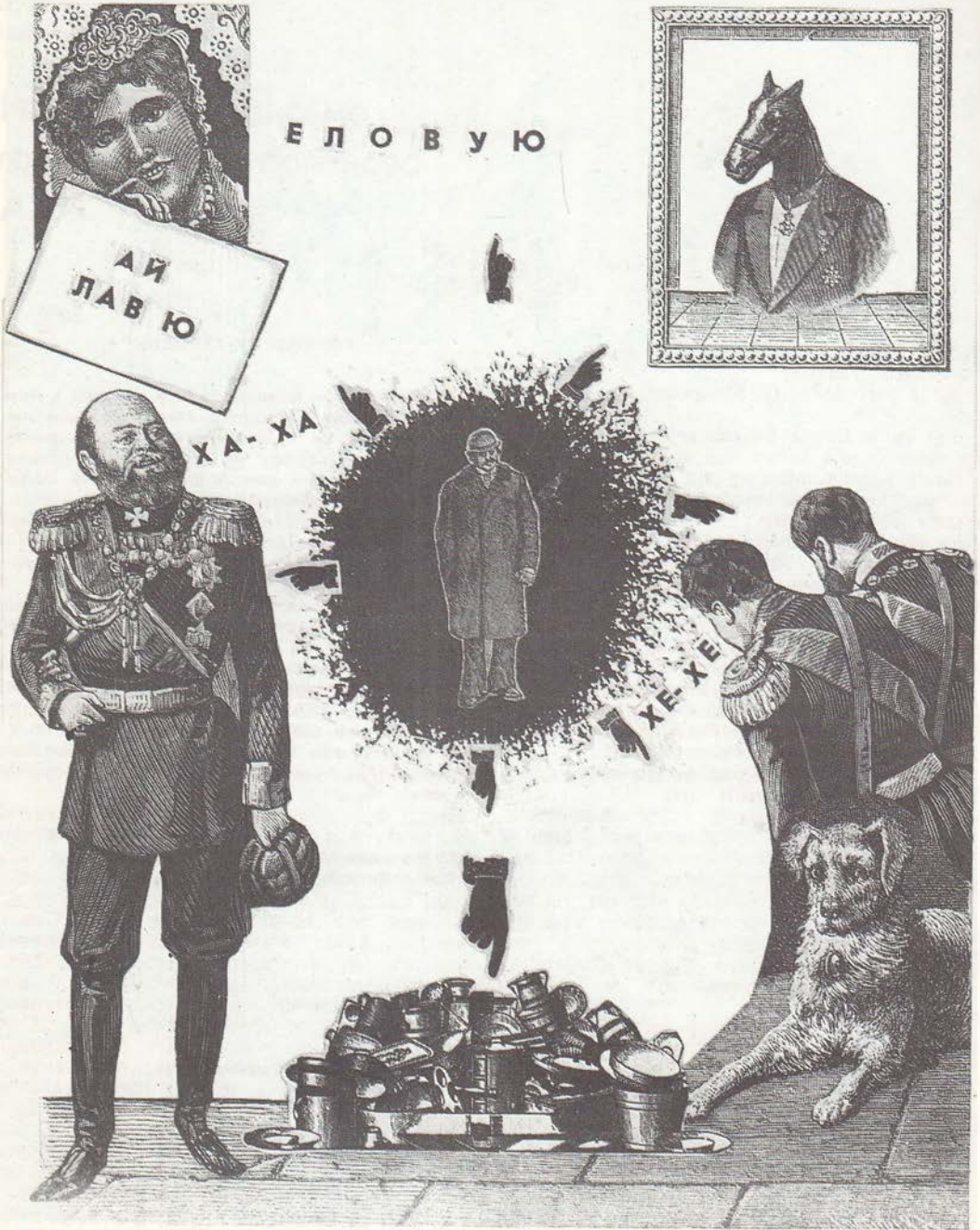
Я обещаю также замолвить о Вас словечко у Губернатора Зурова при моем проезде через Новгород.

Мне не остается ничего другого, как посоветовать Вам запастись побольше терпением и переносить с христианским смирением все то, что с Вами случилось.

В случае, если бы я мог оказать для Вас в чем-нибудь полезным, то обращайтесь прямо ко мне!

Ваш преданный слуга
Граф Сергей Строганов

19 февраля 1841
Санкт-Петербург



М. С. Альтман

(Ленинград)

Пестрые заметки

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

А. С. Пушкин

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В БАСНЯХ КРЫЛОВА

Хотя обширная критическая литература о творчестве Крылова располагает многими ценными и интересными исследованиями о связи крыловских басен (по языку, стилю и поэтическим приемам) с русским фольклором, но нет ни одного исследования, где было бы указано, что и собственные имена в баснях Крылова также связаны с народным творчеством, с их осмыслением в русских поговорках, пословицах и сказках.

Эту тему невозможно, конечно, исчерпать в кратком очерке, и я ограничусь только несколькими примерами.

Басня Крылова «Зернало и обезьяна» кончается моралью:

Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.

Имя Петр здесь очень кстати: на него и в поговорках, хотя он менее всех виноват, все вваливают: «Друг на дружку, а все на Петрушку» (228)¹. Да и Клим здесь в той же роли человека бесовестного, но с благообразной личиной, каким он обрисован в пословице: «У Клима совесть глиняна, а борода Минина»².

Не без народного осмысления и имя Мирон в соименной басне. В ней рассказывается о богаче Мироне, который, желая прослыть милосердным, распустил слух, что будет по субботам кормить нищих, но каждую субботу спускал с цепи свирепых псов, так что никто к нему пробраться не мог. Что это имя Крылов дал лицемерному богачу не случайно, подчеркивает он сам в первых же строках басни:

Жил в городе богач, по имени Мирон.
Я имя вставил здесь не с тем, чтоб стих
наполнить...

Учитывая это указание Крылова, комментарии крыловских басен склонны осмыслить

это имя как перевод с греческого, где Мирон означает — «елейный».

Однако, по-моему, нет надобности прибегать к помощи греческого языка, когда значимость этого имени хорошо осмысливается русскими поговорками, в которых «смотреть Мироном» или «прикидываться Мирошкой» (665) означает — выдавать себя не за того, кем являешься в действительности. Это вполне соответствует крыловскому лицемерному богачу. А хитрые уловки, которыми он пытается ввести в обман людей, соответствуют другой поговорке про Мирона же: «У всякого Мирона свои приемы» (629).

В басне Крылова «Два мальчика» рассказывается о том, как мальчик Федя, с помощью своего дружка Сени взобравшись на каштановое дерево, сам поедает там каштаны, а Сене сверху бросает лишь скорлупки:

Видал Федюш на свете я,
Которым их друзья
Вскарбабаться наверх усердно помогали,
А после уж от них — скорлупки не видали!

Таков «Федя» и в поговорках: хитрый и скрытный — «Федька и попу правды не скажет» (664) и жадный — «Федюшке дали денежку, а он и алтына просит» (675).

Примечательно, что и в народной сказке «Счастливое дитя» хитрец Федор овладевает чудесным мальчиком, который ему служит, а он мальчика держит в черном теле. Этот «Федор» из сказки, которому безвозмездно служит мальчик, совершенное подобие крыловскому «Феде»: то же имя и та же неблагодарность к служащему ему мальчику.

В концовке басни «Пастух»:

...на волна только слава,
А ест овец-то Савва,

рифмующиеся «слава» и «Савва» — явно из арсенала поговорок: «По Савве и слава», «Какое Савва, таково ему и слава», «Что Савва, то и слава» (688). И сам съевший овец и валящий все на волна крыловский Савва явно переицывается с Саввой, о котором говорится: «Савва съел сало, уперся, заперся, сказал: не видал» (208)³.

Особенно показательно имя Демьян в басне Крылова «Демьянова уха». В сказке из сборника А. Н. Афанасьева под названием «В чужом дому хозяйна слушай» рассказывается о том, как мужик звал и себе односельчанина и начинала его потчевать. Гость отговаривается: «Что ты, Демьян Ильич, беспокоиться напрасно?», хозяйн бьет гостя и говорит: «В чужом дому хозяйна слушай!» Гость покоряется, но, когда хозяйн нарезал немощное количество хлеба, гость его урезонирует: «Куда ты, Демьян Ильич, столько хлеба нарушишь вешь?». Демьян опять ударяет гостя и снова говорит: «Делай то, что хозяйн велит». Мужик и не рад стал такому гостеприимству...⁴ Нельзя при чтении этой сказки не вспомнить крыловской «Демьяновой ухи».

Мы не располагаем сведениями, знал ли эту сказку Крылов; не знаем также и времени возникновения приведенной сказки, поэтому возможны два предположения: или крыловская басня была известна в среде, где сказка возникла, или, наоборот, Крылов, создавая свою басню, знал эту или подобную ей сказку.

Последнее предположение мне кажется более вероятным, ибо сказка, приведенная у Афанасьева, впервые записана государственным крестьянином в Сибири в очень глухом

тогда Шадринском районе Курганской области и, судя по ее языку и некоторым бытовым приметам, древнее времени создания крыловской басни (1813 г.). Сказка эта, видимо, имела широкое распространение: вариант ее сюжета есть в одной из северных сказок Ф. П. Господарева⁶.

Но в том или другом случае сходный образ непомерно назойливого хлебосола и одинакового его имя и в сказке и в басне трудно счесть случайным совпадением.

АДРЕС ТРЯПИЧКИНА

Письмо Хлестакова Тряпичкину, сыгравшее решающую роль в разоблачении мнимого ревизора и развязке всей комедии, этой ролью прежде всего обязано адресу, на нем обозначенному: Петербург, «в Почтамтскую улицу»⁷. Именно из-за этого адреса почтмейстер и решился распечатать письмо: «Взглянул на адрес, вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну», думаю себе: «Верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство»⁸.

Наименование улицы, таким образом, в развитии действия комедии и ее развязки оправдано. Но значимость наименования улицы этим еще не исчерпана. Дело в том, что на этой самой Почтамтской улице жил Фаддей Булгарин, и как раз тогда, когда Гоголь его (в конце 1829 или в начале 1830 года) посетил. Вспоминая об этом посещении Гоголя, Булгарин впоследствии рассказывал, как «к одному из наших журналистов, живших тогда в Почтамтской в доме Г. Яковлева, вдруг зазвонил колокольчик, и в комнату вошел молодой человек, белокурый, расшаркался...»⁹.

Этот белокурый молодой человек — двадцатилетний Николай Васильевич Гоголь, а журналист, принявший его, — Фаддей Венедиктович Булгарин. Напомним, что, как и Булгарин, редактор «Северной пчелы», Тряпичкин — журналист и, по выражению Хлестакова, «пописывает статейки». И Булгарину весьма подходит характеристика, которую Тряпичкину дает Хлестаков: «Тряпичкину... если кто на зубок попадет — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньги тоже любит»¹⁰. Таким был и Булгарин, известный своим зубоскальством и вымогательствами с гостинодворцев за рекламные о них публикации или за умолчание об их аферах и мошенничествах.

Но Булгарин отличался не только этими художествами. Он еще, как было хорошо известно в тогдашних литературных кругах, состоял тайным агентом III отделения и занимался доносками. И потому, возможно, его адрес в комедии Гоголя обозначен не только Почтамтской улицей, но и Гороховой: «Любопытно знать, — говорит о нем Хлестаков, — где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой»¹¹. С этим словом в то время ассоциировалось III отделение: «гороховым пальто» или «гороховой шинелью» называли доносчика и провокатора.

И примечательно, что Гоголь разоблачает Булгарина тем же приемом, что и Пушкин в «Истории села Горохина», где Булгарин выведен сочинителем в гороховой шинели, который направляется к Полицейскому мосту... И у Пушкина и у Гоголя в соседстве с Булгаринским фигурирует «гороховая»: в одном случае шинель, которую он носит¹², в другом — улица, на которой он якобы проживает.

СТУПЕНИ СМЕХА

«Генерал Бетрищев рассмеялся: «Ха, ха, ха, ха!» И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эпoletы, тряслись, точно как носили и поныне густые эпoletы.

Чичиков разрешился тоже междометием смеха, но из уважения к генералу пустил его на букву «е»: «Хе, хе, хе, хе!» И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эпolet»¹³.

Почему, спрашивается, «хе-хе-хе» почтительнее, чем «ха-ха-ха»? Ответ на это находим у автора «О выражении чувств», Чарльза Дарвина: «У взрослых мужчин смех приближается к «о» и «а» (по немецкому произношению), тогда как у детей и женщин он скорее имеет вариант «е» и «и»¹⁴.

Чичиков, следовательно, при своем небольшом чине (он только коллежский советник), вторя генеральскому смеху на «а» своим смехом на «е», умалет себя, как женщина перед мужчиной, как ребенок перед взрослым.

Интересно, что Достоевский этот же гоголевский прием продолжает и развивает. В «Сверном анекдоте» генерал Пралинский рассказывает мелкому чиновнику своего ведомства:

«— Думаю, добреду до Большого проспекта да и найду накого-нибудь Ваньку... хе-хе!

— Хи-хи-хи! — почтительно отозвался Аким Петрович»¹⁵.

В обоих случаях — у Гоголя и у Достоевского — ситуация одинаковая: зачинатели смеха — генералы, а почтительно вторящие смеху — лица, от них зависящие, перед ними заискивающие. Но у Достоевского огласовка смеха слышна на ступень ниже: сам генерал смеется на «е» («хе-хе»), и тогда его подчиненному приходится уже смеяться на «и» («хи-хи»).

А у Эдгара По молодой человек на плоскую остроту самодовольного старичка, к звучному которого он сватается, раздражается подобострастным смехом на все гласные, при этом у него та же последовательность от первой до третьей ступени, что у Гоголя и у Достоевского: «Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хи-хи, хо-хо-хо, ху-ху-ху»¹⁶.

ДВАЖДЫ ИМЕНИННИК

Гоголевский городничий из «Ревизора» не только непомерный взяточник, но и ханжа, оправдывающий свое взяточничество, между прочим, и тем, что зато он «в вере тверд», и как только над ним нависает гроза, он взмывает: «Вынесите, святые угодники!» И интересно при этом, что среди «святых угодников» городничий особо выделяет одного — Антония преподобного: «Боже мой, мать ты моя пресвятая! Преподобный Антоний!»

Запрещенная цензурой¹⁷, эта реплика (из действия II, явления 8-го) не вошла в окончательный текст «Ревизора», но ее наличие в первоначальном варианте, конечно, не случайно: тому, кого зовут Антоном Антоновичем, естественно взывать о помощи к «угоднику» с ним соименному, который как бы является его небесным покровителем.

Но имя городничего — Антон — обыграно очень находчиво еще раз в комедии Гоголя. Купцы, жалующие Хлестакову на городничего, упоминают и о том, что: «именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни

в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай: говорит и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь»¹⁸.

По святым день Антония преподающего (а именно с этим Антонием, судя по приведенной реплике, связывает свое имя городничий) приходится на 10 июля, и в этот день Антон Антонович, конечно, мог справлять свои именины, но откуда у него такая странная претензия справлять их дважды и что общего между Антоном и Онуфрием? Дело в том, что по святым 28 сентября день одновременно и Антона (уже другого Антона) и Онуфрия. И вот это дает городничему повод дважды праздновать свои именины — и на Антона и на Онуфрия.

На этом примере, как и на многих других, мы снова убеждаемся, что у Гоголя каждое лыко в строку и ни одно слово мимо не молвится.

Кстати отметим, что и у Достоевского в «Селе Степанчикове» помещик Бахчев рассказывает о Фоме Опискине: «Какое гусь? Восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, — говорит, — и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, — говорит, — я тоже в этот день именинник!»

Этот курьезный эпизод у Достоевского явно из арсенала Гоголя.

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

В одевиле Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин» (первый раз поставленном в Москве в 1829 году) в лице Борзикова выведен Федор Алексеевич Кони, водевилст и редактор журнала «Репертуар и Пантеон». Первоначально вместо «Борзикова» была фамилия Лошадка и сохранили имя и отчество прототипа — Федор Алексеевич. Но по распоряжению Дубельта автор вынужден был фамилию своего героя переименовать, однако и переименов Лошадку на Борзикова, Ленский все же сохранил некоторую, хотя и отдаленную, связь фамилии своего персонажа с фамилией прототипа («борзый конь»)»¹⁹.

Фамилия Кони обыграна и в одной из эпиграмм Ленского:

...А это что за испитой
В очках, фигурка невеличка,
Над лошадью торчит, как спичка.
То Кони, немец удалой,
Водевилст наш дорогой...²⁰

Также и в экспромте Ф. В. Булгарина на литературном обеде в честь Кони мы читаем:

И где уж только Кони в деле,
Там верно славно повезут²¹.

Интересно, что не только Федор Алексеевич Кони, но и его сын, знаменитый криминалист и литератор, Анатолий Федорович, подвергался такому же рода насмешкам. Когда А. Ф. Кони был назначен сенатором, новгородский сотрудник, пародист В. П. Буренин, напомнив, что римский император Калигула, издеваясь над сенатом, назначил сенатором коня, разразился следующей эпиграммой:

В сенат коня Калигула привел.
Стоит он, убранный и в бархате и в злате,
Но я скажу: у нас такой же прозвал:
В газетах я прочел, что Кони есть в сенате.

На эту эпиграмму появился сейчас же следующий ответ:

Я не люблю таких ироний,
Как люди непомерно злы!
Ведь то прогресс, что ныне Кони,
Где прежде были лишь ослы²².

Эта ответная эпиграмма приписывается некоторыми самому А. Ф. Кони. Однако сестра Кони Л. Ф. Грамматчикова и близкий его друг Е. В. Пономарева отвергают это. Сам А. Ф. Кони считал, что эта эпиграмма написана Владимиром Соловьевым.

Добавим, что А. Ф. Кони относился очень благодушно к шуткам над своей фамилией и в очерке «Домочадцы» рассказывает, как его слуга Варфоломей в одной записке с ним писал: «Сегодня конек мой что-то грустен»²³.

СЕРО-ВЫ

Передавая свои впечатления от первого посещения кружка «Мира искусства», В. В. Розанов рассказывает:

«Вы уже со всеми поздоровались, когда замечаете, что не поздоровались с кем-то или с чем-то одним, прямо против вас сидящим. Это — Серов... Поистине от «фамилии» его «суть» его: до того сер и тускл человек, что невозможно замечать...» Приводя в своих «Литературных воспоминаниях» эти слова о Валентине Серове и соглашаясь, что «внешне от него впечатление очень верно передано», П. Перцов добавляет: «Сомнительно, чтобы это было от фамилии: отец Серова, автор «Юдифи» и «Вражьей силы», при той же фамилии был, видимо, очень яркой и даже боевой личностью. Но факт схвачен верно...»²⁴.

Конечно, если слово «серый» (и его дериват — серость) употреблять в переносном смысле, то Розанов неправ: Серовы, и отец-музыкант и сын-живописец, отнюдь не были людьми тусклыми и бесцветными. Но если этим словом пользоваться только в его прямом, колористическом значении, то фамилия Серов соответствует и отцу и сыну. Об этом свидетельствуют и лица, близко стоявшие к Серовым, и сам живописец.

Вот как вспоминает свою первую встречу с музыкантом его будущая жена, Валентина Семеновна:

«Я сначала не рассмотрела маленького человека, одетого в серое; и сам он мне казался весь серым, длинные волосы были также серые»²⁵.

Как мы видим, первое впечатление будущей Серовой от музыканта Серова точно такое же, как Розанова — от живописца Серова: в обоих случаях Серовы оказались из-за своей «серости» незамеченными.

Это впечатление Валентины Семеновны не только первое и минутное. Уже став женой композитора, она продолжала его видеть таким же: «Ничего не могло равняться тому радостному горделивому чувству, когда... на пороге появлялась серенькая фигурка...»²⁶ В тех же «серых» тонах, как мужа, описывает она и сына-живописца В. А. Серова: «Он прямо шел к своей намеченной цели и находил готовые мотивы для своих сереньких ландшафтов и создал свой собственный серовский жанр...»²⁷

Было бы, однако, грубой ошибкой заключить из сказанного, что Серов был недостаточно зорек на цвета. Это, конечно, не так. В своем очерке о Серове Ярослав Гамза напоминает, что когда Серов был еще учеником художника

Чистякова, один из профессоров академии утверждал, что Серов не видит цвета, и Чистяков заставил своего ученика положить на холст одно пятно цвета определенной точки на теле. Профессор признал выполнение безукоризненным. «Серов хорошо видел цвет и знал краску. Но ему нужен был не «цвет» сам по себе, а «цвет» как средство передачи природы»²⁸. В этом и было своеобразие, с каким художник разрешил проблему, говоря словами того же исследователя Серова, «нецветистого цвета»²⁹.

Сказался ли в любви Серова к серому цвету только его личный вкус или еще дополнительно здесь «ворожила» («суггестировала», сназала бы психоаналитики) его фамилия, не берусь решать, но на это свое тяготение и серым тонам и краскам великий художник сам неоднократно указывал. Так, художник Н. П. Ульянов в своих «Воспоминаниях» рассказывает:

«Относительно колористической «ноты», которую для себя как бы навсегда взял Серов в своем творчестве, он высказывался не раз и, в частности, когда однажды осматривал летние работы своего ученика Никифорова... Взглянув на этюды, где был изображен солнечный день, он скупающе-равнодушно заметил: «Понажите Коровину... а я... я люблю серые дни...»³⁰

ФOLЬКЛОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ К ОДНОМУ СТИХОТВОРЕНИЮ МАЯКОВСКОГО

Среди народных анекдотов имеется много таких, в которых из-за глухоты, а иногда и просто из-за непонимания одним из собеседников другого, возникают забавные недоразумения. Так, например, жена говорит глухаватому мужу: «Ох ты, моя защита и оборона», а он ей отвечает: «Как, я ощищена ворона?»³¹

Здесь муж не понимает слов жены; в другом народном рассказе, наоборот, жена не понимает слов мужа. Разорвалась у бабы рубаха, и просит она мужа купить ей к празднику новую. Пошел мужик на рынок, но вместо рубахи купил гуся. Приходит он домой, жена и спрашивает: «Купил мне рубаху?» — «Купил, — отвечает муж, — да только гусянка». А жена недослышала и говорит: «Ну и узка, да изношу», — сняла с себя старую рубаху и бросила в печку... Так она и осталась нагишом³².

Таков же в одном из сборников «Северных сказок» рассказ о том, как над человеком летел ворон и кричал: «Кур, синь да хорош», а человеку послышалось: «Синь да положь»³³. В этом же сборнике мы имеем рассказ о том, как баба приходит к священнику с просьбой отпеть ее мужа, но имя мужа она забыла. Священник ей говорит: «Да, подумай, баба, не придет де на ум». — «А, батюшко, Наум и был, Наум»³⁴.

Здесь мы имеем то же, с чем встречаемся и в поговорках, пословицах и загадках, где иноязычное слово, чаще всего имя собственное, осмысливается по звучанию как родное русское. Такова поговорка «Два кума Абакума» (здесь «Абакума» осмыслены как «оба кума»). Такова же загадка «Филимон Иванович и Марья

Ивановна» с разгадкой: «филин и сова» («Филимон» здесь осмыслен как «филин он»). По тому же народному осмыслению в день Макнавея принято было на Украине везть мак. По этой же народной этимологии осмыслено и имя Наполеон: «Был не опален, а вышел из Москвы опален».

О подобном же народном осмыслении рассказывает Виктор Финн в своих воспоминаниях. Жена французского писателя Ришара Блока, будучи в Москве, покупала на рынке молоко. Она плохо владела русским языком и, подав молочнице бутылку, показала, сколько надо налить, прибавив: «па больше». Молочница налила ей до краев. Продавщица не подозревала, что с ней говорит иностранка и что «па» по-французски означает «не»³⁵.

Этот забавный случай, по существу, ничем не отличается от вышеприведенных рассказов и мог бы вполне сойти за народный анекдот. Он напоминает эпизод из «Дубровского», в котором исправник Синицын говорит «французу Дефоржу» (Владимир Дубровский, как известно, в доме Троеуровых выдает себя за француза), потушившему свечу: «Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше», спрягая с грехом полагам русский глагол на французский лад (гл. X).

Очень остроумно использовано сходное звучание русских и английских слов в стихотворении Маяковского «Барышня и Вульверт». Ситуация здесь такая: в окне магазина сидит девушка и для рекламы точит бритвенные ножи, а затем водит их по своей щече, будто бы бреясь. Поэт подходит к окну и говорит:

«Сидишь,
глазами буржуев охлопана.
Чем обнадежена?

Дура из дур».

А девушке слышится: «Опен,

опен ди дор»³⁶.

«Что тебе заботиться
о чужих усах?

Вот...

посадили...

как дуру еловую».

А у девушки фантазия раздувает паруса,
и слышится девушка:

«Ай лов ю»³⁷.

Я злею:

«Выйдь,

окно разломай, —

а бритвы раздай

для жирных горл».

Девушке мнится:

«Май,

май горл»³⁸.

При всей оригинальности стихотворения Маяковского, поэт оперирует сходным звучанием и разным значением разноязычных слов совершенно так же, как и народ в своих поговорках, загадках и анекдотах. Этот прием можно было бы охарактеризовать народной поговоркой: «Ты ем про Тараса, а он тебе: полтораста», или словами Горького, звучащими, как народная поговорка: «Ты ему скажешь: горох, а он тебе: горы, ох»³⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и дальше цифры в скобках означают страницы сборника В. Даля. Пословицы русского народа, ГИХЛ, М., 1957.

² Эту поговорку цитирует и Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

³ А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. М., 1957, т. II, стр. 305—306.

⁴ В сущности, вся басня Крылова «Пастух» — развитие поговорки «На волка помолвка, а пастух теленка украл» (191).

⁵ А. Н. Афанасьев, Указ. соч., т. III, стр. 287—288.

⁶ «Сказки Ф. П. Господарева». Петрозаводск. 1931, стр. 524, № 63. — Проезжающий мужик.

⁷ Н. В. Гоголь, Ревизор, действие IV, явление 9-е.

⁸ Там же, действие V, явление 8-е.

⁹ «Северная пчела», 1854 г. № 175, стр. 829.

¹⁰ Н. В. Гоголь, Ревизор, действие IV, явление 8-е.

¹¹ Там же, явление 9-е.

¹² О том, что уже у Пушкина гороховая шинель была синонимом агента охранного отделения, см.: Н. О. Лернер, Пушкинологические этюды. «Звенья», т. V. М. — Л., 1935, стр. 162—163.

¹³ Н. В. Гоголь. Мертвые души, ч. II, гл. 2.

¹⁴ Ч. Дарвин. О выражении чувств, гл. IV.

¹⁵ Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. IV. М., 1956, стр. 24.

¹⁶ Эдгар По, Три воскресенья на одной неделе.

¹⁷ См. Н. В. Дризен, Драматическая цензура двух эпох. П., 1917, стр. 42.

¹⁸ Н. В. Гоголь, Ревизор, действие IV, явление 10-е.

¹⁹ П. А. Каратыгин, Записки, т. I, гл. 30.

²⁰ «Театральная старина». — «Суфлер», 1880, № 12.

²¹ «Литературная газета», 1841 г., № 18. Ср. также в балладе М. Дмитриева «Петербургская Людмила»:

Вдруг к подъезду чьи-то
Кони,
Входит в двери Федор
Кони...

²² См. М. С. Королицкий, А. Ф. Кони. Л., 1929, стр. 25.

²³ А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 371. Подчеркнуто Кони.

²⁴ П. Перцов, Литературные воспоминания. М. — Л., 1933, стр. 293.

²⁵ «Воспоминания В. С. Серовой». Изд. «Шиповник», 1914, стр. 6—7.

²⁶ Там же, стр. 46.

²⁷ Там же, стр. 217.

²⁸ Ярослав Гамза, В. А. Серов. «Звезда», 1936, № 1, стр. 190.

²⁹ Там же.

³⁰ Н. Ульянов, Воспоминания о Серове. 1945, стр. 28.

³¹ А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки. М., 1957, т. III, стр. 298.

³² «Песни, сказки, поговорки и загадки, собранные Н. И. Иванецким». Вологда, 1960, стр. 176—177.

³³ См. сборник Н. Е. Ончукова «Северные сказки». СПб., 1909, стр. 46—47.

³⁴ Там же, стр. 237.

³⁵ Виктор Финк, Литературные воспоминания. М., 1963, стр. 153.

³⁶ «Откройте, откройте дверь».

³⁷ «Я люблю вас».

³⁸ «Моя, моя девушка».

³⁹ М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, стр. 555.

Иракий Андроников

Корней Иванович Чуковский



Знаменитый писатель, признанный, уважаемый, всеми любимый, умер на восемьдесят девятом году. Почему же эта смерть кажется такой неожиданной, преждевременной, такой несправедливой по отношению к Корнею Ивановичу?

Может быть, мои слова покажутся странными, но я решаю их написать: Корней Иванович умер в расцвете таланта!

Подобного, кажется, никогда не бывало. И тем не менее это так. Читая его работы, мы с каждым годом удивлялись все более: Чуковский не повторял себя, не подражал себе самому, как это бывает на склоне лет даже с очень талантливыми людьми: казалось, каждая последняя его книга написана с еще большей свободой и блеском, чем предыдущая, — так поражали они своей новизной.

Время идет, а мысль не мирится с утратой и возвращает к тому, что он создал.

Корней Иванович всю жизнь шел в литературе непроторенным путем. Он не писал ни романов, ни драматических сочинений, не печатал лирических стихов. Он создавал новые жары. Его «Крокоди-

лу» идет пятьдесят третий год. Потом за ней пошли «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Тараканище»... Стихотворные строки из этих сказок вместе с именем автора вошли в повседневную жизнь, превратились в своеобразный фольклор.

Было ли до Чуковского что-либо подобное книге о словотворчестве маленьких — «От двух до пяти»? Предназначенной при этом не для лингвистов, педагогов или психологов, а доступной даже пятилетним «героям» этого сочинения?!

Не бывало до него таких книг!

Кто первый превратил историко-литературные комментарии — эти сухие академические писания — в глубокий и увлекательный труд о поэзии и работе поэта? Корней Иванович Чуковский в комментариях к одному томику сочинений Некрасова, которые похвалил Ленин. Сорок лет спустя занятия Некрасовым привели Корнея Ивановича к созданию монографии, за которую он был удостоен Ленинской премии. Она читается с упоением. И в этой области Чуковский пионер, пролагатель новых путей, открыватель новых просторов.



Он раздвинул границы литературы. О чем бы он ни рассказывал — о писателях-разночинцах, о мастерстве Репина, об искусстве художественного перевода или о красоте русского языка, — все, что считалось прежде областью специальной, интересной только узкому кругу ученых людей, под пером Чуковского превратилось в большую литературу, обращенную ко многим, ко всем, без различия возрастов и профессий. Это наука. И это литература. Вместе.

Мы еще не раз задумаемся: чем обязаны мы Корнею Ивановичу? Еще не раз удивимся его вкладу в нашу культуру. Его влиянию на нас. Неиссякаемой свежести всего, что он создал. Тому, что решительно во всех работах его — в научных, критических, в публицистических выступлениях, в мемуарах, в сказках — отразился образ самого Корнея Ивановича — заразительно-веселого, остроумного, с молодым звонким голосом, с огромным талантом его, артистизмом, тонким умом, добрым юмором, с умением любить людей и доверять их вкусу и разуму. Чуковский

писал увлекательно и доступно, но никогда не писал упрощенно, никогда не ставил читателя ниже себя. Он уважал читателя и говорил с ним как с равным. Даже с ребенком. И вот этот органический демократизм таланта Чуковского, демократизм его мышления и стиля в противоположность еще бытующим иногда представлениям, что, дескать, публика не поймет и надо попроще, в сочетании с поразительной творческой щедростью вызывают глубочайшую благодарность и ту всенародную любовь, которыми имя Корнея Ивановича окружено в нашей стране повсеместно.

Корней Иванович печатался без малого семьдесят лет (тоже беспремерное дело!). И семьдесят лет без малого беседовал с читателем — с маленьким, с юным, взрослым... Благодаря этому все поколения советских людей его современники, весь народ.

Трудно поверить, что нет этого огромного замечательного писателя. Читаешь его — в каждой строке звучит его голос, каждая писана в самом расцвете таланта...

Нет, он не умер. И не умрет никогда!

